РУССКИЙ ОЧЕРК



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

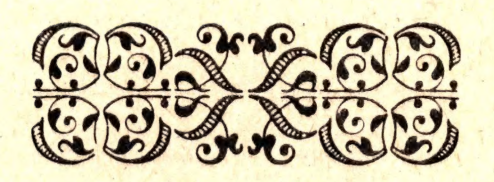
ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА 1986

РУССКИЙ ОЧЕРК

40—50-е годы XIX века



Составление, общая редакция, предисловие и комментарии
профессора В. И. Кулешова

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА 1986

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Рецензенты:
доктор филологических наук
Ю. В. Манн,
кандидат филологических наук
Л. В. Чернец

Русский очерк. 40—50-е годы XIX века. Под ред. В. И. Кулешова.— М., Изд-во Моск. ун-та, 1986.—544 с.

В книгу включены очерки, опубликованные в разных изданиях в 40—50-е годы XIX века. Большинство из них относится к жанру «физиологического очерка».

Р 4700000000—180 / 077(02)—86 194—86



ПРЕДИСЛОВИЕ

...Хочется надеяться, что читателям этой книги предстоит испытать большое и неожиданное удовольствие.

Большое потому, что они узнают много интересного о русских людях прошлого столетия, «среднего» и «низшего» сословий общества, как тогда говорили, об их думах и надеждах, нравах и обычаях, ремеслах и занятиях, мимо чего зачастую проходила (или вскользь лишь касалась этого) «большая литература», с ее романами, повестями, драмами и поэмами. В настоящем издании предлагаются миниатюры-очерки о купцах и разносчиках, слугах и денщиках, дворниках и извозчиках, кухарках и няньках, белошвейках и мещанках, чиновниках и стряпчих. Читатели перенесутся на улицы тогдашних Петербурга и Москвы, на толкучку Гостиного двора и Сенной, Охотного ряда и Трубы (Трубной площади), побродят по Подьяченским улицам и по Зарядью, заглянут в лачуги и на чердаки, в лавки и подвалы. А ведь все это чрезвычайно важно для представления о тогдашней России, тогдашней жизни русского человека.

Неожиданность же удовольствия связана с тем, что большинство очерков забыто или полузабыто, многие ни разу не переиздавались после первых публикаций в журналах и сборниках. Читателям сейчас ничего не говорят имена авторов: А. П. Башуцкий, В. В. Толбин, Ф. К. Дершау, П. Вистенгоф, Ар. Г. Вилламов... Немногим более говорят имена Е. П. Гребенка, А. Я. Кульчицкий. Сравнительно недавно была оживлена память об очеркисте В. И. Дале, который главным образом прославился своим «Толковым словарем живого великорусского языка»; Даля одно время Белинский называл «преемником» Гоголя. Недавно же вышел томик основательно забытых сочинений И. И. Панаева, писавшего и бытовые очерки, того самого Панаева, который был другом Белинского, вместе с Некрасовым издавал «Современник» и оставил весьма ценные мемуары. Только специалисты-литературоведы знают, что «Кавказец» Лермонтова, в свое время света не увидевший,—дань гениального русского писателя популярному в 40-х годах в русской литературе жанру «физиологического очерка». Специалистам ведомо, что нашумевший при своем появлении очерк Н. А. Некрасова «Петербургские углы» есть только эпизод из его незаконченного романа о «маленьком человеке» «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (рукопись которого была найдена только в советское время). Пробой пера начинающего Д. В. Григоровича является очерк «Петербургские шарманщики»... И вот теперь, собранные воедино в обширном томе, эти очерки оказываются целой литературой, о существовании которой едва ли подозревали многие. Поэтому-то предлагаемый том и таит в себе некоторый сюрприз...

Простым орудием очерка была широко распахана целина действительной жизни. И эта распаханная целина стала той почвой, на которой позже возросли шедевры. Без «физиологических очерков» не было бы «Бедных людей» Ф. М. Достоевского и «Записок охотника» И. С. Тургенева. К этим очеркам, демократизировавшим тематику русской литературы, восходят позднее «кавказские» и «севастопольские» зарисовки русских солдат и офицеров у Л. Н. Толстого. Без далевского «Денщика» не было бы, наверное, соответствующих страниц «Из воспоминаний рядового Иванова» В. М. Гаршина и без далевского же «Уральского казака» не было бы «Несмертельного Голована» и «Очарованного странника» Н. С. Лескова. Без яркого калейдоскопа образов дворников, прислуги, картин увеселительных заведений, игрищ, столь щедро описанных в «физиологических очерках», не было бы важных сцен и красок в «Анне Карениной», в «Братьях Карамазовых».

Очерк эмпиричен, он не претендует на глубокое художественное обобщение в принятом смысле слова, он — фотография или, как говорили в 40-х годах, «дагерротип» (по имени первого изобретателя принципа фотографирования на стальных пластинках Луи Ж.-М. Дагерра). Для очерка достаточно типического, так сказать, в готовом виде. И в этом смысле даже самый простой и бесхитростный очерковый сюжет несет в себе обобщение «естественного отбора», спрессовавшихся десятилетиями характеров и явлений.

Очерки, составляющие содержание нашей книги, назывались в прошлом и ныне нередко в литературоведческих трудах именуются «физиологическими». Определение это мы не могли вынести на обложку и титул, так как оно нуждается в пояснении для современного читателя.

Очерк как таковой, без добавки слова «физиологический», уже давно существовал как в русской, так и в западноевропейских литературах. Очерки писал у нас в XVIII веке Михаил Чулков. «Прогулка по Москве» К. Н. Батюшкова (1811) — очерк. «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина (1836) — также очерк, «очерк путешествия». Были очерки «нравоописательные», «бытовые»; например, в 20-х годах у В. Ф. Одоевского: «Сборы на бал», «Невеста» и др. В Англии известны были очерки Р. Стиля, Дж. Адиссона, во Франции — Ж. Лабрюйера. Большую популярность обрели в Европе «Картины Парижа» (1781—1788) Л.-С. Мерсье.

Многообразные формы очерка, как правило, активизировались во всех литературах в годы общественного подъема. Очерк как бы символизировал общую «отзывчивость», мобильность литературы, ее активное вторжение в жизнь, освоение новых пластов действительности, желание запечатлеть народившиеся типы людей. Читающая публика всегда охотно имела дело со злободневным очерком.

И вот примерно в начале 40-х годов XIX века появляется в русской литературе особый тип очерка — «физиологический». Название это не удержалось. Но оно довольно четко определяло в свое время сущность одной из разновидностей очерка, и впоследствии, под други-

ми названиями, а иногда и под общим определением «очерк», очерк «физиологический» продолжал жить и развиваться в творчестве различных писателей (А. И. Левитова, А. И. Куприна и др.).

Впервые понятие «физиология» в литературном аспекте ввел во Франции писатель и юрист Б. Саварен — автор легкой нравоописательной книжечки «Physiologie du goût», т. е. «Физиология вкуса» (1826).

Секрет названия и его популярности состоял в том, что французские писатели, в том числе ранний Бальзак, увлеченные достижениями современного им естествознания, теориями и открытиями Линнея, Кювье, Сент-Илера, старались придать своим наблюдениям над общественной жизнью особую научную точность, стремились объяснить социальные «особи» породившей их средой. Им хотелось провести и в человеческом обществе строгую классификацию «типов», определить их по какой-либо одной черте, доказав «единство» их строения, установить господствующую способность, социальную или профессиональную основу их облика. В системе характеристик человеческого типа резко возрастало значение его общественно-бытовой данности, повышалась цена деталей, мелочей. Классификация охватывала не только социальные типы в их замкнутой характерности, возникало желание воспроизвести во всей целостности жизнь города в его многосложной и трудной «физиологии» всех элементов и «отправлений». «Физиология» и заключалась именно в попытках подсмотреть внутренние тайны жизнедеятельности социального типа, общественного слоя, города, страны...

Мы недаром выделили имя Бальзака. Целый период творчества великого писателя характеризуется увлечением «физиологиями». Таковы его очерки «Нотариус», «Монография о парижской прессе», «Физиология о чиновнике», «История и физиология парижских бульваров». В предисловии к своей «Человеческой комедии» (1842), развивая определенную теорию романа, он касается и «физиологий», утверждая, что они помогают схватить социальный тип «живьем». Впрочем, сам Бальзак занимался изучением неповторимых человеческих индивидуальностей и не сводил типизацию к установлению лишь «человеческой породы». Популяризации «физиологий» активно содействовал Ш. Филипон, издатель сатирических журналов «Карикатюр» и «Шаривари», а также О. Домье, художник-иллюстратор, которого не случайно звали «Бальзаком в живописи». Особенно популярным было восьмитомное с богато раскрашенными иллюстрациями коллективное издание книгопродавца П. Л. Кюрмера «Французы в их собственном изображении» («Les français peints par eux mêmes», 1840—1842). Оно привлекло внимание и в России. В издании Кюрмера участвовало сто тридцать семь авторов, среди которых были Бальзак, А. Дюма, Жанен, Тиссо, Гозлан и др. «Французы...» — очерковая «человеческая комедия» в бальзаковском духе, охватывающая все слои общества, столицы и провинции, различные профессии и положения.

Вслед за изданием Кюрмера во Франции в России появилось издание второстепенного, но сразу приобретшего успех литератора А. П. Башуцкого под названием «Наши, списанные с натуры русскими» (1841—1842), в котором были помещены семь очерков и к ним на листах иллюстрации, по 8—12 страниц в каждом выпуске, поэтому и считается всего четырнадцать выпусков. Предполагалось их больше, но издание встретило цензурные затруднения. Сюда-то Лермонтов и предназначал своего «Кавказца». Открывались «Наши...» особенно нашумевшим очерком самого А. П. Башуцкого «Водовоз», привлекшим внимание цензуры из-за открыто выраженного в нем сочувствия к тяжелой доле петербургских чернорабочих, доставлявших на высокие этажи воду, и возмущения по поводу высокомерного отношения господ к этим обездоленным людям. В «Наших...» затем шли очерки «Барышня» (принадлежавший неизвестному автору, подписавшемуся криптонимом Княжна — а), «Армейский офицер» князя Львова, «Няня» — за подписью: ...ва (предположительно, М. С. Жукова), «Знахарь» Т. Ф. Грицько-Основьяненко (кстати, рисунок к рассказу выполнен Т. Г. Шевченко) и, наконец, «Уральский казак» В. Даля.

В 1845 году Некрасов издал в двух частях альманах «Физиология Петербурга», который произвел своего рода сенсацию в русской литературе и оказался яркой программной заявкой формировавшейся гоголевской «натуральной школы». Белинский, несколько скептически относившийся к изданию Башуцкого, теперь не только приветствует некрасовскую «Физиологию Петербурга», но и сам в ней участвует и пропагандирует ее в своих рецензиях и статьях.

Успехам русских «физиологий» способствовали прекрасные иллюстрации, клише, т. е. «политипажи», изготовляемые с помощью гальванопластики; их создателями были весьма известные тогда художники и граверы В. Ф. Тимм, И. С. Щедровский, Е. И. Ковригин, Р. К. Жуковский.

Русская литература стремилась в 40-е годы XIX века к широкому охвату жизни всех сословий, постижению, если можно так выразиться, «механизма» общественной, иерархически-государственной деятельности. «Физиологический очерк», конечно, не означал отказа от типизации, он придавал ей хотя и односторонний, но самоочевидно осязаемый детерминистический характер. В очерковой литературе выдвигался на первый план демократический герой, в ней «выказывали себя» люди «фона». Высшая цель этой литературы — сосредоточение внимания как раз на «эпизодических» людях.

Вообразим себе на миг, что упоминаемые Пушкиным вскользь в «Евгении Онегине» «маленькие люди»: «на биржу тянется извозчик», «с кувшином охтенка спешит», «и хлебник немец аккуратный... уж отворял свой васисдас» — вдруг и стали героями. Каждому из них будет посвящен «физиологический очерк», и мы все узнаем до мелочей и про извозчика, и про биржу, и про рынок, и про цены, и про охтенку, кто она, жена или мать, или сестра, и про немца, откуда он и как «обрусел», и чем торгует, и кто его соседи, и друзья, и недруги. В кон-

це концов описание кабинета Онегина, со всеми его мелочами, тоже кусочек «физиологии». Много ее и в описаниях Сенной площади в «Испытании» Марлинского и в «Невском проспекте» Гоголя. Подспудно дремлют темы «физиологических очерков» в мечтаниях слуги Осипа из гоголевского «Ревизора» о прелестях петербургской жизни, с ее «галантерейным, черт возьми, обхождением»: «кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь», «пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «почтенный!», «На перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку...», «Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу!» Тут и толкучка, и картинки, и извозчик, от которого можно скрыться не платя, благо «у каждого дома есть сквозные ворота...», и пр. и пр.

Следует сказать, что увлечение естествознанием, стремление использовать его методы в области художественного творчества имели как свои положительные, так и отрицательные стороны. Доказательством, например, может служить эволюция французской литературы. Эмиль Золя пойдет еще дальше Бальзака в установлении естественнонаучной классификации социальных типов и полемически назовет себя «натуралистом». В поле его внимания попадет рабочий класс («Жерминаль»), а «физиология наследственности» позволит совершить величайшие разоблачения гедонизма буржуазного общества, «наследования» пороков собственников, переходящих от отцов к детям. Но вскоре окажется, особенно у последователей Золя («золяистов»), что такой подход к человеку узок, и задача реализма предполагает всестороннюю социальную и психологическую характеристику типов. Упомянув об этом, подчеркнем, что в русской литературе понятие «физиологии» приобрело не столько методологическое, сколько жанровое значение. Упор делался не на достижение параллельности между классификацией в зоологии и классификацией в социологии; суть состояла не в абсолютизации роли «среды», а в нарочито подчеркнутом раскрытии общественных причин бед и несчастий человека. По социальной иерархии русский «физиологический очерк» не подымался выше купцов и чиновников (исключение, может быть, составляет «Онагр» Панаева). Он и по тематике носил преимущественно демократический характер. Естественнонаучная точность целиком обращалась на установление «условий», социальных мотивировок бытия людей, живущих в материальной нужде. Название очерка «физиологический», может быть, потому и не удержалось, что от физиологического очерка как такового (в его французском варианте) взята была только скрупулезность анализа явлений, широта охвата жизни, ее специфических сторон. Все же остальное сошло на нет, именно то, что вело к механическому подчинению художественного творчества приемам естествознания. Очерк стал социально-злободневным и общественно-филантропическим, с русскими «проклятыми вопросами», порой даже с «горечью и злостью», с сочувствием «маленькому человеку».

Для сравнения скажем, что у французских авторов физиологий социальная позиция была, как правило, весьма умеренной. Почти

все участники кюрмеровских выпусков — убежденные орлеанисты, и не случайно в издании есть и весьма почтительная «физиология» католического священника и даже короля Луи Филиппа. Главная ориентация «Французов...» была сформулирована Ж. Жаненом в предисловии к изданию: «Мы хотим только найти способ оставить после себя следы того, что называют частной жизнью народа... Мы должны подумать о том, что когда-нибудь наши внуки захотят узнать, кем мы были и что делали в наше время; как мы были одеты, какие платья носили наши жены, какими были наши дома, наши развлечения, наши привычки... что понимали под... красотой. О нас захотят знать все: как мы садились на лошадь, как были накрыты наши столы, какие вина мы предпочитали»[1].

Конечно, все это «интересно внукам», и все-таки не само по себе, а в связи с чем-то более значительным, высшим. В лучших русских очерках «физиологии» знатной касты нет, но есть «физиологии» парий общества. В этом случае рассказ о том, «как одеты», «что едят», приобретал очевидный социальный колорит и полемически соотносился с благополучием сословных верхов, которым русская литература никогда не угождала.

Вот почему, кстати заметим, попытка Ф. В. Булгарина пристроиться к обозначившейся «моде» на «физиологические очерки» оказалась неудачной. Он выпустил свой сборник «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (1843), который носил официально-назидательный характер. Трудолюбивые «маленькие люди» ему здесь понадобились лишь для того, чтобы по контрасту подчеркнуть «блистательные стороны человечества». Бедность, глупость, болезнь, леность, порок (что для Булгарина понятия одного порядка) — все это «изнанка» общества и человеческого рода. Совсем другое дело — его лицевая, показная, так сказать, сторона. Консерватизм воззрений помешал и М. Н. Загоскину отразить правду в своих назидательно-патриотических очерках «Москва и москвичи» (1842—1847), в которых, по словам Белинского, «нет ни Москвы, ни москвичей».

Как уже говорилось, важной вехой в литературном процессе 40-х годов, в истории «натуральной школы», пропагандировавшей «физиологические очерки», стал выход альманаха в двух частях — «Физиология Петербурга». Некрасов, будучи сподвижником Белинского, человеком, прошедшим его «школу идей», как издатель «Физиологии Петербурга», по сути, принял на себя роль организатора «натуральной школы». Он собрал в «Физиологии Петербурга» лучшие силы, придал альманаху целенаправленный характер.

Первая часть «Физиологии Петербурга» открывалась вступительной статьей Белинского, которая давала понятие об идейно-эстетической программе издания, разъясняла задачи беллетристики,

---

[1] Цит. по кн.: Якимович Т. Французский реалистический очерк 1830—1848 гг. М., 1963, с. 178—179.

своеобразие жанра «физиологического очерка», демократическую сущность нового переживаемого русской литературой этапа. Страстным словом в разгорающейся полемике со славянофилами была следующая, тут же помещенная статья Белинского «Петербург и Москва», которая доказывала неслучайность зарождения школы в лоне «партии» «Отечественных записок».

На третьем месте шел очерк В. Луганского (Даля) «Петербургский дворник», выводивший один из центральных типов литературы нового периода — «маленького человека» и вместе с тем представлявший читателю характерную городскую фигуру, которая действительно встречалась на каждом шагу. При этом никаких сентиментальных нот, упрощенного сочувствия к «маленькому человеку» очерк не демонстрировал, наоборот, дворник Григорий у Луганского существо не только бедное, но одновременно, увы, и корыстолюбивое!

Сентиментальный налет несколько чувствовался в уже упоминавшемся очерке Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики». В нем явно слышатся диккенсовские приемы описания городских трущоб. Значителен в очерке и чисто этнографический элемент (имеется в виду комментарий, откуда и как в Петербурге оказываются шарманщики-итальянцы, шарманщики-немцы, шарманщики-русские). Но и здесь главное — в непосредственной, «прямой» жизненной правде. Недаром, «бродя» по улицам за группами шарманщиков, автор дает возможность постигнуть и «физиологию» толпы зевак, жителей подвалов и чердаков, разных сословных петербургских кругов.

В очерке Е. П. Гребенки «Петербургская сторона» мы переселяемся в самые отдаленные кварталы северной столицы, где живут отставные чиновники, люди, претерпевшие крушения в жизни, люди, над которыми нависает постоянная угроза гибели.

Заключает первую часть «Физиологии...» идеологически и художественно самый сильный и также упоминавшийся уже очерк под названием «Петербургские углы», написанный Некрасовым. Здесь изображаются люди социального дна, спившиеся, опустившиеся, люди, которых «переехала» судьба. Именно в некрасовском очерке главным образом и концентрируется демократический пафос всего альманаха. Во внутреннем портрете преисполненного благих целей героя, от лица которого ведется рассказ, в образе претенциозного пьяницы — «зеленого господина» были уже намечены те творческие мотивы, которые подхватит ранний Достоевский. В этом очерке читателю уже дается понять, что униженный человек не просто «ветошка», не просто жертва «среды», но и «особь» противоречивая, «амбициозная», несущая в себе протест и внутренние терзания. Потенциальные возможности «Петербургских углов» были реализованы и самим Некрасовым в его поэзии, начинавшей именно в это время складываться как поэзия «мести и печали».

Вторая часть «Физиологии Петербурга» продолжала знакомить публику с необычной новинкой — с жанром «физиологического очер-

ка», охватывающим все новые и новые жизненные темы («Александринский театр» Белинского, «Омнибус» А. Я. Кульчицкого (Говорилина). Эта часть «Физиологии» интересна и тем, что она убедительно представляла примеры перерастания «физиологического очерка» в жанр рассказа — «Лотерейный бал» Григоровича, в жанр сатирической поэмы — «Чиновник» Некрасова. Сопроводительные же рассуждения Белинского, пропагандировавшего «физиологии», поднимались на новую ступень обобщения в его статье-очерке «Петербургская литература», провозглашавшей рождение новых веяний в отечественной литературе.

Живой процесс перерастания «физиологического очерка» в жанр рассказа запечатлен в «Петербургских вершинах» рано умершего, молодого талантливого писателя-плебея, Я. П. Буткова, безраздельно приверженного «натуральной школе». «Петербургские вершины» — главное произведение Буткова — вышли в двух книгах в 1845 и 1846 годах. Название «вершины» — ироническое. Под «вершинами» подразумеваются чердаки и верхние этажи больших домов, где ютится петербургская беднота. Эти «вершины» — суть те же «углы», подвалы, в которые заглянули другие писатели «натуральной школы». Подкупала в бутковских «Петербургских вершинах» широко набросанная «физиология» жизни столицы империи, с ее «поясами», то есть межсословным разделением людей, из которых одним суждено жить в нищете, на чердаках, а другим наслаждаться всеми благами жизни, в привилегированных бельэтажах, в теплых роскошных аристократических квартирах. В каждом из больших домов можно было насчитать несколько Петербургов. Бутков был ближайшим предшественником Достоевского, а после блистательного успеха автора «Бедных людей» — его учеником и последователем.

У «натуральной школы» в период ее расцвета появилось немало временных попутчиков из числа уже прославившихся писателей. Таковым был, например, писатель пушкинского круга В. А. Соллогуб, автор нашумевшей повести «Тарантас» (1845), в которой в своеобразной форме была запечатлена горячая современная распря между западниками и славянофилами. Его ранние повести «Медведь», «История двух калош» по-своему предваряли некоторые мотивы «натуральной школы». В разгар же ее успехов Соллогуб выпустил литературный сборник «Вчера и сегодня», в котором поместил яркий очерк ничем другим не примечательного П. В. Ефебовского «Петербургские разносчики». Позднее Соллогуб отошел от «натуральной школы» и даже полемизировал с ней.

Некрасов активизировал поступательный ход «натуральной школы» в новом своем издательском предприятии — в «Петербургском сборнике» (1846). Гвоздем программы сборника был роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Вся русская литература обретала великого и самобытнейшего художника. Традиции «физиологического» очерка здесь поднимались на еще большую высоту, еще более силы набирал реализм «натуральной школы».

Кстати, именно в это время и родился сам термин «натуральная

школа». Его придумал Булгарин в злопыхательской рецензии на «Петербургский сборник» («Северная пчела», 1846, № 22 от 26 января). Булгарин термином «натуральная» хотел унизить школу, она-де, мол, только копирует жизнь и лишена идеальных стремлений. Белинский поднял брошенную Булгариным перчатку, закрепил термин, придав ему положительное толкование: «натуральная», то есть истинная, подлинная, правдиво изображающая жизнь.

«Наступление» «физиологического очерка» продолжалось и в комическом альманахе того же Некрасова «Первое апреля» (1846). Здесь, на наш взгляд, особо примечательны два физиологических очерка: «Водевилист» и «Непризнанный поэт» А. Я. Кульчицкого.

«Физиологический очерк» сразу же после своего рождения приобрел и памфлетное значение в литературной борьбе. Очерк И. И. Панаева «Петербургский фельетонист», помещенный в «Физиологии Петербурга», по теме совпадал с другим его же очерком «Тля», появившимся ранее в «Отечественных записках». Описывались злоключения малоспособного, беспринципного, продажного литератора, в котором можно было увидеть черты В. С. Межевича и других противников «натуральной школы». Такое обращение «физиологического очерка» к литературным распрям своего времени диктовалось особыми условиями, разгоравшейся идейной борьбой в литературе. Тут продолжалась традиция своего рода «физиологических» памфлетов — памфлета Герцена «Записки Вёдрина», направленного против М. П. Погодина, памфлета Белинского «Педант», обращенного против С. П. Шевырева, и др.

Большую роль в пропаганде «физиологического очерка» сыграл петербургский журнал «Финский вестник», издававшийся в 1845—1847 годах Ф. К. Дершау. В «Финском вестнике», придерживавшемся дружелюбных позиций по отношению к «натуральной школе» и Белинскому, опубликовано более двух десятков очерков, среди которых были весьма замечательные: «Денщик» В. Луганского, «Приказчик» А. Лихачева, «Ярославцы» В. В. Толбина, «Гостинодворы» П. С. Федорова и др.

Первоначально «физиологический очерк» был всецело принадлежностью «петербургской литературы». Этот жанр культивировался и пропагандировался некрасовскими сборниками, «Отечественными записками» и «Современником», в которых главной фигурой был Белинский. И предшествовавшее этим выступлениям «натуральной школы» издание А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» было тоже прежде всего «петербургским» и касалось петербургской городской жизни. «Не-петербургскими», «не-городскими» были лишь очерки «Армейский офицер» В. В. Львова, «Знахарь» Г. Ф. Грицько-Основьяненко (Квитка-Основьяненко) и «Уральский казак» В. И. Луганского (Даля). Не-городским оказывался и «Кавказец» М. Ю. Лермонтова, оповещенный без его имени как предназначенный для «Наших...» (напечатан был только в 1929 году).

Но физиологический очерк недаром явился практической реализацией призыва Белинского создать многоголосую русскую беллет-

ристику, которая охватила бы все стороны действительности. Уже скоро «петербургский» физиологический очерк переселился в Москву, в которой славянофилы, и прежде всего «Москвитянин», в первое время в штыки встретили это новшество. И все же именно в «Москвитянине» с конца 40-х годов стали появляться «физиологические очерки» талантливого И. Т. Кокорева, хорошо знавшего по опыту своей жизни московские трущобы.

Появление «физиологических очерков» в этом московском журнале ретроспективно отбрасывало свет и на любопытную, вышедшую еще в 1842 году книгу «Очерки московской жизни» П. Вистенгофа, литератора второстепенного, о котором мы почти ничего не знаем. Книга состоит не из «физиологических очерков» в собственном смысле слова. Но такие вошедшие в нее зарисовки, как «Купцы», «Чиновники», «Цыганы», «Извозчики», «Разносчики», «Мальчики», «Женщины», «Наемные люди, кучера, лакеи»,— приближаются к «физиологическим», социальным описаниям, к типам, «списанным с натуры».

Итак, перед нами действительно целая литература, один из важнейших ее срезов — русский «физиологический очерк» 40—50-х годов, как мы уже сказали,— полезное и несколько неожиданное чтение для наших современников.

Из предлагаемых нами очерков легко можно было сформировать определенные группы или циклы, например выделить очерки о дворниках, денщиках, приказчиках, водовозах, извозчиках-ваньках. Целую группу могли бы составить очерки о торговцах. Видимо, образовали бы своеобразную группу очерки «Барышня», «Няня», «Сваха». Интонационно тянутся друг к другу «Кавказец» Лермонтова, «Денщик» Луганского (В. Даля).

Но мы решили не классифицировать очерки по темам. Во-первых, это нельзя сделать без натяжек и неизбежной произвольности. Во-вторых, наши очерки — разного художественного достоинства и нивелировать их уровень было бы неверно. В-третьих, важно сохранить их в той сложившейся связи, в какой они впервые появились в свое время в тех или иных изданиях. Эти «паспорта» очень важны для углубленного изучения русского «физиологического очерка» в целом, его генезиса, тенденций.

Вернемся в заключение еще раз к художественно-методологическим принципам «физиологического очерка», его жанровому лицу, его месту в литературе.

Автор вдумчивой книги о «физиологическом очерке» А. Г. Цейтлин делает такой вывод: «Можно, не боясь преувеличений, утверждать, что «натуральная школа» обязана «физиологическому очерку» своим рождением в большей мере, нежели повести и роману»[1]. С этим можно согласиться, но лишь памятуя, что именно романами

---

[1] Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе (Русский физиологический очерк). М., 1965, с. 92.

«школа» доказала свою силу и закрепила свое существование («Бедные люди» Достоевского, «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова). Такая же важная роль выпала и на долю рассказов и повестей — «Записки охотника» Тургенева, «Сорока-воровка» Герцена, «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка» Достоевского. Рождение «натуральной школы» зависело главным образом от таких предшествовавших произведений, как «Евгений Онегин», «Повести Белкина» Пушкина, «Мертвые души», «Шинель» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова. Но «физиологический очерк» был, пожалуй, наиболее демократическим жанром «школы», непосредственно, напрямую откликавшимся на возникшую потребность обращения к сословным низам и смелого введения их в русскую литературу. Очерк открыто, публицистически отвечал на вопрос, поставленный еще Пушкиным в «Станционном смотрителе», о правомерности общественного интереса к коллежским регистраторам. «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей)»,— пишет Пушкин.

Подобное обращение к читателю — неотъемлемая принадлежность «физиологического очерка». Е. Гребенка, например, вот таким образом рекомендовал читателям заглянуть на Петербургскую сторону: «Если у вас много денег, если вы живете в центре города, катаетесь по паркетной мостовой Невского проспекта и Морских улиц, если ваши глаза привыкли к яркому свету газа и к блеску роскошных магазинов, и вы, по врожденной человеку способности, станете жаловаться на судьбу, станете отыскивать причины для капризов, для своих мнимых несчастий, то советую вам прогуляться на Петербургскую сторону, в эту самую бедную часть нашей столицы... Вспомните, что в них [в домах.—*В. К.*] живут десятки тысяч бедных, но честных тружеников... и освистанный актер, и непризнанный поэт, и оскорбленная чем-нибудь на белом свете девушка — все убегают на Петербургскую сторону, расселяются по мезонинам и в тишине предаются своим фантазиям».

Полемика с совестью читателя, ломка предрассудков, привычек весьма характерны для статей Белинского. Он, например, разыгрывает следующий диалог в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Что за охота наводнять литературу мужиками? — восклицают аристократы известного разряда [...] А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — Его душа, ум, сердце, страсти, склонности,— словом, все то же, что и в образованном человеке».

...Строго говоря, в структуре «натуральной школы» можно выделить два потока: реалистический и натуралистический. К первому относились произведения Достоевского, Некрасова, Герцена, Тургенева, Гончарова, преимущественно романы и повести. Ко второму — произведения В. Даля, Е. Гребенки и тех многочисленных литераторов, которых мы упоминали выше как авторов «физиологических очерков».

Не следует, конечно, упускать при таком разграничении и множества оттеночных поправок, которые напрашиваются. Тот же Некрасов как очеркист вместе со своим незаконченным романом «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (куда входил очерк «Петербургские углы») — скорее натуралист, чем реалист. Следовательно, могли быть натуралистическими и романы и повести. В то же время реалистическими могли быть и сами очерки, как например «Хорь и Калиныч», наиболее «физиологический» во всем цикле «Записок охотника» Тургенева.

Термина «реализм» еще не было, и понятие «натуральная» покрывало собой оба этих потока. Натурализм «физиологических очерков» не был враждебен реализму, более того, в значительной мере он был как бы его предварительной ступенью. И если В. И. Даль, несмотря на все ожидания Белинского, так и остался натуралистом, хотя, может быть, лучшим из мастеров «физиологического очерка», и не сделался «вторым Гоголем», то Некрасов как раз проделал такую эволюцию — от натурализма к реализму в жанрах поэзии. И «физиологический очерк» был для него важной вехой в творческом развитии. Проделал эту эволюцию и Д. В. Григорович, чья повесть «Антон Горемыка» (1847), несомненно, свидетельствует о реалистическом характере его творческих принципов.

Когда мы выделяем «физиологический очерк» в самостоятельную разновидность жанра очерка, тоже следует помнить об условности этого разграничения. Не всякий из очерков, включенных нами в предлагаемую книгу, строго выдерживает канон этой жанровой разновидности. Заметна у некоторых авторов непоследовательность в использовании очерковых приемов и принципов. Подчас, наверно, не хватало и таланта вполне овладеть жанром. И все же совокупность художественных принципов «физиологического очерка» может быть довольно четко определена.

Этим очеркам свойственны подчеркнутый демонстративный ввод в литературу «маленького человека», о чем мы уже говорили, душевное сочувствие этому герою, свойствен аналитический метод — вскрытие язв общества, его струпьев, исследование «физиологии» «недомоганий», которые искажают само понятие о жизни. Эта «физиология» в свою очередь диктует безыскусственную точность, скрупулезность описаний, показывающих и внешнюю оболочку явлений и их изнанку, внутренние секреты жизни. С прямотой физиолога-врача, не стесняющегося присутствия «больного», говорится об удручающих, темных, грязных сторонах жизни, причем возможные отвращение и брезгливость побеждаются высоким чувством долга честного общественного аналитика, который воодушевлен идеей раскрытия тайн недуга, избавление от которого всем должно принести облегчение и радость.

С формальной стороны «физиологический очерк» бессюжетен, без интриг, а если они и выстраиваются, то стихийно, ближайшим образом вытекая из бесхитростных ситуаций, обыденной жизни «маленьких людей». Легкая сюжетность складывается иногда лишь в

очерках о проделках мелкого барышника, какого-нибудь гостинодворца, дворника, лоскутницы, при описании простой смены обстановки, поступления внаймы к новым хозяевам и т. п. Раз навсегда данное социальное положение определяет весь круговорот жизни героев. «Физиологический очерк» статичен и не показывает жизни в развитии. Но эта статика — нарочитый авторский прием, который призван с помощью простого перечисления деталей жизни героя поразить воображение читателя бездонностью разверзающегося мира, мимо которого пройти уже нельзя. «Физиологический очерк» часто начинается с того, что некий посторонний человек, прохожий с улицы (как бы каждый) заглядывает во двор дома, разговаривает с дворником и с его слов знакомится с хозяевами, жильцами, снимает тут же квартиру на время и погружается в особенный мир «маленьких людей», с их нравами и привычками. Иногда эту роль посредника выполняет сам автор, приглашающий читателя обратить внимание на «малых сих».

В «физиологическом очерке» обычно две части: чисто описательная — социальная характеристика и, затем, бытовая — с поступками, диалогами, дающая возможность представить «особь» в действии. Но это действие, как правило, прежде всего прямая реализация сущности типа: дворник метет, водовоз развозит воду, сваха сватает, маркер гоняет биллиардные шары, денщик чистит мундир хозяина, приказчик отпускает товар, борзописцы строчат свои опусы, хвастун хвастает. Самые заголовки «физиологических очерков» и есть чаще всего названия профессии, состояния, сущности социального типа.

«Физиологический очерк» со временем развивался и... растворялся в других жанрах. Он продолжал жить и оказывал влияние на последующий литературный процесс. И здесь можно назвать новые и повторить уже упомянутые имена.

Следы такого влияния видны в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского, очерках А. И. Левитова и В. А. Слепцова, в «Записках из Мертвого дома» Достоевского, в «Живых цифрах» Г. И. Успенского, в рассказе «В Москве на Трубной площади» А. П. Чехова и др. А в советское время — у В. В. Овечкина в «Районных буднях», в некоторых произведениях на производственные темы и описаниях Великой Отечественной войны. Следы его влияния видны и в формировании русской демократической поэзии, особенно Н. А. Некрасова — «Огородник», «Псовая охота», «Еду ли ночью по улице темной...» и др. Некрасову предстояла труднейшая задача — окончательно повернуть поэзию к чисто русским темам, поднять на эстетический пьедестал самые низменные, казалось бы, темы, в которых никакой поэзии, как считалось, нет и быть не может. В свою очередь эта некрасовская традиция переходит затем в поэзию С. А. Есенина, Д. Бедного, А. Т. Твардовского

Заслуги очерковой литературы заметны и в судьбах русской классической драматургии, и прежде всего А. Н. Островского. Без «Картины семейного счастья», «Записок замоскворецкого жителя» не было бы и его первой пьесы «Свои люди — сочтемся». Влияние

«театра Островского» ощущается позднее в «Детях Ванюшина» С. А. Найденова, в пьесе «На дне» М. Горького, в некоторых современных пьесах.

Во всех случаях, когда надо было литературе встряхнуться, пересмотреть традиции и раздвинуть горизонты социального видения, приковать общественное внимание к новым вопросам, к бесстрашному исследованию язв жизни, и оказывались тут как тут бесхитростные каноны «физиологического очерка»... И в этом обращении к ним сказывалось всякий раз творческое дерзание литературы, ее стремление пребыть верной ошеломляющей правде жизни и неподкупной общественной честности.

...Остается оговорить чисто технические вопросы нашего издания. Большинство очерков печатается по тексту первой публикации. В тех случаях, когда источником для нас было какое-либо другое авторитетное издание, оно указывается в комментариях. Текст очерков в основном приведен в соответствие с сегодняшними грамматическими нормами. Однако там, где «отклонение» несет в себе некую стилистическую окраску, мы оставляем старое написание. В тексте под строкой сохраняется авторское примечание (или первого публикатора). Наши примечания как составителя снабжены пометой: *Ред*. Они чаще заключают либо перевод иностранных слов и выражений, либо указание на искажение того или иного слова, жаргонное его применение. Эти постраничные сноски обозначены цифровой нумерацией. В тех же случаях, когда слово, выражение нуждается в развернутом объяснении, читатель должен обратиться к комментариям в конце книги. Слова, понятия, выражения, объясняемые в комментариях, обозначаются в тексте звездочкой.

В. И. Кулешов

„НАШИ, СПИСАННЫЕ С НАТУРЫ РУССКИМИ“,

АЛЬМАНАХ А. П. БАШУЦКОГО



ВОДОВОЗ

БАРЫШНЯ

ГРОБОВОЙ МАСТЕР

НЯНЯ

ЗНАХАРЬ

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

КАВКАЗЕЦ





ВОДОВОЗ

Вы, которым поддельный груз вашей жизни кажется столь невыразимо значительным, столь нестерпимо тяжелым, вы, полагающие, что на Атлантовых раменах вашей *светскости* и важности держите шар земной с блаженством его обитателей, что низвергнете все в безбрежные пространства бесконечного и раздробите судьбы смертных, если вздумаете только уклонить одно плечо от привычного его положения, вы, посвящающие ежедневно три часа на животненный акт питания, для которого собрано изысканною причудливостью хитрой и роскошной науки пресыщения все драгоценнейшее, производимое природою в воздухе, в воде и на земле отдаленнейших концов нашей планеты — и все это для поддержания бедного вашего тела, вы, проводящие четыре часа на вечере, в котором развитием избалованного вкуса и неутомимой жажды наслаждений дана жизнь самым дивным, самым невероятным снам огненного воображения и ненасытимой чувственности, где вихрь, блеск, угар, нега, обман, истомляя, обольщая ваше естество, уносят вас из мира существенности в неестественный мир волшебного самозабвения, вы, отнимающие от жизни лучшую часть на рысканье, необходимое для поддержания связей и влияния, на мотовство, усиливающее ваше значение, достоинство и превосходство, на карточную игру, в которой переходят по зеленому сукну суммы, достаточные для осчастливления многочисленных семейств и собранные кровавым потом рук, истомленных, чтобы добыть себе — кусок хлеба, а вам — возможность метать золото, вы, дивящиеся, что после всего этого вам остается на день только два часа истомы, пустоты, скуки и ослабления, для семьи, для духа, для мысли, и только семь, восемь часов для тревожного сна, скажите: жалуясь всегда, на все, в этой жизни, созданной вами для себя, по воле своей, думали ли вы когда-нибудь о тех, которые никогда не жалуются на жизнь, не избранную ими, но тяжело упавшую на них из урны судьбы? Знаете ли вы, кто эти не жалующиеся, и сколько их, и сколько вас? — и почему не жалуются они?! — Вы, решающие все окончательно, разрешили ли вопрос: кто из вас и их имеет пра́ва жаловаться?

Видали ли вы по крайней мере когда-нибудь вблизи одного из тех *низших*, необходимых тружеников земли, которые носят одинаковое с вами, родовое всем нам название, которые, по милости бога, наделены точно такою же, как мы, душою, в груди которых бьются сердца, столько же, как наши, способные глубоко и прекрасно чувствовать, но от которых отнята возможность красиво изображать свои чувства, картинностью выяснений, лоском и художественною отделкою форм — заслуживать наше внимание, которые, не имея наря-

дов и маск, возбуждающих в нас участие, страдают молчаливо, терпят с христианским смирением? — Нет, вы этого не решали; вы об этом не думали; вы не видали этого близко! Вам некогда! — Жалко; низшая братия наша — тоже люди. И в них рукою вечного делателя вложены чудесные звуки дивной гармонии чувств, общедоступных человеку. Им не достает только тех уст, тех перстов, детей науки, которые бы извлекали звуки сии в проявлении, нами условленном; но если, вырванные из души невольно, они раздадутся в первобытной дикости и в величии простоты неподдельной,— кто виноват, что мы, не понимая их природного значения, затыкаем уши или отдаляемся презрительно, чтоб не слышать?

Мирясь с своею судьбой, бедняки не ищут, не вымаливают, не выкланивают участия от нашей бесчувственности ко всему природно трогательному, но терпят безропотно и, с благородною гордостью самосознания собственной силы, несут свой крест! Они полезны, и уверены в том: вот их награда и утешение. Карабкаясь по вавилонской лестнице неестественных страстей, требований и причуд, мы, слабые, в твердую грудь терпеливых уперли острые ее концы, и деремся и боремся на ступенях, скидываем, тащим, кусаем, подталкиваем друг друга и давим грудь людей, отягченную этим грузом; но они не ворочаются, зная, что могут уронить всю лестницу... вот их добродетель!

С одним из этих низших я хочу вас сблизить... не бойтесь, на минуту только,— простым рассказом самого простого происшествия. Выпивая свою чашу, отчего же не узнать, из какой пьют другие?

Осьмнадцатиградусный мороз щипал лицо; я шел отыскивать товарища юности, обстоятельствами жизни разлученного со мною в течение многих лет. Войдя во двор дома, в котором он нанял квартиру, я постучал в обмерзлую подвальную дверь, заключая, по проведенной над нею из-под ворот проволоке к колокольчику, что в этом подземельном логовище должен помещаться трудолюбивейший или, по крайней мере, наиболее трудящийся из жителей огромного дома. Через минуту дверь растворилась, густые клубы пара, с которым смешивался запах сырой гнили, гари, тютюну*, капусты и прелой овчины, пахнув в холодный воздух,— отбросили меня на несколько шагов назад; в тумане их появился мужик-татарин, в пестрядинной рубахе и суконном жилете. «Где живет Жигитов, тот, что недавно приехал?» — спросил я. «Жгутов? знаем! одиннадцать нумир, бачка*, на правай-та́ лестницы, в верхах; вишь, барин, где карзина в стикле?»

Я направился по этому подробному указанию. Лестница, по обыкновению весьма многих жителей и лестниц в Петербурге, была двухличная, *парадная* для малых, *грязная* для больших квартир. Ступени, заплесканные смерзшеюся в сосульки водою, были страшно скользки. С первого шага меня поразили болезненные вздохи, раздававшиеся сверху. Каждый звук имеет свое особенное значение; по выражению этих тяжелых вздохов должно было заключать, что они

вырывались из груди невольно. Я осторожно шел по ступеням, но по мере приближения к месту, откуда слышалась печальная гармония, она становилась реже, стихала и наконец замолкла в ту минуту, когда я вступал на площадку между третьим и четвертым этажами.

Там, на окне, свесив руки между раздвинутых колен, с признаками совершенного ослабления склонив к лядвеям туловище*, сидел мужик, худенький, светлорусый, лет тридцати. У ног его лежала здоровая обледенелая веревка. Обильная испарина, как будто выгнанная из его тела усилиями чрезвычайной работы, пропитав насквозь толстую пестрядинную рубаху, прильнувшую к плечам, спине и груди, отделялась в воздухе, который, сгущая ее пары, окружал ими этого бедного человека, как будто дымом. Когда я ступил на площадку, он болезненно приподнял голову; я испугался: в кротком, тоскливо миловидном лице выражалось столько жестокого страдания и вместе столько терпения, что я остановился невольно. Уста были открыты, нижняя губа заметно втянута, веки не имели силы подняться выше полуглаза, впалые щеки лоснились, как мрамор.

— Что с тобою? — спросил я.

Он, слабо покачав на обе стороны головою, произнес глухо: «Ничего, барин».

— Как ничего! ты болен?

— Убился,— отвечал он равнодушно.

— Убился?

— С грузом дров с верьха́ съехал, по льду, досюлева; больно скользко...

— Когда ж?

— Почитай, с час буде.

— С час?

— Отдохнуть, вишь, не могу,— сказал он, усиливаясь улыбнуться.

— Не зашиб ли головы? не сломал ли чего?

— Цело все; грудь, кажись, примял...

— Грудь?

— Дух захватывает, под сердце подступило...

— Ты здешний?

— Водовоз, батюшка.

— Нужно идти домой, скорее натереть грудь салом, напиться горячего.

— Ноги подкосило, пытал, барин, встать, да оказия такая — сил не хватает.

— Попробуй еще, я помогу.

Я должен был крепко держать его, цепляясь по скользкой лестнице. Одною рукой упираясь о стену, другою невольно налегая на меня, бедный, с неимоверным трудом, волоча ногу за ногу, дошел до низу безмолвно; что шаг, то страдание и победа духа над телом.

— Есть ли у тебя летучая мазь?*— спросил я. Он не понял.

— А чай?

— Где нам чаями заниматься, сударь!

— Возьми же это на лекарство.

Не принимая моего целкового, но взглянув в глаза с удовольствием, внезапно выразившимся на печальном его лице, он произнес робко: «Куда нам с лекарствами, ваше благородье! А вот там, на верхах, жильцы сидят без дров, не смог перетаскать еще с полсажёнки...»

— Полно, братец, ты едва движешься!

— Что ж, батюшка, из-за меня не оставаться людям без огня и воды; сил не хватает... а коли позволишь,— продолжал он робко, — так я принанял бы на эти деньги?

— Конечно, конечно! — сказал я, присоединяя к первой монете еще три такие же,— ты добрый парень, возьми, тут станет и на наем и на лекарство; нужно лечиться.

Он быстро взял одною рукой мою руку, которую поднес к устам, а другою отирал глаза. Рука его была мокра, жгла как огонь и сильно тряслась.

В больном проявлялось столько покорности к судьбе, столько терпения и благородной благодарности, что я был глубоко растроган.

Вызвав дворника, я нашел легкое средство убедить его отвести домой водовоза, положение которого казалось опасным, и пустился к своему приятелю.

О том ли было говорить с другом, которого я не видал с юности! Уходя домой, я хотел спросить о своем бедном знакомце у дворника — его уже тут не было; но дней через шесть я встретил его на том же дворе и на вопрос о больном он сказал мне:

— На другой день, бачка, товарищ-приятиль за них разнес дров и воды, а тут уж все стали таскать разные, пока оправится, говорят, сам, чтоб мести́-тá ему не потерять...

— Где живет этот водовоз?

— А, вон, пряма, бачка, в К-м приулке, в Струбничихинам-тá доми!

С трудом отыскав дом, хозяин которого носил имя даже и приблизительно не похожее на сказанное мне дворником, я проник в погребную каморку, занимаемую артелью водовозов. Было темно, душно, тихо; затхлый пар ледяным матовым слоем тотчас лег на нахолоделые стекла моих очков; не видя ничего, я крикнул довольно громко.

— Тише там, ну! — сказал кто-то сердито, но вполголоса; то был крестьянин лет тридцати пяти.

— Не здесь ли,— спросил я,— водовоз, который работал в Л-а доме и на днях зашибся?

— Здесь, здесь, барин! Извините,— шепотом отвечал мужик и, с выражением удовольствия глядя мне в лицо, прибавил,— а не ты ли, ваше благородье, помог ему тогда?

— Что с ним?

— Много воспоминал о вас; ведь мы, сударь, сироты горемычные, добро на сердце зарубаем; все говорил: вот уж барин, так барин,— дай ему бог здоровья! Кабы пришел!..

— Где ж он?

— Отходит, родимый, совсем отходит; с позапрошлого полдня страшно мается; узнает еще и ухом слышит, да язык-то уж отбило!

Под окном, убранным фантастическими сталактитами льду, близ стены, на которой зеленая, заиндевшая плесень раскинулась живописными орнаментами, по местам испещренными черными пятнами, на рогожах, прикрытых дрянною овчиной, лежал мой больной, на спине, как мертвый, вытянувшись. Из раскрытых уст изредка излетало дыхание, обращавшееся в холодном воздухе сперва в тонкую струю пара, потом в клубы, все больше редевшее. Глаза его были закрыты; к сложенным рукам был прислонен простой медный крестик, поставленный, вероятно, за неимением образка и колеблемый по временам судорожным движением груди. На лице выражалось величественно-страдальческое спокойствие с миром отходящего.

— Пантелеймон! — тихо произнес встретивший меня мужик, спустясь на колена и осторожно припадая к больному.— А! Пантелеймон!..

— Оставь, оставь! — сказал я.

— Нет, барин, сам наказал на случай; все вспоминал про вас; ну, говорит, братцы, вот уж умру легко, если увижу. Пантелеймон! Барина-то к тебе бог послал!

Умирающий открыл медленно глаза, повел кругом, вперил туманный взор в мое лицо, и высвободив с чрезвычайным усилием руку из-под полушубка, протянул ее, как бы ища чего-то. Я подал ему свою руку. Он поднес ее сперва к устам, которые трепетали, потом к сердцу, слабо пожал и, выпуская, указал в небо перстом и очами. По мускулам его лица пробежало что-то, как тень, но ни малейшей в них перемены, ни одного звука из спертых уст. Он стиснул медный крест на своей груди, потом приблизил его ко мне, и на глазах страдальца выкатились две крупные слезы, как две жемчужины, блестящие отливами неба!..

Ни мне, ни кому не достало бы уменья передать все невыразимо-печальное, все горькое и вместе таинственно-умилительное, что стеснило тогда мою душу!! Эта безмолвная драма смерти бедного человека, эта черта веры и сердечной памяти на пороге другой жизни, поучительно встревожила меня и озарила мой разум. Мне казалось, что в ту самую минуту я стал лучше душою, что я в тысячу раз счастливее, нежели когда-либо думал, что я, жаловавшийся на жизнь, недостоин подобной кончины!

Из рассказа товарища умирающего я узнал, что доктор, которого они с общего решения с трудом добыли, сказал только: «Какое здесь леченье, нужно отвезти в больницу»; в больнице — ни в тот день, ни на другой не было места; его привезли назад почти мертвого; «завтра,— сказали им,— умрут человека три, места очистятся, попытайтесь, коли захватите». Но в это *завтра* до больного уже нельзя было дотронуться, так он страдал. После совета артели положено на общие деньги взять в лавочке шалфею и мяты, которые настояли кипятком с медом и предложили Пантелеймону; но он не пил. Сбегали еще за цирюльником, полагая, не поможет ли отворить

кровь; но тот, взглянув на больного, не решился на это. Наконец, придумывая все, что знали, эти добрые люди хотели больного тереть подогретым вином, он не допустил, а только просил шепотом: «Дайте, други, священника». Артель тотчас пригласила из ближайшего прихода отца Алексея, который исповедовал, приобщил Пантелеймона, навестил его на другой день, принес подушку, новый полушубок и обещался еще зайти, не приняв *синей**, предложенной ему бедными людьми. «Еще, батюшка, приказал он вас слезно просить о деле, если б отыскали...—прибавил мужичок,— да уж дозвольте доложить после».

Я сказал ему, что пока в человеке есть искра жизни, грешно не помогать, а потому обещал тотчас прислать своего доктора; растолковал, где живу, и велел непременно явиться, если бы что случилось.

На другой день доктор объявил мне, что не застал уже в живых водовоза. Часа два спустя ко мне пришел и добрый товарищ покойного.

— Что, братец, Пантелеймон наш умер?

— Приказал долго жить, батюшка; воля божья, умрем все! Детки остались, жалко, трое, мал-мала меньше!

— Так он был женат?

— Женат, батюшка, пятый годок, на Аксинье Чубаровой из шабров*; красивая баба, что кровь с молоком, и разумница! Не расстался бы он с нею ни за что и на день, да худые в нашей стороне настали времена; покойник прининял мужика, брата меньшого поставил в доме, а самому здесь, в заработке-те, хотелось попытать счастия; ан вот и не посчастливилось.

— Давно ли он из деревни?

— Всего месяцев восемь, родимой; сотенку и две переслал жене; дюжий был работник! с амбицией! Гроша бывало на себя не прогуляет, всякую копейку пóтом выменяет, да и норовит слать к своим, чтобы было, говорит, на что им, бедным, прокормиться и подати да оброки выполнить. Больно скучал, батюшка, о них напоследях; как вспомню, говорит, об Оксютке да о ребятишках, сердце так и щемит; и умирая все крепко о них же тосковал.

— Что же делать, любезный, от смерти никто не избавился.

— Точно! Не осердитесь, ваше благородье, покойник велел броситься в ноги вашей милости и слезно просить о деле...

— Говори, говори, я все сделаю, что могу.

— Как стало ему хуже, на другой день, нам и за ним-то присмотреть хочется, жалко парня, больно добрый! и работать-то нужно; наше дело такое, батюшка, чуть день пропустил, так и потерял все места, не спросят, болен ли, умер ли, а чтоб была вода и дрова, подавай. Места же не скоро достанешь, за шестирублевым ходишь месяца два; нас, бедного народу, теперь много развелось в Питере. Ну, подумал я, как уйдем мы все с утра, а его бедного одного оставим — негоже! Вот я говорю ему: «Пантелеймон, я посторожу тебя сегодня, вишь, захирел ты совсем». «Ни, ни, Михайло,— сказал он,— и слышать, брат, не хочу; ступай себе, а то все места потеряешь,—

что мне? пришел час воли божией; оставь, брат,— не жилец уж я, а смертью своей разорять товарищей грех; да и тебе нехорошо, для чужого мертвого покидать своих живых. Отслужи мне лучше другую службу, отыщи, брат, коли можно, того барина... там в доме уж, верно, знают; упади в ноги, да и скажи, собрал бы с жильцов деньжонки, в долгах у меня ходит 34 р. 20 к., и отослал бы Оксюте; да и письмецо бы написал, писарь и за целковый уж так не напишет; со мною, дескать, смерть приключилась, до последнего часа о жене да ребятах помнил, и слезно плакал, и благословлял, а там буду бога о них молить!» Тут, батюшка, Пантелеймон зарыдал горько, да после уж и проговорил так сквозь слезы: «Вышла бы моя Оксюша после меня за Петруху Кононова, куда ей, бедной, одной с тремя мальчами маячиться, вконец разорится, горемычная!..»

Рассказчик остановился, чтоб отереть чистые свои слезы концом нечистого смурого кафтана.

— Ты очень любил Пантелеймона? — спросил я.

— Как, ваше благородье, не любить; сами видите, какой был! Коли мы друг друга любить не станем, одно горе горюя, так от кого же нам, бедным людям, ждать любви-то?

— Ну, говори, что было после?

— А после, батюшка, было то, что я артели как пересказал все, надорвались у бедных сердца, и порешили мы в один голос обмануть Пантелеймона...

— Как обмануть?

«А вот, батюшка, тотчас доскажу, не сбиться бы с толку, да не забыть чего». Тут он вынул из-за пазухи узелок. «Это, ваше благородье, образок и обручальное кольцо, Пантелеймон приказал послать к своим; а вот ваши три целковых с полтинником, велел отдать вам; одну полтину, дескать, скажи, только издержал, с позволенья, нанял за себя человека поработать в намеднишний день. А вот еще 13 р. 8 к. у него в коробе нашлось движенности; а это уж мы сложили, по два четвертака с брата, с четырнадцати душ артели; чем богаты, тем и рады, то есть для вдовы и сирот. Вы, батюшка, ваша милость, в письмеце-то не извольте писать, что от нас, а так, то есть просто...»

— Бог вас наградит, добрые люди; в чем же и как вы его обманули?

— А мы, изволишь видеть, порешили так, чтоб, не говоря ему, такой то есть он был великатной, до конца месяца работать по очереди на его местах; другой день хоть измаешься больно, ну что ж, за сирот бог заплатит, батюшка; так деньги-то за целый месяц за него получим; выйдет по расчету за остальные дни рублев 17, да долгу соберем 34 р. 20 к., оно семье подспорье. Я все тут принес, ваше благородье, потрудитесь сосчитать: 13 р. 8 к., да 14 полтин серебра, да 34 р. 20 к., да 17 рублев...

— Восемьдесят девять рублей, семьдесят восемь копеек. Последних 34 р. и 17 р. вы еще не получили, зачем же отдаете теперь?

— Мы уж получим, батюшка, и поделим по-свойски, а теперь

собрали свои крохи, чтоб сиротам-то послать скорее. Восемьдесят девять рублев семьдесят восемь копеек? Ну, слава богу! Эх, до сотни-то малого не дохватило!

— Нет, любезный, дело нужно сделать вот как, послушай: ваши деньги и мои вы возьмите назад, у меня есть добрые знакомые, которые немножко побогаче вас, понимаешь?

— Смекаю, государь; в том воля твоя, что угодно, то сделаешь; только уж я не смею т. е. против артели поперечить; как положено на миру, так тому и быть. А твои три с половиною целковые не наши, батюшка,— покойниковы; воля покойника святая, по его приказу тебе следует их взять...

— Правда, правда; но вы и без того издержались на похороны?

— Мужицкие похороны не какие, сударь, двух целковых за глаза хватило и с угощением; он нам был друг.

— По крайней мере, отнеси вот это в артель, пусть уладят, чтоб поминали покойника в церкви.

— Это, батюшка, можно!

Вот история бедного Пантелеймона и его товарищей, то есть история наибольшей части петербургских водовозов, преимущественно добрых и честных из рабочего народа. Но что нам, скажете вы, в столь пошлой обыкновенной истории?

Nous sommes de ceux qui disent: c'est rien,
Ce n'est qu'une femme qui se noie![1]

Вам известно, что промыслы и занятия петербургцев низшего разряда распределились у нас по губерниям; здесь не место входить в объяснение начал этого любопытного явления,— губернии, будто школы нашего столичного трудового народа, шлют нам: одна — каменотесцев, другая — землекопов, та — половых в трактиры, эта— плотников, стекольщиков, мелочных разносчиков и пр.; *водовозы* почти все из Твери. Их в городе несколько более тысячи человек. Вы понимаете, что одна тысяча не может доставлять воду всем петербургским жителям, что в наименьшей части домов воду возят на своих лошадях, а почти две трети полумиллионного народонаселения столицы носит для себя воду на собственных плечах, точно так же, как мы все, аристократы и водовозы, носим на своих плечах ужасный груз воздуха, необходимого для жизни. Везде и все — дело привычки: к этой ноше мы привыкли, потому только и не гнушаемся ею. Наконец, в некоторые домы, по берегам Невы и даже Фонтанки, ныне вода проведена трубами; но все это мелочь в сравнении с числом людей, получающих воду от водовоза.

Водовозы не имеют никакого официального состава, не представляют отдельной общины или цеха, не состоят в чьем-либо особом заведывании. Они просто городские жители, по паспортам и билетам,

---

[1] «Мы из тех, которые говорят: это пустяк. Это просто тонет женщина!» *(фр.)*. — *Ред.*

имеющие право дышать петербургским воздухом, топтать мостовые, но не имеющие права ни брать даром воду, как многие, ни, подобно еще большему числу, существовать,— не говорю наслаждаться — ничего не делая. По милости провидения к водовозам, эта отрасль промышленности, до времени, ускользнула от всезахватывающих подрядчиков, от всеглотающих подрядов и тех компаний, при которых тысячи людей должны тяжко работать, считая богатством лоскутья на плечах и кусок хлеба в желудке, для того только, чтоб один или десять могли иметь мебель boule или Pompadour*. Нет, однако же, сомнения в том, судя по направлению столичной промышленности, что мы отобьем у водовозов их работу, когда уверимся, что ею можно нажить лишнюю тысячу в год на эти необходимые элементы условий, составляющих *порядочного* человека.

Чтоб быть водовозом, нужно прежде всего быть человеком... не торопитесь, я тотчас объяснюсь,— нужно иметь твердую волю, большую силу духа и тела, крепкую веру в судьбу и в неотразимость своего назначения. Нужно, чтоб душа не смутилась и сердце не замерло при ясном разумении, что следует умереть с голода или решиться работать как лошадь, одинаково, беспрерывно, на солнечном пекле и трескучем морозе, под дождем и вечным петербургским ветром, круглый год, для того только, чтоб сперва заплатить оброк, а после съесть фунта два хлеба и несколько пригоршен распаренного гороху и вытрудить право на несколько часов уложить измученные члены на рогожу, в подвале, из которого мы убежали бы не только живые, но мертвые, если б могли и не поздно было бегать за лучшим после смерти. С шести часов утра до ночи черпать воду из канала в чан, возить ее в домы, разливать в ведра, разносить их по крутым лестницам в третьи и четвертые этажи, сносить оттуда помои, переколоть несколько саженей дров, перетаскать их со дворов в те же этажи вязанками, под которыми туловище должно пригнуться к коленам; для отдыха волочить на плот и обратно тяжелые корзины мокрого белья... вот ежедневная пытка — работа водовоза. С тех пор как наша огромная дворня достаточно образовалась комфортом столичной жизни, размножением винной продажи, удачно обогащающей и выводящей ее господ в люди из поставщиков и винокуров, устройством *Растораций** и пр., она восчувствовала свое достоинство, и ни в одном доме, мало-мальски порядочном, ни один из ее членов, начиная от дворецкого до мужика на конюшне, не приложит рук к подобной работе; она слишком трудна, следовательно, унизительна, господа должны нанимать для нее водовоза: порядочные люди нужны везде только для показу. Водовоз есть необходимое дополнение этой касты, а чуть ли не каждая каста имеет своих водовозов! Так было, так будет; нельзя же нам самим возить воду; помилуйте, будто мало того, что мы ее употребляем.

Вы не увидите водовоза старика, потому что до старости они не доживают, а стариком начинать эту службу — невозможно. Водовоз — человек между 22 и 40 лет. Он человек, говорю я, но *человек-товар*; он ежегодно продает нам, то есть убивает настолько — не страстей своих, мнений, чувств, совести, исповеданий, не того, что



можно теперь продавать за так называемое благосостояние, а просто лучшего цвета своей здоровой жизни, которую, при общей продаже всего, каждый бережет для себя; он продает ее за столько, сколько едва ли достанет светскому франту на жилет и дюжину перчаток... и для чего же, спросите вы? Для хлеба!! Скажите, будто это жизнь? стоит ли она, чтоб ею заниматься? Справедливо ею и не занимаются. Однако же это точно жизнь; спросите водовоза. Он в ней находит наслаждения — без угрызений совести, надежду — без честолюбия, горе — без скуки, существование и место на свете — без интриг.

Водовоз, если он не испугается своей истомы и не бросит занятий, умирает преждевременно, от чахотки, от натуги мышц, от истощения сил, от опасных изломов и ушибов. Ни одному из многих тысяч владельцев богатых домов никогда еще не приходило на мысль, что по грязным, темным лестницам его должен ежедневно цепляться, с опасностью живота*, человек, непостижимо гнущийся под тяжестью непомерных нош; пыхтящий и охающий так, что даже у вас поворотится сердце; с лицом, до того налитым кровью, с веревкой, до того

наддавившей череп, что вы не поймете, как не разлетится эта голова вдребезги! Лишь бы парадная лестница, которую видят, была удобна, чтó заботиться об устройстве этой, если на ней *сломаются* два-три человека, не беда, они из таких, которые будут заменены другими, они для того и сотворены; хозяин дома и не узнает о том. Водовозы редко выносят такую жизнь 5—8 лет, после чего, почти ни к чему уже не способные, они приносят семье, с несколькими сотнями рублей, изломанные кости, измученное тело, жизнь, оскудевшую и зараженную неизлечимыми болезнями, мучительно, но верно ведущими к ранней могиле.

Не забудьте еще, чтоб быть водовозом, нужно непременно быть совершенно здоровым человеком, здоровым не так, как мы здоровы, но в полнейшем значении этого выражения. Вспомните, что мы прячем бесчисленные и, может быть, довольно грязные болезни, давно живущие в братской связи в теле нашем, под мягкую фланель фуфайки, под лоснящееся сукно модного фрака, под бархат жилета и ратин пальто. Мы кутаем их богатыми енотами; спокойно возим их с собою в свет; беспечно стареемся вместе с ними, и кто знает, кто побожится, исправившийся ли я или еще настоящий, хотя седой шалун? Водовозу это невозможно: беспрерывные усилия, ужасающая ходьба, в снег, в слякоть, в жар и холод, прямое беспеременжное влияние воздушных перемен, горячая испарина, обильно извлекаемая тяжким трудом и мгновенно иссушаемая ветром, обмываемая дождем, оледеняемая морозом,— не бархат, не ратин; они быстро и страшно разовьют в нем малейшее зерно всякой болезни, несомненно убьют его в несколько дней; он не успеет даже собрать консультации единственных друзей человечества, богатых и модных медиков.

Чтоб быть водовозом, нужно еще обладать вещественным капиталом от 40 до 125 рублей для первоначального обзаведения. Пеший водовоз должен иметь на зиму салазки, к которым, в виде оглоблей, привязана веревка и на которых утвержден обрез или чан; на лето — двухколесные дровеньки с лежащею на них небольшою бочкою или несколькими анкерками*. Конный водовоз имеет всю эту *снасть* в большем размере, потому что он не сам ее возит, а владеет лошадью. Если бочка его выкрашена, что очень редко, если лошадь его может еще иногда пройти двадцать шагов рысью и послужною ведомостью своею не докажет 15 лет постоянной работы, если, наконец, он сам имеет одежду, похожую немного на армяк, и что-нибудь вроде шляпы,— тогда он уже *водовоз-аристократ*.

Наконец, чтоб быть водовозом, нужно еще, и это главное, обладать значительным невещественным капиталом терпения, аккуратности, добронравия и честности. Много, скажете вы? что ж делать! от малых всегда много требуется. Отсутствие одного из этих качеств пагубно для водовоза. Опоздай он доставить дрова, воду — кончено, потеряно место. Не подслужись водовоз к кому-нибудь из многочисленной вашей дворни, дай ей повод закапризничать — хотя бы вы сами покровительствовали водовозу — что вы? разве не известна вам ужасная, хотя мало видимая власть так называемых мел-

ких гонителей и покровителей? До вас дойдут слухи, что водовоз доставляет на кухню не воду, а отраву; что последняя болезнь ваша была произведена ею; к тому же водовоз не носит дров, и вы вчера чуть-чуть не замерзли; он ужасный грубиян, он ударил вашу собачку!.. его не только должно прогнать, но еще наказать при полиции!* Няньки, дворецкий, повар, камердинер, горничная — гордая аристократия передней — друг перед другом хотят показать свое превосходство и власть, и все это полною тяжестью ежедневно падает на бедного водовоза (и на маленького казачка, если, к несчастью, такой есть в доме).

Les petits pâtissent toujours des sottises des grands![1]

Занемоги водовоз на три часа, он выгнан; понятно, дворецкому, если у него нет своих protégés[2], все же не худо, при случае, показать, что он дворецкий. Будто не везде так? Но вы говорите, что рапортуетесь больным уже десятый месяц и получаете из двух мест свое содержание... Помилуйте, тут совсем другое дело, от вашей службы никому, как известно, не приходится воды напиться — а от его?.. Выгнать водовоза гораздо легче, нежели раздавить черного таракана; поверьте! черный таракан есть власть; он баловень предрассудка; в кухне на него мода,— а кто в моде, тот владыка счастия; он может и днем гордо ходить по столам и полкам, деспотически откушивать, прежде хозяина, от любого блюда, разводить свое интересное семейство в любом углу. «Черный таракан,— скажут вам,— божия тварь; как можно его убить? Он приносит в дом счастье»; а водовоз что такое? известно! — Мужик!! Он только носит воду да дрова, он насорит везде и наплещет; впрочем, его и не убивают, а только *откажут* ему... Только откажут! Но отказать от места этому бедному труженику гораздо хуже, нежели убить его. У него тотчас от 7 до 15 р. в месяц менее, а вы не знаете, как важны ему эти деньги; места в околотке все заняты, ими дорожат, за них крепко держатся; того, что он выслуживает теперь, ему едва достаточно, чтоб поесть и прикрыться на ночь от холода; неурожай в его стороне, его семейство нищенствует, он не заплатит вам оброка, а в казну подати — и вы знаете, чем это кончится? Он, бедный, в отчаянии; тяжелое, не фантастическое горе-каприз, но настоящее и беспомощное горе его души стоит только 15—20 р. в месяц!! «Какая ничтожность!» — говорите вы, презрительно смеясь. Купите же это горе за год, хоть за один месяц; бросьте эту сумму, чтоб сделать человека счастливым! «Дорого,— говорите вы,— такое ли ныне время, чтоб бросать деньги?» Говоря это, вы торопитесь на вечер, где должны проиграть в *экарте,* в *палки* или в *шорт-уист** 3000 р., а жена ваша должна гордо показать головной убор и бархатную мантилью, выписанные ею из очаровательного Парижа за такую сумму, которой было бы достаточно составить на три месяца счастье всех петербургских водовозов и их семейств!

---

[1] Маленькие всегда кормятся глупостями взрослых! *(фр.). — Ред.*
[2] Протеже *(фр.). — Ред.*

Вы скажете: «Нельзя же за других идти по миру»; справедливо, весьма справедливо!! Но взгляните в окно: ваш бедный выгнанный водовоз остановился на улице, он хлопотливо вынимает что-то из сапога... это грош из гривны, составляющей все его имущество: этот грош подан нищему!

Лошадь конного водовоза есть любопытный факт непрочности земного величия и изменчивости фортуны. Светский человек должен изучать ее физиономию и философию ее биографии. Мы могли бы рассказать вам многие любопытные истории этих лошадей: довольствуйтесь одною.

Все, вероятно, видели белую, некогда серую в яблоках лошадь, в беспрерывной задумчивости, печально и медленно влачащую широкобокую бочку вдоль Литейной и смежных улиц? Впереди бочки, почти упираясь лицом в хвост лошади, ужасно скорчась, сидит водовоз, оборванный и столь же худой и грустный, как его конь, которого он изредка понукает только голосом. Рожденная от смеси крови черкесской и британской, краса завода, образованная на славу, цененная свыше 7000 р., эта лошадь гордо и бойко лансадировала* некогда на зависть не только лошадям, но людям, между шенкелями превосходительного наездника, не менее пылкого и картинного; много выслужила она ему самых сладких побед! Карточный случай перевел ее внезапно в конюшню одного из тех богачей, которые умеют получать наследства от королей, дам и даже от холопов четырех мастей и чуть ли не от холопства звонкими достоинствами своими достигают до степени тузов известного разряда. Тут наш конь, впряженный в английский гиг*, начал привлекать взоры гуляк целого города, когда два плутовских глаза, остановясь однажды на бесподобном животном и прескверном его хозяине, породили в прелестной головке, которой сами принадлежали, следующую мысль: «Он очень богат, мотает, а я буду так хороша на этой лошади...». Вскоре на плече и вые чудесного коня покоились две полненькие, стройные ножки, пылко, весело и беспутно пробежавшие жизнь, данную для лучших целей. Но — этих ножек не стало, а хозяин коня на двойке спустил все*, и лошадь, с молотка проданная умному помещику, отправлена в деревню. Сын его приехал проститься с отцом перед кампаниею; опытным глазом оценив достоинства еще не очень старого, прекрасного коня, он выпросил его. Благородное животное ожило новой жизнью; оно пышет и порывается под молодым воином... надолго ли?.. Всадник пал; конь жив: он возвращен в деревенскую барскую конюшню; там, в воспоминание горестной утраты, его хотят сохранить неприкосновенным, спокойным — до смерти. Проходит несколько лет, лошадь изнывает, стареется одиноко; ей грустны даже заботы о ней... но она переживает хозяина. Является наследник покойного, он получил порядочное состояние: скорее, скорее издерживать его! в столицу! в столицу!.. он рожден не для деревни! Выводят заслуженного благородного старика, несчастного запрягают в подлый воз и заставляют тащиться с обозом в глухую осень. Печаль, болезнь, старость истомили остаток его сил; едва в столице уже по-

мышляют, куда сбыть клячу, не стоящую корму! Является татарин, он предлагает 15 р. и ведет хромающего старика на живодерню, обдумывая, сколько возьмет барыша на сухом его мясе... но в эту минуту навстречу им судьба посылает водовоза, несчастного, как несчастная лошадь. С первого взгляда животное и человек сдружились; предложено сперва 15, потом 25 р., 30 рублей; условились... Лошадь спасена от смерти; но как, чем и надолго ли? В мучительной новой жизни своей она умна и благородна, как всегда; она усильно вырабатывает насущную пищу хозяину своему и себе, бедной, столь же скудную. Она терпит, но не одна. Зубцы, скребницы несколько лет не прикасались к ее шерсти; зерно овса давно не попадало на ее съеденный зуб; ее презирают, над нею издеваются; зато никогда кнут хозяина не тронул ее, она слышит от него только ласковое увещание, доброе слово; она неразлучна с водовозом, она как будто понимает свое и его положение, и тихо, но полезно отживает последние дни свои, с участием и печалью глядя, бедная, на бедного хозяина своего! Всмотритесь в хорошую старую лошадь, невозможно не признать в ней чувства, понятия, почти разума. Она постигла суету славы! Подумайте, не такова ли судьба не одних лошадей, переживших свой блеск, свой век?..

Водовозы размещаются на жительство так, чтоб быть, по возможности, в центре круга своей деятельности. Водовоз нашел бы угол гораздо дешевле; но тогда он бы должен был издерживать физической силы гораздо более, а это невозможно, потому что он издерживает без остатка всю силу, данную ему природою. Они живут артелями, от 12 до 20 человек, бесхозяйственно; с них берут за квартиру дорого, от 18 до 22 рублей в месяц; потому, во-первых, что им нужна именно *эта* квартира, во-вторых, потому, что они бедны. Найми такой подвал барин, он не дал бы за него 20 р. в год; он скажет: «это не годно для моих собак», и ему тотчас отдадут его даром. Бедный за все платит дороже!

Водовозы почти не едят мяса, у них редко бывает кухня; они держали когда-то стряпуху, но она, нищая, обкрадывала их, бедных! С тех пор они *забирают* все, втридорога, в ближайшей мелочной лавочке; привычная их пища более пучащая, нежели дающая силы телу: хлеб, горох, лук, квас, изредка только роскошный студень; и за это приходится с брата от 19 до 22 р. в месяц! Но водовоз тоже мечтатель по-своему; он мечтает, что сыт, когда в сущности только надут сильно бродящею пищей; он мечтает, что спал ночью, когда только вертелся на голой доске; достаточно видеть его хоть один раз, когда, остановясь с своими бочонками середи улицы, он зевает; о, как зевает он! вы угадаете, что этот человек не имеет понятия о том, что по-нашему называется спать. Никакие другие мечты ему не известны. Зато силы его, истрачиваемые с непостижимою расточительностью, никогда не вознаграждаются ни сном, ни пищею. Он хил, бледен, тосклив, сух, утомлен; он кажется дряхлым стариком, хотя еще молод. Взгляните на него, когда он присядет,— положение каждого члена тотчас выражает, до какой степени мышцы натружены. Он говорит тихо, робко; ходит, склоняя вперед туловище, привыкшее тащить плечами бочку и носить на спине дрова. Одежда его — только

что одежда: рубаха, шаровары, иногда два фартука, белый спереди, кожаный, закрывающий спину, если достанет *капиталу*, и почти всегда род жилета из старого солдатского мундира, без рукавов и фалд; это мода; водовоз как будто бодрее под курткою военного человека; когда я спрашивал, он отвечал мне: «Что ж, батюшка, и мы *божьи солдатики»*. Главное то, что дешевле ничего на свете купить нельзя. На голове водовоза не шляпа, не шапка и не фуражка, а что-то непонятного вида и не имеющее названия.

Сообразите, вычислите все сказанное, положите произведение на весы чувства, и вы сознаетесь, что с каждою каплею воды пьете каплю крови водовоза, частичку его жизни; вы согласитесь, что прекрасно жертвовать своею жизнью, как он жертвует, с решимостью, спокойно, безропотно, без корысти, без надежды на лучшее! Прекрасно, потому что благородно и полезно.

Для чего же это все? для того единственно, чтоб исполнить прежде всего обязанность человека, мужа, отца! Отсюда извлекает бедный смертный необходимые ему силы и решимость. Вам любо жить с вашими так называемыми тяжкими трудами; вы вечно надеетесь, и не без причины; вы все выискиваете, вы все переноситесь, переползаете, перескакиваете туда, где лучше, и — везде вам худо; попробуйте поменяться с ним! Он не жалуется, не надеется; он видит ясно, что ему позволено и возможно жить на том только неизменном условии, чтоб работать, как животное; так он и работает. Условие им принято, и он свято его сдержит; потому что он и остался честным и добрым, он знает, что не перейдет за свое назначение; быть бесчестным его не поведет ни к чему; каждый кусок, приобретенный неправдою, остановится у него в горле; он знает, что будет *трудовым мужиком*, честным или бесчестным, но все же трудовым мужиком. За воровство, грабеж, взятку его тотчас осудят, накажут, и назовут эти действия прямо, по именованию их; по деньгам его не только не возвысят или не приймут в высший разряд, но едва лишь узнают, что они приобретены неправдою, изгонят его еще ниже, крича громко о правосудии. Главное же: он помнит (и на этот счет он одарен памятью, которой можно позавидовать), он помнит, что придет страшный час, когда его спросят: «Что делал ты в жизни?» Он, бедный, мыслит об этом часто и ужасно затрудняется, как отвечать! О, простодушный! Нам нужно готовить длинные речи, да мы не заботимся; а у него готов такой ясный и короткий ответ: «Господи! возил воду!»

Вот отчего водовоз сперва удивляется лакею, кучеру, дворецкому, повару, которые, живя безнуждно, в холе и довольстве, грабят и обкрадывают господ своих, их гостей, торговцев и даже его, водовоза! Далее передней он не видит, он только слышит иногда о том, что там делается, молчит и удивляется опять. После долговременного удивления ему случается вдруг понять, что он имеет полное право не столько уважать весьма многих, которым он удивляется; тогда он в душе не уважает их, и ему это горько. Но именно тогда другие, которым он прежде удивлялся, вдруг начинают удивляться ему и говорят глубокомысленно и значительно: «Что это, как ныне народ избаловался!» Но чем же, скажите? Он по-прежнему работящ, тих и добр.

Из всего этого вы видите, что если мы имеем многие качества, которых бедный водовоз совершенно лишен, то он лишен их не потому, чтоб был другое животное, а потому только, что судьбе не угодно было, на третий или десятый месяц после его рождения, ночью перенесть его из курной избы и положить в люльку наследника богатого состояния, а этого перебросить в изломанную корзину, из которой взят мужичонка. Зато наши пороки — полиглоты и космополиты, в палевых перчатках, в чудесных галстухах с обворожительными булавочками, с увлекательными ужимками, дивными манерами и музыкальными речами, ему тоже неизвестны. И он, как мы, живет в разлуке с женою; но не потому, чтоб он на ней женился не для себя и не для нее; а потому именно, что он живет вечно для нее, для детей своих и для чужих людей, которых питает, как будто свою семью. А как горько ему расставаться с своею женой! Посмотрите, а то вы не верите. Он никогда не был с нею так мил и учтив, как мы со своими; он, подчас, ругнет ее крупно и приударит больно, и ничего, потому что его жена не скудельное фабричное произведение, сотканное из шелку, гримас, капризов и хитрых понятий о жизни; но просто хорошее по природе, без причуд, существо, здоровая и добрая баба, созданная богом из красоты настоящей, а не из красоты — illusion[1], как tulle-illusion*; и для настоящей, а не для выдуманной любви, чтобы быть *заправскою,* а не маскарадною женою и матерью; наконец, для прямой жизни, в которой горем и работою покупаются хлеб и радость, может быть, и невзрачные, но зато вряд ли не лучшие.

Из многих низших *водовоз* — официально — перла, потому, может быть, что он более и тяжелее всех других занят; «труд честный и полезный есть отец всякого добра»— это давно решено. Вообще водовоз трезв, ему пить *есть на что*,— но *не для чего;* за несколько часов хмельного сна он и семья его будут наказаны нищетою; если же он пьяный вздумает идти на работу, то вряд ли воротится; вы знаете, как трудны спуски к канавам, как тяжело черпать, как скользко от намерзлой воды около плотов и прорубей, и каковы грязные лестницы!? Исправительная полиция никогда еще не имела надобности исправлять водовоза за буйство, воровство или пьянство. А сколько раз он спасал несчастных! Нет почти часа в дне, от раннего утра до позднего вечера, когда бы на плотах и пристанях не было одного, двух водовозов; человек оступился или кинулся в безумии... водовоз тут, и он спасен.

Остановите на улице водовоза, почти обессилевшего от работы, посмотрите, как он хорош, когда на вопрос ваш: «что, устал?»— бросив шапку на бочонок и отирая грубым рукавом крупный пот, он отвечает спокойно, доверчиво и взглянув на небо: «Ничего, отдохнем, батюшка!»

Когда этот труженик умирает от истомы (а сколько их умирает таким образом?), тяжко страдая, один-одинешенек, в сыром, вонючем углу, на рогоже, без помощи, без призора, без ласки — кто знает о

---

[1] Иллюзия *(фр.). — Ред.*

том? И кто знает еще, не лучше ли ему, нежели тому, который в это же время умирает на резной кровати, купленной едва ли не за кровать Франциска I*, окруженный мудрыми латинистами по 50 р. за час и нежными наследниками по 1000 р. за ласку?! Кто знает еще, каково и тому бедному товарищу умирающего водовоза, который, до глубины сердца растроганный его страданьем, обдумав и понимая следствия своего поступка, тихо проговорит это великодушное, хотя очень простое слово: *«останусь сегодня при нем»*. И точно, он остается... завтра он закрывает усопшему глаза, а послезавтра идет на привычную работу... напрасно, места его заняты; все двери, куда он носил воду и дрова, заперты для него; он надолго без хлеба! За прекрасное дело он лишился всей надежды, всего жалкого благосостояния своего, добываемого кровавым потом! Но если иначе быть не может, то удивительно ли, что ныне так мало дел прекрасных, как это — хотя бы не между водовозами?

— Слышали вы, вчера прибило водою мертвое тело к самому мосту?

— Скажите! мертвое тело! кто это?

— Неизвестно.

— Несчастный любовник? отчаянный игрок? Оскорбленный честолюбец!.. может быть, даже... любопытно, очень любопытно!..

— Деятельно разыскивают, собирают сведения.

— Одежда сохранилась? Он не военный?

— Нет.

— Стало быть, статский?.. не промотал ли казенных денег?.. По платью можно узнать однако же, принадлежал ли он к *обществу*?..

— Нужно полагать, что он из рыбаков, или водовоз...

— Во-до-воз!!! О, представьте! А я думал...— Тут, подняв брови и испустив презрительно «пфф!..», вы хладнокровно удаляетесь.

А. Башуцкий

БАРЫШНЯ

Возьмите любую книгу, где выведена на сцену старая девушка, вы найдете всегда одно и то же. Старая девушка причудлива, жеманна, ненавидит молоденьких и особливо хорошеньких девиц, любит кошек, собак, птиц!.. Конечно, есть много таких, но не все старые девушки одинаковы.

Старая девушка, которая смолоду была дурна, очень хладнокровно смотрит на красавиц, и почему ей смотреть на них иначе? Она уверена, что *приятность* лица лучше красоты.

Старая девушка, не видя цели в жизни своей, предалась учености; она педантствует, беспрестанно окружена книгами, беспрерывно погружена в важные занятия; кошки, птицы, собаки мешали бы ей, она терпеть их не может.

Старая девушка, боясь всего смешного, приписываемого обыкновенно всем старым девушкам, решилась сама всему и почти над всеми смеяться; она бросила лишнюю скромность, стала выше общего мнения, и впала в противоположную крайность...

Вот черты характера, которым наделяют обыкновенно всех пожилых девушек; вы видите, до какой степени они разнообразны; такая девушка не *тип,* а несколько *типов.* С одним из них, носящим имя *барышни,* намерен я вас познакомить.

Вы приехали утром к княгине С. В гостиной встречает вас *барышня,* которая *гостит* у княгини. Барышне давно, всегда около 30 лет; неизвестно положительно, дошла ли она до этих заветных годов жизни или уж переступила их. Лицо ее не противно, и те, которые не знавали ее прежде, полагают, что она была хорошенькая девочка. Увидя вас, она встала из-за пялец, в которых вышивала fond княгининой работы*, и, глядя вам прямо в лицо, приветствовала вас особенным наклонением тела вперед, составляющим нечто между приседанием и поклоном. «Не угодно ли сесть?— сказала она,— княгиня сейчас выйдет, она что-то не очень здорова-с!» Потом учредился разговор о погоде.

На барышне ситцевое платье, а на плечá ее накинут большой платок, под которым она несколько пожимается и под который прячет руки так, что только виден висящий на одной из них ридикюль, теперь уже полинявший, но причудливо вышитый смесью шерсти, бисера и золота. Странно, барышня не побоялась бы выйти так, в одном платье, зимою, на крыльцо, а в комнате она нередко зябнет; у нее часто болят зубы.

Княгиня вошла; барышня отходит к окну. Она может прислушиваться к разговорам княгини с посетителем, занимаясь работой; вот она уже вынула из ридикюля шитье проборкой по тюлю, натянутому на зеленую бумажку. Она когда-то шивала очень хорошо бисером, но с тех пор, как ее постигло несчастье, после которого ей некому вышивать бумажника, кошелька, вязать шнурочки, ее глаза что-то стали слабы; кто знает, может быть, и от слез! Она теперь в разговор не вмешивается: говорят по-французски. Барышня понимает все, она в ребячестве гащивала у Р. и всегда слушала, как дети учились; но выговор ее смолода был немного дурен.

По-русски она читает очень хорошо газеты, для другого чтения голос ее однозвучен и поднимается гораздо выше обыкновенного ее разговорного голоса. Держа газеты в обеих руках, барышня сидит всегда очень прямо, только наклоняет немного голову на правую сторону, так, чтоб смотреть на страницы вкось. Романы любит она страстно читать про себя. Вообще в ней много поэзии. Когда княгини нет дома, она садится за фортепьяно и, отыскав нужные клавиши, играет затверженный по слуху, немного ускоренный аккомпанемент, всегда в тоне ut majeur[1]; при этом она поет уныло; но, услышав стук

---

[1] Мажорный, радостный [тон] *(искаж. фр.). — Ред.*

экипажа, вскакивает от фортепьяно и, растроганная музыкою до слез, продолжает вполголоса напевать любимый романс свой.

Княгиня обещала отвезти ее вечером к Ф., там завтра именины, да и барышня уже так давно обещала *погостить* у них. Простясь с княгинею, она зашла в девичью проститься тоже и взять свой неразлучный картон с именьем; вот она уже отправилась. Барышню отвозят не в прихотливом экипаже: обшивни* в одну лошадь, кучер в картузе, лакей в затасканной, давно брошенной ливрее и в какой-нибудь фуражке или в круглой шляпе садится на облучок... Барышню отвезли...

У Ф.— много гостей; барышня проходит прямо в детскую: ее с радостными восклицаниями встречают нянюшки, дети кидаются ей на шею с визгом... все и везде любят ее, все ей *свои*, и все же у нее нет никого близкого; она одна-одинешенька в мире! Беспрестанная кочевая жизнь, переезды из дома в дом, кое-где ласка, кое-где радостная встреча, как у Ф., заставляют ее забывать свое сиротство. Куда ни явится барышня, она везде нужна: там походит за больным; здесь сводит детей погулять; тут поможет шить платье, съездит в ряды купить что нужно, выслушает жалобу на горькую участь... с нею делятся всеми хлопотами, всеми тяготами жизни. За то, в радостных случаях, барышня может сама принимать участие, ее не зовут на это, но и не мешают; даже не заметят, когда она украдкою оботрет горькую слезу, глядя на чужое семейное счастие. Бедная! зачем же она тут? ей бы лучше ехать гостить в другой дом, там на нее уже сердятся, что она забыла, давно не была; там о ней все вспомнили, потому что заболело дитя, муж уехал надолго или нужно кроить белье для дочери! К Ф. она приехала не на горе; когда хозяйка осталась одна, барышня вошла к ней, через спальню.

— А, душа моя, Катерина Астафьевна! давно ли вы здесь? вот это мило! Да что же вы не вошли к чаю?

— Я, видите, не одета, а у вас гости; я с детьми напилась; они мне так обрадовались.

— Вы нас совсем забыли. Завтра мои именины, у меня обедают гости, а там уж мы с вами вместе поговеем; вы ко мне не на один день приехали, не правда ли?

Тут пойдут расспросы, рассказы. Где барышня была, кого видела; барышня знает тоже кое-какие новости, но она не злословна, ей надобно каждого беречь; да она же так счастлива, ее везде любят...

Поздно, пора спать...

Барышне приготовили постель в детской; там все уже спят, только старшая няня, пользуясь свободной минутою, готовит себе чепец к завтрашнему торжественному дню. Барышне тоже надо кой-что заготовить; она подсела к няне.

Глубокая тишина, легкое дыханье сонных детей, храпенье здоровой кормилицы, полусвет ночника, разговор шепотом барышни с нянею — все расположило ее душу к доверенности; она незаметно высказала свою жизнь.

Вот она, еще малолетняя, лишилась отца и матери, и с тех пор взрастала и вскармливалась в чужих людях; тут она терпела и при-



выкала приноравливаться ко всем. Не без добрых людей на свете! Ей присватали жениха, умного, даже красивого! имя его... она его никому не сказывает! Это имя заветное; она хранит его в сердце, для себя одной! За несколько дней до свадьбы жених занемог и умер, с тех пор барышня обрекла себя на одиночество; с тех пор она не сымает с пальца безымянного перстенька с незабудочкой.

Барышня, поговорив с нянюшкой, наплакалась досыта, это отрада для нее; она усерднее помолилась богу, не забыв помянуть в молитве заветное имя; потом легла спать с сладкою грустью и заснула, думая, как бы завтра одеться понаряднее к именинному обеду.

Барышня не пренебрегает нарядами; взгляните на нее за обедом; она сидит в конце длинного стола, тут ей лучше, этот край ей знакомый; подле нее гувернантка, по другую сторону учитель музыки, подальше старичок, который лет двадцать почти каждый день ходит в

дом, а рядом молодой человек, воспитанник гимназии, которого Ф. берут по воскресеньям и праздникам. Барышне весело с ними; она смеется, шутит, щеки ее разгорелись ярким румянцем; волосы, гладко причесанные, блестят как зеркало и благоухают розами, височки как кистью выведены над ушами; белое платье — что может быть наряднее белого?— раскрахмалено пышно, и сверх тюлевой шитой пелеринки скреплен бирюзовою птичкой голубой газовый платочек! Платочек этот так мил! но часто он сердит барышню, путаясь в длинных бронзовых ее серьгах; хорошо еще, что она так ловко умеет расправить его, от времени до времени прикасаясь к нему слегка двумя пальцами.

Этот день — день торжества барышни! Сегодня ей, наравне с гостями, человек церемонно подносит кофе; обыкновенно она лучше любит пойти в комнату экономки, спросить «не осталось ли чашечки кофе?» Она весело угощает несколько лиц, вышедших из гостиной в кабинет; живо вмешивается в речи, изредка обмахивая платком разгоревшееся лицо и разговаривая с учителем, который присел тут к письменному столу, осторожно отворачивается от полурастворенной двери, боясь встретить слишком дружескую улыбку или бесцеремонный взор горничных девушек, с любопытством выглядывающих друг из-за друга. Барышня так добра, что в другие дни позволяет себе шутить, разговаривать с ними приятельски; но при гостях, которым из салона все видно, когда она так нарядна, они не должны с нею забываться.

Барышня, говея с Ф., была ей чрезвычайно полезна: она знает лучшее место в церкви, ей известно, какую свечу куда поставить, когда во время службы можно присесть, отдохнуть. Священника она очень любит, и он ее также, да и весь причет* ей знаком. Она всегда найдет сказать ласковое словцо и пономарю, и дьячку, и даже просвирне.

После Святой недели* барышня уехала от Ф.; она долго у них гостила; теперь в первых числах мая она едет с Т. в деревню. Сколько удовольствий ожидает ее там!

Она встает в деревне ранее всех и успевает нагуляться вдоволь до того времени, когда зазвонят к чаю. Но это не помешает ей опять идти гулять с детьми; добрая барышня! она их так любит! Зато нужно видеть радость милых малюток, когда в ту минуту, как старшая сестра в десятый раз прослушивает худо вытверженный ими урок, они вдруг заслышат из-за отворенной в сад двери тяжелые шаги барышни, возвещающей, что маменька позволила идти гулять. Впрочем, барышне в прогулке не скучно и одной. Тогда-то роятся у нее в голове воспоминания о прошедшем; от него мысль переходит к настоящему, мысль не очень веселая, иногда даже горькая, зато будущее?.. будущее!! Почем знать! может быть, впереди есть лучше!.. «Дай узнаю будущее»,— думает барышня. Вот, как тут божья коровка! Барышня легонько сажает ее на руку и, притаив дыхание, в несчетный раз в жизни своей, тихо повторяет трижды: «Где мне дом строить?» Божья коровка выправила из-под ярко-красной скорлупки своей крылышки

и вспорхнула вправо. Барышня следит за нею внимательным взором. Коровка полетела к церкви. «Уж не умирать ли мне нынешний год?»— сказала печально барышня. «Умирать?.. а, может быть, и под венец!»— прибавила она с неизъяснимою улыбкой. Вот, по бархатному клеверному газону капризная дорожка: барышня в сторону, садится на зеленую травку и начинает пристально смотреть вокруг себя. Она ищет трилистника о четырех листках; это уж верная примета к счастью! О! если только ей удастся набрать несколько таких стебельков, она как сокровище принесет их домой, бережно положит между листов книги и с довольным лицом явится к чаю.

В деревне барышня молодеет, она даже танцует часто. По воскресеньям съезжаются к Т. офицеры армейского полка, квартирующего в селе и вокруг; вечер всегда оканчивается танцами, и барышне нет недостатка в кавалерах; видно, она им нравится, кто знает?.. может быть, между ими ее суженый?.. а божья коровка!?. а трилистник о четырех листочках?!

Но вот август подходит к концу; Т. собираются в город. Барышня с переменою времени года переменяет место пребывания своего... Ей все равно, она везде дома, она нигде не у себя. Но чем же все это кончится? Где рубежи этой судьбы? Что на дальнем крае поприща? Как умирает барышня? Она должна же умереть подобно всем?

Барышня все живет так и никогда не умирает! Да, она возрождается, как феникс. Барышня существует всегда, не изменяясь, меняется только ее прозвание; рамка ее жизни однообразна, заготовлена одинаково для всех членов ее касты, все равно, какое бы вы ни вставили в нее имя.

Спросите княгиню: «Где та девица, которую я видел у вас в прошлом году?»

«Какая?.. Ах! да, та барышня, которая у меня *гащивала*? право, не знаю, что́ с нею... теперь гостит у меня другая!»

Княжна-а.

ГРОБОВОЙ МАСТЕР

Однажды, после полудня, часу в четвертом, возвращаясь из департамента пешком, я заметил живописную группу близ ясеневых дверей дома, занимаемого добрым приятелем нашим, Никандром Григорьевичем Жирновым, человеком, который по радушному хлебосольству своему далеко отстал от века. Группа состояла из тучного кучера в бархатной поддевке, запачканного дворника-татарина, в солдатском мундире, обращенном в партикулярный камзол через отрезание фалд и отворотов, аккуратного лавочника, занимающего часть подвального этажа в доме, наконец, из щеголевато одетого городового, на руке которого шевроны* свидетельствовали о столь же ревностной службе его Марсу, сколько багровое лицо, как бы на-

полненное зрелою брусникой, удостоверяло в добросовестности его поклонения Вакху.

Дворник с печальным равнодушием опирался на длинное древко метлы; городовой снисходительно потчивал лавочника напойкою бобкового*, которую тот уважительно почерпал грязными пальцами из круглой медной табакерки, и все слушали рассказ кучера, вероятно, о чем-то весьма любопытном. Судя по живости жестикуляции, по выразительности лица оратора и смущенному положению слушателей, можно было догадываться, что речь велась о деле важном; может быть, об изломанной карете, о внезапно павшей лошади или о покраже в доме.

Взглянув на эту картину, я вдруг вспомнил, что больше двух недель не был у Никандра Григорьевича. Зная, что по рассеянности могу не зайти к нему еще столько же времени, я вздумал воспользоваться часом, остающимся до обеда; разговаривавшие отступили от подъезда, и я взошел на лестницу, сожалея, что мы не имеем рисовальщиков вроде парижских Монье, Шарле, Жигу* и других, которые на лету ловили бы подобные сцены, переносили бы их на бумагу с натуры и передавали нам живописные черты народной жизни с ее оригинальными подробностями.

В бельэтаже, где жил Жирнов, двери из прихожей были настежь на лестницу и в комнаты: когда я вошел, меня, как говорят, ошибло сильным запахом смеси уксуса и мяты; странный беспорядок повсеместно проявлялся в квартире, отличавшейся всегда порядком, переходящим почти в педантство.

— Что барин?— спросил я, сбрасывая свой макинтош.

— Лежит,— отвечал с привычным лаконизмом и с угрюмым наклонением головы Клим, образец старых русских слуг, непоколебимо верных, родственно привязанных к своим господам и неизменно брюзгливых со всеми.

Увы! эта превосходная порода домашних двуногих животных почти перевелась нынче, как переводится порода знаменитых зубров Беловежской Пущи. Клим был едва ли не одним из последних представителей верных слуг, понимавших всю важность своего назначения.

— Как, лежит? — воскликнул я, глядя на часы, — скоро четыре! Неужели он еще не вставал?

— Вот! не вставал!— продолжал слуга, покачивая головою; потом, стиснув губы, он бросил на меня взгляд, в котором заметно было выражение укора, полупрезрительного сожаления и оскорбленного достоинства.— Не вставал!.. Встал, сударь, да и лег!..

При этом слове Клим сделал рукою движение, как будто сбросил что-нибудь тяжелое на пол, и, понурив голову, болезненно вздохнул.

— Лег, говоришь ты? Разве занемог?

— Занемог! хорошо, как бы только!— сказал Клим,— нет, сударь, не занемог,— продолжал он глухо и протяжно, скрестив на груди руки и неподвижно устремив на меня взор,— у-у-у-ме-реть из-во-ли-ли!

Глаза Клима сжались, густые брови его поднялись, все мускулы

лица судорожно вздрагивали, и концы рта беспрерывно стягивались к сморщившемуся подбородку. То было живое выражение отчаянной борьбы горя, требующего слез и рыданий, с достоинством, которое их не допускало.

— Умер! Возможно ли это? Когда? Отчего? Как? Умер! я еще третьего дня говорил с ним на Невском!

— Третьего дня, сударь? Третьего дня! Какое диво! Час тому назад мы собирались ехать на дачу, завтракали с барынею здоровехонько; изволили скушать цыпленка с свежепросольным огурцом и с сыром, выпили стакан го-сотерну-с* да приказали высечь Ваньку: вор мальчишка, разбил статуйку в кабинете и не сознался-таки...

— Умер! Отчего же это, Клим, так, вдруг?..

— Час пришел, сударь! Воля божия! Изволите видеть, здоров и весел вошел Никандр Григорьевич в кабинет и говорит: Дай, брат Клим, шлафрок.— Какой, сударь, прикажете?— Теплый; мне холодно что-то.— Я подаю им шлафрок; они изволили надеть один рукав, да вдруг, хлоп, передо мною: только охнули...

— Был ли доктор?

— Шестерых разослали за докторами, кого верхом, кого бегом; с собаками, сударь, не отыщешь: а есть этого добра в городе! Бусурманы такие! Своих, домашних, на жалованье, два: куда их!.. Когда не нужны, вечно торчат тут, словно бельмо на глазу; горазды поспеть только на обед да карты. Ну, уж теперь незачем и доктора; окоченел весь: на месте, сударь, убило!

Покойник лежал на диване; кругом все свидетельствовало о незлобных его утренних занятиях: на столе затейливая кофейница, в которой он сам приготовлял ароматную мокку*, и нумер газеты, дочитанный до оборота первой страницы, где находилось известие о скоропостижной кончине П. Н. ...Бедный Жирнов! мог ли он думать, что завтра об нем напечатают тоже? Возле начатого приказа старосте была открыта Phisiologie du goût*, с пометкою карандашом против одного блюда: «Приготовить в воскресенье».

Несколько старых женщин, с заплаканными глазами, шумно суетились около усопшего, заботливо подкладывали ему под голову подушки, охорашивали его... Чудное призвание! Как молодая женщина будет хлопотать около прекрасного, полного жизни юноши, так старая будет заботиться около умершего. И для чего? и почему? Не спрашивайте. Когда я заметил об этом угрюмому Климу, он, взглянув на них добродушно и махнув рукою, проговорил вполголоса: «Уж это такая, сударь, нация».

Я подошел к покойнику, творя свою молитву. Покойся, честный человек, каких нынче немного! Ты скромно шел своим путем, не обирая никого, не обгоняя, не толкая людей с дороги, не запуская руки в чужие карманы, не завидуя тем, которые быстро бежали вперед, не презирая бедных калек, едва тащившихся сзади; ты не смеялся над падающими и помогал, кому мог. Кто знает всех и вся, тот воздаст тебе за скромную и благородную твою независимость, за ребяческое простодушие, за незлобливость сердца твоего!.. Я нагнулся, чтоб поцеловать мертвеца, но над самым телом голова моя сильно столкну-

лась с чьею-то. Подняв глаза, я увидел человека лет тридцати четырех, приятной наружности, в длинном, красиво сшитом сюртуке; бородка его была особенно аккуратно подстрижена и причесана. Он учтиво поклонился мне, произнося извинения и медленно складывая деревянный коленчатый аршин; лицо его выражало обдуманность, приличие и нечто вроде той условной скорби или важности, которою мы привычно вооружаемся при печальном торжестве.

Я взглянул на него пристально; вероятно, на лице моем изобразился вопрос, потому что в ту же минуту незнакомец, учтиво склоняясь, глядя на меня исподлобья и положив правую руку на сердце, произнес скороговоркою: «Я гробовой мастер... хоронил покойного их родителя...»

— Как, уже здесь! — сказал я с досадою.

Он, сладким голосом и не изменяя положения тела, продолжал нараспев, будто чтец над покойником: «Это дело святое, сударь; к тому же и спешное; в такую минуту все озабочены в доме; своим не до того, так следует нам, по христианству и по должности, заняться. Длина тела средней руки, зато ширина, сударь, очень значительная, семь четвертей... Бархат ныне весьма дорог, а потребуется его довольно: для такой особы нужно поставить настоящий, плис* будет неприлично. Впрочем у нас все материалы — отличнейшие; работая не из выгод, а собственно для репутации, мы берем самые настоящие цены...»

Тут, сунув руки в карманы, он очень проворно подал мне кипку бумаг, говоря: «Аттестаты-с»,— а из другого высыпал на самую грудь умершего бесчисленное множество лоскутьев бархата, галуна, снурков, тафты и прочая. Поочередно хватая их быстро, потирая между перстом и указательным пальцем и беспрерывно становя между светом и своим глазом, гробовой мастер болтал безумолку: «Отличнейшие материалы! чудный товар! У нас одних ставят подобные!.. Без всякой выгоды работаем... Всем значительным лицам поставляем... поверьте чести! Траурные мантии с иголочки!.. Лошади, свежие, сударь!.. Бархат наилучший!.. Извольте заметить, басон* словно кованый!.. Имеем превосходные дроги с новыми балдахинами... С золоченными сквозь огонь скобами и львиными ножками, гроб себе обойдется в восемьсот рублей...»

— Мы возьмем подешевле,— произнес кто-то пискливым тоном.

Я обернулся: то был другой человек, точно так же одетый, но несколько подороднее; на шее у него висела медаль, видимо, с особенным тщанием выставленная напоказ.— «С серебряным чистым гарнитуром,— продолжал он,— можно взять четыреста восемьдесят ассигнациями; подушки будут пуховые, крытые лучшим атласом, с двойными рюшами... Мы известны пожертвованиями,— прибавил он, поправляя свою медаль,— и не гонимся за барышами...»

Не успев еще разинуть рта, изумленный подобным нахальством, я с удивлением смотрел на двух антагонистов, шепотом перебранивавшихся через тело покойника, когда третье лицо из того же сословия, вежливо называя меня по имени и отчеству, вполголоса начало речь таким образом: «Ваше высокородие, вероятно, изволили запа-

мятовать... я имел счастие хоронить вашего родителя, а также сестрицу, и заслужил удовольствие... мы поставим все несравненно сходнее...»

Вдвойне пораженный этим печальным напоминанием, я поворотился почти с ужасом, чтоб выйти, но дверь уже была загорожена: три или четыре новых лица заслоняли дорогу. В то время как я их расталкивал, один совал мне в руку печатный билетик с своим адресом, другой подавал написанный *«Полный счет печальной процессии его высокородия Господина Жирнова»,* третий говорил: «Прикажите нам, сударь, поторговаться». Смертный покой превратился в рынок: мастера бранились и шумели; по временам звенели слова: «У вас гнилой товар!», «Мы можем поставить за полцены!» «Эх! модные мастера!» «Слишком расхвастались!» «Наш магазин известен!..» Я выскочил, глубоко тронутый непристойностью этой сцены; все бросились за мною, перебивая друг другу дорогу и толкуя в один голос. В конце анфилады комнат я заметил женщин, суетившихся около хозяйки: она, бедная, если не видела, то, вероятно, слышала все. Пока я надевал макинтош, гробовщики окружили меня, перебраниваясь и требуя ответу. «Отстаньте,— сказал я,— бессовестные! Кто посылал за вами?..»

— Кто посылал за вами...— думал я, торопясь домой. И точно, кто же, в самом деле, посылает за такими людьми? Чудно! едва человек успеет испустить последний вздох, гробовые мастера уже тут; и это везде неминуемо, неизбежно. Любопытная загадка!.. Неужели они, подобно хищной птице, чуют издали труп? Я входил к себе, занятый этой мыслию: в передней меня встретил первый явившийся мне в кабинете покойника гробовой мастер; он обогнал меня на дороге.

— Вы здесь уже!— сказал я.— Прошу вас, оставьте меня в покое: не мне поручено это печальное дело.

— Позвольте,— отвечал он смиренно,— позвольте доложить одно только слово; если вы займетесь этим, что очень может случиться, то я согласен уступить двадцать пять процентов против всякой последней цены, которая состоится с другими... поверьте чести, будет сделано все лучше, хотя бы в убыток. Я Тихоморов, репутация моя...

— А!— сказал я,— знаю, знаю, вы первый петербургский гробовой мастер...

— Точно так-с; потому-то я готов пожертвовать: честь моя чувствительно-с пострадает, если не мне достанется поручение хоронить господина Жирнова.

При этом слове он учтиво поклонился и с достоинством вышел. Нужно же, чтоб именно на меня возложены были хлопоты о погребении моего доброго друга, и печальный счет точно был выплачен Тихоморову: я только впоследствии уразумел всю глубину искусства, употребленного им по этому случаю.

Это обстоятельство впервые обратило мое внимание на гробовых мастеров, с которыми я, увы! имел уже дело не раз, но которых тщательно не мог изучить прежде, потому что причины, временно сближавшие нас, были слишком горестны для моего сердца и вполне по-



глощали мое участие. Многое в гробовых мастерах показалось мне любопытным, и я решился короче познакомиться с ними. Как плод моих трудов и глубоких исследований, представляю благосклонным читателям эту слабую монографию их породы.

Что такое гробовой мастер? Вы, может быть, принимаете его за обыкновенного ремесленника? Многие так думают. Жалкая ошибка! Гробовой мастер есть власть или, если угодно, должность: скажу более, это одна из важнейших и самых доходных гражданских должностей; а что всего замечательнее, едва ли не единственная у нас, которою по какому-то чуду не успели завладеть немцы. Она благополучно спаслась от нашествия двунадесяти иноплеменных язык и поныне является еще с атрибутами высокой народности. Любите сколь-

ко угодно все иностранное, находите, что все русское никуда не годится, но если вы русский и умрете в России, не увернетесь — гроб будет сделан для вас русским гробовщиком, это непременно; он почти против общей воли приобрел такое доверие соотечественников-мертвецов своим искусством, ловкостью и аккуратностью, что когда, лет пять тому назад, один какой-то француз, то есть немец, прельщенный успехами русского гробовщика, открыл на Невском проспекте богатые мастерские для приготовления гробов «в лучшем новейшем вкусе, с ответом за прочность и удобность оных», то можно было подумать, что решительно не захотели умирать: мертвецы не являлись, и француз обанкрутился.

Таким образом, гробовой мастер — коренной русский. Этот любопытный факт открыт впервые мною, и позвольте мне гордиться славою столь важного открытия. Те, которые любят обо всем спорить, очень легко могут сделать мне возражение, что в Чернышевом переулке и поныне есть вывеска с изображением красного гроба и с надписью вверху по-русски ГРОБЫ, а внизу по-немецки KRAPU*, и что, следовательно, хозяин ее необходимо должен быть природный немец. Существования этой знаменитой вывески я нисколько не подвергаю сомнению, но торжественно протестую против всякого неблагоприятного провозглашенной мною истине вывода из слова KRAPU; многолетними исследованиями я лично удостоверился, что хотя здесь есть гробовые мастера немцы— но только для немцев же, а эта вывеска принадлежит тоже русскому гробовому мастеру, который, по собственным словам его, написал на ней KRAPU «единственно потому, что немцы, сударь, народ неграмотный, русского языка не понимают, так с ними надо говорить по-немецки». Что должно заключить из этого? Что и немцы требуют гробов от русского мастера.

Доныне гробовой мастер — русский, и добрый русский. Он степенно взглянет на вас, набожно осеняя себя крестным знамением, помянет вас недостойного и, смиренно вынув из кармана складной аршин, с печальным равнодушием тотчас смеряет длину и ширину вашего трупа руками, до которых вы боялись коснуться, чтоб не осквернить себя. Мерять ваш труп! Ужасно! О, если б вы тогда очнулись! Если б вы заметили, что гробовой мастер положительно удостоверился в эту минуту, что ваш труп не только такой, как все другие, но еще что он хилее, тощее, безобразнее и изношеннее многих плебейских трупов. О! если бы вы видели, как, вынув запачканную записную книжку свою, он хладнокровно отметил в ней «два аршина три вершка». Если б вы все это видели, каково бы было смущение ваше!

Через день или два дорожный экипажец для вашего последнего путешествия за границу жизни принесен, и вы бережно переложены в него руками того же гробовщика. Суета! суета! Возможно ли, постижимо ли, чтоб бородатый гробовщик мог быть вашим властелином, мерять вас, ворочать, двумя руками обнять, поднять и вложить в тесный гробик всю вашу надменность, все неприкосновенное величие ваше? О! если бы вы очнулись... Вы снова умерли бы, непременно, в ту же минуту. После этого, скажите, пристойно ли смотреть на гробового мастера как на ничтожного ремесленника? Чтоб вполне постиг-

нуть особу гробовщика, узнайте еще, что, как бы ни был богат и роскошен ваш смертный домик и что бы ни пожелала вычеканить на бронзовой доске его спинки спесь и чванство вашей родни или вечная благодарность ваших наследников, гробовщик, без насмешки, без злобы, без презрения, великодушно исполнит их требования. Ему все равно; он философ более всех предстоящих; он более свысока, нежели кто-либо, смотрит и лучше понимает эти проделки; завинчивая крышу вашего гроба, тогда как в головах других вырабатываются удивительные расчеты и соображения, в голове его вертится такая мысль: «Пускай их себе,— думает он, поглядывая исподлобья.— Пускай их себе! Гроб хоть и облит золотом, хоть заплачено дорогонько за него, все же сделан наживо, развалится тотчас: не увидят под склепом. На доске хоть и много кое-чего понаписано, а все же скоро в могилке останется только горсть тления: пускай их себе!» Такие мысли, верно, и во всю жизнь не приходили вам на ум; а он, видите, как думает: да что! еще, пожалуй, и при жизни вашей, он, глядя на золотую вашу одежду и по привычке относя все к своему ремеслу, в раздумье, чудак! уже не сравнивал ли вас, кто знает, с золоченым гробом, в котором лежит мертвец, может быть, истлевший? И после этого как же считать его простым ремесленником? Он философ, говорю я; кто вы, что вы, ему до того нет дела; меряйте важность свою и значение, как и чем хотите, а он меряет их своим складным аршином; кто бы вы ни были, когда вы еще живы, еще блестите всеми отличиями, удивляете толпу и оскорбляете зависть честолюбцев, он уже с разумною улыбкою взглядывает на вас и тихо произносит: «Гроб будет в десять четвертей». Потом, когда уже вы лежите на столе и присутствующие соразмеряют всячески вышину ходуль, с которых вы упали, он войдет, взглянет и, опять-таки, прямо, безошибочно, просто, скажет: «Десять четвертей длины, тринадцать с половиною вершков ширины!»

Доведя до сведения почтеннейшей публики важное открытие, что гробовой мастер у нас еще русский и вопреки всем нам не хочет идти в немцы, мы обязаны поделиться с нею другим не менее важным открытием, составляющим резкую особенность нашего героя. Занимая столь важную должность, он, если не совершенно один, то один из малого числа должностных, идет прямым путем, не ища связей, дружбы, покровительства, протекций; обращаясь со всеми равно, поступая со всеми одинаково, он существенно присуждает и воздает каждому не более не менее — как сколько *по точной мере* его особы следует. В веке, когда со всеми необходимыми людьми усильно ищут сближаться и когда каждый, желающий иметь влияние на многих, тоже ищет необходимых сближений, с ним, необходимым решительно каждому, не сближается никто, хотя окончательно все перейдут через его руки — он на всякого будет иметь влияние, всяким будет ворочать, как пожелает, и достигнет этой цели своего назначения без интриг, пронырств и исканий! Да, таково его высокое достоинство, что для исполнения общенеобходимых обязанностей своего служения он не требует ни значения, ни родства, ни свойства, ни знакомства. Вы ищете человека в то время, когда он чем-либо выше других; он

ищет его именно в то время, когда он нисходит на степень совершенного равенства со всеми. Он трудится для пользы каждого и, видя в человеке утрату того, что других к нему привлекало, тотчас к нему привязывается, именно в ту минуту, когда все его покидает! Столь отменная добродетель, столь неподкупная честность в веке, когда нравственность со дня на день более слабеет и колеблется, придают гробовому мастеру нечто серьезное, важное, как бы древнее. Он один из современников спокойно шествует в мире, не смущаемый дурачествами толпы, достойно неся на себе патриархальную печать своего завидного назначения, не развращаемый пороками общества, не изменяемый страстями и даже не подчиняясь всесильному влиянию нравственной и вещественной моды, которая, владычествуя над всеми, во всем, перед ним боязливо склоняет голову.

После психологического взгляда на обширное семейство гробовщика познакомимся с различными его членами, от мала до велика: вы убедитесь, до какой степени судьбе угодно было избаловать это интересное существо, уверясь, что и в климатерических переходах* своего жития оно необыкновенно сходствует с самым очаровательным из насекомых, с бабочкою. Таинственное сближение! Древние избрали бабочку символом души, уже освободившейся от цепей телесности. Не то ли самое выражает появление гробового мастера в доме нашем? Вы нигде, никогда не встретите его, доколе цепи жизненности еще крепко сдерживают две природы наши; но едва совершится с вами или с кем-либо из ваших таинственное преобразование, гробовой мастер, как символ и представитель желанного перехода, уже тут, и первый знаменует полет души из мрачной темницы света к счастливым равнинам безбрежной вечности.

Меньший из братий этого занимательного семейства, то есть первое видоизменение, или первый возраст, по выражению толпы, есть гробовщик низшего разряда; вы назвали бы его гробовщиком-плебеем, я называю гробовщиком-червяком, и вы увидите, что он во всем сходен с насекомым, в наименовании которого ему было бы несправедливо отказать.

Подобно ему, он, незамеченный, ползает по праху; избирает обиталищем в отдаленных кварталах старые деревянные или полуразвалившиеся каменные дома, помещаясь в низших жильях, в сырых подвалах; он любит запах гнили и тления, ищет мест пустынных, бедно населенных, безмолвием и наружною малодеятельностью напоминающих кладбища и, подобно им, заключающих в себе беспрерывную, вечную, ужасную работу разрушения, которая совершается в смежных с ними каменных палатах огромных больниц и в деревянных корпусах громадных гошпиталей. Эти чертоги страданий и смерти — живые источники его существования и земного блаженства. Здесь наука спасать человечество, *просветленная*, через долголетнюю и недоступную профанам практику, до степени ясновидения, торжественно, на целый год вперед заказывает гробовщику-червяку многие сотни гробов, в которые неминуемо лягут жертвы, обреченные на неизбежную гибель под ударами спасителей человеческого здоровья.

Тут скромный гробовщик-червяк, без вывески, гласящей об его высоком достоинстве, безвестный, в закопченном подвале, скребет, точит и гложет дерево и, сколачивая из него на живую нитку грубые ящики, спокойный, верно убежденный в сбыте своей работы, создает себе состояние, тем вернейшее, что об нем никто не подозревает, что его никто не замечает. Что может приобрести он, спросите вы, от гробов, которые продаются, по русской пословице, едва ли не дешевле пареной репы? Что? Разрешите сперва, что может приобресть старая баба или отставной солдат, продающие летом совершенно изгнившие апельсины, а зимою столь же гнилые и еще притом замороженные яблоки, по два и по три гроша за пяток? Не покажется ли странным, если я скажу вам, что они приобретают то же, что добрый взяточник, что шулер, обыгрывающий наверняка, и гораздо более ростовщика, который ссуждает молодого мота? Последний берет огромные проценты на вверенный капитал, первые — не вверяют торговле никакого капитала и потому получают не сто, не двести на сто, а все на ничто. Их товар не куплен, не произведен ими; он гниль и хлам, выкинутые из употребления; он чистый убыток одних, но для других делается чистым прибытком. Так действует и гробовщик-червяк; материал его — хлам и лом: старые заборы, обшивки и крыши домов, собираемые им за бесценок; инструменты его — пила, рубанок, топор, бурав; ему не нужно заведения, не нужно искусных мастеров, дорогих снарядов и снадобий; отпилить по данной мере несколько досок, подновить их, стругнув поверхность, носящую серую печать времени, скрепить эти отрезки, на живую нитку, нагелями[1], и гроб готов: покупатели — народ невзыскательный, непричудливый, спокойный.

Гробовщик-червяк очень хорошо знает, что здесь гроб нужен не для того, чтоб видели гроб, но чтоб скорее не видали мертвеца; он знает, что у его покойников если и окажутся родственники, то они не горды; но наследников у них никогда не остается, впрочем он на все готов; сыщись близкий умершего, пожелай он приличия и даже роскоши,— что ж! Гробовщик-червяк сам этого желает: он замажет спаи досок того же гроба, покрасит его разболтанною в воде мумией* и, благодаря этой грошовой издержке, возьмет за тот же гроб в шесть раз дороже; потому что то будет *не белый* гроб, а *красный* и *без течи*. Но в обоих случаях он свято сохраняет заветное правило, что чем удобнее материал, из которого он *приуготовляет* гробы, к достижению цели своего назначения, к быстрому сгнитию в земле, тем приятнее мертвецам настоящим, тем более и скорее очистятся места будущим, тем выгоднее кладбищу, ему и даже спасителям человечества, медикам, на душе которых каждый не рассыпавшийся в тление труп, по народному поверью, лежит как будто тяжелый камень.

Так действует этот честный промышленник и, философски продолжая свое существование, извлекает, как растение в хорошо унавоженной почве, жизнь из смерти. Он округляется по мере наполне-

[1] Нагель (*нем.* Nagel) — гвоздь.— *Ред.*

4*

ния общих ям и отдаленных частей кладбищ, в которые гошпитали, рабочие артели, мастерские и низший трудовой разряд городского народонаселения, великие рассадники смерти, шлют богатую подать. Он попал в Петербург нечаянно, из Костромской деревни, на плотничную работу; он также нечаянно сделал самоучкою первый в жизни гроб для своего брата, плотника, из досок, унесенных с подмостков и лесов строившегося дома, на которых бедный его брат был убит обвалившимся карнизом; но этот горестный случай пробудил в промышленнике всю его природную понятливость, и вот он стал гробовым мастером; он не возвратится в Кострому: он еще *гробовщик-червяк,* но погодите, погодите...

Глубоки были соображения нашего плотника перед избранием нового пути в жизни, зато они не обманули его; он все предвидел с тою верностью и быстротою, которые даются природному уму. Успехи образованности, просвещения, промышленности и гражданственности деятельно ему способствовали. Едва пять лет прошло с тех пор, как он начал заниматься этим делом, и вот он уже собирается свивать кокончик, чтоб перейти в нем к второму возрасту, к состоянию *гробовщика-куколки.*

Зная, что есть растения предпочтительно любимые шелковичным червем, из их прутьев вы связываете веничек, на который полезет червяк, чтоб завиться в кокончик: гробовщик-червяк имеет тоже свои вкусы, в которых инстинкт его проявляется в полном блеске. Округлясь, чувствуя приближение второго возраста своего, он сам составляет для себя веничек: угодно ли знать, к каким прутикам он прицепит свою колыбельку?.. Привыкнув смотреть, а не изучать все окружающее, верно, вы не изучали топографии окрестностей тех помещений тротуарного и первого этажей, в окнах которых стоят миньятюрные гробики розового цвета, будто свадебные бонбоньерки, а над дверьми нарисованы, не всегда с натуры, профили каких-то красных сундучков, вроде устюжских, на круглых ножках, с аккуратно поставленным стругом* на крышке каждого и с следующим внизу писанием на черном поле желтыми буквами полуславянской фактуры: «Здесь приуготовляют разные гробы», или затейливее: «Приуготовление гробов с травуром и без оного», или с красноречивым эллипсисом: «Отпускают, всякого сорта», или с неподражаемым лаконизмом, просто: «гробы», по-немецки «Kгapu». Вы полагаете, что найдете здесь только гробового мастера — так, но вы не знаете, что этот гробовой мастер уже *куколка*, что он в коконе, в центр которого вы нечаянно проникли; что этот кокон необходимо прицеплен к прутикам веничка... О! догадываетесь! Осмотрите же прутики: начинайте с любой стороны и идите кругом. Что вы находите? Кабак, мелочная лавочка, будка, ресторация, извозчичья биржа, под рукой, в бельэтаже смежного дома, круглые, налитые спиртами ярких цветов банки на окнах, знаменующие аптеку, очень близко квартиры двух-трех докторов, наконец, не в дальнем расстоянии, храм божий. Уразумев необъятную выгоду подобной позиции, вы справедливо подивитесь инстинкту гробовщика-куколки.

Не только весь квартал, но все смежные улицы, в огромном круге,

описанном радиусом, равным половине расстояния, отделяющего нашего гробовщика от другого собрата его, избравшего столь же предусмотрительно место для своей квартиры, принадлежат ему нераздельно. Он властелин не жизни, но смерти всех тут живущих, больших, малых, знатных, бедных, рождающих, родящихся, словом, всех смертных. Жалею о том, кто будет еще дивиться и добиваться, «как и откуда может гробовой мастер знать в ту же минуту о каждом смертном случае, совершившемся в принадлежащей ему области?» — Помилуйте, то ли он знает! Как всеведущая судьба, он знает наверное, что вы умрете, и знает это в то еще время, когда вы, корчась каждые полчаса перед ложкою микстуры, кормите в глубине сердца мысль, что эти дивные приготовления через несколько дней начинят вас решительно впрок. Между тем, говорю я, как вы питаетесь столь сладкими надеждами, сколь надежными лекарствами, у гробовщика-куколки поспешно сколачивается и пригоняется еще один гроб: это для вас. Через несколько часов на том месте, где вы меряли мечтами бесконечную будущность, гробовщик смерял ваш весьма конечный труп, из которого улетели все надежды, но в котором остались некоторые микстуры. Все поражены; никто не мог ожидать вашей смерти, только один гробовщик знал об ней заранее; потому-то он тотчас явился, потому-то гроб, за которым нужно работать добрую неделю, всегда бывает готов в тридцать два часа.

Теперь трудно ли разгадать загадку? Ваши люди знакомы необходимо с будочником — это политично: кто знает? может, им придется перейти через его руки; они весьма *вхожи* в кабак, где распространяются все новости околотка; в лавочку все они бегают из вашего дома, от детей до ветеранов лакейской по сту раз в день, а в лавке, известно, весь beau monde[1] квартала встречается для разговоров; для всякого экстренного случая они хватают с биржи извозчика, Андрея или Степана, которых уже и называют *своими*; дворник в частных сношениях с конторою надзирателя; в продолжение всей болезни лекарства берутся *на книжку** в ближайшей аптеке; прачки по целым часам рассказывают на плоту ваши домашние обстоятельства огромной, болтливой, полоскающей аудитории: к тому ж они бывают нередко в сношениях с говоруньей бабкою-голландкой, на которую стирают вашим мылом, из благодарности; ваш камердинер или дворецкий потчуются в ресторации просителями, ищущими их протекции, поставщиками и всем народом, у которого, по техническому выражению, *забирают* для дому; псаломщик приходский, известный дока на бильярде, имеет с ними счеты по этой благородной игре,— а дальновидный гробовщик лежит себе в кокончике и все слышит. К тому же он всех встреченных подчас и сам угощает *пунштом,* если они могут быть ему полезны...

Чего же еще более? Вникните подробнее в этот лабиринт, и вы разгадаете неимоверную быстроту распространения всех известий, вряд ли не превосходящую поразительную быстроту гальванических телеграфов.

---

[1] Высший свет *(фр.)*. — *Ред.*

Наша куколка спокойно и умно из соединений этих элементов извлекает себе пищу, и так удачно, что, не довольствуясь своим кругом, она поспевает приобретать занятия и в других местностях. Не трудно: гробовщик самый радушный хлебосол, необычайно деликатен в обращении, тонок, политичен в соображениях и приемах. Круглый год будочник, отопляясь его стружками, обрезками, получит еще беленькую*; с аптекарем Адамом Крестьяновичем чуть ли не то у него водится, что бывает привычно между фортепианными мастерами и учителями музыки: там с каждого рекомендованного инструмента музыкальный ваш учитель получает от трех до пяти сот рублей; здесь с каждого богатого покойника маленькая взятка... Так все вяжется в свете!

Дивная жизнь!.. не житье, а масленица гробовщику-куколке в мягком кокончике! Но вот он вдруг разрывает этот кокончик и торжественно вылетает из него *бабочкою*! куда? Как куда? В свой собственный каменный дом, на Литейной, в Грязной, на Вознесенской... Немногие, весьма немногие достигают этого возраста; зато достигнувшие блаженствуют вполне.

Дом еще мал: только подвалы и над ними этажик; но место выбрано превосходно; все условия прочного благосостояния уже тут. Посмотрите, что значит иметь крылья! Вывеска совершенно не та. Ого! Здесь вы не увидите ни гроба, ни струга, ни тривиальных слов *приуготовляют, отпускают*, ни ничтожных амплификаций*. На окнах бронзовые шары, скобки, куски блестящей парчи, яркого бархата, галуна, тафты светлой, как радость; подумаешь, что это модная лавка. Длинная вывеска горит издали золотыми буквами в десять вершков: *Тихоморов, гробовой мастер.*— Какое благородство!.. Чувствуешь присутствие художника: это bon genre[1]; тут можно остановиться в карете, выйти и войти. Взойдемте же по чугунной лестнице в ясеневую дверь... О! что это? Здесь нет досок, стружек, опилков, гвоздей, клею? По стенам развешаны в порядке бесчисленное множество овальных картонных гербов, с потолка до полу. Чего только на них не намалевано! Боже мой, боже! Лошади, гуси, рога, луны, рыбы, подковы, раки, клыки, стрелы, башни, деревья... А сколько корон, мантий, лент, крестов! Неужели все тузы перемерли?.. И как скоро! Тихоморов едва только переехал в свой дом! Неужели здесь складочное место всех этих очарований жизни?.. Нет: изволите видеть, это уже не мастерская, а магазин аристократического гробового мастера, *гробовщика-бабочки* то ж. Все это тут держат для почету и для примера, чтоб вы заранее видели, как вас похоронят, если доживете до наслаждения быть похороненными Тихоморовым. Очень приятно, не правда ли? Тут так много комфорту, все так важно и все совершенно как следует, comme il faut[2]: не стыдно будет доехать из дома до Невского кладбища с такими атрибутами. Видите ль в углу четыре тощие столбика? Конечно, бархат грязен и протерт, а галун, обви-

---

[1] Хороший тон *(фр.)*. — *Ред.*

[2] В соответствии с правилами светского тона *(фр.)*. — *Ред.*

тый вокруг змейкою, очень черен и, утратив золото, сохранил только шелк: все же такие столбики бывают только у знатных; да лучших столбиков и нет в городе. Балдахин, который на них наставится, а теперь привален к шкафам, в которых вы заметили несколько томов *«Гербовника»**, очень тяжел и неуклюж; он будет страшно шататься, угрожая падением: ничего! — не бойтесь, покойник известное лицо, следовательно, поставят тотчас человек восемь ассистентов, не для покойника, а для того, чтоб четверо из них держали столбики, а четверо кисти; и все будут держать их очень рачительно, не из почтения, а в страхе, чтоб балдахин, обрушившись, не превратил их самих в покойников. Мантия и шляпа, выставленные в магазине на показ, именно с иголочки; вы восхищены ими и заключаете дело с Тихоморовым. Но Тихоморов, показывая вам шляпу, мантию и все принадлежности, уверяя, что для целой сотни факельщиков и тридцати официантов все одежды точно такие же, весьма помнит, что вы и вся опечаленная родня будете идти *за* гробом, а факельщики и вся процессия пойдут *впереди* гроба; он знает, что вам нужно быть важным, погруженным в грусть: осматривать не пристойно... О! Тихоморов — самый ловкий и догадливый из промышленников: он убедит и влезет в сердце; он глубоко постигает человека и, занимаясь мертвыми, в самом деле только играет живыми. Мы надеемся доказать это фактами; вывеска его не лжет: он точно *мастер* своего дела.

Только семь лет прошло с тех пор, как Тихоморов переехал в свой одноэтажный дом, и вот на этом доме выросло еще три этажа. «Как это?» — спрашиваете вы.— «Все случай,— говорит он,— ничего более как случай!» И точно; на третий год *случилась* холера, и Тихоморов тотчас надстроил этаж; на пятый *случилось,* что грипп посетил модный свет: опять этаж; на шестой год смерть устроила себе жатву в высоком кругу старых и богатых сановников... все это *случилось,* и все необходимо попало в руки Тихоморова; и вот дом его вырос вдруг тремя ярусами. Между тем всегда *случается,* что текущий репертуар воспалений, простуд, чахоток, дизентерий, несчастных родов, экстренных ударов и тому подобное, идущий рука в руку с репертуаром балов, прогулок, модной одежды не по климату и модного образа жизни вопреки природе, беспеременжно, с начала осени до начала зимы, с конца зимы до конца лета, то есть в самое удобное для построек время, прибавляет к дому Тихоморова то флигелек, то кухоньку, или ремонтирует его покои, сараи, конюшни и проч.: и от этих-то именно *случаев случилось*, что Тихоморова мебель от Тура и Штрома, что коляска его Яковлевской работы, фаэтон-дрожки от Туляка, добрые кони с конюшен Бойцова, жена в богатых шалях, *фамилия*[1] нанимает уже всякое лето дачу на Неве и живет припеваючи, а сам он уже купец второй гильдии. Когда, встретив Тихоморова, вы спрашиваете его: «Что, Иван Терентьич, каково идут дела?» — он, поминаясь, сладко отвечает вам: «Слава богу! порядочно; так-так, вот, видите, строя вечные домики, успел и себе поставить временной домишко. Поживаем кое-как. Только трудно, очень трудно:

---

[1] Фамилия (*нем.* Familie, *фр.* famille) — семья. — *Ред.*

наша должность — горестная, заботливая и самая трогательная!»

Соорудив отрадное и великолепное здание своей жизни на столь сообразительном фундаменте, Тихоморов, по утверждении последнего камня, предоставляет все остальное гению своему, на которого справедливо полагается, и говорит себе с утешительною улыбкою: «теперь дело в шляпе». Он прав: никто из тех, кто побогаче, не увернется уже от него.

Судьба как будто нарочно избрала любимым своим баловнем гробовщика-бабочку: все у него идет как по маслу; за миллионом он не тянется, но приобретая верно, не боится банкрутства: для него решительно оно невозможно; на товар его мода вечная, беспереходная; никто не любит его изделий, но все берут их, потому что здесь сделаться потребителем — значит быть уже потребленным самому смертью, а смерть беспрерывно потребляет всех, не слушая ни наших жалоб, ни благодарений Тихоморова. И сколько нравственных и физических условий фортуна рассыпает для его процветания! Непостижимо! Взглянем на печальный счет, лежащий у меня под глазами, и пообдумаем... У *гробовщика-бабочки* печальный счет ныне пишется уже очень четко и красиво, иногда на бумаге с фигурною литографированною заголовкою или с печатною рамкой. Счет этот — мейстерштюк[1] ремесла.

ПЕЧАЛЬНЫЙ СЧЕТ

О погребении Господина Генерала... и прочая (следует полнейший титул, со всеми должностями и крестами), происшедшем сего месяца, дня и года.

(Цены самые умеренные и решительные).

Ассигнациями

I. ГРОБ, высшего качества, с внутреннею просмолкою и обивкою жестью, крытый венецейским бархатом, с бронзовыми, золочеными скобами, львиными такими же лапами, с цельным серебряным подзолотом газом с такими же кистями и шнурами чистой канители*, с гродетуровым* и парижским подбоем, с нижнею и головными подушками пуховыми, крытыми белым французским атласом, с двойными узорчатыми рюшами*, как прилично	830 р.— к.
II. БРОНЗОВАЯ ЗОЛОЧЕНАЯ ДОСКА, высокой чеканки, с фамильным гербом Его Высокопревосходительства (опять полный титул), и с надписанием	146 »— »

[1] Мейстерштюк (*нем.* Meisterstück) — шедевр. — *Ред.*

III. БОГАТЫЙ ПОКРОВ, ни разу еще не употребленный, серебряного глазету* с золотым десейном* и кистями, для приобретения 1700, а напрокат . . . . 300 р. — к.

В ДОМЕ

IV. ОБИВКА ПЕЧАЛЬНОГО ПОКОЯ черным дра-дедамом*, по новейшему десейну, с кругами на потолке и подзором белой кисеи с серебряным гасом . . . . 200 » — »

V. БОГАТЫЙ КАТАФАЛК, шесть канделябров к оному и четыре большие по углам залы, с новым трауром, белым и черным . . . 125 » — »

VI. БАЛДАХИН, с страусовыми перьями и короной, на столбах, с кистями и шнурами . . . . 75 » — »

VII. СЕМЬ ТАБУРЕТОВ с подушками алого бархата, кистями и галуном, для кавалерий* 60 » — »

VIII. ВОСЕМЬ ПИСАННЫХ, фамильных Его Высокопревосходительства (опять полный титул) гербовых щитов на стены . . . . 58 » — »

IX. БОЛЬШОЙ МАРШАЛЬСКИЙ ЩИТ с приличною траурною драпировкой на древке . . 40 » — »

X. ОДЕЖДА ДЛЯ ШВЕЙЦАРА полная, и для шести официантов, с новыми замшевыми перчатками и разноцветными аксельбантами . . . . 56 » — »

XI. ФЛЕРУ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ, и два человека для навязывания и нашивания оного . . . . 84 » — »

В ЦЕРКВИ

XII.
XIII. КАТАФАЛК, балдахин, табуреты и прочая,
XIV как показано по статьям 5, 6 и 7 . . . . 215 » — »
XV.

ДЛЯ ШЕСТВИЯ

XVI. ПЕЧАЛЬНАЯ КОЛЕСНИЦА о шести лошадях, с ступенями спускными и с выдвижною на механике доской; с нарядным балдахином, с короною, урнами, перьями и кистями для ассистентов . . . . 225 » — »

XVII.	УСЫПАНИЕ скорбного пути зеленым ельником, от дому до самого кладбища	41 р. 40 к.
XVIII.	ФАКЕЛЬЩИКОВ 60 человек в отличных мантиях, факелы новейшего устройства, спиртованные	180 » — »
XIX.	ОФИЦИАНТОВ 20; да к гербу один, с двумя при нем ассистентами	124 » — »
XX.	ПОПОНЫ НОВЫЕ, неупотребленные	35 » — »
XXI.	ГЕРБОВ ФАМИЛЬНЫХ, писанных Его Весокопревосходительства (опять полный титул) на попоны, шесть	48 » — »
XXII.	ОБИВКА англицким фасоном траурного экипажа, для семейства Его Высокопревосходительства и прочая, с гербами на дверцах и козлах, с рюшами и фестонами* на козлах	115 » — »
XXIII.	ОБВИВКА СБРУИ	25 » — »
XXIV.	ВОЙСКУ ТРАУРА, а также на музыку и барабаны, разных качеств и сортов, по полученному требованию отпущено ценою на . .	113 »70»
XXV.	ОДЕЖДА печального коня и двух конюхов .	52 » — »

НА КЛАДБИЩЕ.

XXVI.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОГИЛЫ со склепом, с наложением двойного свода, с прочным смоленым ящиком и окраскою	178 »30»
XXVII.	УСТРОЙСТВО насыпи и поставка временного креста с надписанием	57 » — »
XXVIII.	ХОЛСТА для опускания гроба	26 » — »
XXIX.	МЕЛОЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК, не упомянутых здесь; также на разные спешные посылки и в аптеку за хлоровую известь, уксус, розовое масло, одеколон и хлопчатую бумагу, по случаю порчи Его Высокопревосходительства, по причине весьма жаркого времени, произведено собственным коштом* на	72 » — »
XXX.	ОБОЙЩИКАМ и разным людям в награду, и дабы не затрудняться уже какими-либо выдачами	80 » — »
	ВСЕГО	3 552 р. 40 к.

Мастер Иван Терентьев Тихоморов.

В Санктпетербурге.

При таком счете подается заготовленный аттестат, в лестных выражениях превозносящий приличие и порядок устройства, дешевизну и доброкачественность всего поставленного. Остается только заплатить деньги и подписать аттестат. А как же не заплатить? Этот счет уже результат спорных, почти двухсуточных, вполне утомивших вас торгов. По первоначальному проекту Тихоморова все должно было обойтись в 5 732 рубля: после многих помарок в артикулах этот итог вдруг был уменьшен тысячью пятьюстами рублей; потом уступлено еще на статьях от пяти до десяти процентов. Вы хотели многое упростить, но тут Тихоморов, уже не торгуясь, только напоминал вам равнодушно: «Как угодно, сударь! но позвольте заметить, что балдахин без перьев будет совершенно по-купечески; ... флоранс* вместо атласу и шерсть вместо пуху употребляются для самых малых чиновников. Пожалуй, можно набить и мочалою, но, не прогневайтесь, так хоронят только нищих. Герб, сударь? Да кто же без гербов узнает, что это похороны настоящего болярина? Все, сударь, обратится после на вас же, и хвала и осуждение. Впрочем, как прикажете. На счет факельщиков и официянтов я осмелюсь доложить, что у надворного советника Бубна, которого мы вчера хоронили, было их немного меньше...» Тогда вы по необходимости соглашаетесь: вам совестно уже противоречить, а ловкий гробовщик, довольный успехом своей стратагемы, приступает к новой эффектной проделке. Из особенного уважения к высокой добродетели покойного и чтоб доказать вам, что, кроме Тихоморова, никто не может действовать так бескорыстно, он выведет копейка в копейку все, во что *ему самому* обойдется заказ, и докажет вам цифрами, что, довольствуясь барышом не более 250 рублей на все, он должен получить 3 552 р. 40 к. По строгом соображении вы убеждаетесь в этом сами. Тут Тихоморов марает старые итоги, выставляет 3 552 р. 40 к. и вдруг, обратив на вас взор, говорит с умилением: «Изволите ли видеть, что честь и доброе мнение для нас, известных людей, несравненно дороже барыша». Скажите после этого, возможно ли не заплатить по счету и не дать аттестата? Гробовщик догадливее и потому счастливее всех других промышленников: он избирает самое удобное время для представления своей мемории*, кует железо пока горячо; вы еще не совсем простыли, вы встревожены, тронуты; покойник оставил вам порядочное наследство,— а Тихоморов доказал вам, что похороны были вовсе не роскошные, но только совершенно приличные, что нельзя было изменить ни одного артикула, не расстроив чинности и пристойности вообще. Нужно поддержать честь, торговаться же теперь поздно, даже стыдно; сомневаться в тождественности счета с натурою ни к чему не поведет: чем поверить честность гробовщика?.. Все свидетели зарыты в могилу; к тому ж не заплатить за мебель, за экипаж, за издержки для бала или обеда еще можно: но за похороны!.. такая мысль не войдет никому в голову. Вы платите, а Тихоморов, удаляясь, изъявляет приятное желание «и впредь иметь с вами дело».

Много лет прошло с тех пор, и вот, нечаянно, вам попадается под руку этот печальный счет; вы пробегаете его с странным чувством. Все вам кажется чудным; вы не понимаете, за что

были заплачены деньги; только две статьи, из тридцати, были нужны мертвецу, *первая* и *двадцать шестая:* остальные двадцать восемь, бог знает за что, отнесены на его особу: они все очевидно были для живых; это пустые затеи. Но и в тех двух статьях какая горестная сатира!.. «Гроб высшего качества, жестяная обивка, драгоценный бархат, пуховые подушки, атлас»!.. и во всем этом, и на всем этом... что?..

Тут вы с любопытством перечитываете весь документ, и что статья, то новая горестная улыбка; тогда гробовой мастер является в вашей памяти как нечто необыкновенное, рельефное в этой картине. Вы не можете сообразить, как человек, написавший подобный счет, мог с таким приличием и даже с таким чувством предаться занятиям своего назначения. Вы помните, что в первые минуты он почти заменил усопшего в доме; хлопотал обо всем, заботливо утешал домашних, скорбел с ними сам: но без слабости, с достоинством. Как нежно, как почтительно он обходился с покойником! При каждом входе и выходе он непременно молился у гроба и набожно целовал труп; он говорил даже шепотом, как будто боясь нарушить мирный сон отошедшего. Как любовно он охорашивал, как кокетливо он поправлял его для последнего публичного торжества! И когда было все совершено, когда, с крышею в руках, гробовщик взлез на катафалк, как горестно он созерцал лобзания, рыдания и слезы родных и знакомых, устремившихся к трупу для последнего прощания! как печально и явственно, хоть и тихо, он произнес, когда все смолкло: «Не угодно ли еще кому проститься?» — и, подождав около минуты, с какою торжественностью знаменал усопшего последним поцелуем!.. После чего, опрятно прибрав прозрачный покров, расправив оборку с фестонами, он накрыл гроб крышею и привинтил ее с заботливостью скупца, замыкающего сундук, в котором лежат все его сокровища. О! гробовщик замечательное малопонимаемое лицо! Во время шествия как он внушал уважение факельщикам и официантам! как старался о сохранении приличия! с какою важностью шествовал сам, кидаясь то на одну, то на другую сторону кортежа! с каким глубоким понятием цены земного величия он, не утомляясь, повторял любопытствующим, подходившим узнавать об имени покойника, весь его титул и все отличия! Остановимся и предадимся вместе с вами глубокому, поучительному размышлению...

Остается упомянуть об одной резкой особенности. Гробовой мастер редко бывает старее сорока пяти лет; привыкая к переменам температуры, живя постоянно на воздухе, хлопоча и суетясь беспрерывно, он наслаждается хорошим здоровьем. Нравственное здоровье его помогает процветанию физического. Ежеминутно видя смерть, страдания, стоны, слезы, он не смущается ими. Состояние его быстро растет, и каждая чужая печаль прибавляет в чашу его жизни новую каплю меду, новое наслаждение и довольство.

Но, приближаясь к старости, он инстинктивно оставляет ремесло, передает свои дела сыну или другому ближайшему родственнику и с спокойствием настоящего философа пользуется приобретенным, в ожидании часа, когда для него другой сделает то, что

он так усердно делал для всех, с кого можно было получить порядочную плату.

Вот петербургский гробовой мастер: он достоин нашего участия. Пожелаем же ему успеха и здоровья,— хотя это значит почти то же, что пожелать себе смерти!

А. Башуцкий

НЯНЯ

Заглавие этой статьи перенесет вас, любезные читатели и читательницы, за несколько лет, а может быть, и десятков лет назад, и возродит в памяти вашей то время, когда, под надзором старушки-нянюшки, вы играли, резвились, не знали еще ни строгих учителей, ни скучных наставников. ни забот общественных, ни людских обманов, ничего, что после, и именно с тех пор, как вы отошли от няни, набросало на вашу жизнь так много черных пятен.

С воспоминанием об этом безотчетно-благополучном времени тесно соединено то доброе существо, которое служило неразлучным спутником вашего слабого младенчества, покоило ваш сон, предохраняло вас от ушибов, облегчало вашу болезнь, доставляло вам забавы, ворчало на вас, любило вас; существо, которое вы также любили и к которому теперь сохраняете привязанность и благодарность. Ежели память об этом существе изгладилась в вас, то вы, верно, с удовольствием воспользуетесь случаем возобновить ее. Слушайте.

Наши русские няни все почти на один покрой. Они обыкновенно бывают от сорока до шестидесяти лет, и почти всегда худощавы, потому что заботы и попечения о детях не дают им потолстеть. Лицо их бесцветное, доброе, покрытое морщинами, руки черствые, но сердце прямое, мягкое, а привязанность примерная.

По будням они носят ситцевые платья, голову повязывают шелковою косынкою; по праздникам, когда могут изредка сходить к обедне, надевают чепец с лиловыми бантами, полумериносовое платье, большой драдедамовый платок, шерстяные вязаные перчатки и, в дополнение наряда, носят большой ридикюль, или, лучше сказать, мешок, сшитый из разных ситцевых треугольничков: в нем обыкновенно бренчат медные деньги, табакерка, очки, поминальные книжки и записочки за упокой и за здравие. По возвращении из церкви к этим предметам бывают присоединены две просфоры. «Бог милости прислал,— говорит Агафья Семеновна, войдя в комнату и кланяясь по очереди всем членам семейства, к которому она принадлежит.— Народу-то, народу-то в церкви, боже упаси! Я за вас свечку поставила угоднику Митрофанию. Ну, детушки, бегите,— продолжает она, обращаясь к детям,— бегите, просвиркой наделю; только, чур! крошки на пол не ронять, просвирка вынутая». Дети обсту-

пают няню, она усаживает их около маленького столика и, разделив просфору, дает каждому по кусочку.

Няня ходит за старшими до трех или четырех лет; потом они переходят к немке, или к англичанке, а ей достаются меньшие: годовая девочка только что от кормилицы и новорожденный сынок. Страстная к своим питомцам, она мало-помалу отвыкает от старших и всю любовь сосредоточивает в Машеньке, годовой малютке, у которой идут зубки. Маша пищит и плачет, прижимаясь к нянюшке, которая готова вырвать последние свои зубы, лишь бы облегчить малютку. Машенька дурно спит по ночам, вскрикивает, стонет; няня, как бессменный часовой, сидит у люльки, босая, в ночной своей шапке, из-под которой висят волосы. Она качается сама, качая люльку с известным напевом: шш-шш-шш ... И только слабый свет ночника — немой свидетель ее чистого чувства и неистощимого терпения. Если малютка слишком беспокойна, няня берет ее на руки и, тихо припевая и убаюкивая, держит до рассвета — забывая, что сама не спала всю ночь... кажется, что ребенок может спать только ее сном, и едва она вздумает положить его в люльку, он просыпается и начинает снова плакать.

После такой ночи никто, взглянув на няню, и не подумал бы, что она, в то время как все в доме покойно спали, просидела восемь часов сряду, качаясь на своем стуле и припевая. Она одета, прибрана по обыкновению; также метет комнаты; также все приводит в порядок; только все это исполняет с большею осторожностию, потому что малютка покойно почивает за задернутыми кисейными занавесками. Иногда, однако же, после бессонной ночи, она бывает не в духе и потому ворчит на немку, которая, покинув детей в детской, целый час в соседней комнате моется и холится, и на кормилицу, которая стоя пьет свой чай из большой кружки. Больше всего досаждают ей старшие дети, которые, играя у столика в углу комнаты, несмотря на все ее просьбы и угрозы, шумят и спорят.

«Анна Александровна,— говорит няня строгим голосом, обращаясь к старшей девочке лет пяти, большой проказнице,— бога ты не боишься!.. сестрица почивает... не шуми, а не то я тебя...»

Не успела она выговорить последние слова, вдруг — или дети не поладили между собою, или нечаянно — только оловянный сервиз полетел со стола на пол. В эту минуту стоит взглянуть на испуганную няню!

«Бесстыдница»,— шепчет она и, вооружив гребенкою одну руку, сжав в кулак другую, летит с распущенными волосами на детей.

«Убью на месте!» — говорит няня, приближаясь к маленькой Анюте, которая, как цыпленок от коршуна, прижалась к спинке своего стульчика, приподняв над головою обе ручки в защиту, и лепечет умоляющим голосом: «Няненька, миленькая, не я, право, не я!»

«И не я,— прерывает мальчик,— сервиз сам упал».

Но няня, не слушая их, схватила обоих за руки и выпихнула в другую комнату, ворча им вслед: «Ведь вы сделаете сестру уродом; ах ты, господи! Прости мне мои согрешения! — продолжает она,

осторожно запирая за ними двери.— Наказание божье с этими детьми: долго ль до беды!»

Но можно ли поверить ее жестокосердию? Она готова за каждого из детей душу отдать, и даже старшие, от которых она немного отвыкла, ей во сто раз дороже самой себя. Когда, во время сна Машеньки, она сидит у окна, с очками на носу, и штопает чулки, надо видеть, какое негодование изображается на ее лице, если до нее долетают угрозы немки на Анюту или Федю.

Няня потряхивает головою и бормочет про себя: «Ох уж эта мне проклятая чухонка! Вишь, как она их мучит! Словно за душу тянут... и барыне-то охота давать детей ей в руки!»

Но шум в соседней комнате увеличивается и, наконец, Анюта входит к няне вся в слезах. «Это что? — вскрикивает няня,— стыдись, сударыня!.. стыдись плакать»,— продолжает она, смягчив голос.

«Миленькая няня, Шарлотта Карловна все бранится»,— жалобно отвечает малютка.

«Оттого, что ты ее не слушаешься,— продолжает няня, принимая на себя менторский вид.— *Уничтожь* себя, сударыня, *прекрати* ты твой характер». Потом, вынимая из кармана какую-то давно лежащую в нем конфетку, она, отерши слезы Анюты, говорит: «Нако, заешь горе, горемычная ты моя; ну, черт бы ее взял, твою губернантку... На-ко, пососи сладенького».

Если на беду Шарлотта Карловна, входя в эту минуту, требовала, чтобы Анюта шла за нею, Агафья Семеновна не может воздержаться, чтоб не сделать ей выговора с досадою. «Как вам не стыдно, Шарлотта Карловна! всегда дитя раздразните; и что она вам сделала?.. У меня сидит умнешенька, а лишь попадает к вам, так и пошли жалобы да слезы... *Диви** кабы своенравна была, а в ней *хитрости ни на синь порох* нет».

С этими словами она вынимает из кармана табакерку и, понюхивая табачок с расстановками, говорит вполголоса уходящей немке, которая по-немецки что-то объясняет Анюте: «Толкуй ты тут! А у самой ни ложки, ни плошки. Нищей взяли в дом! Давно ль так спесива стала?.. Дискать мамзель, а такая же холопка, как наш брат... А! Сенюшка-голубчик,— продолжает няня, обращаясь к мальчику, вошедшему в детскую за половою щеткою,— на-ко, батюшка, два грошика — сбегай, как управишься, в лавочку, принеси табачку; без табаку сон клонит...»

— Извольте, матушка, Агафья Семеновна, извольте, сбегаю...

— А ужо зайди выпить кофейку — я славным попотчую; сегодня не пятница, и со сливочками можно.

— Благодарим покорно, Агафья Семеновна, а мне что-то вчера барский кофе... не то чтобы... а показался не очень...

— И, да какой они пьют!? Ведь мамзель варит; выдумали мешок в кофейник засунуть, да льют, да переливают, а он и выдыхается, да и кипит-то только одну минуточку. Ну, какой уж это кофей? вода... и цветом-то такой светлый... и клею ни крошки не кладут... Вот уж у покойницы барыни, бывало, такого кофею подать не

смей, сейчас призовет да скажет: Агашка, велю тебе на голову вылить! сущие помои! зато бывало — сварю, дам отстояться хорошенько, да и наливаю в чашки... А теперь и господа-то не то... и с житничком пополам, мои сердечные, потягивают.

Не станем изыскивать времени, когда, и причин, по которым русская няня так тесно сроднилась с этим вовсе не русским напитком,— пусть уверяют одни, что он необходим ей, потому что усыпляет, другие — что он необходим, потому что разгоняет сон; как бы то ни было он любим ею чрезвычайно.

Страсть к кофе простирается в нянюшке до невероятия. Он ей почти то же, что хлеб насущный. Она сама его жарит, мелет и, наконец, варит. Кто б ни пришел к ней в гости, нельзя не попотчивать кофеем. Она устала — «дай-ко выпью кофейку». Она озябла — то же лекарство. Ей что-то скучно — она опять прибегает к нему же, как к единственному своему утешителю. Ей весело — она спешит из кухни с своим кофейничком из красной меди и осторожно уклоняется от встречных, чтобы не взболтали ее сокровище. К счастию, кофе напиток не только безвредный, но старушки-няни точно как будто находят в нем какое-то целительное свойство от болезней и печалей.

В доме господ своих нянюшки обыкновенно играют довольно важную роль перед остальными служителями и служанками, которые, не исключая и самого дворецкого, имеют к нянюшкам особенное уважение. Их называют не иначе, как по имени и отчеству, говорят им *вы* и во всех особенных обстоятельствах обращаются к ним за советами. Ушибется ли кто? Бегут к няне спросить: что должно делать? Она поспешно отвечает: «Ах, мати божия! Рижского бальзаму — коли есть рана; а если память отшибло, так открыть скорей кровь. Фенюшка, достань-ко там бальзам...» — и няня бежит, забыв и лета и старость, на помощь страждущему.

Увидит ли кто в доме страшный сон, опять идут к няне за истолкованиями. Она оракул всех домочадцев. У няни всегда в субботу зажигается лампада перед образами, с которых накануне Светлого праздника* она сама снимает серебряные ризы, внимательно их чистит и приводит в порядок.

Няня неутомима с детьми. Она держит на руках двухлетнюю малютку и целые часы пляшет с нею по комнате, припевая:

Сударыня, барыня,
Пожалуйте ручку,

или:

Жил-был у бабушки
Серенький козлик.

Малютка в полном удовольствии приподымает над головою свои прелестные ручонки и мило поворачивает их во все стороны. Няня вторит ему свободною правой рукою.

Когда дитя начинает бегать, надо видеть, как няня играет с ним в лошадки или в прятки. Она становится как будто ровесницею своего питомца.



Если ребенок тяжело болен, что может сравниться с усердием няни? Кто пошлет в церковь за воздухами*, чтобы накрыть страждущего младенца, когда его мучат судороги, или когда он лежит в припадке? Кто окропит его святою водою? Кто, с горячею молитвою и слезами, положит его под образа и на коленях возле него обратится к богоматери и к ангелам небесным, вымаливая утоление его страданий? Кто видит муки его ближе, кто чувствует их более няни? Разве мать одна... Сколько истинной любви и самоотвержения требует больной ребенок! Сколько нужно сил телесных, чтобы перенести терпеливо все заботы; сколько внимания, чтобы облегчить хоть немного страдания слабого существа! И в это время ребенок смотрит на няню как на свое единственное утешение. Невинная душа младенца, не понимая еще рассудком, понимает уже чувством ее неизменную привязанность, ее чистое к нему соболезнование.

«Няня»— вот слово, которое во время болезни он постоянно повторяет. Взор его ищет одну няню; ручка его держит ее за платье, боясь, чтобы няня не отошла. И эти-то существа, так тесно связанные с ангелами земными, подающие пример самоотвержения, лишающие себя покоя, сна, пищи,— нянюшки, старухи, худые, в морщинках, иной раз смешные, невежливые и часто странные до крайности.

Занимательно видеть притворную злость няни на детей, когда они расшалятся; страшное выражение силится она придать своему лицу, она готова *убить их* (как выражается), а сама живет единственно детьми и не только не способна сделать умышленно вред ребенку, но если бы даже какая-нибудь Шарлотта Карловна вздумала хоть пальчиком тронуть одного из них, то няня не поцеремонилась бы справиться с нею по-своему,— и вряд ли немка не очутилась бы за дверью прежде, чем успела разобрать, в чем было дело!

Привязанность русских нянюшек, этих опор семейственного здания, к дому господ своих истинно ни с чем сравниться не может. Ирина Ивановна, второй том моей любезной Агафьи Семеновны, представляет тому разительный пример. По наружности они обе как будто вылиты в одну форму. Ирина Ивановна такая же худая, та-

кая же черноволосая с проседью, ростом повыше, да поумнее; а впрочем, точь-в-точь то же лицо. Она живет в доме уже двадцать лет; сперва ходила за барышней, потом, как барышня вышла замуж, стала ходить за молодою барынею, потом начала пеленать да нянчить вновь являвшихся на свет божий и, наконец, с рук на руки, отдала мальчиков по корпусам, а девочек самой матери, пока женихи не разберут.

— Ну, нянюшка,— сказал ей однажды барин,— много тебе спасибо за твою верную службу, а вот и благодарность наша.

— Что это, батюшка? — спросила няня, поглядывая на бумаги, которые барин подавал ей.

— Это твоя вольная...

— Вольная? — прерывает няня испуганным голосом.— Ахти! мои батюшки! да что же я сделала такое перед вашей милостию, чтобы вы меня из дома выгоняли?

— Помилуй, няня, как тебе не стыдно так думать... Мы тебя отпускаем на волю...

— Что это вы задумали, мои светы?..— говорит няня сквозь слезы, которые ручьями полились по ее бледным щекам...— чтобы я вас оставила?.. чтоб я покинула моих родных, ненаглядных?.. Или мне свет божий надоел? Без вас я с тоски умру, я сгину, пропаду. Нет, барыня, нет!.. Бог с нею, с вольной!.. Ничего не хочу, только ради Христа не сгоняйте вы меня! Дайте мне на старости лет пожить под вашею крышею... Много было труда с детками, так дайте же хоть налюбоваться на них теперь, как они выросли большие... И что я сделала против вас?.. служила, бог видит, верою и правдою и по гроб хочу служить так же; умереть хочу, мои родные, у вас, при вас, чтобы детушки-то и глаза мои закрыли... и поплакали бы, опуская меня в могилку... — рыдания не позволили ей продолжать.

— Полно, няня, полно! — сказал барин.— Как ты не понимаешь, что мы хотели дать тебе вольную из благодарности; если ты хочешь у нас остаться, то и мы с тобою не расстанемся, пусть бумага эта лежит у тебя в сундуке. Ну, скажи, согласна ли ты?..

— То другое дело,— отвечает старушка, улыбаясь сквозь слезы,— вот спасибо, так спасибо. Я, дескать, вольная, все-таки для амбиции перед другими можно прихвастнуть. Пусть себе скажут: видно, господа-то довольны были... Ах, мати божия! — продолжает она, целуя руки у господ своих,— вот могу сказать, уж радости! Останусь при вас, покудова жива, буду и детушками любоваться, и вами утешаться.

— Итак, дело решено, ты останешься у нас: вот твоя бумага. Но мы непременно требуем, чтобы твои сын и дочь были также свободны.

— Благодетели вы мои! — вскричала няня, кинувшись в ноги к господам своим. Она больше ни слова не могла выговорить.

— Они молоды,— сказал барин,— пусть трудятся, работают и нас поминают... Встань, встань, няня.

— Нет, не встану,— отвечала она, стоя на коленях и рыдая.—

Барин, дай поплакать... утешили, озолотили меня, господь видит, что в душе моей. Мне ли отказать такую милость?.. Их век еще впереди... Буду за вас молить творца небесного. Он один наградит вас.

— Ну, няня, ступай же, объяви им эту новость,— сказала барыня, и старуха, с благословениями и слезами, вышла из комнаты.

Прошло года полтора, сын худо утешал мать свою. Стал пить-пить и, наконец, совсем спился... Не раз старушка, утопая в слезах, говорила: «Хоть бы господь прибрал его, пьяницу! Хоть бы царица небесная услышала мои грешные молитвы!»

Однажды поутру, как стали господам подавать кофе, оказалось, что серебряный кофейник пропал со стола, потом недосчитались четырех чайных ложек, подсвечника, потом еще много других вещей не могли найти; очевидно было, что в ночь добрых людей обокрали.

Дали знать полиции, и на другой день, к удивлению всего дома, надзиратель прислал сказать управителю, что воры пойманы. Господа сидели в кабинете, разговаривая об этом происшествии, как вдруг вошла няня, бледная, как полотно. Она остановилась в дверях, упала на колена и громко зарыдала.

— Что с тобою, няня? — спросила ее испуганная барыня.

— Родные вы мои, благодетели вы мои!.. — говорила она в совершенном отчаянии,— отдайте его в солдаты, отдайте... Злодей! сгубил он меня, окаянную! отдайте в солдаты!

— Что такое? скажи, няня,— повторил барин,— кого в солдаты?

— Его, мой батюшка, его, моего сына,— стонала няня едва внятным голосом, кланяясь до земли.— Он, разбойник, привел к вам воров. Он обокрал вас, мои кормильцы, мои благодетели!.. Вот она, его вольная... Отдайте его в солдаты... Господи боже мой! как не расшиб меня паралич! До чего дожила я... Царица небесная! — Рыдая, она ломала себе руки и, падая к ногам господ, казалось, не выносила своих страданий.

— Полно, няня, успокойся,— говорила ей госпожа, подымая ее.— Ну, бог его рассудит... Не убивай себя... он может еще раскаяться... исправиться... он дитя...

— Нет, нет! — продолжала няня, недоверчиво качая головою,— ему ли образумиться, когда решился воров ввести в ваш дом? Ему ли исправиться, когда он не пожалел матери родной? — Батюшка ты мой,— сказала она, быстро обратившись к барину, и указала на сердце,— ножом тут хватил, мой кормилец... зарезал... без смерти смерть!.. Видно, прогневила я царя небесного, что нашла на меня такая напасть.

Тронутые господа старались всеми силами успокоить несчастную, встревоженную до глубины души. Без слез невозможно было ее видеть... Любовь матери почти уступала привязанности к дому господ. Преступный сын ее не мог поразить ее сердце большим горем, но чувство преданности к своим благодетелям превозмогало его. Время мало-помалу смягчило печаль старухи. Дети, ею взращенные, утешали ее. Она стала спокойнее, и только по воскресеньям

в церкви, по горячим слезам, с которыми она молилась, можно было заметить, что тяжкое чувство таилось в ее душе.

Может быть, многие, прочитав этот пример, заметят, что из него нельзя вывести общего заключения; я скажу только, что приведенный мною рассказ взят с натуры и что не одно такое происшествие, но много других, которые я имею перед глазами, могут доказать преданность нянюшек к дому господ своих. Впрочем, ежели кто не захочет поверить мне, пусть сам с беспристрастным вниманием поищет, посмотрит, поразведает, и тогда он увидит, в каком множестве представятся перед ним эти добрые старушки, со всею их оригинальною простотою, с полным их усердием и нелицемерною привязанностью.

Если теперь мы захотим найти источник этого вполне развитого и сильно утвержденного чувства любви и самоотвержения, то, кажется, не ошибемся, когда скажем, что он находится в крепостном состоянии. Няни знают, что не имеют права покинуть тех, кому принадлежат, чтобы искать другого места, и потому, применяясь к образу мыслей и нраву своих господ, все свои способности они обращают на то, чтобы стараться им угодить, сродниться с ними привязанностью и благодарностью, которые годами упрочиваются так [родственно, что, наконец, эти люди, так] сказать, прививаются к семейству, как необходимые его члены. Они видят в детях, за которыми ходят, что-то свое, часть собственного бытия... Они как бы вторые их матери. С какою гордостию говорит няня, выглядывая из-за двери в залу, где танцует и веселится молодежь: «Посмотри-ко, Карповна, вишь, вон офицер — что теперь танцует... ведь это мой... каков молодец!.. на глазах родился!..» Или, указывая на молоденькую девушку: «Смотри, смотри, моя-то красавица — словно пава — уж как ни гляди, а всех лучше... И умна, и ловка-то, и ласкова». Теперь старинные нянюшки выводятся. Молодые маменьки нашего века находят, что они не довольно образованны, что воспитание начинается с пеленок, а они об воспитании понятия не имеют и пр. Я им скажу на это: «Ну, сударыни мои, дай вам бог успеха, чтобы ваше начальное воспитание с англичанками и немками разогрело чувства ребенка хотя с такою же силою, как любовь старушки-няни разогревает в нем любовь к богу, к родителям, к братьям, к сестрам и даже к самой няне, которую дитя любит несравненно больше своих гувернанток!»

Я не раз слыхала, если случалось господам крикнуть на няню, как ребенок, удваивая к ней ласки и нежные названия, говорил: «Милая няненька, ты моя золотая, серебряная; когда я буду именинник, то подарю тебе 5 рублей, за то что папаша тебя бранит за меня».

Случалось мне также видеть, как няня, заметив, что взращенный ею питомец, женатый уже человек, сам отец семейства, часа три сидел за картами и горячо спорил со своим партнером, манила его рукою в другую комнату и говорила, качая головою, с упреком: «Феденька, Феденька, что ты, мой батюшка, сегодня так заигрался? худо это, худо! Я тебя на ноги подняла — так не сердись, мой голубчик, что учу».

Пусть поищут этого чувства в наемных немках и англичанках; пусть найдут его, и я замолчу...

Заключу эту статью признанием. Моя няня жива, и с каждым днем благодарность во мне становится сильнее, потому что с каждым днем я более и более постигаю всю тягость труда, ею перенесенного, и познаю цену ее добрым качествам. Она живет у старшей сестры моей. Месяцев пять тому назад она подала столь разительный пример своей преданности, что я не могу не украсить им моей статьи. Сестра моя лет десять замужем. У нее пятеро детей, и все они питомцы старушки-няни. Они живут на Васильевском острове, и как люди не очень богатые, по обстоятельствам впадают иногда в нужду. Во время непостоянной зимы нынешнего года, когда сообщение через Неву так часто, иногда на несколько дней, прерывалось, муж сестры моей впал в большое затруднение... За рекою ему следовало получить деньги, попасть туда не было возможности, бумажник был совершенно пуст, и занять не у кого...

Разговаривая о своем горе с женою, он вовсе не обращал внимания на няню, которая плясала с меньшим его сыночком в той же комнате. «Всего досаднее,— говорил муж озабоченной жене,— что здесь я совершенно ни с кем не знаком так, чтоб... Беда с этой рекой...»

Не прошло десяти минут, вошла старушка-няня и, подавая довольно толстый пакет, в котором было несколько сотен рублей мелкими ассигнациями, сказала: «Что вы тужите по-пустому, мои родные? вот вам все, что накопила я в десять лет моей жизни у вас. Вашим добром вам же челом; только вы не сокрушайтесь, бога ради, у вас и без того много забот! Как я умру, так вы, верно, меня похороните... Я для вас же копила, мои светы, вам же хотела оставить в наследство...»

Можно представить, что должны были почувствовать сестра и муж ее при этой неожиданной помощи!.. Тронутые оба, они искренно благодарили добрую старушку, не находя слов, чтоб растолковать ей, как ее поступок был хорош; няня разумела тут не только самое обыкновенное и простое желание угодить им, но как будто иначе и быть не могло.

«И, матушка, сударыня! — говорила она простосердечно,— я рада-радешенька, услышав, что вам нужда в деньгах... А говори вы по-французски — ничего бы не знала. Не у кого занять? А вы и забыли, что я тут. Да и назад этих денег я во веки веков не возьму!» Сказала, да и пошла себе плясать *качучу** с ребенком в другую комнату.

Сестра глядела ей вслед, и невольно слезы навернулись на глазах. В эту минуту вошел их домашний доктор, добрый немец, который, впрочем, по-русски, как и по-французски, одинаково смешно объяснялся. Заметив растроганный вид сестры, он спросил, что было тому причиною; сестра, с некоторым чувством гордости, рассказала ему поступок няни. Доктор, знавший необыкновенное попечение няни о детях, ее неистощимое терпение и доброту сердца, при рассказе сестры пришел в совершенное восхищение. «Vous avez

la, madame, dans cette vieillarde une capitale impayable!..»[1] — провозгласил он, значительно покачивая головою.

ЗНАХАРЬ

(посвящается А. П. Башуцкому)

Великое дело знахарь! Почетнее его нет не только в том селении, где он живет, но и в целом околотке. Что ваш атаман, что ваш голова! Да чего? сам пан-писарь волостной, перед которым и голова, встречаясь с ним на улице, за три шага торопится снимать шапку, упреждая его поклоном и накрывая голову гораздо после него, когда пан-писарь едва только приподымет свою шапку, да поскорее и наденет снова,— так вот, и эта важная персона, пан-писарь, говорю я, перед знахарем — ничто!

Посмотрите только, когда знахарь выйдет из дому, что за важными его занятиями случается очень редко, посмотрите, когда он покажется на улице, что тут происходит! Кто бы ни шел, хоть за самым необходимым делом, завидев *дядюшку Радивоновича,* как бы далеко он ни был, даже в трескучий мороз, *хлопчик*[2] ли то или лысый старик, все спешат снять шапку, заранее сходят с дорожки, по которой идет знахарь, быстро смотрят на его приближение, и когда он с ними поравняется, отвешивают ему поклон, какого уже не можно ниже, и с нетерпением ожидают к себе внимания. Вот в конце улицы сидят *молодицы*[3] кучами, собравшиеся работать вместе, чтоб дело шло «скорее»; чего они не нанесли с собою! тут и гребни для прядения, и *ветушки*[4] для мотания ниток, и скроенные рубахи, и пяльцы ручные, в которых впялено полотно, и уже начаты красными нитками вышиваемые хустки* или рукава к рубашке... все повынесено молодицами, засевшими в кружки; перед каждою ее работа, и они работают, думаете вы?.. Куда! Некогда. Мотря Сюсюрчиха рассказывала преудивительную историю, как она вчера вечером доила корову, да не могла отыскать *глечика*[5], чтоб вылить в него молоко... Видите, какое приключение!! Все разом опустили работы из рук, положили веретена, пороняли иглы... и еще не пришли в себя от удивления, как вдруг *Грициха*[6], та — что живет подле «попова колодезя», начала рассказывать пренеобыкновенное обстоятельство прошедшего месяца; как она искала по всей хате ключа от *скрыни*[7], а ключ очутился у нее же, у пояса подле *калитки*[8]!! Грициха рассказывает

---

[1] Эта старуха, мадам, не сравнимый ни с чем клад *(фр.)*.— *Ред.*
[2] Мальчик.
[3] Женщины.
[4] Мотушки.
[5] Кувшин.
[6] Жена Григория.
[7] Сундук.
[8] Сумка, кошелек.

это происшествие в тридцать седьмой раз, но она такая мастерица рассказывать, что все с одинаковым вниманием слушают ее, забыв о работах. Так у них все идет, как вот Явдоха Шпонячиха (взятая из господского села, в молодости служившая при барышнях и даже ездившая с ними в город, где видела, как собаки танцуют под скрыпку) только было начала рассказывать что-то *интересненькое*, ан все молодицы, разом откинувши работы, вскочили, вытянулись в струнку, сложили руки, да с почтением и глядят вперед... Чего ж бы это? — Чего?! Завидели знахаря, который медленно идет вдоль улицы; не можно же против него быть *незвычайною*[1], надобно честь отдать, низенько поклониться. Не сделай-ко этого, кто хочешь, как бы ни был он стар или мал, уверяю вас, даром не пройдет. Старик еще не дойдет до дому, а уж непременно либо споткнется, либо палку из рук выронит, либо закашляется сильно. На молодого же или нападут собаки, так, что едва отобьется от них, либо повстречается товарищ, да и заведет его совсем не туда, куда он шел, либо, пожалуй, не застанет того, к кому спешил. Женщина, не отдавшая почтения знахарю, не менее потерпит: того и смотри — при шитье сломается игла, или муж без причины будет сердиться, или детей не скоро забаюкает. Будь же то девка, уверяю вас, любимую ленту из косы потеряет, ошибется в узоре при вышивании хустки будущему жениху или что-нибудь другое неприятное наверное случится... Да-таки всякий, кто б ни был, непременно почувствует на себе гнев знахаря за непочтение; если не в то же время, так на другой, на третий день, беда придет, пожалуй, и через месяц; а все же придет, так уж не минет! — Ого! Великий человек знахарь! Опасно прогневать его!

Зато какое утешение, когда знахарь к кому внимателен! Если на поклон при встрече он приподнял шапку (что весьма редко), да взглянул приятно, или еще потешил ласковым словом, тогда такой счастливец ничем *не уважает**, и хотя бы два десятские* пришли вести его в волостное правление, не боится уже он ничего, в совершенной уверенности, что знахарь к нему милостив и *силою* своею не допустит *изобидеть* его. Хозяйка, услышав от *дядюшки Радивоновича* ласковое слово, спокойна, борщ у нее сварится отлично, напрядет она в тот день много, и дети будут крепко спать всю ночь. Если же девка удостоена такой чести, то она в полном восторге, и каждый вечер уже выглядывает *старост*[2] от подмеченного ею *парубка*[3].

Так-то, знахарь может одним словом осчастливить всякого человека! Великое же это слово! Зато уж не разговорится он много, а разве только чуть-чуть что выговорит, да и то сквозь зубы; а подите же вы с ним, какую силу имеет и ничтожное слово его! Разберите сами, иному скажет он: «А! что? да?» — Тот и не поймет, к чему оно сказано, да уж после и отирается. Или скажет: *«Идешь?»* —

---

[1] Неучтивою.
[2] Сватов.
[3] Парня.

Тут двояко: когда ласково, то все будет хорошо; когда же с насмешкою или с сердцем, то хоть и не ходи: уверяю, не будет успеха. Попробуйте, когда не верите.

Знахарь вполне понимает свою силу, потому-то и размеряет, на кого как взглянуть, кому, что и как сказать. Он редко выходит из дому, но уже не сделает и шага не рассчитанного, не придуманного прежде. Вот идет он, идет, и хоть вовсе не по дороге, а пошел же мимо волостного правления. Там собирается *громада*[1] потолковать о каком-то общественном деле, с которым нужно спешить; завтра думать будет поздно. Собралось уже большое число хозяев и стариков, голос которых уважается громадою; не подошло еще нескольких для полного числа; толкуют хорошо; почти положили на мере. Уж пан-писарь, в ожидании прихода прочих, готовится писать приговор, как вдруг проходит мимо *дядюшка Радивонович;* и не к волости же идет он, а проходит только мимо, стал напротив, посмотрел на собирающуюся громаду, подумал, покачал головою... отворотился... да и пошел себе своею дорогою...

— Бросайте дело! — вскрикнули все сшедшие на *пораду*[2], кинувшись к своим палочкам; надели шапки и пустились расходиться. Сколько ни удерживай их голова или хоть сам пан-писарь, никто не останется; все говорят в один голос: «Не будет ладу с нашей рады; разве не видели, как дядюшка Радивонович закачал головою? Жди добра! Да хоть до ночи толкуйте, ничего не будет! Недаром же он покачал...» Разойдутся все, несмотря ни на какую надобность, ни на какие требования своего начальства. Что ж? Так и вышло, как предсказал знахарь: покачал головою, дело-то и не сделано! Вся волость твердит об этом и удивляется силе знахаря!

В другом случае, когда, например, нужно прибавить пану-писарю жалованья, придать работников, земли нарезать и т. п., — бывает иначе. Видят пана-писаря, вечером пробирающегося глухими переулками; под полою свиты несет он что-то, да заметно, что и за пазухою есть кое-что, и в обоих *кишенях*[3] не пусто. Повстречается ли с ним кто и, как должно, сняв шапочку, низенько поклонится и *звычайно*[4] спросит: «А куда вас, пан-писарь, так не рано бог несет?» — тот, едва дотрагиваясь рукою до своей высокой *смушковой*[5] шапки, отвечает ему сухо и с досадою: «*Маю*[6] дело до человека. Знай себе, Клим, не расспрашивай, чего тебе не нужно». — Этот с *облизнем*[7] себе пошел, а пан-писарь прокрадется к самому знахарю и от него, уже поздненько, возвращается домой, мурлыча под нос что-то вроде песенки. В карманах его, за пазухою и под полою — уже пусто...

---

[1] Мирская сходка.
[2] Совет.
[3] В карманах.
[4] Учтиво.
[5] Бараньей.
[6] Имею.
[7] Со стыдом.

Вот и сходится громада. Все почетные старики и настоящие хозяева уже собрались, не смея уклониться, послано от волостного правления объявить всем, что есть дело важное, что неотменно нужны на пораду сами хозяева, чтоб молодых не высылали на громаду, а сами бы приходили. Как тут ослушаться? Пособрались, уселись; голова, прокашлявшись и посматривая на пана-писаря, начинает предлагать громаде «о необыкновенных трудах пана-писаря, как-де он, не заботясь вовсе о своем хозяйстве, не собирает для себя ничего, а все время посвящает на благо общее; ночь и день пишет бумаги, и начальство все его бумаги похваляет, и наша волость идет *в отличных»*. За такие полезные труды пана-писаря, когда он сам о себе не радеет, надо поблагодарить его всем обществом. Тут предлагается мера награды: собрать по чем с души и поднести пану-писарю, или отдать ему во владение такую-то земельку, или что-либо тому подобное.

Пан-писарь стоит в сторонке. Услышав такое предложение головы, он с изумлением на него смотрит... Когда же дойдет дело до вознаграждения, махнув рукою, он с неудовольствием и гневом отворачивается; на глазах громады чешет с явным негодованием свой чуб и как будто говорит: «Какой вздор несет голова! К чему это? Стоило ли беспокоить добрых людей и собирать громаду!»

На предложение головы самые почтенные из стариков отвечают с великим уважением, что им всем известны труды пана-писаря, известны его недостатки (это разумеется о жизненных потребностях) и что нужно бы ему пособить; но времена не те... неурожай хлеба...

— Падеж скота,— подхватывает другой, объясняя бедственные последствия.

— Увеличение числа неимущих, повинности за которых легли на обществе,— прибавляет третий.

— Стеснение от проходящих команд... починки дорог... возка суда... — говорят другие. Тут посыплются всеобщие возражения, ведущие к тому, что не то время, чтобы думать о награждениях.

Голова заметно смущен подобным противоречием; пан-писарь, напротив того, вне себя от удовольствия! Движением рук, мотанием головы он, кажется, поддерживает каждое мнение, опровергающее предложение; если б не противно было приличию, он, верно, добавил бы многое к доводам стариков. Он уже не может выдержать и говорит вполголоса стоящим сблизи: «Бог знает, что это вздумалось пану-голове, Уласовичу, хлопотать обо мне! я последнего готов *решиться*[1] скорее, нежели с миру, с добрых людей, взять хоть нитку». Так он говорит, с глубоким чувством, а сам поминутно скоса поглядывает в окошко...

Рассуждения идут к концу, голове не остается ничего более прибавить; но вот, в углу, от дверей отшатнулся народ, говорящие примолкли. «Что там? кто там?» — спрашивает встревоженный голова, воображая, не набежал ли становой. «Кто ж там?» — повторяет он, присматриваясь в угол.

---

[1] Лишиться.

— Дядюшка Радивонович пожаловал! — шепнули в толпе, с почтением произнося это имя.

Голова, не оставляя своего места, привстал, кланяясь дядюшке Радивоновичу и прося его пожаловать на почет, в высшее место; ссадил находившихся возле, знаками повелев другим расступиться перед важным посетителем. Народ посторонился. Знахаря почти ведут под руки; проходя, он посматривает на все стороны, ни на ком не останавливая внимания; на иного, однако же, взглянет приветливо, иному даже улыбнется! Дойдя до головы, знахарь поклонился с уважением, но отказался сесть подле него, а начал осматривать всех ближайших, которые почтительно встали; тут выбрал он какого-то из старичков, известного по простоте, но кроткого со всеми и доброго к бедным, и, отведя стоявших возле, занял место старика, усадив его близехонько к себе, с приговоркою: «с тобою мне хорошо!» С завистью глядя на старика и тут же перетолковывая слова дядюшки Радивоновича, все говорили шепотом: «Не знаем, кому-то из них лучше! посмотрите, как этому старичку ни отсюда ни оттуда пошлется счастье!»

И точно, не прошло же ему даром такое отличие; через две недели купил он корову, и что-то дешево, а она возьми да и роди ему через полгода отличного теленка! — Так вот что значит внимание такого человека, как дядюшка Радивонович!

— Пожалуйте же, что делается на громаде? — Все замолкло. Дядюшка Радивонович сидит себе, наклонив голову, и палочкою своею чертит что-то по земле. Замечающие каждое движение его стараются истолковать, что он это и «на чью голову» чертит?

При всеобщем молчании знахарь вдруг поднимает голову и спрашивает: «А что, пан голова! о чем вы радитесь?» Голова объясняет о сделанном громаде предложении.

«Ну-те! ну-те! толкуйте; а я послушаю умных речей!» — сказал знахарь и наклонил опять голову; между тем улыбка его из-под густых рыжеватых усов выражала: «увидим, что скажут!»

— А вот, люди говорят... говори-ко, Фома, что ты говорил! — сказал голова, обратясь к белобородому старику, первому начавшему возражения.

— Да я говорю... — начал было Фома твердым голосом; но тут взглянул на него знахарь таким оком, что Фоме всю спину морозом обдало.— Да вот и люди говорят... говорите же, дядки... — уже едва произнес Фома и вдруг замолк, с трепетом в сердце, желая угадать, что заболит у него, когда так взглянул дядюшка Радивонович? А уже даром такой взгляд не пройдет!

Прочие дядки молчали. Знахарь же, посматривая на всех, как будто требовал, чтоб каждый высказал свое мнение.

— Да мы... мы говорим то... мы... — послышалось было с разных сторон; но каждый из начинавших встречал взор знахаря и, теряя последующие слова, умолкал.

Выждав несколько и не слыша ничего, знахарь с неудовольствием встал и с выражением упрека начал так: «Мы то! мы то! Великое светило, что наш Ктитор Данило! — Ох, ох! ох!» — Тут, облокотясь на

свою палку, он продолжал с одушевлением: «Примером сказать, хлеб у нас худо родился, а сена и того меньше; пусть будет у меня бедная парка волов, кормить нечем, зимою пропадет. Жена пристала, продай да продай! За те деньги хлеба накупим, пропитаемся. Я и так, но дождался молодого месяца, посмотрел на *зори*[1]: не выходит продавать. Не продал, а давай волами работать. Нет волам отдыха; беспрестанная работа, да беспрестанный же и заработок. Деньги водятся бесперeводно. Съели волы сено и солому, кормить опять нечем; так вот тут бы и продать их? нет! За выработанные ими деньги накупил я им опять корму; они едят мои деньги, однако зарабатывают их снова. Хоть я и потратился, да будет же мне и польза! — Вот так-то, добрые люди, рассуждайте обо всем. Сказано: от человека до скота, а вы гадайте себе, что надобно от скота и до человека! Разжуйте, что я сказал вам!» Тут он умолк и приклонил опять голову.

— Э! э! так вот на что дядюшка Радивонович свел! — послышалось в толпе.— А что? ведь правда, правда! Хоть и потратимся мы чем пан-писарю, так он же нам и отслужит! Правда!

— Дозвольте мне слово сказать... — начал было один мужичок, средних лет, но уже видевший свет, *ходивший по дорогам,* бывший в Херсоне и даже в Одессе. Приготовлялся он сказать что-то многое, да знахарь остановил его, махнув рукою, и молвил: «Знаю все, что ты, Васильевич, сказать хочешь; видел я твою думку еще прежде тебя... а посмотри-ка лучше, что скажет твой конь?..» — Тут он опять замолк.

Услышав такие таинственные слова, и от кого же! — Васильевич даже побледнел! Подобная речь от дядюшки Радивоновича, знахаря, известного во всем околотке, знахаря, который никогда не сказал слова по-пустому, чтоб не сбылось оно когда-нибудь, неотменно,— хоть бы через десять лет,— такая речь была ужас! тем более, что Васильевич купил лошадь, по виду добрую, заплатил за нее пятьдесят рублей, а как привел домой, то и нашел, что лошадь-то больна; давненько лечит он ее, но стыда ради не хвалится никому о своей ошибке. А дядюшка Радивонович уж и знает!.. да как и не знать ему чего? Притом же сказал он так загадочно, что Васильевич боится, чтоб слова его не предвещали погибели лошади. «Сгинь их голова! — подумал он,— велико дело обложить по малости для пана-писаря? А прогневлю знахаря — беда!» Так подумав, он покачал головою и — примолк.

Заставив молчать всех, знахарь окинул громаду оком и произнес: «Что же? кончайте дело, я от мира не отстану. Поло́жите что пану-писарю или нет, напишите и меня. А чтоб не ходили за мною, так вот мой карбованец»,— тут он положил на стол серебряный рубль, прибавив: «Прощайте, панове громада! я бы побыл на раде, да некогда, надобно ехать на хутор к Дмитрию Петровичу: барыня

---

[1] Звезды.

его крепко больна, лекаря городские испортили ее своими *леками*[1], трудно теперь поправить, хоть бы и мне!»

Вся куча проводила его; преспокойно пошел он домой, а старики принялись снова трактовать о решенном уже деле. Тут они нашли, что дядюшка Радивонович все правду говорил, и удивлялись, как эта правда никому, кроме его, в голову не пришла; а потому, подав руки — подписать за них приговор «о награждении пана-писаря», затем разошлись спокойно. Из возвращающихся были и такие, которые не говорили, а думали себе, и то оглядываясь, чтобы кто не подслушал их мыслей: «Жаль денег для ненасытного пана-писаря, а что будешь делать? Дядюшка Радивонович пожелал так. Можно бы и не согласиться, но жена и дети дороже, нашлет на них беду, что тогда делать?»

Так-то много значит в целой волости один знахарь! А каждая из них, во всех наших губерниях, имеет своего, состязающегося в славе с другими, живущими в окололежащих селениях. Народ так привык верить, что непременно в куче их есть один *знающий слово,* могущий наслать беду, отвратить успех в предпринятом деле, помешать свадьбе, испортить скотину или напустить болезнь на семью, на село; народ так привык, говорю я, что если нет охотника на такую славу, то придадут ее кому-нибудь против воли; не отбожится, не отмолится человек, что он ничего не знает! «Как-то не знает? — рассуждают они,— поверь ему! А отчего же он ходит, повесив голову? Отчего редко взглянет на кого; а если и взглянет, так не спроста? Вон, встретил Марка, да и спросил его только: «А куда ты? домой? Поспешай, поспешай!» Марко пришел домой: глядь, у него дал бог родины!! Как же бы он это сказал, не *знавши* ничего?! Нет, знает, непременно знает!» Вот от молвы и пошел человек быть знахарем; все пустились к нему; все ищут чрез него счастия или просят избавить от беды.

Сметливому и расчетливому человеку немного стоит сделать тут свою славу. Не нужны ему ни опыт, ни учение, ни сверхъестественные действия; все, при маленькой хитрости, придет само собою.

Вот, например, наш, которого все жители, господа и простые, знают под именем дядюшки Радивоновича, смолода вовсе не обещал, чтобы из него вышел знахарь. Был он весельчак, краснобай, на свадьбах первый *танцюра,* на сходьбищах неумолкаемый *джмут*[2]. Послушайте же, какой случай нарек его знахарем. О, случай! случай да уменье... великое дело!

Дядюшка Радивонович был еще парубком и звался просто Данило. В одну ночь, нагулявшись на вечерницах, в веселом расположении духа возвращался он домой с товарищами. Проходя мимо хаты Кирика, старика бессемейного, болевшего уже пятая неделя, видит он в окне большой свет. Оставя товарищей, Данило подошел к окну, и что же?.. Кирик успокоился; лежит на лавке, покрыт цер-

---

[1] Лекарствами.
[2] Балагур.

ковным покровом; над ним ярко горит *ставник*[1], в углу же, свернувшись, две старушки спят крепким сном. Вздумалось Даниле попроказничать. С одним товарищем входит тихо в незапертую дверь избы, с осторожностью, без шума, чтоб не разбудить старух, шалуны снимают мертвеца с места, ставят его у дверей, подперши чем попало, и дают ему в руки длинную кочергу. Устроив все, молодцы тихомолком выходят из избы. Тут Данило, подойдя к окну, крепко стучит и кричит во весь голос:

— Добрый день!

— А кто там? — хрипло спрашивает одна из старух, пробудясь.

— Свои,— отвечал Данило,— у вас светится, дозвольте попросить огня *запалить люльку*[2].

— А вот встану, погоди немного,— поворачиваясь и покашливая, бормочет старуха... и вдруг вскрикивает не своим голосом: «Ох, лихо! Явдоха, Явдоха!!.»

Явдоха просыпается и, зевая, спрашивает: «А чего ты, Домаха?»

— Смотри!.. Кирик!.. — едва может выговорить Домаха. Явдоха взглянула на лавку — Кирика нет там: Кирик с кочергою гуляет по хате и остановился у дверей... Дрожа всем телом, бросились старухи на печь; кричат, визжат; от страха дух им захватывает.

— Ой, лишечко!.. пропали мы с душами!.. Кто в бога верует, помогите! ратуйте! ратуйте!..

Дав им накричаться, Данило опять стучится в окно, и, перекричав старух, спрашивает, что случилось?

— Глянь... глянь на дверь!.. Ох, лишечко наше!.. — вопили они.

Данило заглянул в окно и, заметив, что старухи наблюдают за ним из-за печи, значительно покачал головою. «Что ты это, дядя, делаешь? — сказал он.— Шалишь, как мальчик какой! Кстати ли тебе так пугать добрых своих соседок! Не бойтесь, тетушки; я сейчас все исправлю». С сими словами вошел он в избу, осторожно проходя близ покойника, чтоб не повалить его...

Увидев, что Данило безбедно прошел мимо страшного мертвеца, старушки приободрились, вылезли из-за печи и начали просить Данилу: «Что хочешь возьми, только освободи отсюда наши души. А когда знаешь в чем *силу,* угомони его, чтоб лежал смирно!.. Мы так *перелякались*[3], что чуть живы; выпусти, покуда еще дух в нас есть».

— Не бойтесь, тетушки, вовсе ничего не будет,— успокаивал их Данило, засучивая рукава и приготовляясь к какому-то действию. Старухи, ободрясь, решились не уходить, чтоб видеть, что произойдет. Обратясь к мертвецу, Данило начал говорить как будто живому: «Стыдно, дядя, так проказить. Полно, иди, ложись на место... Подай сюда кочергу... видишь! еще не дает!.. о, да ты, брат, меня не знаешь!.. Мараба! Тараба! Параба!» — С этим словом он выхватил

---

[1] Большая свеча из церкви.

[2] Закурить трубку.

[3] Перепугались.

кочергу, откинул подпорки, схватил на руки валящегося мертвеца и закричал: «А! ты еще и бороться со мною вздумал! Так нет, дядя, не на того напал! Туруру! буруру! марару!!» — и, крепко облапив тело, Данило дотащил его до лавки, положил и, приводя все в прежнее положение, приговаривал: «Не по своей силе ты вздумал, дядя, спорить со мною! Силен и ты, правда, а что? кто кого поборол!? То-то же; смотри у меня! Приказываю тебе отныне и до века лежать смирно, не пугать добрых людей; не то — я близко! — Не бойтесь теперь, тетушки, уж он вам ничего не сделает».

Старушки неохотно, однако же, отпускали Данилу, но продержали его, пока рассвело и пришли прочие соседи...

Еще утром по всей слободе пошла страшная весть, что, когда над умершим Кириком, ночью, сидели соседки, Домаха и Явдоха, он, в глазах их, вдруг встал, схватил кочергу и принялся колотить их, приговаривая: зачем в молодости не пошла ни одна за него! Наверное, он перебил бы их насмерть, если б не явился — кто его знает, как и откуда? — Данило; бросившись на мертвеца, он начал бороться с ним. Страшно было смотреть на них: то Данило одолеет, то мертвец свалит Данилу... Наконец, Данило не выдержал, сказал какие-то ужасные слова... Хата потряслась, мертвец грянулся о пол, Данило же внезапно неизвестно как и куда девался, а старухи, напуганные порядком, положили покойника и всю ночь сидели над ним, беспрестанно говоря, как будто с присутствующим Данилом, чтоб мертвец боялся и более не вставал.

Не знаю наверное, случилось ли это так, как рассказывают старухи, или как я рассказываю; кто-нибудь из нас, конечно, лжет, верно, однако же, то, что про Данилу пошла молва, будто он *кое-что* знает и чуть ли не с тех пор как, помните, проходил какой-то москаль и ночевал у Данила; верно, он научил его всему.

Знал Данило об этой молве, но ему мало ее. У него была *дядина в третьих*[1], промышляла она печением *бубликов*[2], да как-то неудачно сбывала свой товар. Напротив того, Скиданка, другая торговка этим лакомством, не успевала напекать, так у нее расхватывали, почти из печи покупали.

Вот однажды, уже к вечеру, Данило, подойдя к куче разговаривавших женщин, подсел к ним с бубликами в руке. Замолкли что-то женщины, а Данило, доедая предпоследний бублик, начал похваливать: «Что за *мудрые*[3] бублики печет эта Скиданка! на удивление! Ешь не отъешся от них! Один только остался, спрячу, после ужина полакомлюсь!» Вынув из-за пазухи платок, Данило завернул в него бублик и положил опять за пазуху. Долго говорили о том, о сем, и нечувствительно речь пала опять на преотменные бублики... «Посмотрите, тетушка, что за тесто! разломишь, так глядеть завидно!»— С этим словом вынимает Данило из-за пазухи платок, разворачивает... вместо бублика... страшно сказать... змея! Ей-богу,

---

[1] Внучатого дяди жена.
[2] Калачей.
[3] Вкусные.

змея!.. живехонькая; свернулась также бубликом, а сама движется и головку выставляет. Как увидели это все сидевшие, так и ахнули! от ужаса не могли слова вымолвить. Данило же, покачав головою, сказал: «Ну, Скиданка! хорошими бубликами ты меня было накормила! Куда тебе справиться со мною!»

С тех пор кончилась мода на Скиданкины бублики. Никто не покупает ни одного. Помилуйте, как покупать? Съешь бублик, ан это не бублик, а живая змея! О Даниле же еще большая пошла слава, и не только по своей слободе, но и в соседних начали знать его, потому что Скиданка, потерявшая здесь кредит, должна была перебраться в другую слободу, где, желая опорочить Данилу, рассказала, что он ее бублик превратил в змею, не понимая, что тем сама еще больше прославляет знание его. Дошло до того, что некоторые знахари из других селений приезжали учиться у молодого Данилы. Они сами знали все, но от змеи не знали *слова.* Он научил их каким-то таинственным словам и наставил, как при этом должно взять змею за шиворот... Но это важный секрет... не скажу вам.

«Теперь видимое дело, что наш Данило знает *кое-что,*— говорили старики, беседуя между собою.— Посмотрите, парень еще молодой, что ему? двадцать годов с небольшим; а глядите, как подпоясывается? От молодых отстал и все придерживается старичков, все подражает им; ходит важно, не очень-то по сторонам зевает, с кем встретится, не разговорится, а все свое думает».

— Что сталось с нашим Данилом? — толкуют парубки.— Отстал вовсе от нас; никогда не выйдет поучить нас новой песне или игру затеять. Чего он ходит, как будто потерял что? Да как же ему и быть иначе? пустился в знахари. Сам объезжает их, по соседству, и все к нему приезжают. Так ходит, так смотрит, как совершенный знахарь. Да и родился на то. Чего уж он не знает?.. Змей в руки берет!.. Пришел на наши вечерницы, сидит себе и — ничего; вдруг сказал: «А что, хотите, я вам накличу змей полную хату?» Мы как услышали, так и разбежались все, кто куда! Невесело было бы сидеть между змеями!.. Родится же такой умный человек, что *все* и *от всего* знает!

— Хорошо я сделала,— говорит Варька своим подругам-девкам,— что не посылала к Данилу, чтоб сватал меня. Как видно, так он совсем знахарем стал. Вчера мой батька с ним что-то поспорил — приходит домой, а мать и жалуется, что корова перестала молоко давать. Данила все это наделал, уж некому больше; у нас в слободе никого такого нет. Хороша бы я была, если бы за него вышла! Он бы и мною ворожил, да чего? не скрылась бы от него ни в чем-таки... ни в чем.

С ужасом выбежала Мелашка Потапиха к прочим хозяйкам, сидевшим в рабочий день на улице, с работами в руках; от страха она едва могла говорить. «Знаете ли, соседушки-голубушки, что случилось со мной? — Муж мой в поле; бык у нас захворал, так мой Потап выпросил у Герасима, того самого, что, помните, купил об Алексеевской ярмарке у Дериполы, кажется, за сорок ровно, не

то с рублем,— вот уж этого не могу вам сказать, ну и нужды нет... так вот муж мой в поле, а у него уже такая натура: пока не кончит, не бросит дела, я к нему применилась и знаю. Один раз, вот-то смех был! починяет он сапог, вечером, при свечке, а это было против четверга... какое?.. против четверга я платье бучу*, а тут, помню, шила рубаху, не мужу, а просила меня кума из колодежного хутора; знаете — отдавала дочь замуж, так я и помогала ей обшить девку... О, да и девка-то важная была!.. Ну-те, так я, знавши мужнину натуру, что он, не кончивши работы, не воротится домой, к вечеру стала было варить ему кое-что. Как вдруг вошел Данило, а он у нас редко бывает.— Тетушка, говорит, нет ли у тебя нового горшочка, в котором бы ничто сроду не варилось? — Я, слышав, что про него люди говорят, что он знахарь, так испугалась, что опустила руки, да и говорю: есть.— А пожалуйте мне. Я и подала. А он, вот ей-богу правда! вынул из кармана какие-то травы, положил в горшочек, налил водою, принесенною с собою в бутылке, поставил на огонь, да сам и начал шептать, что-то такое страшное, что я ничего и не разобрала. Стою себе ни жива, ни мертва. Простудив отваренную траву, Данило влил воду в бутылку, а траву завернул в бумагу и пошел, да крепко наказывал, чтоб я никому не рассказывала.— Это, сказал он, на помощь людям, так не годится всякому знать. Я ему побожилась, что никому не скажу, пожалуйста, соседушки, не говорите и вы, чтоб он не наслал мне какого худа...»

Так кончила Потапиха двухчасовой свой рассказ, со многими отступлениями, которые я решился не включать в это сокращение.

«Можно ли, чтобы мы кому сказали? — заговорили все соседки вдруг,— разве ты нас не знаешь? *мужикам*[1] своим не скажем». «Я только и скажу,— сказала одна,— своей соседке; у ее кума дитя больное, так пусть сходит к Данилу. Когда варил зелье какое, то верно уж это лекарство».— «Надо и мне сходить к своей дядине, у нее сын чахнет».— «И мне...», «и мне...» И вот все, обещавшие хранить в тайне пересказанное им, пошли разносить по всей слободе и пересказывать, также за тайну, все родным и знакомым.

Кандидат в знахари ловко все рассчитал и метко совершил выбор поверенного своей тайны. Предвидя последствия, он тотчас приготовился, зная, как нетерпеливо любопытство.

Только лишь настало утро, у него собралось несколько женщин с ребятами грудными и едва ползающими, с детьми малыми и большими; мужчины, женщины и старухи пришли и стояли около хаты, во дворе и около двора; все хотели войти, но никто не смел первый помешать важным занятиям Данила. Стоявшие близ окон и дверей видели и слышали хозяина дома, замечали, что он знает о приходе их, но, не получая дозволения войти, не решались даже просить о том. Не скоро уже самые нетерпеливые и отважные, пробравшись сквозь толпу, осмелились проникнуть в хату. Войдя, по обычаю помолились, приветствовали хозяина; но он, стоя у стола,

---

[1] Мужьям.



не глядел на них. Стол был уставлен разными горшочками, склянками и завален пучками разных трав; Данило смешивал жидкости в горшочках по выбору и сливал в стклянки разных видов и мер; травы же собирал из разных пучков по нескольку, сворачивал вместе и откладывал по сторонам. Все это делал он с большим вниманием, не глядя на пришедших и нашептывая что-то... Предстоящие не смели шевельнуться и с благоговением смотрели на важные действия. Вот он кончил, окинул глазами присутствовавших и как будто тут впервые заметил их... «Что вы скажете, люди добрые? зачем пришли?» — спросил он их, убирая в сторону все приготовленное.

«А вот пришли мы... — начали говорить несмело и все по частям, как в старину наши бояре правили посольские речи,— слышали, что помогаешь в нужде... вчера варил зелья... помоги и нам...»

«Что за народ такой! — восклицает Данило, будто про себя, ударив руками о полы и садясь на лавку, в конце стола.— Вчера так пришлось, негде было больше, как у Потапихи, сварить кое-что, а она и распроповедывала по всей слободе! О, женский язычок! Я, люди добрые, такой же грешный, как и вы. Учиться нигде не учился, да этому и не учатся. Это не есть какая наука, как сапоги пошить или свиту скроить. То лекаря одуряют народ, что они обучены лечить других, неправда! этому научиться не можно, а *дается* оно человеку особенно. Кое-что знал, то и приготовил. Сам хотел идти к тем, кому нужно и кому пособить, а вы все пришли ко мне. У меня помощь от болезней есть, а от смерти никто не избавит».

Пока он это говорил, в хату набилось много народа, особливо женщин, с детьми на руках; к одной из близ стоявших Данило

тут же обратился и, увидев на руках ее двухлетнего мальчика больного, высохшего, сказал: «Вот как, и ты принесла своего! Кто ему поможет? Неси, давай ему есть чего пожелает; пусть наедается». Женщина, залившись слезами, вышла от знахаря. Всем встречающимся она говорила, рыдая, что ее Микитка *не выдужает*[1], знахарь сказал, что он умрет, и велел кормить перед смертью всем, чего он только пожелает.

К другим Данило был милостивее. Только взглянет на иного ребенка, тотчас и узнает, отчего он болен; но прямо не скажет, а все намеком: «Все зависть! — с упреком говорит он,— чего тут завидовать на чужое дитя? Кому какое бог счастье в чем послал; кому в *худобе*[2], а кому в детях; так надобно ли волю давать глазам! Ох глаза, глаза!» Да тут и даст какой воды, или травы, или порошка и наставит, как принимать.

Иного дитяти хоть не подноси и не подводи: не хочет и смотреть на него. Бедная мать оплачет его заранее; когда уже знахарь и не взглянул, а только рукой махнул и отворотился, видимое дело, что ребенок умрет.— А вот он выходился. Что ж? — «Знахарь отгадал,— говорит мать,— не дал лекарства, рукой махнул, значило, что он и без лекарства выздоровеет. Экой знающий наш Данило!»

Кроме приносимых и приводимых детей были и взрослые: молодой парень жаловался, что одна женщина, злая на него, что он не сватал ее дочери, поднесла ему что-то в водке, он выпил и чувствует, что у него в животе развелись змеи, сосут сердце, он, видимо, сохнет.— Дано лекарство. Дано и всем жаловавшимся на болезни насланные и происшедшие от подобных же причин. Одним розданы засушенные корешки, другим засушенные головки, кости лягушек, ящериц и пр. с наставлением носить на шее «три — девять» дней, чтобы отошла *насылка* и впредь не приставала.

Приходили и старухи, едва державшиеся на ногах. Все жаловались, что от лихих людей нет им житья; одной соседка похвалялась: будешь-де ты меня помнить! С тех пор ее задушает кашель. Другая жаловалась, что Кондрат, старый мельник, посмотрел на нее так пристально, что у нее ноги подкосились и что с тех пор с трудом может она пройтись по хате. И все они жаловались на болезни, на недуги, насланные от злых людей, никто на старость. Знахарь наделял снадобьями и обещал, но всегда так запутанно, что нельзя было решительно угадать, предсказывал ли он выздоровление или смерть. В первом случае дивились его искусству, во втором — его предвидению! «Сказал же,— говорили люди,— когда будешь пить лекарство, все пройдет скоро; так и вышло, третьего дня не пережила: скоро прошло все; удивительно как знает!»

В деревнях и сосед не приходит к соседу с пустыми руками, всегда приносит хлеб, паляничку* и т. п., как же к знахарю, прося у него помощи, прийти без всего или принесть что неважное? Не можно никак. Вот каждый из приходящих, по мере надобности и

---

[1] Не выздоровеет.
[2] В имуществе.

достатка, везет и несет, кто разной муки, кто водки штоф, кто денег,— и каждый, участвуя в приношении, в прибавок не называет уже знахаря просто Данилом, а величает, как и других почетных в слободе людей, по отчеству; вот и пошел он *«Радивоновичем»*. Придав же себе наружность поважнее, отрастив бороду, начав подпоясываться хорошим поясом, пошире складывая его и выступая по улице важно, он, при каком-то случае, вдруг сказал пришедшим к нему за помощью: «Дивился я, что в соседней волости молодого человека кличут все: дядюшка Семенович; не знал тому причины, да уже мне другие рассказали. Он, говорят, хотя и молод человек, но много нам добра делает. Отводит несчастия, избавляет от всяких болезней. Ну, когда заслужил, так правильна такая честь. Буду и я трудиться, чтоб хотя на старости дожить до почтения». В тот же день Данило имел удовольствие слышать, что все уже величали его дядюшкою Радивоновичем. С тех пор, кто бы ни проезжал через слободу, слыша, что называют дядюшку Радивоновича, тотчас догадывался, что он знахарь, и сам отдавал ему почет.

С открытия практики знахарь убедился, что он обеспечен в своем содержании. Данило оставил заботу о хозяйстве, отцовский скот распродал; пациенты его и имевшие в нем надобность обрабатывали землю, весь доход самым честным образом сдавали ему, не смея обмерить, обвесить или обсчитать его в безделице. Возьми что-нибудь из принадлежащего дядюшке Радивоновичу, так тебя схватит за живот, так что и жизни не рад будешь; приплотишься еще ему же за лечение втрое, нежели что взял, а *хворьба*[1] в барышах. Дядюшка Радивонович, продав выгодно отцовский двор, купил пригодный для себя дом в конце села, особняк, над озерком, а тут же и лесок близко... так что кто ни взглянет, тотчас отгадает, что там *не простой* живет. Данило смело мог не запирать в своей хате дверей, потому что самый злой человек побоялся бы сделать ему какое лихо, чтоб не случилось и с ним беды, как когда-то, давно, пострадал один простяк, хотевший обокрасть знахаря. Он свободно вошел в хату к нему, открыл незамкнутый сундук, набрал пропасть денег, куда только мог у себя насовал их... а знахарь спит себе крепко и не слышит. Но только лишь вор хотел идти, как вдруг, где ни возьмись, явился страшный *цап*[2] и стал в дверях. Глаза сверкают, изо рта искры сыплются!.. Вор ни с места и простоял так до рассвета. Знахарь проснулся, посмеялся над ним, велел ему положить деньги назад, откуда взял, и отпустил его... Что же? тот человек пошел, да тогда же и *одурел*[3]. Не мог ничего больше выговорить, как только цап, цап!! — Чего бы ни просил, хлеба или воды, что бы ни вздумал рассказать, все твердит: цап, цап!! Так, когда уже в старину так было, и верные люди рассказывают, что это именно правда, то кто же пустится на явную беду? Никто и на волос не возьмет из принадлежащего знахарю; хоть бы он что потерял, если кому случится найти,

---

[1] Болезнь.
[2] Козел.
[3] С ума сошел.

тот приходи хоть в полночь, отдай сам, а то чтоб после не раскаиваться.

А было бы чем поживиться у дядюшки Радивоновича, как и у всякого знахаря! Еще в первые дни, когда народ пустился к нему за помощью, проезжавший чрез слободу человечек, удивясь такому сходбищу, полюбопытствовал узнать о причине и тут-то услышал, какие чудеса делает новый знахарь: как он всем справедливо предсказывает болезни, вылечивает самых отчаянных, почти мертвых воскрешает! Этот человечек, поехав далее, возьми да и расскажи по соседним слободам... Батюшки мои! так и пустился к нему народ со всех мест! Хоть есть везде свои знахари, столь же сильные, столь же знающие, что в них? все бросились к новому... Около двора дядюшки Радивоновича не можно проехать за телегами, на которых привезены больные, ну, право, верст из-за пятидесяти! Он знал, что оставляют своих знахарей и идут к нему, так чтобы не ссориться с ними, иному больному, не очень страждущему, скажет: «Знаешь, сынок, что? у меня на руках много больных важными болезнями, дай бог мне совладать с ними, а твоя — пустая, с нею и вашего села знахарь справится; ступай к нему, а нам не мешай».

Иного приезжего больного уж он рассматривает-рассматривает; думает-думает; несколько вечеров шепчет над ним, одувает, потом и скажет наотрез: «Что же! всякому человеку дано в меру. Иному мало, мне больше, а есть такие, что еще и больше моего получили. Я не могу с твоею болезнью справиться; поезжай в такую-то слободу, явись к такому-то знахарю и скажи прямо, что я тебя прислал. Это только по его силе».

Так любил он правду и не отнимал чужого.

Натурально, что между проезжающими были и господские крестьяне; получил ли кто из них пользу или по предсказанию знахаря умирал, это не могло не дойти до сведения помещиков.

— Нет моей ноге легче! — говорил Герасим Николаевич, помещик, живущий в тридцати верстах от дядюшки Радивоновича.— Не придумаю, что и делать? Не послать ли, Мавра Осиповна, в город за лекарем?

— С чего тебе такая глупая мысль пришла?— отвечает Мавра Осиповна любезному супругу,— неужели не знаешь, что лекаря всех морят? Вот послушай-ко, что рассказывает наша ключница про знахаря в таком-то селении, так это прелесть! Всех вылечивает, кого можно, а не то прямо скажет, что умрет: так и случится. Лучше бы к нему поехал.

Герасима Николаевича поспешно уложили в бричку и отвезли к дядюшке Радивоновичу; тот посмотрел больную ногу (кожа была ссаднена), присыпал чем-то, пошептал две зари, дал воды пить по три вечера и отпустил пациента... Приехал Герасим Николаевич, сам выскочил из брички, взошел на крыльцо, предстал пред Маврою Осиповною, топнул бывшею больною ногой и пошел себе ходить! Увидев мужа с здоровою ногой, Мавра Осиповна так разинула рот от удивления, что не могла его закрыть в течение двух часов, пока

Герасим Николаевич рассказывал все чудесные исцеления, произведенные удивительным знахарем.

«Жестоко страждающему больному,— говорил он,— становится легче не только от лекарства, но когда этот чудный человек лишь пошепчет над ним, ощупает, обдует или хотя даже взглянет! Я спрашивал его, откуда он почерпнул такую премудрость или кто научил его? Божится, что никто не учил его ничему, а что все это пришло ему через сон, в молодых летах, и он тотчас мог уже повелевать мертвецами, которые встают из гробов! Змей превращает в разные виды... и все такое!.. Это удивительный человек! это филомел! Достойно о нем в газетах напечатать! Сам говорит, что ему обещано через пять лет, чрез сон же, научить еще большим мудростям. Увидим тогда... но и теперь — это просто чудо!»

Герасим Николаевич приказал запрячь бричку и пустился объезжать помещиков, рассказывая об открытом им *филомеле*, о необыкновенном исцелении своей ноги и о всех чудесах, виденных собственными его глазами.

Помещики, выслушав Герасима Николаевича, в свою очередь приказали запрягать брички и пустились к дядюшке Радивоновичу, кто за советом, кто прося приехать к нему в дом посмотреть больного в семействе. Знахарь не вдруг решался в отъезд, устраивал больных, около находящихся, и, подшутив над помещиками, верующими докторам, которые учатся у таких же людей, пускался в путь. Он осматривал хворых, давал свои лекарства, шепотом прогонял болезнь, а если среди его уверений и обнадеживаний в скором выздоровлении больному делалось хуже или он умирал, знахарь не терялся, в оправдание свое он говорил: «Не так он был болен, чтобы его выздороветь, я это видел, но тешил вас только». Иногда же он складывал всю вину на докторов, прежде лечивших больного: «В нем нет никакой болезни,— говорил он,— осталось только лечение этих обманщиков; что может его истребить?» В ином случае он говорил: «Делать нечего; попробую последнее, дам эту воду; когда не умрет к вечеру, то выздоровеет». И всегда отгадывал; больной нередко до суток умирал от чудесной воды, и слава об знахаре распространялась все больше и больше. Не обращали внимания на то, что больной умирал, но удивлялись, что предсказание знахаря сбывалось верно и почти час в час.

Кроме того что наш знахарь в большой везде славе, в почете от всех, не только сельское начальство, все помещики уважают его. Нет ему от них другого названия, как «дядюшка». Возят его в бричках, а случается, и в коляске четвернею; не один уже раз привозили его в город отшептывать у судейши рожу, то есть на лице рожу. Да чего? и сам откупщик придидите поклониться к знахарю, когда за ужином, бывало, плотно поел да к утру чуть не умер. Беда, если бы словно на крылах ветреных на переменных пожарных лошадях не примчали нашего знахаря. Тот только осмотрел, тотчас чем знал, тем и помог сразу.

Кроме славы и чести, что за богатство у знахаря! Сколько у него денег! сколько платья и всего прочего! все дарят его, никто не по-

жалеет последнего, помоги только... Он помогает или отгадывает, а они его обдаривают. Да, богатства много у знахаря, но с кем же разделить его? Один он, одинешенек; и присмотреть за домом, и знать, что в доме,— некому. Нельзя было знахарю открыть такое дело; дана ему сила большая, а как с нею жениться в молодых летах? Женясь до тридцати лет, пришлось бы ему бросить свое призвание, а может быть, и сама сила оставила бы его. Продолжай же он свое дело, какая девка решится за него идти, зная, что он есть *не простой*? Довольно подумать, что он все будет знать за женою... самые думки женины будут ему известные; ну, а как она такой же человек... да в случае чего... пожалуй!.. а он все знает, хоть и не скажет ему никто!.. Нет, беда! Не хочу, не пойду за него! Так думала всякая девка, когда он был еще молод.

Теперь, как ему перевалилось за тридцать лет, то и вовсе нельзя уже ожидать, чтобы которая-нибудь за него решилась идти. Но дядюшка Радивонович не терял надежды. Между занятиями своими, проходя по улицам и наблюдая, подметил он девку, перешедшую за двадцать лет; в крестьянском быту она уже засидевшаяся, чарочкою обнесенная. Девка была чернявая, полная, здоровая, веселая и проворная, но к работе она была не охотна. Все бы ей пересмехать других, примечать за всеми, осуждать, кто на глаза попадется; а как она была на речи бойкая, то никто и не думай ее переговорить. Потому-то женихи браковали ее, и она не обращала уже их внимания на себя. Но собственно знахарю такая жена клад; где он с своим знанием, тут она будет с своим язычком. Он осматривает больного, а она уже у соседок и расспросила да разведала о нем подробно. К знахарю пришли просить помощи в отыскании лошади, а жена успела узнать, когда лошадь пропала, какой она шерсти... Да так и во всем; половина дела за нею. Такая жена — двойная помощь знахарю!

Дядюшка Радивонович, высмотрев хорошенько эту девку и уверившись во всех ее нужных ему качествх, искал случая поговорить с нею, чтоб условиться. Вот, в один вечер, возвращаясь от пана-писаря, где был на угощении, поворотил он в переулок,— навстречу ему Одарка, с которою он так давно желал говорить.

Без дальних предварений он взял ее за руку и, положив ей свою руку на плечо, глядя сколько мог умильно, начал с ласкою делать ей предложение и объяснил прямо, чего он требует от жены своей, предоставляя ей за то пользоваться богатством безотчетно. Одарка, потерявшая всякую надежду слышать от кого что-либо подобное, чрезвычайно обрадовалась, что обратила на себя внимание такого человека, и в миг сообразила выгоды от этого замужества, не боясь при том всезнания знахарева, которое понимала очень хорошо. Выслушав все, без застенчивости, смело смотря ему в глаза, она согласилась на предложение, и тут же, от полноты чувств, предложила некоторые улучшения в обращении его с приходящими к нему за помощью.

Устроив и расположив все по желанию, любовники разошлись... Вот через несколько дней разнеслась молва, что дядюшка Ради-

вонович взял за себя Одарку-танцюривку и что свадьба была самая тихая, скромная, без всяких *порядков*[1]; никто не удивлялся такому браку, никто не завидовал ни мужу, ни жене... Но между тем эту Одарку начали *почитовать** по всей слободе, и уже не иначе зовут ее, как тетушка Одария; а кто большую имеет надобность в дядюшке Радивоновиче, тот и жену его возвеличит и почтит: Климовна Одария! Супруги зажили себе отлично. Каждый из них исправлял свое дело как должно. Через проворство и сметливость жены слава мужа увеличивалась еще более. Все знает он, может сказать, у кого из живущих в слободе с чем варится в тот день борщ, за что поссорились такие-то, и все подобное. Часто в пропаже вовсе и не думают на кого, а знахарь прямо откроет, что тот-то украл; так на поверку и выйдет. Все это поразведает бойкая жена его, наконец, и о ней такая прошла слава, что она чуть ли не столько же знает во всем *силы*, как и муж ее.

В таком-то от всех уважении, довольстве, семейном согласии, а главное, в такой независимости знахарь спокойно доживает век. Нет для него непредвиденных, стеснительных обстоятельств; он упрочил будущее, все расчел, удалил от себя всякие возможные неприятности; он сила, и сила важная! не боясь никого и ничего, он может своим словом, даже взором, пугать и беспокоить кого ему нужно... чего же более для счастия человека? Так доживает свой век знахарь и оставляет место другому, равно сметливому и знающему... *людскую натуру*.

Вот верное изображение сельского знахаря, лица во всех отношениях достойного внимания. Замечают, будто бы знахари *изводятся*, будто их менее ныне в селах; не ошибка ли в выражении? Не *переводятся* ли они? Не увеличивается ли число их вне сел? Конечно, знахари высшего разряда и в высшем положении в частностях действий не то, что эти... большому кораблю большое и плаванье, но в основах натуры своей?.. Сравните и судите.

Грицько-Основьяненко

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Пришло жаркое, знойное лето (которое длится в полуденных* степях наших ровно четыре месяца: май, июнь, июль и август — а сентябрь и октябрь межеумки), пришло и налегло душным маревом на Уральскую степь, чтобы поверстаться за суровую пятимесячную зиму. Уральское войско, вытянутое станицами своими лентой по течению реки Урала, верст на 800, ожило после кратковременного отдыха; по городкам, форпостам и крепостям стали бегать и суетиться, словно земля под народом накалилась и не дает никому ни стать ни сесть. Вскоре все войско стянулось повыше Бударинского; тысячи

---

[1] Без особенных церемоний.

три служилого народа, а тысяч шесть было уже на службе, три по линии, да три на внешней*; тысячи три, не считая работников, столпилось на голой, бесплодной степи, на сухом море, привезли на подводах, каждый, бударку[1] свою, ярыги* или сети, привезли по работнику киргизскому в мохнатом лисьем малахае, видно, собрались пугать лето — стали на первом плавенном рубеже[2] и ждут пушки[3].

А где же Подгорнов, лысый гурьевский казак, который век на службе, то по линии, то в отрядах у султанов-правителей, у хана, то с полками, то на море, в морской сотне; век на службе, а от уряду бегает, потому что беден, а семья у него большая? Тут он, глядите, стоит, в толпе под яром, без шапки, лысина от бровей до затылка, прикусив губу, уставив зоркие глаза на рыболовного атамана[4], который одиноднем разъезжает, ровно князь какой, по реке; на него уставил глаза Подгорнов, как лягавый на куст, под которым сидит куропатка; в правой руке держит коротенькое весло, левою ухватился за тонко выстроганный, окованный железом нос бударки, ждет по знаку атаманскому пушки, чтобы секунды одной не прозевать, столкнуть бударку, выкинуть ярыгу да вытащить осетра. С Подгорнова пот льет градом только еще в ожидании будущих благ; что же будет, когда пойдет работа?

Век на службе Подгорнов, редкий год дома, а от урядничьего чину три раза отмаливался; хочет быть рядовым казаком. Урядник идет, куда пошлют по очереди, наемки или мирских денег не берет ни гроша, тогда как казак идет только охотой, взяв с миру почем придется, да и сам сыт и обут и домашние тож. Он тут старик: от уряду бегает, а от *зверя*, как он называет рыбу, не бегает, только бы она от него не ушла. А не любит он, лысый, этих водяных сверчков, что у нас зовутся раками: он их поганых и в руки не возьмет ни за что!

Подгорнов — гурьевский казак старинного закалу: ростом невелик, плотен, широк в плечах, навертывает и в 30 градусов морозу, *для легкости*, по одной портянке на ногу, надевает в зимние степные походы кожаные либо холщевые шаровары, и если буран очень резок, то, сидя верхом, прикрывает ляжку с наветренной стороны полою полушубка. Морозу он не боится, потому что мороз крепит; да притом и овод, и комар, и муха не обижают у него коня; жару не боится потому, что пар костей не ломит; воды, сырости, дождя не боится потому,

---

[1] Бударка — долбленый челнок, тонко и красиво обделанный, легкий и ходкий. Он употребляется на всех летних речных рыболовствах и, по окончании каждого, сдается под часы, от каждой станицы отдельно.

[2] Рубежами называются участки, по реке назначенные, для суточной ловли; ниже рубежа никто до срока не смеет прикоснуться к воде. В каждый рубеж вступают по вестовой пушке.

[3] До пушки, которая палит по условному знаку рыболовного атамана, никто не смеет ступить на лед или спустить бударку на воду: по пушке все кидаются вдруг и взапуски.

[4] Рыболовному атаману, который назначается для каждого рыболовства особенно, даны права и преимущества как по возлагаемой на него власти, так и по выгодам за чрезвычайные хлопоты его. Он судит и рядит все возникающие по промыслу споры по старинным обычаям; распоряжается, сообразно нужде, всем, что относится до его дела, и заведует, для охранения промышленников от набегу орды, особою яртаульною командою.



что сызмала век в мокрой работе, по рыболовному промыслу, что Урал золотое дно, серебряна покрышка, кормит, поит, одевает и обувает его; стало быть, на воду сердиться грех, это дар божий, тот же хлеб. Подгорнов до того любит воду, коли нет вина, что на морском рыболовстве и на морской службе по Каспийскому морю пьет без всяких околичностей воду морскую и отвечает вам на вопрос: хороша ли? — «нешто горóнит маленько», т. е. горьковата.

Борода Подгорнову едва ли не дороже головы: в этом отношении Маркиан наш сущий турок. Отправляя, однако же, сына на внешнюю службу, в Москву, он выбрил ему бороду, приказав отрастить длинней прежнего, когда воротится домой. Старик утешал себя и сына в бедствии этом тем, что «родительницы замолят грех». Дома Подгорнов не певал отроду песни, не сказывал сказки, не плясал, не скоморошничал никогда, беса не тешил; о трубке и говорить нечего, он дома ненавидел ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ее-таки в заводе ни у кого, в целом войске. Сказывали, что есть чиновники

войсковые, которые, в похвальбу перед сторонним начальством, носили в рукаве тайком от своих табакерку, да это, может статься, и напраслина, как ее много бывает на свете. На походе Подгорнов первый песельник — хоть и гнусил немного, на старинный церковный лад; первый плясун; балалайка явится на третьем переходе, словно из земли вырастет, явятся и трубка и табак; а родительницам предоставляется отмаливать и замаливать на досуге невольные грехи казаков. Родительницами называет, впрочем, Маркиан наш не только старуху-мать свою или тещу, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женский пол. Они все знают церковную грамоту, служат сами по старопечатным книгам, хозяйничают из покупного добра, потому что своего, кроме рыбы и скота, нет ничего, ниже́ хлеба; ткут шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой пуговицей и рубахи с шелковыми рукавами да вяжут понемногу чулки, другой работы у них нет. Главное занятие женщины — воспитывать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изуверства, которое, соблюдаясь, как мы видели, с неприкосновенною святостию на дому, нарушается без всякого стеснения и оглядки на службе, в командировках и вообще вне войсковых пределов, где нет своих баб.

Описывая, какую погоду любит Подгорнов, мы забыли упомянуть собственно о буране, о зимней вьюге, от которой гибнет ежегодно много людей и скота. Бурана Подгорнов не жалует; это крутит и мутит сатана, бунтует против святой власти и потому буран погода из ряду вон. «Это не погода — не годится никуда, тут и скотина одуреет,— говорит Маркиан,— не токма что человек».

Пришла осень — старик опять идет с целым войском, ровно на войну, на рыболовство. На тесной и быстрой реке столпятся тут, от рубежа до рубежа, тысячи бударок — булавки упасть негде, не только сети выкинуть; а Подгорнов плавает, как и все другие, связками, попарно, вытаскивает рыбу, чекушит* ее и сваливает в бударку. Саратовские и московские торговцы следят берегом плавучую толпу рыбаков и держат деньги наготове: к вечеру разделка. Тут, кажется, все друг друга передушат, передавят и вечера не доживут; крик, шум, брань, стук, суматоха, толкотня на воде, как в самой жаркой рукопашной свалке на кулачном бою; давят, душат друг друга, бударки трещат, казаки, стоя в них и управляя ими, раскачиваются в обе стороны, чуть носом воды не достают, вот все потонут, все друг друга замнут, затопят... ничего не бывало; все разойдутся живы, здоровы, чтобы завтра с рассветом начать у следующего рубежа, опять по пушке, ту же проделку: и так вплоть до Каленовской, до низовых станиц. Подгорнов гребет, жилится, рвется, из шкуры лезет, летит взапуски; гребет сильно коротеньким веслом своим, им же и правит и расчищает себе дорогу в этом непроходимом лесу бударок, расталкивает их вправо и влево, не заботясь о том, куда которая летит,и ярыгу вытаскивает, и рыбу чекушит, и самого его толкают в зад и в бок и в перед — нужды нет; он только кричит и бранится, и зная уже, что никто его не слышит и не слушает, потому что всякий занят своим, он и сам продолжает свое, облегчая только стесненное положение свое бранью на вей-ветер. Впрочем, Подгорнов при этом случае

никогда не употребляет коренных русских ругательств: и это также можно делать только в командировках и походах.

Пришла суровая зима — Урал замер; снежное море покрыло необозримую степь, голодные и холодные киргизы сидят смирно и спокойно на зимовках, не до того им, чтобы затрагивать пикеты наши, прорываться по ночам тут и там и угонять стада и табуны, все замерзло; даже самая кровь в дикарях, кажется, остыла; а Подгорнов опять уже снаряжается на рыболовство, на багренье*. Опять он тут, под самым Уральском, где в сборе целое войско; опять мечется по пушке как угорелый, зря, очертя голову, с яру на лед, на людей, топчет, давит, не щадя ни себя, ни других — просекает наваренной сталью пешней* в три маха двенадцативершковый лед, опускает шестисаженный полуяровый багор, коего другой конец, перегибаясь через плечо, волочится по льду, поддевает рыбку, подхватывает ее подбагренником, кричит, будто его режут: «ой, братцы, помогите, не вытащу белуги, сила не берет», кричит неумолчно, хоть и знает, что ему никто не пособит, как и сам он никому не подаст помощи, за недосугом; кричит и вытаскивает кое-как рыбу на лед, упарившись зимою в одной рубашке до мокрого поту и окунувшись раза три по шею в воду,— и выбирается с добычею своею на сухой берег. Окунулся он потому, что тысячи рыболовов, кинувшихся вдруг на лед, на одну хорошую ятовь[1], искрошили в четверть часа весь лед под собою, вытаскивая друг у друга из-под ног рыбу, и вскрыли всю реку. Подгорнов выгородил себе кое-как чку, т. е. небольшой комок льду, отстоял его, удержался на нем, сложил тут же три-четыре рыбки, рублей на сто или полтораста, и, упираясь багром, который гнется в руках, как веревка, захватив пешню ногами, а подбагренник в зубы, переправился на этом пароме благополучно на берег, сдал тут же товар и взял деньги. Льдина переворачивалась под ним раза три, да Маркиан на нее и не глядел, он только берег рыбу свою, привязал ее к ноге обрывком или поясом да держал в руках снаряд и сбрую.

Пришла светлая весна — лед тронулся, река вздулась, разлилась; утки, гуси, казарки потянулись огромными вереницами вслед за журавлями на север, и Подгорнов опять уже ладит бударку, снаряжает плавенные сети и тянется без малого 400 верст сухим путем вверх по реке, чтобы после воротиться вниз, домой, водою. Спросите у него, когда он, прищурив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую стаю лебедей, неужто-де птица летит разумом своим в указанный ей перелет? Он вам, не призадумавшись, ответит: «У зверя не разум, а *побудка*; и птица в перелет идет побудкой». И вот *побуждение* природы, которое мы, не зная по-русски, взяли из словаря иностранного и назвали инстинктом — слово, впрочем, очень приятное, Маркиан Подгорнов, не зная ни по-французски, ни по-немецки, называет *побудкой*. Ему это простительно.

---

[1] Ятовь — омут, в который ложится красная рыба на зимовку. Она ложится тесно, в несколько ярусов и спит; шум и стук ее в это время не пугают и ее просто ощупывают слегка багром и вытаскивают, как из садка.

Проездом Подгорнов у каждого форпоста расспрашивает обстоятельно старичков, то есть смотрителей за водами и лесами: «Благополучно ли рыба с осени ложилась, где и как вскатывалась и каков надежен залов?» Где дорога подходит к береговому яру, там Маркиан оборачивается туда, куда его тянет, носом на воду, жадно глядит на Урал и, по временам, как будто прислушивается и облизывается. Если вам случалось видеть неистовых голубятников, псовых и ружейных охотников, которые выходят из себя, если при них только помянут слово об охоте, то можете вообразить себе и уральского рыбака Подгорнова. Серые глаза его загораются каждый раз, когда дело коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играют, высокий лоб сияет, губы подбираются. У Маркиана не дрогнула бы рука приколоть всякого, не говоря о киргизах на левом берегу, приколоть на месте всякого, кто осмелился бы напоить скот из Урала во время ходу рыбы. «Рыба тот же зверь,— говорит старик с ожесточением,— шуму и людей боится; уйдет, а там ищи ее». Впрочем, казак наш сражался на своем веку не с одним этим зверем, с красной рыбой; он, не говоря о походах туда-сюда и о всегдашней войне с кайсаками*, уходил не малое число кабанов, когда молод был, в гурьевских камышах, а когда их там уже не стало, то на Прорве и на устьях Эмбы. Кабан подсек даже под ним однажды коня. Одно из замечательнейших происшествий в жизни Подгорнова было с ним по поводу охоты за кабанами, а именно: встреча с глаза на глаз с *шутовкою* или русалкою. Маркиан, вопреки закону, отправился однажды накануне какого-то праздника, в светлую лунную ночь, на ночевье и, отъехав к устью, через Золотницкий проран, на бударке своей верст 15 от Гурьева, залег в мертвой глуши и тиши близ проломанной кабаном тропы. Вскоре послышался отдаленный шелест, потом камыш затрещал; ломится зверь,— подумал Подгорнов и взвел курок винтовки. Но зверь не показывается, а треск камыша, приближаясь постепенно со всех сторон, вдруг до того усилился, что у Маркиана на голове волос поднялся дыбом; не видать ничего, а камыш трещит, валится и ломится кругом, будто огромный табун мчится по нем напролет. Подгорнов привстал, отступил несколько шагов к убежищу своему, к бударке, а на возвышенном бугре стоит пред ним *шутовка*, нагая, с распущенными волосами; «сколько припомню,— говорит старик,— она была моложава и одной рукой как будто манила к себе». Сотворив крест и молитву, Маркиан стал отступать от нее задом, добрался до бударки, присел на колена и, ухватив весло, ударился, сколько сил было, домой.

Подгорнова знали все как человека добродушного, который, несмотря на бедность свою, помогал многим, кто бывал в нужде или еще беднее его. Он жалел убить старого пса, который жил у него годов десять и сделался калекой; «пусть живет нахлебником,— говаривал старик,— не обидит нас, не объест». Но когда ему случилось сходить в зимний степной поход, то он, отбивши пару навьюченных верблюдов и заметив, что во вьюках что-то жалобно пищало, не призадумавшись, выкинул двух голых ребятишек на снег и спокойно, без оглядки, отправился своим путем. «Ничего, ваше благородие,— отвечал он после офицеру, который хотел было, для порядку, побра-

нить его,— ничего, *уснули.* Мамок что ли с собой возить для этих щенят,— сказал он про себя рассмеявшись,— еще у меня и свои-то, может статься, сидят дома не евши, ныне хлеб рубль семь гривен пуд».

В походе не брали Подгорнова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод. «Обтерпелся,— говаривал он,— да сызмаленьку привык; только лошади жаль, коли без корму стоит, а человеку ничего не станется». Из всего оружия казачьего Маркиан менее всего жаловал саблю, называя ее *темляком*, который-де болтается без пользы. Винтовка на ражках*, из которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле, и пика, которою работал, прихватывая по временам гривки*,— вот вся его надежда. В открытую конную атаку он не хаживал: «не случилось,— говорит,— да нашему брату ломовая атака и несподручна»; криком и гиком брал, врасплох брал, и с тылу, и в засаде; а подметив, где жидко, где проскочить и прорваться можно, не жалея коня, гнал и бил неприятеля донельзя и не щадил никого. «Коли бежит неприятель,— говаривал Подгорнов,— так разве в землю от тебя уйдет, а то покидать его нельзя; гони со свету долой, покуда бежит да не оглянется и не увидит, что ты за ним один. И бей тоже, покуда бежит: опамятуется да станет, так того гляди упрется, и вся работа твоя пропала». Старик любил винтовку свою на ражках и привык к ней; стрелял смолоду гусей, лебедей, уток, сайгаков, корсуков, кабанов — все пулькой; но форменным карабином он очень обижался, на это у него были свои понятия и рассуждения. Лошадь выезжал он всякую в две-три недели, не заботясь о том, бьет ли она только задом или с козла; подпруг и катаура* никогда туго не подтягивал, а считал плеть-нагайку лучшим самоучителем, без которой наука ни одному неучу не дается. Подпрукает, подойдет, погладит, ухватит за уши, даст поддержать сыну либо племяннику, накинет седло, сядет — а там дело уже поневоле пойдет своим чередом; сколько бы ни носила лошадь, сколько бы ни била, когда-нибудь да уходится и присмиреет. В упряжку выездить иную, особенно киргизскую, помудренее, да и то ничего. Сперва боком, за один гуж, вертись и вези как знаешь; а там, как обойдется маленько, в постромки да в оглобли. Плеть — первая наука.

Не только на коне и на пресной воде, но и на море Подгорнов был как у себя дома. Сызмаленьку привык, дело домашнее. Он хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах*, не только из Гурьева в Астрахань, но и к Колпинному кряжу и дальше. По близости в своих водах бывал Подгорнов на морском Курхайском рыболовстве, в одной артели с другими, потому что одному собраться тяжело, а на Тюп-Караган, Мангишлак и в Кайдак хаживал по службе. В старые годы пускался он, бывало, и в открытое море на бударке своей, на крошечном долбленом челноке, за лебедями, промышлял перьями и шкурками, и пухом; ныне промысел этот, как слишком опасный, давно уже запрещен. Подгорнов знал не хуже штурмана зюйд-вест и норд-ост, фок, грот, брам-топ, как у них называют топсель, знал шкот и галс, и фал, хоть и называл обыкновенно последний *подъемною снастью.* Маркиан был, сам того не подозревая, моряк; лавировал

и боролся мастерски с бурей и волнами, как с своим братом; и это делал он также оттого, как объяснялся, что «привык так с молодых лет, что море дело соседнее, под рукой». Бывал он и в относе на аханном рыболовстве[1] и таскало его по морю недели по две; а между тем льдина все крошилась да крошилась от волн и бури, и Подгорнов видел день за днем и час за часом мокрую и холодную смерть под собою. Но господь милостив: казака приносило опять моряной к берегу. Тогда казак наш, бывало, тужит только о том, что снасти пропали и собраться бедняку опять не с чем. Впрочем, если бы и не вынесло его на льдине, так казаку и на санях ину пору из моря выезжать удается, да не по льду, которого уже нет, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло; а таки просто на санях по воде, по волнам: так по крайней мере поправился недавно, на нашей памяти, товарищ Подгорнова, казак Дервянов, которого таскало несколько недель в относе. Когда лошадь, в крайнем положении этом, была уже съедена, то Дервянов, снявши с нее шкуру, как человек догадливый и запасливый *дудкой* или бурдюком, то есть целиком, завязал ее на взрезах, подвел под сани, надул, привязал, из оглобель сделал весла, из армяка парус, не знаю, грот ли, фок ли, или брам-топ, и добился на корабле этом благополучно до встречной рыбопромышленной посуды, вышедшей из Астрахани.

Наловил Подгорнов много красной рыбы на веку своем; много икры наделал и много отправил этого товару, продав его на месте торговцам, в Москву и в Питер; была рыба его и за царской трапезой, когда случалось ему попадать на царское багренье, с которого отправляют, по древнему обычаю, ежегодно на почтовых тройках *царский кус* или так называемый *презент;* но сам Маркиан по целым годам и не отведывал ни осетра, ни белуги, ни шипа, ни севрюги; товар этот дорог, «не по рылу», как выражался старик. Он объедался красной рыбы только в лето, после Бузачинского походу, когда был в гурьевской морской сотне за приказного и ходил с есаулом стеречь войсковые воды, чтобы астраханцы не обижали; тогда было у них рыбы вдоволь, и хоть продавать ее не продавали, потому что за это строго взыскивается, а сами ели вволю. Дома варила хозяйка Подгорнова по временам, когда лов разрешался, черную рыбу*, а не то баранов резали, ели каймак[2]; а как посты все соблюдались во всей строгости, так и приходилось в году месяцев шесть хлебать постную кашицу да пустые щи. На поход снабжала хозяйка своего казака кокурками[3], сколько можно было подвязать их в торока.

---

[1] На аханное рыболовство выезжают на санях, по льду морскому. При моряне* лед взламывает и спирает; казаки говорят тогда: *шиханы ставить*. Если сделается после этого верховой ветер, то рыбаков уносит на огромных плавучих льдинах в открытое море. Это называется *быть в относе*.

[2] Каймак — упаренное до густоты молоко, со сливками и густыми пенками. Казаки сырого молока не едят.

[3] Кокурка — пшеничный хлебец, в который запечено яйцо; оно держится таким образом долго.

Маркиан, как человек бывалый и обтертый, хоть и не решился бы есть из одной посуды с киргизом или калмыком, «с собачьей верой», но нашего брата не совсем чуждался, а признавал человеком, таки разве мало чем хуже себя. Поэтому он готов был есть с нами из одной чашки, пить из одного ковша и не брезгал бы этим не только в походе, где все разрешается, но даже и дома; но хозяйка его была на этот счет других мыслей и старинных правил: за хлеб-соль она ни с кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачью веру-татарина и нашего брата бритоусца можно кормить из одной общей посуды. Старик в этом не смел больно с нею спорить, а то бы она ему самому, как поганому, поставила щец на особицу, в черепке, как делывала каждый раз, когда муж приходил из походу, покуда не принял еще от своих очистительную молитву. Раз как-то Подгорнов поставил для дорогого гостя, которого никак не хотел обидеть, самовар и подал чайник и чашки; хозяйка не случилась на ту пору дома, зато после он насилу кое-как успокоил старуху, и ухаживал за нею, и упрашивал ее долго. Но и тут она, не бравши, как сказал я, ни за что на свете платы за хлеб-соль, вытребовала с проезжего без всяких обиняков гривенник на очистительную для посуды молитву; не взяла его, однако же, сама, чтобы не сочли этого платой, а просила отправить чашки и гривенник с посторонним человеком к старой девке, которая заведывала этим делом и очистила опоганенную посуду. Хлопот за этим было много: нельзя было сделать этого дома, а носили посуду на реку, сполоснули ее и прочли молитву.

Сыновья Подгорнова были ребята нынешнего складу: высокие, стройные и крепкие, как отец. Молодой народ на Урале чуть ли не рослее старого, и, что бог даст вперед, не изводится, а крепок и дюж. Как растут они, так рос в свое время и отец, так росли в свое время деды и прадеды их; отмены нет никакой. Маркиан с десяти годов пас табуны, ездил с отцом на рыболовство и, выставив на санях или телеге значок, какую-нибудь тряпицу, шапку, сапог, ехал берегом в тысячной толпе саней, на санях или телеге, провожал управлявшегося на воде отца и *зевал*, то есть кричал в продолжение целых суток во всю глотку. Без этого рыбак в суматохе толпы не нашел бы вечером, пристав к стану, повозки своей, а потому каждый с воды и с берегу дают друг другу голос, *зевают* и ровняются. Тут наостришь поневоле и глаза, и уши. Поэтому Подгорнов и видел серыми глазами своими ясно и чисто там, где наш брат не видал ничего, кроме неба и земли; а где Маркиан поглядевши скажет бывало: «чуть мельтешит что-то»,— там без хорошей подзорной трубы и не думай разгадать задачу. Он привык и на море верно мерять расстояние *закроями*[1] и, *завесив черни*, то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что

---

[1] Расстояние, на котором судно в море скрывается под кругозором, называют *закроем;* это будет верст 10—15.



берег был уже под кругозором и его нельзя было увидеть ни в какую трубу и стекла.

Грамоте Подгорнов не выучился, за недосугом: век на службе и в работе. Ему грамота и не нужна; это дело родительниц, которые должны замаливать вольные и невольные грехи мужей, отцов, сыновей и братьев. Родительницы сидят себе дома, им делать нечего, как сохранять и соблюдать все обычаи исконные и заботиться, по своим понятиям, о благе духовном. Пусть же отмаливают за казаков, на которых лежат заботы о благе насущном, промыслы и служба.

Скот ходит у казаков уральских на подножном корму зиму и лето, круглый год, пастухи и табунщики ходят за ним в ведро и в ненастье, в метель, дождь, зной и стужу. Пастух и табунщик выгоняют скот свой на Урал не с рожком и со свирелкой, а с винтовкой за плечом, с копьем в руках и всегда верхом. Там из станицы в станицу редко кто поедет без оружия, и казак-ямщик садится к вам на козлы с ружьем и в подсумке с боевыми патронами. Итак, не мудрено, что Подгорнов привык к винтовке сызмала, с двенадцати годов; в опасном месте всегда, не говоря ни слова и не дожидаясь приказания, вынет, бывало, тряпицу из-под курка, осмотрит полку, прикроет ее огнивом и поставит курок на первый взвод. Подъезжая к станице, он бережно опять закладывает полку мячиком или клочком овчинки, спускает на нее курок в упор, а потом еще попробует, не сыплется ль порох с полки, подбирая с руки бережно каждое зернышко.

Случилось Маркиану и голодать по целым суткам, и к этому привык он смолоду. Летом сносил он голод молча, зимой покрякивал и повертывался; летом жевал от жажды свинцовую пульку или жеребеек*, это холодит; зимой закусывал снежком. Солодковый корень,

челим[1], лебеда, яйца мартышек*, даже земляной хлеб[2] и разные другие съедомые снадобья пропитывали его в беде по нескольку суток сряду. Там приходила опять пора, и Маркиан отъедался за прошедшее и за будущее. И добро и худо, и нужда и довольство живут *голмянами*, как выражался казак наш, то есть порою, временем, полосою. Но конины и верблюжины Подгорнов не стал бы есть ни за что; скорее, говорит, издохну, а такого греха на душу не возьму.

Маркиан ходил под гладкой, круглой стрижкой, как все староверы наши: то есть не под русской, не в скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругом. Отправляясь с полками на внешнюю службу, стригся он по-казачьи или *под айдар*. На Урале ходил он постоянно в хивинском стеганом полосатом халате и подпоясывался киргизской *калтой*, кожаным ремнем с карманом и с ножом; по праздникам щеголял в черной бархатной куртке или *крутке*, как он ее называл, может быть, правильнее нашего. Зимой на нем была высокая черная смушковая шапка, летом синяя фуражка с голубым околышем и с козырьком. Сверх рубахи он всегда опоясывался плетеным узеньким поясом — обстоятельство, в глазах его, большой важности, потому что в рубахе без опояски ходят одни татары. И ребятишек маленьких хозяйка Подгорнова тщательно всегда подпоясывала и била их больно, если который из них распоясывался или терял поясок: по опояске этой и на том свете отличают ребят от некрещеных татарчат, и когда, в прогулке по вертоградам небесным, разрешается им собирать виноградные грозды, то у них есть куда их складывать, за пазуху; татарчатам же, напротив, винограду собирать некуда.

Подгорнов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил: «ей, ей» и «ни, ни»; никогда не говорил: «спасибо», а «спаси тя Христос»; входя в избу, останавливался на пороге и говорил: «Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас!» — и выжидал ответного: аминь. В часовню ходил он не иначе как в халате нараспашку и с пояском поверх рубахи. Но, принимая кровное участие в родном и общем деле, он дал обет, помолиться усердно в православной церкви, если утвердят, наконец, окончательно за войском сенокосы на левом берегу Урала, Камыш-Самарус Узеньями* и обеспечат угрожаемые нашествием астраханцев войсковые морские воды.

Так вырос, так жил и так состарился Подгорнов, по крайней мере стал седеть, хотя ему было не с большим 50 лет, потому что написан из малолетних в казаки по 18-му году, дослуживал ныне 34-й год службы и, надеясь на милость начальства, собирался в отставные. Он был много лет *линейным*, вышел потом и в *градские* казаки, там опять

---

[1] Челим — водяные орехи, вытаскиваемые со дна озер рогожами, за которые цепляются рожками и колючками своими.

[2] Земляной хлеб — замечательный лишай Усть-Урта. Он растет, катаясь свободно по земле, по камню, без всякой связи с почвой. В нем есть некоторое сходство, судя по питательным качествам, с исландским мохом; в голодные годы его едят. Вкус дурной, иловатый.

попал в линейные, в морскую сотню. *В гражданские*[1] или *городовые* он идти сам не хотел, покуда силы есть и деньги нужны; но теперь уже поговаривал: «Пора уважить старику, послужил государю своему довольно и поставил за себя двух казаков, Вакха и Евпла». Сыновья его получили малоизвестные имена эти по заведенному на Урале порядку, родившись за седмицу до дня празднования церковью памяти сих святых. От этого обычая там не отступают, и уральское войско представляет в этом отношении полные дониконовские святцы. Спросите любого уральского казака, как его зовут, и вы редко услышите употребительное между нами имя. Но если хотите знать прозвание казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: *чей ты?* или *чьи вы?* или даже, пожалуй: *чей ты прозываешься?* На вопрос — чей? казак ответит: Карпов, Донсков, Харчов, Гаврилов, Мальгин, Казаргин, и вы из окончания видите, что это прямой ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете — чей?, то есть из какой, из чьей семьи? он отвечает: Донскова, или сокращенно Донсков, Мальгина, или Мальгин, и проч. В Сибири спрашивают вместо этого: *чьих вы?* и от этого вопроса произошли прозвания: *Кривых, Нагих, Ильиных* и проч.

Надобно вам еще сказать, что Маркиана Подгорнова, как и всех земляков его, можно узнать по говору, как он только слово вымолвит, и сказать ему положительно: ты уральский казак. Также легко узнать по говору хозяйку его Харитину и дочерей Минодору и Гликерию, хотя в говоре, в произношении казаков и родительниц их нет ничего общего. Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую согласную букву, налегает на *р*, на *с*, на *т*, гласные буквы, напротив, скрадывает: вы не услышите у него чистого *а*, ни *о*, ни *у*. Родительницы, напротив, живучи особняком в тесном кругу своем, вечно дома, все без изъятия перенимают друг у друга шепелявить и произносить букву *л* мягче обыкновенного. Они ходят гулять и веселиться на *синцик* в *сёльковой субенке*, а синчик называется у них первоосенний лед, до пороши, по которому можно скользить в нарядных башмачках и выставлять вперед ножку, кричать, шуметь и хохотать. Последнее, по строгому чину домашнего воспитания, им редко удается. Упомянем здесь еще, возвращаясь к семейству Маркиана, что старшую дочь свою, Ксению, старик отдал уже замуж, а приданого не дал, по тамошнему обычаю, ни гроша; об этом и речи не бывает, жених, напротив, должен по уговору справить невесте *сороку*, головной женский убор, заменяющий со времени замужества, в праздничные дни, девичью *поднизь*. Есть сороки на Урале в 10 и 15 тысяч. Там девки все бесприданницы, и обычай этот, конечно, ведется с тех пор, как их было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много.

Итак, Маркиан Подгорнов дослуживал 34-й год службы и глядел, хоть еще и крепок был, в отставные; да не выпускали, велели послу-

---

[1] *Градскими* казаками называются все служилые казаки, выставляющие от себя требуемые полки и команды на службу; *линейными* те, которые по наемке или по мирским подможным деньгам, получаемым с градских ежегодно, охраняют линию; *гражданскими* казаки называют особое отделение малоспособных и дряхлых служилых казаков, выставляющих людей только в городовые команды и вообще на службу внутреннюю.

жить еще с год, а там обещали начать забирать справки. Между тем, потребовали с Уралу полк в Турецкую войну. Вышел на базарную площадь в Уральске экзекутор войсковой канцелярии, прежде делывал это войсковой есаул, прочитал вслух казакам, которые собрались в кружок и слушали, сняв шапки, что: «велено-де поставить полк к такому-то числу, приходится пяти служивым казакам поставить одного; сборное место город Уральск». Прочел и пошел домой; только и забот войсковому начальству, а полк к сроку будет.

Заложилась наемка, как говорят казаки, или установилась цена подможных мирских денег, по 800 рублей. Подгорнову негде взять двухсот рублей на свою долю, надо идти служить самому. Дай пойду, говорит, возьму еще раз деньжонки, авось в последний сам соберусь и своих наделю и послужу на последях великому государю.

Пошел, запел опять песни, обзавелся трубкой на поход, добыл на поход чубарого коня, оба уха и ноздри пороты и редкой прыти. Полк пробыл два года в Турции, тут еще позадержали в Польше с лишком год, наконец спустили; пошли домой, на Урал. Выбыло из полка однако же человек полтораста.

Большой был праздник в Уральске, когда вступил 4-й полк. Родительницы выехали навстречу из всех низовых станиц, усеяли всю дорогу от города верст на десять; вынесли узелки, узелочки, мешочки, сткляницы, штофчики, сулейки, все, вишь, жалеючи своих, думают, голодные придут, так напоить и накормить. Стоит старуха в синем кумачном сарафане, повязанная черным китайчатым платком, держит в руках узелок и бутылочку, кланяется низехонько, спрашивает: «Подгорнов, родные мои, где Маркиан?» «Сзади, матушка, сзади». Идет вторая сотня, спрашивает старуха: «Где же Маркиан Елисеевич Подгорнов, спаси вас Христос и помилуй, где Подгорнов?» Сзади, говорят. Идет третья сотня — тот же привет, тот же ответ. Идет и последняя сотня, прошел и последний взвод последней сотни, а все казаки говорят ей, кивнув головою назад: «Сзади, матушка, сзади». Когда прошел и обоз и все отвечали только *сзади*, то Харитина догадалась и поняла, в чем дело — ударилась об земь и завопила страшным голосом. Казаки увели ее домой, а Маркиана своего она уже более не видала.

В. Даль

М. Ю. Лермонтов

КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии*; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки: они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего,* то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника»* и воспламенился страстью к Кавказу. Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук*, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец, он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку, пока, до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского* и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он

понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут, кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда,* кинжал — старый *базалай,* пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *шаллох* и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем* о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами* народ изрядный, только все с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате, и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова*, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку*, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль! поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на 15 верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе

прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом 200 верст и что никакое ружье не возьмет на 400 сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *ненастоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

„ОЧЕРКИ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ“

П. ВИСТЕНГОФА



КУПЦЫ

ЧИНОВНИКИ

ЖЕНЩИНЫ

ЦЫГАНЫ

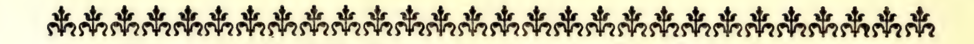
ИЗВОЗЧИКИ

РАЗНОСЧИКИ

МАЛЬЧИКИ

НАЕМНЫЕ ЛЮДИ, КУЧЕРА, ЛАКЕИ





КУПЦЫ

Московское купечество составляет особенный класс людей в городе. Образование его в последнее время приметным образом продвинулось вперед; но оно еще остается совершенно неподвижным между раскольниками, которых в Москве, со включением мещан, считается около 12000 человек.

Три рода купцов в Москве: один носит бороду, другой ее бреет, а третий только подстригает. Высшая степень образования в купце подразумевается тогда, когда он бреет бороду; низшая — когда он ее носит да еще занимается ею и гордится, оказывая явное негодование обритым; подстригающие составляют переход от последних к первым. Само собою разумеется, что часто борода бывает так умна и знает так хорошо коммерческие обороты, что проведет десять обритых подбородков. Купцы, носящие бороду, ходят обыкновенно в так называемом *русском*; но некоторые из них, решившись одеться *по-немецкому*, все еще никак не могут расстаться с бородою. Эти люди представляют разительную бесхарактерность в своей одежде; например, они при густой, окладистой бороде носят на курчавой голове маленькую с козырьком фуражку, короткий, двубортный сюртук и длинные сапоги сверх исподнего платья. На это одеяние, в непогоду, надевается с большим воротником синяя шинель, иногда маленькая альмавива или самый коротенький плащ. Теперь большая часть купцов разрешает своим детям уничтожение бороды. Между купеческими детьми есть и такие, которые, уничтожив ее или не дав разрастись на себе русской купеческой бороде, имеют уже поползновение к отращению коротенькой бороды иностранной, называя ее *алажень-франсе**. Замечательно, что купцы, имеющие русские бороды, смеются более других над иностранными бородками; иные даже их ненавидят и сильно преследуют на детях. Я был свидетелем, как однажды купец, давая наставление сыну, говорил: «Ты у меня не шали и не блажи, я тебе дам мотать; ты у меня или носи бороду, или обрей ее совсем, а эту стрикулисную бородку я у тебя выщиплю да прокляну, а денег не дам тебе ни гроша, хоть репку пой». Ну, прошу покорно, вы сами можете рассудить, состоится ли теперь иностранная бородка между купеческими детками при таких тяжелых условиях!

Московские купцы богомольны, держат строго посты и живут большею частию скромно в своих семействах. Они очень любят хорошие барыши от торговли, чай, пиво, меды, при оказии шампанское, а преимущественно лошадей и дородных своих жен. Жены не щадят белил и румян для того, чтобы приправить личико; они любят, уважают и боятся мужей своих, большей частию сидят дома, занимаются хозяйством, а в свободное от занятий время забавляются грызением орехов, кушаньем разного рода вареньев, мармалада, моченых

яблок с брусникою, употреблением разных домашних наливочек, пива и производят чрезвычайно обильное распивание чаев. Они большею частию бывают дамы полновесные, с лицами круглыми, бело-синими; у них руки толстые, ноги жирные, губы пухлые, зубы черные. Жена ходит по-русскому в платке, когда муж с бородою, и в чепце или шляпке, когда муж бороду бреет или даже и тогда, когда он ее только подстригает. Дочек учат русской грамоте, иных даже *французскому наречию* и *приседать* — что значит — танцеванию. Есть купеческие дочки премиленькие собою, и во многих семействах французский язык и танцы уже сделались необходимостью.

Купеческие сыновья отличаются своим повиновением к родителям, но заметно, что бреющие бороду и говорящие по-французски имеют более других наклонность к мотовству, праздношатанию и разным шалостям. Многие из них стремятся в дворяне и для того вступают в военную службу или, поступая в университет, идут потом по гражданской части. Купеческие дети очень скромных, но зажиточных родителей иногда отличаются своим неистовством на московских загородных гуляньях, где в кругу гуляк, с бокалами шампанского, они прислушиваются к диким песням московских цыган; к ним присоединяются дети мелких торговцев, иногда сидельцы, и часто барыши, приобретенные в течение нескольких месяцев, уничтожаются при одной жестокой попойке; тут обыкновенно бросают и тратят деньги без всякого расчета, единственно из одного самолюбия; а иногда неопытный купеческий сынок бывает в это время жертвою какого-нибудь обмана, недремлющих, разного рода замысловатых людей, или в ссоре попадается в какую-нибудь историю и, чтоб дело не дошло до родителей, кончает миром, при помощи порядочной суммы денег.

Купец, торгующий в рядах, редко видит свое семейство. Он там почти целый день; обедает обыкновенно на Ильинке в *троицком, угольном* и. т. п., является домой уже вечером, ужинает рано и, сотворив молитву, ложится спать. В воскресенье, или праздничный день, все семейство в четвероместной коляске, запряженной парою больших, дородных лошадей, отправляется к обедне, потом обедает, а в вечерни едет куда-нибудь в рощу, опять в той же коляске, в которой в это время уложены: самовар, чайные чашки, водка, разные вина и порядочный запас сытного русского ужина, копченая ветчина, разного рода колбасы, большая кулебяка, добрая нога телятины и сладкий пирог.

Купец на гулянье с семьею тих, как рыба, и кроток, как мокрая курица; иногда он, на время, отстает от своей семьи и входит в *растеряцию*, куда его утащит какой-нибудь встретившийся ему знакомый кутила. Тут сей час давай шампанского и цыганок; слово за слово, смотришь, и повздорит с каким-нибудь задорным приказным, который начнет его ругать аршинником, козлом, и еще того хуже, словом, всем чем ни попало; а купец ему в ответ: «Послушай, ваше благородие, мне, брат, дела нет, что ты офицер, не потерплю ругательства над своею персоною, купец также полезный член обчества есть, и всяк *чильэк* об евтем известен есть... да, известен есть, что купец препо-

лезный член обчества есть и князь...» «Как ты смел оскорбить меня?— перерывает его приказный.— Ты меня ругал взяточником, чернилами, скоморохом, земляникою и еще вот недавно, как ты меня назвал? я на тебя подам исковую и упрячу молодца; уж сделаю, что будешь меня помнить!» Купцу этого рода процесс хуже острого ножа; при слове «исковую» он делается мягче и мягче; на грозные слова приказного отвечает уже вполголоса: «Да не злобствуйте, почтенный, я ничего вам не говорил; я только говорю, что купец также полезный член обчества есть... да, полезный есть, и если хочешь, ваше благородие... ну мир, так мир...» «Поставь шипучего!» — говорит приказный, и обыкновенно кончается тем, что купец же спросит бутылочку и угостит приказного. Когда же дело по важности своей угрожает появлением квартального надзирателя, который, быв невидим, тут непременно, бог его знает откуда, явится, тогда купец поставит две и три, хоть дюжину бутылок, только бы успокоить приказного. Во время прогулки в роще семейство купца то погуляет, то покушает чего-либо из привезенных яств; сверх того, папенька покупает детям апельсины, грецкие орехи и вяземские пряники, наконец, покушают еще в последний раз и едут домой. Если купец провел весело время и подгулял, то он приказывает кучеру к коляске приткнуть березки и дорогою вместе с супругою попевает песенки, а если за городом не было большой интермедии, то возвращаются домой, хоть и с березками, но без песен.

Осенью и зимой купец в воскресенье и бенефисы везет свое семейство в театр и берет, смотря по состоянию, бельэтаж или другие ложи высшего разряда. При выборе пиес он заботится, чтоб это была какая-нибудь ужасная, *пользительная* трагедия или другая какая-нибудь *штука*, только *понятливая* и *разговорная*, в коей бы можно было видеть руководство к различным *курьезным чувствиям*. Он не любит опер, потому что за музыкою не разбирает слов арий; «и что тут глядеть,— говорит он,— поют словно не по-русски, да притом и натура тут не предвидится, поет умирая, в любви ответа просит и письмецо читает, а все поет; *така дичь* и *сумбурщина*». Он также не любит балетов, потому что «в них *ахтеры* словно немые и до многого в их *сентенциях* не доберешься, да притом-с ведь и скандал велик; не годится, больно не годится для дочек глядеть, как иной-то выше головы ноги таращит, или как иная словно оводом вертится и как бесенок ногами виляет, так что того и гляди посрамит себя окаянная и великую конфузию всем причинить может».

Но, несмотря на такие размышления, есть немного опер и балетов, посещаемых купцами охотно по их великолепной обстановке. Вот что рассказывает купец о балете своему шурину, который приехал в Москву по делам из Симбирска и остановился у него погостить: «На прошедшей неделе, Степан Исаич, помнится мне, были мы в представлении. Превосходно-с было, пространный балет давали; *Санкавская-с**, это *обстоятельная* художественная *ахтриса*. Вот изволите ли видеть, она, вишь, у турка в плену сидит и тот приказывает ей пред собою плясать; вот она и начинает плясать, чтоб его задобрить, и долго пред ним отлично своими ногами артикул мечет; то вот так и

согнется в дугу, думаешь, так совсем упадет и грянется о землю, ан не тут-то было; вдруг, как *вскочет* да станет на один мизинчик правой ноги, а левую-то деликатно приподнимет да и начнет ею *трясти* и потом *дрягать* с удивительным акуратесом; а после возьмет, да как завертится... все шибче, шибче, наконец, ну просто, словно кубарь, и вдруг смотришь,— остановилась, сложила себе руки на груди и глядит на всех, да еще ухмыляется и хохочет, как будто ни в чем не бывало; а зато народ-то народ... уж он ей и хлопает, и топает, и кричит фора, фора[1], то есть по-нашему, хорошо, дискать, *много довольны*. Право, что за диковинная вещь, канальство!.. Кажись, такая маленькая, еще молоденькая, а как она до такой *галантерейности* проникла. А на днях еще видели оперное пение, так чудо, и сколько превратностей, вы не поверите: ну просто чудо-юдо! Представляют, как мертвецы оживут да и начнут плясать по ночам; но только что расплясались, вдруг глядь, ан черти-то их цап-царап и они опять в аду». Само собою разумеется, что, при таких понятиях о театральном представлении, рассказывающий имеет бороду, которую он при сем случае и поглаживает.

Купец в день именин своих и жены, если только живет с нею ладно, дает закуски, обеды, а иногда и роскошные балы; на балах музыка обыкновенно бывает с литаврами; за ужином играют русские песни, а в то время, когда пьют здоровье, бьют туши. Во все время бала гости сохраняют какую-то чинную важность; молодые танцуют, пожилые играют в мушку, пикет и бостон*. Пожилые дамы и нетанцующие сидят около десерта, расставленного на столах в гостиных, и уничтожают его с прилежанием, большею частию молча или при разговорах отрывистых, утвердительных и отрицательных знаках своих головок, сияющих в это время жемчугами и бриллиантами. За ужином гости обыкновенно, понуждаемые радушным хозяином, пьют много, очень много за его здоровье; тут важность и принужденность исчезают, и уже разъезжаются домой не как с бала, а как с простой попойки, а иные даже вынужденными остаются ночевать. Иногда бывает, в особенности на свадебных пирах, что при возглашении здоровья гости за ужином перебьют всю посуду, а сами пойдут вприсядку; но это нисколько не ставится им в конфузию; напротив, вменяется в доброжелательство к хозяину и означает, что они довольны угощением. Свадьбы совершаются большею частию по выбору родителей, которые руководствуются в этом случае расчетами по торговле, и молодая купеческая дочка в Москве редко осмеливается мечтать о своем суженом, если он ей не назначен волею родителя.

Вы видели купца в его семействе, в театре и на прогулке, теперь ступайте за ним в Ряды* и Гостиный двор. Там все его чувства занимает одна мысль: продать товар лицом и взять за него столько прибыли, сколько это будет возможно. Я часто любил шататься по Рядам без цели, от скуки; купцы, бывало, так привыкли, что я ничего не покупал, а только ротозейничал, что мне никто и не кричал: *пожалуйте-с, почтеный господин, что покупаете-с?* — но зато я любовался,

---

[1] Фора (*ит.* fora) — бис, повтор.— *Ред.*

как они досаждали своим криком другим. Впрочем, я не соглашусь, чтоб подобное обыкновение приглашать было совершенно не нужное, если бы оно не делалось прямо в ухо, иногда даже как будто с намерением надоедать. Часто придешь в город и во множестве покупок забудешь необходимую вещь, но вдруг слышишь номенклатуру предметов: булавки, шпильки, иголки, помада, духи, вакса, сахар, чай, обстоятельные лакейские шинели, фундаментальные шляпы, солидные браслеты, нарядные сапоги, сентиментальные колечки, помочи, перчатки, восхитительная кисея, презентабельные ленты, субтильные хомуты, интересное пике, немецкие платки бор-де-суа*, бархат веницейской, разные авантажные галантерейные вещи, сыр голландской, мыло казанское и в заключение: *пожалуйте-с, почтенный, у нас покупали.* Смотришь, иногда в поименованных предметах попадется вещь, о которой совсем забыл, но которая необходима. Эти приглашения, повторяю, были бы очень терпимы, если бы производились не таким, часто раздирающим душу, пронзительным голосом. Я замечал, что нигде не кричат с таким диким самоотвержением, как в шляпном ряду; там прохожего иногда тащат насильно в лавку. Всех скромнее — в ножевой линии; тут хотя и закликают, но человечески, потому что купцы часто засматриваются на хорошеньких женщин, беспрестанно роющихся и отыскивающих чего-нибудь в маленьких шкапчиках. Купцы, продавая им товары, берут барыши, а между тем строят куры, иногда даже справляются о местожительстве хорошеньких покупательниц, говоря в таком случае, с приятною улыбочкою и приподнятием шляпы: «*сделайте ваше одолжение,* осмелюсь сделать вопрос, милостивая государыня, где изволит жить ваша особа?» «На что же вам?» — спрашивает часто обрадованная милостивая государыня. «*Сделайте ваше одолженье-с,* за особенное удовольствие себе сосчитаем с почтением товар на дом доставить, *сделайте ваше одолжение-с!*» Иногда особы, к которым обращены бывают эти речи, знают, что купец преполезный член общества есть, и не скрывают своих квартир; часто покупка тесемочек доставляет самые приятные и прочные знакомства. В то время, когда в Рядах происходят описанные мною объявления продающихся товаров (эти объявления часто заглушаются криком еще более неистовым), вдруг неожиданно пролетит мимо вас, как угорелый, верзила, с большим лотком на голове, и отрывисто прокричит что-то во все горло. Я, сколько ни бился, никак не мог разобрать, что эти люди кричат; а как товар покрыт сальною тряпкою, то отгадать не было никакой возможности. Наконец, я решился остановить одного из верзил; что ты продаешь? — спросил я его; он что-то прокричал скорее обыкновенного и побежал своею дорогою; от купцов уже узнал я, что это ноги бараньи, или *свежа-баранина,* разносимая для их завтрака. Но кроме крика купцов если что делает путешествие по Рядам несносным, это шалости мальчиков, находящихся при лавках, которые беспрестанно возятся средь дороги, так что того и гляди собьют вас с ног, и множество нищих, решительно мешающих рассчитываться; сверх того удивительное неудобство для ходьбы представляет худо вымощенный пол в самых Рядах, где камни часто бывают разделены большими ямами, так что если не-

много зазеваешься, то легко можно свихнуть себе ногу; темнота, существующая во всех внутренних Рядах, почти лишает возможности различать цвета, в особенности, когда купец умышленно старается вам заслонить свет для того, чтоб в тени товар его, как и многие вещи на свете, имел больше эффекта. Порядочный купец вас не обочтет, не обмеряет и не обманет ценою; беспорядочный же — только развесьте уши, так обкарнает и продаст такой сентиментальный товар, что вы и дома не скажетесь. Проторговавшийся каким-нибудь случаем купец убежищем для своего рассеяния от тяжелых горестей здешней жизни обыкновенно избирает Марьину рощу*, где он уже с неистовством предается музыке, пению и поглощению разного рода дешевых горячительных напитков.

ЧИНОВНИКИ

К перу от карт, а к картам от пера?
И положенный час приливам и отливам.

Грибоедов*

Под именем чиновников, здесь мною описываемых, я разумею людей, служащих в разных присутственных местах, начиная с младших писцов до секретарей включительно. Все они могут быть разделены, в нравственном отношении, на следующие главные роды: *он употребляет* и *он не употребляет; он танцует* и *он не танцует*. Благословляйте судьбу, если вам придется иметь дело с чиновником, который не употребляет и не танцует, но вы проклянете свою жизнь, если свяжетесь с таким, который употребляет да еще и танцует. Благодаря быстро подвигающемуся просвещению в России теперь, особенно в столицах, университеты, гимназии и другие учебные заведения доставляют присутственным местам ежегодно большое число молодых людей, воспитание которых, вместе с образованием нравственных достоинств, делает их способными и бойкими дельцами в канцеляриях; но эти образованные юноши, быв отличаемы внимательным начальством, недолго остаются в низших должностях и, при благодетельном поощрении правительства, быстро достигают высших степеней в государственной службе; следовательно: низшие должности, так называемые приказные, большею частию заняты людьми с меньшим образованием, людьми почти неподвижными или двигающимися вперед с удивительною медленностию. Вся цель этих неподвижных чиновников сосредоточивается в получении должности столоначальника в том присутственном месте, где они служат писцами, и редкий из них расширяет пределы честолюбивых своих замыслов до должности секретаря, которой достигает иногда, если не танцует; с этими-то людьми, прежде нежели доберетесь до присутствия, иногда приходится вам надобность иметь дело в присутственных местах, и с ними хочу я вас познакомить; знаете ли, что приказный чиновник в Москве теперь и что он был вскоре после французов — большая разница: старинный приказный был, конечно, неприятный для вас знакомый; он ходил тогда в фризовом*, засаленном сюртуке; от него несло простым ви-

ном, борода его была плохо обрита; на нем были грязные сапоги, и из них выглядывали неопрятные пальцы, он нюхал табак из пузырька, а не из табакерки, сморкался в кулак; работая в канцелярии, он имел привычку класть себе перо за ухо и почесывать беспрестанно свою неприглаженную голову; при встрече он часто протягивал вам свою потливую руку, полусжатую пригоршней, тогда как обычай того времени, при поклонах, требовал поцелуев; может быть даже, что тот приказный, встречаясь с вами, целовал вас и вместе протягивал свою гадкую руку, в которую вы без церемоний клали синицу* и приказывали ему, что вам было угодно, написать ли просьбу, сделать выправку и т. п. Может, он вас обманывал, кормил завтраками, водил за нос, как обыкновенно делали приказные того времени; но что же такое? вы его прогоняли от себя, обращались к другому; у вас пропадало только пять рублей, или вы шли жаловаться к начальнику, а тот, разругав его ругательски, приказывал сторожу стащить с него сапоги, спрятать фуражку и держать в канцелярии до тех пор, пока он окончит ваше дело. Но теперь, если придется вам надобность иметь серьезное дело с приказным чиновником нынешнего времени, то вы спрячьте подальше свои пятирублевые ассигнации — с ними вы никакого не сделаете дела; не надейтесь также и на снятие сапогов — их нынче уже не снимают. Не забудьте, что нынешний чиновник в Москве получает порядочное штатное жалованье, не назначаемое, как случалось иногда, по капризу секретаря; он имеет тоже свою амбицию и гордость, порицает взятки, ходит в опрятном мундирном фраке с пуговицами под клапанами; манишка у него с запонками, он при часах, а часы у него с золотою цепочкою; хохол его завит и раздушен, сапоги как зеркало и на высоких каблучках; у него на руке, которую прежний подьячий вам протягивал всю в масле и чернилах, блестит бриллиантовое колечко; он часто обедает у Шевалье и Будье*, курит предорогие пахетоски, воображает, что говорит по-французски, не употребляет ничего, кроме го-сотерн* и шампанского, приказывая последнее подавать непременно на льду в серебряной вазе; танцует мазурки и галопады в маскерадах Немецкого клуба и купеческого собрания, прогуливается в Элизиуме и нередко бывает львом Кремлевского сада; строит курбеты* барышням, ищет себе богатую невесту, требуя, чтоб она была непременно милашка и благородная; сидит в театре в креслах, гордо посматривает в зрительную трубку на ложи, да еще произносит свои приговоры на артистов, хлопая с самонадеянностию в ладоши или иногда, смотря по капризу, употребляя и змеиное шипение. Ну попробуйте к такому чиновнику сунуться с пятью рублями! Да он вас вызовет на дуэль! Нынешний порядочный чиновник не берет таких крошечных денег; все, что он может для вас сделать,— это идти с вами как знакомый обедать в гостиницу; ступайте же, пообедайте с ним и потом сочтите, что это вам будет стоить; аппетит у него всегда прекрасный, привычки его я вам рассказал; сообразуясь с ними, вы должны угощать его, если хотите, чтоб он вас, в свою очередь, не угощал одними обещаниями. Большая часть приказных чиновников в Москве живет далеко от присутственных мест; причина тому — слишком дорогая цена квартир в самом центре

города, где расположены присутственные места. Все они, большею частию, обитают: под Новинским, в Грузинах, за Москвой-рекой, в переулках на Стретенке, в Таганке и под Девичьим.

В 9 часу утра, если вам случится быть у Иверских ворот, то вы увидите, как они стаями стекаются со всех сторон, с озабоченными лицами, с завязанными в платке кипами бумаг, в которых весьма часто, может быть, упоминается и о вашей особе, если вы имеете дела. Они спешат, кланяются между собою, заходят в часовню Иверской Божьей Матери и, сотворив молитву, бегут писать роковые слова: *слушали, а по справке* и *приказали,* бывающие иногда для вас источником всех благ земных, или наоборот. В три часа чиновники выходят из присутствия; тут опять вы можете их встретить, на лицах опять видна заботливость, но эта уже не забота службы, а забота тощего желудка. Против присутственных мест тянется длинный ряд трактиров; там органы, машины с музыкою беспрестанно наигрывают и «веет ветерок», и арии из «Роберта», и вальсы Страуса*; туда спешат приказные, чтоб насытить свой проголодавшийся желудок; у каждого из них есть своя любимая резиденция, своя комната, любимый номер в машине, любимое блюдо и у каждого почти есть свой фаворит-половой, перед которым должностной человек разыгрывает роль барина. Когда приказные обедают несколько человек вместе и если вы хоть небольшой наблюдатель, то легко отгадаете, на свой или на чужой счет они обедают; по физиономии их, по разговорам вы можете наверное узнать, благополучно ли окончилось для них присутствие, то есть похвалил или погонял начальник и не приключилось ли приказному *ком-си ком-са*[1], особенного удовольствия, которого, если вы не приказный, то никогда испытать не можете. Когда вы увидите, что приказные за столом едят обыкновенно, как и все люди, выпили водки только перед обедом, а потом спросили кислых щей, имея немного кислые лица, говорите смело: они обедают на свой счет! Но если приказные пришли с улыбающимися лицами, или между ними невесел только один; если они спрашивают водки и перед обедом и после каждого блюда; если кричат: подай того, подай другого, и то не то, и то не так; если тут являются и малиновка, и вишневка, и мадера, и сотерн; если хлопают в потолок пробки верзенея — все это несомненные признаки, что они кого-нибудь с собою *прихватили* и его *наказывают.*

Когда во время присутствия начальник приказного погонял и ему не приключилось никакого особенного удовольствия, то он пасмурен, как сентябрь, говорит мало, вина почти совсем не пьет. С мрачным видом спрашивает он трубку и с горя велит играть на машине *«в старину живали деды веселей своих внучат»;* если же похвалил начальник, да еще приключилось и удовольствие, то у приказного речи льются, как пламя из печи. Он за обедом разговаривает с товарищами и приветливо кланяется знакомым; одна сторона его лица куски жует, а другая сладко речь ведет; он кричит половому: *ну, дьявол,*

---

[1] Ком-си ком-са (*фр.* comme si, comme ça) — так себе, понемножку.— *Ред.*

*толкай во лесах**, а сам в это время выхваляет своего начальника и густую бороду прислужника; он с ним острит и пьет винцо с улыбочкой, а вставая из-за стола, спрашивает театральную афишу и гордо кидает слуге на водку гривенник.

Немногие из приказных обедают в своем семействе; они обыкновенно возвращаются домой довольно поздно вечером, потому что после обеда привыкли, для моциона, играть на бильярде; иные, с трубочкою в зубах, притворяются, что читают *пчелку**, а когда пчелка занята, то, не имея ни одного знакомого из военных, повышение которого чином могло бы их интересовать, они пробегают Приказы в Инвалиде* или, не имея никакого понятия в естественных науках, читают в Библиотеке для чтения* исследования и наблюдения над пластами земли, а иногда, прихлебывая наливочку, даже рассуждения об инфузориях и о наливочных животных или географию луны; время же летит себе да летит; не увидишь, как наступит вечер; тут приказный является домой. Если он женат и ладно живет с женою, то уже большею частию остается дома, копается в делах, опять читает всякого рода книги, даже оперы и программы балетов; если же холостяк да еще и танцует, то кто велит ему сидеть? да вы дома его и собаками не сыщете.

Сделав краткий очерк приказных, служащих в Москве, я перехожу к отставным приказным. Их можно разделить на *безвредных* и *зловредных* коллежских регистраторов; первые, находясь в отставке, живут обыкновенно, как и все порядочные граждане города, каждый по своим средствам; а последние, оставя службу в своей ранней молодости, по разным более или менее неблагоприятным для них обстоятельствам, обыкновенно толпятся по утрам у Иверских ворот, Казанского собора и около самых присутственных мест; это стряпчие, ходатаи по делам, сводчики разных покупок, всегдашние свидетели купчих крепостей, отпускных, закладных, заемных писем и всякого рода условных записей; свидетели всего того, что они видели и чего не видали, того, что действительно совершилось, и того, чего никогда не было, люди, готовые всегда засвидетельствовать все, по приглашению. Они делают большой вред неграмотным простолюдинам, нередко втягивая их в различные процессы. Часто какой-нибудь крестьянин или деревенская баба идут к присутственным местам справиться по своему делу, иногда им встречается надобность подать просьбу; отставной регистратор немедленно является тут и предлагает услугу; пописывая просьбу, он нисколько не заботится о верном изложении дела, а думает только, чтоб как-нибудь ее поскорее настрочить да заработать себе четвертак, и часто просьбы, написанные совершенно без всякого смысла этими людьми, обременяют московские присутственные места. Ходатай по делам обыкновенно уверяет легковерного мужичка, что уж так мастерски напишет, что ему и хлопотать по делу будет не нужно; все получишь, любезный, говорит он, меня только смотри не забудь; и, рассуждая таким образом, между прочим добивается, нет ли у мужика какой-нибудь тетки, снохи или свата, деверя, которые бы повздорили с своим соседом о клочке земли или о каком-нибудь рубле; нет ли какого-нибудь крепостного

человека, отыскивающего себе свободы из владения разночинца; присылай их сюда ко мне, говорит всемирный стряпчий,— уж выиграю дело, будешь век благодарен. Мужик часто верит регистратору, а ему того только и надо; он валяет себе свои дешевые просьбы, городит в них турусу на колесах, получает четвертаки и жуирует по-своему. Иногда осторожный мужичок просит ходатая своего прочесть ему написанную просьбу, чтоб знать, что такое в ней писано и, дескать, есть ли склад; так как действие обыкновенно происходит на лестнице присутственного места или на улице, то приказный отводит крестьянина куда-нибудь за угол или соглашает его посетить харчевню и там, за парами чая, он ему читает: «Такому-то и прочее и прочее, жалоба крестьянина экономической Паршиванской волости, села Кузнецов, Анофрия Иванова о следующем: *Я* крестьянин Анофрий Иванов, по прозванию Башлык, *я*, принадлежав сперва экономической волости Сапелкиной, *я*, с 1810 года переписан за вышереченною волостию, *я* имею дочь, *я* имею одну законную дочь Феоктисту, *я*, ее воспитав, а теперь утратив, *я* сперва крепостной, но отпущен быв на волю, а дочь помещиком Тетёхиным быв продана одному купцу, а купец продал попу, а поп продал казакам, а казаки продали жиду, жидам крепостных держать воспрещено и потому все сие есть *несправедливо* и Феоктисте следствует *свобода!*» На словах «несправедливо» и «свобода» ходатай делает сильные ударения и посматривает на мужичка, а тот обыкновенно в это время думает, что эти же самые слова будут непременно словами решения судебного места, и отвечает: хорошо, родимый, хорошо, так; ну вот тебе-ка за труды! Четвертак погиб, гербовая бумага также погибла по этой бестолковой просьбе; Анофрий о своей Феоктисте не добьется толку целые годы; остается в выгоде один только приказный, который весело пропивает полученный даром четвертак.

ЖЕНЩИНЫ

Барышни, милостивые государыни, ищущие мест, ничего не делающие, занимающиеся чем-нибудь

Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?

Пушкин*

Из этого рода женщин некоторые занимаются портным мастерством, многие из них носят названия швей, золотошвей, цветочниц, корсетниц, иные занимаются пяльцами, приискиванием себе мест в экономки, компаньонки, а иные, ничего не имея, ничего не делают, но все они живут и не умирают с голода в столице. Это дочери мельчайших приказных, вдовы, жены, отсутствующие от мужей, вольноотпущенные, мещанки, солдатки, питомки и горничные девушки с прокормежными видами*. Всех их можно разделить на следующие роды: *она живет сама по себе* и *она гостит*, *у нее есть салоп* и *у нее нет салопа*, *у нее есть кухарка* и *у нее нет кухарки*.

Иногда молодая неопытная девушка, брошенная судьбою в огромный город, без родных и друзей, без надзора и пристанища, терпит большую нужду и бывает оставлена совершенно на волю случая. Какая-нибудь дальняя тетка, у которой она живет из милости, нисколько не заботится о ней, а цветочница — слабая уже от природы — недолго защищается от порыва бурных страстей и крошечных страстишек, нередко бросаясь в их пучину так же легко, как маленькую щепку уносит бурный дождевой поток. Часто в несколько дней бедственная участь ее изменяется, и она достигает возможности сшить себе порядочный салоп. Вам покажется удивительным, что салоп играет тут такую важную роль, но надобно наблюдать, чтоб увериться, с каким безотчетным стремлением хлопочет описываемая мною женщина сшить себе бурнус* к Светлому празднику или теплый салоп к рождеству; тут ее понуждает и необходимость одеяния и свойственное каждой женщине кокетство и желание блеснуть пред своею сестрой. Для салопа она готова забыть дружбу, отречься от отца и матери, поссориться с подругою, находить милым постылого, погубить свою душу; для нее салоп то же, что для нежного любовника первый страстный поцелуй его невесты, что для вечного титулярного советника не из дворян вожделенный чин коллежского асессора! Когда вы идете по улице или едете важно в своей покойной карете и встретите молодую девушку в новом щегольском салопе, прошу вас, не забрызгайте его; вспомните, сколько он ей стоит горючих слез и огорчений, сколько ночей провела она без сна, мечтая о том, что теперь составляет все ее богатство! Когда девушка приоденется, тут является у нее мысль быть независимой хозяйкой, променять ситцевое платье на шелковое и завестись кухаркой, которую она обыкновенно приводит с площади. Кухарка, положим,— вещь обыкновенная для вас, но для девушки в салопе она великое дело! Она будет называть ее барыней, станет величать сударыней, начнет крахмалить ее юбки, переносить маленькие капризы, которые непременно явятся при этой роскоши. Всегда, ничего не делая сама, она получит право бранить за лень свою Василису и посылать ее повелительно к своему кредитному, с универсальным эпитетом: *«Милый друк! пришли мне дених, я очинна низдарова!»*

Когда маленькое хозяйство обзаведено, и милый друг не отказывает в присылке денег на записки, тогда начинает мелькать мысль о роскоши; она меломанша: у нее гитара, сперва без квинты, потом со всем аккордом, потом старинные клавикорды в 3 октавы с половиною, наконец, фортепьяно, которое красавица купила на рынке у Сухаревской башни. Василиса начинает благоговеть пред роскошною жизнию своей барышни; ее уважение к ней с каждым днем возрастает, а капризы барышни с каждым днем увеличиваются: квартира ей тесна, внизу жить и холодно и сыро, мебель беспокойна, дрожки извозчика тряски. При улыбке судьбы цветочница скоро достигает исполнения своих прихотей: у ней порядочная квартира, с двумя необходимыми для нее входами, гостит подруга для компании, куплен турецкий диван и полуторная постель, уже в лавках у Каменного моста; в ее гостиной стоит новенький комод, окрашенный под красное

дерево; в нем сохраняются: лучшая часть гардероба, деньжонки, различные послания знакомых, стишки, румяна и записочки кредитного; на комоде стоят фарфоровые чайные чашки с позолотою, алебастровые бюсты: Пушкина, Наполеона и попугая, а иногда кошки с кивающею головкою. На стенах висят картинки: портрет самой хозяйки в утреннем дезабилье и с приятною улыбочкою, написанный масляными красками на полотне; под ним силуэт какого-то мужчины, вырезанный из черной бумаги, а по бокам, в бумажных рамочках, четыре времени года, да еще купленные в квасном ряду: какая-то женщина с слишком открытыми формами, надевающая чулок, с подписью внизу: le matin[1], и другая, также в нескромном неглиже, сидящая с мужчиною под деревом, с подписью — Voila comme vous m'avez arrangé![2]... Гардероб красавицы значительно усилен: у ней шляпка с перьями, мармотка* с цветами; она является в театр уже в креслах и смотрит в зажиленную у своего друга зрительную трубочку; она едет на гулянье не для того, чтобы гулять, но чтоб кататься в запряжке Саварского и из франтовской коляски щурить глазки; закрывается зонтиком от разных своих знакомых, притворяется, будто не слышит нескромных приветствий шумной молодежи, гордо смотрит на прежних своих подруг, которым еще не улыбнулась фортуна; ей мигают и цеховой московский волокита, и богатый купеческий сынок, давая знать пантомимою, что, мол, приедем с гулянья и привезем гостинца.

Честолюбивые замыслы цветочницы в блестящее время ее жизни не ограничиваются одним желанием посещать гулянья и театры; она хочет пофрантить на бале. В таком предположении посылает она с Василисою к своему душеньке послание следующего содержания: *«Ваша благородия и ангел мой Сашурочка! доставьте нам касатурчик с Дашей приятность патансовать ноньчи в Нимецком Клопи, а от туда заезжай кнам душька, биледы ни забуть и деник. Твоя пагроп. NN»*.

Получа ответ от посланной, что приказали кланяться и приказали, дескать, сказать, чтоб были готовы, дым коромыслом становится в маленьком доме; бырышня при деньгах, летит на лихаче-извозчике на Кузнецкий мост, к мадам Шарпантье*, и берет там самый дорогой и безвкусный костюм, а при тяжком безденежье, но при дородности тела она надевает сарафан кормилицы; при поджарой же худобе ограничивается сочинением наскоро простой амазонки; она тайно похищает шляпу своего хозяина, а старую свою зеленую тряпку превращает в вуаль; помадится мусатовскою помадою* Rosé, и с самодовольствием обрезав подбородок белой маски, оставляя рот для ужина, пришивает к ней черные шнурки. Тысячи раз пред своим неверным psyché[3] она примеривает костюм и, схватя в кулаки клины своей юбки, прыгает перед зеркалом в старинных аттитюдах*, спрашивая, какова она, у своей льстивой Василисы, которая от усталости уж словами не хвалит, а только одобрительно головой кивает. Где же этого рода особы выучились танцевать? — спросите вы. На это я ска-

---

[1] Утро, утром *(фр.).— Ред.*

[2] Вот как вы меня отделали *(фр.).— Ред.*

[3] Зеркало *(фр.).— Ред.*

жу вам, что свойственная русскому народу переимчивость в них заметна в высшей степени, а иногда им помогают на дому своими советами: театральные статисты, гезеля из аптек*, купцы и мелкие чиновники. Конечно, из этого вы постигаете о грациозности их танцев; но что же, кому какое дело, они довольны собою, пускай их танцуют на здоровье!

Описываемые мною дамы днем хоть и лениво, но обыкновенно занимаются своим мастерством или, как они часто говорят, рукомеслом: делают цветы, шляпки, корсеты, чистят блонды*, шьют платья, белье, под вечерок же непременно *гуляют* на Тверском бульваре или в Кремлевском саду.

Красавица во время прогулки, желая иногда показать публике, что она степенная особа, имеет обыкновение беспрестанно поправлять свою мантилию или тюлевый шарф, будто бы для того, чтоб скрыть от слишком вольных взглядов молодежи свои часто роскошные формы; но в самое это время она умышленно, с большим искусством открывает свою полную, белоснежную грудь. С особенным удовольствием идет она против ветра, так живописно волнующего ее широкую блузу, и при малейшем сомнении в мокроте на дорожке она очень грациозно приподнимает свое платье, выказывая руло и хорошенькую ножку, обутую в башмачок из лавки *Королева**. Если же случайно ленточка у башмачка ее развяжется, что, впрочем, случается довольно часто, тогда она ставит свою хорошенькую ножку на зеленую лавочку, интересно завязывает ленточку, с похвальною женскою стыдливостию, открывая в это время свои эластические подвязки и те любопытные части ножек, которые скрывает это глупо-строгое длинное женское платье. Желая как можно более походить на барышню или благородную даму, цветочница приказывает иногда во время своей прогулки провожать себя Василисе или лакею в треугольной шляпе, которого она нанимает для этого по часам, заставляя его следить за собою как можно ближе и оказывать ей всевозможное лакейское внимание, какое обыкновенно благовоспитанный лакей оказывает своей барыне. Но часто этот лакей ведет себя нехорошо: он всегда почти бывает уже порядочно кутнувший; идя за госпожою, обыкновенно грызет орехи; то слишком отстает от нее, то беспрестанно наступает ей на хвост, а иногда, когда ему очень надоест слоняться из одного конца аллеи в другой, он преспокойно оставляет свою барыню и отдыхает на лавочке.

Цветочницы, желая быть еще более интересными, имеют обыкновение хватать, где ни попало у своих знакомых, часто даже без спроса родителей, маленьких детей, для украшения которых они держат у себя постоянно красиво вышитые шнурками казимировые ридикюли; и этих бедных малюток они таскают с собою на гуляньях до совершенного изнеможения, стараясь, впрочем, наружно показывать нежные попечения матери, утирая батист-декосовым платочком пот с измученного лица их. Часто упрямый ребенок кричит и рвется домой, просясь к настоящей своей матери, но попечительница его, увлеченная житейскими удовольствиями, не внимает ему, задобривает его миндальными печеньями, купленными в кофейной, и возвращает-

ся домой уже при поздней лунной ночи, в сопровождении вежливого кавалера.

Корсетницы, цветочницы и золотошвеи почти все знакомы между собою, но знакомства их непрочны и непродолжительны; часто самый ничтожный случай бывает достаточною причиною непримиримой вражды. Они обыкновенно ссорятся, иногда дерутся: из ревности, зависти; а часто для страшной, вечной неприязни достаточно, чтоб одна у другой заносила шелковые перчатки, зажилила платок, отданный надеть, сманила кухарку или перебила квартиру.

Но недолго наслаждается жизнию прихотливая цветочница! Часто она бывает, с позволения сказать, самая необстоятельная женщина в мире; занимаясь более франтовством, чем мастерством, она допускает свой магазин до совершенного упадка, и приходит время, что ей никто уже ничего не заказывает. Красота ее вянет с каждым днем от бестолковой жизни, исполненной треволнений; пройдет несколько лет, и она сама не узнает себя: прекрасные формы лица опустились, сверкающие глаза поблекли, она или безобразно похудеет или потолстеет неделикатно и предосудительно распухнет; милый друг охладеет, начнет не сказываться дома. Тогда цветочница обыкновенно пойдет закладывать разные вещички, фортепиано, наконец, свой любимый салоп, и все это пропадает за бесценок у неумолимой процентщицы. Иногда цветочница решается еще раз обратиться к своему другу; она пишет: *милый попка! Вальдемарр!!! я поразстроилася сдаровьем и нахожусь на лекарстви, приезжай ка мне а коли не можешь то пришли за мной карету, а кали карету ни можешь то пришли дених, остаюсь твоя злаполучная по гроп* NN.— Но охлоложенный друг кидает записку в печку и говорит: *нет, погожу!*.. Тогда падение красавицы бывает быстрее ее возвышения; она берет опять маленькую сырую квартиру, в каком-нибудь глухом переулке у попа; переезжает на хлебы к своей приятельнице, но уживается недолго; при драках и ссорах они расходятся. Наконец, цветочница уничтожает свою вывеску, и уже всем подругам ее делается известно, что она *прогорела*! Прежде — полновластная хозяйка, теперь — она не в силах держать при себе Василису, которая пьет, огрызается, да еще требует от нее беспрестанно чаю и жалованья; она ее сгоняет, а сама переселяется в каморку на Трубу*. Спустя несколько времени, она — пьяная баба в лохмотьях, не посещающая хорошего общества, и обращается в неприличных званию своему поступках...

ЦЫГАНЫ

Если вы, катаясь по Москве, заедете в Грузины и Садовую, то в маленьких, неопрятных домах увидите расположенные таборы цыган. Они среди шумного, образованного города ведут ту же дикую буйную жизнь степей; обманы лошадьми, гаданья, музыка и песни — вот их занятия. Любопытно видеть, когда ночью молодежь, преимущественно из купцов, подъехавши в нескольких экипажах к маленькому домику, начинает стучать в калитку. В то же мгновение огоньки

метеоритами начинают блестеть в окнах и смуглая, курчавая голова цыгана выглядывает из калитки. На слова кучеров: встречай, господа приехали! — цыган с хитрою, довольною улыбкою отворяет ворота и, величая всех поименно, произносит иногда имена наудачу, желая тем показать свое внимание к посетителям. Вы вошли в комнаты и уже слышите аккорды гитары, видите, с какою живостию цыганки набрасывают на себя капоты, блузы и пестрые платки; там под печкою цыган ищет свои сапоги; в одном углу разбуженный цыганенок, вскочив, спешит поднять своих собратов, в другом старая цыганка, прикрыв люльку, собирает изломанные стулья для хора, и в пять минут весь табор поет, стройный, веселый, живой, как будто никогда не предавался обычному отдохновению тихой ночи. Разгульные песни цыган можно назвать смешением стихий; это дождь, ветер, пыль и огонь — все вместе! прибавьте к тому: сверкающие глаза смуглых цыганок, их полуприкрытые, часто роскошные формы, энергическое движение всех членов удалого цыгана, который поет, пляшет, управляет хором, улыбается посетителям, прихлебывает вино, бренчит на гитаре и беснуясь кричит во все горло: *сага баба, ай люли!* — Ничто не располагает так к оргии, как их буйные напевы; если горе лежит у вас камнем на сердце, но это сердце еще не совсем охладело к впечатлениям жизни, то свободная песнь цыган рассеет хоть на минуту тоску вашу.

По средам и воскресеньям на Конной площади цыган совершенно другой, чем в таборе. Мысль как бы сбыть вам хромоногую лошадь, или по-цыгански *лангалу,* занимает весь организм его; он как угорелый кидается к каждому и нагло предлагает свою фальшивую услугу. При словах покупщика: ты мне не нужен, у меня есть знакомый,— он, не зная, о ком говорят, с досадою отвечает стокато*: «Барын, вы по все конна не найдете такого мошенника, а вот бросьте хафку*, дам лошадку, съезда не будет!» — и если вы с ним свяжетесь, то поздравляю вас! вы непременно *впросаке*. Цыган нисколько не смутится, если по несчастной покупке вы тотчас увидите, что приобрели себе старую лангалу; он вам прехладнокровно отвечает: «Черт ее знает; эта *рыба* настоящая, кто в нее влезет, не хотите ли другую лошадку, уж за эту ответствую». Вот вам истинно цыганское утешение при неудаче! Цыган в лесу с гитарой и своим табором вежлив и искателен; летом главное их пребывание в Марьиной роще; там с утра до вечера бродят они с постоянными просьбами: цыганки требуют, чтоб им купили апельсинчиков, а цыганы предлагают угостить чайком; часто какого-нибудь купца они насильно тащат слушать их песни, а в это время старая цыганка, обхватя его руками и ругая всю свою свиту, говорит купцу, будто принимая в нем участие: *«Да брось им что-нибудь, собакам, отвяжись от них!»*

Горе волоките, бросившему свои замыслы на приобретение расположения цыганки; при всем их разгуле они сохранили какое-то странное отчуждение от тех, кто не принадлежит к их племени, и цыганка, развратная среди своего табора, целомудренна и неприступна для чужого. Бывали примеры, что прихотливые люди, большею частию купеческие детки, тратили огромные суммы, чтоб приобрести

цыганскую любовь,— но табор, пожирая их деньги, готов был всегда пожрать и ту, которая бы осмелилась склониться на требования неопытного юноши; дело обыкновенно кончается тем, что волокиту порядочно *помажут*; он останется без цыганской любви и без русских денег.

ИЗВОЗЧИКИ

Когда я иду по улице и взгляну случайно на извозчика, которого здесь можно встретить на всяком шагу, мне как-то всегда приходит мысль, что за чудный человек извозчик? Мне кажется, он непременно, поневоле, должен быть большой наблюдатель нравов, а необходимость приноравливаться ежедневно к новым характерам какого-нибудь десятка людей делает нечувствительно из него сметливого и тонкого человека. И если вникнуть хорошенько, то что за странная жизнь и что за тяжелое ремесло этого извозчика, пропускаемого ежедневно каждым из нас без всякого внимания, между тем как он почти для каждого из нас более или менее необходим! Возьмите, в чем проходит его день: выехав с постоялого двора, приклеенный к своим дрожкам, он смотрит на все стороны огромного города, не зная, где приведется ему на своем разбитом рысаке гранить московскую мостовую; вдруг очутится он под Донским или в Лафертове[1], на Зацепе или Воробьевых горах. То везет угрюмого сутягу, не говорящего с ним ни слова, толстого, как бочку, и шибко вредящего его рессорам; то катается с забубенным кутилою, требующим от его клячи лихой езды; то везет капризную старуху, досадующую на то, что дрожки толкают её по ухабам, то едет с пьяным шишиморою, который ни за что ни про что сильно беспокоит его под бока и дает подзатыльники за то только, что он не предостерег от падения его шляпу, находившуюся набекрене.

При начале своего поприща, когда он назывался *ванькой,* седоки его были большею частию кухарки, экономки, приказные — не франты, а ездоки по необходимости, иногда наши мужички, которых он возил в крещенские морозы, проводя за гривенник длинную диагональ по городу; изредка нанимал его какой-нибудь франт, выходящий прогуляться пешком и случайно встречавший надобность быть скорее дома; но франт садился в его сани с видимым презрением, которое ванька давно привык сносить от чужих и от своего брата-извозчика. Бывало, наскочит лихач да отломает своею здоровою оглоблею некрепкий задок его саней и еще разругает, как обыкновенно ругаются извозчики; бывало, лошаденка его ни с того ни с другого начнет дурить и загородит дорогу в каком-нибудь тесном месте, а тут несется карета, которая того и гляди уничтожит и бедного ивана и его родимого коня; или нападет будочник да начнет тузить за то, что стал не-

[1] В Лафертове — т. е. в Лефортове. — *Ред.*

ловко, видишь, очень близко к тротуару; также случалось, что наймет его какой-нибудь негодяй, гоняет целый день по городу и, приехав в Ряды или в какой нибудь казенный дом с сквозными воротами, оставляет, не заплатя денег. Словом, много горя в жизни надобно перенести ваньке-извозчику! Но вот он работает свою трудную работу уже десяток лет, скопил кой-какие деньжонки, уладил понемногу запряжку и, наконец, делается лихачом. У него окладистая борода, он толстеет от пива, у него бархатная малиновая или голубая шапка, кучерской армяк, перетянутый ловко богатым кушаком, сани ореховые с медвежьей полостью и лапками, а летом пролетка*; он сам теперь гордится перед ванькою, ухом не ведет при угрозах будочника, да и сам будочник как-то заискивает его приятного знакомства. Он катает теперь франтовски одетых барышень, возит московского щеголя и купеческого сынка, часто услуживает им, справляя их маленькие комиссии*, и получает нередко по рублю серебром на водку; или ездит с каким-нибудь отчаянным гусаром, недавно произведенным в офицеры, который, приказывая пристегнуть пристяжку, велит носиться *адом* по улицам. В это время извозчик, надеясь на защиту своего седока, перед которым вытягиваются в струнку идущие по улице солдаты, а часовые делают на караул, не боится даже и квартального комиссара; он всегда старается его обогнать на дороге, думая про себя, что, *дескать, знай наших камынинских!* Конечно, жизнь его теперь лучше прежней, но все должность его имеет свои тягости: часто щеголь во время трескучего мороза запропастится в каком-нибудь глухом переулке, где ему очень тепло, а извозчику прикажет стоять на углу целую ночь; или иногда, на каком-нибудь публичном бале, когда гусар выплясывает мазурки весь в испарине, у бедного извозчика костенеют члены от страшного холода и он сидит как истукан, ожидая ежеминутно крика: эй, Прошка, подавай! Словом, посмотришь, как странно созданы люди: с удовольствием одного сопряжено непременно иго или вред другому! Наконец, лихой извозчик начинает стареть, рысак его совсем разбит ногами, а денег нет, потому что лихачи-извозчики живут роскошно, пропивая очень много на чаях и вине. Он бросает свое заведение и идет в работники; ему дают опять плохую запряжку, и вот опять однообразная колея его жизни, приклеенной к передку саней или дрожек, без всякой отдаленной цели, жизни — в непроизвольном движении, вместе с своею лошадью и экипажем, составившим как бы одно с ним существование, без собственной воли и без надежды на пешеходную прогулку! Одетый в вечно синем армяке, с медною на спине дощечкою, свидетельствующею о номере, под которым известна в Думе* его особа, покорный капризу часто наикапризнейших седоков, вознаграждаемый отмораживанием членов и нередко напрасными побоями буянов, идет он своим терновым путем к сырой могиле — единственному месту, куда не он, а его уже повезут люди.

На всех площадях и почти на каждом большом перекрестке устроены в Москве биржи для извозчиков; тут вы найдете калиберные дрожки*, обыкновенные рессорные и пролетки, запряженные в одну лошадь. Если кто имеет надобность в паре или четверке, тот должен

посылать на постоялые дворы, где живут извозчики. Средняя цена извозчика на день: простые дрожки 5 руб., пролетки 10 р., фаэтон парою 10 р., коляска и карета четверкою 15 р. ассигнациями. В Москве есть извозчики, которые содержат огромные заведения, славятся красотою экипажей и богатыми конями; они отпускают свои запряжки на свадебные церемонии, равно на места поденно и помесячно, но берут страшные деньги; обыкновенный же ямской фаэтон с парою лошадей стоит в месяц 300 р. ассигнациями. Так как при огромности города почти всякому беспрестанно встречается надобность в езде, то по дороговизне извозчиков большая часть обывателей, мало-мальски имеющих способы, заводят своих лошадей. Московкий извозчик удивительно как расторопен, хитер и услужлив, если ожидает, что ему прибавят или дадут на водку; он — большая помощь приезжим при отыскании домов и глухих переулков. Зимою появляется в Москве извозчиков до 12000; у них плохие запряжки, но зато они не дорожатся и очень удобны для бедных людей. При найме лошадей помесячно, если вы не оградите себя различными условиями с хозяином, то потеряете всякое терпение; например: вы подрядите порядочный фаэтон, а зимою хорошие сани, с парою лошадей и кучером, прилично одетым. Первые дни вы все это будете иметь в исправности; спустя же несколько времени увидите, что левую дышловую лошадь вам запрягли без хвоста и без гривы, тощую, как скелет, или такую, на каких прежде возили актрис; она на целую четверть или выше или ниже правой лошади. Зачем такая гадкая лошадь? — спрашиваете вы; вам кучер отвечает: хорошую заковали, но что завтра будет непременно другая; и действительно, завтра дают другую, переменяя не дурную, а хорошую, которая оставалась, и колесницу вашу уже тащут два полумертвых автомата; а где же другая порядочная лошадь? — спрашиваете вы; она с этою не годится,— отвечает кучер,— оченно, сударь, велика, да в дышле плохо ходит, забивает. Потом извозчик докладывает вам, что у вашей коляски лопнула рессора, а хозяин его присылает такой тряский рыдван, в котором, поездив несколько дней, вы разломаете себе все кости. Зимою у кучера вместо порядочной шапки явится вдруг такой ужасный колпак, такого странного, полинялого цвета, что первобытного его колера вы никак не отгадаете. Где же твоя шапка? — кучер отвечает: украли! Но вы этому не верьте; коляска, поряженная вами, не ломалась, шапки никто не крал и лошадь не хромает; все это ездит с другим седоком, от которого также отнимется, если он даст вперед денег или хозяин увидит, что барин беспечен и на чем бы ни ехать ему и горя мало. Бывает, что молодые люди, по каким-нибудь неблагоприятным случаям, ездят с ямщиком в долг и он имеет в них маленькое *сумление;* тогда ямщик просто ужасен: он объявляет, что корма вздорожали и требует двойной цены; запрягает уже просто без церемонии не лошадей, а каких-то кошек, кучер в это время бывает одет в лохмотьях, сохраняемых, кажется, нарочно для тех, кто ездит в долг; коляска, обыкновенно,— с одного бока зеленая, а с другого желтая, сукно внутри — похожее на одеяло, сшитое из разных лоскуточков. Что же делает барин? Не привыкши ходить пешком, он посердится, разругает ругательски ям-

щика, и садится с горем пополам в свою скудную колесницу терпения! Такого рода ездоки обогащают извозчиков; они при получении денег обыкновенно с ними честно расплачиваются, забывая все их немилосердные прижимки, но иногда и надувают. Бывает — утром приедет к барину его красивый фаэтон, а оставшийся слуга объявляет, что господин его *в ночи* изволили уехать в деревню; тут часто и поминай как звали!

РАЗНОСЧИКИ

Бесчисленное множество разносчиков всякого рода наполняют московские улицы; одни из них, разодетые в синих халатах, продают дорогой товар; другие, в серых халатах,— торгуют товаром средней цены; наконец, мальчики и бабы — разносят самые дешевые лакомства. При появлении весны московский разносчик обыкновенно предлагает свежие яйца; затем они кричат: апельсины, лимоны, кондитерские печенья, арбузы моздокские хорошие и дыни-канталупки, игрушки детские, яблоки моченые и сливы соленые, *шпанские вишни**, сахарное мороженое, всевозможные ягоды, пряники, коврижки, спаржа, огурцы и редька поровая, алебастровые фигуры, калужское тесто, куры и молодые цыплята, медовый мак, патока с инбирем, горох, бобы, груши и яблоки сушеные на палочках, гречневики, с маслом гороховый кисель, белуга и осетрина малосольная, свежая икра, живые раки, соты медовые, клюковный квас и молодецкое: *по ягоду по клюкву!* Это особенный род разносчиков; они обыкновенно бывают старики и продают ягоду в лукошках, накладывая из них в чашечки и помазывая наложенную порцию медом. Продажа всегда сопровождается следующею песнею: «По ягоду по клюкву, володимирская клюква, приходила клюква издалека, просит меди пятака, а вы, детушки, поплакивайте, у матушек грошиков попрашивайте, ах по ягоду по клюкву, *кррупная* володимирская клюква!..» Разносчик-спекулятор обыкновенно надевает шапку набок и старается смешить публику, которая собирается около него из мальчишек, проходящих по улице мужиков и баб; он часто успевает в своей проделке, и если бывает забавен, то с ним почти не торгуются и дешевый товар его продается славно, принося на обращающийся в торговле капитал процентов гораздо более, чем выигрывают в косметиках на галантерейных товарах.

Московские улицы оглашаются еще криком других людей, которые не продают, но покупают все, что вам угодно, только бы оно было старое и дешевое, часто вы встретите их на больших улицах и услышите: старые голенища продать, нет ли бутылок, штофов, всякого старья, тряпья и старого заячьего меха продать? Кажется, московские собаки имеют о людях этого рода самое дурное мнение и нередко принимают их за воров, потому что бросаются на них с величайшим остервенением, чего никогда не делают при виде других разносчиков.

МАЛЬЧИКИ

От взора наблюдателя не может ускользнуть множество мальчиков, встречаемых на всех московских улицах; это дети крепостных людей, отданные в ученье помещиками к различным мастеровым, дети церковнослужителей и мещан, школьники уездных и приходских училищ. Летом, даже на многих больших улицах, они играют в бабки, а на тумбах тротуара держат пари с мальчиком-разносчиком, ломая об лоток пряники на условленные части, или на этих же тумбах упражняются в гимнастическом искусстве и подражают акробатам. В ясную, но ветреную погоду пускают змеи, а при дожде запружают воду в канавах или, прогоняя ее палочками, пускают в неизвестный путь свои бумажные кораблики; часто пристают к проходящим, в особенности к женщинам, дергая их за платки. С наступлением осени, при морозном утре, гоняют на площадях и бульварах кубари*, а зимою играют в снежки или, сгребая снег с тротуара, катаются на привязанных к подошвам железных коньках, делая таким образом скользкую полосу. Иногда неосмотрительный пешеход, поскользнувшись, падает со всех ног, а мальчики забавляются его падением и делают ему разные насмешки. Мальчик на посылке обыкновенно старается поместиться на запятках проезжающего экипажа, и часто щеголь в своем красивом фаэтоне, желая блеснуть мимо окон обожаемой им особы, бывает как-то смешон с своею самодовольной физиономиею, когда шалун в ризах нищеты, сгорбясь, торчит на запятках его богатого экипажа. Если экипаж едет тихо, то приткнувшийся на запятках, встречая товарищей, часто предлагает разделить с ним удовольствие попутной езды, и нередко встречаются фаэтоны, у которых на запятках бывает по три незваных попутчика. Когда кучер или господин случайно приметят шалунов, то мальчики с быстротою серны соскакивают на землю и, делая от досады на неудачу разные гримасы, обыкновенно бранят господина *стрикулистом**. Вообще московский мальчик своеволен, лукав, задорен между товарищами и почти всегда имеет страсть к голубям; смотря на их проказы, нельзя не пожалеть, что эти, по-видимому, ничтожные дурачества, имеют большое влияние на их будущий характер, приучая в первой молодости к своевольству и позорной лени.

НАЕМНЫЕ ЛЮДИ, КУЧЕРА, ЛАКЕИ

...Ах, от господ подалей,
У них беды себе на всякий час готовь.
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь! Грибоедов*

В Москве, где живут широко почти в каждом доме, бывает потребность в наемных людях. Несмотря, что мы живем в такое время, когда

почти всякий сжимается в комок, как еж, в столице есть дома, где нанимаются люди единственно для посылок с вопросами: о добром здоровье, о спокойно проведенной ночи, о том, поедете ли вы в театр или на Кузнецкий мост и какое намерены надеть сегодня платье. Страсть посылать существует между прекрасным полом до такой степени, что красавица, проснувшись и не получив подобных посланий от своих приятельниц, часто бывает скучна; по этой-то причине в Москве при множестве крепостных людей порядочный семьянин почти всегда имеет надобность в наемных людях и по этому-то случаю толпы людей с прокормежными видами наполняют столицу. Нельзя не догадаться, как бывает испорчена нравственность этих людей, частию от праздной и ленивой жизни их при месте, а преимущественно при приискании его, когда какой-нибудь отосланный от своего барина человек, получа паспорт, слоняясь, ищет себе места. В это время харчевни и кабаки ему — денное убежище, ночью же бренное тело его отдыхает в темных подвалах, где эти люди получают ночлег за ничтожную плату у проживающих там разных мелочных промышленников. Страсть посещать грязные убежища Бахуса до того укореняется в них, что какая-нибудь московская красавица, посылая un billet doux[1] к своей кузине, никак не воображает, что письмецо из ее миленьких ручек побывает в кабаке, прежде чем дойдет до роскошного будуара, и часто сальное пятно грубой закуски безобразит изящность милого послания. Когда вы станете нанимать в услужение человека, и если на вопрос, пьешь ли ты вино?— будущий вассал ваш, охорашиваясь, ответить: *«пить пьем, а пьяного не увидите»,*— бегите от него, как от чумного, потому что вы его действительно не увидите; он будет пить в кабаке, а протрезвляться в полиции.

Если будете наблюдать за образом мыслей и поведением людей, находящихся в услужении в разных домах, то увидите резкие противоположности в лакее московского магната с лакеем какого-нибудь мелкого помещика, страшную разницу между кучером сенатора и кучером протоколиста. Люди, сообразуясь с званием и преимуществами господ своих, играют между собою также свои роли: лакей магната едва удостоивает наклонением головы лакея мелкого чиновника, а кучер секретаря с особенным уважением смотрит на кучера сенатора и часто гордится, если удостоится его почтенного знакомства. Лакеи стараются подражать привычкам господ своих, например: они, встречаясь между собою, также пожимают друг другу руки и спрашивают о здоровье; получа ответ: слава богу — они обыкновенно говорят, что слава богу — лучше всего; это равняется нашим форменным приветствиям, делаемым на французском языке; на вопрос же, где вы вчера были-с?— люди отвечают: в сенате, в клубе, в театре, в собрании и т. п., смотря по тому, где было угодно побывать вашей особе и где по этому рассудилось вам оставить в передней ваше средство*.

Войдя в переднюю незнакомого вам богатого человека или вельможи, вы всегда можете смекнуть, приветлив или горд хозяин. Когда

---

[1] Нежное письмо *(фр.)*. — *Ред.*

хозяин приветлив, добр и справедливый человек на службе, то, если вы и не носите на себе отпечатка богатства и чинов, люди встанут при вашем появлении и вежливо скажут, когда вы можете видеть их барина. Если же, войдя в переднюю, увидите, что один из людей храпит на ларе, другие двое играют преспокойно в шашки, не обращая на вас внимания, а четвертый лежит на спине, задравши кверху ноги, нисколько не думая снять с вас шинели,— говорите смело, что хозяин этой передней дерет часто голову перед теми, кто его ниже, и сгибается в три погибели перед тем, кто его повыше, что бедняка он не обласкает, и если вы ищете покровительства, то прием его, при раздражительности ваших нервов, будет иногда вам очень горек.

Если войдете просителем в переднюю небольшого должностного человека и увидите, что слуга вас принял вежливо, пошел обыкновенным образом доложить барину, можете надеяться, что чиновник этот выслушает ваше правое дело и сделает, что должно по закону. Если же в этой передней встретит вас человек неопрятно пасмурный, хладнокровно дующий в самоварную трубу в то время, когда вы с ним говорите, или такой чересчур вежливый, что побежит, сломя голову, извещать о вас барина, а провожая, станет просить на чай за то, что доложил, знайте, что этот чиновник, хоть и предобрый и прелюбезный, но уж иногда чересчур любит *благодарность*!

Проходя мимо какого-нибудь барского дома в Москве, по людям вы всегда узнаете, когда барин уехал в гости или ненадолго в деревню; тогда обыкновенно у крыльца праздный человек бренчит на гитаре или балалайке, горничная девушка, в черном переднике с кармашками и сеточкою на голове, грызет орешки и смеется над комплиментами другого лакея-меломана, который, делая ей глазки, поет с присвистом под музыку своего товарища какую-то смешную и не совсем скромную песню. Вечером мальчики, одетые казачками, возятся у ворот, таская друг друга за волосы; на дворе большие лакеи и кучер в поддевке стоят кучкою и скалят зубы или играют в орлянку; поваренки ездят верхом друг на друге, девушки, одетые с большим старанием, резвятся в горелки, пищат и хохочут, как обыкновенно хохочут горничные, не от чего-либо смешного, а от радости, что господа уехали.

В каждом сословии есть непременно свой любимый предмет для разговора: приказный толкует о делах даже и тогда, когда ему *в глаза лезут мальчики;* армейский капитан строит комплименты барышне, а сам так и норовит поговорить что-нибудь о своем полковнике; отъявленный франт умеет всякий разговор окончить суждением о каком-нибудь модном фраке или плаще; игрок, довольно молчаливый в обществе, всегда красноречив, когда говорит об игре; праздный волокита ни о чем больше не бредит, как о своих часто сомнительных победах; помещик толкует об урожае, мнимый аристократ о политике, брюзгливая старуха всегда сплетничает, запоздалая невеста всех злословит, доктор с женою толкуют о практике; мелкий писатель порет дичь о литературе, стараясь обратить разговор на свое пустое сочинение; дамы и девушки всех возможных кругов, смотря по обстоятельствам, говорят о политике и о науках, о театре и о

бале, о музыке и о погоде, о башмаках и о мужчинах, нередко об их ногах, носах и даже панталонах; словом, в обществе бывает редкость, когда столкнутся несколько человек и примут общее нелицемерное участие в разговоре, потому что каждого и каждую занимают совершенно разные предметы; но общество господских людей лишено этого неудобства; у них у всех — один общий любимый разговор — о господах. Когда люди между собою знакомятся, то они не тратят по-пустому время в беседах о погоде, напротив, спешат узнать друг от друга — хороши или худы у них господа.

По разумению московского лакея, барин его бывает добрым господином, когда он, видя усердную службу, любит своего слугу, награждает за верность и не преследует за какую-нибудь маленькую вину как существо, которое будто не должно уже иметь никаких слабостей; когда он его не колотит по скулам за всякую безделицу, оттого только, что возвратился сердитый из клуба, где продулся в пух, или поссорился с актрисою, у которой неожиданно застал незнакомых ему гостей. Горничная любит свою барыню, когда она не таскает ее за косу, не ломает ее гребенок и не бьет понапрасну за то только, что девушка красивее своей госпожи и барин иногда за нею шибко приволакивает. Она обыкновенно называет барыню ангелом, когда удачно справляет ее маленькие комиссии и имеет общие с нею секреты от барина. Человек говорит худо о своем господине, когда помещик не понимает верной службы и, чтобы слуга ни сделал доброго, он все смотрит на него, как на хамово семя; когда барин плохо кормит лакея и только что не говорит: ты хоть воруй кур у соседа, а не смей просить у меня харчей и обуви. Слуга особенно ругает такого господина, который под веселый час шутит слишком фамильярно с человеком, а потом вдруг задаст ему славную таску без всякой причины; иногда же человек не любит барина за то, что он ему не позволяет воровать, наряжаться в господское платье, ходить в кабак и распивочную лавку, где часто собирается очень приятное общество для московского слуги. Горничная обыкновенно называет свою барыню *ехидною*, когда та придирается к ней за всякие пустяки, не пускает погулять в праздники, злится, что у девушки хорошенькая талия, слишком полная грудь, и запрещает носить такую прическу, какая нравится горничной; когда злая барыня из одного каприза не выдает ее замуж за лакея-меломана и когда коварная помещица, разлучая нежно любящиеся сердца, между тем беспрестанно подсматривает за ними и чуть заметит какие-нибудь шуры-муры, то как раз меломана упечет в солдаты, а девушку острижет да отдаст замуж за деревенского мужика. Чем лакей образованнее, тем сильнее ненавидит ливрею, объявляющую всем и каждому, что он не что иное, как *человек*. Он обыкновенно старается занять такую должность, которая бы давала возможность ходить без галунов; нередко лакей чуть не плачет, когда по фантазии московского щеголя ему приходится носить какие-нибудь малиновые панталоны с золотою лампасою; в это время он обыкновенно подвергается насмешкам горничных и задорных мальчиков, которые его при всяком удобном случае ругают халуем.

В Охотном ряду есть трактир, куда по ранним утрам стекаются

толпы поваров и господских людей разного рода. Причина тому следующая: всякий мясник или продавец овощей спешит задобрить управителя и повара, покупающих у него провизию, и для этого, в особенности при расплате, считает непременною обязанностию их порядочно угостить; в этот же трактир уходят обыкновенно лакеи с шубами своих господ, в то время, когда они блистают в театре или в зале Благородного собрания. Тут иногда, при обильном распивании чаев, поглощении блинов, рассказывают люди друг другу о домашней жизни богатых и бедных своих господ и, как говорится, порядочно их судачат; много открывается здесь тайн из частной жизни праздного дельца, ученого, игрока, красавицы, безобразной, вельможи, маленького человечка, и поневоле подивишься безрассудству людей, часто вверяющих случаю честь и спокойствие своего семейства, полагаясь на скромность болтливой горничной или неуклюжего лакея, думая, что маленькие тайны их умирают вместе с их маленькими преступлениями.

АЛЬМАНАХ

„ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА“,

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Н.А.НЕКРАСОВА



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИК

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТОРОНА

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УГЛЫ

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БАЛ





ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИК

На дворе погода какая-то средняя, то есть люди заезжие полагают, что она дурна; коренные жители находят, что она довольно сносна, и надеются, что к вечеру еще проведрится, а каретные извозчики ею вполне довольны: езды в крытых экипажах больше.

Один дворник метет плитняк, другой, насупротив, на общую пользу салопов и шинелей пешеходов, лакирует чугунные надолбы постным маслом с сажей.

— Никак, Иван, у тебя масло-то невареное?— сказал тот, что с метлой.

— А что?

— Да так, что-то не слыхать его через улицу; а то, бывало, так и переносит от тебя к нам.

— И то, сырое. Тут не до варки, а вымазать бы только, чтоб не потянули опять.

Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников перебоем; первый дворник метет размашисто всех их сряду по ногам. Они поочередно подпрыгивают через метлу; один, однако же, миновав опасность, останавливается и бранится.

Дворник продолжает свое дело, будто не слышит, и ворчит после про себя, но так, что через улицу слышно: а обойти не хочешь? нешто глаз во лбу нету? Другой дворник, для которого собственно острое словцо это было пущено, смеется и, выпрямившись, засучивает несколько рукава, шаркнув себя локтем по боку, передает черную масленую ветошку, для отдыха, из правой руки в левую, а освободившеюся рукою почесывает голову.

Порядочно одетый человек останавливается у ворот дома, смотрит на надпись и, оглядываясь, говорит: «Эй, любезный, где здешний дворник?»

Григорий молчит, будто не слышит; тот повторяет вопрос свой погромче и понастойчивее.

— Там, спросите во дворе.

Господин уходит под ворота; второй дворник, Иван, смеется.

— Ты что ж не отозвался?

— Много их ходит тут!— отвечает первый и продолжает мести.

В это время извозчик на выездах проезжает шагом, дремля бочком на дрожках; лошадь разбитая, дрожки ободранные, кожа между крыльями прорвана, из-под подушки кругом торчит сено; гайка сваливается с колеса.

Дворник с метлой глядит несколько времени вслед за извозчиком, потом выходит на средину улицы, подымает гайку и кладет ее в карман. Колесо с дрожек соскочило, извозчик чуть не клюнулся носом

в мостовую, соскакивает, останавливая лошадь, оглядывается кругом и бежит назад. Увидав дворника на пути со средины улицы к плитняку, обращается к нему: «Ты, что ли, поднял, дядя?»

— Кого поднял?

— Да гайку ту; отдай, пожалуйста!

— А ты видел, что ли?

— Да чего видел? отдай, пожалуйста!

— Отдай! что я тебе отдам? ты бы сперва двугривенный посулил, а там бы говорил — отдай.

Спор становится понемногу жарче; извозчик сперва просит, там божится, что у него нет ни пятака, что он только вот выехал; потом пошла брань и крик, в котором, кроме обычных приветствий, слышно только с одной стороны: «отдай, я тебе говорю, отдай!», а с другой: «что я тебе отдам? да ты видал, что ли?» С этим воинственным криком неприятели друг на друга наступают; дворник Иван, с помазком в руке, пользуется приятным зрелищем и, улыбаясь, отдыхает от трудов; народ начинает собираться, образуя кружок. Какой-то дюжий парень также останавливается и, узнав, в чем дело, говорит извозчику: «Да ты что горло дерешь, толкуешь с ним, с собакой? ты в рыло его, а я поддам по затылку». И едва это было сказано, как и тот и другой, будто по команде, в один темп, исполнили на деле это дельное увещание.

Народ кругом захохотал. А оглушенный неожиданным убеждением, строптивый Гришка, потряхнув слегка головой, достал гайку из кармана шаровар и отдал извозчику с советом: не терять ее в другой раз, а то-де ину пору и не воротишь; иной и не отдаст; а за нее в кузнице надо заплатить целковый, да еще накланяешься да напросишься: вашего брата там много!

Зрители, натешившись этим позорищем*, разошлись своим путем, оглядываясь по временам назад; извозчик надел колесо, навернул гайку и во все это время бранился. Дворник Григорий принялся опять за метлу и ограничился повторением того же дружеского совета. Дворник Иван подшучивал, смеючись слегка над товарищем: «Извозчику-то ты что ж так спустил? Эка, здоров кистень у парня-то!»

В это время господин, проискав дворника по пустякам во дворе, вышел опять из-под ворот и обратился к нашему приятелю довольно настойчиво: «Да ты, что ли, здешний дворник, эй!»

— А вам кого надо?

— Титулярного советника* Былова.

— На левую руку под ворота, в самый верх, двери на левой руке.

— Так что ж ты не сказал мне давича, как я спрашивал тебя? ведь ты дворник здешний?

— Дворник! мало ли дворников бывает! у других, у хороших хозяев, человека по три живет; это наш только вот на одном выезжает.

Посетитель должен был принять эту логику особого разбора за ответ, пожал плечами и пошел по указанию.

По ту сторону улицы проходят две барыни; у одной из них на руках какая-то шавка; барыня ее усердно лижет и целует.



— Вот,— сказал веселый дворник Иван,— барыни-те детей своих пестовать не хотят, а со щенятами нянчатся!

Обе барыни оглянулись на веселого дворника и посмотрели на него такими глазами, будто он сказал непростительную дерзость.

Между тем из дома дворника с метлой выскочила чумичка, сложив руки под сальным ситцевым передником, который она сшила на свой счет, обидевшись тем, что барыня вздумала подарить ей для кухни

пару тиковых или холстинных передников.— Григорий!— начала она кричать,— ах, ты, господи, воля твоя, какой народ! Григорий, да что ж ты, не принесешь, что ли, сегодня воды?

— Поспеешь! что тороплива больно!

— Поспеешь! ах, ты, боже мой! Барыня бранится, в третий раз гоняет меня; я по целому дому бегала — нет как нет; а он вот еще тут прохлаждается, словно Христа ради воду носит нам, право!— Да иди, что ли, принеси!

— Принеси? Тут вот любое, либо по воду иди, либо улицу мети; а как надзиратель пойдет,— так вот и будем мы с тобой у праздника.

— У праздника? Да мне что за праздники! там вы себе, пожалуй, празднуйте, а ты воды принеси!

Григорий поворачивается медведем и отправляется к воротам; чумичка, победив красноречием своим упорство его, убегает проворно под ворота; он сильным взмахом кидает вслед за нею метлу, а Иван кричит, повысив голос: «Эх! ушла, полубарыня! а так вот чуть-чуть не огрел ее! Больно тонко прохаживаться изволите! — промолвил он, намекая на босые ее ноги,— чулки отморозите, сударыня!»

В промежутке этих забав, однако ж, Иван и Григорий сделали также свое дело, потому что за них никто не работал. До свету встань, двор убери, под воротами вымети, воды семей на десяток натаскай, дров в четвертый этаж, за полтинник на месяц, принеси. И Григорий взвалит, бывало, целую поленницу на плечи, все хочется покончить за один прием, а веревку — подложив шапку — вытянет прямо через лоб и после только потрет его, бывало, рукой.

Там плитняк выскреби, да вымети, да посыпь песком — улицу вымети, сор убери; у колоды, где стоят извозчики, также все прибери и снеси на двор; за назем этот* колонисты платили, впрочем, охотно Григорию по рублю с воза: вишь, немцам этим все нужно. Тут, глядишь — опять дождь либо снег, опять мети тротуары — и так день за день. Во все это время и дом стереги, и в часть сбегай с запиской о новом постояльце; на ночь, ляжешь, не ляжешь, а не больно засыпайся: колокольчик под самой головой, и уйти от него некуда, хоть бы и захотел, потому что и все-то жилье в подворотном подвале едва помещает в себе огромную печь. Сойдите ступеней шесть, остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары; если вас не ошибет на третьей ступени обморок от какого-то прокислого и прогорклого чада, то вы, всмотревшись помаленьку в предметы среди вечных сумерек этого подвала, увидите кроме угрюмой дебелой печки еще лавку, которая безногим концом своим лежит на бочонке; стол, в котором ножки вышли на целый вершок посверх столешницы, а между печью и стеною — кровать, которая вела самую превратную жизнь: она дремала только днем, как дремлет искра под пеплом,— ночью же оживала вся, питаясь тучностью нашего дюжего дворника. Он был завистлив и говаривал, что-де не обидно никому. Замечательно, что домашняя скотинка эта приучена была к колокольчику, как саженная рыба, только в обратном смысле: она разбегалась мгновенно, когда зловещий колокольчик раздавался над головою спящего Григория, и терпеливо ожидала возвращения его, и смело

опять выступала мгновенно в поход, лишь только он ложился, натянув одну полу тулупа себе через голову. Подле печи три коротенькие полочки, а на них две деревянные чашки и одна глиняная, ложки, зельцерский кувшин*, штофчик, полуштофчик, графинчик, какая-то мутная порожняя стклянка и фарфоровая золоченая чашка, с графской короной. Под лавкой буро-зеленоватый самовар о трех ножках, две битые бутылки с ворванью и сажей, для смазки надолб, и, вероятно, ради приятного, сытного запаха, куча обгорелых плошек. Горшков не водится в хозяйстве Григория, а два чугунчика, для щей и каши, постоянно проживают в печи или по крайней мере с шестка не сходят. Мыть их, хотя по временам, Григорий считал совершенно излишним, убедившись на опыте, что сколько-де их не мой, они все черны[1]. Тулуп и кафтан висят над лавкой, у самого стола, таким образом, чтоб Григорий, во время обеда с товарищами, мог доставить и себе и им удовольствие тереться о платье головою. В углу образа́, вокруг вербочки, в киоте сбереженное от Святой* яичко и кусочек кулича, чтоб разговеться на тот год; под киотом бутылка с богоявленской водой* и пара фарфоровых яичек. Об утиральнике, который висит под зеркальцем в углу, подле полок, рядом с Платовым и Блюхером*, надо также упомянуть — хоть бы потому, что он с алыми шитками; утиральник этот упитан и умащен разнородною смесью всякой всячины досыта, до самого нельзя, и проживет, вероятно, в этом виде еще очень долго, потому что мыши не могут его достать с гвоздя, а собак Григорий наш не держит; но он именно испытал однажды на своем веку, что голодная собака унесла тайком такой съедомый утиральник, который и пропал бы, вероятно, без вести, если б собака эта не погрызлась из-за лакомого куска с другим псом; ссора эта обратила внимание нашего дворника на спорную добычу, которая и не досталась ни одной из тяжущихся сторон, а была у них отбита. Григорий пнул еще ногою одного пса, встряхнул раза два утиральник и повесил его на свое место. Он в известных случаях любил порядок.

Отчего же,— спросите вы,— двор и улица были всегда так чисты у Григория, когда конура его не могла похвалиться хозяином слишком чистоплотным? Ну, в этой внешней чистоте виноват был не Григорий, а не спускавший с него глаз надзиратель. Вот почему дворнику нашему чистота и надоела до такой степени и опостылела; он все это вымещал на своем подвале, который был у него в полном распоряжении, и тут только Григорий дышал свободно, наслаждаясь мягкою, сальною наружностью всех предметов своего маленького хозяйства, упиваясь благовонием, пресыщаясь питательною густотою доморощенной атмосферы.

На другое утро Иван да Григорий опять поздоровались через улицу с метлами в руках.

— Что ты? аль неможешь?

— Нет, что-то плохо; через силу хожу — так и подводит животы.

— А ты бы натощак квасу с огурцами поел, посоливши хорошенько.

---

[1] Впрочем, Григорий уверял меня однажды, что моет всю посуду свою каждогодно — в понедельник на великий пост; но не для чистоты, а ради греха, как сам он выражался.

— Нет, я уж вот золы с солью выпил; авось, отпустит.

Но, видно, от золы с солью не совсем отпустило; Григорий пошел к лекарю своему, к лавочнику, и просил помощи. Тот долго не расспрашивал, а, узнав главнейшие обстоятельства, положил Григория у себя на печь, велел ему лечь плотнее животом на горячий ржаной хлеб, накрыл больного тулупом, дал ему выпить чего-то горячего и к обеду поставил его на ноги. Григорий поблагодарил своего лекаря и рассудил, что не худо после этого поберечься и довольствоваться в этот день легким постным столом, то есть: квашеной капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом.

Григорий любит иногда покричать, любит подчас и нагрубить; но также охотно смиряется, довольствуясь тем, чтоб, отвернувшись, поворчать, а за глаза и побранить. Сто раз говорил он уже через улицу Ивану, что последний день живет у этого хозяина, отойдет завтра же непременно,— а на утро опять выходил на службу с метлой, с лопатой, с ведрами. Хозяин был им доволен, в особенности за честность и строгий присмотр: Григорий узнавал подозрительных посетителей чутьем, по первому взгляду, и выпроваживал их обыкновенно тем, что начинал придираться вопросами о том, к кому и зачем идешь, а потом спросами о паспорте и месте жительства. О таких предметах, как Григорий знал по давнишнему опыту и навыку, люди этого разбора беседуют очень неохотно, и потому, обыкновенно, не затягивая разговора, удалялись на поиски в иное место. Иногда Григорий, встретив в воротах человека с полуобритой бородой, в засаленном цветном бумажном платке и в изорванной шинелишке, пускался немедленно в откровенные с ним объяснения, уверяя его, что здесь-де, брат, нет тебе поживы никакой, право, нет, ступай с богом. А поймав у себя в доме подобного человека, он во избежание, по его мнению, лишних хлопот, потаскав незваного гостя за чуб, выпроваживал его взашей. Веселый дворник Иван тешился в таких случаях иначе: он заставлял вора лезть в тесную подворотню и погонял его сзади с разными поговорками метлой.

Но если какой-нибудь счастливый находчик приносил под мышкой попавшееся ему где-нибудь платье, то Григорий с преспокойною совестью торговал и нередко покупал вещь, коли ее отдавали за бесценок и она годилась ему в переделку. «А мне что,— говаривал он,— я почем знаю? Нешто я украл? Украдено, так не у нас».

В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полукафтанье и плисовые шаровары, а тулуп накидывал на плечи. У него была и шелковая низенькая, развалистая шляпа. Так он сиживал нередко за воротами, сложа руки, насвистывая сквозь зубы или лакомясь моченым горохом, который доставал из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость; они назывались «бубновыми», и белые бубны, вытравленные по алому полю какой-нибудь кислотой, вскоре обращались просто в дырочки, что и подавало Григорию повод подбирать по временам горошины с земли, обдувать их и съедать поодиночке. Иван, сидя рядом или насупротив, предпочитал кочерыжки, а если их не было, репу. Вкусы того и другого мирились летом над недозрелым зеленым

и жестким крыжовником, не крупнее гороха, и оба дворника запасались тогда почти ежедневно двумя или тремя помадными банками этого лакомства, которое носила по улице уродливая, пирогом повязанная старуха, вскрикивая петухом: «Крыжовник спела-ай! Крыжовник садовай, махровай» и пр. Она не заламывала головы на верхние окна, а косилась обыкновенно в подвальные жилья, и за копеечку нагребала помадную банку ве́рхом.

Орехов Григорий не терпел, уверяя, что грызть орехи прилично только девкам!

В этом состоял весь праздник Григория; изредка только он напивался вволю, поставив наперед какого-нибудь земляка на целые сутки на свое место. Не приняв наперед этой меры, он не гулял никогда. Всегдашняя поговорка его, когда кто поминал праздник, была: «Какой нашему брату праздник!» Он совершенно соглашался с одним мастеровым, который даже о рождестве как о празднике отозвался однажды с примесью философской хандры, сказав со вздохом: «Что за праздник нашему брату! тут и всего-то три дня; не успеешь не то что погулять, а и на съезжую попасть»*. Ну, наперед не угадаешь, брат, где будешь,— заметил было недогадливый Григорий, но мастеровой отвечал, пожав плечами: «Нет, не берут; первые три дня не приказано брать никого». Но годовые праздники, при всей малозначительности своей для Григория как дни пированья, замечательны были для него тем, что он ходил по порядку собирать подать со всех постояльцев. И у него, как у самого хозяина, квартиры все были расценены по доходу, от гривенничка, получаемого по два раза в год с прежалкого и прекислого переплетчика, проквашенного насквозь затхлым клейстером,— и до красненькой* двух квартир второго жилья. Он перенял у остряка Ивана давать постояльцам своим прозвания по числу рублей, получаемых от них к рождеству и к Святой: «двугривенный переплетчик», «трехрублевый чиновник» и проч. Этим способом, о котором слухи доходили иногда до честолюбивых жильцов, ему даже удавалось повышать водочный оклад, и жилец поступал тогда с трехрублевого в пятирублевый разряд. В случае перехода нового жильца Григорий умел сообщить ему всегда заблаговременно, до наступления праздников, сведение, сколько получалось обыкновенно от его предшественника. С жильцов беспокойных, которые постоянно возвращались домой по ночам, Григорий иногда понастоятельнее требовал *на чай*, уверяя, что за ними-де хлопот очень много.

У Григория был еще небольшой промысел: он занимался в своем кругу оборотишками по небольшому домашнему банку и отдавал, за верным поручительством или под заклады, до сотни рублей в рост. Более восьми или десяти со ста в месяц ему редко удавалось взять; а если его попрекали таким запросом, уверяя, что из казны можно взять за пять или за шесть со ста, то он, махнув рукой, говорил преспокойно: «Ну, так поди в казну; а не то вот к графскому камердинеру: тот с тебя возьмет по двадцати в месяц, да еще расписку, что залог им куплен у тебя, да не дождавшись сроку и продаст его,

коли хороший покупатель найдется». Григорий не видал тут никакого греха; я, говорит, никого не неволю, никому не напрашиваюсь; мои пятьдесят рублей место не пролежат у меня и в сундуке. Что дело это надо делать тайком — это он очень хорошо понимал; но не потому тайком, чтоб оно было дело виноватое, а потому-де, что известно уж, во всяком деле надо беречься от придирки да знать его про себя; тут, пожалуй, попадешься за всякую безделицу и во всем виноват останешься. Как старый дворник и уличный петербургский житель, которому нередко случалось сталкиваться и дружиться с народом всякого разбора, Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербургских мошенников, но понимал отчасти язык их, и молодой сосед его, Иван, брал у бывалого приятеля своего иногда уроки в этом полезном знании. «Стырить камлюх», то есть украсть шапку; «перетырить жулилу коньки и грабли», то есть передать помощнику-мальчишке сапоги и перчатки; «добыть бирку», то есть пашпорт; «увести скамейку», то есть лошадь,— все это понимал Григорий без перевода и однажды больно насмешил веселого Ивана, когда они сидели в праздник рядком за воротами, упиваясь чадом смердячих плошек; небольшая шайка проходила в это время, как видно было, от разъезда театра, и, увидев товарища, поставленного для наблюдения за *ширманами* (то есть за карманами) пешеходов, встретила его вопросом: *что клею*? то есть много ли промыслил? А Григорий отвечал преспокойно: *бабки, веснухи да лепень,* то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель? Иван научился также от Григория пугать мошенников и узнавать их в толпе; стоит только сказать: «стрема», то есть берегись!— и всякий мазурик сейчас же кругом оглянется.

Отчего же, спросите, Григорий, как и все товарищи его, зная и встречая людей этих иногда и с поличным, зная даже нередко, по слухам, кто, что и где украл,— отчего же он не ловил их, не доносил на них куда следовало, а смотрел на все это равнодушно, как на постороннее для него и безвредное дело? Оттого, что у него были свои понятия и убеждения, свой взгляд и своя житейская опытность, переходящая с поколения на поколение. Противу таких укоренившихся и воплотившихся доводов спорить трудно. Григорий был твердо, логически убежден, что вноват тот, кто попался, а не тот, кто украл; что только открытое преступление вина и, наконец, что всегда виноват будет тот, кто гласно впутается в такое опасное дело. У Григория была на это сотня нелепых примеров в запасе, как один будто виноват остался за то, что донес на вора, а другой за то, что его впутали в свидетели; как третьего затаскали в расспросах и показаниях и присудили *за разноречие* о таком деле, о котором он ровно ничего не знал и сказал один раз, что ничего не знает, а в другой раз, что не знает ничего; как такого-то взяли и посадили за то, что он остановился мимоходом и поглядел на плывущий по воде труп, или так называемое «мертвое тело»; как такого-то записали и осудили прикосновенным к делу за то, что он вздумал было вступиться, когда при нем хотели ограбить человека; словом, Григорий почитал себя человеком опыт-

ным и, по привычке, судил о подобных делах весьма хладнокровно.

Григорий знал наизусть звон каждого из жильцов. Просыпаясь ночью от звона, который мгновенно производил такой переворот в жильцах или постояльцах собственной его квартиры, он ворчал обыкновенно про себя спросонья: «двугривенный барин,— ну, не горячись, поспеешь»; потом медленно поворачивался, почесывался, зевал, накидывал свой тулупишко и, взяв ключи, отправлялся босиком по мерзлому снегу, попадая путем-дорогою правою рукою в левый рукав тулупа; не находил спросонья рукава, останавливался еще раз под воротами, проворчав: «кой леший, наглухо что ли рукав-эт пришит!», потом не кричал вслух: «сейчас» — а ворчал, впрочем, не совсем про себя: «постой, тебе говорят; надорвешься; замерз, что ли, там!» Но, растворив наконец калитку, Григорий обыкновенно делался вежливее и мягче в обращении своем и пропускал жильца молча или даже иногда приговаривал, будто нехотя, пополам с позевком: «извольте-с». У Ивана была на этот счет другая замашка, он, как человек веселый и живой, не заставлял долго дожидаться у ворот; но если время было уже поздно, то, раскланиваясь с вошедшим, говорил только, стоя на морозе босиком в одной рубахе: «У нас, сударь, был тоже один такой, что все поздно домой приходил — да хороший барин, спасибо, вот как и ваша милость, все бывало на чай дает». Заметьте: *на чай,* а не на водку; у Ивана был земляк-полотер, человек довольно тонкого обращения, и у него-то Иван выучился объясняться несколько вежливее.

Остается сказать несколько слов о семейных, родственных, хозяйственных и вообще домашних отношениях нашего Григория.

Плох ли он был, хорош ли, честен по-*своему,* или по-*нашему,* много ли, мало ли зарабатывал, а кормил дома, в деревне, семью. И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же: «Вишь, пора тяжелая, хлеба господь не родит, земли у нас малость — а тут подушное, оброк, земство... за отца плати, потому что слеп; ну, за отца все бы еще ничего — а то и за деда плати, потому что и дед еще жив, и даже не слеп, а только всю зиму на печи сидит, как сидел когда-то Илья Муромец; да еще за двух малых ребят, за одного покойника да за одного живого».

Еще на десяток годов станет Григория, может статься, и на полтора; там — либо пойдет он и сам сядет на печь, сбыв дела; либо займется в деревне торговлей, коли деньги тут не пропадут в закладах. Приедет домой, привезет сотни три-четыре — вырубит под избой продольное окно, подопрет висячий ставень шестом и развесит в лавочке пучков десяток лычных и пеньковых веревок, обротей, недоуздков да три венка репчатого лука; поставит бочку дегтя, другую меда — оне и по пословице вместе живут, десяток ременных кнутов, тесаных дуг, оглобель, лаптей, пряников, тесемок и несколько вязанок барашек. Вот и все припасы и вся торговля; а если вы думаете, что Григорий при таких оборотах из-за хлеба на квас не заработает, так ошибаетесь; он человек бывалый: деготь у него будет такой нескончаемый, что он из одной бочки, в розницу, две либо три нацедит; мед он пластает и размазывает так мастерски, что коли за чаем не

высосешь картузной бумаги, на которую наклеит он четверку, так и вкусу этому меду не узнаешь. А веревки, наконец... да веревкам его конца нет; он меряет их маховыми саженями, и намахает вам их столько, сколько угодно, вот только в глазах рябит, как пойдет разводить руками; дело дорожное — взять негде, так и берут.

Иван, я думаю, не пойдет в деревню, а пойдет, надумавшись, либо в кучера, либо станет зимою лед колоть, а летом яблоками торговать; весной же и осенью перекупать и продавать, что случится на толкучем. Удали его в дворниках тесно, а дома скучно: со столичным образованием человеку в такой глуши жить тяжело...

В. Луганский

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

I

Вступление

Взгляните на этого человека, медленно переступающего по тротуару; всмотритесь внимательнее во всю его фигуру. Разодранный картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как смоль, черные волосы, осеняя худощавое загоревшее лицо, куртка без цвета и пуговиц, гарусный* шарф, небрежно обмотанный вокруг смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные сапоги и, наконец, огромный орган, согнувший фигуру эту в три погибели,— все это составляет принадлежность злополучнейшего из петербургских ремесленников — шарманщика. В особенности наблюдайте за ним на улице: левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к одной из сторон органа; звуки то заунывные, то веселые вырываются из инструмента, оглашая улицу, между тем, как взоры хозяина внимательно устремлены на окна домов; он прислушивается к малейшему крику, зову, и едва встречает приветливый взгляд, как тотчас ставит свою шарманку и начинает играть лучшую пьесу своего репертуара. Каждый раз, как которая-нибудь из труб, позабыв уважение к человеческим ушам, заверещит неестественно и нескладно,— посмотрите, как старательно завертит он рукою, думая тем загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в слухе вашем неприятного ощущения. Форточка отворяется, пятак или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за труды, но часто, весьма часто, истощив напрасно свой репертуар, он медленно удаляется — грустный, унылый, не произнося ни жалобы, ни ропота. Он уже давно привык к такой жизни. Какая бы на улице ни стояла

погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите в том же костюме, с тою же шарманкою на спине,— и все для того, чтоб получить медный грош, а иногда и «надлежащее распеканье» от дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из департамента и после сытного обеда расположившимся лихо всхрапнуть. Часто шарманка его кормит целое семейство, и тогда можете себе представить, сколько ужасных чувств волнуют горемыку при каждом тщетном покушении растрогать большею частию несострадательную к нему публику. Из всех ремесл, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарманщика. Нет ремесленника, который приобретал бы копейку, не имея в виду явного барыша: полунищая баба в грязном салопе, покрытом заплатками сверху донизу, продающая на Сенной площади вареный картофель, прикрываемый, для сохранения в нем надлежащей теплоты, известным способом, то есть без помощи чего-нибудь постороннего, кроме тряпья, составляющего ее исподнее платье,— приглашая гг. инвалидов и мужиков: «на картофель, на горячий, служба, служба! на карто, на карто... кавалер, на горячий, на карто, на карто...» — и та даже совершенно уверена, что вернется домой с доброю краюхой хлеба достаточной величины, чтоб накормить двух-трех пострелят мужеского или женского пола, что очень часто трудно бывает разобрать, если судить по одной одежде. Шарманщик же, спускаясь из-под кровли пятиэтажного дома или подымаясь из своего подвала, редко бывает уверен, доставит ли ему скудный его промысел кусок хлеба, соберет ли он столько денег, чтобы в конце месяца заплатить за квартиру — большею частию угол, нанимаемый им у той же торговки картофелем, которая за неисправный платеж будет вправе прогнать его со двора. Вникнув хорошенько в моральную сторону этого человека, находишь, что под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало — совесть. Он мог бы, как другие бедняки, просить подаяние; что останавливает его? К чему таскает он целый день на спине шарманку, лишает себя свободы, убивает целые месяцы на дрессировку собачонок или изощряет свое терпение, чтобы выучить обезьяну делать разные штуки? Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство, говорящее ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно? Я не хочу здесь представлять шарманщика идеалом добродетели; еще менее расположен я доказывать, что добродетель составляет в наше время исключительный удел шарманщиков и что, следовательно, вы должны запастись шарманкою и отправиться с нею по улицам, если считаете себя добродетельным; далек я также от мысли рассчитывать на ваше сострадание, представляя шарманщика злополучнейшим из людей. Нет, я хочу только сказать, что в шарманщике, в его частной и в общественной, уличной жизни многое достойно внимания. И если вы со мною согласны, то мне нечего и просить вас читать далее: вы это сделаете сами... Я намерен заняться своим героем со всем подобающим усердием...

II

Разряды шарманщиков

Трудно определить происхождение слова *шарманщик*; тем более трудно, что оно, кажется, родилось на Руси и обязано жизнию простолюдью. Назвать незнакомое лицо или предмет без основания, часто даже без очевидного смысла, хотя подчас и характеристически метко, свойственно русскому человеку, который, как вы знаете, «за словом в карман не полезет»; недосуг ему затрудняться в причинах, почему и как, а тут же, экспромтом, отпустит он иногда такое, что после думаешь, думаешь и все-таки не придумаешь, почему выразился он так, а не иначе, назвал орган шарманкой, а не оглоблей, что было бы для него все равно... Если б я принадлежал к числу почтенных мужей, называющих себя корнесловами, то по поводу происхождения слова шарманка предложил бы вам множество остроумных догадок. «Всего вероятнее,— сказал бы я,— что первоначальное слово было: «ширманка», и произошло от «ширм»*, из-за которых Пучинелла*, доныне почти всегдашний спутник шарманщика, звонким своим голосом призывает зевак и любопытных». Такое предположение присовокупил бы я с бóльшею уверенностию: «Тем более основательно, что первые появившиеся у нас органы были неразлучны с кукольною комедиею, существующею с незапамятных времен в Италии». Но так как и без того в продолжение рассказа я не отчаиваюсь вам наскучить, то, оставив в покое происхождение слова, перехожу к самому шарманщику. С первого взгляда кажется, что все шарманщики составляют одно целое, один класс уличных промышленников; но в сущности подлежат они бесчисленным разрядам, резко отделяющимся друг от друга как занятиями, так и духом национальности. Шарманщики в Петербурге вообще бывают трех различных происхождений: итальянцы, немцы и русские. Между ними итальянцы занимают первое место. Они неоспоримые основатели промысла, составляющего у них самобытную отрасль ремесленности, тогда как русские и немцы не более как последователи, которые хватаются за шарманку как за якорь спасения от голодной смерти, или по неспособности, чаще по неохоте к другому, более дельному ремеслу. Шарманщики редко начинают свое поприще с инструментом, от которого получили название; ручной орган, или, как принято называть, шарманка, есть уже следствие улучшенного состояния. Тюлень, заключенный в ящике и показываемый толпе с обычным присловьем: «посмотрите, господа, на зверя морского», высокий ящик, покрытый зеленым сукном, с каким-то дребезжанием вместо музыки, называемый у шарманщиков «фортепьянó англезе», виола с бесконечным скрипом и плясом хозяина и, наконец, флейта или кларнет — вот средства, с какими впервые дебютирует шарманщик на своей обширной и богатой разнообразными декорациями сцене — на улицах. После уже, спустя два или три года, достигает он счастливейшего дня (если только до того времени не нашел другого средства добы-



вать хлеб), блистающего на бледном его горизонте, как блудящий огонек,—вожделенного и прекрасного дня, в который на скопленные деньги покупает он шарманку. С этим приобретением осуществляет он все надежды, все мечты, и, взвалив на спину свое сокровище, думает только о том, как бы обратить на себя внимание и получить возмездие за все пропавшие труды. То аккомпанирует он вальс Ланнера* свистками и трелями, то присоединяет к себе двух маленьких детей, нанятых у бедной трубочистихи или прачки, и заставляет их выплясывать бессмысленный танец своего изобретения; то, если представляется счастливый случай, меняет тощую свою шарманку на другую, несравненно меньшую, но представляющую почтеннейшей публике с одной стороны презанимательное зрелище: Наполеона в синем фраке и трехугольной шляпе, вертящегося вокруг безносых дам, с ног до головы облепленных фольгою. Если владелец этого сокровища — итальянец, то он непременно вступит с вами в разговор и, объясняя значение каждой куклы порознь, не утерпит, чтоб не выбранить хорошенько Наполеона и, бог весть почему, кружащихся с ним австрийских дам. Если ему снова случается накопить несколько денег, желания его простираются тогда еще далее: он покупает высокий орган с блестящими жестяными трубами, медными бляхами, золотыми кистями, горделиво качающийся на зеленой тележке, везомой бурою клячею. И действительно, такое приобретение достойно всех пожертвований: во-первых, орган не приходится носить, следовательно, менее труда; во-вторых, его можно возить по дачам, где, как известно, люди как-то добрее, самые солидные отцы семейства наклоннее к невинным буколическим удовольствиям, приехавшие гулять особенно расположены тратить деньги, а главное — много детей, которые вообще большие любители кукольной комедии и шарманки; все это имеет значительно благодетельное влияние на доход

шарманщика, в особенности если он обладает уменьем занять хорошую позицию и задать серенаду кстати. Не всем, однако, улыбается фортуна; есть бедняки, до глубокой старости осужденные наигрывать одну и ту же арию на кларнете или выплясывать трепака по уличному паркету, устланному булыжником, аккомпанируя себе виолою.

Впрочем, так начинают карьеру свою одни только «мещане» этого класса промышленников; «аристократия» вступает на нее с бо́льшею важностию, с бо́льшим достоинством. Шарманщики-аристократы редко ходят поодиночке, но большею частию компаниею; один несет богатую шарманку, увешанную бубунчиками, другой обезьяну в гусарском платье и тирольской шляпе, третий ширмы и ящик, наполненный куклами, одетыми в разноцветное тряпье, испещренное блестками; шествие закрывает старый оседланный пудель, служащий гусару в тирольской шляпе вместо лошади. Другие блуждают целым оркестром; третьи присоединяют к себе гаера*, который на дырявом ковре делает salte mortale[1] при завывании шарманки; романсы с аккомпаньеманом арфы, ученые собаки, две или три скрипки и кларнет, разыгрывающие вечно один и тот же галоп,— все это показывает уже некоторым образом зажиточность хозяев и высоко ставит их над многочисленным классом «мещанства». Впрочем, и здесь, как всюду, разница сглаживается деньгами. Скромною жизнию шарманщику-мещанину случается накопить маленькую сумму, и тогда «аристократия» (живущая несравненно богаче, семейством, и если впадающая иногда в крайнюю нищету, то единственно по духу спекуляции, чрезвычайно, как увидим ниже, в ней развитому) спускается с своих подмосток и, как бы движимая добрым чувством, сближается с прежним отверженцем, принимает его в компанию, или, если денег у него окажется более, чем предполагалось, привязывает его к себе и еще прочнейшими узами — узами родства. Нужно заметить, что деньги единственное условие сближения между двумя этими разрядами, вечно враждующими...

III

Итальянские шарманщики

Происхождение их чрезвычайно темно; большею частию получают они жизнь под деревянною полуразвалившеюся кровлею хижины, живописно расположенной в Апеннинских горах, переименованных ими в monte Perpi. Родители их — полунищие горцы, исполняющие, за недостатком земли или по сродной всем итальянцам лености, скромную должность пастухов. Не имея достаточно хлеба, чтоб кормить часто многочисленное семейство, они отдают детей своих старому шарманщику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя несколько времени снова приняться за шарманку и блуждать по белому свету. Таким образом, мальчик покидает родной

---

[1] Акробатический прыжок *(ит.)*.— *Ред.*

кров, отца, мать и, вверившись судьбе, спускается с своих гор, надеясь когда-нибудь увидеть их снова. Швейцария, Тироль, Франция, Германия — везде наигрывает он пять или шесть песен, составляющих весь репертуар его; нет ни одного городка, бурга, селения, которое не слышало бы их по нескольку раз. Наконец, доходят до него слухи, что где-то на севере, в России, собратья его редки, что там может он получить верный барыш: туда! а Pietroborgo! — восклицает бедняк и предпринимает трудный поход. Его не обманули: трудность дороги действительно вознаграждается грошами, довольно щедро выбрасываемыми на дворы и улицы. Иногда направляет он путь свой не прямо к столице, но обходит сначала провинции, посещает города, ярмарки, деревни и, скопив несколько денег, является в столицу, где нанимает работников из своего звания. Мало-помалу, с прибылью денег, итальянец отстает от бродячей жизни, заводит круг знакомств с соотечественниками-ремесленниками, гаерами, канатными плясунами, фигурщиками, носящими вечного амура с сложенными накрест руками, кошку, болтающую вправо и влево головою, Наполеона, окрашенного розовой краской, всех возможных форм, видов и несходств, и, наконец, женится на дочери одного из своих приятелей. Заведшись таким образом хозяйством, итальянские шарманщики неизвестно почему избирают жилище в Подьяческих и Мещанской. Маленький двухэтажный деревянный дом, выкрашенный всегдашнею зелено-грязною краскою и возвышающийся в углу темного двора, служит им убежищем. Наружность такого рода строений облеплена обыкновенно галереей, на которую с трудом взбираешься по шаткой лестнице, украшенной по углам (у каждой двери) кадкою, на поверхности которой плавают яичные скорлупы, рыбий пузырь и несколько угольев; вообще лестницы эти, не считая уже спиртуозного запаха (общей принадлежности всех петербургских черных лестниц), показывают совершенное неуважение хозяев к тем, которым суждено спускаться и подниматься по ним. Квартира шарманщика почти всегда находится в конце такой галереи, по причине дешевизны, и состоит из двух комнат, сделанных из одной. Если вы хотите иметь о ней точное понятие, то потрудитесь нагнуться и войти в первую комнату. Первый предмет, на котором остановятся ваши взоры, отуманенные слезою (по причине спиртуозности лестницы), будет неимоверной величины русская печь, покрытая копотью и обвешанная лохмотьями, составляющими гардероб хозяев; стены и потолок усеяны теми приятными насекомыми, которые пользуются честию носить название, одинаковое с известным европейским народом. (Я выразился бы проще; но боюсь людей, не привыкших *сморкаться* там, где есть возможность *обойтись посредством платка**...) Стены эти окружены длинными скамьями, на которых в разных чрезвычайно неграциозных положениях лежат работники — русские, немцы, итальянцы, нанятые хозяином, каким-нибудь signor Charlotto Bonissy. Посреди комнаты стоят ящики с соломою, и три или четыре обезьяны не перестают с ними возиться и пищать самым неприятным дискантом; несколько ширм, коробок с куклами, мешков с мукою и макаронами разбросаны по разным углам; кадка с помоями издает из-под печки

особенно неприятный запах; дым, виясь из коротеньких деревянных трубок (необходимой принадлежности русских работников), наполняет освобожденное от хлама пространство; говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей — заглушают храпенье нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке, на лавках и на полу. Наконец, одно маленькое окно пропускает в комнату несколько лучей света, и то не всегда, потому что если в компании есть хоть один русский человек, то стекла непременно залеплены разными фигурками, с известным искусством вырезанными из сахарной бумаги, между которыми козел с необыкновенно большими рогами и бородою прежде всех бросается в глаза. Вторая комната представляет совершенно противоположное зрелище; тут тотчас заметно присутствие женщин. Не только чистота и порядок составляют отличительное ее свойство, но даже заметно некоторое притязание на роскошь: стенные часы огромного размера, годные для любой башни, с привешенными вместо гирь кирпичами; на окнах горшки с жиденькими растениями, занавески, комод, стол с блистающим, как солнце, самоваром, широкая постель, наконец, шарманки разных величин и свойств, в ряд расположенные вдоль стены,— показывают присутствие самого хозяина. Едва часы пробили восемь, как все народонаселение квартиры пробуждается, опоражнивает чашку щей или макарон и, взвалив на плечи каждый свою принадлежность, спускается на улицу, где, разделившись на партии, принимает разные направления. Главный промысел итальянцев — кукольная комедия. Разумеется та, которая доставляет на наших дворах столько удовольствия подмастерьям в пестрядиных халатах, мамкам и детям, а подчас и взрослым, не похожа на ту, которую вывез он из своего отечества. Обрусевший итальянец перевел ее как мог на словах русскому своему работнику, какому-нибудь забулдыге, прошедшему сквозь огонь и воду и обладающему необыкновенною способностию врать не запинаясь и приправлять вранье свое прибаутками,— и тот уже переобразовал ее по-своему. Нигде характер народного русского юмора так сильно не проявляется, как в переделках такого рода; нигде так резко не выказывается бедняк, на фуфу зарабатывающий копейку. В диалогах Пучинелла русского произведения и соответствующих ему персонажей, в их действиях, в самом расположении комедии, ими представляемой, вы тотчас найдете родство с теми русскими песнями, в которых слова набраны только для рифмы и не заключают в себе ничего, кроме рифмы, с теми сказками, где все делается по щучьему веленью и ни в чем рассказчик ни себе, ни слушателям не дает отчета. Например, при всех моих стараниях, я никак не мог добиться, почему в известной уличной комедии, особенно любимой народом, является лицо совершенно постороннее действию, ни с которой стороны, по-видимому, не нужное,— лицо, известное под именем *«Петрушки»*, без которого, как вы знаете, не обходится ни одно уличное представление. Или по какой причине прежде, нежели (в той же комедии) черт, чрезвычайно похожий на козла, должен увлечь Пучинелла, являются на сцену два арапа, играющие палкою и прерывающие действие? — для чего?.. Попробуйте добиться

у шарманщика! — «Нет-с, уж оно так, прежде-с арапы, а уж после черт уносит Пучинелла, уж так водится, так быть следует»,— отвечает он, оставив вас в совершенном недоумении на счет появления Петрушки и обоих арапов.

Впрочем, кукольная комедия не есть еще единственный ресурс итальянского шарманщика; ученые обезьяны, уличный гаер составляют также исключительную его принадлежность и, кроме того, жена и дочери (разумеется, если таковые есть налицо) немало способствуют к благосостоянию дома. Выражаясь так, я хочу сказать только, что мать выливает из воска херувимчиков, разыгрывающих на вербах немаловажную роль, а дочери, хорошенькие итальяночки с продолговатыми личиками, шьют по заказу платья или раскрашивают модные картинки и верхушки помадных банок. Вообще, итальянские шарманщики не представляют нам толпу беспутных бродяг, но, напротив того, картину скромных и тихих ремесленников. Они чрезвычайно любят свое ремесло и считают его благородным искусством, художеством; я никогда не забуду, как раз один из них на вопрос мой: «каково идут дела его в Петербурге?» — отвечал мне ломаным французским языком: «Oh! mon signore, mous povero artisto pas bien vivere à Pietroborgo, à Pietroborgo o n'aime pas beaucoup ces artisto... le publico ne pas aimer la musica signore...»[1]. Страсть к благородному искусству часто простирается до того, что итальянец проводит целые месяцы на улучшение шарманки; он облепливает ее разными фигурками, украшениями, прикрепляет к сторонам ее треугольник, бубенчики, тарелки, турецкий барабан, навешивает колокольчики и, приведя все в движение веревочкою, привязанною к ноге, гордо посматривает на своих собратий, воображая себя обладателем восьмого чуда в мире. Помещик, показывающий вновь выстроенный дом свой, не пропуская малейшей подробности и хвастающий даже устройством тех мест, куда никто не заходит без настоятельной нужды, не так старается вырвать у вас похвалу, как шарманщик, только что купивший шарманку. Он несколько раз откроет ее, развинтит, попросит вас посмотреть внутренность, пощупать, погладить, повертеть ручкою, наконец, определить ее ценность — и все для того только, чтоб не уронить в вашем мнении себя и горемычное ремесло свое. Имея столько средств, итальянские шарманщики легко могли бы, по прошествии нескольких лет, вернуться в свои горы обеспеченные на всю жизнь, но природное влечение к деньгам и спекуляциям часто ввергает их снова в нищенское состояние. То фабрика гипсовых фигур, как известно, раскупающихся плохо и за бесценок, то постройка балагана на Адмиралтейской площади, где показывают ученых обезьян, китайские тени, кукольную комедию, что все в общей сложности представляет хозяину более издержек, нежели барыша, то, наконец, попытка основать какое-нибудь ремесленное заведение — одно из таких предприятий, рано ли, поздно ли, разоряет бедного труженика в пух и снова вынуждает

---

[1] О мой господин, бедному артисту не очень хорошо живется в Петербурге, в Петербурге не очень жалуют этих артистов... публика не любит музыки, господин... — *Ред.*

бродить по улицам с шарманкою, сбирать по грошу и кормить семейство куском черствого хлеба, добываемого трудом и потом.

IV

Русские и немецкие шарманщики

Хотя шарманка редко бывает уделом немцев, все-таки сходство промысла дает им место в общем классе, нами описываемом. Немецкие шарманщики бывают двух родов. Одни приходят из Швейцарии, Тироля, Германии и промышляют с самого детства, другие образовались в Петербурге следствием каких-нибудь жизненных переворотов. Вообще, частный быт как тех, так и других не представляет большого интереса. Они живут кучками на Сенной и Гороховой в самом жалком и незавидном положении. Уж в том отчасти их натура виновата. Итальянец, например, предан своему ремеслу душой и телом; он оборотлив, сметлив, хитер, весел и веселостию своею завлекает, интересует, электризует свою публику; немец — сущая флегма; он вял, небрежен и не возбуждает никакого участия в русском человеке, который любит, чтоб его тешили, не жалея усилий. Он никогда не постарается вас позабавить, произвести на вас приятное впечатление; напротив, вся его цель — надоесть кому-нибудь одною и тою же скучною ариею и получить деньги от выведенного из терпения обывателя, с условием оставить его в покое.

Вот политика немецкого шарманщика, не всегда приносящая денежный результат. Впрочем, средства их промысла довольно многочисленны: орган, издающий пискливые звуки — «по всей деревне Катинька», сопровождаемые заунывным аккомпаньеманом хозяина; арфа, на которой обыкновенно играет сухощавая немка в огромном чепце и черной шали, немка с лоснящимся красным лицом и необыкновенно вострым носом, в то время как муж ее выделывает на своей скрипке быстрые вариации; ученые собаки, прыгающие на задних лапах под музыку знаменитой поездки Мальбруга в поход* и боязливо посматривающие на плечистого хозяина, вооруженного бичом, годным для слона; виола с приплясыванием и присвистыванием маленького тирольца, одетого в национальный костюм; наконец, бродячие оркестры, состоящие или исключительно из одних тромбон, оглушающих скромных жителей дворов, или из двух-трех скрипок да кларнета. Кроме того, подобно итальянцам, немцы-шарманщики имеют еще частные промыслы; приготовляют зажигательные спички, курительные свечи, порошки, воспитывают щенков, которых, по окончании курса, передают инвалиду с раздутой губой, а инвалид сбывает их чувствительным томным барыням, носящим букли и ридикюль, или чиновникам, отцам семейства, любящим делать сюрпризы дочерям и не находящим для такого употребления ничего лучше мохнатых болонок или курносых мопсов.

Немецких шарманщиков в Петербурге немного; большею частию они недолго остаются в этом звании, нисколько не соответствующем их характеру.

Выгнанный хозяином безродный подмастерье, закутившийся лакей, приказчик, пожертвовавший хозяйскими деньгами пристрастию к орлянке, свайке и картам, а иногда и бедняк, лишенный места несправедливым барином, составляют незначительную часть русских шарманщиков, ежедневно шлифующих петербургские тротуары. Непреодолимое влечение оставлять последний грош в заведении под фирмою: «с роспивочной» — рано или поздно заставляет его обратиться к итальянцу, содержащему шарманщиков. Правда, и русские шарманщики живут иногда в независимости от итальянца-хозяина, но уже не иначе, как компаниею; редко, весьма редко кто-нибудь из них отделяется от толпы и живет один с своим органом; ему нужно непременно «компанство», товарищи; он вообще склонен к общественной жизни. Селятся они на Петербургской стороне, в скромной лачужке, обнесенной с трех сторон огородами; четвертая же, как водится, смотрит в узкий переулок, в перспективе которого возвышается пестрая будка. В этих жилищах выказывается вполне характер почтенных наших соотечественников, народных виртуозов, со всею их беспечностию. Хотя горе (часто залетающее к русскому шарманщику) приводит его иногда в такое положение, что хоть ложись да умирай с голоду; но несмотря на то в нем, как и в каждом русском простолюдине, не угасает стремление к «художеству». Он непременно оклеивает стены своей лачуги любопытными картинками: Торжество Мардохея, Аман у ног своей любовницы, мужики Долбило и Гвоздило, побивающие французов, вид города Сызрани (такого рода пейзажи состоят обыкновенно из маленьких правильных пригорков в виде сахарных головок, расположенных один на другом с травкою на каждой вершинке и увенчанных рядом кривых куполов), портной в страхе* и тому подобные создания отечественной фантазии резко выдаются красными, пунцовыми и желтыми пятнами на закопченных стенах. Рядом с изображением какого-нибудь фельдмаршала, занимающего с лошадью все поле картины, вы увидите верхушку помадной банки с надписью: *а ла виолет*, или над трогательною сценою погребения кота мышами тотчас же прилеплен портрет Кизляр-аги*.

Нет ничего беспечнее русского шарманщика; он никогда не заботится о следующем дне, и если случается ему перехватить кой-какие деньжонки, обеспечивающие его на несколько дней, он не замедлит пригласить товарищей в ближний кафе-ресторан, где за сходную цену можно получить пиво, селедку и чай, подаваемый в помадных банках. Как неаполитанский лазарони*, он не будет работать, если денег, добытых утром, достаточно на вечер; нашатавшись досыта, наш виртуоз возвращается домой и, если усталость не клонит его на жиденький тюфяк, служащий ему постелью, он предается мирным занятиям, сродным мягкой его душе: слушает, как один из его товарищей, грамотей труппы, читает добытые на толкучке брошюрки. Его в особенности восхищают книги: «Жизнь некоторого Аввакумовского Скитника, в брынских лесах жительствовавшего, и курьезный разговор души его при переезде через реку Стикс»; «Анекдоты Балакирева»*; «Похождения Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою»; «История о храбром рыцаре Фран-

цыле Венцыане и о прекрасной королеве Ренцывене»; «Козел-бунтовщик или Машина свадьба»*,— сочинение удивительное, в эпиграф которому прилажено: «все сочинения теперь в пыли, а это только что взято из были»; «Кондрашка Булавин»; «Вред от пьянства» — книги, в особенности последняя, чрезвычайно назидательные, но приносящие как читателям, так и слушателям мало существенной пользы. К удивлению, в публике русский шарманщик как-то не общежителен, он мало обращает внимания на своих слушателей, всегда почти пасмурен, недоволен собою, разве завлечет его дружеский удар по плечу знакомого кучера с приветствием: «Эх! брат Ванюха!!!»

V

Уличный гаер

Чердак одного из огромных домов, окружающих Сенную площадь, служит обыкновенно местом его рождения. Какая-нибудь прачка, горничная третьего разряда, обманутая лакеем, разделяющим любовь свою между кабаком и махоркою, причина появления на свет будущего уличного героя. Первый взгляд, брошенный новорожденным на полухмельного отца своего, бывает часто последним, прощальным взглядом; непостоянный, вскоре после рождения на свет залога любви, бросает свою подругу и чердак с твердым намерением разыгрывать роль Ловласа* в других более удобных местах. Бедная женщина остается таким образом одна в своем жилище, где спартанец не нашел бы лишней роскоши. Убедившись в неверности своего любезного, она тотчас же принимается за работу; чувство матери придает ей новые силы, и вскоре вознаграждает она потерянное время. Между тем малютка растет, он уже бегает по комнате, лепечет несвязные слова и ест уголья и глину, заимствуя их у печки,— шалость, за которую мать имеет причины не слишком строго взыскивать. Птичка покидает гнездо, едва почувствует свои силы, и летит далеко в небо, купаясь в синеве его, или спускается в гущу пахучей липовой рощи, оглашая звонким чиликаньем песчаный берег близ журчащей речки; точно так же и герой наш оставляет родной чердак, почувствовав себя в силах помощию рук и ног спуститься по грязной лестнице на улицу. Воспитание его окончено; природа была первым его наставником, время довершит остальное. Тротуары и мостовая, давно пожираемые жадным его взором с чердака, где получил он существование, появляясь ему теперь в полном блеске, представляют тысячу развлечений и удовольствий. Толпы таких же, как он, мальчишек, шарманщики, кукольная комедия, бабки, лотки, установленные апельсинами и пряниками, солдаты, проходящие по площади с музыкою впереди,— все это до такой степени очаровывает молодое его воображение, что он готов лучше целые сутки просидеть на улице под дождем, любуясь на воду, извергаемую желобом, нежели идти домой. Но известно всякому, даже не читавшему детских прописей, что счастие скоротечно и исполнено треволнений. Едва минуло мальчугану восемь лет, как заботливая мать уже думает о том, как бы

доставить ему честное хлебное ремесло. То вталкивает его в общую колею уличной промышленности, привесив ему на шею деревянный ящик, наполненный спичками, снабдив его тросточками, сургучом, зелеными яблоками, или, если есть кой-какие средства, избирает своему детищу более прочное ремесло, поручая его богатому мастеровому. Натянув на плечи толстый полосатый халат, мальчик становится подмастерьем. Хотя халат может поместить в широких полах своих трех таких молодцов, но подмастерье, уже вкусивший раз свободы, чувствует его тесным и, по возможности, старается стрясти с себя это иго. Избалованные мальчишки-товарищи скоро увлекают новичка; каждое воскресенье отправляются они на Крестовский на целый день, где проявляется впервые идея о кутеже. С пряников и кедровых орехов переходит на трубку, с трубки на вино; бедняк, увлеченный более и более, делается негодяем и кончает обыкновенно карьеру свою у хозяина воровством или побегом.

Выгнанный хозяином или бежавший от него, он случайно сталкивается с содержателем труппы кочующих фигляров; мать ли его стирает белье на эту труппу или он сам заводит знакомство, одним словом, бывший подмастерье делается членом труппы, в качестве портного или сапожника, с назначением перекраивать известные лохмотья или приставлять подметки. Но звание это, вместо того, чтоб доставить ему кусок хлеба, делается источником всех его бед и несчастий. Фигляры*, волтижеры*, канатные плясуны являются перед ним господами, героями; страждущее самолюбие не дает ему покоя ни днем, ни ночью; ему грезится бархатный камзол, шитый блестками, рукоплескания, дружба и радушие фигляров, вместо презрения, и он решается во что бы ни стало достигнуть высокой для него цели. Хитрый хозяин, подметив эту слабость и не имея особенного желания платить своему работнику, предлагает ему вместо денег услуги; бедняк с восторгом принимает предложение и вверяет свои члены бичу и палке хозяина. Тут наступает для него трудная школа, и если он до конца выдерживает ее, то по прошествии нескольких лет удостаивается приема в компанию. Разумеется, претензии его на жалованье считают дерзостию и потому он немедленно переходит в другую труппу уже действующим лицом, с правом быть выставленным на афише. В этих труппах герой наш обязан выполнять все возможные *амплуа* по благоусмотрению антрепренера, какого-нибудь г. Каспара, Вейнерта, Добрандини и т. д. Начиная с обязанностей ламповщика и кончая почетным званием волтижера, переходит он все состояния: поочередно является перед почтеннейшей публикой кловном[1], Кассандром*, паяцем, чертом, глотает шпаги, зажженный лен, подымает гири, играет в пантомимах, кончающихся обыкновенно тем, что все действующие лица, без исключения, исчезают в исполинской пасти холстяного черта; деятельность его иногда баснословна: он в одно и то же представление сзывает зрителей, продает билеты на вход, делает salte mortale, танцует на канате, перепрыгивает помо-

---

[1] Кловном — т. е. клоуном.— *Ред.*



щию трамплина чрез двенадцать солдат, танцует на лошади, играет какую-нибудь роль в следующей за сим пантомиме и часто довершает представление коленцем из русской пляски, отхватанным с примадонною труппы. Но непродолжительна блестящая эпоха его жизни; когда масленая, а затем и Святая недели миновали, он вынужден бесчестить (так выражается гаер) благородное ремесло свое, вступив гаером к богатому шарманщику, с условием получать по двадцати пяти копеек меди с рубля, добытого на дворах и улицах.

Должно заметить, что уличный гаер всегда почти русский; балаганные его товарищи, будучи иностранцами, тотчас же по истечении праздников уезжают за границу, оставив его на произвол судьбы. Спустясь с своих подмостков на худощавый ковер, бывший Геркулес показывает нам свое искусство при завывании шарманки и гудении тамбурина*. Большую часть года уличный гаер проводит у шарманщиков, и это время составляет несчастнейшую часть его жизни.

Деньги, получаемые на улицах, едва достаточны на содержание, а так как он любит после дневных трудов посибаритствовать, то нажитое в балагане мало-помалу исчезает в заведениях. С каждым днем положение его становится хуже и хуже; к концу года у него

остается одно платье и он уже, по русскому обычаю, сбирается угостить товарищей на последний камзол, шитый блестками, как является хозяин балагана и завербовывает его на следующие праздники. Без этого прощай и камзол и человек, все бы погибло! Несмотря на скудную жизнь уличного гаера у шарманщика, он не унывает духом. И хотя наружность его пасмурна, смотрит он исподлобья и всегда ворчит, но это продолжается только до минуты, когда он входит на двор, намереваясь дать представление. В то время как один из его товарищей расстилает на мостовой тощий ковер, служащий ему ареною, гаер гордо посматривает на толпу, сбежавшуюся смотреть на него. Взгляните, с какою самодовольною улыбкою сбрасывает он с себя длиннополый сюртук, скрывающий пунцовый камзол и широкие белые шаровары. Бубен и шарманка играют интродукцию, гаер встряхивает курчавою головою, отходит несколько шагов назад и, разбежавшись, становится на руки; salte mortale следуют одно за другим, публика рукоплещет, гроши сыплются из всех окон, но гаер ничего этого не примечает; у него давно на носу стул, на котором сидит маленькая девочка, взятая из толпы... Унылые звуки «Лучинушки» возвещают конец представления; гаер надевает снова сюртук, нахлобучивает на взъерошенные свои волосы избитую шляпу и покидает двор, преследуемый тою же публикою, еще долго не покидающею его.

Не все уличные гаеры случайно попадают в тяжкое свое ремесло; есть такие, которые посвящаются ему с самого детства. Дети старого фигляра или гаера, они поневоле должны идти по стопам отца и обыкновенно кончают жизнь или на этом поприще, или от неудачного salte mortale. Положение их самое несчастное; от колыбели до гроба обречены они неимоверным трудам, не имея другого способа кормить себя, тогда как гаер по призванию имеет всегда время отказаться от гаерства, коль скоро почувствует его тягостным. Часто случается, что, проведши несколько лет в этом звании, он возвращается к прежнему ремеслу своему, и вы немало удивитесь, увидев того самого гаера, которым восхищались на дворе, который так ловко ходил на руках, держал на носу стул и повертывал на мизинце тамбурин, с шилом или ножницами в руках.

VI

Публика шарманщика

В осенний вечер, около семи часов, партия шарманщиков поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими домами. Шарманщики заметно устали. Один из них, высокий мужчина флегматической наружности, лениво повертывал ручкою органа и едва передвигал ноги; другой, навьюченный ширмами, бубном и складными козлами, казалось, перестал уже и думать от усталости; рыжий только мальчик с ящиком кукол нимало не терял энергии.

Шарманщики, кажется, намереваются войти в ворота одного знакомого и прибыльного дома.

Так! Нет сомнения! Комедия будет! Они вошли на двор; вот уже заиграли какой-то вальс и раздался пронзительный крик пучинелла.

Оборванный мальчишка, который до того времени спокойно сидел на тумбочке, играл камешком и дразнил сестру с двумя маленькими ребятишками на руках, вдруг вскочил, сделал братьям еще гримасу и, перескочив через всю группу, сломя голову бросился на двор.

Будочник, стоявший тут же, с прилепленною к стене будкою, снисходительно улыбнулся и понюхал березинского*. Два солдата, занятые весьма интересным разговором, заметив вошедших в дом шарманщиков, остановились, с минуту оставались в нерешимости и, наконец, вошли. Баба с необыкновенно красным лицом и веником под мышкою последовала их примеру; одним словом, эффект был произведен.

Отчего же бы и нам не зайти?

Двор широк и просторен; на него выходит до сотни окон.

Посреди двора уже поставлены ширмы; флегматический носитель шарманки успел уже уставить свою ношу на складные козла и играл интродукцию. Представление не могло замедлиться, потому что на публику нельзя было жаловаться: она сбегалась со всех сторон. Но шарманщик не переставал оглядывать окна, из которых начинали высовываться головы любопытных, естественно ожидая от них более, чем от толпы сгруппировавшихся вокруг него зевак.

Крик пучинелла раздается в другой и третий раз, верхние этажи населяются, оживляются, кучки самых разнообразных голов перевешиваются на подоконники; виден и чиновник, в пестром халате, красной ермолке и с трубкою в зубах; рядом с ним артель работников заняла целые шесть окон сряду; хорошенькая женщина и болонка поместились на сафьянной подушке, брошенной в окно; кое-где выглянуло несколько размалеванных лиц, обративших на мгновение общее внимание.

Чиновник Федосей Ермолаевич, весьма почтенный человек, занимавший выгодное место и которого сам директор однажды потрепал по плечу, также был пробужден после обеденного отдыха призывными криками пучинелла.

— Терешка! что это, братец, там такое? — закричал Федосей Ермолаевич, зевая и потягиваясь.

— Шарманщики, сударь,— отвечал Терешка, делая движение рукою и головою к окошку.

— Да как же это они, братец... того?..

Но тут новый крик пучинелла совершенно разбудил Федосея Ермолаевича, он потянулся еще раз, встал с постели и заспанными глазами посмотрел на двор.

— Папинька, то, то, то, они вот все, вот так, вот все играют? — спросил маленький Ермолай Федосеевич, таща всеми силами отца к окну. Ребенок гнусил, произнося последние слова нараспев, что, впрочем, нисколько не мешало ему быть любопытным и подавать большие надежды.

— Шарманщик, душечка...



— Нет, нет, то вот они, вот так, вот все играют? — продолжал ребенок, требуя непременного объяснения.

— Шарманщик, душечка...

— Нет, нет, то, они все так...

Но и мы, не находя ответ Федосея Ермолаевича удовлетворительным, спустимся лучше вниз вместе с нянькою, торопливо выносившею пискливого ребенка, который не давал ей покоя целые три часа.

Комедия должна начаться сию минуту, публике некуда уже было поместиться.

Два солдата, долго колебавшиеся вмешаться в толпу, стояли теперь на первом плане; их плотно окружала орда мастеровых в изодранных армяках, с выпачканными сажею лицами; мамки, няньки, кормилицы с ребятишками всех сортов и возрастов пестрели в толпе яркими сарафанами; денщик, возвращаясь с четверткою вакштаба, которую с нетерпением ожидал вновь произведенный прапорщик, казалось, позабыл своего господина; босоногая девчонка, обстриженная в кружок, стояла в каком-то бессмысленном созерцании, держа в руках корзинку с копеечными сухарями; толстый барин в очках, вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее нетерпение; трое писарей с лихими ухватками подшучивали над шарманщиком, который переменил уже два мотива и с самой недовольной миной переходил на третий; с улицы подходила беспрестанно толпа всякого сброда, даже два моншера* остановились у входа ворот, завернув правую ногу назад и картинно упершись на тросточку.

Толпа волновалась и шумела; все ожидали, все требовали представления; один только знакомый нам мальчишка бегал кругом, как гончая собака, обнюхивал каждого, высовывал язык всем, кто ему не

нравился, щипал исподтишка детей и, протянув руку, готовился стащить пятый сухарь у девочки, как вдруг над шарманкою показался пучинелла. Пучинелла принят с восторгом; характером он чудак, криклив, шумлив, забияка, одним словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику.

— Здравствуйте, господа! сам пришел сюда, вас повеселить, да себе что-нибудь в карман положить!

Так начинает пучинелла. Его приветствие заметно понравилось; солдат подошел поближе, мальчишка сделал гримасу, один из мастеровых почесал затылок и сказал: «ишь ты!», тогда как другой, его товарищ, схватившись за бока, заливался уже во все горло.

Но вот хохот утихает; пучинелла спрашивает музыканта, взоры всех обращаются на его флегматического товарища.

— А что тебе угодно, г. пучинелла?— отвечает шарманщик.

Пучинелла просит его сыграть «по улице мостовой»; музыкант торгуется: да что с тебя, мусью? 25 рублей ассигнациями!

Пучинелла. Да я и отроду не видал 25 рублей, а по-моему, полтора рубля шесть гривен.

Музыкант. Ну, хорошо, мусью пучинелла, мы с тобою рассчитаемся.— Сказав это, он принимается вертеть ручкою органа.

Звуки «по улице мостовой» находят теплое сочувствие в сердцах зрителей: дюжий парень шевелит плечами, раздаются прищелкивание, притопывание.

Но вот над ширмами является новое лицо: капитан-исправник; ему нужен человек в услужение; музыкант рекомендует мусью пучинелла.

— Что вам угодно, ваше высокоблагородие?— спрашивает пучинелла.

— Что ты очень хороший человек, не желаешь ли идти ко мне в услужение?

Пучинелла торгуется; он что-то не доверяет ласкам капитана-исправника; публика живо входит в его интересы.

Капитан-исправник. Экой, братец, ты со мною торгуешься!— много ли, мало ли ты станешь обижаться?

Пучинелла. Не то, чтобы обижаться, а всеми силами стану стараться!

Капитан-исправник. У меня, братец, жалованье очень хорошее, кушанье отличное, пуд мякины да пол-четверика гнилой рябины, а если сходишь к мамзель Катерине и отнесешь ей записку, то получишь 25 рублей награждения.

Пучинелла. Очень хорошо, ваше благородие, я не только записку снесу, но и ее приведу сюда.

Публика смеется доверчивому пучинелла, который побежал за мамзель Катериною. Вот является и она сама на сцену, танцует с капитаном-исправником и уходит. Толпа слушает разиня рот, у некоторых уже потекли слюнки.

Новые затеи: пучинелла хочет жениться; музыкант предлагает ему невесту; в зрителях совершенный восторг от девяностодевятилет-

ней Матрены Ивановны, которая живет «в Семеновском Полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем Болоте».

Хотя пучинелла и отказывается от такой невесты, но все-таки по свойственному ему любопытству стучит у ширм и зовет нареченную. Вместо Матрены Ивановны выскакивает собака, хватает его за нос и теребит что есть мочи.

Публика приходит в неистовый восторг: «Тащи его, тащи... так, так, тащи его, тащи, тащи!..»— раздается со всех сторон; пучинелла валится на край ширм и самым жалобным голосом призывает доктора, не забывая, однако, спросить, сколько будет стоить визит.

Является доктор, исцеляет пучинелла и в благодарность получает от него оплеуху.

За таковое нарушение порядка и общественного спокойствия исполненный справедливого негодования капитан-исправник отдает пучинелла в солдаты.

— Ну-ка, становись, мусью,— говорит капрал, вооружая его палкою,— слушай! на кра-ул!

По исполнительной команде пучинелла начинает душить своего наставника вправо и влево, к величайшему изумлению зрителей. Ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более существовать на свете; меры нет его наказанию; человеческая власть не в состоянии унять его, и потому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить преступника.

Комедия кончается; Петрушка, лицо неразгаданное, мифическое, неуместным появлением своим не спасает пучинелла от роковой развязки и только возбуждает в зрителях недоумение. Неунывающий пучинелла садится верхом на черта (необыкновенно похожего на козла), но черт не слушается; всадник зовет Петрушку на помощь, но уже поздно: приговор изречен, и пучинелла погибает образом, весьма достойным сожаления, то есть исчезает за ширмами.

Раздается финальная ария, представление кончилось. Публика чрезвычайно довольна, но когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. Первыми дезертирами оказались два солдата и баба с веником под мышкою; рев детей, на минуту умолкнувший, возобновился с большей силой и заставил мамок поскорей удалиться; словом, из толпы утекали поминутно. К совершенному отчаянию шарманщика даже и сам толстый господин в очках, остановившийся послушать комедию, посмотрел на бубен, подносимый ему шарманщиком, как бы не понимая, чего хотелось просителю; с горя шарманщик обратился к ложам, то есть к окнам, в которых все еще торчали головы любопытных; наконец, один пятак упал, звеня и прыгая, на мостовую, за ним другой, потом третий, брошенный собственноручно сыном Федосея Ермолаевича, которому папенька вручил его с наставлением: «Брось ему, душенька, в бубен».

— Нет, нет, то, то, они вот, так вот все играют?— твердил упрямый мальчишка...

Пятак как-то неловко упал между камнями; тут чиновник в крас-

ной ермолке, не давший решительно ничего и более других хлопотавший о начатии комедии, принял необыкновенное участие в судьбе шарманщика.

— Направо, направо,— кричал он, указывая ему пальцем на то место, куда упал пятак.— Еще правее... эх, братец! не туда!— говорят тебе, правее.

— Направо, теперь еще немножко назад,— слышался голос из другого окошка.

«Эх, вы,— думал шарманщик, нагибаясь, чтобы поднять деньги,— хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера, а вот как самому что-нибудь положить, так нет... эх! житье, житье!»

Шарманку сняли, и под звуки плачевной музыки она тронулась с места: толпа расходилась, чем бы, кажется, и все должно было кончиться, но тут случилось обстоятельство, которого пропустить невозможно. Дождь, накрапывавший еще до окончания комедии и не примечаемый увлекшеюся публикою, полил как из ведра; чиновник в очках, по благоразумному своему обыкновению в таких случаях, полез в карман, чтобы вытащить оттуда платок и обернуть им еще новую шляпу, как к совершенному своему изумлению вместо платка вытащил чью-то руку, уже прежде нырнувшую туда за платком.

Чиновник обернулся, но мальчишка, наш старый знакомый (это был он), одним движением руки вырвался из тисков оскорбленного чиновника, ринулся вперед и исчез в толпе.

«Держи! держи!»— закричал чиновник; «держи! держи!»— раздалось повсюду, «держи!»— закричали мастеровые.

Двор опустел до единого; один только мужик, восторженно хохотавший от самого начала до развязки, остался на прежнем месте; улыбка удовольствия еще не покидала лица его; он осмотрелся кругом, взглянул на то место, где стояла шарманка, не забыл посмотреть на окна, которые запирались от проливного дождя и, сделав недовольную мину, отправился к воротам.

Под воротами он встретил бедную собачонку, дрожавшую от холода и прижимавшуюся к стенке. Мужик остановился, посмотрел на нее пристально, нагнулся к ней как можно ближе и произнес: «озябла!..»— после чего тотчас же покинул двор, весьма довольный собою.

VII

Заключение

Случалось ли вам идти когда-нибудь осенью поздно вечером по отдаленным петербургским улицам?

Высокие стены домов, изредка освещенные тусклым блеском фонарей, кажутся еще чернее неба; местами здания и серые тучи сливаются в одну массу и огоньки в окнах блестят, как движущиеся звездочки; дождь с однообразным шумом падает на кровли и мостовую; холодный ветер дует с силою и, забиваясь в ворота, стонет жалобно; улицы пусты, кое-где плетется разве запоздалый пешеход или тащится извозчик-ночник, проклиная ненастье; но скоро все утихает,

изредка только слышатся продолжительный свист на каланче или скрип барки, качаемой порывами ветра, и снова все погружается в безмолвие.

Погода всегда имеет сильное влияние на расположение духа, и вам как-то невольно становится грустно.

Постепенно одна за другою приходят на ум давно забытые горести; одно печальное, неотрадное наполняет душу и невыразимая тоска овладевает всем существом вашим...

Вы входите в глухой, темный переулок; сердце ваше сжимается еще сильнее прежнего.

Высокие заборы исчезают в темноте; полуразвалившиеся лачужки без признака жизни, все пусто, ни живой души, разве пробежит мокрая собачонка, фыркая и чутко обнюхивая, в тщетной надежде напасть на след потерянного хозяина...

Вдруг посреди безмолвия и тишины раздается шарманка; звуки «Лучинушки» касаются слуха вашего, и фигура шарманщика быстро проходит мимо.

Вы как будто бы ожили, сердце ваше сильно забилось, грусть мгновенно исчезает и вы бодро достигаете дома. Но не скоро унылые звуки «Лучинушки» перестанут носиться над вами; долго еще станет мелькать жалкая фигура шарманщика, встретившаяся с вами в темном переулке поздно ночью, и вы невольно подумаете: может быть, в эту самую минуту продрогший от холода, усталый, томимый голодом, одинокий среди безжизненной природы, вспоминал он родные горы, старуху-мать, оливу, виноград, черноокую свою подругу, и невольно спросите вы: для чего, каким ветром занесен он бог знает куда, на чужбину, где ни слова ласкового, ни улыбки приветливой, где, вставши утром, не знает он, чем окончится день, где ему холодно, тяжело...

Д. Григорович

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТОРОНА

— Учись, друг мой,— часто мне говаривала покойная бабушка, когда я был еще ребенком,— учись, вырастешь да будешь умен, поедешь в Петербург на службу, станешь носить шитый мундир, заживешь в золотых палатах на самой Петербургской стороне, на самой Дворянской улице. Ты ведь дворянин.

Не знаю, почему, а моя бабушка, никогда не быв в Петербурге, имела высокое понятие о Петербургской стороне, может быть, оттого, что у нашего деревенского священника был сын, служивший в Петербурге.

Вам это странно? Погодите. Часто священник, обедая по праздникам в нашем доме, рассказывал о своем сыне, как он живет в столице, как нередко имеет счастье говорить с генералами. При всем уважении к священнику, бабушка, слушая рассказы его о сыне, кажется,

не всему безусловно верила и почти всегда говаривала: «Дай-то бог мне до смерти увидеть, отец Петр, вашего Ивана Петровича».

Желание старухи сбылось.

В одно прекрасное лето Иван Петрович приехал в отпуск к своему батюшке, отцу Петру, и *в один прекрасный день* явился к нам в гости, в каком-то невиданном в наших краях мундире, при шпаге, с треуголкою под мышкой.

Мы с бабушкой рассматривали приезжего петербургца как редкого зверя; наконец она не вытерпела, подсела к нему и закидала его разными современными вопросами о столице, о скороходах и проч... Я уже забыл эти вопросы, но недавно, перечитывая путешествие Дюмон-Дюрвиля*, нашел что-то очень похожее на них в простодушных вопросах, делаемых заезжим европейцам царицей Океанийских Островов.

— Эдукованный* человек,— сказала бабушка, когда ушел Иван Петрович,— много света видел, да, кажется, привирает немного попович: я, говорит, живу на самой Петербургской стороне, да еще в Большой Дворянской улице!.. Что он за большой дворянин такой?!. А впрочем,— прибавила она, вздохнув от глубины души,— чем нелегкая не шутит? Теперь свет вот как пошел!

И старуха быстро начала вертеть одним указательным пальцем около другого.

Это было очень давно. Впрочем, и до сих пор есть еще в отдаленных провинциях люди, думающие, что если Петербург хорош, то в Петербурге Петербургская сторона должна быть верх совершенства; если дворяне высшее сословие в государстве, то какова же Дворянская улица, да еще в столице?!

Бабушка и чиновник Иван Петрович во время óно представили моему детскому воображению Петербургскую сторону каким-то эльдорадо, стороной волшебной, фантастической. Часто, бывало, читая в *Тысячи и одной ночи* описание небывалого замка, состроенного по всем правилам восточной фантазии, я воображал его в столице на Петербургской стороне, непременно в Большой Дворянской улице, где всякий житель казался мне таким большим дворянином, что и сказать нельзя!— то выезжающим с визитом к соседу в золотой карете, в полном генеральском мундире, то на охоту, окруженным сотней егерей и доезжачих, на лихих конях, при звуке труб и рогов. И бог знает, чего не рисовала мне моя детская фантазия!..

И вот прошло много лет. Давно уже любознательная бабушка лежит на деревенском кладбище. Молодые березки, посаженные на ее могиле, уже разрослись большими деревьями. Священник отец Петр тоже умер. Не знаю, жив ли Иван Петрович? до сих ли пор обитает он в Дворянской улице? или переехал на Литейную, обзавелся лысиной, каретой, связями и важностию?.. а мне между тем довелось пожить в Петербурге, довелось увидеть и Петербургскую сторону и Дворянскую улицу.

Сравнив существенность с моей прежней мечтой, сравнив виденное со слышанным от бабушки и чиновника, я на опыте изведал справедливость пословицы покойного отца Петра: *видение паче слуха,*

и народной поговорки: *славны бубны за горами!..* Безотчетно вспомнил страницу истории Кайданова*, где весьма красноречиво описан Александр Македонский, и — каюсь — почти было усомнился в величии, мудрости и храбрости *означенного героя*, даже готов был от души признать его мифом.

Если у вас много денег, если вы живете в центре города, катаетесь по паркетной мостовой Невского проспекта и Морских улиц, если ваши глаза привыкли к яркому свету газа и блеску роскошных магазинов и вы, по врожденной человеку способности, станете иногда жаловаться на судьбу, станете отыскивать причины для своих капризов, для своих мнимых несчастий, то советую вам прогуляться на Петербургскую сторону, эту самую бедную часть нашей столицы; посмотрите на длинные ряды узких улиц, из которых даже многие не вымощены, обставленных деревянными домами, чем далее от Большого проспекта, тем тише, мрачнее, беднее... Вспомните, что в них живут десятки тысяч бедных, но честных тружеников, часто веселых и счастливых по-своему, и, верьте, вам станет совестно ваших жалоб на судьбу. После страшной тьмы узкого грязного переулка, едва освещаемого в одном конце тусклым фонарем, вы оцените почти солнечный свет газа; после неровной мостовой, толкающей вас беспрестанно под бока, вы спокойно вздохнете, когда коляска ваша плавно покатится по торцевой мостовой; после вида на мелочную лавочку с разбитыми стеклами ваши глаза приятно отдохнут на зеркальных окнах магазинов, уставленных изысканными предметами роскоши.

У всякого свой вкус; но мне кажется иногда очень полезно прогуляться по Петербургской стороне.

Петербургская сторона прежде была лучшая часть города; здесь был дворец Петра Великого (который и до сих пор сохраняется на берегу Невы как драгоценная редкость); здесь жили люди именитые, как видно из названия Дворянских улиц; но впоследствии многие дворцы выстроились на другой, противоположной стороне и город, торгуя с Москвой и центральными губерниями России, начал расширяться в московской заставе, а Петербургская сторона, отрезанная от центра города рекой, лежащая на севере к бесплодным финским горам и болотам, начала упадать и сделалась убежищем бедности. Какой-нибудь бедняк-чиновник, откладывая по нескольку рублей от своего жалованья, собирает небольшой капитал, покупает почти за бесценок кусок болота на Петербургской стороне, мало-помалу выстраивает на нем из дешевого материала деревянный домик и, дослужив до пенсиона и седых волос, переезжает в свой дом доживать веку — почти так выстроилась большая часть теперешней Петербургской стороны. Чтоб убедиться в этом, стоит только пойти по улицам и прочитать надписи на воротах домов. Здесь на желтых дощечках красуются все чины, от коллежского регистратора до статского советника. Большинство домов остается за титулярными советниками и чиновниками 8-го класса; домов статских советников мало, действительных статских и далее очень мало; есть дома отставных канцеляристов, унтер-офицеров, отставных камер-музыкантов, истопников, придворных лакеев, даже придворных арапов. Домов купеческих немного, и

то более на стороне, прилежащей к Васильевскому острову, около Николы Морского*; здесь летом живет много биржевых дрягилей* и купцов псковских и ржевских, торгующих пенькой и льном.

Один знакомый мне старик рассказывал, что когда-то давно, во время его молодости, лет пятьдесят назад, он искал на Петербургской стороне квартиру, прочел на воротах довольно опрятного домика надпись: *дом отставного арапа NN.*, и постучал в ворота.

(NB. Тогда колокольчиков у ворот домов Петербургской стороны не было, да и теперь не везде есть эта роскошь.)

На стук моего знакомого вышел из калитки седой старичок в белом халате и таком же колпаке, что, при необычайной белизне лица, делало его очень похожим на альбиноса.

— Что вам угодно?— спросил белый старичок.

— Мне нужно видеть хозяина дома,— отвечал мой знакомый.

— Я сам хозяин, к вашим услугам,— и альбинос приподнял колпак...

— Вы... хозяин?!.

— Точно так.

— Так вы... вы господин арап?

— Точно так.

— Извините меня, я думал... я привык...

— Ничего. Что вам угодно?..

— Я ищу квартиры; у вас, кажется, есть.

— Прошу покорно.

Белый арап повел моего знакомого смотреть квартиру; но квартира менее занимала моего знакомого, нежели мысль: отчего арап так побелел? Положим, от старости голова побелела; так рожа должна бы остаться черна, как сапог, а то и рожа белая! Думал, думал мой знакомый, ходя из комнаты в другую, и наконец кое-как обинякамі, тонко и вежливо дал заметить альбиносу свое удивление, отчего дескать у него такая белая рожа.

— Это не вас первых удивляет,— спокойно заметил старичок,— я стал арапом собственно по благоволению начальства.

— Начальства?

— Точно так. Вот изволите видеть: я служил просто истопником, а как пришло время выходить в отставку, жена и говорит мне: «Григорий Иванович, просись, чтоб тебя отставили арапом: ведь арапам пенсиону вдвое больше». Штука!— подумал я, и пошел к начальнику, попросил как следует, представил резоны, жена, дескать, дети... Вот он,— спасибо, был добрый человек,— представил меня арапом и отставили меня с арапским пенсионом, а лицо-то у меня какое бог создал, милостивый государь!.. После меня еще человека три вышло в отставку тоже арапами.

— И все белые?

— Точно так.

— Где же они?

— Живут здесь, неподалеку.

Бедные, по большей части неудобные дома небогатых домохозяев почти всегда занимаются жильцами, живущими весьма не широко.



Положим жил-был человек, занимавший место не важное по своему значению, не важное по жалованью, но так называемое теплое место, благословенное свыше, доставляющее своему обладателю разные блага, необходимые для жизни, и жил чиновник на этом месте долго, женился, обзавелся многочисленным семейством; но жил безрассудно, что называется, без пути, не оглядываясь на прошедшее, не думая о будущем, водил дружбу с знатью, давал великолепные вечера и обеды, играл по большой в преферанс и проч. и вдруг нечаянно объелся и умер. На его место не замедлил явиться другой, который очень обязательно попросил съехать с казенной квартиры семейство своего предшественника. Правительство, всегда попечительное, назначило жене и детям умершего, сообразно его жалованью, пенсион; но пенсион оказался ничтожным для людей, привыкших жить в роскоши; ни мать, ни дети никогда не заботились узнать что-нибудь полезное, выучиться какому-нибудь рукоделию, а в городе жить дорого, и вот они, взвалив свои пожитки, остатки прежней роскоши, на ломовых извозчиков, бредут печальною толпой на Петербургскую сторону.

Бедный чиновник-мечтатель, бросивший свой родной город и приехавший, что называется, наобум, искать в столице счастия, оглядывается с ужасом на свое положение и удаляется на Петербургскую сторону — там для него есть квартира по его карману, там ему все напоминает его родной провинциальный городок.

И освистанный актер, и непризнанный поэт, и оскорбленная чем-нибудь на белом свете девушка — все убегают на Петербургскую сто-

рону, расселяются по мезонинам и в тишине предаются своим фантазиям.

На Петербургской вы найдете и несчастного купца-банкрота по глупости или по излишней доверчивости к людям.

(NB. Банкроты так называемые злостные не живут на Петербургской стороне. Они любят шум и блеск.)

Найдете заштатного чиновника; найдете юного чиновника, не захотевшего учиться, который теперь живет на четырехстах рублях жалованья; найдете бедного, но благородного родителя-провинциала, привезшего кучу сыновей для определения в учебные казенные заведения. Его можно легко заметить по важной осанке, по здоровому красному лицу, по военному мундиру без эполет, треугольной шляпе с пером и по трем-четырем недорослям в нанковых сюртуках и фуражках, чинно идущим за ним. Любопытно видеть, как это существо, полное сознания своего достоинства, вежливо, любезно, почти робко дает дорогу каждому встречному на тротуаре; сразу заметно и желание показать перед сыновьями пример тонкости светского обращения, и боязнь не обидеть как-нибудь невзначай лицо, может быть, ему нужное со временем.

На Петербургской вы найдете мастеров без подмастерьев и работников, горничных без барынь и барынь без горничных, сады без деревьев и деревья без саду, растущие так себе, бог знает как и для чего; есть даже речка Карповка, в которой иногда не бывает воды, и есть переулки, постоянно покрытые лужами; в этих переулках плавают утки, растут и цветут болотные травы и разные водоросли.

На Петербургской вы можете отыскать людей, убивших весь свой век и состояние на тяжбы; впрочем, они редко показываются на свет божий, и когда прочее народонаселение движется, суетится, топчет грязь по улицам и переулкам или крашеные полы на домашних вечерах, эти несчастные сидят дома над бумагами, выводя в тишине невинные крючки.

На улицах их не встретишь; они не гуляют; они преданы своей мысли, своей цели. Самое лучшее средство ловить этих людей утром часу в девятом у Мытного перевоза; сюда они собираются, чтоб переехать в Сенат, обремененные связками и свертками бумаг. Один мой знакомый рассказывал, что в старые годы он часто видал там одного худого, чахлого старичка, который с видимым усилием приносил под мышкой тяжелое толстое березовое полено, тщательно завернутое в клетчатый бумажный платок; садясь в лодку, он бережно клал его к себе на колени, любовно глядел на него и укутывал заботливо, словно мать ребенка.

— Берегите, берегите его, Иван Иванович,— часто, смеясь, говорили старичку молодые чиновники,— не равно простудится ваше полено, станет кашлять, спать не даст.

— Полно-те смеяться,— отвечал старичок,— оно мне и так не дает спать.

— Да отчего же?

— Разве я вам не рассказывал?

— Нет, право, нет!..

— Ой, рассказывал!..

— Нет, нам не рассказывали; может быть, Петру Петровичу рассказывали, а нам нет.

— А может быть; Петру Петровичу, точно, я рассказывал. Это дело прелюбопытное, от этого полена зависит все мое состояние; оно, изволите видеть, милостивые государи, не простое полено, оно мое сердечное, образцовое... в 17... году я ставил подряд на дрова...— и старик в тысячный раз рассказывал своим обычным слушателям, как он ставил куда-то дрова по подряду, как ему не заплатили вполне всех денег, потому, будто бы дрова были короче, нежели положено по условию, как он с премьер-майором А. и провинциальным секретарем Б., призвавши их в свидетели, взял собственными руками из кучи своих дров полено, так,без выбору, зря, спрятал его, завел дело... и проч... и теперь для доказательства, в случае потребует надобность, постоянно, отправляясь в Сенат, берет свое полено, высчитывает, сколько носовых платков износило это полено и т. п., словом, говорил, пока лодка не приваливала к другому берегу и его слушатели не разбегались по разным направлениям; тогда и он, вздохнув, давал медную монету лодочнику, брал полено под мышку и отправлялся в Сенат.

На Петербургской вы найдете несчастных аферистов, но только аферистов, совершенно уничтоженных аферами, не знающих, за что ухватиться, и собирающих в тишине всевозможные способы, как бы вывернуться, выбиться или выползть из своего трудного положения.

(NB. Чуть аферист начнет оживать — сейчас же бросает Петербургскую сторону; говорят, для них там нездоров климат и неспособно местоположение.)

Впрочем, я говорю о большинстве населения Петербургской стороны; собственно о колорите ее. Ее перерезывает чистый прекрасный Каменноостровский проспект, на котором стоит красивое здание Александровского лицея и год от году выстраиваются прекрасные домики частных людей. Сторона ее, прилежащая к Тючкову[1] мосту, украшена кадетскими корпусами и другими огромными каменными зданиями. Здесь уже исчезает патриархальная жизнь Петербургской стороны, здесь часто вы увидите и карету, и генеральские эполеты, и щегольские парные дрожки доктора или эконома, часто услышите стройный хор полковой музыки, нередко мимоходом заметите на окнах богатые занавеси, в комнатах изящную бронзу и порядочные картины; здесь уже пьют шампанское, едят трюфели и курят сигары, хотя больше домашнего приготовления, однако всегда положенные в иностранный ящик с красным бандеролем*; здесь толкуют об опере, хоть часто и не без греха, читают журналы, судят о французском спектакле, правда, часто понаслышке... Словом, здесь Петербургская сторона просветилась.

Летом вся вообще Петербургская сторона оживает вместе с природой. Дачемания, болезнь, довольно люто свирепствующая между петербургцами, гонит всех из города; люди, по словам одного поэта:

---

[1] Тючков *(искаж.)* — Тучков.— *Ред.*

вон из Петербурга, кто побогаче подальше, а бедняки — на Петербургскую сторону; она, говорят, та же деревня, воздух на ней чистый, дома больше деревянные, садов много, к островам близко, а главное, недалеко от города; всего иному три, иному только пять верст ходить к должности.

Вследствие такого рассуждения все дома и домики, все мезонины и чердаки занимаются дачниками; мелочные лавочники закупают припасов втрое против обыкновенного; клавикордная улица, ведущая к Крестовскому перевозу, гремит от дрожек и заселяется бесчисленным множеством всяких торговцев и промышленников; каждый вечер улицы и переулки оживляются гуляющими, толпами разноцветных дам и кавалеров... Идите по не очень ровному и немного шаткому дощатому тротуару и вы увидите в подвальных этажах, почти у ног своих, разные трогательные семейные картины: то мужа, играющего на скрипке в то время, как жена кормит кашей грудного ребенка, то строгого отца, дерущего за уши сына, то семейство за чаем, то семейство, встречающее или провожающее гостя, то лицо, бессмысленно смотрящее на улицу; в среднем этаже часто играет фортепьяно и шаркают чьи-то ноги в кадрили или галопаде. Если на беду сторы спущены, вы можете, от нечего делать, задуматься: кто там танцует?— молодая ли пансионерка, думающая, что вся жизнь человека есть один непрерывный веселый танец? или старая дева, пишущая хитрые вензеля ногами вокруг человека, которого она хочет во что бы то ни стало очаровать и сделать своим мужем? или толстая барыня, мать огромного семейства, прыгающая до поту так, сдуру? или шаркает молодой человек в кадрили перед гадкой разрумяненной старухой, женой своего начальника? может быть, это первый опыт его... как бы назвать?.. ну, положим, его уменья жить в свете, с которым он пойдет очень далеко, и вы со временем встретитесь с ним, уже с человеком важным и значительным... а если вы не любите мечтать перед опущенными сторами — идите далее; вы можете услышать на мезонине тихие звуки гитары и песню:

Ты не поверишь, ты не поверишь,
Ты не поверишь, как ты мила!..

Иногда высоко на чердаке чихнет кто-нибудь очень громко, а с улицы ему скажут: желаю здравствовать.

Везде жизнь!

Зато как замирает Петербургская сторона на зиму! С появлением первых желтых листьев на деревьях дачники, словно перелетные птицы, перебираются в центр города; народонаселение уменьшается, сторона, видимо, пустеет, становится день ото дня тише, мрачнее, печальнее, улицы покрываются грязью... И что это за улицы!.. Кто проезжал Петербургскую сторону от Троицкого моста на острова по Каменноостровскому проспекту, тот и не подозревает существования подобных улиц; сверните с этого проспекта или с Большого

хоть направо, хоть налево, и вы откроете бездну улиц разной ширины, длины и разного достоинства, улиц с самыми разнообразными и непонятными названиями, увидите несколько улиц гребенских, дворянских, разночинных, зеленных, теряеву, подрезову, плуталову, одностороннюю, бармалееву, гулярную; там есть даже Дунькин переулок и множество других с престранными кличками, есть даже улица с именем и отчеством: *Андрей Петрович!* Иные из них вымощены камнем превосходно, другие тонут в грязи, и извозчик осенью и весной ни за какие деньги не поедет по ним; по некоторым будто для потехи разбросаны булыжники, которые, будучи втоптаны в грязь и перемешаны с ней, дают пренеприятные толчки экипажам; еще некоторые выстланы поперек досками и езда по ним очень потешна — едешь, будто по клавикордным клавишам.

На Большом проспекте Петербургской стороны часу в пятом утра, весной, очень дружно разговаривали два приятеля, вышедшие из одного дома, в котором еще горели огни, хотя на дворе было уже довольно светло.

Приятели были молодые люди, опрятно одетые в фраки с какими-то светлыми пуговицами.

— Ну прощайте!— говорил один другому.

— Нет, не хочу, не хочу... А ведь мы славно покутили? а? Хозяин предобрый человек и шампанского было вволю.

— Ой ли? А вы думаете, это шампанское?

— А вы как думаете?

— Я думаю, так себе.

— Да и я почти то же... право!.. А заметили вы, как на меня посматривала эта брюнеточка? а?..

— Заметил... А мне все кажется, что это было просто шабли мусо...*

— Да, да, именно шабли. Знаете, мне чрезвычайно приятно, что я так нечаянно познакомился с таким прекрасным человеком.

— И мне также, прощайте...

— Нет, погодите, куда вы? не хочу!..

— Чего вы не хотите?

— Не хочу «прощайте», лучше «до свидания»! Не правда ли, лучше «до свидания»? а? лучше «до свидания»? а?

— Лучше; ну, до свидания!

— Значит, вы меня навестите? а? навестите?

— Навещу, до свидания!

— Погодите, куда вы?.. до свидания!!. а куда вы ко мне придете?..

— К вам на дом, в ваш дом.

— В мой дом?.. хорошо, а где же мой дом? а? где он, мой дом, где?

— В улице... извините, забыл, такая мудреная улица, а у меня плохая память. Забыл улицу, виноват, простите, забыл.

— То-то забыли; в Полозовой улице. Понимаете? а? теперь до свидания! приходите же! придете?

— Приду, до свидания!

— До свидания! А куда вы ко мне придете?

— В ваш дом в Подрезову улицу.

— Так и есть! опять забыли. У вас гадкая память. Трудно было бы вам, если б вас теперь опять в школу, а?.. трудно?

— Трудновато.

— Да, трудновато. Погодите, вот теперь не забудете моей улицы, слышите: полозова, полозова, полозова. Смотрите.

И один приятель пополз по проспекту на четвереньках.

— Теперь не забудете?

— Нет, не забуду...

Приятели разошлись в разные стороны. Я думал, что ползающий приятель мистифицировал другого, пошел нарочно искать и нашел Полозову улицу; но сколько ни расспрашивал у жителей, отчего такое странное название у этой улицы, все, будто сговорясь, отвечали: «А так, обыкновенно, название такое; какой же ей быть, коли не Полозовой?»

Насчет улицы Андрея Петровича, или Андрей Петровой, я был немного счастливее.

Говорят, в этой улице жила когда-то счастливая чета, словно взятая живьем из романов Лафонтена*; муж, Андрей Петрович, так любил жену, что и представить себе невозможно, а жена, Аксинья Ивановна, так любила мужа, что и вообразить невозможно (так выражалась рассказчица Андрея Петровой улицы); вдруг ни с того ни с другого муж помер, а жена осталась и тоже выкинула штуку: съехала с ума с печали и вообразила, что она не Аксинья Ивановна, а Андрей Петрович, и что Андрей Петрович не умер, а только обратился в нее, Аксинью, а в существе остался Андрей Петровичем.

На свою прежнюю кличку она не откликалась, а когда ей говорили: «Андрей Петрович!», она всегда отвечала: *Ась?* и ходила в мужском платье.

Народ сходился смотреть на нового Андрея Петровича и прозвал улицу Андрея Петрова.

(NB. Это одна из улиц, куда извозчики ни весной, ни осенью не везут, боясь грязи.)

Еще замечательна на Петербургской стороне одна из Зеленных улиц; она широка, обсажена большими деревьями и имеет ворота при въезде и при выезде, так что целую улицу можно запереть на замок, будто один двор.

А прочие, несмотря на свое разное название, носят один родственный отпечаток: везде одинаковые или почти одинаковые домики с мезонинами и без мезонинов, палисадники в два куста сирени или желтой акации, везде мелочные лавочки № 1 и в лавке бороды, продающие чай и шелк не на золотники и лоты, а на четвертаки, пятаки и другую монету... принимая их за вес, чему туземцы нимало не удивляются.

Жители Петербургской стороны обыкновенно обедают дома; так называемой трактирной жизни здесь нет. Всякий женатый человек держит кухарку, которая кормит его, закупая припасы на Сытном рынке — вероятно, названном так потому, что на нем кроме говядины, мучного товара и зелени ничего другого не отыщете.

— А мед, а грибы, а прочее? — кричит обитатель Петербургской стороны.

— Медом и грибами можно быть сыту. Что же прочее?

— Например: стекло, ведра, всякая деревянная посуда, гвозди, — это все есть на Сытном рынке.

Об этом я спрашивал известного корнеслова и он вот что отвечал мне:

«Я знал одного храброго человека, который, выпив рюмку водки, съедал самую рюмку, то есть стекло, иначе, говоря реторическим слогом, выпив содержимое, съедал содержащее и оставался невредим. У меня была лошадь, которая имела привычку грызть ведра и всякую деревянную посуду. Итак, одни только гвозди кажутся материалом немного не съедомым, ну, да нет правила без исключения!»

Так точно и я считаю исключением немногих холостяков, держащих на Петербургской стороне кухарок, следовательно, имеющих у себя дома свой стол; а вообще холостяки нанимают у женатых комнату с прислугой и столом за 30 руб., а иногда и за 25 руб. ассигнациями в месяц. Вам дадут за эту цену низенькую комнатку в 1-м этаже с ходом через кухню; или на мезонине, куда вы подымаетесь по крутой темной деревянной лестнице со скрипом; утром девка или баба принесет вам воды умыться; поставит самовар, иногда почистит сапоги, иногда выметет комнату, и почти всегда в урочное время поставит перед вами щи, еще что-нибудь, и еще что-нибудь.

Но по большей части жильцы обедают вместе с хозяевами, свыкаются с ними и составляют одно мирное семейство. Обед вообще состоит из трех кушаньев. Комната обыкновенно бывает оклеена обоями фиолетового или буро-зеленого цвета с разными сценами из мифологии.

(NB. Это самые дешевые обои; их покупают домохозяева в лавочке на Садовой недалеко от Щукина двора*; платят по $2^{1}/_{2}$, иногда и по 2 копейки серебром за кусок и украшают ими комнаты своих жильцов.)

Иногда еще в щелях под обоями бывают своего рода неприхотливые жильцы; иногда от окон сильно дует; иногда, стены ли промерзают или от какой другой тайной причины, бывает просто холодно в комнате; но это случайности, правда, частые, а все-таки случайности.

Жители Петербургской стороны редко принимают к себе жильцов с чаем. «Чай — дело дорогое,— обыкновенно говорят отдающие квартиру,— к вам пожалуют, милостивый государь, гости, гости чай любят, а взять с вас дорого не приходится, да вы и не дадите. Да и вам: то нальем несладко, то сладко, возникнут неудовольствия!.. Боже мой! а у меня такая натура, что мне это нож вострый в сердце; я люблю обходиться с благородными людьми дружественно. А вот, вам самовар поставит Авдотья на мой счет и за уголья ничего не положу... хоть нониче, правду сказать, уголья стали дороги, редкостны... Да-с, вот вам комната, ею останетесь до-

вольны, добрая комната... Не на улицу окнами, я не стану скрывать, зато прямо на солнце, для цветов очень полезно, да и птичка, если у вас есть, станет петь целый день; пожалуй, и нахлебником я вас возьму, обед пристойный, без этих французских бульонов, безе да всяких артишоков, а пристойный штаб-офицерский обед, смею сказать; я сам люблю пообедать; у меня, что я ем, то и нахлебникам, а чай уже свой имейте, и для вас выгоднее и для меня спокойнее».

Недалеко от корпусов живут унтер-офицерши, держащие коров, и пускают к себе жильцов, или так называемых нахлебников, рублей за пятнадцать или за семнадцать с полтиной на ассигнации в месяц. Здесь дают человеку место для кровати в общей комнате с хозяевами и кормят его ежедневно обедом и ужином, большею частию молочным. Подобные квартиры почти всегда занимают юноши.

Люди пожилые с проседью, с цветом лица красноватым, презирают молочную пищу, говорят, что они давно вышли из пеленок, и, платя где-нибудь за угол рубль серебром, обедают постоянно у мелочного лавочника, за гривенник в день. Странно, что ни один лавочник не возьмется кормить вас обедом помесячно, и всегда на подобное предложение отвечает:

— Статочное ли дело; у нас не *растеряция* — где у нас обед! мы и сами обедаем, что бог послал.

А приходите к нему каждый день, и он с удовольствием даст покушать своих щей или пирога и студню с хреном и квасом и возьмет за обед гривенник.

Люди, недавно переехавшие на Петербургскую с той стороны или из провинции, пока еще не опознаются на месте и не поймут нравов жителей, берут обеды у единственного какого-то кухмистера и платят по рублю ассигнациями за обед из четырех кушаньев. Кушаньев, правда, дается четыре, как ни считай, хоть с супа до пирожного, хоть с пирожного до супа включительно; но человек не больной, съевший все четыре кушанья, если не заболеет, то по какому-то странному закону природы получает позыв на еду и начинает думать: как бы мне или где бы мне сегодня еще раз пообедать?

Проезжая по одной из довольно больших улиц Петербургской стороны, вы увидите на углу этой улицы и перпендикулярного к ней переулка большой шест с прибитой к нему доской темно-сине-зеленовато-серого цвета; на доске большими желтыми буквами написано: *Кухмистер......ов приуготовляет* — и более ничего. Величина ли доски не позволила окончить надпись, или старик Сатурн, пролетая над Петербургской стороной, задел косой за эту вывеску и отбил любопытное пояснение: что *приуготовляет кухмистер,* во всяком случае вещь или снадобье, которое приуготовляет... *ов*, остается загадкой для публики. Впрочем, человек, одаренный способностью мышления и соображения, особливо голодный, может легко сообразить что, хотя кухмистеру и не запрещено *приуготовлять* лак, ваксу, фейерверки и что-нибудь подобное, однако всего ближе ему *приуготовлять* кушанье. На этом основании догадливый читатель может своротить с улицы в узкий переулок и более помощью обоняния, нежели зрения, отыскать жилище кухмистера. Это жилище — дере-

вянный бревенчатый домик в два этажа. Хозяин, то есть кухмистер, встретит вас в приемной комнате в два окна на двор; над окнами висят клетки, в клетках чиликает чижик и поет датский жаворонок; между окнами стоит стол, накрытый скатерью не в первой чистоте; подле стола два стула, обтянутые кожей; против кожаный диван; над ним зеркало. Здесь кухмистер принимает своих посетителей, уверяет их, что на Петербургской стороне только и можно кушать именно у него, что он за пояс заткнет французов, что французы только хвастают, а русский их всегда осилит, и очень ловко приводит в пример этому войну 12 года. Язык и выражения кухмистера тихи, гибки, убедительны, как человека, который хочет понаведаться о здоровье вашего кармана. Получа плату на обед за месяц вперед, кухмистер уже выражается резче, как русский человек, у которого некоторым образом вы в руках. Если человек, получающий обед, поймает в супе таракана и представит его кухмистеру с замечанием, что дескать это лишнее, я за это и денег не платил, тогда кухмистер отвечает: это так себе.

— Как так себе? просто гадость!

— Что вы? как гадость! благодаря бога, мы за гадость денег не берем!

— Это таракан!

— Какой таракан! таракана мы бы увидели и сами, это просто побегушечка...

Если еще продолжают спорить, то кухмистер начинает грубить, замечает, что он невинен, если на кухне завелись тараканы, и для всякого не намерен переменять квартиры. «А впрочем, коли случится что такое в кушанье, то, пожалуй, пришлите, я переменю»,— прибавит он под конец немного мягче.

— На что же оно вам?

— В хозяйстве сдастся; вот на печке в другой комнате сидит слепой старик, мой отец, все съест! — только подавай.

При конце месяца кухмистер дает кушанья лучше, порции больше; иногда изумляет неожиданно курицей или вычурным пирожным или майонезом из дичи, который он называет галантиром. Сейчас видно, что кухмистеру хочется завербовать вас на другой месяц.

На Петербургской стороне, как в бедной части города, нет ни театров, ни фокусников, ни зверинцев, словом, никаких удовольствий, способствующих убить праздное время за деньги; да и вообще замечают, что жители Петербургской стороны не охотники до сценических представлений и даже редко посещают Александринский театр. Мне кажется, это обвинение несправедливо, а вернее, что простынет хоть какая горячая охота от путешествия с Петербургской стороны в Александринский театр по осенней сырости и слякоти или зимней вьюге и морозу; но что петурбургцы в свободные часы, как и все люди, любят посмеяться и поплакать от чужого горя, этому служит доказательством жажда, с какою, говорят, они старались во время оно достать билет на представления в домашнем театре — куда пускали и за деньги — какого-то старого весельчака, который устроил было театр на Петербургской стороне.

Жил-был, говорят, некогда в Петербурге на Петербургской стороне старик с состоянием и чинами, старик превеселого характера и предоброй души. Его бог не благословил законными детьми, зато старик держал у себя полон дом воспитанниц, любил их, как родных, любовался ими и не мог на них насмотреться.

Как-то в день именин старика воспитанницы ему сделали *сюрприз,* оделись не то пастушками, не то богинями, словом, драпировались как-то вроде женщин на картинках древней греческой мифологии, надели на голову венки, в руки взяли поднос и поднесли на нем в подарок имениннику своей работы кошелек... При этом хором запели стихи, написанные по случаю именин каким-то старым учителем:

Твое к тебе обратно притекает,
Прийми к душе, пылая, пыл сердец!
От Пинда дар к тебе здесь привлекает
Сонм дев, прими их труд ты как отец!
Хоть богинями одеты,
Любим мы тебя как дети.
Нам подобных сыщешь где ты?..

Старику очень понравились и кошелек, и песня, и костюмировка воспитанниц; эта новость приятно расшевелила его засыпающие чувства; он расцеловал богинь и тут же дал себе слово устроить театр. Театр был устроен очень недалеко от Малого проспекта и улицы, ведущей к Крестовскому перевозу. Для этого очистили обширный мучной амбар, возвысили сцену, сделали углубление для оркестра из дешевых обоев, состроили декорации, занавес был из белого холста, подымался и опускался, как стора; на нем была изображена огромная одинокая лира; вокруг лиры не было ни обычных облаков, ни лаврового венка, ни даже цветочной гирлянды. В театре были поставлены простые белые длинные скамьи из досок, места на скамейках не были разделены ничем, но на них были написаны нумера, так что каждый посетитель садился на нумер; нумеров было до ста; прямо против сцены красовалась ложа учредителя театра, обклеенная дешевыми обоями; над партером висела деревянная звезда; в нее ставили обыкновенно шесть свечек; это называлось люстрой. Кроме этого в оркестре горело четыре свечки. Оркестр состоял из двух скрипок и баса; иногда баса заменяла флейта или кларнет. Музыканты были аматеры*; на сцене, кроме воспитанниц учредителя, играли знакомые чиновники и старый учитель, говорят, неподражаемый комик. Этот театр, разумеется, сначала был домашним, но впоследствии, говорят, можно было получать билеты и за деньги.

Даром ли, за деньги ли, но театр всегда был полон, громкие рукоплескания и *браво* явно говорили за удовольствие зрителей. Он оживлял однообразие Петербургской стороны; об нем говорили, спорили, и когда, со смертию учредителя, закрылись представления, то все не в шутку загрустили. Вскоре после этого подоспело наводнение; об нем заговорили в свою очередь; оно сделалось современною новостью, и театр был позабыт, как и все на свете.

Мне кажется, что на Петербургской мог бы существовать театр, недорогой, чисто народный; для него бы нашлись своя публика и свои пьесы, сообразные с потребностью, вкусом и местными отношениями жителей. Иногда на Петербургской стороне полковые музыканты и кантонисты* представляют у себя в казармах разные водевили. Как они играют, об этом судить не наше дело, но всегда все места в этих театрах бывают заняты и много публики печально возвращается домой, не могши достать билетов. Обыкновенно здесь за первые места платят 30 коп. сер., а за последние гривенник. Кухарка, обсчитывающая господина, лакей-пройдоха и т. п., являясь на сцене, находят здесь живое сочувствие.

Почти рядом с театром какой-то аферист выстроил во время оно на Петербургской стороне на Малом проспекте деревянный гостиный двор — и до сих пор стоит это здание; с колоннадой вокруг, почернелое, ветхое, снутри разобранное, но снаружи сохраняющее еще все наружные формы; очень грустное чувство наводит это здание, стоящее, лучше сказать, разрушающееся посреди маленьких домиков и грязных улиц; все в нем мертво, черно; окна и двери страшно темнеют, словно глазные ямы на мертвом черепе. Ни жизни, ни звука в этих развалинах, только иногда, проходя мимо вечером, услышишь осторожный треск, потом соп и где-нибудь покажется из двери оборванная девчонка, украдкой тянущая полугнилую доску или бревно, да иногда из-под фундамента залает на проходящего какая-то собака.

Собственных лошадей и экипажей на Петербургской очень мало, и то почти только по Большому проспекту к Тючкову мосту и в окрестностях кадетских корпусов. Петербургцы более ездят на извозчиках, а еще более любят ходить пешком; от этого извозчиков очень мало на Петербургской стороне: весной, осенью и зимой часу в 9-м вечера вы не найдете решительно ни одного извозчика, разве на Большом проспекте, да и то не всегда; еще зимой стоит несколько санок в Малой Дворянской, у домика Петра Великого, откуда они перевозят через Неву на ту сторону к Гагаринской пристани и к Мраморному дворцу.

Трактиров и кафе-ресторанов, где бы можно было пообедать или позавтракать, на Петербургской решительно не имеется; правда, на Большом проспекте у Сытного рынка и в Большой Дворянской есть несколько вывесок с надписью *вход в заведение,* но в них только пьют чай извозчики и простой народ; одно из этих *заведений,* стоящее почти у самого Самсоновского моста, называется *Мыс Доброй Надежды;* здесь когда-то, очень давно, бывало, кутят выпускные студенты Медицинской Академии.

Несколько лет назад вдруг неожиданно на углу Малого проспекта и улицы, ведущей к Крестовскому перевозу, появилась вывеска с надписью *Кондитерская;* она красовалась, привлекала внимание проезжающих и проходящих по воскресеньям на Крестовский остров и, простояв несколько месяцев, внезапно скрылась, исчезла. Содержал эту кондитерскую какой-то хромой ветеран наполеоновской службы; хвалил своим посетителям Наполеона, со слезами на гла-

зах показывал портрет, висевший за стеклом в углу кондитерской, и очень мало продавал своих изделий.

Я думаю, многие помнят этот удивительный портрет, просто сказать, лубочной гравировки картину, на которой был представлен Наполеон во весь рост, вершка в полтора величиной, в узких брюках, с руками, как-то нелепо заложенными в брюки. В жаркий летний день после обеда, гуляя по Петербургской стороне, я зашел в эту кондитерскую и спросил порцию мороженого. «Слушаю-с»,— сказал мальчик, стоявший у прилавка, и опрометью бросился из комнаты.

Прошло минут десять; я успел препорядочно рассмотреть картину, изображающую Наполеона, изумился храбрости, с какою были приделаны руки к брюкам, а мальчишки все не было; наконец дверь отворилась, вошла довольно пожилая женщина в чепчике и уставила на меня вопрошающие глаза.

— Скоро ли будет мороженое?

Женщина молча вышла.

Немного погодя дверь полуотворилась; из-за нее высунулась лысая голова хозяина кондитерской, пожилого человека. Я опять спросил мороженого. Голова исчезла, а явился мальчик и объявил, что мороженое не заморозилось и будет не раньше как через два часа. Я спросил лимонаду. Мальчик побежал очень скоро и пропал; опять вышла прежняя женщина и сказала мне, что лимонад вышел.

— Дайте хоть оршаду!

Женщина ушла, и явилась сначала лысая голова хозяина, а за ней туловище, одетое в серый нанковый сюртук. Хозяин прихрамывая подошел ко мне и заговорил какими-то странными звуками, вроде тех, как уличные мальчишки дразнят в подворотне собак.

— Что такое?

— Оршеад кис-кис, оршеад скис и проч...

Всилу я догадался, что оршад скис, и хозяин на пренепонятном русском наречии предложил мне выпить чашку шоколаду или стакан воды с сахаром.

Так дебютируя, новая кондитерская не могла долго существовать, что и случилось; но к удивлению всех вывеска, исчезнув с Малого проспекта, как добрый нырок, вдруг явилась на Большом. Здесь под тою же вывескою также ничего нельзя было отыскать, также за дверью висела гравюра, также на гравюре рисовался в мундире Наполеон, с руками, запущенными в брюки, и хромой лысый хозяин по-старому мало продавал и много рассказывал про Наполеона.

Кроме обыкновенных церковных праздников и торжественных дней большинство публики на Петербургской стороне, состоящее из чиновников, служащих в Сенате, в губернских местах и т. п., имеет свой праздник, продолжающийся несколько дней, растягивающийся или укорачивающийся, смотря по силе мороза; этот праздник — *рекостав.*

Если осенью утром вы увидите на первой линии Васильевского острова необыкновенные толпы людей, прилично одетых, которые,

смеясь и весело разговаривая, тянутся от Исаакиевского перевоза к Тючкову мосту, неся под мышками портфели и бумаги, то можете быть уверены, что праздник начался и что лед на Неве если не стал, то решительно не позволяет переправиться на ту сторону... Иногда этот праздник продолжается целую неделю и более. В это время начинаются у жителей Петербургской стороны визиты, вечеринки, дружеский преферанчик, танцы и разные удовольствия, словно на святках, несмотря на дороговизну жизненных припасов.

Жизненные припасы, особливо говядина, в это время возвышаются в цене. Несколько лет назад, до постройки постоянного Тючкова моста, на Петербургской во время рекостава бывала дешева дичь, потому что деревенские жители, привозя дичь, не могли переправить ее на ту сторону и должны были сбывать на Петербургской, а Петербургская сторона не любит набивать цены,— но теперь и этого не случается — остров закупает все и платит хорошо.

Не говоря о торжественных случаях, например свадьбах, именинах значительных лиц и т. п., где бывает музыка, вообще жители Петербургской стороны на своих вечерах пляшут под фортепьяно; здесь не играет, как например в Коломне, нанятый за три целковых на всю ночь франт немец, а по большей части какая-нибудь старая *девица* по родству, по знакомству, по приязни, по различным отношениям, иногда просто за старое платье, за фунт кофе или за полтинник; она играет роль среднюю между мужчиной и женщиной; ей *девицы* шепчут всякие тайны и кавалеры говорят что-то вполголоса, а она то погрозит пальцем на розовое платьице, то сделает гримасу вицмундиру, то поглядит на синий фрак и значительно сведет с него глаза на хозяйскую дочку и заиграет галопад: все закружится, запляшет, и синий фрак галопирует с хозяйской дочкой...

Но чаще всего обходятся танцевальные вечера даже и без дешевой музыкантши, а играет хозяйка или хозяйская дочь, или сестра, чередуясь с какой-нибудь родственницей или приятельницей; в таком случае, после каждой кадрили, девушки спешат к фортепьяно благодарить игравшую; кто ей делает реверанс, кто жмет руки, кто ни с того, ни с другого целует ее прекрепко — это делают по большей части девушки, танцевавшие *с кавалером по душе*. Кавалеры тоже благодарят музыкантшу; некоторые острят при этом случае, а некоторые очень простодушно говорят:

— Извините, сударыня, мы вас совсем замучили.

— Напротив, мне очень приятно,— отвечает *она* еще простодушнее.

В домах, где нет фортепьян, а есть девушки, часто пляшут под скрипку. В таких домах никогда не переводится знакомство с скрипачом. Еще иногда пляшут под гитару; но это больше случается на холостых вечеринках. Там часто слышится удалая песня, отчаянные аккорды гитары и присвисточка и звон стакана, но бог с ними! этих вечеров мы не станем описывать.

Последняя степень танцев бывает просто *под язык*. Я не шутя говорю это. Человек — странное животное, ему когда весело, он

запляшет и под язык; еще, пожалуй, сам станет и плясать и напевать для себя танец.

О подобном вечере на Петербургской стороне вот что рассказывал мне знакомый туземец.

— Сошлись как-то мы в Дмитриев день на именины к нашему добрейшему Дмитрию Дмитриевичу... Ведь вы его знаете?

— Нет.

— Очень жаль; все знают Дмитрия Дмитриевича; он добрый малый, старый холостяк и большой охотник до фонтанов. Вот пришли мы к нему на именины посидеть вечерок; пришло нас человека четыре, да пришел его добрый старинный приятель и кум, даже друг, можно сказать, полицейский офицер с женою. Дмитрий Дмитриевич крестил всех детей у этого офицера, так вот к куму и привел, знаете, по родству, офицер свою жену и трех дочерей, крестниц Дмитрия Дмитриевича, девушек уже взрослых; хотя Дмитрий Дмитриевич живет холостяком, ну да он человек пожилой, притом же кум, не грех его навестить девицам в торжественный день; жена офицера принесла куму в подарок чайную чашку с золотой надписью: *в знак любви*; кум был очень рад, поставил чашку на комод в гостиной и всем показывал; все осматривали чашку, читали надпись и поздравляли именинника с подарком, а сосед Иван Иванович, поставив ее на ладонь, легонько пощелкал по ободочку указательным пальцем и, прислушавшись к звону, сказал, что подарок ценный, крепкий и наверное проживет лет сотню, если его не разобьют. Все очень смеялись этому; Иван Иванович большой весельчак и душа компании. Хозяин тут же приказал подавать чай. После чего выпили по рюмке мадеры — не какой-нибудь мадеры, а отличной буцовской, вот с угла Большого проспекта. Выпивши, мы принялись за карты, а дамы за пастилу.

Дмитрий Дмитриевич любит, чтоб у него было весело, а тут видит, что дамы съели всю пастилу, да им уже и делать больше нечего, видимо, норовят уйти домой, уже и перчатки старуха натягивает.— Куда вы? кума! — говорит он,— да я вас не пущу! да у меня пирог есть с угрем и с визигой.— Кума отговариваться, кум упрашивать, подняли такой шум и крик, что я уже не могу хорошенько доложить вам, кто из них первый в этом содоме заговорил о танцах; слышу, что Дмитрий Дмитриевич просит Ивана Ивановича поиграть на скрипке. Послали к Ивану Ивановичу за скрипкой. Не скоро пришел посланный без скрипки. Кухарка, говорит, Ивана Ивановича ушла куда-то в гости, заперла квартиру и ключ унесла. Послали еще к кому-то за скрипкой, и там не достали,— а офицерские дочки давай дуться: мы бы, говорят, сегодня у Дмитрия Осиповича целый вечер танцевали. Тут Иван Иванович показал себя; составил четыре пары, уставил их как следует в кадриль и давай напевать кадриль, знаете, из тирольских песен. Все много смеялись, говорили: «вот смешно! ужасть как смешно», а все-таки плясали. Дмитрий Дмитриевич был в восторге, что кума и ее три дочери прыгали по гостиной. В 6-й фигуре Иван Иванович изобрел новую какую-то фигуру, беспрестанно напевая:

Уж кутить, так кутить,
Я женюсь, так и быть.

Дмитрий Дмитриевич не плясал, а слыша часто, что Иван Иванович, толкая дам то в ту, то в другую сторону, кричал: *шен, крест**, *шен, крест!!!* — в восторге подпевал на тот же голос:

Кума шен, кума крест,
Кума шен, кума крест.

И вдруг, не теряя такты, завопил страшным голосом на тот же мотив:

Кума дальше от комода!
Кума чашку разобьешь!!!

Оканчивая последний стих, он сильно потянул куму за обе руки от комода, но уже было поздно: кума растанцевалась, забыла о тесноте комнаты, о комоде и, выделывая какие-то па, все пятилась к комоду, пока не столкнула с него спиной чашки.

Кадриль кончилась печально. Хозяин принял *разбитие чашки* на комоде за дурной знак, немного даже прихворнул, но через неделю оправился; только и осталось, что между приятелями и теперь называют Дмитрия Дмитриевича: *Ах ты кумашен этакой!..*

Описывая рассказ моего знакомого о Дмитрии Дмитриевиче, охотнике до фонтанов, я вспомнил, что, точно, видел на Петербургской стороне небольшой сад, с разными детскими беседочками из хмеля и других вьющихся растений; почти перед каждой беседкой этого сада, да и так, просто на перекрестках дорожек, были фонтаны или, лучше сказать, пародии на фонтаны, потому что они брызгали не выше полуаршина от земли, иной струей в ниточку, а иной в снурок, каким обыкновенно обвязывают сахарные головы; эти гидравлические игрушки были устроены самим хозяином дома, без помощи ученых механиков, просто по русской сметливости. Хозяин, какой-то, кажется, титулярный советник, чуть ли не по счетной части, насмотрелся в Петергофе на фонтаны и, имея маленький дом и садик, захотел непременно обзавестись фонтанами у себя дома; но для этого потребовалась вода, да еще стоящая выше уровня сада; провесть воду издалека решительно было невозможно для бедного домохозяина; оставалось одно: устроить огромный резервуар, вырыть колодец и накачивать из колодца воду; но и это требовало издержек единовременных, на устройство колодца и машины, и всегдашних, на работника для накачивания воды, а фонтанов очень хотелось титулярному советнику. Вот он и пустился на хитрости: с своего дома с конюшен и со всех сараев свел водосточные трубы в одну огромную бочку, которая, стоя на возвышенных подмостках, служила резервуаром; от бочки провел жестяные трубочки по всему саду и фонтаны были готовы — при обычных дождях в Петербурге, на скудость которых нам грешно на бога жаловаться, фонтаны титулярного советника брызжут себе помаленьку зелененькой водицей — и хозяин доволен, и гости не насмотрятся на хитрую выдумку.

Кстати, говоря о фонтанах собственного произведения, нельзя не упомянуть о множестве прекрасных рукоделий, делаемых на Пе-

тербургской стороне; здесь бедные чиновники в свободное от службы время часто занимаются разными полезными предметами: кто клеит из картона прекрасные вещи, кто раскрашивает эстампы, кто лепит из воска разные фигуры, кто разводит цветы, и эти, по-видимому, бездельные занятия при казенном жалованьи дают средства недостаточным чиновникам существовать безбедно.

На Петербургской есть чиновник, имеющий у себя превосходную коллекцию кактусов, едва ли не единственную в Петербурге; он занимается этим предметом с любовью, покупает дорого редкие виды привозных кактусов, сам выписывает их из-за границы и, разводя у себя на Петербургской стороне, продает их почти за бесценок.

У нас до сих пор по какому-то нелепому предрассудку, часто по ложному стыду, чиновные люди считают за унижение открыто продавать что-нибудь своей работы и никогда в том не признаются; между тем, понуждаемые бедностию, втихомолку продают свои изделия за бесценок в магазин, где вы заплатите за них вдесятеро. Не лучше ли заплатить за них дешевле из первых рук и для публики и для продавателя? Кажется бы так, а попробуйте, не будучи коротко знакомы чиновнику, сказать ему: переплетите мне, Иван Иванович, книгу, я вам заплачу, что будет стоить. Увидите, как обидится Иван Иванович, как он будет готов или нагрубить вам, или на вас пожаловаться за оскорбление. И вы заплатите вашему переплетчику, положим, 5 руб. за книгу, которую для того же переплетчика переплетет тот же Иван Иванович за рубль меди. Вот почему переплетчик ходит зимой в бекеше с пятисотным бобром на воротнике, а Иван Иванович бегает в холодной шинелишке, купленной за 50 руб. на Апраксином дворе*.

Часто мне приходит в голову, отчего люди совестятся продавать плоды своих трудов? и отчего не краснея продают труды своего ближнего?

Подходя очень и своими строениями и нравами жителей к провинциальным городам, Петербургская сторона не лишена общей провинциальной заразы: *сплетней* — на Петербургской это болезнь эпидемическая. Исключений, разумеется, наберется довольно; но все-таки это исключения.

(NB. Я говорю о жителях вообще, и о женщинах в особенности.)

Узел, где завязываются все сплетни, резервуар, куда они стекаются и откуда расходятся, есть мелочные лавочки: сюда собираются кухарки с новостями и рыночными и домашними; сюда заходит вдова-салопница купить на пять копеек сахару и оставить на сотню желчи на своих соседок; сюда приходит заспанный лакей и, продав на гривну бумаги, украденной у барина, рассказывает всю его подноготную; между тем сметливая борода-хозяин продает, покупает, весит и привешивает и не проронит ни одного слова — это ему нужно для соображения по торговле; он всегда знает, кому можно дать в долг, и даже знает, насколько кому можно верить.

Но с первого взгляда кажется всего удивительнее, что на Петербургской скорее всего вы узнаете — разумеется, если захотите — все семейные тайны, все отношения, все сердечные печали

и радости обитателей великолепных палат той стороны. Это от весьма простой причины: камердинеры и другие приближенные служители вельмож имеют на Петербургской стороне или свои домики, или своих приятелей; имеют здесь связи, знакомства, посещают общества, в которых важничают важностью своих господ, словно грачи в павлиньих перьях, и, чтобы заинтересовать, изумить бедняков, часто потешают их рассказами из жизни другой сферы, где едят на золоте и фарфоре, постоянно одеваются в бархат и блонды*, дышат ароматным воздухом; но и там все люди как люди, чаще плачут, нежели смеются.

С удовольствием, с жадностию выслушивают жители Петербургской стороны тайны салонов и спешат передать их своим ближним и приятелям, чтоб удивить в свою очередь ближних и приятелей.

Слуги вельмож, иногда очень осторожные на той стороне, считают себя на Петербургской как бы за границей, на другой земле, в другой части света и смело дают волю языку, часто даже, для эффекта, наполовину привирая к истинным фактам.

Вот, по моему мнению, причина сплетней на Петербургской вообще, и сплетней о высшем круге в особенности.

Петербургская сторона граничит с одной стороны с Крестовским островом; ее набережная, противоположная Крестовскому, уставлена порядочными домиками, т. е. дачами, окаймлена садами, где часто летом бывают разные неприхотливые увеселения; то горят бумажные китайские фонари, то играет музыка и тому подобное. Но описание этого края я отложу до другого времени; он составляет что-то общее с Крестовским, и потому, я надеюсь, мы с ним еще встретимся, говоря о Крестовском. О Крестовском можно порассказать многое, была бы охота слушать.

Е. Гребенка

19 сентября, 1844.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УГЛЫ

(Из записок одного молодого человека)

Ат даеца, внаймы угал, на
втором дваре, впадвале, а о цене
спрасить квартернай хазяйке
Акулины Федотовне.

(Ярлык на воротах дома)

Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностию, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Кате-

рина Брагадини; пансион; Александров в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру, и что-нибудь поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Способ пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Наконец, в угловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная женская фигура, лет тридцати, которую я сначала принял тоже за вывеску; может быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:

Полно, барыня, не сердись,
Вымой рожу, не ленись!

Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги и хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на которой можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше средины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице и, оставив в покое окраины двора, пошел серединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я по предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов — и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел... или правильнее, поехал — разумеется, вниз — в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице; сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени. Ищу двери. Наткнулся на лоханку: пролил, наткнулся на связку дров; чуть опять не упал. Что-то скрипнуло, чем-то ударило меня по лбу, и в сенях стало светлей. В полурастворившейся двери я увидел женскую фигуру. Кривая и старая баба гневно спросила, что я тут делаю, потом, не дождавшись ответа, объявила мне, что много видала таких мазуриков, да у ней нечего взять, и что она сама бы украла, если б не грех да не стыдно. Вы меня покуда еще не знаете, но, узнав хорошенько, увидите, что я человек щекотливый: принять меня за вора — значило нанесть смертельную обиду моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху дурой.

Есть много людей, которые равнодушнее перенесут название мошенника, чем дурака; старуха, вероятно, была из таких: при слове «дура» она как-то страшно содрогнулась и взвизгнула; ямки рябых щек ее налились кровью.

— Дура? — вскричала она запальчиво.— Я дура? нет, молод еще, чтоб я была дура... Когда я жила в Данилове... весь Даниловский уезд знает, что я не дура... Пономарица ко мне в гости хаживала... Дура, я дура!

Старуха принялась доказывать, что она не дура, не забывая называть меня дураком и мазуриком. Из уст ее летели брызги мне на лицо и на платье. Вообразить положение, в котором она находилась, может только тот, кто видал бешеную собаку.

Я сначала хотел усмирить старуху, но, сообразив, что мне время дорого, а между тем она, верно, пойдет жаловаться квартальному надзирателю, и нужно будет дожидаться в конторе, а может быть, до окончания дела и в арестантской, рассудил за лучшее поскорей уйти подобру-поздорову. Я уже прошел больше половины первого двора, как вдруг долетели до меня следующие слова, которые заставили меня воротиться.

— Ну... зачем ты пришел?.. Коли ты не вор, докажи, зачем ты ко мне, *дуре,* пришел?.. В гости что ли пришел? Я тебя не звала... Ну скажи, зачем ты пришел?

Я объяснил старухе причину моего прихода, и она вдруг смягчилась. Нет, она сделала больше: вынула из кармана медный пятак и советовала мне потереть им ушибленное место на лбу. Я не противился — из благодарности. Сердце мое таково, почтенные читатели, что оно не может долго питать ненависти: я простил старухе ее минутную запальчивость и отправился с нею смотреть квартиру, в которую вход был через дверь, противоположную ударившей меня по лбу.

Старуха ввела меня в довольно большую комнату, в которой царствовал матовый полусвет, как любят художники; полусвет выходил из пяти низких окошек, которые снаружи казались стоящими на земле, а внутри были неестественно далеки от пола. Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах. Налево от двери огромная русская печка с вывалившимися кирпичами; остальное пространство до двери было завалено разным хламом; пол комнаты дрожал и гнулся под ногами; щели огромные; концы некоторых досок совсем перегнили, так что когда ступишь на один конец доски, другой поднимается. Стены комнаты были когда-то оштукатурены: кой-где еще сохранились крестообразно расположенные дранки, какие обыкновенно приготовляются под штукатурку; некоторые из сохранившихся дранок, переломившись, торчали перпендикулярно; но главное украшение стен состояло не в дранках и не остатках штукатурки: его составляли продолговатые кровавые, впрочем невинные пятна, носившие на себе следы пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв, да густые слои расположенной по углам и под окошками в виде гирлянд и гардин паутины, которая тонкими нитями в разных направ-

лениях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо. Одна из досок потолка, черного и усеянного мухами, выскочила одним концом из-под среднего поперечного бруса и торчала наклонно, чему, казалось, обитатели подвала были очень рады, ибо вешали на ней полотенца свои и рубахи; с тою же целию через всю комнату проведена была веревка, укрепленная одним концом за крюк, находившийся над дверью, а другим — за верхнюю петлю шкафа: так называю я продолговатое углубление с полочками, без дверей, в задней стене комнаты; впрочем, говорила мне хозяйка, были когда-то и двери, но один из жильцов оторвал их и, положив в своем углу на два полена, сделал таким образом искусственную кровать. Старуха была очень недовольна самоуправством жильца, но вообще отзывалась о нем весьма хорошо.

— А кто он такой? — спросил я.

— А кто его знает — кто он такой. Хороший человек, с паспортом. У меня без паспорта никого; я уж такая: хоть два целковых давай. Мало ли? пожалуй, есть всякие... у иной, кто хочет за гривну ночуй... а на утро ушел, глядь, у кого сапоги, у кого рубашку, голицы*... в баню идти: мыло пропало... Хороший жилец. Дома, почитай, никогда не живет, а домой придет — спит, либо пауков жучит. «Что,— скажешь,— Кирьяныч... охота тебе... с этакой дрянью... да еще и в руки берешь!..»

— А что, говорит, я душеньке враг, что ли, своей, говорит: паука увижу, да не раздавлю.— «Ну дело, дело, Кирьяныч, коли не мерзит: и душе во спасение, и жильцам хорошо, и дом простоит дольше». Уж как я ему благодарна: всех пауков перевел; скажи на лекарство — за рубль не найдешь! словно в палатах княжеских... Да вот одним нехорош: за эту дрянь не люблю.

Старуха указала на небольшую пепельного цвета полуобритую собачонку, которая в то время вылезла из-под нар, расположенных в правом углу от двери, и перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротою, безжалостно кусала свои грязные ноги.

— Добро бы одну держал,— продолжала старуха,— а то в иной раз вдруг пяток соберется... поднимут вой: известно, есть хотят. Кормить не кормит, а любит; жить, говорит, не могу без собак... Шутишь! ну, да что говорить! я уж такая... Вот сами увидите: у меня... я ничего не знаю... ничего не вижу...

Старуха сделала рукою выразительный знак, на который я счел нужным отвечать ей уверением, что я не занимаюсь собачьей промышленностью, и продолжала:

— А что до чего дойдет: всякий за себя, бог за всех. Паспорт есть: я не ответчица. Махнула рукой... пусть, говорю, будут собаки; мне из-за них хорошему жильцу не отказывать. Да и что худого в собаке? такая же, прости господи мое прегрешение, тварь, как и человек. Еще человек иной хуже: греха на нем больше; сами изволите знать: язык... ученые собаки бывают: поноску подаст, ползает, ей-богу... все совершенно, как человек; веселей с ними. Вот вы не изволите брезговать (я гладил серую собачонку), а иные... право, разуму что ли в них нет?.. Просто дрянь, механик какой-нибудь, выжига забубенная, а туда же: «Стану я,— говорит,— вместе с собаками в собачьей конуре

жить...» Собачья конура!.. известно, иной фанфарон: на грош амуниции, на рубль амбиции... Квартирка чем не квартирка; летом прохладно, а зимой уж такое тепло, такое тепло, что можно даже чиновнику жить, и простор...

— А почем вы берете?

Началась ряда и состоялась по четыре рубля в месяц. Старуха божилась, что никто так дешево не живет, и просила не сказывать остальным жильцам настоящей цены.

— Всякое вам уважение сделаю. У вас ничего... Где! молодой еще человек: верно уж ничего...

Я хорошенько не понимал, к чему относились слова старухи, но смело отвечал: «ничего».

— А нельзя и без мебельки; на полу уж какое спанье; разве от бедности. Кроватку поставлю... кипятком выварю... широкая — хоть вдвоем... (старуха усмехнулась) покойно, очень покойно; только подальше от стены... ну да уж я сама и поставлю...

Я дал задатку и отправился за вещами. Перевозка стала мне в гривенник. Когда, сопровождаемый извозчиком, я вошел с узелком и чубуками, в шинели, надетой в рукава, в мое новое жилище, кровать уже была на своем месте: в левом углу, образуемом стеною, противоположною окнам, и тою, в которой находился известный шкаф. Старуха немного прихвастнула насчет ее удобства, ибо постель была такова, что на ней двое могли спать разве по очереди; зато перед нею стоял небольшой, только что выскобленный стол, с отверстием в боку, доказывавшим, что в столе был когда-то и ящик. Подвал, которому поутру как будто чего-то не доставало, представлял полную, совершенно оконченную картину.

Есть обстоятельства, невольно располагающие к задумчивости при всей лени ума и беспечности характера; новый год, день рождения, нечаянно встреченные похороны, день переезда на новую квартиру — я знаю, что в таких случаях задумываются даже головы, которые в остальное время ни о чем совершенно не думают. Было часов около девяти; начинались светлые петербургские летние сумерки, а в подвале становилось темно. Мухи, сбираясь роями, словно добрые пчелы, с шумом и визгливым жужжанием отправлялись к потолку для ночлега. Сверчок пел за печкой; что-то ползало у меня по лицу, что-то иголкой кололо в руку — я сидел неподвижно на голых досках кровати...

Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.

Я вздрогнул и поднял голову.

Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.

Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой: «Дратва скверная... ну да и ходьбы много... а толку хоть бы на грош... даже, кажется, мозоли натер... А что, вы, то есть, здешние?»

— Здешний.

— Тэк-с! А чья фамилия?

— Тростников.

— Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту... промаха по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить — подскачет да так прямо с лошади. А заехал сюда — здесь и побывшился... после смерти, говорят, и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников... как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?

— Я не знаю никакого Тростникова; я сам Тростников.

— Тэк-с... *Извините-с*... а я думал, что и вы тоже господский человек... просто с глупости... Я три недели только еще из деревни... не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня... «Собаки и люди, говорит, душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька, говорит, покуда будут у нас в доме собаки!»— спорили, спорили, да, наконец, и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку... фффить (дворовой человек засвистал) катай-валяй в разные города и селения Рассейской Империи, от ниже писанного числа сроком на один год... Вот я сюда и махнул... водой на сомине*... восьмнадцать ден плыли... все пели... в переменку гребли... Да вот, что станешь делать! — и сел здесь как рак на мели: нет как нет места! Проедаюсь на своих харчах, за кватеру плачу... сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.

Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом, вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про себя.

Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения — все обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «молчи, пришибу!» — потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные; при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец, собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком «господи помилуй! господи по...ми...милуй!»

. . . .

— А что, Кирьяныч,— сказал дворовый человек, отпущенный по оброку,— кабы этак тебе вдруг тысяч десять... а... что бы ты стал делать?

— Ну а ты что?

— Десять тысяч! много, десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян, да глаза подбиты... и важно... хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.

— Ну а барин-от?

— Барин, что барин, оброк отдал, да я и знать-то его не хочу... а и не отдал, бог с ним... Побьет, побьет да не воз навьет... Десять тысяч! Горячо хватил — десять тысяч! Нечего попусту бобы разводить... четвертачок бы теперь и то знатно... ух! как бы знатно!.. на полштофчика, разогнать грусть-тоску...

— Ку... а... а... а... Господи пом... ми... луй... купи.

— Купи? Да где куплево-то? В одном кармане пусто, в другом нет ничего... Есть, правда, полтинничек... один, словно сиротинка прижался, да ведь знаешь сам, голова, надо и на харчи. С голоду умереть неохота. Иное дело, кабы место найти... А то вот и сегодня у пятерых попусту был... ну уж только и господа, с самого с испода! Один вышел худенькой... тощенькой... и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре... «У меня, милейший мой,— говорит,— главное дело, чтоб человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал...» Зачем, говорю, воровать... хорошее ли дело воровать, сударь?.. *дай господи своего не обозрить, кто чужому не рад.* А много ли, говорю, жалованья изволите положить?— «Пятнадцать рублев»,— говорит. Меня инда злость пробрала... пятнадцать рублев! «Тэк-с»,— говорю... (А туда же: «не пей, не воруй»... да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) Шапку в охапку: «Много довольны... мы не из таких, чтобы грабить нагих»... поклон, да и вон... К другому пришел... толстый, рожа лопнуть хочет, красная... «Мне самому,— говорит,— почитай, что и человека не нужно... поутру фрак да водки подать, приду из должности, к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться — сапоги снять да водки подать — вот и все. Да вот,— говорит,— у меня, видишь?»— и показывает черта такого... человек не человек, черт не черт... глаза пялит, облизывается. «Я, братец, вот посмотри»,— говорит, и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо... рожи строит, кукиш показывает... «Так уж любит меня...— говорит.— Будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь... и жалованья тебе ни гроша, да еще,— говорит,— и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть». Покорнейше благодарим, говорю... много довольны... за господами за всякими хаживал, а за чертями, нечего сказать, не случалось.— «Это, братец, не черт,— говорит,— аблизияна».

Кирьяныч страшно зевнул.

— Эх ты, ежова голова! спишь, а деньги есть... Далась тебе даровщинка. Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтемся.

— Толкуй,— сказал Кирьяныч, и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом,— согрешили мы грешные; прогневили господа бога... дело дрянь! На табак гроша нет... даве на щах останную гривну в харчевне проел... совсем в носу завалило...

— Табачку свету нигде нету! — сказал дворовый человек горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил.— А и то сказать, какие у нашего брата деньги? Известно наше богатство: кошля не на что сшить — по миру ходить. Иное дело у *барина*.

Мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. День тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.— «Ан пять!»— сказал Кирьяныч.— «Семь, ежова голова!»

— Пять, едят те мухи с комарами! Я как теперь помню, что пять!— И между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.

— Ну да сколько бы ни было,— заключил дворовый человек.— Я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено: иначе и счастья на новой квартире не будет.

— И господь того человека не забудет, кто должное исполняет,— заметил Кирьяныч.

— Послушай, брат...— сказал я.

Дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.

— Чего изволите, сударь?

— На, вот, братец: купите себе вина.

— Слушаю-с. Штоф что ли брать прикажете?

— Бери штоф.

Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побежал. Через пять минут вино было на столе перед моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверткой нюхального табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.

— Начин с хозяина,— сказал дворовый человек, наливая.

Я отказался.

— Вона!— воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге.— Гусь и тот, нынче пьет... И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей — прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей что ли добра не желаете?

— Да вы бы в самом деле протащили немножко,— прибавил флегматически Кирьяныч.— У вас лицо такое, словно обожженный кирпич.

Но я опять отказался.

— Нечего делать,— сказал дворовый человек, хитро усмехаясь,— и не хотел бы, да надо пить.— Выпил, подержал с минуту стакан над лбом и произнес протяжно: «Пошла душа в рай, на самый на край! Ну, Кирьяныч!»

Но Кирьяныч ничего не слыхал. Он глядел в пол, топал ногою, перескакивая с места на место, и кричал: «Посвети! посвети!» Наконец, он в последний раз страшно топнул ногою, восторженно крякнул и возвратился к столу. Лицо его сияло торжественно.

— Полно тебе пауков-то губить. Лучше бы вон что по стенам-то ползают; спать не дают... Пей, пока не простыло!

— Не грех и выпить теперь,— сказал Кирьяныч самодовольно.— Прибавь господи веку доброму человеку!— Перекрестился и выпил.

Когда было выпито по другому стакану, дворовый человек взял балалайку, заиграл трепака и запел:

В понедельник
Савка мельник,
А во вторник
Савка шорник,
С середы до четверга
Савка в комнате слуга.
Савка в тот же четверток
Дровосек и хлебопек,
Чешет в пятницу собак,
Свищет с голоду в кулак,
В день субботний все скребет
И под розгами ревет;
В воскресенье Савка пан —
Целый день, как стелька, пьян!

Послышался странный стук в двери, сопровождаемый страшным мурлыканьем.

— Ну, барин! — воскликнул дворовый человек.

— Будет потеха: учитель идет!

— Что за учитель?

Дверь отворилась настежь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки: так называю я на первый случай господина в светло-зеленой, в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми, которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами — огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частию тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай, (в нормальном состоянии), гофмановы капли, пеперменты*, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах — как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой запах распространился при появлении зеленого господина — я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всматриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания, с надписью «питейный дом». У входа, растянувшись во всю длину, навзничь, лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты; он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся, страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще ты-

сячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди... долго с тяжким чувством (вы уж знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старее. Кроме шинели, разодранной сзади по середнему шву четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими завившимися в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые; волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седин; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если б не две-три небольшие, в грош величиною, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собой актер в жизнь от любимой хорошо затверженной роли, которую он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека, нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнесть во всеуслышанье, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.

Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:

— Здравствуй, нос красный!

Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:

— Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!

Дворовый человек украдкой налил стакан водою, из стоявшей на столе глиняной кружки, и подал зеленому господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке и наконец начал сильно ругаться.

— Ты, брат, со мною не шути! Кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие люди знают, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был. Действительный, брат, и кавалер*... слышишь ты, кавалер... тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя,— говорит,— Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчугой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина, говорит. Не того, говорит, я от тебя ожидал... Садись, говорит, потолкуем о старине...» и графинчик велел принести... Вот я и заговорил... Знаю, о чем говорить: с Измайловым был знаком... к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал*... Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и водку-то пили... Да и сам я: ты, брат,

со мной не шути... у меня, брат, знаешь, какие ученики есть... вот один... у, какой туз!.. А мальчишкой был... кликну бывало сторожа, да и ну... никаких оправданий не принимал... Вот мы все с ним вспоминаем, смеемся... «И хорошо,— говорит,— вот оттого я теперь и в люди пошел, говорит, что вы меня за всякую малость пороли... я вас, говорит, никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак... «Смолоду,— говорит,— человека надобно драть, под старость сам благодарить будет...» Знаешь, как мне, братец, платили... А ты... ты... вот поди ты служить: *по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день...* Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул по берестяной табакерке)... золотая была... да было и тут... один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А все ни за что; так — за стихи!.. я, брат, какие стихи сочинял!

Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом, что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и дело свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, но от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени при появлении зеленого господина в классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстуха и, вместо того чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек, занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом:

— А какие глаголы принимают родительный падеж?.. а, не знаешь? А вот я тебя на колени!

Его отставили и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную; не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от треволнений, неразлучных с холостою жизнию. Зеленого господина отставили, но по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему небольшой пенсион. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за несколько дней до первого числа каждого месяца хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей по службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец,

всех, кого знал в лучшую пору жизни; везде давали ему по рюмке вина, инде* и по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов, то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в Русском государстве все пишут или писали стихи и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строку заглавной страницы, говорил торжественно:

— Видишь, видишь, видишь... а?.. видишь ли?

Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:

— Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте не умею. Какая грамота нашему брату? Грамоту будешь знать — дело свое позабудешь... А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось, потерял, али подарил кому... ты ведь добрейший?.. сам не съешь да другому отдашь. Знаю я... кто намедни у меня ситник-от съел!

— Продал, так и нет,— отвечал зеленый господин с меланхолической грустью.— Где нюхать нашему брату из золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!

Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.

Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них была на всерадостный день тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая — на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; за то его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал* тростью за то, что Тредьяковский не изготовил *оды* на какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине* в качестве воспевателя его подвигов, и для того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли и маленькие тузы или козырные хлапы* имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и «милостивцами». В начале XIX столетия этот род литературы начал

заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом «подлому стихотворству». Так изменяются нравы! Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленною и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку, перстенек, табакерку, 50 или 100 рублей денег — и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, все было лучше, чем теперь.

— Ерунда[1],— сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался.— Охота вам руки марать!

— Ерунда! — повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо.— Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть... Я читал, а он нюхал табак и говорит: «Понюхай!» «Не нюхаю,— говорю,— да уж из табакерки вашего превосходительства...» «Нюхай!— говорит,— ученому нельзя не нюхать»,— и отдал мне табакерку... С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить к обеду... посмотрел бы ты, как меня принимали... всякий гость обнимал... а какие все гости... даже начальник его превосходительства поцеловал... я после и ему написал... Напился я пьян... говорю, как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает... Ерунда!

И что-то похожее на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения*: «Налей, брат, мне, Егорушка, пожалуйста, рюмочку!»

Дворовый человек налил стакан вина, подозвал зеленого господина и выкинул новый жестокий фарс: поднес стакан к губам зеленого господина и вдруг, когда уже тот вытянул губы и совсем приготовился пить, отдернул стакан и выпил сам. Но зеленый господин уж не рассердился: чувство собственного достоинства, окончательно побежденное запахом сивухи, коснувшимся обоняния, замолчало. Он стал униженно просить дворового человека «не шутить»...

— Попляши, поднесу...

И зеленый господин без отговорок начал плясать. А дворовый человек, приговаривая: «еще! еще! лихо! лучше вчерашнего! ну немножко еще!»— насыпал в стакан соли и еще кой-какой дряни, долил все вином и начал размешивать...

. . . .

Я просил не давать зеленому господину этого страшного эликсира, говоря, что он уже и так сильно пьян.

— Пьян! Вот-те раз — пьян! Слыхал я от умных людей и от де-

---

[1] Лакейское слово, равнозначительное слову — дрянь.

вок,— отвечал дворовый человек, продолжая размешивать,— падает человек — не пьян, языком шевелит — не пьян; двое ведут, да третий ноги переставляет, вот пьян!— «И лежит да не дышит — тоже пьян,— отозвался Кирьяныч, разбуженный пляскою зеленого господина...— А-а-а... го-спо-ди по-ми-луй!»

Зеленый господин выпил и похвалил. Вслед за ним выпили дворовый человек и Кирьяныч. Сделалось шумно. Зеленый господин добровольно вызвался еще поплясать, но только под музыку. Дворовый человек заиграл на балалайке и запел, пристукивая ногами и даже по временам откалывая небольшие плясовые коленцы. Кирьяныч, которому удалось раздавить еще паука, необыкновенно развеселился и каждый прыжок зеленого господина сопровождал трагическим хрюканьем, вроде хохота, а зеленый господин прыжки свои сопровождал икотой и бранью, непосредственно следующей у русского человека за каждым разом, когда икнется, да еще дикими вскрикиваньями... Но всего интереснее была тут песня дворового человека...

Лет пятнадцати не боле
Лиза в рощицу пошла,
И гулявши в чистом поле,
Жука черного нашла,—
Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С чернобурыми бровями —
Настоящий милый мой!
Завяжу жука в платочек,
Понесу его домой,
Дам я сахару кусочек —
Кушай, кушай, милый мой!
Злая тетка увидала,
Разворчалась на него,
Лизе строго приказала:
«Выбрось жука за окно!»
Я не слушалась приказу —
Брошу жука под кровать,
А на будущее лето
Разведу жуков опять.
. . . .
. . . .
Вот вам, девушки, наука!
Не ходите в лес гулять,
А найдете того жука —
Не кладите под кровать.

Как ни шумно пировали мы, однако ж пронзительный, нечеловеческий дикий крик, раздавшийся вне комнаты, был тотчас нами услышан и в минуту оковал наши языки и движения. Это был крик, какого я уже не слыхал во всю остальную жизнь,—крик, в котором отзывалось все, и противное карканье почуявшей непогоду вороны, и токующий глухарь-тетерев, и молодой бодрый конь, спущенный с аркана и весело заржавший, почуяв свободу и поле, и поросенок, которого палят живьем, и человек, которого вешают. Не успели мы переглянуться, к нам вбежала старая баба, с лицом до того испуганным, что я едва узнал в ней хозяйку. Она ломала руки и кричала: «Ах, батюшки!»

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Ничего,— отвечал дворовой человек хладнокровно.— Видно опять напилась?

— Напилась... ей-богу напилась, пена у рту... схватила нож: зарежусь, говорит, и всех перережу. Батюшка, Егор Харитоныч!

— А пускай бы ее резалась!

— Оно так. Туда ей и дорога, коли лучшего конца себе не надеется, да ведь никогда не случалось... и для жильцов нехорошо. ...Надзиратель придет. Деньги все поди пропила и за шубу полсотни давали... а уж где шуба? Сама своей души не жалеет, на саван не оставляет. Батюшка Егор Харитоныч, ведь похоронить не на что будет!

Дворовый человек и Кирьяныч отправились за хозяйкою; любопытство заставило меня последовать за ними. Через дверь, с которою уже, если помнят читатели, я был хорошо знаком, мы вошли на половину хозяйки. То была точно такая же комната, как и наша, но убранная несколько иначе и лучше. В двух углах стояли кровати, а два остальные были загорожены ширмами, с которыми соединено было то удобство, что можно было заниматься чтением одного журнала, которым ширмы были оклеены. На пол-аршина от потолка во всю длину стен были прибиты, как в крестьянских избах, узенькие полочки, на которых стояла деревянная и черепяная посуда. Посреди комнаты происходила сцена, достойная точного и возможно искусного описания. По полу каталась женщина в полном цвете бальзаковской молодости, с красными, как бурак, одутловатыми щеками, и задыхающимся, визгливо-пронзительным голосом кричала: «А... а... а... ой... батюшки!.. а... ой... умру!.. умру! умру! а... а... а... а!» Как у разгоряченной лошади, изо рта била клубом пена, которая клочьями падала на пол и размазывалась по лицу; руки беснующейся были в крови: в беспамятстве она их кусала. Ее окружали три женщины — две старые и одна пожилая, все беременные, которые при каждом повороте кликуши боязливо отскакивали и при каждом новом порыве ее бешенства вскрикивали в один голос «ай!» Нужно еще упомянуть об одном обстоятельстве: из-за ширм (влево от двери) раздавался тоненький голосок, напевавший с совершенной беспечностию немецкую песенку, которую очень любят все петербургские немки:

Mein lieber Augustin,
Alles ist weg![1]

Вдруг кликуша оглушительно взвизгнула, простонала: «Ой, тошно! ой, батюшки, тошно! отпустите душу на покаяние... нож!.. нож!.. нож!..»— и вскочила на ноги.

Нож лежал на полу, и кликуша несколько раз через него перекатывалась, но ни у которой из женщин недоставало смелости поднять его. Дворовый человек выступил вперед, заступил нож, насупил брови и закричал грозно:

— А на что тебе нож, проклятая ведьма? На что тебе нож? Вот

---

[1] Мой любимый Августин,
Все прошло! *(нем.) — Ред.*

я дам тебе нож... Кирьяныч! а, Кирьяныч... тьфу! ты какой! да поди же сюда... Надо бешеную бабу...

Но Кирьяныч в ту минуту страшно стучал сапогами, подпрыгивая, чтоб настичь рукою паука, уходившего к потолку, и ничего не слыхал.

Дворовый человек плюнул, не торопясь развязал ремень, которым был подпоясан, и, устремив на кликушу невыносимо свирепый взгляд, произнес со всею силою и энергиею голоса: «Вязать!»

И вдруг кликуша задрожала всем телом и бешеное выражение в лице ее в минуту уступило место кроткому и молящему; как сноп, повалилась она к ногам дворового человека и жалобно запросила пощады...

— На место! — закричал торжествующий укротитель, делая трагический жест рукою.— Цыц! *пряничная форма!* (Кликуша была рябая — метко выражается русский человек.) За работу! — прибавил он, топнув ногою.— Только пикни, свяжу, да так в помойную яму и брошу!

Хозяйка усадила кликушу, дала ей работу, и укрощенная беспрекословно принялась шить, страшась поднять глаза на дворового человека, который с минуту еще смотрел на нее, как говорится, сычом и на разные тоны повторял — цыц! цыц! цыц!

Чтоб объяснить сколько-нибудь эту сцену, я должен рассказать здесь то, что узнал уже впоследствии. Терентьевна не была в самом деле кликушей, как зовут у нас на Руси всех одержимых какою-нибудь дурью баб, но была весьма склонна к белой горячке, которая периодически возвращалась к ней после каждых десяти суток беспробудного пьянства. Дворовый человек уже неоднократно, по вызову хозяйки, являлся на выручку из беды, и каждый раз при помощи того же простого и крайне дешевого средства, какое употребил за минуту, возвращал бешеную бабу к покорности и даже вышибал из нее хмель. Происходило ли то в самом деле от необычайной дикости его голоса и свирепости взгляда, как думали старухи, или была на то особенная воля судеб, или просто так хотел случай — как бы то ни было, но дворовый человек пользовался за магнитическую способность свою большим уважением хозяйки и ее постоялок. Впоследствии он придумал даже способ извлекать из влияния, которое имел на кликушу, пользу существенную: усмирив кликушу, он отдавал ей в починку худое белье свое,— оставаясь в таких случаях в том, в чем оставалась левая нога его, когда он чинил сапог,— и кликуша не смела тронуться с места, покуда работа не была кончена...

На возвратном пути я мимоходом заглянул за ширмы, откуда раздавался тоненький голосок, и увидел молодую миловидную женщину, которая также, подобно прочим жилицам подвала, отличалась полнотой неестественной.

— Отчего они все беременны? — спросил я, когда мы пришли в комнату.

— Известно отчего,— отвечал дворовый человек.— Ну, вот хоть бы у вас жила кухарка... горничная... мамзель какая-нибудь, замужняя или так; вдруг... сами знаете — держать не станут... куда?.. не пойдешь среди улицы: не такое дело. Федотовна баба добрая... саль-

ных свеч не ест... «Поживи, мать моя! поживи, голубушка! я тебя не обижу!» Вот на время и к ней. А там — дело уладилось — и опять место найдет... Федотовне и любо да и тово... Вор-баба! без мыла в душу влезет... изойди весь свет, другой не найдешь! В Москве есть, говорят, две, да те похуже... хоть кого окальячит... Намедни умерла роженица... Она инда в слезы; охает, ахает... до ниточки все прибрала... дряни набила в сундук... «Куды! — говорит.— У покойницы ни роду, ни племени! нищим надо отдать!.. пусть, говорит, за покойницу молятся... ничего себе не возьму, ничего, не пойдет впрок чужое добро!» Позвала нищих; все мальчишки, девчонки... мал-мала меньше; ну уж какое вино?.. только два старика... Пообедали... напоила, да у них же и украла платок... вот сейчас, не сойти с места... А что, Кирьяныч, дерябнем-ка еще по стакану!

Он подошел к столу и ахнул от ужаса: штоф был пустехонек. Выругавшись, дворовый человек принялся пинками будить зеленого господина, заснувшего сном невинности среди полу, но зеленый господин не шелохнулся и только отвечал на пинки и проклятия стихами из брошюры на тезоименитство, полными благословений и радостных пожеланий. Впрочем, я думаю, что он бредил: к подобному великодушию человек в здравом рассудке едва ли способен.

— Нечего собаке делать, так хвост лижет! — сказал дворовый человек с трогательным состраданием; взял в одну руку шапку, в другую штоф.— Вот одолжил, как уж кабаки заперлись!

— Что ты, голова? Лучше же завтра будет у нас на что пообедать.

— Была не была! Уж неужто так и не выпить?.. Авось!

— И то сказать,— заметил Кирьяныч, внутренно обрадованный,— голенький «ох», а за голеньким бог.

За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим побранились; за четвертым последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались...

Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.

— Собаки есть?

— Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами...

— Крапины серые?.. Левое ухо прорезано? На хвосте черное пятнышко?

— Кажись, так. Полюбопытствуйте.

Впросонках человек бывает ленив: мне страх хотелось посмотреть на раннего посетителя, но страх не хотелось повернуться и открыть глаза. Я так и не посмотрел. Впрочем, впоследствии я встретился с ним лицом к лицу: очень интересный господин! очередь придет — познакомлю.

Здесь на сей раз простимся мы с записками Тростникова (объяснение — кто такой Тростников — завело бы слишком далеко, и по-

тому оно здесь выпускается), из которых извлекли отрывок, предлагаемый благосклонному вниманию читателя.

Н. Некрасов

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БАЛ

В Петербурге (не говоря уже о других городах России) с наступлением 17-го сентября происходит несравненно более движения, нежели в остальные обыкновенные дни.

Кареты беспрерывно сталкиваются у входа магазинов; особы разного рода и даже лица, вовсе не имеющие в себе ничего особенного, выходят большею частию из кондитерских, неся под мышкою узлы и корзины; модные и игрушечные лавки опустошаются; в залах английского магазина* и à la renommée[1] нет решительно прохода; в милютиных* — давка и теснота; не только на улицах, но и в каждом почти доме движение в этот день возрастает с неимоверною силою. Тут натирают паркет, там, против обыкновения, привешивают гардины; в другом месте, также вопреки установленному порядку, сальные свечи заменяются стеариновыми; в третьем — к обычным двум или трем ломберным столам, расставляемым с немецкою аккуратностию каждый вечер, присоединяют еще два или три; словом, под каждою почти кровлею происходит беготня, суматоха, преобразование...

Вам, может быть, покажется весьма странным, почему именно все это делается 17-го сентября. Помилуйте! да как же может быть иначе? сами посудите: у того — жена Софья, у другого — две дочери, Вера и Любовь; у третьего — сестра Надежда; у четвертого — свояченица Агафоклея (к счастию, это случается всего реже) и, наконец, пятого судьба наделила всем вместе — Верою, Любовию, Надеждою, Агафоклеею и Софьею; как же может быть иначе?.. Но вся эта кутерьма, относительно говоря, ничего не может значить в сравнении с тою, которая происходила в этот день, прошлого года, на Петербургской стороне, в доме коллежского секретаря Фомы Фомича Крутобрюшкова.

Представьте: судьба, эта судьба, не обращающая даже решительно никакого внимания на чины, а следовательно, и соответствующее им жалованье, наделила его женою и тремя дочерьми. Предвидя горестное свое положение и издержки, которые навлекут ему ежегодные празднования дочерних именин (ибо это по сию пору считается у нас священнейшим долгом), Фома Фомич дал детям своим имена святых, празднуемых в один и тот же день.

Впрочем, так поступают люди, и не находящиеся в положении Крутобрюшкова; я даже уверен, что цель их в таком случае заключает в себе более экономическую идею, нежели удовольствие изобра-

[1] С хорошей репутацией *(фр.)* — *Ред.*

жать семейство аллегорически, то есть крестом, якорем и пылающим сердцем*.

Именины не произвели бы в доме Фомы Фомича особенного переворота и отпраздновались бы по обыкновению тихо и скромно, если бы почтенному чиновнику не пришло в голову, месяца за два до описываемого нами события, затеять лотерею. Разумеется, идея эта, равно как и всякая другая, родилась в голове коллежского секретаря не следствием мышления, а случайно; вот каким образом это было.

Старший брат его, содержавший между третьею и четвертою линиями Васильевского острова лавочку, где продавались разные старинные вещи, как-то: мебель, жесть, *картины* и книги,— умер вдруг скоропостижно, оставив ему по завещанию все свое имущество. Фома Фомич имел столько твердости характера, что, несмотря на грусть, тяготившую его душу, на другой же день после горестного события приступил к распродаже полученного наследства. Некоторые однако вещи были пощажены; Фома Фомич, наслышавшийся от добрых людей о необыкновенных выгодах делать лотереи, положил ими воспользоваться и испытать счастие. Действительно, не прошло одного месяца, как советы приятелей оказались основательными и осуществили мечты его даже сверх ожидания. Билеты разбирались с неимоверною быстротою.

Невзирая на то, что большая часть билетов была уже взята, Крутобрюшков, без сомнения, отложил бы розыгрыш до другого раза, продолжая действовать таким образом до бесконечности, как это делают весьма многие, даже весьма почтенные люди, если б одно важное обстоятельство не препятствовало ему в этом.

Случилось как-то Фоме Фомичу сесть в Департаменте подле советника Александра Петровича Цвиркуляева; советник, сохранявший во всех случаях жизни необыкновенную важность, неизвестно почему на этот раз не мог скрыть хорошего своего расположения и был чрезвычайно в духе.

Движимый каким-то необыкновенным чувством умиления, рождающимся у каждого подчиненного, которому удастся сесть подле старшего в добрый час, Крутобрюшков не мог утерпеть, чтобы не сообщить ему своего намерения. Александр Петрович, желая показать себя вполне снисходительным начальником, не только одобрил предприятие подчиненного, но даже взял два билета, тут же обещав присутствовать при розыгрыше.

Как видите, не было возможности отложить лотереи, и Фома Фомич, в избежание лишних издержек, назначил розыгрыш в день именин жены и дочек.

Но прежде, нежели приступим к описанию приготовлений для вечера, следует короче познакомить читателя с лицами, разыгрывающими на нем главную роль.

Фома Фомич Крутобрюшков — человек небольшого роста, довольно толстый, с необыкновенно красным лицом и гладкою лысиною. В наружности его нет ничего особенно замечательного, разве только то, что он совершенно лишен бровей, отчего лицо его принимает какое-то сладко-медовое, временами даже приторное выражение.

Он чрезвычайно богомолен, исправен к службе, в которой состоит уже 13 лет, хороший отец семейства, плохо знает грамоте и необыкновенно склонен к спекуляции. Супруга его (Софья Ивановна) средней полноты женщина, совершенный pendant[1] мужу, за исключением бровей, которые у ней как нарочно чрезвычайно густы и черны. Соседки уверяют, будто она большая сплетница, но я приписываю это мнение более зависти, возбужденной тем, что Софья Ивановна кума одного гарнизонного майора, нежели справедливости. Г-жа Крутобрюшкова чрезвычайно горячая женщина и часто употребляет во зло дарованные ей от природы физические силы (в этом сознается иногда и сам Фома Фомич). Дочерей держит она в ежовых рукавицах, управляет решительно всем домом и стряпает на кухне, когда к обеду назначена кулебяка — блюдо, прославившее ее в околотке. Одна из отличительных черт Софьи Ивановны — память; в этом отношении она до того счастлива, что помнит наизусть весь календарь; спросите вы у ней хоть день Мамельфы, Евпсихия и Евтихия, и она тотчас же безошибочно ответит вам, в какие именно дни празднуются Мамельфа, Евтихий и Евпсихий. Софья Ивановна большая охотница приглашать гостей; иную зовет на чай, другую на ватрушку, третью на яичницу, хотя обыкновенно по истечении визита ругает их наповал и уверяет, что ее объедают, по московской привычке хлебосольства. Все это не мешает однако г-же Крутобрюшковой быть весьма хорошею хозяйкою и доброю супругою. Что ж касается до дочерей Фомы Фомича, одно казанское стихотворение избавит нас от описания их наружности:

. . . .
Одна из них, Вера, брюнетка;
Другая, Любинька, кокетка,
А третья, Надинька, блондин,
Всех лучше же из них блондин!

И действительно, Надинька, младшая дочь почтенного чиновника, отличается от сестер довольно хорошеньким личиком, возбуждающим зависть Веры и Любви. Любочка, старшая из них, перешла уже за пределы невесты: ей около 27 лет; но это обстоятельство еще более возбуждает в ней желание нравиться и кокетничать. С нею случилось много романических приключений, между которыми одно достойно быть поименовано. Она влюбилась раз в какого-то коллежского регистратора, посещавшего довольно часто их дом; регистратор подавал большие надежды сделаться ее супругом; но потом оказалось, что он делал это только так, для препровождения времени, в особенности после того, как он женился на купчихе. Любовь Фоминишна, в порыве отчаяния и ревности, хотела сначала броситься в Малую Невку, но, к счастию, ограничилась отправлением к изменнику письма следующего содержания:

«Стыдитесь што вы меня обманули, не только перед вами и перед богом честь моя дорога, бог накажит вас как вы могли это сделать... Ах несносно, за добро слышать зло, я записку вашу прочи-

---

[1] Пара *(фр.)*.— *Ред.*

тала и в обморак упала легче бы вы испесталета убили меня я не мучилась бы... ах, ах я страдаю отвас с добростью души бог накажит жестоко меня обижать бог стабой умираю аттаски ах ах злодей...»

Излив таким образом свое отчаяние, Любовь Фоминишна, как бы в отмщение вероломному любовнику, стала без разбора кокетничать со всеми его приятелями; но так как ни один из них не примечал ее авансов, то по сию еще пору она находится в девическом звании.

Верочка — совершенная противоположность сестры; она чрезвычайно застенчива и сентиментальна. Чувствительность у нее также доходит до высшей степени. Бьет ли на дворе петух курицу — она плачет; не удастся ей продеть нитку в иголочную скважинку — опять плачет; случится ли ей уронить тарелку или разорвать фартук — новые слезы; словом, она готова плакать во всякое время и во всякий час. У Верочки под головами всегда хранится какой-нибудь мрачный роман, вроде «Любовь негра или черный, каких мало белых», или тому подобная книга. Любочка находит неизъяснимое наслаждение дразнить Верочку, называя ее *зюзей*. Надинька совершенный ребенок и беспрерывно поет: «Вдруг взбрунтило фортепьяно,— ууу — летай тоска моя!» и т. д.

Все три без исключения страстные охотницы наряжаться и гулять по Гостиному двору.

Чтобы дополнить картину семейного счастия коллежского секретаря, необходимо познакомить читателя с Савишной, состоящею у него (выражение чисто департаментское) в должности кухарки. Савишна, как и все русские бабы, занимающиеся кухмистерским искусством, не может похвастать лишнею чистоплотностию. Особенною сметливостию также не обладает, ибо только что привезена из Калуги, места ее рождения. Савишна терпеть не может стирать пыль; она никак даже не может понять, к чему это делается, и говорит, когда принуждает ее к тому Софья Ивановна: «Чтоб тебе лопнуть... право! Да ты хоть стирай ее сколько хошь, а завтра же набежит ее окаянной вдвое больше». Любовь, Веру и Надиньку называет она молоденькими барышнями и в свободное время гадает им довольно удачно в карты.

17-го сентября семейство коллежского секретаря поднялось несравненно ранее обыкновенного. После обычных поздравлений и после того, как Савишна поднесла Софье Ивановне двух-с-полтинный крендель, оно расположилось вокруг кипящего самовара и принялось пить чай.

— Ну, матушка, вот и добрались мы до твоих именин,— сказал Фома Фомич, хлебнув чаю.— Ну что, Надя (она была его любимица), и, чай, ты рада, что сегодня будут гости? Да уж я думаю и всем-то вам целые две недели только и мерещилось, а?..

— Поговорим-ка лучше о деле,— отвечала серьезным тоном Софья Ивановна,— ведь шутка ли, я думаю, сколько народу наберется... куда-то мы их поместим, подумай хорошенько... всего две комнаты...

— Что же делать!.. кроме своих должны приехать и те, которые взяли билеты на лотерею... я и сам думал, что квартирка-то будет малешинька, ну, да авось не все будут...

— Как бы не так! Эх, ты, простофиля, простофиля! Не знаешь разве, что они только и ждут, как бы поесть да попить на чужой счет.

— Оно все так, Софья Ивановна, ну, да авось бог даст, как-нибудь... постой! — надо посмотреть, сколько еще остается невзятых билетов.

Сказав это, Фома Фомич подбежал к комоду, открыл его и вынул из второго ящика снизу лист бумаги, на котором были означены выигрыши и нумера. Он знал список наизусть давным-давно, равно как и все члены семейства, но делал это потому, что находил большое удовольствие любоваться им, во-первых, как собственною своею *придумочкою*, а во-вторых, как порукою за изрядное количество целковых (некоторые чиновники взяли билеты в долг).

Вот что в сотый раз прочел коллежский секретарь:

«Разыгрывается дружеская лотерея, с балом, музыкою, танцами и ужином и разными забавами. Предметы:

1. Кольцо бриллиантовое.
2. Часы серебряные англицкие.
3. Золотая цепочка с ключиком.
4. Фортепьяны об октавах.
5. Большая пенковая трубка в серебряной оправе и большой власиной чубук.
6. Ящик из Италии, с дамскими вещами, как-то: ножницы, наперсток, игольник, продевательная иголка, две перламутровые мотовки и зеркалом. Цена билету один рубль серебром».

Внизу, где означены были номера, знакомые и приятели Фомы Фомича расписались каждый против избранного им билета. Маленькие крестики, наставленные аккуратным хозяином с левой стороны некоторых билетов, означали, что они взяты за наличные деньги, словом, все было как следует. Одно только в списке могло показаться странным человеку, чуждому мелкого чиновничьего круга: то, что большая часть чиновников не выставила на нем своих фамилий, но вместо их лист был испещрен разными аллегорическими надписями; например, против восьмого нумера было написано: *счастливец;* в другом месте, вероятно, какой-нибудь забавник или так называемый «душа департаментского общества» довольно тщательно вырисовал: *адье, ман шер ами*[1], в третьем фамилия была заменена, неизвестно по каким причинам, следующими словами: *мое почтение* и т. д.

Фома Фомич, казалось, был чрезвычайно доволен такими любезностями и продолжал читать: «Конец сих билетов, коллежский секретарь Фома Фомич Крутобрюшков, 1844-го года, августа 17-го».

— Один только Михайло Михайлович Желчный не взял билета,— сказал он, окончив чтение.— Нет, говорит, знаем мы эти лотереи,

---

[1] Адье, ман шер ами (*фр.* adieu, mon cher ami) — До свидания, мой дорогой друг.— *Ред.*

да и притом сколько ни брал билетов, никогда не выигрывал, так уж и закаялся.— Скряга, знает только таскаться по гостям да наушничать.

— Уж я его когда-нибудь да отделаю по-своему... перечти-ка, кто да кто будет, ведь надо приготовить кое-что...

— Будет, во-первых, Александр Петрович Цвиркуляев, советник наш... он взял два билета... Пожалуйста, Люба, не забудь ему первому подавать яблочки, закуску и все, что ни есть... да и все-то вы старайтесь как можно более угождать ему... потом будет еще Вакх Онуфриевич...

— Ах, Фоша, он и у нас напьется, пожалуй, как на крестинах у Ивана Ивановича Масляникова.

— Ну, во избежание этого, распорядись так, чтобы каждому пришлось не более одного *пунштика*... еще приедут: Мефодий Карпыч, коллежский асессор, Акула Герасимович Ершов, экзекутор, кума Арина Петровна, ну да это своя, Сила Мамонтович с супругою... Иван Иванович Масляников...

— Да сам ты посуди, Фома Фомич, ну чем мы их накормим? Шутка ли, почти весь департамент... сам посуди...

— Нельзя иначе, матушка, ведь зато лотерея, недаром же их угощаем... будут еще: Волосков, помощник столоначальника, Владимир Макарович Семяничкин с супругою... Наталья Кузминишна... я, бишь, и позабыл Ивана Ивановича Елкина... прекрасный молодой человек, на хорошем счету у начальства, жалованье-то такое, что... вот жених Любочке...

— Ну уж хорош ваш Елкин,—отвечала отрывисто и грубо старшая дочь Крутобрюшкова,— да я лучше повешусь, чем пойду за такого елистратишку*...

— На тебя никак не угодишь! и чем Елкин не жених тебе? право, не понимаю! Чтобы только не изменил Аполлон Игнатьевич; он обещался непременно приехать побренчать на фортепьянах; да бог его знает, неравно нам на беду выпьет, так и поминай как звали... Ну, смотрите же, дети,— продолжал Фома Фомич,— ради Христа, будьте обходительнее с гостьми; в особенности с нашим советником; человек он старший, может при случае оказать покровительство.

— Да, есть чем нам взять,— сказала Любочка, толкнув чашку,— хоть бы сшили нам новые платья, а то как какие-нибудь салопницы...

— Что такое? мать хуже тебя, что ли? а! сказывай, хуже тебя мать, что в старом капоте ходит да переворачивает его каждые два года... хуже тебя сестра-то, что ли? а!..— произнесла вдруг Софья Ивановна, подступая к дочери.

— Полно... Сонюшка... оставь ее... и для такого дня...— сказал Фома Фомич, удерживая длань супруги, готовившуюся опуститься на дочерние плечи (мы уже говорили, что Софья Ивановна любила прибегать к сильным мерам).

— Нет, нет, хуже тебя мать, что ли?..

— Да что вы в самом деле раскричались? — завопила Любочка.— Пусть они себе дуры слушаются вас, а я и знать-то не хочу!

— Ги, ги, ги...— жалобно запищала Верочка,— как она смеет называть нас дурами...

Любовь Фоминишна вышла в другую комнату, сильно хлопнув дверью. Вскоре послышался ужасный вой, который как бы мгновенно водворил спокойствие в остальных членах семейства. Софья Ивановна, привыкнувшая к подобным сценам, налила себе новую чашку чаю; Верочка перестала хныкать, Фома Фомич развалился на диване.

— Ну, мать моя,— сказал он,— ты уж там распорядись, как знаешь, насчет покупок, а я покуда с детьми приберу все к месту, нельзя же так оставить. Вот тебе две красненькие,— продолжал супруг, вынимая деньги из кожаного замасленного бумажника,— больше, право, не могу...

— Я думаю, будет довольно... да бишь, не лучше ли записать, что надо купить, неравно позабуду... встань же, что ты развалился, время ли теперь отдыхать...

Фома Фомич встал, придвинул к себе баночку с чернилами и начал писать под диктовку.

— Полфунта чаю, бутылку рома, два фунта винных ягод и пастилок, Наде башмаки, пять лимонов, стеариновых свеч восемь штук...

— Маменька, купите, пожалуйста, помады, только розовой,— перебила Надинька.

— Да... ну запиши; помады розовой, шнурок черный, две желтые ленты, восемь фунтов телятины...

— Этак ты, пожалуй, весь Петербург вздумаешь закупить... помилуй, Софья Ивановна, да и денег не хватит... на что примерно телятина, на кой черт телятина?..

— Уж ты сделай такую милость, не мешайся не в свое дело, а знай только пиши...

— Ей-богу, Софья Ивановна, телятина совершенно лишнее... а вот, по-моему, купи лучше икорки, свежей, хорошей икорки... это будет лучше да и дешевле...

— Ну, хорошо, хорошо, запиши...

— Икорки... ну теперь, кажется, все... с богом, а мы займемся делом; пора! скоро уже десять часов, а еще ничего не готово.

Софья Ивановна надела салоп, завязала в платок список и ассигнации и, сопровождаемая Савишною, вскоре отправилась на ваньке в город.

Труд, предпринятый почтенным отцом семейства, был тем более тяжел, что самое расположение квартиры было весьма неудобно. Во-первых, она имела общий недостаток всех петербургских, а именно: начиналась кухней; из кухни тянулся узенький коридор, делавшийся решительно непроходимым чрез двухспальную постель обоих супругов, которую не было никакой возможности поместить в другое место, так что попасть в следующую за коридором комнату можно не иначе, как пробравшись бочком или, если кому излишняя дородность не позволяла это сделать, перескочить через нее; впрочем, при дородности и этот способ не мог быть употреблен в действие. За кори-

дором находились две комнаты; первая из них служила гостиною и залою, вторая — спальнею Верочки, Надиньки и Любочки.

Фома Фомич, невзирая на все затруднения, не падал, однако, духом (таково было его обыкновение). Посреди первой комнаты поставил он фортепьяны, как главный предмет и выигрыш лотереи; на них весьма красиво лежали остальные выигрыши, между которыми отличались: ящик из Италии и баснословной величины пенковая трубка, горделиво возвышавшаяся на пестрой тарелке. Кругом были расставлены стулья и два дивана, обитые хотя старенькой, но красивенькой клеенкой; стены серо-молочного цвета пестрели картинами, между которыми портрет директора департамента, где служил Крутобрюшков (необходимая принадлежность каждого *ищущего* чиновника), и какой-то ландшафт, писанный масляными красками и почерневший до того, что едва можно было различить на нем небо от земли, были более других достойны внимания. Против одного из диванов Фома Фомич поставил круглый столик, купленный им в старые годы по оказии. Стенные часы остались на старом месте подле окна.

Убранство второй комнаты требовало еще больших хлопот; Любочка решительно отказывалась сдвинуться с места, несмотря на увещания отца и Верочкины слезы. Наконец, кое-как уговорили ее, и спальня трех девушек приняла также довольно благообразный вид. Она была назначена для играющих в карты.

Фома Фомич и дочери его не успели еще совершенно устроиться, как в комнату вошла кума Арина Петровна с изрядной величины кренделем (общепринятым приношением кухарок, кумушек, старушек, которым оказали какое-нибудь пособие, и ключниц).

— Здравствуй, Фома Фомич, здравствуйте, девушки,— сказала она, ставя свою ношу на кругленький столик,— поздравляю вас всех от чистого сердца, дай вам господь бог (тут она перекрестилась) всякого счастия, благополучия да хороших женишков. (Арина Петровна поочередно поцеловала девушек.)

— Ну, а где же жена-то твоя? — сказала она, переменив вдруг интонацию.— Я, чай, за покупками, да за хлопотами; дай ей бог дешево отделаться, рыбка нынче стала куда как дорога, проклятые купчишки дерут без всякой совести...— последние слова проговорила она чрезвычайно быстро.

— Да уж нечего говорить, матушка, стоит мне на порядках вся эта кутерьма...— сказал Фома Фомич, несколько недовольный неуместным посещением кумы, а главное, известием о дороговизне провизии,— благодарю покорно, что не забыли и зашли навестить нас...

— Какое забыть, я вот и кренделек принесла вам, думаю себе: авось пригодится, взяла да и купила... чай, много гостей будет у вас вечером?

— Да, матушка, Арина Петровна, немало... немало... присядьте же, что ж вы стоите...

— Нет, благодарствуй, я только так на минуточку забежала, чтобы поздравить вас... знаю, и без меня много вам хлопот... а вот вечерком так приду...

— Непременно... мы вас ожидаем...— После новых лобызаний Арина Петровна вышла, сопровождаемая крестницею (Надинькою), и семейство Крутобрюшкова снова принялось за работу. Все уже было готово, когда возвратилась Софья Ивановна, увешанная узлами и кулечками; окинув взором комнаты, она осталась весьма довольна их видом; одно только смущало ее — это двухспальная постель, так неуместно раздвинувшаяся поперек коридора. Пообедав наскоро, как говорят, чем бог послал, семейство коллежского секретаря приступило к собственному своему преобразованию.

В восьмом часу лестница Крутобрюшковых осветилась сальными огарками, тщательно сберегаемыми экономною хозяйкою дома. Огарки эти были весьма искусно вставлены в огромные репы, посреди которых сам Фома Фомич просверлил дыры; на подъезде горели две плошки; в комнатах на каждом почти столе возвышались на высоких подсвечниках *стеариновые* свечи; судя по иллюминации, бал обещал быть великолепным.

Фома Фомич, в белом галстуке и новом вицмундире, бегал из одной комнаты в другую, беспрерывно поправляя то какую-нибудь мебель, то свечку, плохо повинующуюся дрожащим его пальцам (Фома Фомич был в сильном волнении), то, наконец, обращался к дочерям, умоляя их окончить как можно скорее туалет.

Софья Ивановна уже давно была на кухне; стараниями заботливой хозяйки воздвигнулись на тарелках груды винных ягод, пастилок, крымских яблок (принадлежность всякого рода балов, вечеров и пикников), разрезанных пополам; бутерброды также занимали не последнее место. Шеренги стаканов, покуда пустых, вытягивались на комоде кухни, готовые принять в свою пустоту тот благотворный нектар, который чиновник окрестил названием *пунштика*. Несмотря на такого рода занятия, Софья Ивановна находила время присматривать за Савишной, месившей на сундуке кулебяку (столы все до единого были заняты).

— Ну, смотри же, Савишна,— сказала Софья Ивановна,— делай так, как я тебе сказывала; гостям мужеска пола подавай пуншт, а женщинам чай; да не забудь: не наливать по второму стакану, пока сама не скажу... Эх! кулебяку-то не поджарь...

— Слушаюсь, Софья Ивановна, не обмолвлюсь...

— То-то же, да нарежь ее... Нет, нет, я сама это сделаю... ты только знай подавай, когда я прикажу.

— Слушаюсь, Софья Ивановна... Нешто гостев-то много буде?

— Да, да, черт бы их взял, прости господи, немало...

— Что же это они не едут, Софья Ивановна? — произнес Фома Фомич, входя на кухню,— скоро девятый час...

— Успеют еще... ну, а что Люба, Надя, готовы? Я чай, время было примазаться...

— Нет еще, я немало говорил им: вот застанут вас гости; а они то косыночку, то булавочку... просто беда мне с ними да и только.

— Постой, вот я их потороплю! — Сказав это, Софья Ивановна направилась в гостиную, где именинницы снаряжались к балу.

—Что, скоро ли вы? Люба! Долго ли ты станешь еще жеманиться перед зеркалом?

— Господи! и одеться-то не дадут! салопницами вы хотите чтобы мы показались, что ли?.. уж без того бог знает на что похожи...

— А вот, поговори-ка у меня еще...— В эту самую минуту в кухне послышался шум, и Софья Ивановна, не докончив речи, опрометью бросилась в коридор. Вера, Люба и Надя в одну секунду спрятали под диван помаду, зеркальце, гребни и стали как бы ни в чем не бывало у дверей. Когда хозяйка дома вошла в кухню, Фома Фомич снимал уже лисий салоп с плеч Натальи Васильевны Семяничкиной, приехавшей с мужем и двумя дочерьми, Анфисою и Ашинькой.

— Здравствуйте, любезнейшая Софья Ивановна,— сказала Семяничкина, страстная охотница разыгрывать роль светской женщины,— вот и мы к вам, поздравляю с именинами и именинницами... деток своих привезла...

— Да-с, и своих деток привезли к вам,— робко произнес Владимир Макарович Семяничкин.

— Ах! сколько, я думаю, вам хлопот, милая Софья Ивановна! Уж я говорила сегодня мужу: надобно быть такой хозяйкой, как Софья Ивановна, чтобы успеть приготовить все для такого множества гостей...

— Да-с, жена говорила-с...— снова пробормотал Семяничкин.

— Пожалуйте в комнату... Наталья Васильевна... Владимир Макарович... Анфиса Владимировна... прошу покорно...

— Владимир Макарович, прошу покорно,— сказал Фома Фомич, приглашая гостя рукою.

Семейство Семяничкиных тронулось. Впереди всех выступала Наталья Васильевна, разодетая, как говорится, в пух, в желтых лентах, и чрезвычайно похожая в этом наряде на индийское божество; позади ее шли обе барышни, весьма недурной наружности; шествие закрывал робкий Семяничкин, жиденький, маленький, желтенький, в мешковатом, как-то неловко сидящем вицмундире и с вечно слезившимся левым глазом. Миновав фермопильское ущелье (узкое пространство между стеною и кроватью), Семяничкины благополучно достигли гостиной, где ожидали их дочери Крутобрюшкова.

Но едва Софья Ивановна успела усадить гостей на диван и начать с ними интересный разговор о дороговизне квартиры, о ее теплоте, удобствах и неудобствах, как в кухне послышался снова шум и голос Фомы Фомича возвестил прибытие новых гостей. Софья Ивановна почла за необходимое поспешить к ним навстречу.

На этот раз взорам ее предстал бухгалтер Сила Мамонтович Буслов. Кряхтя и пыхтя, снимал он с себя летний пальто (Силе Мамонтовичу никогда не было холодно, и потому он не считал нужным носить в зимнее время другой одежды); толстые пальцы его, чрезвычайно похожие на моркови, никак не повиновались своему хозяину и, казалось, более и более топырились. Освободившись наконец от пальто, тучный бухгалтер пожал сначала руку Фоме Фомичу и потом уже обратился к Софье Ивановне.

— Рад душевно, сударыня, иметь случай лично поздравить вас

с именинами, равно как почтеннейшего нашего Фому Фомича... вот и жену привез с собою и дочь... прошу любить и жаловать...

С этими словами он отодвинулся в сторону и представил Софье Ивановне худощавую, как щепку, женщину, с взбитою прическою и до того накрахмаленным платьем, что в случае надобности оно могло служить убежищем и самому Силе Мамонтовичу; с своей стороны, г-жа Буслова представила дочь, молодую девушку лет девятнадцати.

После обычных приветствий и лобызаний дамы отправились в гостиную, где запах *гвоздичной* сделался еще более ощутителен.

— Софья Ивановна,— сказала Семяничкина, вставая с дивана,— я еще не видала выигрышей: что, они все тут?

— Все, Наталья Васильевна; посмотрите, какой прекрасный рабочий ящичек, просто объеденье, и настоящей французской работы.

— Да, ящичек очень хорошенькой... Что бы тебе хотелось выиграть, Анфиса,—продолжала Семяничкина, обращаясь к дочери, когда вышла хозяйка,— ящик для рукоделья или фортепьяно? небось, фортепьяны-то очень хочется?..

— Нет, маменька, мне нравится более кольцо брильянтовое.

— А я желала бы лучше выиграть золотую цепочку с ключиком,— сказала Ашинька.

— А я так просто думаю,— прибавила Наталья Васильевна вполголоса,— что нам ничего не достанется; уж, верно, сами хозяева прибрали себе лучшие билеты... вот вы увидите... Владимир Макарович, куда же ты забился? сидит себе в углу и на выигрыши даже посмотреть не хочет!

Необходимо здесь заметить, что г. Семяничкин имеет маленькую слабость тотчас засыпать, куда бы только его ни посадили; кроме этого переход от бдения к сну у него так быстр, что не успеешь повернуться, как уже он закрыл глаза и испускает маленький носовой свист. Он все спал, так что настоящая жизнь грезилась ему как во сне.

Голос супруги (единственное средство, выводящее Владимира Макаровича из летаргии) мгновенно пробудил его.

— Что-с... Наталья Васильевна? — произнес он, подходя к жене.

— Ну, а тебе что бы хотелось выиграть? — спросила она,— небось, часы?

— Часы, Наталья Васильевна...

— Ну, и от фортепьян бы не отказался?

— Пенковая трубочка больно хороша, Наталья Васильевна...

— Ну уж, нашел что сказать! пенковая трубка!.. да я и даром не возьму ее... а вот кабы рабочий ящик... ну это другое дело...

— Да, рабочий ящичек... лучше...

Щепкообразная жена и дочь Силы Мамонтовича не принимали решительно никакого участия в лотерее и как вкопанные сидели на одном месте.

Вскоре тяжкие вздохи, раздавшиеся в коридоре, возвестили, что толстый бухгалтер силится пройти между постелью и стеною: но, к общему удивлению, он не замедлил явиться в гостиную.

Пока почтенный этот муж, страстный любитель музыки, театров и вообще изящного, как-то: расписных московских табакерок, оружия

и статуэток, продающихся на улицах, распространялся с дамами об удовольствиях, доставляемых ему такого рода предметами, квартира Крутобрюшкова наполнилась народом.

Один за другим появлялись Вакх Онуфриевич Петерка известная уже читателю кума Арина Петровна, состоящий в должности помощника бухгалтера Аристарх Виссарионович, у которого глаза были необыкновенно похожи на глаза болонки, которую баловница-барыня кормит мясом, т. е. тонули в каком-то брусничном варенье.

В гостиной Фомы Фомича становилось уже тесно, когда явились Иван Иванович Масляников с малолетним сыном своим Ванюшею, Михайло Михайлович Желчный, чиновник в отставке, и Аполлон Игнатьевич, тот самый, который должен был играть на фортепьянах. Особенно появление последнего чрезвычайно обрадовало и успокоило Фому Фомича.

— Фома Фомич! а, Фома Фомич! что же, братец, скоро ли лотерея? — спросил Михайло Михайлович Желчный, когда общество поуселось.

— Ожидаем только Александра Петровича... нашего советника...

— Как! и он будет?.. Ба! ба! ба... да я этого и не знал,— произнес Сила Мамонтович, обтирая пот, капавший у него с носа,— у тебя, как я вижу, Фома Фомич, бал не на шутку...

— Даже Александр Петрович сам два билета взял...

— Как! и два билета взял! ну, брат, молодец!

— Верно, как-нибудь да сам подсунул,— сказал Желчный на ухо Акуле Герасимовичу Ершову, состоящему в должности экзекутора.

— Акула Герасимович, мое вам нижайшее почтение,— произнес Фома Фомич, подходя к нему,— благодарю за посещение...

— Очень рад... не стоит благодарности...

— Здавствуйте, Иван Иванович,— продолжал Крутобрюшков, увидя Масляникова с Ванюшею,— сколько лет, сколько зим... как вы в своем здоровье?

— Вашими молитвами, почтеннейший Фома Фомич...

— Здравствуй, Ваня... да какой он у вас умница...

— Душенька, поцелуй же дядиньку,— сказал Иван Иванович, гладя по головке сына.

— А которой годок?

—Да в день Фрола и Лавра* шестой пошел.

— Шестой!.. зовут, Иван Иванович... извините...— Фома Фомич вышел в коридор.

— Тятинька.. тятинька... то вот это такое? — спросил Ванюша, показывая на фортепьяны.

— А это музыка, душенька... вот что играют.

— Музыка... а это то такое? —продолжал ребенок, вскарабкавшись на фортепьяно и трогая трубку, часы и ящик из Италии.

— Не тронь, не тронь, душенька, неравно раскокаешь... это трубка.

— Трубка!

— Скажите, пожалуйста, Иван Иванович, как здоровье вашей

супруги? — спросила Софья Ивановна.

— Благодарю покорно, вашими молитвами... надеюсь, что скоро будет всему конец.

— Как, разве она еще не родила?

— Нет, но на этих днях...

— Фома Фомич! Софья Ивановна! Что же лотерея? — произнесли несколько голосов.

— Сию минуту, господа, сию минуту; повремените немного... я думаю, тотчас приедет Александр Петрович; согласитесь, что без него нельзя же...

— Да и не устроено у тебя, кажется, еще ничего насчет билетов,— сказала кума Арина Петровна.

— Все готово, только не едет Александр Петрович...

— А кто станет вынимать билеты?

— Кто-нибудь, все равно.

— Нет, Фома Фомич, надобно, чтобы непременно вынимал их ребенок... это везде так водится...— произнес Михайло Михайлович Желчный, находивший неизъяснимое удовольствие ставить всех в затруднительное положение...

— Да, разумеется,— продолжал Сила Мамонтович,— разумеется, должен вынимать билеты ребенок... это, так сказать, эмблема невинности, ангел божий...

— В таком случае, Иван Иванович одолжит нам своего Ванечку.

— Очень рад, очень приятно... Ваня, Ваня, хочешь вынимать лотерею?

— Качу... лотерею...

— Какой миленький ребенок,— сказала Наталья Васильевна, подходя к Масляникову с дочерьми Крутобрюшкова,— и который годок?

— В день Фрола и Лавра шестой-с пошел...

— Поцелуй меня, душенька,— продолжала г-жа Семяничкина.

— Поцелуй же тетеньку...

Иван Иванович был чрезвычайно доволен, что гости Фомы Фомича принимают такое живое участие в его сыне; он посадил его к себе на колени.

— Ну, что, плутишка, ты кого больше любишь: мамашу или папашу?

— Ма...ма... и папашу.

— Ах, какой умница! поцелуй меня, душенька! какой умный мальчик! как это сейчас видно в ребенке, что будет умницею! — произнесли вдруг в толпе, окружившей Ивана Ивановича.

Масляников был вне себя от радости, и чтоб еще более похвастать перед гостьми остроумием Ванюши, спросил его:

— Ну, а кого бы ты хотел, пузырь ты этакой, чтобы родила мамашенька, братца или сестрицу?

«Ла... ла... лашадку»,— бойко отвечал Ванюша. Толпа захохотала. Иван Иванович, не ожидавший такого ответа, сконфузился так, что опустил сына на пол и начал без всякой причины шарить у себя в кармане. В самую эту минуту в дверях показался советник Александр Петрович Цвиркуляев, а вслед за ним и хозяин дома. Поклонившись

довольно важно, Александр Петрович каким-то принужденным тоном сказал Фоме Фомичу:

— Представь же меня твоей жене... я хочу с нею познакомиться.

— Софья Ивановна... Софь... вот я... Александр Петрович...— и Крутобрюшков толкал вперед жену и дочерей.

— Да они у тебя, братец, еще молоденькие...— произнес советник с некоторою нежностью, тряся Надиньку без церемонии за подбородок,— ну а что же лотерея?

— Сию минуту, Александр Петрович, сию минуту...

Все общество окружило фортепьяно; Михайло Михайлович Желчный и экзекутор старались более других стать на виду советника.

Ванюша, к совершенному удовольствию отца, был посажен на фортепьяно между рабочим ящиком и пенковою трубкой, все еще лежащею на тарелке, с назначением вынимать пустые бумажки или выигрыши. Нумера говорила Анфиса Владимировна, старшая дочь г-жи Семяничкиной.

Лотерея началась.

Два только лица не приняли участия в розыгрыше лотереи: чувствительная Вера Фоминишна и Дмитрий Алексеевич Волосков, уже с давних пор чувствовавший к ней непреодолимое влечение. Они отошли в сторону и предались молчанию, прерываемому только тяжкими вздохами; так проявлялась у них любовь.

Между тем в другом конце комнаты совершенно противоположные чувства волновали толпу. При каждом нумере, вынимаемом Анфисою Владимировною, и в особенности каждый раз, как маленький Ванюша развертывал бумажку с выигрышем или пустую, она сильно напирала на фортепьяно, томимая ожиданием.

— Нумер девятый! — произнесла Анфиса Владимировна.

— Лопнул! — сказал, радостно улыбнувшись, Михайло Михайлович.

— Нумер пятнадцатый!

— Лопнул!

— А! черт побери! — сказал Акула Герасимович Ершов,— проиграл! впрочем я это знал наверное; еще сегодня говорил Михайлу Александровичу Поплевину, что наверное проиграю... уж такая звезда!

— Я докладывал вам,— шепнул ему на ухо Желчный, — что тут должна быть фальшь, непременно фальшь... вот посмотрите, если советник что-нибудь да не выиграет.

— Нумер двадцать первый!

— Лопнул!

— Девяносто седьмой!

— Лопнул!

— Третий!

— Лопнул!

— Первый!

Наталья Васильевна обомлела. Это был ее нумер.

Иван Иванович, неразлучный с сыном, помог ему развернуть бумажку и, видя что-то писанное, прочел довольно внятно:

— Пенковая трубка, в серебряной оправе, и большой власиной...

— Ну, так и знала!.. что бы выиграть рабочий ящик!.. а все Владимир Макарович!

Но ответа не было; должно быть, г. Семяничкин куда-нибудь да прислонился.

Лотерея продолжалась.

— Нумер тринадцатый!

— Лопнул!

— Пятьдесят шестой!

— Лопнул!

— Сотый!

Иван Иванович прочел:

— Ящик из Италии.

— Как, я выиграл? — спросил с самодовольною улыбкою советник.—Ну, признаюсь, не ожидал...

— Честь имеем поздравить,— сказали в одно время Ершов и Желчный.

— Прикажете, Александр Петрович, принести вам на дом, или угодно будет самим взять выигрыш?

— Нет, зачем же, я лучше сам возьму его,— отвечал советник.

— Я говорил, что фальшь! — шепнул Михайло Михайлович экзекутору.

— Теперь сам это очень хорошо вижу.

Вскоре лотерея кончилась; фортепьяны достались какому-то чиновнику, не присутствующему на вечере; остальные вещи почти все снова перешли в руки хозяина дома.

Александр Петрович, несмотря на увещания Софьи Ивановны и Фомы Фомича выкушать хоть одну чашечку чая, уехал тотчас же после розыгрыша с своим ящиком, отговариваясь делами. Ванюша тоже расстался с обществом и был уложен заботливым отцом и Надинькою на двухспальную постель. Остальные лица разбрелись по комнатам, рассуждая о превратности счастия и капризах судьбы.

После отъезда Александра Петровича Крутобрюшков сделался как-то развязнее; он бегал от одного приятеля к другому с картами в руках, упрашивая их составить партию.

— Скажите, пожалуйста, почтеннейший Акула Герасимович,— сказал вполголоса Михайло Михайлович,— нас, верно, пригласили сюда с тем, чтобы уморить с голода... ну уж вечеринка!.. А еще написано «с угощением и разными забавами» — хороши забавы, когда есть не дают...

— Да, я сам что-то проголодался...

— Ну, слава богу, кажется, несут пунштик...

Действительно, из коридора показалась Савишна с огромным подносом в руках, обставленным стаканами и чашками; за нею шла Надинька, неся, с потупленным взором, корзину с сухарями и ломтиками белого хлеба.

Гости окружили поднос.

— Ну, пунштик,— продолжал Михайло Михайлович на ухо экзе-

кутору,— только слава, что пунштик... просто какой-то жиденький чаишка... э! хе, хе!..

— Я думаю, можно подлить туда немного, знаете, того... ромашки...

— Послушай, милая, как тебя зовут?

— Савишна-с.

— Знаешь ли, Савишна, нельзя ли как-нибудь подлить в наши стаканы ромцу, а?

— Нет, Софья Ивановна и то заругалась, говорит: много налила.

— Что ты врешь, дурища ты этакая! — вскричала Софья Ивановна, лицо которой побагровело от досады.— Извините-с, Михайло Михайлович, глупая баба, только что из деревни сию минуту... пожалуйте ваш стакан...

— Деревенская простота-с,— заметил Михайло Михайлович, злобно улыбаясь.— Ах ты Савишна, Савишна! вчерашняя-давишня! — продолжал он, глядя на смутившуюся бабу.

Наталья Васильевна Семяничкина, ее дочь, кума Арина Петровна, дочери Крутобрюшкова и Иван Иванович, расположившиеся на диване и стульях около круглого столика, со вниманием слушали Силу Мамонтовича Буслова, выхвалявшего не без особенного красноречия почтамтских и жуковских певчих. Он уверял, что последние поют как-то *фостонически**, и собственно потому предпочитал их первым.

Во время этого разговора в гостиную Крутобрюшковых вошла вдова Пелагея Кузминишна Кувыркова с двумя дочками и сыном, молодым человеком, чрезвычайно вертлявым, с тщательно завитым хохоликом. Во всех своих движениях обнаруживал он претензию на ловкого молодого человека.

Он был в коричневом фраке с светлыми пуговицами, голубом галстуке, лиловом жилете и резинчатых брюках, которыми, казалось, был чрезвычайно доволен, ибо поминутно гладил их ладонью, вытянув наперед ногу.

Пелагея Кузминишна подвела дочек к хозяйке дома; молодой Кувырков поочередно стал подходить к ручкам всех барынь без исключения.

— Ах! как жаль, любезная Пелагея Кузминишна, что вы не поспели к лотерее.

— Что ж делать, милая Софья Ивановна, не было никакой возможности... но где же ваш Фома Фомич?..

— Засел по обыкновению с приятелями в карты... Позвольте представить вам приятельницу мою, Наталью Васильевну Семяничкину.

— Очень приятно... прошу полюбить...

Дамы поцеловались.

В это время Петр Петрович (так звали молодого Кувыркова) успел уже наговорить кучу любезностей и приобрел общее расположение. Он стоял теперь против Любови Фоминишны, умоляя ее танцевать с ним первую французскую кадриль.

— Пелагея Кузминишна, пожалуйте... чаю,— сказала Софья Ивановна, указывая ей на поднос, носимый Савишною,— барышни, не угодно ли вам?.. Петр Петрович!.. не прикажете ли чаю?..

— Нет-с, покорно благодарю, мне здесь гораздо приятнее всякого чая... тем более, что имею удовольствие разговаривать с вашею дочкою.

— Какой он у вас, право, Пелагея Кузминишна... где только барышни, так вот и льнет...

— Да уж не говорите, такой ферлакур*, что просто беда...

— Что ж,— перебила Наталья Васильевна,— для молодого человека это очень хорошо, это даже необходимо, и я нахожу, что ваш сын вполне светский и образованный молодой человек.

Аполлон Игнатьевич, чиновник чрезвычайно великого роста, худощавый, одетый в вицмундир светло-зеленого цвета, сел за фортепьяно. Звуки: *ну, Карлуша, не робей* — возвестили начало бала; кавалеры засуетились подле своих дам, остальные лица прижались к стенкам.

Начались танцы.

Между тем во второй комнате игра становилась горячее и горячее; Вакх Онуфриевич, который, вопреки приказаниям, данным Софьею Ивановной кухарке, подавать гостям не более одного стакана пунша, успел каким-то способом подхватить пару, горячился не в пример другим:

— Нет, братец ты мой, как хочешь,— кричал он Акуле Герасимовичу, ударяя кулаком по столу,— а не смей сбрасывать трефовой дамы; этого, брат, ты не смей!..

— Во-первых, я не ты,— сердито отвечал ему экзекутор,— а, во-вторых, не имея чести вас знать лично, я спрашиваю вас, м. г., по какому праву вы осмеливаетесь здесь кричать?..

— Что? что?..

— Полноте, господа! Вакх Онуфриевич, как тебе не стыдно! — сказал Фома Фомич.— Эка беда, что Акула Герасимович сбросил трефульку, а тебе бы козырнуть, да козырнуть, и дело было бы с концом.

Не знаю, чем бы окончилось все это, если бы звуки первой французской кадрили, шарканье танцующих и в особенности неистовые притаптывания молодого Кувыркова не возбудили в игроках желания посмотреть, что происходило в гостиной. Действительно, было чем полюбоваться; Петр Петрович, танцующий с Любовию Фоминишною, казалось, хотел на этот раз превзойти самого себя. То с каким-то страстным томлением провожал он свою даму глазами; то вдруг вскидывался в сторону и семенил ногами чрезвычайно быстро; когда даме его следовало делать балансе*, он преклонял пред нею одно колено, махал по воздуху платком и улыбался так, что сама Любочка невольно должна была потуплять глаза. Были и другие лица, достойные внимания, как, например, Волосков и еще какой-то молодой чиновник в черном фраке, танцующий с дочерью Силы Мамонтовича и который употреблял все свои усилия,

чтобы обратить на себя внимание, но они решительно исчезали перед удалью Петра Петровича.

— Ну уж признаюсь, сударыня, ваш сын так танцует,— сказал толстый бухгалтер Пелагее Кузминишне,— что я и сказать не умею... и где это он так ловко навострился?..

— Мой Петинька еще по сию пору не покидает уроков... каждую субботу аккуратно посещает он танцклассы.

— А должно быть, там очень хорошо учат, в этих танцклассах?

— Он говорит, что нигде так нельзя научиться танцам... кроме этого, общество, *компания,* все это там так хорошо, благовоспитанно...

— Конечно,— сказала Наталья Васильевна,— для молодого человека с образованием это много значит, в особенности если там, как вы говорите, общество, внушающее ему блеск, лоск, этак, знаете необходимый... лессе-алле*...— тут дама запуталась, или, как говорит Гоголь, зарапортовалась.

— А позвольте узнать, сударыня, сколько там платят, или это так, приглашение какое-нибудь? — продолжал расспрашивать простодушный бухгалтер.

— О, нет-с, платят так же, как и в Клубе Соединенного Общества,— отвечала не менее простодушная Пелагея Кузминишна.— Только не знаю сколько... да вот, Петинька, Петинька! сколько ты платишь в танцклассе за урок?

— Целковый! — звонко закричал молодой Кувырков, делая антраша.

— Скажите, пожалуйста, да это просто клад.

— Уж не говорите...

Кадрили шли одна за другой и прерывались только Софьею Ивановной и Савишной, разносившими гостям (как бы нарочно во время танцев) яблоки, пастилу и винные ягоды.

Одушевление танцующих возрастало с каждым часом; даже Дмитрий Алексеевич Волосков, танцовавший во все время бала с Верочкою и не сказавший ей ни единого слова, решился, наконец, начать разговор.

— Какие вы беленькие...— сказал он дрожащим голосом и потупляя взор.

— Ах, что вы говорите-с! я совсем не беленькая.

— Нет-с, вы право очень беленькие...

— Нет-с, совсем напротив того-с...

Впрочем, их разговор не был продолжителен; они в одно время сконфузились и снова замолчали.

Сам Иван Иванович Масляников не мог утерпеть, чтобы не присоединиться к танцующим; он пригласил младшую дочь г-жи Семяничкиной и пустился в пляс.

Скачки и прыжки молодого Кувыркова все более и более приковывали общее внимание; но когда дело дошло до мазурки и он пустился в первой паре с Надинькой, не только раздались восклицания, но даже в некоторых концах залы послышались рукоплескания.

— Ах, боже мой, какое счастие иметь такого сына! Какой пре-

красный молодой человек! Какая ловкость! — слышалось со всех сторон.

Пелагея Кузминишна была вне себя от радости и материнской гордости.

Толпа более и более окружала танцующих. Кувырков более и более горячился; вдруг, в ту самую минуту, как он стал посреди залы, чтобы выкинуть какую-то штуку, панталоны его, которые для большего эффекта были резинчатые, на этот раз изменили ему: штрибка лопнула, и молодой Кувырков очутился посреди гостиной с обнаженною ногою!!

Кто опишет действие, произведенное этим несчастным обстоятельством на гостей Крутобрюшкова? Чья кисть в состоянии будет изобразить фигуру Петра Петровича, принужденного показать всему обществу натуральную красоту ноги своей?

Мазурка остановилась, страшный хохот раздался повсюду (Михайло Михайлович хохотал громче всех), барышни с визгом закрыли лицо руками; Пелагея Кузминишна не могла устоять противу такого крутого переворота судьбы; с нею сделалось дурно; словом, смятение было неописанное.

Кувырков, прикрыв кое-как ногу платком, побежал, сломя голову, в кухню, сбил с ног Савишну, которая в свою очередь опрокинула на пол поднос уже с готовыми бутербродами, и, невзирая на последствия побега, направился домой.

Как бы то ни было, обстоятельство это сильно подействовало на общее удовольствие. Пелагея Кузминишна, несмотря ни на какие увещания, не согласилась остаться на вечере после случившегося с возлюбленным ее сыном скандала и тотчас же уехала. Игравшие в карты и прерванные посреди партии общим смятением не изъявили большого желания продолжать игру, тем более, что Вакх Онуфриевич снова бурлил, грозя экзекутору уничтожить его, если он осмелится еще раз сбросить пиковую осьмерку. Аполлон Игнатьевич также не изъявил особенного желания продолжать играть на фортепьяно и отговаривался усталостью, словом, все способствовало к прекращению увеселения.

Решили, что пора было перекусить. Не станем здесь распространяться об ужине; скажем только, что кулебяка, в особенности бутерброды были найдены чрезвычайно вкусными и заслужили Софье Ивановне лестные похвалы от всех, за исключением Михайла Михайловича Желчного, который и тут не мог утерпеть, чтобы не сказать на ухо экзекутору, что кулебяка слишком поджарена, а на бутербродах вместо пармезана* насыпана пыль. Икорка также была весьма кстати; но Фома Фомич отчаивался, видя, сколько ошибся в расчете, заменив ею телятину, ибо, возбуждая жажду, она заставляла гостей беспрерывно прибегать к напиткам, которых не осталось ни единой капельки. Вакх Онуфриевич, во время закуски, до того прикладывался к разным водкам, что, вопреки долга, чести, приличия, снял с себя вицмундир и, невзирая на присутствие барышень, наговорил кучу неблагопристойностей, за что и был выведен под руки на улицу.

Вскоре после этого гости стали мало-помалу приготовляться к отъезду. Первыми дезертирами оказались Семяничкины.

— Ну, прощайте, душенька, Софья Ивановна, благодарствуйте за хлеб за соль, да смотрите же, не позабывайте нас... Ашинька, ты трубку не позабыла?

— Нет-с, маменька, она у меня.

— Ну, хорошо, а где же Владимир Макарович? Владимир Макарович!..

Но Владимир Макарович не откликался; в комнатах его не было. Стали искать. Перешарили решительно все комнаты; Семяничкина нет как нет. Фома Фомич бегал взад и вперед из гостиной в кухню, из кухни в гостиную, заглядывал даже под столы и диваны, Семяничкин все-таки не отыскивался. Все общество принимало живейшее участие в пропаже чиновника. Наталья Васильевна была в ужасном волнении; Анфиса и Ашинька плакали. Наконец, Михайло Михайлович Желчный шепнул что-то на ухо Фоме Фомичу, а хозяин дома произнес улыбнувшись: «А вот я сию минуту приведу его, не беспокойтесь...»

Вскоре явился он, держа за руку Владимира Макаровича, у которого были заспанные глаза и платье в чрезвычайном беспорядке.

— Ах, боже мой! — вскричала Наталья Васильевна, краснея.— Где же он был? где?..

— Владимир Макарович... пошел... ну, да и заснул...

— Нет... я... так немножко-с... я ничего-с... я ничего-с...

— Какова на дворе погодка? — спросил улыбаясь Михайло Михайлович у Семяничкина.

Все захохотали.

— Покорно благодарю-с... холодно...— пробормотал Владимир Макарович, робко озираясь во все стороны и не находя места, куда бы спрятаться.

— Прощайте же, Софья Ивановна,— сказала Наталья Васильевна.— Фома Фомич, мое почтение... вот я тебе задам после... дурачина!.. срамить меня здесь вздумал... погоди!..— продолжала она на ухо мужу, в то время как пробиралась с ним по коридору.

— Я ей-богу... Наталья Васильевна... ничего... так... только...

— Вот я тебе ничего... дай только приехать... прощайте, любезная Софья Ивановна... прощайте...

Фома Фомич взял в кухне свечку, чтоб проводить гостей, потому что, отыскивая в сенях Семяничкина, нашел огарки сгоревшими; вместо них на лестнице валялись одни только репы.

— Мое почтение, Наталья Васильевна...

— Прощайте, Фома Фомич... не простудитесь.

Владимир Макарович ничего не сказал, потому что был ни жив, ни мертв в ожидании грозы, обещанной ему дражайшею его половиною.

Михайло Михайлович и Акула Герасимович не замедлили проститься с Крутобрюшковыми, и первый не переставал ругать наповал экзекутору всех и каждого во все продолжение дороги. Напрасно Фома Фомич уговаривал Силу Мамонтовича остаться еще на часочек

и поиграть в преферанс, но и Сила Мамонтович последовал общему примеру и отказался от приглашения. Пока все общество занято было отъездом и хозяева дома находились в кухне, Дмитрий Алексеевич Волосков остановил Верочку у окна гостиной, твердо решившись на этот раз сделать ей формальное изъяснение в любви.

— Нет, вы меня теперь позабудете,— говорил он, переминая в руках шляпу.— Вера Фоминишна, вы не захотите даже и вспомнить...

— Ах, перестаньте...

— Нет, я никак не могу перестать... я... вы... вы... построили на сердцах любящих вас людей... храм вечных мучений...

— Нет, напротив того-с... вы меня обижаете...

— Нет, Вера Фоминишна... я вас не могу, я не смею обижать... я всю жизнь желал бы остаться с вами... я теперь один... без вас я готов умереть...

— Я также одна останусь... и... когда вы уедете... радужных цветов будет очень мало...

Бог знает до чего бы дошел диалог влюбленных, если б кума Арина Петровна не явилась в гостиную отыскивать Веру, с которою непременно хотела проститься. Молодой Волосков должен был поневоле расстаться с своей возлюбленной.

Не прошло четверти часа, как квартира Крутобрюшкова опустела; один только Иван Иванович Масляников никак не мог управиться с Ванюшею, который как-то после сна был вовсе не любезен и, невзирая на ласки и увещания Софьи Ивановны, безмилосердно тузил отца в правую щеку.

Все разошлись и разъехались с полными карманами и ридикюлями пересудов и весьма остроумных замечаний насчет бала и домочадцев Фомы Фомича Крутобрюшкова. Что ж делать! везде так водится; на том свет стоит.

Что ж касается до Софьи Ивановны, то она, проговорив последнее сладенькое прощанье последнему гостю, за которым затворилась дверь, мгновенно переменила интонацию и накинулась на простодушную Савишну.

— Отличилась, родимая; срезала ты мою головушку!.. да с чего ты тогда одурела, болван! деревенщина ты этакая!..

Тут Софья Ивановна, начавшая было распекать кухарку с чувством оскорбленного достоинства, стала вдруг, как выражался ее муж, *угощать* ее такими отборными словами, что мы не решаемся передать их на бумаге.

Савишна задремала, стоя перед своей барыней, и, прослушав наставление, чуть не повалилась от сна.

Сам Фома Фомич едва держался на ногах; впрочем, он еще довольно долго ходил по комнате; не совсем обыденные мысли мелькали в голове его. Фому Фомича мучил демон самолюбия и честолюбия. Он совершенно был уверен, что много выиграл своим балом. Одно то, что от пунштика перепились, чрезвычайно утешало его как хозяина. Он завтра же в департаменте весьма ловко и скромно в одушевленном месте своего рассказа о вчерашнем торжестве

мог вставить Вакха Онуфриевича, человека почтенного, но совершенно лишившегося благоразумного управления своими способностями от радушного угощения и хлебосольства хозяина. Таким образом Фома Фомич за двадцать рублей мог прослыть хлебосолом, да, наконец, и то, что ящик из Италии достался советнику... «Это все кстати,— думал Крутобрюшков.— Оно хоть и ничего на деле-то; может быть, ящик-то из Италии ему и совсем не нужен, может быть, завтра же пожертвует им в пользу Авдотьи Семеновны или другим каким образом распорядится; но все-таки этим ящиком я успел найти в человеке, угодить. Я умел забежать кстати; оно хорошо, оно пригодится; кстати забежать всегда пригодится...» — и Фома Фомич заснул с мыслями о том, на что пригодится иногда забежать кстати.

С своей стороны Софья Ивановна сначала думала о пунштике, потом мысль ее весьма постепенно перешла к лентам на чепце Натальи Васильевны и восьми фунтам телятины, замененным икрою; потом еще постепеннее перешли они к Ванюше, тузящему в правую щеку своего папеньку, и новым башмакам Нади; далее занялась она дороговизною дров и полтинником, сданным ей когда-то каким-то купчиком недурной наружности, у которого был разодранный рукав... она долго и заботливо думала о кренделе кумушки Арины Петровны и, наконец, с удовольствием остановилась на дородстве Силы Мамонтовича...

Верочка долго мечтала о Волоскове; мысли ее также переходили в разные стороны, но однако все вертелись вокруг любимого предмета. Что ж касается до Любы и Нади, то они просто заснули. Вообще все три были очень довольны, что попрыгали.

Но Савишна была недовольна; во-первых, потому что Михайло Михайлович Желчный сказал ей, что она вчерашняя-давишня, тогда как всему свету известно, что она уж ба́бий век доживала; во-вторых, что сильно заругалась хозяйка.

Неизвестно, на чем еще бродили ее мысли; но достоверно известно в этой совершенно правдивой истории, что Савишна долго потягивалась, много зевала и несколько раз приподнималась на руке с кровати, чтобы прикрикнуть на голодную кошку, с каким-то остервенением глодавшую кость:

— Брысь! ты окаянная!!

Д. Григорович

СБОРНИК

РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ

„ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕРШИНЫ, ОПИСАННЫЕ Я. БУТКОВЫМ“



НАЗИДАТЕЛЬНОЕ СЛОВО О ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕРШИНАХ

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЛЕНТОЧКА

ПОЧТЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

БИТКА

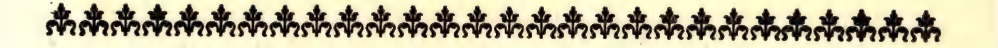
СТО РУБЛЕЙ

ПЕРВОЕ ЧИСЛО

ХОРОШЕЕ МЕСТО

ПАРТИКУЛЯРНАЯ ПАРА





НАЗИДАТЕЛЬНОЕ СЛОВО О ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕРШИНАХ

Из всех столиц древнего и нового мира, может быть, один Петербург имеет оригинальное удобство стоять на зыбком, земноводном основании, в уровень с морем. Его острова, образованные из топких болот ужасным количеством свай, исполинскою насыпью, возвышаются над горизонтом Невы и дикой, невозделанной почвы, подобно холмам Рима и Цареграда. На островах, в пределах Лиговки и Невки, разрастаются в вышину и ширину здания, которые при зачатии Петербурга были не более как мелкие домишки на *голландский манер,* достойные какого-нибудь *Шлюшина,* а потом, в полтора века, обстраивались флигелями, расширялись и, сомкнувшись в тесные ряды, вдруг кинулись многими этажами в свободное, подоблачное пространство, и все это пространство, охваченное душными или холодными клетками, под человеческим названием комнат, перегороженное на бесчисленные закоулки под немецким названием квартир и российским — хватер, особливо небесная, приболотная и чисто-болотная линии, битком набито разным народом, составляющим особое петербургское человечество, говорящее особым петербургским наречием. В середине между первою и последними из упомянутых линий уже не сжато, а просторно, удобно, комфортабельно обитает блаженная частица того самого человечества, собственно именуемая Петербургом.

И несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом, *всем* Петербургом, как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом, лечащееся болотными испарениями, не значит ничего, даже вовсе не существует! И если говорится о единодушном движении Петербурга, о мысли, о мнении, о радости, о скорби, о наслаждениях и заботах Петербурга, то понимаются движение, мысль, радость, скорбь, наслаждения и заботы одной срединной линии, и если книги пишутся — пишутся для срединной линии, и если в книгах описываются люди и действия людей, то люди непременно, «под великим штрафом», должны принадлежать к срединной линии и действия совершаться в срединной линии, иначе книга будет бестолкова, *грязна,* и сочинитель книги — *мужик,* не знающий света и галантерейного обхождения.

Да будут навеки святы и ненарушимы учения, понятия и условия относительно блаженной линии *всего* Петербурга; да разрастается он в ширину, в глубь и в вышину, да укрепляется более и более в своих болотах и понятиях на своих островах и сваях! Здесь нет противоречия, ни мысли противоречия, и если сказано слово о таком высоком предмете, какова срединная линия, то сказано в смысле согласия со всем касающимся ее исключительности.

Люди, занимающие упомянутую выше, небесную линию, или *Петербургские вершины*, имеют много общего в жизни с обитателями подвалов и первых этажей, с *Петербургским низовьем;* но еще более — несходства между ними, и потому переселись даже *верхний* человек к *срединным* или *низовым* людям, его переселение будет непроизвольное, совершится по не зависевшим от него или по встретившимся ему обстоятельствам. *Верхний* человек всюду останется *верхним* человеком, всюду перенесет свои понятия и свои страсти. Вообще, сошествие верхнего человека долу бывает по двум главным причинам: он или разбогатеет и занимает бельэтаж, наполняя его своею атмосферою, в которой движется прежним порядком, пока постепенно влияние иной атмосферы бельэтажных туземцев не привлечет его в свою орбиту, или предавшись какой-нибудь положительной индустрии, как-то: сочинению проектов для радикального преобразования Вселенной, или просто сочинению доносов и ябед, или просто — раздаче скопленного беспорочною службою капитальца, по частям, в верные руки, под благонадежный, несгораемый залог, за десять процентов в месяц, переходит в среду людей низовых, промышленных, которым он наиболее может быть полезен, и поселяется в нижнем этаже или в подвале. Есть еще и другие причины, по которым *верхний* человек становится обитателем *низовья*, но это причины случайные, побочные, не имеющие никакого отношения к особенности и самобытности жителей *Петербургских вершин*; при том же — «по Сеньке и шапка», говорят на этих вершинах, и «виден Сенька по шапке», говорили древние москвичи, изобретшие эту пословицу,— следовательно, куда бы ни попал верхний человек, он всюду заметен, хоть и не по шапке; нынче все головы покрыты одинаковыми шапками, а все-таки заметен.

Восхождение низового человека на *Петербургские вершины*, как и всякое восхождение, несравненно затруднительнее сошествия оттуда в Низовые. *Низовые* люди, будто болотные растения, крепко держатся своей почвы и почва их держит. Их дела, виды, надежды, страсти и стремления имеют исключительным, постоянным поприщем землю; между ними нет поэтов, которые уносились бы мыслию в облака, ни честолюбцев, которые мечтали бы о верхних этажах, это, одним словом, разумеется деревянный мужской род, люди *крепкие земле*.

Но есть между ними существа, ясно доказывающие, что они не болотные растения и не крепкие земле: это легкий, эфирный, женский род, по свойству одинаковый во всех линиях: надболотной, приболотной, болотной и подболотной; они не разграничены в понятиях, выгодах, стремлениях, подобно мужскому роду; все они и всюду имеют одно понятие — о любви, одну выгоду — в любви, одно стремление — к любви, и она-то, любовь, странное чувство, которое мужской разум и мужской эгоизм давно пренебрегли и бросили как *занятие*, не ведущее ни к чему, она-то часто извлекает женщину из недр земноводного семейства и, возводя на *Петербургские вершины*, заставляет ее любить во втором этаже, проклинать любовь в третьем, страдать за любовь в четвертом, торговать любовью в пятом, каяться

и умирать от последствий любви еще выше, под самою кровлею, в помещении, не носящем даже имени этажа, называемом просто: *каморкою повыше*.

Эти-то странные обитатели подоблачных вершин Петербурга занимают первое место в следующих очерках, и этим очеркам сознательно не дано названия «Очерков Петербурга» или иного, относящегося к Петербургу вообще. Здесь действуют особые люди, которых, может быть, Петербург и не знает, люди, составляющие не общество, а толпу; но хотя это и толпа, однако толпа самобытная, не бесстрастная, не бессмысленная, движимая чутьем, а смирившая в себе страсти и желания положительным началом мудрости — опытом и повседневною зависимостью от средних и низовых обитателей, от чужих страстей и чужих обстоятельств. В этой толпе есть люди, которых скорби и радости определяются таксою на говядину, которых мечты летают по дровяным дворам, надежды сосредоточиваются на первом числе, честолюбие стремится к казенной квартире, самолюбие — к пожатию руки экзекутора или начальника отделения, сластолюбие — в кондитерскую; есть люди, многие люди, гордящиеся знакомством с хористкой, хвастающие обедом в два рубля ассигнациями, приходящие в восторг от Екатерингофского гулянья*, упадающие духом от неожиданного возрождения самих себя в образе маленького ребенка.

И там же, во мраке неведомой Петербургу существенности, иногда пронзительною молнией блещет мысль, которая, будучи выражена не *нашим* словом, низведена долу, в среду общества, обитающего ближе к земле, сочувствующего земным интересам, быть может, благотворно действовала бы на самое общество; но *здесь* ей суждено коснеть и исчезать в том же мраке. А если изредка и проскользает она в произведении литературном, то проскользает не иначе как преследуемою контрабандою, облеченная в странные образы, и в этих образах, то фантастических, невероятных, то скучных от частого появления, она недоступна не только равнодушному читателю, который, не разумея особых обстоятельств, требует от книги мысли и ясности мысли, но и строгому судии, торопливо пробегающему книгу по обязанности отыскать в ней бессмыслицу, и даже тому, кто с постоянным вниманием наблюдает, чтобы в ней не было ничего, кроме бессмыслицы!

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Глава первая, в которой описываются маленькое жалованье и крошечные люди

Внимательного наблюдателя, не имеющего другого занятия, кроме чтения объявлений в «Полицейских Ведомостях»* и странствования по улицам, переулкам и кондитерским богохранимого града Санкт-

Петербурга, поражает изобилие *порядочных людей,* разнящихся между собою образом жизни, возрастом, важностью взгляда, цветом перчаток, но имеющих одно общее свойство — жить на счет ближнего.

Здесь не подразумеваются те порядочные люди, которые служат в разных местах и существуют жалованьем, наградами и приношениями доброхотных дателей.

Изображается, говоря высоким философским слогом, самоздательная и самозаключительная самость порядочного человека.

Лев Силыч Чубукевич, нося девственный чин коллежского регистратора, вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком. Он получал двадцать пять рублей ассигнациями в месяц жалованья и десять рублей в год награды. Во дни этого получения он хаживал в кухмистерскую, где за полтину медью обедал не только гастрономически, но даже с *бешеным восторгом.* После такого обеда ему снились суп со свининою, жаркое из свинины и еще какое-то непостижимое блюдо, вроде самого животного с начинкою. Потом ему уже ничего не снилось, и он спокойно питался печенкою и колбасою, которые забирал в мелочной лавке, в долг, до вожделенного первого числа.

В Чубукевиче было развито чувство приличия в превосходной степени. Возвращаясь из департамента домой, он никогда, кроме самых темных вечеров, не решался купить вышеозначенного снадобья на мосту, лучшего качества и за половинную цену против лавочной. Напрасно дух-искуситель, в виде здравого рассудка, говорил ему: «Чубукевич! несчастный, бесталантный Чубукевич! не робей! купи этой свежевареной, благоухающей печенки и этого горячего картофеля! купи, глупец, на гривну! И тот будет также не умен, кто осмелится указать на тебя пальцем: «Вот, дескать, чиновник!» Купи же! Ты не виноват, что, высиживая себе в продолжение осьми часов в сутки чахотку, не высидел тарелки супа! Ты бедняк, ты лошадь! Ты не должен *самозаключительно* заключать о том, что те, которые получают по пятнадцати тысяч, ездят в каретах, живут в чертогах...»— Чубукевич не внимал коварному голосу! Уже мост с соблазнительным кушаньем был далеко за ним, и он, спотыкаясь, поднимался по узкой, грязной и темной лестнице в свою каморку в пятом этаже, на заднем дворе, в Гороховой.

Лишения и нужды сделали из Чубукевича род ходячей машины для письма, приводимой в движение столоначальником и экзекутором. Не было насмешки, не было уничижения, которых бы он не снес терпеливо и молчаливо. Сознание ничтожества и безнадежности его положения убило в нем весь запас самолюбия, а запас этот, по соображению крошечного ранга и недальнего воспитания Чубукевича, долженствовал быть весьма значителен. И он стал одним из тех людей, которых без разбора называют лошадьми и пошлыми дураками и которые ждут только одного сильного толчка, одного нравственного потрясения, чтобы или вовсе одуреть и переехать на постоянное жительство на девятую версту*, или выказать и доказать ум обширный, опытность изумительную.

Глава вторая, объясняющая благодетельное влияние семерки на развитие человеческих страстей

Несмотря на крайнюю скудость своих способов, Чубукевич не ударился лицом в грязь, когда товарищи поздравили его с получением чина и напомнили ему, что, по обычаю, надобно *спрыснуть* эту обновку. Все они получили приглашение завернуть к нему «на чашку чаю», и завернули: кто с Литейной, кто из Коломны, кто с Выборгской стороны, а сам столоначальник, особа, к которой даже не осмелились отнестись с приглашением, удостоил его неожиданным посещением, приехав из Новой Деревни.

Для такого высокого гостя и угощение долженствовало быть приличное; и вот, не успел еще «сам столоначальник» подать Чубукевичу указательный перст для пожатия, а тот уже отправил свою хозяйку с новеньким фраком к одному благодетелю рода человеческого, снабжающего нуждающихся деньгами, до десятой части стоимости залога, за десять процентов в месяц, вычитываемых из одолжаемой суммы. Получено было, сверх чаяния, по уважению давнего знакомства, двадцать рублей, и за эти деньги куплены две бутылки настоящего шампанского. *Высокая самость* — это название ученый столоначальник давал особам выше осьмого класса, а почтительные подчиненные дали его самому ученому столоначальнику — иных напитков употреблять не соизволяла!..

Когда бутылки и другие сосуды с жизнедательною влагою были опорожнены, в маленькой комнате пятого этажа воцарилась искренность и веселость. Гости и хозяин разговорились о различных удовольствиях, встречающихся в этой скоротечной жизни. Столоначальник выше всего ставил Итальянскую оперу, а за нею преферанс; другие отдали предпочтение хорошему жалованью и казенной квартире, с отоплением и освещением, а Чубукевич заметил, что, по его мнению, обед, начинающийся горячим супом и оканчивающийся холодным киселем со сливками, есть совершеннейшее и недостижимейшее из наслаждений — сок блаженства!

— Изберем же, господа, из всех этих удовольствий то, которое возможнее для нас в нынешний вечер. Я разумею преферанс,— сказал столоначальник.

— Хорошо! Станем играть в преферанс,— отвечали гости.

— Что преферанс, господа,— воскликнул Чубукевич,— что за игра без всяких, почти без всяких последствий?

— Неужели вы играете в банк?

— Я никогда еще не играл ни в какую игру; до смерти боялся проиграть! Сами посудите... но теперь — куда не шло. Попробовал бы счастья! Мне отроду не случалось испытывать ничего вроде счастья!

Винные пары вскружили все головы и в особенности голову Чубукевича, который в обыкновенном состоянии духа ни за что не отважился бы загнуть угол* на родную копейку.

— Идет!— закричали гости,— идет банк!

— Матушка, Степанида Андреевна, заприте двери!

Все гости имели при себе полученное в этот день жалованье, а у

столоначальника, кроме того, была еще в наличности чувствительная благодарность челобитчиков. Чубукевич, издержавшийся на угощение, достал со дна сундука старые рубли, с незапамятного времени хранившиеся на *черный день.*

Высокая самость метала банк. Не прошло и четверти часа, как все понтеры*, кроме Чубукевича, очистили свои карманы, потребовали сильнейшего пунша и стали мрачными зрителями игры, сосредоточившейся между столоначальником и его подчиненным.

Несколько убитых карт отрезвили Чубукевича; он очнулся, увидел, что находится в опасности проиграть все, скопленное им в несколько лет тяжкими лишениями; но отказаться от игры он не имел силы; желание и надежда отыграться побуждали его понтировать. Счастие, впрочем, не вовсе пренебрегло им: семерка выиграла; он загнул угол, и — выиграл; еще угол, и еще выиграл!

— *На пе!*— воскликнул он, ломая карту.

— Выиграл! Что за дьявольщина! Тебе решительно везет в этот вечер! — говорили проигравшиеся.

— *Ва-банк! Темная!*

Тоска, сжимающая сердце при выжидании, направо или налево упадет карта, восторг, доходящий до бешенства при выигрыше, желание овладеть всем, что осталось у банкомета, страх потери всего, что уже выиграно,— все это преобразовало Чубукевича мгновенно и радикально: лошадиная бесчувственность ко всему заменилась огненною, дотоле им не испытанною страстью. Он увидел, что не все не везет ему, испытал искусительный способ приобресть в одно мгновение то, что высиживал тяжкою, неблагодарною работою в целый месяц. И вот в исступлении, в нравственной горячке, обыкновенно овладевающей новичками в игре, Чубукевич произносит дрожащим голосом: «Ва-банк! Темная!»

Без выбора он выдернул из старой колоды одну карту, то была — опять семерка. В ней казалось что-то таинственное, роковое... Уже несколько раз сряду она выигрывала; уже потрясла она душу Чубукевича до такой степени, что он не мог быть снова лошадью. Но чем же быть ему? Что значит эта постоянная удача в одной карте? Умилосердилась ли судьба над его злою долею и послала ему новое, светлое бытие, или эта удача есть последнее коварное искушение демона, чтобы горьче, безотраднее была для него жизнь?

Голова его горела, глаза налились кровью. Наступила минута ожидания; то была адская минута! Он уже раскаялся в своей жадности. Злой дух шептал ему: «Чубукевич! ты проиграешь! Почему ты не кончил на том, что приобрел: тут столько серебряных рублей, сколько дней в году, сколько ни имел ни ты, ни отец, ни дед твой! Эта золотая существенность обратится для тебя в коварный сон; но ты не уснешь уже никогда, ты одуреешь с тоски!»

Молчание. Слышалось биение благородных сердец под вицмундирами. Банкомет творил дело свое тоже не с прежним спокойствием: руки его дрожали и пальцы не воздержались бы от поползновения передернуть роковую карту, если б он знал ее. *Темная* как будто для то-

го, чтобы более помучить понтера и банкомета, долго не показывалась. Талия исходила*...

— *Атанде!** — кричит Чубукевич в неистовом восторге, вскрывая *семерку.*

— Опять семерка! Какое дьявольское счастие!— воскликнули гости.

— Банк мой сорван! Пора домой, господа! — сказал банкомет, стараясь скрыть досаду и огорчение.— Прощайте, почтеннейший Лев Силыч, благодарю за угощение!

— Прощайте, Лев Силыч!— повторили гости уходя.

— До свидания, господа! Покорно благодарю за посещение! Извините, пожалуйста, что такой случай вышел.

— Известное дело — случай! Спокойной вам ночи.

И они ушли, оставив на засаленном столе Чубукевича столько денег, сколько ему никогда и не снилось. Сочтя деньги и положив их под подушку, он лег спать, но ему не спалось. Несколько раз он принимался глядеть на деньги, чтобы удостовериться, точно ли наяву он владеет ими; потом он начал рассчитывать, сколько лет надлежало бы ему служить в департаменте, сколько надобно было переписать отчетов и отношений, сколько должно было получить выговоров от столоначальника, замечаний от экзекутора, и не мог расчесть: суммы, годы и карты перепутались в его воображении, и он только повторял про себя: «О, много, много!»

Потом вспомнил он, что в нем не признают ни способностей, ни чувства, ни души; что нет предмета столь пустого, о котором бы ему позволили «свое суждение иметь»*. А почему? Потому что он питается печенкою, живет на чердаке, ходит в изношенном платье с толкучего рынка! Вспомнил он, как живут-поживают другие люди, *чем* они живут, *какие* у них способности, и как над этими людьми никто не смеется, никто не ругается, как уважают и принимают их всюду!.. А почему?

«Теперь у меня есть все: и способности, и чувство, и душа!»— думал он, засыпая.

Глава третья, досконально доказывающая, что с порядочным количеством денег мелкие люди делаются порядочными людьми

Нужно ли распространяться о том, что каждый бедняк, каждый глупец — одно и то же — каждый бесталанный горемыка, чародейственною силою рублей превращается в весьма хорошего человека, даже в весьма разумного человека, благородной наружности, внушающей уважение, и даже в человека с отличными дарованиями и интересною наружностью, в которой есть что-то такое особенное, этакое!.. Ясно, что разум и дарования заключаются в самых рублях, а рубли сообщают свои качества тем, у кого они в руках.

Чубукевич, проснувшись на другой день, чувствовал себя уже порядочным человеком. Самодовольствие и самонадеянность проникли в душу, дотоле доступную одному унынию, цепеневшую под ледяным гнетом насущных нужд, насмешек товарищей, пренебрежения стар-

ших. Прежде, до этого благодатного вечера, он никогда не рассуждал, боялся рассуждать, и рассуждения его, когда они против воли втирались ему в голову, были нескладны, жалки, глупы, так что он сам, махнув рукою, говаривал про себя: «Прав Тихон Карпович, куда мне рассуждать! и для чего? Что выйдет? решительно ничего! Лучше мне переписывать набело». Теперь, напротив, рассуждалось так смело, так умно, и умно потому, что смело. Соображения разных причин приводили к объяснению самых оригинальных последствий. Он сообразил и нашел удобоисполнимым отныне впредь выезжать или выползать ко всем благам мира сего не на своей груди, в которую стучалась чахотка, а верхом на чужой спине, по примеру многих других порядочных людей, подчиненных и начальствующих.

Прежде, опоздав четвертью часа, он на цыпочках прокрадывался по канцелярии к своему столу, принимался за работу и, между тем, как на него сыпались выговоры и насмешки, писал, не оглядываясь, по крайней мере, целый час; потом робко поднимал голову и обращался к своему столоначальнику: «Извините, Тихон Карпович! Такой случай вышел!.. Вот я уже и переписал!» Теперь смело и бодро прошел он к своему столу, хотя опоздал двумя часами; в глазах и в лице его выражалось даже что-то такое, чему сначала не верили чиновники: им показалось, будто он надсмехался над ними, будто хотел сказать: «Вот вам и лошадь, господа!» Столоначальник, увидев его, не сказал, как прежде: «Наконец и Лев Силыч удостоили явить себя миру и департаменту!» Все было иначе, нежели прежде: на него глядели с неподдельным уважением; столоначальник, прежде только в минуту величайшего благорасположения удостоивавший подавать ему палец для пожатия, теперь сам дружески жмет ему руку, говоря: «Заспались? С вами в первый раз случилась вчерашняя оказия? Да и чисто, нечего сказать, вы нас обобрали! Кстати: что это вы не бываете нигде, кроме департамента и своей подоблачной квартиры? Это дурно! Все думать, да писать, да опять думать — можно дописаться до чахотки, додуматься бог весть до чего! Если хотите, я познакомлю вас в некоторых домах, где собираются порядочные люди?»

— Сделайте одолжение, Тихон Карпович; я очень рад!

— И хорошо! К чему все корпеть над бумагами! По совести, любезнейший, нам с вами пришлось бы умереть десять раз, прежде чем мы достигли бы управления министерством или даже департаментом!

В первый раз *высокая самость* удостоила своего подчиненного столь дружелюбного объяснения, вероятно, ведая, что Чубукевич, после вчерашней схватки, может пренебречь его покровительством, или по другим причинам.

Чубукевич сделался героем для всей канцелярии. Он получил десять приглашений на обеды, на вечера, на пикники, и ни от одного не отказывался. Поняв случайность и шаткость своего положения, он торопился утвердиться в нем и достигнуть верха блаженства — жить на чужой счет. Он смекнул, что приязнь и уважение, встреченные им вследствие счастливых углов, продлятся не долее той минуты, когда его оберут и пустят нищим. Он видел коварную цель этой внимательности, которую оказывали ему люди, прежде беспощадные, расточи-

тельные на насмешки над ним, всегда готовые на унижение его, и занялся развитием своей *самозаключительности* обо всем, о чем прежде не смел заключать, усовершенствованием своей *самости,* чтоб не нуждаться ни в чьем руководстве, не сделаться жертвою коварства и быть истинным, оригинальным, порядочным человеком.

Быстро шли его знакомства, связи, успехи и образование под волшебным влиянием углов и транспортов*. До какой степени развил он свою *самозаключительность,* явствует из того, что он не уронил себя в финансовом отношении ни при одном случае, и когда счастие изменяло ему, она, *самозаключительность,* спасала его за малые пожертвования.

Через месяц он казался таким порядочным человеком, что в нем и узнать нельзя было прежнего скромного, измученного, бессмысленного, оборванного печенкоядца. Уже обед, «начинающийся горячим супом и оканчивающийся холодным киселем», не был для него блаженством блаженств: он обедал у лучших рестораторов столицы. Он узнал, испытал и *самозаключительно* обсудил многие другие наслаждения, растущие вдоль Невского проспекта, от танцевального Общества до Знаменского моста. Он умел порядочно говорить о пустяках, напевал итальянские арии, бывал во всех театрах, пренебрегал русским, терпел немецкое, обожал французское и приходил в неистовый восторг от итальянского; в департаменте занимался лениво, и когда экзекутор замечал ему это, он отвечал, что цена труда его все-таки превышает цену трех фунтов печенки, и подал в отставку.

Роскошен и весел был прощальный пир, который дал Чубукевич своим прежним сослуживцам. На другой день мелкие чиновники хвалились, что каждый из них выпил и съел, по меньшей мере, на шесть с полтиною, и что это ужасно, если расчесть хорошенько. Сам столоначальник, по своему высокому положению не входивший в подобные расчеты, объявил, что Чубукевич, в настоящем своем виде и качестве, представляет редкий физико-моральный факт: «оригинальную, самозаключительную *самость* порядочного человека».

Глава четвертая, из которой явствуют дальнейшие успехи Чубукевича в качестве порядочного человека

Порядочный человек имел доброе, чувствительное сердце: он с одинаковой готовностью давал копейку серебром нищему и сто рублей промотавшемуся приятелю; но если этот приятель встречался с ним в душеспасительном занятии, Чубукевич не затруднялся обобрать его до нитки.

Он, однако, не принадлежал к числу тех артистов, которые посвящают себя безусловному служению *даме.* Он был столько опытен, что занимался картами не как ремеслом, обеспечивающим существование, а как изящным искусством, приличным и полезным порядочному человеку. Он понял перевес существенных неудобств и опасностей в звании *игрока* над мимолетною, неопределительною выгодою, и потому старался быть и слыть не игроком, а *порядочным человеком.* Отсюда возникает последствие высокой важности: так как порядочный че-

ловек должен уметь пить, петь, любить и, *между прочим,* играть, то чем более в нем этого уменья, тем выгоднее и ярче отделяется он от толпы обыкновенных чиновников, играющих в карты с явным намерением составить себе из этого занятия профессию, выиграть какой-нибудь рубль на покупку говядины или дров.

Глядя проницательно на житейские обстоятельства и условия, Чубукевич озаботился предпочтительно пред всеми иными благами о расширении круга, в котором сам становился более и более сияющим и притягивающим центром. Ловкий и хитрый, он незаметно *пытал* и изучал сердце, бумажник, понятия и страстишки всякого, кто попадал в его орбиту.

С помощью этих способностей он со дня на день приобретал новых знакомцев. То были люди всех родов, каст, возрастов, значений: и важные департаментские чиновники, со своими Аннами на шее*, и первогильдийные купцы со своими сдобными женами и дочками, еще более важные по денежным причинам, и немецкие магазинщики со своими магазинщицами, и актрисы со своими откупщиками, и содержатели танцклассов со своими посетителями, и, наконец, разные мелкотравчатые господа, приязнь которых была чиста, бескорыстна в превосходной степени; не требуя от Чубукевича ни малейшей взаимности в дружбе, они довольствовались одною честию угостить его шампанским на последние деньги, для того чтобы на другой день иметь право сказать приятелю, не имевшему этой чести: «Вчера были деньги, да попался Чубукевич. «Ну, что!»— говорит.— Такой милый малый! Я *взял* да и потребовал пару бутылок! Что делать! угости, говорит, а не угостишь, так мы с тобою не друзья!».

Таким образом, Чубукевич возымел странное, исключительное значение в своем кругу, и круг этот был весьма обширен, охватывая собою все третьи и четвертые этажи Адмиралтейских частей, а в отдалении от средоточия Петербурга даже вторые этажи, одним словом все *Петербургские вершины.* И весь этот народ, разнообразный, самолюбивый и, большею частию, глупый, представлял в отношении к Чубукевичу приятное единство и сплошную глупость. Все ласкали его, уважали, и для многих он был даже необходим; пылкие офицеры считали его добрым, любезным малым, и еще более пылкие купцы обожали его как человека, который хорош на все и мастер *распотешить.* И пред ним смягчался свирепый петербургский эгоизм, страшное порождение полугодовой зимы и болотных испарений; для него бывали светлые явления дружбы, невозможной в меркантильном веке; пред ним развязывались кошельки закоснелых скряг, для которых уже не существует в жизни никакой радости, ни ясной мечты, ни филантропических заблуждений, которые все поняли и обсудили, из всего извлекли адскую существенность и существенность сосредоточили в кредитных билетах; его угощали дорогим обедом у Дюме* люди, получающие десять целковых в месяц жалованья; им восхищались, его находили любезным, занимательным, интересным такие господа и госпожи, которые давно уже разочарованы всем, кроме себя, не восхищаются ничем, кроме себя, не находят интересным ничего, кроме себя.

Глава пятая, в которой порядочный человек гуляет по Невскому и заходит в гостиницу на Вознесенском проспекте

Чубукевичу нередко случалось занимать деньги без отдачи, гнуть углы и совершать другие дела, которые не сошли бы с рук у иного, менее порядочного человека, менее изучившего сердце и дух петербургских туземцев. Он однако не позволял себе увлекаться жадностью, овладевающею даже благотворительным человеком при очевидной возможности *погреть* руки, ни своим господствующим положением среди обитателей Петербургских вершин. Он был дальновиден и хитер в превосходной степени, дальновиден и хитер как человек, созданный нищетою. Поэтому он выжидал таких обстоятельств, которые обеспечили бы ему прочное и более важное значение, и пока он выжидал, у него бывали и черные дни: кошелек его пустел, и в перспективе не представлялось ни малейшего кредита, ни одной дружеской компании, где можно бы «пустить на пе»; тогда он сидел в квартире и читал «Полицейские Ведомости», иных газет и журналов он терпеть не мог по причине стихов и сельского хозяйства.

Но лишь только он добывал денег, им овладевало лихорадочное беспокойство: он торопился вознаградить себя за потерянное время, вновь пройти все наслаждения, от самого пошлого — дремать в кондитерской за чашкою шоколада, до самого упоительного — сорвать банк, и с этой целью отправлялся на Невский проспект.

В одну из таких прогулок он повстречался в кондитерской с искренним своим приятелем, а приятелей всякого рода и звания, как выше объяснено, было у него множество, и он делил их на два разряда: *на очищаемых и очистителей*. Очищаемые были простые приятели, приятели на ту пору, когда имели деньги и могли подвергаться действию *очищения*. Очистители, напротив, были постоянные приятели, сотрудники порядочного человека в деле очищения, сколько можно назвать сотрудниками людей, подобно прочим, сильно очищенных уже Чубукевичем, и только по уважению их фанатической преданности, не потрясаемой никаким очищением, принятых в искренние приятели. С ними Чубукевич был прост и откровенен. Между порядочным человеком и очистителем, которого он встретил в кондитерской, произошло следующее объяснение.

— А!— сказал очиститель.

— А! — воскликнул Чубукевич.

Рукопожатие.

— Ну?— спросил очиститель.

— Ну?— в то же время спросил порядочный человек.

Молчание. Через минуту очиститель снова заводит разговор.

— Что тебя не видать нигде целую неделю?

— Страдал чахоткою в кармане. К счастию, один *бычок* вздумал заплатить старый долг!

— Кстати: нет ли у тебя лишнего бычка? Крайне нужно! А не то хоть взаймы дай что-нибудь.

— Бычка нет, а деньги берегутся на обороты в нынешний вечер. Завтра дам, пожалуй. Впрочем, если ты будешь сегодня в «очисти-

тельном» обществе, то обойдешься без моей услуги; мне самому крайне нужны деньги. Черт возьми! Целую неделю потерял понапрасну! Пойду искать *бычка!*

Бычок — слово техническое, подразумевается не рогатый недоросль из породы мычащих, а персона говорящая, совершенно человеческого вида и чисто бычачьего свойства. Слово это изобрел и пустил в ход порядочный человек.

— Хочу радикально перемениться,— продолжал Чубукевич, обращаясь к очистителю.— Хочу, внимай: хочу жениться!

— Жениться! Вот выдумал! Какой же ты будешь порядочный человек, когда женишься?

— Надоело существовать одними этакими оборотами! Что нет ничего положительного, солидного. Женюсь и стану *почтенным* человеком.

— А, почтенным! Это другое дело! В твоей наружности и теперь есть что-то подозрительное, почтенное!

— Что наружность! Почтенные и всякие наружности делаются так же, как пирожки с ванилью! Пустяки для *знающего* человека! Надобно только найти, во-первых, пристойного *бычка,* для заключения холостой жизни, как следует порядочному человеку, и, во-вторых, пристойную персону — лет не старее пятидесяти; с толиким же не менее числом тысяч приданого!

Приятели расстались, назначив себе свидание в очистительном обществе. Чубукевич направил путь в одну из гостиниц Вознесенского проспекта. Там останавливаются большею частию приезжие из степных губерний помещики, закладывающие свои имения в банк и проигрывающие их в банк; советники по винной и соляной частям, люди денежные по разным причинам, люди, возвращающиеся из отпуска, вырвавшиеся из родительских объятий, получившие на дорогу благословение в виде полного бумажника; купцы, приехавшие «Москву брать», и разные другие господа, прибывшие в Петербург без всякой служебной и деловой цели, так, взглянуть на Неву, на Исаакия, на Невский проспект, на Александровскую колонну и на прочие редкие вещи, которых нет у них, в степных губерниях!

В гостинице, куда пришел Чубукевич, он был известен одному половому под именем *хорошего барина,* потому что имел бобровый воротник на бекеше, а другому — под именем *ликерного барина,* потому что выпивал несколько рюмок ликера в каждое свое посещение.

Половые — народ известно какой; они то столбнем стоят перед посетителем, будто наблюдая, как он ест, а в самом деле слушая, что он говорит; то сами рассказывают снисходительному слушателю трактирные происшествия. Чубукевич давал полную волю словоохотному половому говорить все, что ему вздумается, не показывая особого внимания к его вестям, но принимая их к сведению и надлежащему в потребном случае соображению.

Когда он занял в гостинице обычное место в углу комнаты, половой, не ожидая приказания, принес ему графин с ликером и стал перед ним с разинутым ртом, готовым разлиться повествованием обо всем, что случилось и что еще не успело случиться между последним и на-

стоящим посещением *хорошего барина,* он же и *барин ликерный.* Он ожидал только, пока Чубукевич выпьет другую рюмку, потому что после первой его милость ничего не слушала.

— Ну! — сказал Чубукевич.

В то же мгновение из уст полового полился следующий рассказ непрерывно, однообразною скороговоркою.

Глава шестая, в которой Чубукевич находит бычка. Рассказ полового

«А надысь был сам надзиратель. Что, говорит, у вас всякие люди живут? Нет, сударь, ваше благородие, не всякие, а хорошие люди с прачпортами, как следует, и ни копейки не прибавим. На то порядок соблюдаем: больше порядка — меньше подати, как водится. С тем и ушел. На дворнике выместил: в контору призвал, в сибирку засадил; да што!.. Вчера один господин, такой важный: пальто не пальто, шляпа не шляпа,— чай кушал, биштик[1] кушал и проглотил было салфетку камчатную да ложку серебряную; спровадили — такая оказия! Я говорит, благородный, а вы все мужики, мещане! Я, говорит, имеют право приколотить вас, как скотов, и заплачу штрафа годовую подать. Мещанину, говорит, бесчестье небольшое, не то, что благородному: тут, говорит, честь и бесчестье! В Сибири, в каторжной работе, говорит, места не найдешь!— Знаем, сударь, что мещанин не то, что благородный, мы в том не виноваты; а вы, сударь, все-таки не извольте глотать сервизу. Стыдно, сударь! Стращал, боже упаси, какими муками, а под конец, как *сам* будочник пришел, взмолился, сердечный, да што!.. А вот ономнясь*, приехал из какого-то города, Чертоболотного, штоль, и у нас в нумерах остановился купец, молодой, богатый; был он купеческий сын — отец недавно умер; очень хороший человек; грамоте плохо учен. Отец держал его в ежовых рукавицах: заставлял двор мести, в полушубке ходить, в лабазе сидеть; получил полмиллиона наследства; да, што, говорит, за житье в Чертоболотном! Приехал сюда на свет поглядеть. Белья батистового заказал; портному французу велел нашить что ни на есть в свете наилучшего платья; все через меня ведет; сам ничего не знает; такой дикой, хуже нашего брата, полового. Дай-ка нам полмиллиона хоть не рублей, а копеек, не ударим в грязь лицом! Хочет все видеть и иметь, что ни есть лучшего и дорогого, а за что не платится, того и не нужно. Притом конфузится, сердечный, видно, что век просидел в лабазе! Оделся таким барином, что чудо, просто коммерции советник! А скажет слово — беда! Иной раз сам покраснеет. Просил достать билет в Итальянскую*, что хошь возьми, только достань. И рад бы деньгу нажить — не могу, знакомства такого не имею. Теперь мучится; хотел... нивесть чего! Двадцать карет, говорит, нанять, да по всем улицам и по Невскому с музыкой, с песнями проехать, наделать кутерьмы... а после за все заплатить, чтобы всюду о нем говорили. Да здесь не Чертоболотное, сударь — широко не разъедетесь! — А не угодно ли в *очистительное* общество? Ред-

[1] Биштик — т. е. бифштекс. — *Ред.*

костное общество! Чудеса там всякие: и танцевать там, и пить, и есть, и все прочее можно, что только душе угодно да карману сносно. Ну, так поеду в *очистительное*. Что стоит *очистительное?* Пять рублей цена; да знаю, что не захочет — сто рублей, говорю. Возьми, говорит, билет, и взял».

— Нынче вечером едет с знакомым купцом: старик хороший, и больно не любится молодцу, да што, говорит: сам порядка тамошнего не знаю, чтоб не обмишулиться; делать, говорит, нечего: поеду с ним, когда нет товарища по душе. Вот он сам...

— Как его зовут? — спросил равнодушно порядочный человек.

— Чубуков-с, Никита Архипыч, чертоболотный первой гильдии купец.

Раздался звонок; половой исчез; порядочный человек обратил внимание на Чубукова: то была разодетая в пух самая пошлая и самая смешная фигура. Не требовалось большой наблюдательности, чтоб с первого взгляда вполне оценить искателя наслаждений.

Еще не перевелись у нас в глуши миллионщики, которые, сделавшись из мужиков первостатейными купцами, внесли в новый быт старые понятия и содержат детей своих в изумительном невежестве. По мнению этих людей, для того чтобы дети их не промотали богатого наследства, надобно сделать из них нечто вроде говорящих машин, возрастить в душе и сердце их ненависть ко всякому знанию, которое не ведет прямо к сохранению и увеличению капитала. Любя деньги, как все смертные, они отличаются особенным направлением этой любви: они чуждаются всех удовольствий, на которые проматываются другие; воздерживаются от всех благ, которые могут быть приобретены за деньги. Чубуков был один из самых диких наследников. Отец выучил его выкладывать на счетах и читать «Круг Соломонов»*. Он подвергался всевозможным уничижениям и был первым постоянным чернорабочим у своего отца, который, умирая, утешался мыслью, что оставляет своего *Микишку* предобрым парнишкою; но Микишка был себе на уме: похоронив отца, он пустился в Петербург просвещаться и наслаждаться. Воображение его, развитое в лабазе, не представляло ему удовольствий возвышеннее, упоительнее тех, которые требуют чудовищных издержек, и в короткое время он уже вкусил кое-что из просвещения, спустив сотню тысяч, но, чтоб насладиться и просветиться вполне, он чувствовал недостаток в хорошем приятеле, который бы руководил его в лабиринте петербургских удовольствий. К счастью, с деньгами все можно найти в Петербурге — и руководителей, и наставников, и друзей...

Нескольких минут соображения и еще двух рюмок ликера было довольно порядочному человеку для составления плана новому, сто тысяча первому нашествию на чужой карман. Он нашел *бычка*, оставалось овладеть им...

Глава седьмая, в которой порядочный человек просвещает бычка

Бал в очистительном обществе. Чубуков приехал с Лукою Тысячепуговицыным, старинным знакомцем своего отца. Улыбаясь и крас-

нея, искатель просвещения и наслаждений смотрит на дело чудное, дотоле им невиданное, на бал, на танцы, на столичный прекрасный пол допотопной породы, и грешные мысли толпятся в голове его.

Вдруг сильное движение в зале. Толпа офицеров и фрачных людей, о которых нельзя сказать определительно, что они за люди, прежде чем заговорят,— толпа, дотоле двигавшаяся бессознательно, окружила новое лицо, только что появившееся. Раздались восклицания: «Чубукевич! где ты пропадал? Лев Силыч? — Ба! Утешитель! Любезнейший!— Вина Чубукевичу!— Шампанского!— Хочешь шампанского? пойдем со мною!»— «Нет, со мною — у меня есть кое-что важное...»— говорил откупщик, взяв Чубукевича под руку с явным намерением лишить общество золотого человека.— «Что там важное?— возразили офицеры решительным тоном.— Чубукевич принадлежит всем, всему обществу; мы не позволим увести Чубукевича, будто актрису!»

Но Чубукевич на этот раз не имел намерения принадлежать ни откупщику, ни всему обществу. Бросив в толпу несколько соблазнительных анекдотов и назидательных для пылкого юношества изречений, он отправился к той части посетителей очистительного общества, которая, ради единой солидности своей или приличия, весьма строго наблюдаемого здесь *по особым причинам,* не встретила его при появлении громогласным приветствием... Он обошел всех дам и каждой сказал что-нибудь интересное, вызывавшее улыбку и даже смех, и это со своей стороны было особенно интересно для тех, которые не слыхали, что говорил он. Потом Чубукевич обратился к Луке Тысячепуговицыну, к его супруге, женщине, по-видимому, дюжей, и к его дочери, весьма образованной и любезной девице, возбуждавшей в любителях хороших женщин лаконическое замечание, что «тут есть около чего походить». Эта любезная девица была, между прочим, и завидною невестою: за нею пятьдесят тысяч приданого и домишко в Галерной, и по этой причине за нее сватались многие люди *благородного* звания, которое, подобно другим званиям, названиям и именам, сильно кружит разумную голову русского человека: в числе женихов *благородного звания* (чиновных, кроме Чубукевича, который по обстоятельствам своей жизни и по своему остроумию придавал названию чиновника смысл особенный и не назывался чиновником) были многие промотавшиеся отставные корнеты и другие известные своею *удалью* и происхождением, но Тысячепуговицын и слышать не хотел о таких молодцах; несмотря на то что усы и шпоры воинственных корнетов произвели сильное впечатление на сердце его дочери, он решился выдать ее только за человека порядочного, который бы с первого дня супружеской жизни мог сделаться *почтенным человеком.* Выбор его пал на Чубукевича, который пользовался из всей молодежи самою неукоризненною репутациею и подавал большую надежду на превращение в *почтенные люди.* Выбор Чубукевича пал на приданое дочери Тысячепуговицына, которое было самым большим из всех ему доступных приданых и подавало надежду на увеличение законною частию из достояния Тысячепуговицына, когда богу угодно будет воззвать его от сей скоротечной жизни к вечному блаженству.

— Рекомендую вам, батюшка, Лев Силыч, этого молодого челове-

ка: сын моего старинного друга, Никита Архипыч Чубуков,— говорил Тысячепуговицын, представляя порядочному человеку чертоболотного купца первой гильдии.

— Очень рад...

— Никита Архипыч — Лев Силыч Чубукевич, известнейший, прекраснейший человек в Петербурге.

Бычок промычал что-то непонятное; он еще не знал, что говорится в таких случаях, но в глазах его уже сверкнуло удовольствие по причине приобретения знакомства с известнейшим и прекраснейшим человеком в Петербурге.

И вот порядочный человек овладевает бычком, уводит его от Тысячепуговицына, рассказывает ему забавные истории, тьму глупостей, злословит окружающих, объясняет, что за народ эти господа и госпожи, столь вежливые и чинные на бале, и вызывается познакомить его с самыми хорошенькими дамами по собственному его выбору; но бычок упирается против последней статьи: он неловок во всем, особливо с женщинами, и откладывает удовольствие знакомства с ними до дальнейшей выправки своей персоны, до того времени, когда он заучит несколько необходимейших фраз; он торопится только скрепить узел дружбы с порядочным человеком, от которого уже в восторге.

— Вы, никак, скучаете *тутича?*— спрашивает он у порядочного человека.

— Я скучаю? Напротив, я так доволен, беседуя с вами...

Бычок скромно опускает глаза и мычит:

— Не захотелось ли вам, примерно, выпить чего-нибудь, али закусить, тово как оно, просто сказать... без гнусности.

— Как вам угодно! Я не прочь. В таком случае лучше нам уехать отсюда.

— Уедемте *отселича* ко мне, али тово, куда можно.

— В кондитерскую, если хотите.

— Ну, в кондитерскую.

Уходя, бычок остановился в дверях и пристально посмотрел на одну особу, сиявшую красотою и невинностью. Чубукевич, пропустив его вперед, подошел к этой особе, шепнул ей несколько слов и отправился вслед за бычком.

Они уединились в особой комнате в кондитерской, на Невском проспекте.

— *Шинпанского, штоль?..* У нас ни почем!— воскликнул бычок.— Гей! Шинпанского полдюжины!

Подали шампанское; пробки хлопнули; сердца скороспелых друзей взыграли радостью.

— *Оченно* весело жить у вас *тутича!*— молвил бычок.

— Да; но вы, конечно, не испытали еще всех удовольствий петербургской жизни! Я готов, где понадобится, содействовать вам...

— Спасибо вам! *Ужотка* мы хорошенько побаем про это, а *теперича,* тово... Чего бы нам еще?..

— Мне ничего не нужно; но если вы хотите, не мешает потребовать бисквит к шампанскому и пирожков с ванилью. Приятное лакомство!

— Вот *што* люблю, так люблю! *По-нашенски* — требуй всего, чего душе захотелось! Гей, *бисквитов,* пирожков с ванилью и всяких сладостей!

— Кстати: я хотел расспросить вас еще на бале... чуть ли мы не родня между собою: ваша фамилия Чубуков, моя Чубукевич; вы родом из Чертоболотного — один из предков моих там поселился. Я имею сильную причину думать, что мы родные.

— Ой ли! Расскажите, пожалуйста! Славная была бы штука!

— Наш род Чубукевичей происходит от Османа, Чубукчи-Баши, то есть Османа, начальника трубконосцев султана Магомета, покорителя Цареграда. По гаремным интригам, султан многомилостивый приказал однажды отрубить Осману голову; друзья успели известить его об этом, и Осман с частью своих сокровищ бежал в Польшу; там он принял христианскую веру, женился и прозвался паном Чубуком. Впоследствии, за услуги, оказанные им в войнах Польши с Турцией, король польский пожаловал ему достоинство грабия, по-нашему графа. Два сына его, графы Богуслав и Богумил, назывались уже не Чубуками, а Чубукевичами, по происхождению своему от Чубука; один из них выехал на Жмудь, другой в Россию, в Чертоболотное. Жмудские Чубукевичи, среди политических переворотов в Литве и Польше, утратили свое графское звание, а Чубукевичи русские, назвавшиеся в Чертоболотном Чубуковыми, лишились даже дворянского достоинства и записаны в однодворцы...

— Точно! Дед и отец мой были однодворцы!

— Теперь вам понятно, на чем я основываю родство мое с вами. Кажется, нет никакого сомнения...

— Совершенно никакого! Мы правнуки графа Чубука и должны быть тоже графами...

— Справедливо; но я и не думаю хлопотать об этом: нужны большие издержки; а к чему послужит мне графское достоинство? Я имею о титлах свое, особое понятие!

— Ура! Что толковать об издержках! Выхлопочите мне графский титул во что бы то ни стало!

Бычок в восторге. Он не сомневается ни в родстве своем с Чубукевичем, ни в общем происхождении от ясновельможного пана грабия Чубука. Мысль из купца сделаться графом кружит пустую голову бычка; он только боится, чтоб родственник не отказался посвятить свои труды на увенчание его титлом сиятельства.

— Ну, уж как вы себе хотите, а мне ей же ей *ужасть* как захотелось быть графом!

— После об этом. Что титла! Стоит ли толковать о них за шампанским! Станем лучше говорить милые глупости, как будто бы мы были в обществе женщин.

— Эх, женщины! Признательно сказать, одна, которую я видел на бале, чертовски щемит сердце. Видно, что не из простых, а какая-нибудь этакая... Смертельно полюбилась, из головы нейдет!..

— Так и быть! Начну услуги мои с нынешнего же вечера,— говорит, смеясь, Чубукевич. Он позвонил в колокольчик, явился мальчик.— Проси!— сказал ему порядочный человек.

Бычок выпучил глаза, стараясь понять, какую услугу хочет оказать ему предупредительный родственник. Дверь отворилась, и в комнату вошла особа, сияющая красотою и невинностью...

Таким образом, после нескольких часов, проведенных вместе, Чубукевич и Чубуков были уже искренними друзьями...

Глава восьмая, в которой порядочный человек гнет углы у карт и ломает рога у бычка и которою, между прочим, оканчивается этот рассказ

Прошло несколько дней. Чубукевич сделался тенью Чубукова: они слывут друзьями, они говорят один другому *«ты»*. Чубукевич приискал Чубукову учителей французского языка и танцевания, образует его понятия, облагораживает манеры; нанимает ему квартиру в Морской, меблирует ее роскошно, покупает ему щегольской экипаж, разумеется, на его же деньги; наставляет его в играх всякого рода, необходимых для порядочного человека, и хлопочет о графском достоинстве. По этому случаю он пригласил в квартиру бычка некоторых *необходимых* людей и представляет их почтенному хозяину, который уже не мычит, как прежде, а ясно произносит вытверженную фразу. Гости эти были приятели Чубукевича, из разряда *очистителей,* люди высокой нравственности, степенные, неподкупные. После представления их Чубукову порядочный человек заметил: «Только бы этих нам расположить в свою пользу; если они захотят, ты смело можешь считать себя графом!»

— Как же их расположить? По-нашему так просто, дать им что следует...

— А по-нашему, по-петербургски, этого нельзя сделать. Здесь честь, бескорыстие, амбиция...

— Так распорядись, пожалуйста, как знаешь! Вот депозиток* на двадцать тысяч.

— Хорошо. Я выжду удобную минуту и куплю этих господ.

Как водится или, как говорится, для препровождения времени, гости играли в преферанс.

— Ну, стоит ли тянуть эту глупую канитель! Преферанс — бабья игра!— сказал один из почтенных людей.— По мне, если играть, так играть в ту, что бросает и в пот и в дрожь... А? как вы думаете, господа?

— Мы согласны!— отвечали прочие гости,— но что скажет наш почтенный хозяин? Он, кажется, не любит занятий этого рода, и ему скучно смотреть на нас, подвизающихся на зеленом поле.

— Напротив, я тоже готов участвовать,— отвечал бычок.— Соединили четыре ломберных стола, и вокруг них засели двенадцать удальцов. Чубукевич приготовился метать банк. Под рукою его стояла корзина с новыми картами.

— Вот мой банк, господа,— сказал он, положив перед собой пук билетов, полученных от Чубукова. Гости понтировали.

— Десять на туза!

— Пятнадцать на двойку.

— Тысяча на даму! — воскликнул Чубуков, кладя на стол билет в тысячу рублей.

— Правила Коммерческого банка требуют,— сказал равнодушно Чубукевич своему другу и родственнику,— чтобы вы сделали бланк на этом билете, на случай если бы он перешел в другие руки.

Чубуков нацарапал кое-как свое имя и прозвание на обороте билета.

Туз и двойка выиграли; дама упала направо.

— Ваша дама убита,— сказал опять порядочный человек, обращаясь к бычку и взяв у него билет в тысячу рублей.

— Не велика беда! — говорит бычок равнодушно. Он удваивает куши и проигрывает еще несколько билетов.

— Черт возьми! Не уступишь ли ты мне метать? Так и чешутся руки обыграть вас всех.

— С удовольствием!— отвечает порядочный человек, передавая карты бычку.

Гости понтируют на самые ничтожные суммы и не гнут углов при выигрыше. Чубукевич трудится за всех.

— Тысяча на двойку!

Двойка легла налево.

— Угол!

Бычок снова начинает метать.

— *Атанде!* Есть! Другой угол на шесть *кушей. Темная!*— восклицает порядочный человек.

Бычок смущается. Едва он бросил на обе стороны по карте, Чубукевич останавливает его новым восклицанием: «Атанде! Семерка.— Сочтите, сколько вы проиграли. Угодно продолжать?»

— Конечно, конечно: почему же не играть!

И Чубуков призадумался. Он уже не был такой богач, каким воображал себя. У него оставался еще один билет, правда, на значительную сумму, но и на последнее его достояние.

— Гей, шампанского! Еще шампанского, господа! Кутить, так кутить! Бог весть, придется ли нам опять сойтись когда-нибудь так весело!

— *Ва-банк!* Темная!— говорит Чубукевич.

Бычок совершенно растерялся. Глаза его помутились, руки задрожали; он уже не ждал выигрыша. Смутно понимал он, что попал в когти дьявола, о котором так много и так умно говорят чертоболотные грамотеи.

— Атанде! Тройка. Вы проиграли банк,— сказал Чубукевич с надлежащим равнодушием порядочному человеку, взяв со стола билет, последний билет на наличные деньги бычка.

И бычок не помнил, что две тройки легли уже направо, а это была третья!.. На то он *бычок,* на то Чубукевич порядочный человек; наконец, на то щука в море, чтоб карась не дремал.

«Все!»— сказал про себя просвещающийся. Холод и дрожь пробежали по его телу.

— Все! — повторил он, глядя в глаза гостям своим, как полоумный.

— Пора домой, господа,— сказали гости.— До свидания, Никита Архипыч! Мы постараемся вывести вас в графы.

— Прощайте, Никита Архипыч! — сказал порядочный человек, наполняя бумажник билетами и бросая взор сожаления и участия на Чубукова. Что делать! У него все-таки было доброе, человеколюбивое сердце; он помнил, что сам когда-то страдал нищетою более, нежели страждет этот промотавшийся богач; но, ожидав подобного случая так долго, с таким самоотвержением, с такою философическою самозаключительностью, мог ли он пощадить этого жалкого бычка, явившегося в Петербург в такую пору, когда редко отыскиваются люди, сосредоточивающие в себе качества богатого наследника, любителя просвещения и *наипаче* дурака?

— Все! — говорил про себя бычок, не обращая внимания на прощание своего родственника.— Вот и все! А отец сорок лет собирал по копеечке всякими неправдами. Гей! вина! Кутить, так кутить! На другой день квартира Чубукова опустела. Мебели Гамбса были проданы негоцианту из толкучего рынка, экипаж барышнику, и искатель наслаждений, просвещения и графского достоинства еще выручил столько, что мог на лихой тройке умчаться в родное Чертоболотное, где у него оставались отчий дом и мучной лабаз. Как человек, воспитанный в страхе божием, все случившееся с ним в Петербурге он приписывает дьявольскому наваждению за пренебрежение отеческих наставлений. Теперь он самый ревностный старовер и самый ожесточенный противник просвещения.

Порядочный человек женился вскоре после этого происшествия на дочери Тысячепуговицына. Нельзя сказать, чтобы он переменился, потому что те, которые один раз побывали в ежовых рукавицах жизни, не могут переменить ни своего о ней понятия, ни своих правил об отношениях к ближнему; он, однако ж, весьма *смягчился:* не скитается по кондитерским и не ловит *бычков*. Ясно, он стал человеком солидным, и все, кто даже и не знает его лично, взглянув на четырехэтажный дом его, на его карету нового фасона, говорят: «Сейчас видно, что очень хороший, очень порядочный человек этот Чубукевич!..»

ЛЕНТОЧКА

Между прочим, с замечательною быстротою размножается племя курящее, пьющее и поющее, и, что всего опаснее, мыслящее. По уверению людей пожилых, знающих свет, страсть нового поколения рассуждать и мыслить о разных отвлеченностях решительно ни к чему не ведет. По мнению людей молодых, это ведет к чему-то такому особенному... Кто прав, кто не прав — аллах ведает! но достоверно, что нынче все рассуждают; даже иной порядочный человек, или, говоря языком невежественной старины, мальчишка, толкует об испанских и китайских делах и насмешливо смотрит на такие предметы, пред кото-

рыми, быть может, отец его преклонял выю в благоговейном безмолвии. Есть и такие люди, которые не судят и не рядят, а только слушают, как судят и рядят другие, и, смотря на них, можно подумать, будто они только слушают, а сами не рассуждают и не умеют рассуждать, а между тем они-то и рассуждают...

Не таков был Иван Анисимович. Хотя он по своему возрасту, даже по своему воспитанию принадлежал к новому поколению, однако ни один враг рода человеческого не дерзнет обвинить его в принадлежности к этому поколению *по свойству*. Решительно, несчастие для него, что он родился в восемьсот осьмнадцатом году, а не раньше полусотнею лет, когда подобные ему люди ценились дорого и часто занимали место на ледяных вершинах общества.

Впрочем, сам Иван Анисимович никогда не рассуждал о несвоевременности своего существования, никогда не предавался опасным отвлеченностям. Уже ему наступала двадцать седьмая весна, а он все еще пребывал в скромном чине губернского секретаря и в скромнейшем звании чиновника для письма второго разряда. Десять лет сряду просидел он в одном чине, в одной должности, в одном жаловании, на одном стуле, за одним столом и за одним занятием — перепискою отчетов своего министра. В это десятилетие Иван Анисимович ценился только с одной стороны, со стороны своей каллиграфии. Что касается до драгоценнейшей его способности ни о чем не мыслить, не рассуждать, на нее никто не обращал внимания... даже иные грамотеи называли глупостию эту способность. Таков век!

Иван Анисимович жил на Литейной, в нижнем этаже старинного деревянного домика. Он терпеть не мог высоких домов, темных и крутых лестниц. Когда он смотрел вниз из окна четвертого этажа или с лестницы, образующей своими изгибами род глубокого колодца, ему приходило в голову, что, прянувши с этой высоты, можно разбиться вдребезги; потом непостижимая сила влекла его вниз; в душе его возникало ужасное побуждение сделать роковой скачок; сердце его преисполнялось мучительным ощущением падения, и только с большим насилием над своей волею он успевал победить обаяние высоты и удержаться от исполнения страшного намерения. По этой причине он редко посещал знакомцев, живущих в верхних этажах, и сам занимал квартиру внизу, представлявшую разом три удобства: дешевизну, невозможность упасть и возможность плавать на чемодане при первом наводнении.

Хозяин этой квартиры *герр* Вильгельм и хозяйка *мадам* Каролина были люди добрые и весьма почтенные. Иван Анисимович доводился им кумом, крестил у них двух маленьких немочек: Анхен и Гретхен, которые подросли на его глазах и всегда, как только он возвращался из департамента, приносили ему бутерброды. Все семейство очень любило Ивана Анисимовича за его тихий характер и за обходительность. Герр Вильгельм занимался весьма полезным ремеслом — выделкою из разной ветоши, получаемой в лоскутной линии, нового, модного платья, по заказам магазинов Апраксина двора. Он был также великий искусник в истреблении различных насекомых и с особенным успехом истреблял их во всем околотке. В праздничные дни

герр Вильгельм, как добрый христианин, не занимался работою, отдыхал от трудов и усиливал приятность отдыха соразмерным количеством напитка, известного у немцев под названием шнапса; к этому наслаждению был приглашаем и Иван Анисимович; но он, по слабости здоровья и по завещанию родителя, всегда уклонялся от употребления хмельного.

В комнате Ивана Анисимовича стоял старый, во многих местах треснувший ящик с клавишами. Иван Анисимович добыл этот ящик напрокат, в качестве фортепьяно, и, будучи страстным любителем музыки, твердо верил, что это действительно было фортепьяно. Что бы ни значил, впрочем, этот ящик, достоверно, что большая часть клавишей производила неприятный стук, а остальные только от сильного удара издавали дребезжащие звуки. Каждый раз, по возвращении из департамента, Иван Анисимович садился к этому ящику, ударял по клавишам сначала одной, потом обеими руками, и хотя, по собственному его сознанию, не выходило ничего особенного, однако все-таки было *очень забавно*.

Однажды, предаваясь этой забаве, Иван Анисимович услышал стройные, приятные звуки, извлекаемые, по соображению его, из такого же инструмента, но более искусною рукою. Он оставил свою забаву и стал слушать, как забавлялись другие; а когда и другие перестали забавляться, Иван Анисимович спросил самого себя: где это так хорошо играют? и отвечал: по соседству, у булочника. Кто играет? На этот вопрос он долго не мог дать себе положительного ответа.— Булочник? Нет, он слишком толст! Булочница? Нет, она так себе что-то... Разве... да, точно... играет дочка вышереченных супругов! Только она своими маленькими, прозрачными пальчиками может извлекать из такого глупого ящика, как фортепьяно, такие прекрасные звуки, как те, которые он слышал! Итак, решено, играет она, белокурая Минхен, чухоночка, по-нашему, немка, Вильгельмина Германовна.

«Немцы очень хорошие люди!»— подумал Иван Анисимович.

Будучи природным русаком, не зная ни слова по-немецки, даже плохо выражаясь по-русски, Иван Анисимович любил, однако, немцев, хотя не ненавидел и русских, потому что в сердце его не было места ненависти. Он рассуждал таким образом: «Немцы очень хорошие люди. Вот этот булочник, Герман, кажется, Францевич, его жена Юлия Фридериховна и особливо его дочь Вильгельмина Германовна... все они очень хорошие люди!.. и Минхен чудесно играет на фортепьяне! Будь они русские — совсем другое дело! Эта Вильгельмина, Минхен, Миночка звалась бы Матреною или Соломонидою; но это еще ничего,— она была бы толстою дюжею девою, поломойкой, а этот Герман... Да, немцы очень хорошие люди!»

Иван Анисимович нередко хаживал к булочнику для покупки разных сластей своим крестницам и, по причине соседства, был приглашаем зайти вечерком «принять эйн[1] стакан пунш», часто видел и Минхен, когда она продавала пеклеваные хлебы,— но в этом виде, в виде

[1] Эйн (*нем.* ein) — один.— *Ред.*

торговки, он не обращал на нее внимания. Притом же он был так скромен, так боялся смотреть на женщин с подобающим прекрасному полу полувниманием! А когда случалось ему встречать взгляд женщины, когда он замечал, что на него смотрит женщина, он совершенно терялся. Он не был из числа тех самолюбивых чиновников, которые так счастливо уверены, что для них стоит только взглянуть на женщину, чтоб уничтожить, *пленить ее*.

Но эти звуки, столь приятно различествовавшие от тех, которые извлекал Иван Анисимович из своего ящика, чародейственно коснулись души его, музыкально настроенной. Минхен, которую он до сих пор считал обыкновенною булочницею, каких он встречал множество, теперь казалась ему особенным, *неземным* существом. Он пренебрег своею робостью, своею неловкостью во всяких компаниях, особливо в тех, где бывают женщины, и решился побывать в гостях у достопочтенного герра Германа.

«Что же,—подумал он,— не велика беда, если я просижу у них какой-нибудь час. Они уже раз двадцать приглашали меня; сочтут невеждою, если не пойду... притом же и Минхен... она очень хорошо играет... Только фрак у меня ненарядный, даже, можно сказать... но это ничего... Они люди простые, а Минхен... Минхен!..»

Это было часов в семь вечера. Иван Анисимович, сообщив всевозможную благовидность своему костюму, превосходнейшему из всего, что создали в этом роде игривая фантазия и крепко набитая рука его хозяина, отправился в квартиру булочника. Там нашел он сидевших за самоваром самого герра Германа, род сдобного рублевого калача, рябую мадам Юлию, сущее подобие старого пеклеваного хлеба, и фрейлен Вильгельмину, которую можно сравнить только с яркою звездочкою в небесах, или со свежим, душистым бисквитом на земле. Особо от них, в темном углу комнаты, сидел какой-то посторонний немец, который ничего не говорил, а только кашлял.

— А! Вот хорошо, что вы-таки пришел!— воскликнул герр Герман.— Хорошо, что вы недолго церемонился. Минхен! Чаю господину Ивану Анисимовичу!

— Извините, Герман Францевич,— отвечал Иван Анисимович,— я, знаете, не люблю беспокоить никого.

— Какое тут беспокойство! Вы самый смирный сосед, Иван Анисимович,— заметила хозяйка.

— Я, вот видите ли, Юлия Фридериховна, хотел сказать, что это фортепьяно, которым я забавляюсь от скуки, если оно вас беспокоит...

— Что вы, Иван Анисимович! Может быть, я помешала вам своею игрою?..— сказала Минхен, подавая Ивану Анисимовичу стакан чаю.

После долгих объяснений в самых учтивых выражениях оказалось, что одна сторона не беспокоит другой, даже напротив, одна другой доставляет взаимное удовольствие своею «милою игрою». Иван Анисимович нечувствительно разговорился о музыке, о погоде, о дороговизне припасов, о плутнях извозчиков и опять о музыке. Когда, по приказанию Германа Францевича, Минхен влила в другой стакан чаю для Ивана Анисимовича несколько капель рому, он не отказался *принять* этот пунш, а когда пунш был *принят,* Иван Анисимович почувст-

вовал себя в особенно счастливом расположении и обратился к Минхен с просьбою сыграть что-нибудь на фортепьяно.

Минхен не противилась, села к фортепьяно, и Иван Анисимович услышал те же звуки, которые подействовали на него, пройдя сквозь стену; но теперь они были сильнее и чище, теперь достоинство игры возвышалось присутствием артистки. И точно, хороша была Минхен за фортепьяном, совсем не то, что за прилавком. Иван Анисимович слушал и смотрел, и хотел бы всегда смотреть и слушать... Никогда еще не было ему так приятно, так весело, так «забавно», как в эту минуту! Чай, ром и Минхен разлили во всей его организации такую приятную теплоту, какой он не ощущал дотоле. Им овладело новое обаяние, приятное обаяние любви, которое не может идти в сравнение с другим обаянием, побуждавшим к скачку с четвертого этажа... Но нельзя было оставаться здесь долее. Пробило одиннадцать часов, и Иван Анисимович почувствовал, что надобно оставить это приятное место.

Уходя, он получил приглашение от герра Вильгельма бывать у них чаще, без церемонии. «Приходите завтра, Иван Анисимович,— прибавила Минхен,— завтра я сыграю для вас кое-что новое и спою, если захотите!» И эти слова сопровождались такою улыбкою, что Иван Анисимович чуть не кинулся на шею к Минхен, чуть не поцеловал ее со всем безумием влюбленного чудака. К счастью, он вовремя вспомнил, что поцелуи этого рода считаются неприличными, и, только описав руками полукруг в воздухе, отвечал трепещущим от сладостного волнения голосом: «Буду, непременно буду».

Возвратясь в свою каморку, Иван Анисимович обнаружил восторженное состояние своего духа многими прыжками по комнате; потом сел к столу и, вперив глаза в потолок, беспрерывно улыбался. Какие мысли занимали его, это явствует из слов, произнесенных шепотом, про себя, с расстановкою: «Виль-гель-мина... Мин-мин-хен...» и кратко: «Минхен...» и еще кратче, с выражением самой голубиной нежности: «Миночка!» С последним словом он схватил свою маленькую крестницу Гретхен и поцеловал ее с таким жаром, что та вскрикнула. Тогда Иван Анисимович вспомнил, что это его крестница и что ему пора спать...

Во всю ночь ему грезился один чародейственный образ, и во сне он произносил то же имя, что наяву.

Когда на другой день явился он в департамент, мечтая о том, что вечером опять увидит ее, скажет ей, что думал о ней, и о многом другом на эту тему, он нашел там, нежданно-негаданно, новую причину к восторгу, даже к сумасшествию... Он получил украшение вицмундиру, предмет тяжких трудов чиновного человечества — *ленточку**! Многие богачи издерживали, губили сотни тысяч, миллионы рублей, дарили, проигрывали свое достояние с одним желанием получить два вершка узкой ленточки, и не получали! Разорялись, разоряли других, банкрутились и погибали в том же болоте, из которого были извлечены могуществом миллионов, а ленточки все-таки не получали! Между тем он, Иван Анисимович, даже, можно сказать, *какой-то* Иван Ани-

симович, получил ленточку! Вот соображения, необходимые для справедливого понятия о мыслях, занимавших его.

Чтобы объяснить этот важный случай в жизни Ивана Анисимовича, надобно обратиться к служебному его поприщу...

Было уже сказано, что Иван Анисимович десять лет провел в одном чине, за одним занятием; но еще не сказано, что он умел отлично чинить перья и что добродетель, как бы она ни была пренебрежена, рано ли, поздно ли возьмет свое. Вот что случилось с Иваном Анисимовичем на одиннадцатом году его ревностной и усердной службы.

Когда директору его понадобился чистописец для переписки какой-то важной бумаги, ему указали на Ивана Анисимовича, и Иван Анисимович был потребован в квартиру директора.

— Потрудитесь переписать здесь эту записку самым чистым и четким почерком; но заметьте и помните, что вы не должны никому говорить о ее содержании,— сказал директор Ивану Анисимовичу.

— Слушаю, Ваше превосходительство,— отвечал Иван Анисимович, принимаясь за работу.

Записка была весьма обширного содержания: говорилось что-то о разных делах по службе, предлагалось что-то... и когда Иван Анисимович переписал ее, директор сказал: «Это должно иметь важные последствия... Помните, что я говорил вам — никому ни слова! Долг чиновника, как долг всякого человека,— уметь молчать кстати!»

— Слушаю, Ваше превосходительство,— отвечал Иван Анисимович...

— Между тем это и для вас будет полезно. Вы слишком долго занимаете одну и ту же ничтожную должность. Я подвину вас вперед, и на первый случай беру вас к себе в секретари, а когда эта записка произведет ожидаемое действие, можете ожидать еще кое-чего.

— Всенижайше благодарю, Ваше превосходительство! Рад стараться всеми силами!

— Напишите,— продолжал директор, вкладывая записку в конверт,— напишите на этой черновой бумаге ее содержание, кратко...

Ивана Анисимовича бросило в пот и в дрожь. Он оробел так, как никогда в жизни не робел. Вообразите его положение: в ту минуту, когда начальник, преисполненный к нему благоволения, дает ему *ход*, он чувствует, что не может извлечь из бумаги ее содержания! Он не помнит, не знает, даже вовсе не понимает того, что сам же переписал! Боже праведный! Иван Анисимович никогда не упражнялся в таких занятиях... Он никогда не думал о содержании того, что переписывал,— он только переписывал; но начальник... известное дело! Начальник не знает столь уважительной и извинительной причины! Что он подумает!

И когда Иван Анисимович, с пером в руке, выдерживал неизъяснимую нравственную пытку, стараясь придумать, какого бы содержания была эта роковая бумага, директор заметил его беспокойство, пристально посмотрел на него и сказал с кроткою, ободрительною улыбкою:

— Что же вы? Разве вы забыли содержание этой записки, или... или вовсе не понимаете ее?

— Извините, Ваше превосходительство,— отвечал Иван Анисимович дрожащим голосом,— когда я переписывал... я всегда только переписывал! А относительно сочинения, чтобы, так сказать, из своей головы сочинить что-нибудь — преподавалось очень давно! Поэтому...

И он не знал, чем кончить начатое оправдание. Но тут провидение, невидимо покровительствующее несчастным и подающее помощь отчаивающимся, озарило его лучезарной мыслию... и в миг Иван Анисимович начертал на черновой бумаге следующие слова: *Записка о разных предметах.*

Директор, посмотрев на эту надпись, снова улыбнулся и продолжал: «Хорошо!.. в другом случае это было бы недостаточно, но теперь именно то и нужно, что в вас есть... Хорошо; вы будете работать у меня в кабинете. Я извлеку из вашей *способности* все полезное и возможное!.. »

И Иван Анисимович, счастливый милостию директора, вступил в отправление своей новой должности. Правда, он ничего *не сочинял,* хотя и назывался секретарем, сочинял сам директор, а он только переписывал, просиживая за этим занятием целые дни, иногда и ночи, и много переписал он веленевой бумаги, чисто, четко переписал, и директор всем был доволен, его трудолюбием, а еще более его *способностию.*

Между тем случилась перемена по министерству. Министр захворал и поехал лечиться на теплые воды; директор вступил в управление делами, и вскоре после того Иван Анисимович получил ленточку.

Никогда честолюбие не мучило безмятежной души его. Он бы и не порадовался этой награде, если б получил ее одним днем раньше. Но теперь, когда в голове его роятся идиллические мечты, когда он может сказать Вильгельмине, она же и Миночка: «Я получил ленточку»,— и когда она, Минхен, может порадоваться, что он получил ленточку, может подумать, что такой чиновник, у которого ленточка в петлице, достоин ее внимания... Теперь он ценил это украшение дороже всего на свете, кроме Минхен.

И вот он опять у герра Германа, за чайным столиком, и белая ручка Минхен подает ему стакан чаю. Тот же посторонний немец сидит по-прежнему в темном углу комнаты, и уже не кашляет, а дремлет.

Минхен снова садится за фортепьяно, и играет, и поет, и улыбается Ивану Анисимовичу. Иван Анисимович готов смеяться и плакать от восторга. Он садится к ней ближе, перевертывает перед нею ноты, и так ему хочется схватить эту ручку и поцеловать!..

Но что же эта шалунья, Минхен, не замечает, что у Ивана Анисимовича ленточка в петлице? Он ждет, долго ждет и, наконец, потеряв терпение, говорит ей:

— Я вам похвастаю, Вильгельмина Германовна... Я только сегодня получил, имел счастье получить от начальства в награду... не знаю, впрочем, за что... вот эту маленькую вещицу... не всякий имеет!

— А! ленточка! — отвечала Минхен, рассеянно взглянув на предмет, к которому Иван Анисимович почтительно прикоснулся пальцем.— Ну, что ж? Кто нынче без ленточки? Всякий чиновник с ленточкой. А вот я вам похвастаю ленточкой... Вот ленточка!..

И Минхен поспешно вынула из-за корсета и развернула перед Иваном Анисимовичем длинную, голубую ленту. Смеясь и прыгая вокруг него, она говорила: «Вот ленточка! Не правда ли, прелесть!» И она поцеловала ленточку с таким жаром, так живо, что Ивану Анисимовичу стало как-то неловко и совестно. Шалунья!

— Да что ж это за ленточка такая? — спросил он в недоумении,— это обыкновенная лента для дамского наряда, больше ничего; что в ней особенного?

— Особенного? Это *он* мне подарил, сию минуту перед тем как вы пришли. Это *его* первый подарок!

— Его? Чей? Кто же вам подарил? — спросил опять Иван Анисимович.

— Он, мой жених, Готлиб!

Холод пробежал по жилам Ивана Анисимовича. Чувство неприятное, тоскливое, в котором он сам себе не мог дать отчета, поразило его душу. Он взглянул в темный угол и заметил, что бессловесная немецкая фигура улыбается самодовольно и даже насмешливо...

— Прощайте, Герман Францевич; мое почтение, Вильгельмина Германовна!

— Куда же вы торопитесь? Посидите!

— Извините, я только на минутку зашел... у меня много работы... Прощайте; пойду *переписывать!*

Так же, как вчера, сел он у стола и молчаливо созерцал потолок своей комнаты. Лицо его было бледно, дыхание тяжело... Крошечная Гретхен, весело прянувшая к нему, видя печаль его, долго смотрела на него с детским соболезнованием, и в ее острых глазках засверкали слезы... А он не замечал участия своей крестницы, томимый одним чувством... и много, много тоски и муки выражалось в словах, которые он произносил шепотом: «Минхен... Миночка... *Ленточка!..*»

ПОЧТЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Глава первая. Введение к рассказу об одном невероятном случае

Раз как-то, проснувшись утром, я почувствовал непреодолимую охоту написать что-нибудь *этакое,* а всему пишущему роду известно, как трудно у нас, *по особым обстоятельствам,* писать о чем бы то ни было: или попадешь впросак, написав что-нибудь неудобоваримое для читательского желудка, или наживешь замечание какого-либо тонкого критика, что вот, дескать, глупость! или, последовав великому правилу, что для счастья человечества можно писать только в совершенно глупом роде, не попадешь ни во что, не наживешь ничего!

Вследствие этих мудрых соображений я старался придумать такой предмет для удовлетворения упомянутой *«охоте написать* **что-ни**будь этакое», который не ценился бы *ни во что*, в котором не было бы

ничего, совершенно ничего: ни мысли, ни вымысла, похожего на правду... Я думал долго, предмет не являлся,— явился кредитор.

Надобно опять повторить общеизвестную истину, что нет ничего неприятнее кредитора. Подобные люди даже нестерпимее *хороших приятелей*, неотвязчивее *верных друзей* — этой нечистой силы, плодящейся год от году в ужасающей прогрессии, нечистой силы, в которую не веруют люди, воображающие себя всезнающими, и веруют смиренные невежды, отыскивающие знание опытностью в делах житейских. Из приятеля и друга еще можно сделать иногда полезное употребление, заняв у него что-нибудь, или просто обыграв его в карты, а у кредитора уже не займешь ни гроша, его и не обыграешь. Поэтому кредиторы бесполезнее приятелей, хуже друзей...

Неприятный гость, удостоивший меня своим посещением, был один из самых неукротимых демонов своего рода. Хотя, наконец, он и должен был уважить абсолютную истину, что денег нет, а если денег нет, то нечего и надоедать по-пустому, однако злодей оставил меня не ранее, как в полдень, когда приходят прочие кредиторы, точно так, как в полночь являются из могил мертвецы. По этой причине я долженствовал не быть дома, пока говор желудка не разгонит незваных гостей по домам, как крик петуха разгоняет полуночных бродяг по могилам.

Я отправился на Невский проспект. Там, говорят, встречаются хорошие *сюжеты*; но это неправда: на Невском встречаются те же кредиторы и те же приятели. Разница в том, что Невский представляет многие удобства ускользнуть благородным образом от тех и других, а если, например, предвидится возможность сделать из приятеля *полезное употребление*, можно и самому догнать его, потому что приятели — народ чуткий и в вышеприведенном случае сами ускользают с быстротою молнии или подобно кредитору, преследующему должника.

Заботливо озирая мелькавшие мимо меня лица, с трудом заметил я у входа в кондитерскую Беранже одного приятеля, которого не видал в течение года, со времени его женитьбы. С трудом, говорю, потому что для этого требовалась вся зоркость страха и надежды, волнующих душу человека, который, опасаясь встретиться с кредитором, не только не боится приятеля, но сам идет на него бодро и смело, готовый в ту же минуту сделать из него хорошее употребление.

Год назад этот человек, Лука Сидорович Пачкунов, мелкий чиновник, а еще более — мелкий сочинитель, имел казенную форму, даже казенные понятия; теперь, напротив, это был молодой человек благовидной наружности: трость, пальто, борода и, без сомнения, рога. Муж, как должно быть мужу! Откуда же взял он все эти блага, он, Пачкунов?

При встрече с приятелями обыкновенно говорится: «Все ли вы в добром здоровье; здорова ли ваша супруга?» и тому подобное. Я в этом случае поступаю проще: после обычного рукопожатия обращаюсь к приятелю с такою речью:

— Ты, вероятно, не откажешь обязать меня: одолжи мне, на ко-

роткое время, сколько-нибудь денег, хоть ничтожную сумму, какая у тебя водится.

Приятель обыкновенно отвечает:

— Очень жаль, что не могу услужить тебе. У меня на этот раз нет ни гроша.

Таковы уж приятели всегда и всюду! Все, говорят, изменяется к лучшему, и это, может быть, справедливо во многих отношениях, только не в отношении к приятелям: они все те же, что были за тысячу лет. Пали царства и народы, пронеслись века, совершились события, изменившие и, как утверждают люди грамотные, усовершенствовавшие человечество, а приятели не изменились, не усовершенствовались ни на один рубль.

Между тем важная причина побуждает меня обращаться с приятелями таким образом; она основывается на глубоком, даже, можно сказать, *тонком* соображении. Вот что: люди — все люди, а не то, чтобы одни только приятели — так созданы, что не занимай у них денег, не будь им должен по распискам, по запискам, по векселям, на честное слово и на мелок*, они, эти крокодилы, эти *люди* забудут тебя, пренебрегут, уничтожат!.. Если бы я был должен всему полумиллиону петербургского народонаселения, весь этот полумиллион заботился бы обо мне, о делах моих, кланялся бы мне при встрече, терся бы у меня в передней!

— Здравствуй, Лука Сидорович! Не торопись! — сказал я приятелю, запустив палец в петлю его богатого пальто.— Погоди немного, потолкуем...

Лука Сидорович, видя, что ему ускользнуть никоим образом нельзя, улыбнулся так дружески, что я продолжал:

— Тебе, может быть, покажется странным, если я, при этой радостной встрече, попрошу у тебя взаймы немного... так, что у тебя водится в бумажнике!

— И тебе, может быть, покажется странным,— отвечал приятель с тою же дружескою улыбкою,— если я при этой радостной встрече скажу, что не дам тебе ни гроша!

— Вот что! Хорош приятель!

— Но, посуди сам, не опасно ли иметь с тобою расчеты: я *слышал* один неприятный *слух*... говорят, будто ты не платишь долгов!

— А слышал ли ты другой, более неприятный слух, что мне нечем платить долгов?

— В этом ты сам виноват. Надобно уметь приобретать деньги... А еще писатель! Ну, что, если тебе понадобится сделать вдруг какого-нибудь нищего человеком порядочным, достаточным, что ты напишешь: что твой герой получил наследство? Старая песня, любезнейший! Нынче нищие не получают богатых наследств, и если какой-нибудь отряха разбогатеет, то уж верно не наследством, а другими *благоразумными* способами. Ну, какой же ты писатель, когда не в состоянии не только обогатить своих героев, но и самому себе добыть копейку!..

— Напротив, я очень хорошо знаю способ добывать деньги: за

труды, дело известное, никто не платит, и мы с тобою, как люди опытные, всегда посмеемся мечтам политических экономов, которые сопрягают труд с вознаграждением, с богатством. Теоретически и даже логически это так, но практически вовсе не так: труд состоит в законном браке с нуждою, следовательно, нечего и ожидать от этого союза такого плода, как довольство, и мы с тобою знаем, что можно жить всякими способами, только не трудом! Можно, например, сорвать банчик, призанять у верного друга до благодатного первого числа, когда бы оно ни наступило. Итак, я надеюсь, что ты обяжешь меня вдвойне: дашь денег взаймы и расскажешь, для моего назидания и соображения, несколько *иных* способов... на первый случай из тех, которыми ты сам воспользовался.

— Денег не дам,— сказал приятель таким тоном, что для меня не осталось никакого сомнения в его решимости не дать мне денег,— а что касается до способов,— продолжал он, смягчаясь,— то это не способы, а один только, гениальный, точнее бывший гениальным способом в то время, когда я изобрел его. Изволь. Мне не для чего скрываться, потому что он уже стар, избит, истерт, как способ обогащать героев повести или романа посредством наследства.

Мы зашли в кондитерскую, закурили сигары, и Лука Сидорович рассказал мне следующую историю, которую передаю его словами, с возможною точностью; но предваряю, что я сам решительно не верю ему. Пачкунов всегда любит сочинять что-нибудь *из своей головы*, в чем не может быть никакого сомнения по прочтении следующей главы.

Глава вторая. Рассказ отставного чиновника тринадцатого класса Луки Сидорова Пачкунова

— Это случилось после моей женитьбы. Мой и возлюбленной жены моей медовый месяц продолжался восемь дней; восемь дней мы были счастливы и находили друг в друге качества, достойные обожания. В девятый день, утром, за чайным столиком, мы поссорились. Известно, что супругам трудно только в первый раз поссориться, а там уже ссора делается удобною, легкою, необходимою. Мы стали браниться, сначала нежно, учтиво, тонко и будто неохотно, потом проще, наконец, очень просто, с явным намерением браниться до преставления света; но увы! и на это занятие мы употребили не более двух недель. Потом у нас недостало ни силы, ни терпения браниться, и мы стали скучать.

Не советую никому жениться с той целью, чтобы весь век браниться. Пустой расчет! Дознано опытом, что супружеское счастье продолжается один месяц: две недели супруги счастливы любовью, и две недели ссорою; потом блаженство любви и ссоры истощается и остается жестокая, томительная скука, а скука — значит совершенное несчастие.

По прошествии двух недель постоянной нашей ссоры мы уже не чувствовали один к другому ни любви, ни вражды и молчаливо сидели за тем же самым столиком под гнетом вышеупомянутой скуки.

Я курил сигару и думал, что, вот, дескать, и скучно! Жена вязала чулок и, вероятно, думала то же. Наконец, кое-как между нами завязался разговор.

— Боже мой, какая скука! — сказала жена моя.

— Скучно, очень скучно, душенька, да что делать! Таково уже наше положение,— отвечал я, зевая.

— Разве мы для того женились, чтоб скучать! Это ужасно! Если бы ты взял ложу в Итальянской опере, все-таки мы имели бы какое-нибудь развлечение.

— Ложу! Легко сказать — ложу! Что я, помещик с пятью тысячами душ или журналист с пятью тысячами подписчиков? Вот, если б ты отдала в мое распоряжение ломбардный билет, которым благословила тебя наша добрая маменька! Я взялся бы доставить тебе тысячу удовольствий. О! Я не умею наживать и беречь денег, но издерживать их, тратить со вкусом — это мое дело.

— А что будет после, когда ты истратишь со вкусом наши последние деньги? Нет, надобно обойтись без издержек. И мало ли каких удовольствий, развлечений простых, дешевых!.. Например, если бы ты написал что-нибудь такое, за что бы назвали тебя *гением*. Очень приятно быть женою гения! Совсем другое значение! Я бы тебя обожала, если б ты был гений!

— Ах, матушка! Неужели ты не поняла по сию пору, что я гений, давно гений!

— Почему же не пишут об этом?

— Потому, что я за четыре тома своих стихотворений получил десять рублей серебром; за трактат о социальной гуманности и гуманической социальности получил два с полтиной. Не возьми я деньгами, взял бы чином гения — дело известное! Двух наград за одну заслугу не дают, особливо такие расчетливые люди, как журналисты...

— Но неужели ты не можешь разом взять деньги и получить название гения?

— Хорошо! Как только я окончу мою *«Историю Достославных Отвлеченностей»*, я получу разом и название гения, и пять рублей серебром... Труд великий! Он будет напечатан в двенадцати книжках одного толстого журнала, отрывками.

— Ты пишешь Историю! Да где же твои *источники*? У тебя нет ни одной исторической книги об этом предмете.

— Ах, душенька, ты вовсе не смыслишь в русской литературе! Неужели я буду так *глуп*, что решусь написать «Историю» *хорошо*, то есть основать ее на фактах и только на фактах? Нет! Слава богу, у меня достанет всегда способностей на сочинение «Истории» *по-русски*. Я, сударыня, знаю, что такое обязанность русского историка, и буду историком не хуже других!

— Но все же, если ты и получишь за эту Историю название гения, не мешало бы достать побольше денег. Достань, пожалуйста! Неужели у тебя нет никаких других способностей?

— Кажется, я доказал тебе, в течение тридцати дней и тридцати ночей нашего счастливого супружества, что обладаю отличными способностями...

— Что эти способности! Надобно разнообразить жизнь, чтоб не умереть со скуки; надобно достать денег на необходимые развлечения!

Доводы жены моей были ясны и неоспоримы. Без денег и, следовательно, без *иных* развлечений мы были в опасности умереть от скуки. Я стал размышлять о том, каким бы образом добыть денег, и, по долгому соображению многого множества способов нажить копейку, избрал тот, который казался мне наилучшим и явствует из следующих моих подвигов.

Я отправил к редактору одного журнала сто рублей серебром, при письме следующего содержания:

«Милостивый государь!

Наступающий великий пост побуждает каждого христианина озаботиться о душе своей. Движимые состраданием к страждущему человечеству, имеем честь представить вам, м. г., по мере наших способов, сто рублей серебром, и покорно просим употребить их на облегчение участи вышеозначенного человечества по вашему благоусмотрению.

Затем имеем честь быть и проч.

Супруги:

Лука Сидоров Пачкунов, отставной чиновник 13-го класса и кавалер.

Анна Кузьмина Пачкунова, отставная 13-го класса чиновница.

Жительство имеем в Садовой,
в доме под № 7777, в пятом этаже на заднем дворе».

Через три дня в газете было напечатано трогательное изъявление благодарности двадцати пяти страждущих семейств благотворителям-супругам Пачкуновым.

Давным-давно я сочинил и собственным иждивением напечатал оду одного содержания, но под двумя названиями. Триста экземпляров этой оды носили такое заглавие: *«Ода в честь Гуманической социальности», сочинение Луки Пачкунова, цена 15 руб.»*; другие триста экземпляров назывались *«Одою в честь социальной Гуманности», сочинение Луки Пачкунова, цена 15 рублей»*. Эта ода семь лет покоилась в магазине Смирдина*, никто не покупал ее, никто не читал; но как в ней много говорилось о колоссальности и просто сальности, то крысы, не имея понятия в отборных, модных выражениях, употребляемых в русской литературе, и разумея сальность по-своему, съели четыреста восемьдесят экземпляров.

Когда весть о моей благотворительности на листках газеты разнеслась по всему Петербургу и по всей России, я извлек из тьмы кромешной остальные двести восемьдесят экземпляров своей поэмы и разослал их ко всем достаточным людям в Петербурге, чиновникам и купцам, при следующем циркуляре:

«Милостивый государь!

Известное человеколюбие ваше, милосердие к страждущему человечеству, высокое просвещение и патриотическая любовь к произ-

ведениям изящной российской словесности, а кольми паче поэзии, дает мне смелость поднести вам сию оду, изданную в пользу одного бедного, пораженного несчастиями семейства. Следуемые за оную деньги, имеющие быть употребленными на облегчение тяжкого жребия означенного пораженного несчастиями семейства, а также и бо́льшую сумму, если соизволите пожертвовать с толикой христианскою целью, благоволите вручить подательнице сего.

Примите уверение и проч.

Лука Пачкунов».

Нанят был за три целковых *лихач* на весь день. Я уложил в сани двести восемьдесят конвертов с моею одою и, дав нужные наставления своей кухарке, Матрене, бабе очень умной, разумеющей поварское и грамотное дело, отправил ее кататься по Петербургу и развозить конверты по адресам.

Не раньше как в семь часов вечера возвратилась моя Матрена, усталая, измученная, с большим узлом целковых, полуимпериалов*, ассигнаций и депозитных билетов. Жена моя, дотоле не подозревавшая во мне *приобретательных способностей,* была в восторге от моего благотворительного подвига. Она кинулась ко мне на шею и расцеловала меня со всем жаром супружеской любви, возбужденной предчувствием грядущих развлечений.

— Видишь, жена,— заметил я строго,— сознайся, что ты виновата!

— Виновата, душенька, очень виновата! Поедем скорее в Английский магазин!

— Что? Разве затем я собрал деньги! Нет, матушка! Благотворить так благотворить! Подвиг наш еще не кончен. Еще мы должны дать концерт в пользу бедных. Приготовляйся: я буду играть на скрипке, ты будешь петь. Живо, матушка! Тебя ждут рукоплескания счастливцев и благословения несчастных!

Я вновь отправил к тому же редактору сто рублей, объяснив, что они выручены за мои оды, в честь гуманической социальности и социальной гуманности, и что если ему, г-ну редактору, благоугодно содействовать моему намерению, то я с женою готов дать, на второй неделе поста, концерт, которого достоинство заключается не в талантах наших, на что мы и не имеем притязания, а в его благотворительной цели.

Журнал объявил о новом подвиге *известных* своею благотворительностию супругов Пачкуновых и об ожидающем петербургскую публику двойном, соединенном наслаждении изящным и благотворением. И должно отдать справедливость всем, до кого это относится, что если мы в делах человеколюбия удивительные шарлатаны, зато в подвигах шарлатанства истинные, неподдельные христиане!.. Двумя предшествующими благотворениями я до такой степени прославился, что все, к кому я ни являлся с билетами на свой концерт, спешили заплатить мне вдвое, втрое, только бы скорее избавиться от моего присутствия, не возбудить во мне новой благотворительной идеи, нового опаснейшего посягательства на их карманы. Иные просто

прятались, считая меня таким отчаянным благотворителем, что я, не боясь бога, потребую у них в пользу нищих и бог весть каких пожертвований! А отказать мне было почти невозможно: обычай умный, благородный обычай предал бы анафеме дерзновенного, который отрекся бы от публичной благотворительности под тем предлогом... не помню, как там сказано!

И точно, я, *воскрыленный* успехом своей мысли, пришел в такое исступление, что если бы мне дали ход, если бы полиция, готовая взять на съезжую самого праведного мужа, вытащившего у богатого ближнего бумажник для вспоможения бедному ближнему, если бы, говорю, эта полиция, по причине необычайного моего человеколюбия, не вздумала взять меня, не на съезжую, а *на замечание,* я, клянусь, сделал бы из этого многолюдного города самую праведную богадельню!

Волею или неволею публика петербургская наполнила большую залу, которая тоже, ради благотворительности моей, была предоставлена мне бесплатно, освещена и приготовлена на счет владельца дома. И вот я стал играть, точнее, *пилить* на скрипке, а жена моя запела! Можешь себе представить!.. А пред нами Петербург молчаливый, умиленный... О! эта сцена была невыразимо трогательна, особливо при взгляде на Петербург, принужденный за свою благотворительность терпеть, по моему соображению, адскую пытку! И с каким самопожертвованием, с какой стоической твердостью этот чудный, блестящий, образованный, изнеженный город выдерживал терзание! Уже мы, артисты и законные супруги Пачкуновы, уставали работать, а он не уставал нас слушать, нас, палачей своих! Наконец, *комедия кончилась,* и только что она кончилась, Петербург шаркнул стульями — и бежать! О! как бежал он, великий Петербург, от нас, маленьких, ничтожных людей, сильных единым человеколюбием!

После этого концерта я составил было гениальный план самой отчаянной благотворительности. Я хотел, именем человеколюбия, потрясти все сундуки, опустошить все кошельки, все бумажники! Но не суждено было исполниться великой идее, и я должен был кончить свое поприще в самом начале.

Утомленные своею благотворительной игрой, взобравшись на свой пятый этаж, что на заднем дворе, и оглядевшись в своей скромной квартире, мы решили, что если после наших подвигов еще остались в каком-нибудь углу Петербурга бедные и страждущие люди, которых миновала благость наша, то, конечно, это мы сами; следовательно, мы имели полное право пожать, наконец, плоды нашего человеколюбия.

После того мы наняли хорошую квартиру на Литейной; накупили мебелей; абонировали ложу в Итальянской опере; но, должен признаться, все-таки жестоко скучали и часто ссорились. Однажды, проходя по Невскому и размышляя о средствах к водворению между нами любви и спокойствия, я зашел в новооткрытый магазин; там, любуясь разными машинами, я был поражен видом и устройством одной из них: кушетка не кушетка, стол не стол, аллах ведает, что за мебель такая была. Я спросил об этом у магазинщика.

Ты, вероятно, читал в газетах, что какой-то механик и мудрец во Франции изобрел чудную, таинственную мебель: *супружеское огнепостоянное ложе*? Мебель, которая обратила мое внимание, было это пресловутое ложе! Так как во всем магазине и даже во всем Петербурге не было другого ложа такого драгоценного свойства, то я и не мог поторговаться как следует с магазинщиком, который знал великую важность своей машины для супругов, подобных нам, Пачкуновым. Заплатив за нее тысячу рублей, я с торжеством повез ее домой, и, представь себе, несмотря на дороговизну этого ложа, человек двадцать женатых приятелей, повстречавшихся со мною в это время, узнав от меня о чудных свойствах моей покупки, давали мне за уступку ее большой барыш; но я и слушать об этом не хотел. За мною, по Невскому, валила толпа народа, состоявшая из счастливых супругов, с молчаливою завистью взиравших на благодатную машину!

Жена моя дремала за журналом, когда дворник, с помощью десяти посторонних мужиков, под моим предводительством, внес и поставил посреди нашей спальни *огнепостоянное ложе*. Странный вид и огромные размеры его сначала испугали жену: она сочла эту неоцененную мебель чем-то вроде адской машины; но когда я вывел ее из заблуждения, она пришла в восторг, тотчас распорядилась вынести нашу старую кровать на чердак, и в своем женском нетерпении едва дождалась узаконенной минуты, в которую надлежало испытать спасительное влияние супружеского огнепостоянного ложа.

С того времени мы живем припеваючи, не скучаем, не ссоримся, и любим друг друга усовершенствованною, патентованною, магнетическо-социально-гуманическою любовью!

Блаженство нашей жизни было только однажды возмущено слухом, будто хотят нас, как отъявленных благодетелей рода человеческого, выслать из Петербурга и запретить нам въезд в обе столицы. Мы порядочно струсили; но, к счастью, моим примером воспользовались столь многие, изобретенный мною способ публичных благодеяний роду человеческому вошел в такое употребление, что если выслать всех, кому любовь к человечеству набивает карман и служит блаженным способом к обрабатыванию грешных дел, то самый большой город будет не люднее какого-нибудь Сольвычегодска.

Глава третья. Заключение

С уважением и удивлением смотрел я на моего приятеля. Нежданно-негаданно нашел я предмет для статьи, совершенно согласный с условиями российского книжничества; но какое название дать этому рассказу, невероятному и, *вероятно*, вымышленному, потому что приятель мой, как выше сказано, любит тоже сочинить что-нибудь *этакое?* Благотворитель? Нельзя! Оскорбится народная нравственность. Шарлатан? Неловко окрестить приятеля этим наименованием!

— Что ты за человек теперь? — спросил я у приятеля.— Не может быть, чтобы ты был гений или великий человек, один из тех гениев и великих людей, которые беспрестанно встречаются здесь, на Нев-

ском. Ты несравненно выше их! Судя по твоим подвигам, если ты их не сочинил, ты не меньше как *порядочный* человек!

— Сам ты порядочный человек,— отвечал мне Лука Сидорович, видимо обиженный.— Неужели ты не понимаешь, что порядочный человек в состоянии только сорвать банк или занять у приятеля без отдачи; но кто возвысился до социальной благотворительности, самоотвержения из любви к ближнему, кто публично, безнаказанно облегчал участь страждущего человечества, тот — внимай, профан, тот уже сущий абсолютный *почтенный человек!*

БИТКА

Жаль, что день ото дня теряют свое значение в русском языке и вовсе выходят из употребления многие древние, сильные, меткие слова, теснимые иными чужеязычными словами, будто потому, что язык наш беден, невыразителен! Ныне, например, в большом ходу слово *гений.* Стоит осведомиться, кого и за что величают гением. Журнальный сотрудник, которому расчетливый редактор, или издатель журнала, не находит нужным платить за труд, называется, для поощрения, гением, а между тем он не гений, а только литературный *чернорабочий.* В канцелярии человек, совершенно владеющий казенным слогом, умеющий запутать дело подьяческими крючками, с одинаковым совершенством пишущий и переписывающий, слывет гением, а он только *строка,* и доселе законно и понятно придается название строки людям вышеисчисленных доблестей, обитающим в степных губерниях, куда еще не достиг бич бестолковых нововведений. Мелкий человек, ни разу не попавшийся в краже казенных денег, тоже находит панегиристов, которые глупо уверяют его и себя, будто он гений; но он мелкий человек с вытертыми локтями, по совести, не более как *вор,* в новейшем значении слова. Даже купечество российское приняло в *свой* язык бусурманское слово, хотя, кажется, и не кстати бы русскому человеку крестить себя немецким прозвищем; но вот причина: слышали мы от людей чиновных и ученых, что Наполеон был *гений;* поэтому, что бы ни значило такое мудреное слово, все-таки очень приятно носить одно название с Наполеоном. О, Наполеон! Наполеон — и гений! Много русских разумных голов закружились от этих двух слов, и вот: давно ли обанкрутился какой-то откупщик, давно ли он обеспечил себя десятком домов, выстроенных и купленных на *женино имя,* на казенные деньги и на достояние тысячи обманутых за благородную доверенность достаточных семейств, которым уже не бывать достаточными, а идти по миру и просить милостыню ради Христа; давно ли? И уже *все*, знающие этот чудный коммерческий оборот, кричат: Карп Карпович второй Наполеон, даже — Карп Карпович *второй гений!* Но стою за значение Наполеона и гения (с полным сознанием, что для Наполеона и гения нет в том никакой надобности) и опять скажу: это также не гений, это все-таки *вор,* но не в

нынешнем слабом смысле, это вор в древнем, обширном значении слова.

Далее, гением называют такого человека, которого нельзя назвать ни чернорабочим, ни строкою, ни вором, в каком бы то ни было размере, человека, который не что иное, как *битка*.

Идет речь о битке.

В Петербурге существует бесчисленное, известное только полиции, количество гостиниц, трактиров, харчевен и «съестных заведений», вообще называемых трактирами. Эти заведения отличаются одно от другого своими правами и обязанностями, своими замысловатыми вывесками и качеством своих посетителей. Есть трактиры или гостиницы, где в дверях стоит швейцар с булавою; есть трактиры или харчевни, где швейцары и другие крепко позолоченные люди составляют высший класс посетителей.

Середину между этими заведениями занимает русский трактир на немецкую стать, где хозяин старовер, муж, преисполненный благочестия и ненависти к табаку; где прислугу составляют *молодцы* из ярославских крестьян, одетые по-немецки, остриженные под *лавержет**, отчаянные любители табаку и горничных; где во всех углах теплится неугасимый огонь...

Трактир этого рода стоит на перекрестке двух улиц. Над двумя входами в него красуются вывески, на одной из них начертана простая надпись: *в хот в трахтыр город Кытай съесные кушаньи;* на другой эта надпись, для вящего уразумения проходящих, в которых предполагаются и люди, не ведающие книжной мудрости, повторяется иероглифами, имеющими вид чайника, сахарницы, графинчика, биллиарда и двух человеческих фигур, которых головы, без посредства шеи, приставлены прямо к плечам; от плеч проведены, одинаковой меры, четыре отрасли наподобие рук и ног*.

Благочиние, в лице будочника, постоянно блюдет за надлежащею тишиною и водворяет порядок в самом трактире по востребованию и на два шага в окрестности по личному благоусмотрению.

Утром, в шесть часов, трактирная команда пробуждается. Лишь только полусонный Петрушка открывает *в хот в трахтыр,* является посетитель: лицо бледное, наподобие старой, бывшей некогда белою, лайковой перчатки, глаза тусклые, оловянные, борода не бритая с полгода; сюртук казенного цвета, трижды вывороченный, и некоторое подобие жилета и панталон — пасквиль на панталоны и жилеты.

— А! Самсон Самсонович! Поздненько вы сегодня!— говорит ему Петрушка.

— Проспал,— отвечает Самсон Самсонович,— очень тепло было. Хоть и не комната, а так же тепло, как бы и в комнате. Одеяло и прочее дали не в счет. Очень хорошие люди!

Самсон Самсонович самый постоянный посетитель Кытая. В течение десяти лет каждый день проводит он в этом трактире. Где-то в подвале, на чердаке или в сарае он имеет *квартиру,* там он ночует; но в шесть часов утра он уже в *Кытае.* Половые, с которыми он очень дружен, приглашают его пить чай, и он, сказав, что уже выпил *дома* восемь стаканов, садится покушать, так, для компании. Потом ухо-

дит в уединенную комнату, ложится на диван и спит до вечера, если не разбудят его в течение дня новые посетители. Знающие Самсона Самсоновича не прерывают покоя его, садятся на другом диване и говорят: «Пусть себе спит Самсон Самсонович!»

Вслед за Самсон Самсоновичем валит в черную половину трактира толпа извозчиков; партии человека по четыре, требуют «собрать чайку на гривенничек, *получше давишнего, да поскорееча; очинно больно некогда!»*

— И Пчелку сегодняшнюю подавай!— прибавил Митюха, грамотей.

— Што Пчелку!— восклицает другой грамотей,— Андрюха, подай Полицейскую!*

— Не приносили еще,— отвечает половой.

— Ну, хоть вчерашнюю. Все равно!

После четырнадцатой чашечки чайку у ранних посетителей завязывается разговор, беседа. Эти *господа* не любят толковать о пустяках. Хотя они читают Пчелку, иные даже Полицейскую, однако внимание их обращается исключительно на предметы выспренние.

— Слышь, Андрюха!

— Что вычитал, Митюха?

— Получено двести тысяч зубов каких-то, бес их знает, патентованных, усовершенствованных, механических...

— О! я знаю,— прерывает один из собеседников, Кирюха.

— Это, ребята, зубы-самогрызы!

— Уж не те ли?

— Те самые, что от двенадцати лихорадок и от самого бурмистра отгрызутся!

— Вот кстати бы тебе, Митюха,— говорит Кирюха, лукаво перемигиваясь с прочими товарищами,— кстати бы послать гостинца жене, хоть парочку зубов-самогрызов. Вишь, она, сердечная, такая смиренница!

Общий хохот.

— Стой, ребята! Молчите и слушайте!— восклицают оба грамотея.

— Што, овес вздорожал?— вопрошают профаны неграмотные.

— Какой там овес!— отвечает Митюха,— кончина света будет!

— Мало чего нет! Не смотри полиция, давно бы была кончина света! И будет! Было ж затмение; вздорожала же водка! Прежде чего стоила косушка*, а теперь что стоит? Будет, я вам говорю, ребята, будет страшный суд на Пулковой горе: там уж и дом такой выстроили. День и ночь смотрят на небо*: чуть только покажется что-нибудь такое, сейчас дадут знать в полицию...

Разговор в этом духе, оставляемый уходящими, поддерживается остающимися и продолжается новыми посетителями во весь день. Он приятно разнообразится рассказами извозчиков о том, как одному из них попался очень щедрый барин, три рубля серебром пожаловал и четыре оплеухи дал, чтоб его черт взял; как другой весь день возил пьяных под прикрытием полиции; как третьему седок обещал выслать целковый за то, что целый день ездил, да не выслал; как четвертый ви-

дел в полночь черта у Казанского моста. Действие оканчивается в одиннадцать часов ночи общею жалобою на худое время, на кузнецов и на дороговизну овса и водки.

Оборванный мальчишка с утра до ночи стоит у входа в так называемую *чистую половину*. Несмотря на его невзрачность, на его видимое, осязаемое ничтожество, в нем предполагаются превосходные критические способности, и роль его у этого входа весьма важна: при появлении посетителя он должен одним взглядом, быстрым и верным, окинуть его с ног до головы, и решить, в какую из двух половин указать или отворить ему дверь. Этот глубокий критик до такой степени навострился в своей должности, что для составления себе точного понятия о посетителе считает достаточным взглянуть только на локти и сапоги его.

С десяти часов утра *чистая половина* трактира наполняется почетными гостями: подрядчиками, поставляющими припасы и гробы в госпитали и больницы, строящими казенные здания и содержащими в них надлежащую чистоту. Едва только они сели, является сам трактирщик для засвидетельствования им *решпектов**. Только подрядчики, поставщики и содержатели чистоты имеют в себе что-то такое, вызывающее трактирщика на особенное внимание к ним, на собеседничество с ними. Это, может быть, происходит от общей охоты потолковать о политике, в которой, с одной стороны, посетители весьма недалеки, потому что они читают в газетах одни только объявления о торгах на подряды и поставки, а с другой, трактирщик, читающий ежедневно газеты от заглавия до подписи цензоров, так силен, что чувствует непреодолимое стремление высказывать свои мысли о китайских и испанских делах и ставить слушателей в тупик своим многознанием.

— Ну, Кузьма Терентьевич, что нового, что хорошего у вас?— спрашивает поставщик припасов.

— Плохо, Терентий Кузьмич,— отвечает трактирщик со вздохом,— очень плохо! В Китае, не в моем, а в настоящем Китае, торговля совсем остановилась. Англичане столько товаров навезли, что и девать некуда. Быть войне!

— Когда-то она будет,— замечает тоже со вздохом поставщик гробов,— а нашему брату придется с голоду умереть. У меня своего товара столько накопилось, что и не знаю, как с рук сбыть. Просто божеское наказание!

— Думайте, как хотите, а война будет,— продолжает трактирщик.— Пусть только англичане построят у нас железные дороги, а там уже можно им и встряску задать!

— Ну, что, скажите пожалуйста, эти железные дороги,— спрашивает содержатель чистоты,— я слышал от многих, от людей очень грамотных... Вот, например, Евтей Лукич, всякую вещь разумеет порядком: железо ли старое, ржавое, поставить вместо нового; гробы ли гнилые, вместо прочных, казенных,— все обработает. Очень умный и праведный человек, говорит, что эти дороги просто дьявольское наваждение.

— Пустяки! — возражает трактирщик. — Ваш Евтей Лукич просто ханжа. Если б было что-нибудь нечистое, так на то есть законы!

Трактирщик выразительно взглянул на подрядчиков, и как дело приходило к расчету, то он поклонился им и ушел. Вслед ему раздались восклицания: «О! что это за голова Кузьма Терентьевич! Недаром же пишут в книгах, что русский народ *ко всему* способен!.. Просто сказать, побеседовавши с ним полчаса, поумнеешь на целый день!»

Между тем появляются люди грамотные, книжные, письменные. С трех часов трактир преисполнен чиновниками, конторщиками, просидевшими восемь часов сряду над отношениями и счетами. В трактир они ходят для того, чтоб убить время, прочитать газеты и повстречаться с приятелем, у которого водятся деньги, а есть между ними и такие, которые не ожидают встречи с приятелями и требуют поскорее водочки графинчик, чаю, закусить этак что-нибудь и прочитать тоже что-нибудь.

В это время Самсон Самсонович пробуждается, оправляет свой вечно неизменный туалет, маневрирует вокруг чиновников и, наконец, подходит к одному из них, который по некоторым причинам пребывал в умилительном состоянии.

— Вы меня извините, — говорит ему Самсон Самсонович трогательным голосом.

— Не за что! — отвечает чиновник, пребывающий в умилительном состоянии.

— Нет! Вы меня извините. Ведь это у вас березовка, или тысячелистник?

— Это березовка, сопровождаемая телятиною!

— Так я и думал! Березовку сейчас заметно даже издали: совсем особый цвет имеет!

— Не угодно ли вам?

— Покорно благодарю! Я не употребляю... но, за ваше здоровье!

— Покорно благодарю! Не хотите ли закусить?.. вот...

— Покорно благодарю! Я только что пообедал, очень хорошо пообедал, три блюда такие... Разве еще одну выпить для аппетита. За ваше здоровье!

Самсон Самсонович овладевает березовкою, сопровождаемою телятиною. Посетитель, лишенный половины обеда, выходит из умилительного состояния и мысленно посылает Самсона Самсоновича к черту; а между тем Самсон Самсонович ускользает в другую комнату и подходит к другому лицу.

— Вы меня извините, если я спрошу у вас, что это вы кушать изволите: карамбулевую, или сорокалиственную, или же...

— Это «Адамовы слезы»!

— Так-с! «Адамовы слезы» видны по цвету... Очень приятный цвет для глаз, не то чтобы зеленый, и нельзя сказать, чтобы мундирный; а о вкусе и говорить нечего! Весьма усладительно, хотя с одной стороны и горько!..

Трактир *горот Кытай* издавна славится, а в трактире славится

буфетчик особенным приготовлением «Адамовых слез» по новейшему, усовершенствованному способу, и многие, очень многие хорошие люди услаждают свои горести этими горькими слезами, и кто, говорят, примет соразмерное количество этих капель или слез, тот забывает и скуку, и горе, и оскорбление любви, и неприятности по службе, и были будто бы такие люди из числа чиновных, казенных людей, ничего не евшие, не пившие, не писавшие, а только переписывавшие, которые под благодатным влиянием «Адамовых слез» пели самым раздирательным образом и даже писали, так, просто, сами писали, а не то чтобы только переписывали.

Самсон Самсонович, получив новое приглашение, глотает «Адамовы слезы» и отправляется далее. И странно — не находилось человека, который бы оттолкнул Самсона Самсоновича неприветным словом. Иной только подумает что-нибудь, а все-таки скажет обычное для него: «не угодно ли вам» и «прошу покорно!» Самсон Самсонович, обращаясь со своим вопросом: «Что это вы изволите кушать?— произносит его слабым, кротким голосом, и вопрошаемый, взглянув на него, встречает чуть заметную улыбку, то не бывает улыбка учтивости, ласки, благорасположения, встречает взор странный, сверкающий особенным неиспользуемым чувством, и от той улыбки, от того взгляда вздрагивает человек, теряет веселое расположение духа и спешит посадить Самсона Самсоновича возле себя, угостить, обласкать его, не спрашивая, кто он, и не желая знать, кто он.

Трактир пустеет; только в одной отдаленной комнате веселая толпа чиновников, порядком покутивших, собираясь домой, рассуждает окончательно:

— Дурак! Сущий дурак! Если бы не женился на какой-то родственнице директора, не бывать бы ему столоначальником во веки веков! То ли дело Сой Кузьмич! Сою Кузьмичу не только столоначальником, министром быть!

— Без всякого сомнения! Не будь он так *пренебрежен* службою, он был бы уже если не министром, то помощником экзекутора!*

— Вообразите: вчера я... да, я вчера был уже *пришедши* в департамент, когда Сой Кузьмич...

— Что и говорить! Сой Кузьмич у нас самый бойкий человек! Просто сказать — *битка!*

Самсон Самсонович, забившись в свой угол, пребывал в умилительном состоянии. Он лежал на диване, смотрел в потолок, на хитрые арабески, и думал, что вот, дескать, потолок, а это арабески, а там паутина... а там уже и бог знает что такое... О других предметах он никогда не думал: он разучился думать. Но вдруг его бледное, мертвое лицо покрывается румянцем, оловянные глаза сверкают, две слезы горьче и чище «Адамовых слез» катятся по щекам, из груди вырывается тяжкий, долгий вздох...

«Битка!»— говорит про себя Самсон Самсонович. Это слово, долетевшее к нему из отдаленной комнаты, поразило душу его, напомнило ему о чем-то давно прошедшем, давно забытом. Не всю жизнь свою провел он здесь в трактире: он жил когда-то между людьми, когда-то к нему приходили такие же люди несчастные, оборванные,

как он, и спрашивали тем же сладостным голосом: «Что вы это кушать изволите?» Когда-то и о нем говорили то же, что говорят теперь о каком-то Сое Кузьмиче. Бойкий человек! *Битка!*— говорили долго, двадцать лет... и такова была его нравственная сила, что в двадцать лет эта похвала, эта почесть ни разу не вскружила ему голову, не отважила его ни на один отчаянный казус, ни на одну проделку, ни на одну плутню, которую бы он сделал не по общепринятой методе, без надлежащей осторожности. Блестящая судьбина ждала его. Теперь он был бы уже бог знает чем, ездил бы в карете, покровительствовал, судил, рядил... Но бес попутал его на двадцать первом году ревностной службы: он зазнался! «Что!»— сказал сам себе Самсон Самсонович, и после этого «что» запустил руку в казенный сундук, «Я, дескать, битка!» И нашелся злодей, верный друг, которому недоставало только случая быть самому бойким человеком и биткою! Верный друг *упек* битку; битку отдали под суд, битку выгнали из службы с таким паспортом, что боже упаси! Битку прозвали дураком!

А предатель, дотоле лицо ничтожное, *пешка,* прослыл бойким человеком, *биткою,* и недаром: теперь он лицо весьма благородное и солидное; он не пренебрег великим множеством установленных правил, форм и порядков, он хранит их строго, сидя на самой вершине их, и, оттуда озираясь, дивится, как высоко поднялся он!..

И стал скитаться Самсон Самсонович по великому граду Петербургу... долго скитался он со своею горькою долею, наконец бросил якорь в этом гостеприимном трактире. Десять лет он провел здесь, и только здесь... и так привык к своему положению, так переродился, что и узнать нельзя в нем прежнего *битку;* он не горюет, не страдает, не заботится, не мыслит ни о чем... Только лежит себе на диване и смотрит в потолок.

Но иногда, редко, подслушанный разговор чиновников, вроде вышеприведенного, поражает душу его тоскою неумолимою. Он плачет в своей каморке, на своем войлоке... он вспоминает, он чувствует, он думает: «Когда бы я был точно хуже других!.. Когда бы другие не были хуже меня!»

Бьет одиннадцать часов; трактир запирают. Веселые чиновники и вслед за ними Самсон Самсонович, сопровождаемый Петрушкою, уходят. Одни поют:

> В закон, в закон, в закон себе поставим
> Для ра- для ра- для радости лишь жить!

Другой думает: «Бойкий человек! Битка! — Ах, какой мороз, господа! Что, если бы этот сюртук еще раз выворотить, да починить, да ватою подбить! *Битка!..»*

СТО РУБЛЕЙ

Есть в мире предметы благоговения всеобщего, безусловного; есть величие, совершенное в глазах мудреца и дурака; есть сила, своенравно, деспотически располагающая жребием человеческим;

те предметы — рубли, то величие — рубли, та сила — в рублях!

Человек без рублей, хотя бы то был и чиновник, ничего не значит, ни к чему не годится и ничего не стоит. Человек с рублями, хотя бы то и не был чиновник, имеет значение всюду, годится ко всему, и стоит той суммы рублей, которою он обладает.

И странно, что при такой популярности рублей доселе не дознано, какое именно количество их нужно на каждую православную душу или для счастия человека *данного* ранга! впрочем, есть должности, в которых можно обойтись вовсе без жалованья, которые так и влекут к служению в них из одной чести, из одной любви к отечеству!

Но Авдей Аполлонович, давший повод к этому рассказу, не был из числа тех избранников, которым своенравная судьба шлет полное, личное и потомственное блаженство в образе такой-то счастливой должности. Авдей Аполлонович чиновник, сын Аполлона Авдеевича, поэта, имел несчастье родиться в дождливый осенний вечер, в такую горькую минуту, когда отец его, прочтя жестокую критику на свои стихотворения, написанную, по его соображению, Карамзиным*, смотрел на весь свет и, между прочим, на умножение своего рода, с самой дурной точки зрения. «Стихов,—говорил он,— не раскупят после этой критики, а семейство увеличилось: надобно хлеба! Вздумал же этот ребенок, прости господи, родиться!» И Аполлон, изорвав в клочки журнал, заключавший в себе зловредную критику, и даже не взглянув на новорожденного, занялся, для успокоения оскорбленного самолюбия, сочинением антикритики, в которой с первых строк назвал Карамзина *оным господином Карамзиным,* далее просто *каким-то* Карамзиным, но, считая и это недостаточным, объявил Карамзина не знающим российского стихотворства и присовокупил к тому иные сильные выражения, в наше время уже не употребляемые, потому что образованность разлилась всюду, даже между литераторами.

Из того, что Авдею не посчастливилось родиться в пору, следует, что ему и жить не посчастливится. Трудно оступиться на первом шагу в этот коварный мир, а там уже и пойдешь спотыкаться, пока не упадешь в могилу! Авдей был даже несчастнее многих, родившихся, подобно ему, не в пору: когда ему наступило шестнадцать лет, для него нигде во всем Петербурге не было места и ваканции — ни в школе, ни в канцелярии, ни в тесной квартире поэта, ни даже на Парнасе, куда Аполлон хотел было втащить свое детище, во избежание необходимости учить и платить за него. Искомой ваканции нигде не оказалось. Между тем Аполлон родил после Авдея еще большой том стихотворений и маленькую дочь. Наконец, он умер от восторга, вследствие чтения третьей корректуры своих «Антологических цветов», а сын так на веки веков и остался без ваканции!..

Похоронив и помянув усопшего Аполлона по христианскому обычаю, Авдей, его мать и сестра Наташа, которой в ту пору было лет четырнадцать, принялись устраивать свое житье по новому способу: надобно было зарабатывать деньги на хлеб насущный, потому что поэт, скончавшийся в блаженном видении себя «Российским Анакреоном»*, не оставил своей семье ничего, кроме своих сочинений в

корректурах. Мать достала себе и дочери работу для магазина, и они, работая по двенадцати часов в сутки, добывали вместе один медный рубль. Но Авдей не умел ни писать стихов, подобно своему отцу, ни шить женских нарядов, подобно матери и сестре, он умел только «писать разные бумаги» и тщетно старался приискать себе место для этого занятия. Он бывал во всех департаментах, палатах, канцеляриях, обращался к чиновникам всех классов и цветов, всюду — и все отвечали ему одно: *нет вакансии!*

Грустно и больно было бедному Авдею видеть себя в необходимости существовать трудами матери и сестры! Напрасно они ободряли его, советовали не огорчаться, подождать, походить, понаведаться еще раз, может быть, уже и открылась где-нибудь вакансия — напрасно! В душу его западало страшное подозрение, что для него во всем мире нет и не будет вакансии, что он здесь так, какая-то случайность, ошибка — человек без вакансии! В отчаянии он решился попытать «вакансии» в третий раз и отправился в прежние места.

В одном из тех мест на вопрос Авдея: «Что, позвольте спросить, еще не открылась вакансия?»— чиновник с раздутыми щеками отвечал ему сиплым басом, величественно воздев нос к потолку: «Говорят вам, что нет!— Нет, так и нет! Что вы надоедаете своей вакансиею!» В эту самую минуту седой старик, со звездою на груди, глядел из другой комнаты в полуотворенную дверь на Авдея и на раздутого чиновника. Когда Авдей, еще более пораженный грубостью ответа, хотел уйти, старик спросил у него кротким голосом: «Что вам угодно, молодой человек?» Авдей воодушевился отчаянием и отвечал: «Надобно чем-нибудь жить, Ваше превосходительство! Не оставьте! Не милостыни, а должности прошу! Зачем я на свет родился, если для меня нет вакансии, у меня не спрашивали! А теперь мать, сестра!..»

Этот довод так подействовал на ласкового генерала, что он приказал Авдею подать просьбу о принятии его в «чиновники».

Авдей земли под собою не видел, бежа домой с радостною вестью. Он жил на четвертом этаже, но еще не добрался и до третьего, а уже кричал: «Маменька! Наташа! Есть вакансия!»

Он поступил на службу и стал служить... Вдруг, в одно прекрасное утро, чиновник с раздутыми щеками, бывший его начальником, объявил ему, что его превосходительство, генерал, переведен в другое ведомство и что по причине преобразования канцелярии он, Авдей, оставлен за штатом, то есть *без вакансии!*

Для человека, испытывающего радости жизни только один раз в месяц, при получении жалованья, нет ничего ужаснее, убийственнее, как быть внезапно оставленным за штатом, неожиданно лишиться вакансии и не видеть в длинной цепи грядущих дней ни одного первого числа!

И вот Авдей опять без вакансии! Несчастный! Он только что изучил силу и необходимость двадцати рублей ассигнациями, которые получал ежемесячно в канцелярии и отдавал матери, а мать всегда в таких случаях покупала что-нибудь ему и сестре... и все были так веселы, так счастливы... И все разрушилось!

Нет в свете такого английского, стального, усовершенствованно-

го, патентованного пера, которое могло бы изобразить глубокую печаль бедного, чиновного, трехдушного семейства, пораженного, растерзанного мыслию, что Авдей опять без ваканции! Каждая душа томилась и страдала по-своему, порознь от двух прочих душ, каждая старалась сказать что-нибудь утешительное, но в уединении проливала горькие слезы!

Вообще несчастие *данной* силы действует не на всех одинаково: есть люди, которые под гнетом несчастия утешаются какой-нибудь мечтою, воображая себя, например, гнущими по четыре угла сряду, срывающими банк; есть люди, которые только бранятся и проклинают весь свет, не допуская никаких утешений, никакого развлечения; есть люди, которые ничего не проклинают, а только думают: «Вот опять несчастие! Даже и на Невский не хочется взглянуть... *по этому несчастие* сейчас заметно!» Есть, наконец, люди, которые в несчастии тоже ничего не проклинают, но и не думают о Невском, как другие думают только о том, что они несчастны, что нет для них в мире ни одной радости, ни одной верной надежды, ни одной ваканции, которые считают несчастие не преходящим злом, а уделом всей своей жизни. Это самые несчастные, и к их числу принадлежало многострадальное семейство «Российского Анакреона».

Но давно замечено и многократно повторено, что всякое горе проходит. Так и оставление Авдея за штатом сначала повергло семейство Анакреона в скорбь неутолимую, потом постепенно все стали привыкать к этой беде, и Авдею первому пришла в голову живительная мысль, что если один раз ему уже удалось отыскать ваканцию, то, может, удастся это и в другой. Он вспомнил, что не все пишущие и переписываемые люди служат в департаментах и палатах, что многие чиновники служат в купеческих конторах, что есть чиновники конторщики, так же, как чиновники столоначальники. Одушевленный новою надеждою, Авдей отправился в конторы, впрочем, не в самые конторы, а только в передние, где обыкновенно лежат сторожа, занимаясь сподручным делом — почесыванием затылка и боков. У этих сторожей, которые происходили из отставных солдат или из кровных мужиков, Авдей смиренно осведомлялся: «Нет ли здесь ваканции по письменной части?»— и в десяти передних получил один ответ, что ваканции никакой нет! Бесполезно проходив по Петербургу с осьми часов утра до трех пополудни, когда обыкновенно конторы пустеют, он уже под губительным влиянием разочарования зашел в переднюю конторы господ Щетинина и Компании. Там сторожа не оказалось, и Авдей должен был пройти прямо в контору, где, кроме четырех конторщиков, изволили быть и *сами* господа Щетинины и Компания. Авдей вдруг заметил эту *самость,* потому что она сидела в халате, по русскому обычаю, и обращалась к конторщикам, называя их определительными именами: скотом, или дураком, или бараном.

— Тебе что надобно?— спросил Щетинин, взглянув на униженно кланяющегося Авдея.

— Нет ли ваканции?.. Писать могу!— отвечал Авдей.

— Вот видишь ли, *ерш,*— воскликнул Щетинин, обращаясь к од-

ному из конторщиков,— видишь!.. да не тебе говорю, *баран* (это относилось к другому конторщику, который второпях, сочтя себя за ерша, почтительно вытянулся перед хозяином)! Я тебе, ерш, говорю: вот видишь ли, я еще и не свистнул, а уже конторщики сбегаются... Так видишь ли...

В эту минуту ерш, покрасневший, отвечал скороговоркою: «Хозяин! Я вижу больше, чем вы думаете!»

— То-то, ерш! Из тебя был бы *путь*, если бы ты не *ершился* больно! Ну, да потерплю еще маленько!

Авдей, послушав и поглядев на эту сцену, преисполнился глубокого уважения к господам Щетинину и Компании; но видя, что эти господа, занятые прением со своими конторщиками, забыли о нем, он позволил себе напомнить им о своем присутствии скромным кашлем.

— А, ты еще здесь! Так ты в конторщики хочешь?— спросил Щетинин, снова обращаясь к Авдею.

— Я желал бы иметь ваканцию. Сделайте такую милость, дайте мне ваканцию!

— А из *каких* ты?

— Что-с?

— *Чей* ты такой?— я спрашиваю.

Авдей решительно не понимал смысла этих вопросов и, смущенный, решился молчать.

— Что ефто за народ!— воскликнул господа Щетинин и Комп.— Ему ефто толком говоришь, а он молчит как... как рак!

— Извините,— отвечал Андрей трепещущим голосом,— я не расслышал или не понял, что вы изволили сказать.

— Я, выходит, спрашиваю, что ты за человек такой: крепостной ли ты, вольной ли ты...

— Я чиновник.

— Чиновник! Я не принимаю чиновников...— отвечал Щетинин октавою ниже.

— Позвольте вам заметить,— сказал Авдей с отчаянием,— я хотя и чиновник, однако могу работать не хуже... да, ей-богу, не хуже крепостного, не только вольного!

— Знаю! Да вы, чиновники, народ все такой... у меня в конторе только один чиновник — я сам, а все прочие мои конторщики!

— Я и прошусь к вам в конторщики!

В это время некоторые из конторщиков, посмотрев на пришельца, насмешливо переглянулись между собою. Авдей, как ни мало был он сведущ в коварстве души человеческой, понял, что конторщики, состоящие из так называемых «вольных людей», уже враждуют против него, потому что он чиновник! Пораженный этим открытием, он печально опустил голову, и на лице его выразилось чувство глубокой скорби, понятной только тому, кому случалось искать и не находить ваканции. Но было здесь одно лицо, незаметное, по-видимому, также страдательное, как и Авдей, которое, взглянув на Авдея, не улыбнулось коварно, подобно другим конторщикам, и, взглянув, не спешило скрыть возбужденного в нем чувства. То лицо — *ерш,* по наружности

младший из конторщиков, *ерш,* которому господа Щетинин и Комп. только что угрожали изгнанием из конторы. Когда взгляд ерша повстречался со взглядом Авдея, последнему показалось, будто в нем принимают участие.

— Хозяин!— сказал ерш, обращаясь к господам Щетинину и Комп.— Вот этот чиновник, которым вы меня пугали, очень хочет быть у вас конторщиком, так я думаю себе, что если у вас нет для него вакансии, почему не прогнать меня!

— Ой, горе-мальчишка, зверь-мальчишка!— пробормотал господа Щетинин и Комп.

— Да, я думаю, почему ж не прогнать меня! Ведь вы меня держите потому только, что вы добрый человек, а я сам не стою ваших милостей!

— Послушай, ерш!— сказал хозяин,— будь на твоем месте вот этот *баран* или тот *болван,* я прогнал бы его сию минуту; но тебе еще раз прощаю, и прощаю в последний раз, а там уже прогоню. Не *ершись!* Ты еще мальчишка! Вот только поэтому и прощаю.

— Спасибо, хозяин. А чиновник-то?

— Чиновник! Ну, и чиновника приму. Посмотрим, к чему он годится!..

Принятие Авдея в конторщики совершилось в одну минуту. Хозяин велел ему сесть за конторку, насупротив ерша, и переписывать, что ему дадут. На первый случай ерш дал ему небольшой счет, и он переписал его скоро, чисто, без ошибок, так что даже странно было, почему Авдею не даются вакансии. Судьба! Щетинин, посмотрев на работу Авдея, был ею доволен, но тут же заметил, что для него вакансии в конторе нет, а принимается он *сверх вакансии,* по уважению бедности его, с жалованьем по десяти целковых в месяц. Авдей поблагодарил Щетинина за человеколюбие и подумал: вот уже, на что: и пишу, и служу, и жалованье *достаточное* назначено, а все-таки вакансии не имею!.. Просто горе!

Все конторщики Щетинина, как выше упомянуто, носили характеристические названия, изобретенные и употребляемые им вместо собственных имен. Он находил нужным дать такое же название и Авдею, но трудолюбие, исправность в занятиях, болезненный, страдальческий вид бедного чиновника разрушали каждый эпитет, какой только ни изобретало остроумие Щетинина. Он пробовал называть его рыбою, баричем и даже отряхою[1], но все эти названия, видимо, были нелепы, и сам Щетинин чувствовал, что Авдей не похож ни на рыбу, ни на барича, ни на отряху. Однажды он назвал его *антиподом,* но, заметя, что ерш, коварнейший и неисправимейший из конторщиков, улыбнулся, и не зная в точности, что за вещь называется антиподом, не повторил этого названия, и после многих тщетных попыток решился называть его просто чиновником.

По примеру хозяина и конторщики прозвали Авдея чиновником. Только ерш, осведомясь у Авдея при первом с ним разговоре о его

---

[1] Отряхою — т. е. неряхою.— *Ред.*

имени и отечестве, называл его всегда Авдеем Аполлоновичем или просто Авдеем, и Авдей со своей стороны называл ерша Михеем Тихоновичем или просто Михеем; в сношениях с прочими конторщиками он хотя и не называл их характеристическими именами, однако избегал и употребления собственных, заменяя те и другие местоимениями. Некоторое время конторщики, кроме Михея, дичились чиновника. Будь он «из вольных», они давно успели бы познакомиться и побраниться с ним, но так как он, к своему несчастию, принадлежал не к «вольным», а к «благородным», то кастическая ненависть и кастическое уважение долго препятствовали сближению обеих сторон. Наконец, видя, что «чиновник» очень добрый малый, без всякой амбиции, и сам заискивает их расположения, они решились вести себя с ним просто, и как только решились, в ту же минуту, для испытания степени его моральной упругости, попросили его сходить на минутку купить для них завтрак. Этот завтрак, для которого каждый конторщик давал по гривеннику, был покупаем поочередно одним из них: раз бараном, в другой скотом, в третий дураком, в четвертый ершом. Авдей изъявил готовность отправляться в эту экспедицию ежедневно, и его стали посылать ежедневно. Завтрак состоял обыкновенно из белого хлеба, сыру, колбасы, а в первое число и из бутылки мадеры в тридцать копеек серебром. Все это покупал Авдей с такою скоростию и исправностию, что тот из конторщиков, который назывался *бараном* и сверх того носил уличное имя Тита Никифоровича, заметил однажды, что Авдея надобно приглашать к завтраку, хотя он и *не идет* своим гривенником; но это замечание, сколько оно ни дышало нежнейшим человеколюбием и бараньею логикою, как-то неприятно отозвалось в сердце Авдея. Он, по обычаю, ничего не сказал, но на лице его мелькнуло выражение чувства...

— Я в этом виноват,— сказал ему ерш в ту же минуту.— Я сам сыт, а о тебе и не подумал! Только теперь я заметил, что ты не покупаешь себе завтрака.— И куда мне?— отвечал Авдей,— для чего мне завтракать и гривенник тратить! Бог с ним! Не умру до обеда!

— Ну, уж этому не бывать! Гривенника тратить тебе не нужно, если для тебя так дорог гривенник, а со мною завтракай, не то поругаюсь с тобою!

— Ну, что ж ты сердишься, Михей! Я не хочу и на свой счет завтракать; как же мне решиться на твой счет?..

Этот аргумент был произнесен голосом совершенного убеждения в его справедливости. Михей понял, что нечего настаивать, и сказал: «Чудак!»

— Мы лучше вот что сделаем, Михей, вперед мы будем завтракать *пополам,*— твой пятачок и мой пятачок. А то, сам посуди, как же мне завтракать на твой счет!

— Ну, пожалуй,— отвечал Михей.— Каждый на свой счет, по пятачку с головы.

С тех пор Авдей и Михей завтракали *пополам,* особо от других конторщиков, и когда они завтракали, разумеется, в отсутствие хозяина, который бывал в конторе не более часа в день и бранился, между ними происходили разговоры, сближавшие их, объяснявшие од-

ному для другого *темные места* в свойствах каждого из них. И после того они становились один другому более интересными, один к другому чувствовали более расположения.

Михей, подобно Авдею, многократно испытывал, что значит не иметь ваканции, и, наконец найдя ее, служил за маленькое жалованье, принужденный сносить строптивость и грубость господ Щетинина и Комп. Эти господа, придавая характеристическое название каждому из конторщиков, называли Михея ершом, и это название, сравнительно с прочими, было для него весьма почетное. Оно дано было потому, что один Михей осмеливался не молчать перед хозяином и возражать без грубости, без обиды, за которою тотчас последовало бы изгнание его из конторы, а с учтивою колкостию, и господа Щетинин и Комп. терпели эту колкость и только по этой колкости и неуступчивости ставили его в своем понятии выше прочих конторщиков, даже дорожили им, сколько можно дорожить конторщиком, зная пословицу: «Было бы корыто, собаки найдутся».

При сходстве в обстоятельствах жизни между Авдеем и Михеем была разница в свойствах: тот был угнетен, раздавлен судьбою, был робок, боязлив, страшился всего, особливо «ваканции»; этот, напротив, чувствовал себя обиженным несправедливо, жаждал мести, той мести, потребность которой рождается в сердце человека, оскорбленного условиями, отношениями, обстоятельствами, и которая часто совершается не над одним отдельным лицом, но над великою личностию общества и человечества. Эта жажда мщения одушевляла его в борьбе с обстоятельствами; он не упадал духом, не покорялся ни ваканции, ни судьбе. «Что такое судьба?— говорил он,— я эту судьбу...»— и он произносил такое слово, которое не оставляло ни малейшего сомнения, что он презирает судьбу. В нем уже таился зародыш будущего купца первой гильдии, будущего известного благотворительностью гражданина, будущего троекратного банкрута, оставляющего коммерческое поприще с почетным званием, с миллионом в ломбарде на имя неизвестного и с дюжиною домов в Петербурге на «женино имя», одним словом, зародыш будущего великого человека, в единственном роде, в каком только могут быть великие люди в русском народе. Но это был еще зародыш, стремящийся к развитию среди враждебных стихий нищеты и оскорблений. Как все люди с сильным характером, со всемогущею верою в себя, ерш был искренен и пылок; он не скрывал ни своего пренебрежения к прочим конторщикам, ни своего неудовольствия к хозяину, говоря, что терпит это потому только, что ожидает от господ Щетинина и Комп. одной выгодной комиссии, по исполнении которой будет в состоянии записаться в купцы и заняться своим делом. «Я так *обокраду* этого банкрота,— пояснял он,— как ни один приказчик его не обкрадывал. Я покажу ему, что если я дурной конторщик, зато хороший аферист!» Глагол «обокрасть» произвел на Авдея, видимо, неприятное впечатление, которое он старался скрыть от ерша, но тот заметил это и продолжал свои объяснения таким образом: «Я только так говорю, что обокраду, а в самом деле я воспользуюсь тем, что всюду называется «умением наживать копейку». Жалованьем и трудом ее не на-

живешь, и никто не наживает этим способом. В ином роде службы берутся взятки, на взятки строятся дома и покупаются деревни. У нас в торговле взяток нет, а есть другие способы: купишь, например, товара на рубль, покажешь в счете на полтора рубля. Так многие делают; и все эти миллионщики, спроси у них, что сделало их миллионщиками? Жалованье? Труд? Пожалуй, они скажут, что трудолюбие и честность; но это не всегда бывает справедливо. Я знаю, иногда самый труд скорее приводит к голодной смерти, чем к довольству в жизни. Я знаю и докажу, что не хуже другого умею благотворить себе на счет ближнего. Не робей же, Авдей! Не покоряйся ничему, пренебрегай всякими обстоятельствами и пользуйся глупостию людей, а глупых людей очень много на свете!»

Но эти назидания не могли принести пользы Авдею. Его характер был уже образован, точнее — измят обстоятельствами «ваканции», и душа его не была способна к энергии, к упругости, свойственной людям стальной натуры. Он ослабел телом, духом, мыслию и воображением. Он не мог принудить себя видеть что-нибудь хорошее в мире или ожидать чего-нибудь сносного для себя. В тщете покушений извлечь мать и сестру, любимых со всей нежностию доброй, искренней души, из когтей бедности, принуждавшей их к убийственной работе, он нашел безотрадное убеждение, что ни для него, ни для милых ему нет в этом грязном, усовершенствованном, распутном мире ни одной порядочной ваканции. И это убеждение давило его во сне, пугало наяву, убивало в нем волю, расстраивало воображение.

Он так был уверен в отчуждении его судьбою от всех интересов, доступных человеческому роду, что не хотел даже попытать счастия, или, по его мнению, ваканции, в искусительной лотерее, которую разыгрывал какой-то магазинщик в Коломне*. Разыгрывалось в тысячу рублей серебром, разделенных на тысячу рублевых билетов, следующее добро: корова Холмогорская — 1; колечко золотое, принадлежавшее, по преданию, царице Клеопатре* — 1; механическая усовершенствованная кровать — 1; Трактат о добродетели — 2 (о цифрах, выставленных здесь с подлинного лотерейного листа, ничего положительного сказать нельзя; но предполагается, что они означали количество разыгрываемых предметов, и в этом смысле Трактат о добродетели можно считать или в двух томах, или в двух экземплярах). Но самое важное в этой лотерее было то, что для возбуждения в «почтеннейшей Коломенской публике» желания разобрать поскорее «остальные» билеты и для возвышения в глазах ее ценности Трактата о добродетели к нему присовокуплялась премия в десятую долю всей лотерейной суммы, во *сто рублей* серебром. Таким образом, всякому грешнику, выигравшему Трактат о добродетели, предстояла совершенная возможность не грешить более для приобретения денег, необходимых для самой добродетельной жизни.

— И, куда мне! — возражал Авдей на уверения Михея, что можно выиграть сто рублей, рискнув одним.— Куда мне выиграть! — И в этом отрицании выражалось столько фаталистического верования в предопределительность несчастия, что Михей, не сообразив даже своего капитала, купил билет на *свой счет* и насильно втиснул его,

в виде «искреннего подарка», в руки бедного, бесталанного чиновника.

— Даровому коню в зубы не глядят,— заметил Авдей Михею,— но все-таки жаль, что ты потратился последним рублем на такую мечтательную затею!

— А почему ж мечтательную?— возразил Михей.— Я купил этот билет на последние деньги, так видишь ли, тут есть что-то такое, почему можно ожидать для тебя счастия. Ей-богу! Тебе непременно надобно добиться счастия. Ведь ты, сам по себе... ну, не для чего обижать тебя: без счастия ты пропадешь; лови же счастие в лотерее!

«И в самом деле! Почему бы мне не выиграть чего-нибудь в этой лотерее?»— думал Авдей, возвращаясь из конторы домой и рассматривая билет... И в том билете была странная для него особенность, поддерживавшая надежду: билет имел нумер шестьсот шестьдесят шестой, а известно, что это число для православного человека имеет важное значение, потому что число имени антихриста составляет, буквенным счетом, сумму шестисот шестидесяти шести*.

— Да, очень лестно было бы выиграть что-нибудь, особливо Трактат о добродетели... Корова тоже значит много, но Трактат лучше. Боже мой! и почему бы мне хоть в этом случае не узнать, что такое счастие? Сто рублей! Знатная сумма! То-то радость была бы для маменьки, для Наташи, если б я, возвратясь *однажды* к обеду, мог сказать: «Вот вам сто рублей; не работайте больше, не мучьте себя, наймите себе кухарку, купите себе...» И чего-то не накупили бы мы на сто рублей! Очень много вещей можно купить на сто рублей!

Так мечтал Авдей, каждый вечер сидя дома, между тем как мать и сестра его, занятые шитьем, не замечали особенной в нем перемены. Сначала он хотел было рассказать им свои фантастические надежды и планы, но, подумав, решил, что не для чего хвалиться вперед... «Если выиграю, тогда обрадую их неожиданно, а если... если нет,— говорил про себя с тяжким вздохом Авдей,— пусть один я буду знать и жалеть о своей неудаче!»

До розыгрыша лотереи оставалось две недели. Авдей, сначала решительно отвергавший всякую мысль о выигрыше, постепенно предавался фантастическим мечтам о том, что, может быть, ему и удастся выиграть... хоть что-нибудь! В особенности сердце его трепетало желанием ста рублей!.. Правда, до этого случая он никогда не думал и не смел думать об обладании такою страшною суммою; но теперь логическая возможность выиграть ее с каждым днем более и более подавляла в нем мертвящее неверие в счастье, в удачу, в вакансию, поселяла и усиливала животворящую надежду.

Кто не надеется? Кому не полезно надеяться? Кто в самом страшном разочаровании не считал счастливыми тех дней, в которые лелеял он обманчивую надежду? Авдей также, подобно многим горемыкам, мог бы сочинить себе на две недели совершеннейшее счастие из пошлой надежды на выигрыш ста рублей... И кажется, две недели счастия по всякой оценке стоят ста рублей! Но вот несчастие в самом

счастии: Авдей, по природе людей восприимчивых, чувствительных, слабонервных, не имел нравственной упругости, необходимой для полезного сопротивления не одним дурным, а еще более — хорошим, блестящим обстоятельствам. Как прежде отчаяние, что для него нигде нет ваканции, поражало душу его тоскою умирающего злодея, так теперь надежда, что наконец он поймает эту неуловимую ваканцию в лотерее, уносила воображение его в превыспренние области нечеловеческого блаженства. И та надежда час от часа обращалась в фаталистическую уверенность.

Все что ни есть в мире прекрасного и радостного, все, к чему стремятся вздохи, желания и усилия страдальцев, для Авдея выражалось отвлеченным понятием о ста рублях серебром, и те рубли принимали светлый образ абсолютного благополучия, о котором не знает ни один чиновник в Петербурге, которое нисходит прямо с неба и дарует избраннику все блага мира сего на всю жизнь!

В этом счастливом состоянии Авдей занялся составлением бюджета издержкам, на которые предполагал употребить сто рублей серебром тотчас по неизбежном выигрыше их. Но трудно было исчислить и оценить все блага, которых можно накупить за сто рублей! Просидев над сочинением бюджета целый час, он написал только следующее: «Очки новые, маменьке, 2 рубл.; шляпку новую Наташе — *неизвестно;* салоп новый для нее же — *неизвестно...»* Более ничего не мог он придумать, не зная ни благополучий, продаваемых в Гостином дворе, ни крайних цен благополучиям; потом он задумался и старался вспомнить свои личные нужды. «Но какие же у меня нужды,— сказал он по долгом размышлении,— у меня одна нужда... сделать счастливыми мать и сестру... Вот вам, маменька, сто рублей, и будьте счастливы... как я!»

Вот наступил и день розыгрыша лотереи. Вдруг с Авдеем случилась странная перемена: когда до исполнения мечтаний его осталось несколько часов, он упал духом, растерялся. Прежние золотые мечты заменились угнетающим предчувствием, потому что они только золотые мечты. И сколько муки, сколько отчаяния было в этом предчувствии! «Нет!— думал он,— я не выиграю! Где мне выиграть! Могу ли я быть счастливейшим из тысячи! Я только обманывал себя мечтами!» Но и в этом сознании не находил он облегчения тяжкой тоски, поразившей душу его в то самое время, когда должна была решиться судьба билета с нумером шестьсот шестьдесят шестым, судьба Трактата о добродетели.

Напрасно он допускал даже возможность выигрыша, стараясь хоть в этом найти успокоение. Нет! В эту роковую минуту, в минуту развязки, он не мог принудить себя веровать в тот или другой случай, он все-таки был под губительным влиянием неизвестности и тоскливого желания выиграть сто рублей!

Когда конторщики, окончив дневные занятия, расходились по домам, Михей напомнил Авдею, чтобы он сходил в Коломну справиться, не выиграл ли чего-нибудь. «И, куда мне!»— отвечал Авдей; но выйдя со двора, бессознательно повернул в Коломну, к месту роковой лотереи.

— Ну, зачем я иду?— рассуждал он сам с собою.— Вовсе незачем идти; там есть кому и без меня выиграть; найдется счастливец! Кому сто рублей ничего не значат, тот и выиграет, а мне так просто счастие принесли бы сто рублей — так я и не выиграю! Мне уж так на роду написано, чтоб не иметь ни в чем удачи и ваканции. Право, напрасно я иду! До сих пор хоть воображал, что вышло бы, если б удалось выиграть, а теперь, когда узнаю, что не выиграл, и воображать нельзя будет, только мучиться стану понапрасну! Известное дело, что я не могу выиграть, а все-таки очень, очень жаль будет. Лучше я ворочусь домой и хоть один вечер подумаю, что вот, дескать, благодать божия! А завтра схожу на лотерею, и пусть!..

Но едва Авдей исполнился решимости возвратиться домой, чтобы последний вечер воображать себя счастливцем, выигрывшим сто рублей и покупающим очки новые, шляпку новую, салоп новый, как в ту же минуту очутился у дома, где разыгрывалась лотерея. Толпа человек в двести расходилась, утешая себя в неудаче остроумными насмешками над коровою, колечком, механическою кроватью и Трактатом о добродетели с его пресловутою премиею. Авдей уже не мог воротиться, но, мучимый неизвестностью, желанием, отчаянием, не мог и решиться узнать судьбу своего билета. Он остановился у ворот дома, волнуемый горькою думою. Из отрывистых замечаний толпы он понял, что корова досталась студенту, метившему на колечко, колечко какому-то советнику, который взял десять билетов с единою целью выиграть корову; механическую усовершенствованную кровать выиграл мелочный лавочник, желавший также коровы, или, по меньшей мере, Трактата о добродетели; кому, наконец, достался Трактат, Авдей, расстроенный, не расслышал.

— Так и быть, войду и спрошу!— сказал Авдей со вздохом.— Жаль! Две недели был счастлив, и теперь... И чтобы им подождать еще недельку! Может быть, тогда вышло бы лучше?.. Пойду! Но зачем идти! Знаю, что не выиграл, но все-таки удостовериться в этом своими глазами, страшно! А если выиграл? Что, если я выиграл? Приду и узнаю, что выиграл, и вдруг у меня будет сто рублей? О! Страшно!

Бледный, трепещущий вступил Авдей в магазин. Там были, кроме разыгрывавших лотерею, три лица, выигравшие корову, колечко и механическую кровать.

— Позвольте узнать, что мой нумер?..— спросил Авдей у магазинщика, трепеща от сильного волнения.

— Какой у вас нумер?

— У меня-с?.. Да, у меня есть нумер!

— Который же у вас? Я спрашиваю.

— Ах, да-с! У меня шестьсот...сот... вот-с.

Бедного Авдея била лихорадка; он так дрожал, что не мог даже выговорить своего нумера. Подавая билет, он уронил его, и, не поднимая, смотрел на присутствующих мутными глазами.

Хозяин разыгрывавшихся вещей, подняв билет, произнес: «Нумер шестьсот шестьдесят шестой... это самый счастливый нумер! Вы, милостивый государь, выиграли Трактат о добродетели с при-

надлежащею к нему премиею во *сто рублей* серебром. Извольте получить!»

Авдей зашатался; из глаз его посыпались искры, в ушах раздался звон, будто тысячи колокольчиков.

— Что?— сказал он, смотря на носки своих сапогов.

— Вы, сударь, выиграли сто рублей серебром!

— Сто рублей!— воскликнул Авдей, засмеявшись и ударив себя по лбу так сильно, как будто хотел выколотить оттуда остаток смысла.— Сто рублей! Вот оно что!— И он разлился страшным, неестественным хохотом...

— Что с вами? Что с ним?— воскликнули в один голос удивленные и испуганные зрители этой сцены.

— Ничего!— заметил Авдей с улыбкою.— Не беспокойтесь, это ничего! Я выиграл сто рублей... да, выиграл, выиграл сто рублей... Очки... шляпку... салоп... Сто рублей!

И он стал пятиться к дверям, припрыгивая и говоря беспрерывно: «Сто рублей!» Зрители, пораженные странностию случая, безмолвно смотрели вслед за Авдеем, который, очутившись на просторе, скакал по улице, подражая пристяжной лошади, боком, наклонив голову на одну сторону и восклицая: «Сто рублей! сто рублей!.. Маменька! Сто рублей... Наташа! Очки новые! Сто рублей... Шляпка новая... Сто рублей...»

В то же время Михей, любопытствуя знать, не удалось ли в самом деле выиграть бедному чиновнику хоть механической кровати, шел по Екатерингофскому проспекту в Коломну... вдруг видит он описанное зрелище: Авдей не уставая скачет, как лучшая вятская лошадь, за Авдеем бегут мальчишки, за мальчишками три будочника. «Сто рублей! Я выиграл сто рублей!»— кричал Авдей и, повернув за угол, исчез из глаз Михея и своих преследователей.

* *
*

По Петергофской дороге, на одиннадцатой версте от достославного града Санктпетербурга есть уголок, где издавна приютилось абсолютное счастье, уголок, куда не проникают ни стихи, ни рубли; где нет ни друзей, ни лотереи, где каждый обитатель доволен самим собою, и созерцая видения иного, необъяснимого мира, проводит жизнь, не чувствуя жизни. Тот счастливый уголок называется «Больницею всех скорбящих».

Туда-то отправился Михей с горьким соболезнованием о жребии своего товарища и с надеждою, что искусство врачей скоро поможет бедному Авдею выйти из восторженного состояния по случаю рокового выигрыша.

Вообразите же, о, сострадательные души, отчаяние Михея и глупую шутку судьбы, постоянно преследующую Авдея: главный доктор, выслушав рассказ Михея о причине своего прибытия, отвечал спокойно: «*Хорошо!* но для вашего пациента в доме сумасшедших *нет вакансии!..*»

ПЕРВОЕ ЧИСЛО

I

Философия первого числа

У чиновника для письма нет эпохи радостнее, достопамятнее, вожделеннее — *первого числа*.

Тогда и солнце светит, и луна блестит, и звезды горят ярче, лучезарнее. Будь даже, по обычаю петербургского климата, дождь и слякоть на дворе, случись и наводнение, эти неприятности переносятся первого числа со стоическою твердостию: они возбуждают не ропот, не досаду, как в другие числа, а замысловатые шутки, язвительные насмешки над погодою, а порою назидательные изречения! И такова благодатная сила первого числа, что еще за неделю до наступления его грудь чиновника для письма дышит свободнее, взгляд на жизнь проясняется, эгоизм слабеет, и душа, по мере приближения первого числа, наполняется сладостным предчувствием — получения жалованья! Когда же оно, при каких бы то ни было обстоятельствах погоды и службы, наступает, чиновник для письма перерождается совершенно: он на целый день становится не тем, чем бывает во все другие числа: он весел, самодоволен, счастлив! На *Петербургских вершинах* пробуждается деятельность, воцаряется шумная веселость. Маленькие, подоблачные клетки, льстиво именуемые «комнатами с мёбелью, водою, прислугою, особым ходом и дровами», освещаются *цельными* свечами даже в такую пору, когда имеются в наличности край заходящего солнца или полная луна — предметы драгоценные во все прочие числа, по случаю отсутствия свечного огарка!

II

Утро первого числа

Когда-то были в Петербурге коллежские секретари Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич. Они жили *пополам* в одном из тех превыспренних помещений, которые устраиваются между карнизом и крышею пятиэтажных домов в равном расстоянии от земли и луны. Человеколюбивая изобретательность архитекторов и домохозяев разделила эти помещения многими хитрыми перегородками на тесные и темные клетки, гиперболически называемые комнатами. Старые вдовы, губернские секретарши и даже титулярные советницы обыкновенно нанимают целое отделение таких клеток, и от себя уже пускают в каждую клетку жильцов, исключительно благородного звания, и жилиц, вдовствующих и девствующих, занимающихся работою для магази-

нов. Такую же клетку, под именем особой комнаты с дровами, водою и мебелью, нанимали и коллежские секретари Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич за три целковых в месяц.

Эти коллежские секретари были нрава тихого и нравственности неукоризненной. Один из них, Евтей, служа чиновником для письма, получал каждый месяц по десяти рублей серебром, а другой, Евсей, занимал должность помощника столоначальника и в этом качестве пользовался бо́льшим против своего товарища окладом — именно двенадцатью целковыми в месяц.

В квартире их царствовала всегда, кроме первых чисел, глубочайшая тишина. Хотя они вообще питали один к другому дружеские чувствования, однако различные мелкие неудобства, не раздельные с важными выгодами житья пополам, и томительное однообразие их существования, обременяемого копеечными нуждами, канцелярскими страстями и убийственною необходимостию строгой и постоянной расчетливости в издержках, произвели в них мудрое нерасположение ко всяким разговорам и объяснениям, «из которых ничего не выходит». Притом же оба они были поражены особенным несчастием по службе.

Евтей, получивший университетское образование, был писец по должности и глубокий мыслитель в душе. Переписывание он считал тяжкою для себя обидою. Напрасно просил он для себя занятия несколько благороднее, уверяя, что может сочинять бумаги сам не хуже, а может быть, и лучше столоначальника, напрасно он употреблял в защиту своих притязаний неотразимый аргумент, что он в состоянии производить таковые сочинения в потребном количестве «с важною для казны выгодою»,— ничто не помогало! В канцелярии считали его, как выше сказано, глубоким мыслителем и в этом качестве не находили его способным даже к должности помощника столоначальника!

Евсей, напротив, еще в детстве, сидя за азбукою, мечтал о блаженстве переписывания. Сама судьба готовила его к этому званию, дав ему весьма красивый почерк и отказав даже в малейшей частице делопроизводительной способности; но тот же решитель человеческого жребия — слепой случай, который сделал Евтея писцом, дал Евсею, недоучке приходской школы, важную должность помощника столоначальника, возлагавшую на него обязанность сочинять отношения и рапорты. Тщетно он с глубоким смирением докладывал кому следует, что ему было бы очень лестно переписывать готовое, что он учился только в приходской школе, да и отец его был сенатский копиист, сорок лет упражнявшийся в подшивке старых бумаг, или, говоря канцелярским слогом, в приобщении их к прочим таковым же,— на эти объяснения не обращалось внимания. В качестве помощника столоначальника он должен был сочинять *сам* и, покоряясь обстоятельствам, сочинял, правда, нескладно, с тяжким трудом, но сочинял, и был очень несчастлив.

Таким образом каждый из друзей, отлично замороженный внешними обстоятельствами, сосредоточился в самом себе, не позволял

вырываться наружу ни сетованиям на случай, располагающий людьми, ни замечаниям о людях, располагающих повышениями, ни предположениями об улучшении своего дикого существования, зависящего от повышений. Только *первое число* своим чародейственным влиянием пробуждало их от взаимной бесчувственности, оживляло их, вызывало на разговоры и рассуждения.

Утром 1-го ноября Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич, проснувшись, нежились на своих кроватях под камлотовыми шинелями, отправлявшими должность собольих шуб и теплых одеял. Веселое выражение их физиономий показывало, что они не говорят только от избытка сюжетов для разговора, и точно, не прошло получаса после того, как они, волнуемые радостным ощущением первого числа, передавали один другому свои чувствования красноречивыми взглядами, Евтей обратился к Евсею со следующим вопросом:

— Ты спишь, Евсей?

— А что, Евтей?— спросил у него Евсей.

— Да так!— отвечал Евтей.— А ты?

— И я не сплю!

После краткого молчания, происшедшего от обоюдной непривычки разговаривать по утрам и от истощения *сюжета,* Евтей снова обратился к товарищу:

— Знаешь ли что, Евсей?

— А что?

— Сегодня *опять* первое число!

— Да!

— Сегодня опять надобно получать жалованье!

— Получать надобно, да надобно и платить за квартиру!

— Вот, видишь ли, что я замечу тебе, Евсей: ты машина, а не человек; ты живешь чутьем, как зверь, а если б ты рассуждал, мыслил...

— Что же вышло бы, если б я рассуждал и мыслил? Наш брат, сколько ни рассуждай, как ни мысли, ничего не добьется.

— Ну, нет! Если б рассуждал... не должно обращать исключительного внимания на одну глупую существенность, надобно иногда пожить и общею жизнию человечества. Если б ты рассуждал, ты открыл бы, знаешь ли, что ты открыл бы,— воскликнул Евтей почти в исступлении, приподнявшись на своем ложе,— ты открыл бы важный факт, что числа имеют влияние на месяцы, а месяцы на числа!

— О!

— Ты составил бы себе философию цифр и чисел,— продолжал Евтей, более и более разгорячаясь,— ты узнал бы, почему иные месяцы счастливы, иные несчастливы. Вот, например, прошедший октябрь был длинный месяц, нынешний ноябрь опять длинный, будущий декабрь еще длиннее, следующий январь равномерно длинный. Ну, посуди сам, не будь ты писательная машина, не мог ли бы ты открыть, что это сцепление длинных и длиннейших месяцев есть просто несправедливость, обида для нашего брата? Не мог ли бы ты понять, что

следующий затем отдаленный февраль есть наилучший из всех месяцев, составленный ровно из двадцати осьми дней, что этот февраль блаженный, благородный месяц, он один создан для чиновников, для нашего брата, а прочие все для просителей и кредиторов!

— Фантазия! Философическая фантазия!— отвечал Евсей.— Мы с тобой не убавим ни одного дня в длинных месяцах, так не из чего и горячиться!

После краткого молчания друзья снова заговорили.

— Знаешь ли что?— сказал Евтей, обращаясь к Евсею.

— А что?— спросил Евсей.

— Человек имеет свободную волю?— спросил Евтей.

— Не знаю!— отвечал Евсей.

— Ну, так я тебе скажу, что человек имеет свободную волю!

— Так что же?

— Я женюсь!

— Ого! Стало быть, большое приданое?

— Погоди! Прежде всего надобно определить точку, с которой должно смотреть на женитьбу. По-твоему, для чего женятся люди?

— Для размножения нищих, по закону Магометову, и для приданого, по европейскому обычаю.

— Да! А если нет приданого?

— В таком случае те, которые женятся, дураки и философы!

— По-твоему, приданого ничем заменить нельзя?

— Можно, если жена будет состоять под высоким покровительством. Иное покровительство стоит приданого!— На ком же ты женишься?

— Скажи мне прежде, как по-твоему: у человека, кроме свободной воли, есть и разум?

— Не знаю.

— Ну, так я тебе скажу, что у человека есть и разум!

— На ком же ты женишься?

— Я женюсь... Вот видишь ли, Евсей: так как у меня есть свободная воля и ясный разум, то я сообразил все и вижу, что нашему брату должно жениться не теоретически, а практически... Нужды нет, что существуют какие-то понятия... понятия — вздор! они не факты, не дрова, не свечи!

— А на ком?..

— К тому-то и ведет мой аргумент, что я женюсь, как человек мыслящий, обладающий железною волею и ясным разумом; я женюсь на Анне Алексеевне!

— На *той!*

— Да, на той!

— Каким же это образом? А генерал?

— Генерал вошел в мое положение и хочет вывести меня в люди посредством Анны Алексеевны.

— Генерал добрый человек. И ты уже решился?

— Я сказал только, что предаю судьбу свою великодушному

попечению Его превосходительства и сделаю все, что он признает за благо; но все-таки неприятное положение!.. И если б я не имел железной воли!..

— А что?

— Ведь у нее, у Анны Алексеевны, и...

— Это не беда! Толк не в жене, а в повышении. Кстати уже, скажу тебе откровенно, и я женюсь...

— Неужели? Вот что кстати, так кстати! А на ком?

— На ком! Вот видишь ли, Евтей: у меня тоже есть кое-что щекотливое относительно... Да что делать... начальство принимает участие!..

— Ну, уж нечего и говорить! Нынче век таков! А на ком?

— На Каролине Ивановне!

— На *той*?

— Да, на той!

После этого разговора коллежские секретари разом, будто автоматы, движимые одною пружиною, поднялись с кроватей, в полчаса кончили свой туалет и, облекшись в установленную форму, спустились с Петербургских вершин долу и молча разошлись в разные стороны — один для переписывания против воли, другой для сочинения против натуры.

III

Железная воля

Первого ноября, в четыре часа пополудни, тот из коллежских секретарей, который назывался Евтей, шел из-под арки Главного Штаба в Морскую, имея в ветхом бумажнике только что полученный красный новенький билет в десять серебряных рублей, составлявших его месячное жалованье. В его веселом, улыбающемся лице, в его глазах, одушевленно обращавшихся от предмета к предмету, ясно отражалось высокое, неизъяснимое киргизам и откупщикам блаженство, даруемое человеку незначительного ранга единожды в месяц, первого числа, и покупаемое долгим, томительным постом и воздержанием от всех благ Петербурга, великолепно освещенных, искусительно выставленных, соблазнительно ходящих и взирающих по всему пути от места службы до места жительства!

Дойдя до Невского проспекта, Евтей Евсеевич остановился, и глядя то *вдоль* Морской, то *в даль* Невского, предался весьма дельным размышлениям о том, куда ему идти? — прямо ли, неуклонно в подлунную клетку, по заведенному издавна порядку, заплатить хозяйке свою долю за квартиру и погасить важный долг мелочному лавочнику, не увлекаясь обольщениями первого числа, или уклониться на Невский и испытать некоторые из радостей и блаженств, продающихся в кондитерской и других местах по умеренным ценам? Подобно всем хорошим людям, которые в случаях решительных не знают, чему следовать: указанию ли разума или влечению сердца,

Евтей Евсеевич волновался двумя вышеприведенными вопросами, стоя у Английского магазина и деятельно анализируя все факты и обстоятельства, служащие к побуждению его идти прямо в квартиру или к допущению уклонения на Невский. Но различных уважений в пользу того и другого случая набралось такое множество, выгоды прямого пути были так ясны, определительны; Невский сиял так ярко; радости, розовые от юности и мороза, глядели так ласково, что Евтей потерял, наконец, возможность спокойного анализа и сказал про себя с досадою: «Так нет же, не пойду на Невский! Вот и деньги есть, а решился не пойти, так и не пойду! Слава богу: я умею владеть собою; я одарен железною волею! Что мне Невский, если я не заплатил за квартиру? Что мне кондитерские, если я должен лавочнику за репу? Что мне ликеры, если...»

Против последней статьи не оказалось достаточного аргумента, и Евтей, любивший анализировать действия и округлять фразы, по точному смыслу маленькой книжицы, нарицаемой риторикою, округлил свой монолог следующим дополнительным восклицанием: «Что мне ликеры!» — и остался весьма доволен этим округлением, подумав, что если бы ему дали ход, то он, вероятно, годился бы в сочинители не только канцелярские, но и в *печатные*. Потом, следя глазами за распространением гаса по великолепному перекрестку* Невского проспекта и Морской, Евтей вспомнил, что *другие* также считают его годным в сочинители, но *только* в сочинители, он невольно произнес с чувством справедливого судьи в собственном деле: «Да, дурак!» — Несколько мимо шедших почтенных людей значительно взглянули на него, и никто, по совести, не принял этого неучтивого эпитета на свой счет. Только один из извозчиков, стоявших у перекрестка, очень бойкий и чуткий парень, махая кнутом, подбежал к Евтею с восклицанием: «Куда-с? Двугривенничек стоит!» Другой извозчик, будто выросший из земли, заревел под самым ухом Евтея: «Угодно за пятиалтынничек?» — и в то же мгновение цвет извозчиков, лихач в синем армяке, живо подкатил сани к стопам Евтея, говоря учтиво, но решительно: «Извольте садиться!»

Евтей был простой малый всегда, кроме первых чисел. В эти дни присутствие рублей внушало ему чувство собственного достоинства, и он не любил разговаривать с пустыми людьми, какими он считал в душе извозчиков. Озадаченный неожиданным наездом этих пустых людей, он не заблагорассудил выводить их из заблуждения каким-нибудь словом и, бросив на них презрительный взгляд, перешел на другой угол улицы.

Между тем он пребывал в прежней нерешимости относительно к неуклонному возвращению в квартиру. Неприличное выражение о Невском проспекте, вырвавшееся у него вследствие досады на сбивчивость и обширность фактов, недоступную анализу, было забыто, и он продолжал развивать нить своих размышлений с *округления*, перервавшего ее, именно *с ликеров*.

«Ликеры,— думал он, — те же пустяки, что и пирожки. Я хорошо знаю, что такое ликеры и что пирожки. Конечно, ликеры бывают разные: есть сладкие, есть горькие... а бывают и такие ликеры, о

которых нельзя сказать определительно, какой они вкус имеют... превосходные, да и только! Ну, и пирожки есть всякие, особливо миндальные... сливки и миндаль... Боже мой! Каких, подумаешь, пирожков нет в Петербурге!.. Но я не пойду, сказал, что не пойду, так и не пойду! Я умею владеть собою: у меня железная воля!»

И Евтей, еще не успев кончить отречения от Невского проспекта, отправился на Невский проспект.

Вероятно, он чувствовал тайный упрек в малодушии, потому что, идя по Невскому, мимо кондитерской Беранже, не вошел в нее, только улыбнулся ей тою улыбкой радости и горести, которую вызывает мимолетная встреча и быстрая разлука с любимым предметом. Он пошел далее, размышляя таким образом: «Что мне Невский проспект! Боюсь я его, что ли? Конечно, нет! Стану я прятаться от Невского! Вот было бы смешно и жалко мое положение, если б я, в такой единственный день, как первое число, в такой прекрасный вечер, каков нынешний, не захотел пройти по Невскому, по всему Невскому, страха ради завернуть в кондитерскую! И что мне кондитерская? Как будто у меня нет воли и разума! Да если я не пройду по Невскому, то должен буду считать себя трусливым зайцем, а не человеком с железною волею. Нет! Я не то, что какой-нибудь Евсей и все прочие какие-нибудь «людишки, пишущая тварь!*» Я, одним словом, человек мыслящий!»

Рассуждая таким образом, Евтей миновал многие кондитерские и западную арку Казанского собора, ведущую, как известно, в Мещанскую улицу. Он шел, с твердым намерением не уклоняться никуда, до самого Аничкова моста, и только тут, удостоверясь в стойкости и непоколебимости своей воли, несколько смягчился в отношении к самому себе и пожелал вознаградить себя за это героическое свойство обратною прогулкою по Невскому к Морской, в качестве строгого судьи и беспристрастного наблюдателя петербургских нравов.

Идучи обратно по Невскому, коллежский секретарь обратил внимание на встречавшиеся ему лица: они принадлежали исключительно чиновникам различных ведомств и выражали то совершенное спокойствие души, которое дается человеку только один раз в месяц, когда не предполагается ничего, не мечтается ни о чем, наступает совершенное убеждение, что жалованье уже получено и покоится у сердца, бьющегося ровно, безмятежно.

Толпа чиновников ровно, спокойно, бесстрастно двигалась по тротуару. Она состояла из самых разнородных элементов: в ней были люди не щегольски, даже просто одетые, но превосходно *декоратированные**, это самые беспорочные и самые счастливые люди, имеющие хорошие места, толстеющие от бескорыстия по службе. Они, какой бы мороз или ветер ни был, всегда умеют закутаться в шинель таким хитрым образом, что, не схватив простуды, покажут всякому встречному символ заслуги и достоинства. Были люди отлично одетые, не так хорошо декоратированные, как те, зато весьма любезные в обращении, исполняющие особые поручения. Далее встречались люди, отличавшиеся необыкновенною ясностью подбо-

родков и милым прищуриванием глаз, подающие большие надежды, кандидаты в гении и столоначальники; наконец, разные чиновники, не имеющие возможности приобресть для прогулок *«партикулярную пару»* и явившиеся на Невский, подобно Евтею, во всем блеске «установленной формы».

С приближением к кондитерской Беранже, в толпе становилось заметным влияние посторонней притягательной силы. Многие чиновники, особливо из тех, которые хорошо исполняют особые поручения, подают большие надежды,быстро уклонились в этот храм пирожков и ликеров. Прочие, в том числе и Евтей, остановились в раздумье: зайти ли туда на минутку, или отправиться далее, к Адмиралтейской площади.

«Теперь я доказал самому себе,— рассуждал Евтей,— что могу управлять собою на основании разумных наведений. Однажды я шел уже мимо кондитерской, но сказал, что не пойду в нее... и как только сказал, в ту же минуту не пошел! Я понял, что кондитерские и другие места не что иное, как бездонные пропасти для такого жалованья, каково мое, которое, правда, было бы весьма достаточным, если бы природа дала мне соответственный организм — желудок страуса и кожу белого медведя! Но так как она взамен соответственного жалованью желудка, варящего осколки тротуарных плит, взамен кожи, выдерживающей полярную стужу, дала мне гораздо более — сильный характер, «непреклонную, железную волю...»

И человек, обладающий сильным характером, непреклонною железною волею, внезапно прервав свои философическо-практические рассуждения о суете кондитерских, бегом побежал... о, слабое и хвастливое человечество!.. побежал в кондитерскую!

IV

Разные ликеры

Лишь только Евтей Евсеевич очутился в кондитерской, в благовонной атмосфере конфектов, пирожков и ликеров, он окончательно выбросил из своей головы философические рассуждения по поводу первого числа. Проглотив несколько пирожков, он не приискивал в уме своем ни аргумента, ни софизма для оправдания этого разорительного действия; он глотал с единым сознанием, что пирожки хороши и есть чем заплатить за них.

В то время, когда Евтей после десятого пирожка стал приходить в себя, он заметил у буфета великолепно декоратированного чиновника почтенных лет и колоссального роста; огромная голова его могла вмещать гений Архимеда, Юлия Цезаря и Ньютона; длинные мощные руки служили бы украшением, источником счастия наилучшему водоносу; на груди его, широкой, рельефной, могли быть удобно повешены все знаки отличия в мире. Этот странный чиновник, обращаясь к человеку за буфетом, спросил у него громовым голосом: «Есть полька?» — «Есть»,— отвечал тот.— «Давай!»

«Что за странность! Какие большие люди бывают на свете! —

думал коллежский секретарь.— И что это за вещь, которую он называет *polькою*?» Каково же было его изумление, когда он увидел жидкость чудесно-нежно-розового цвета, заключенную в ярком хрустальном сосуде. Любопытство и вкус его были раздражены в превосходной степени... «Это, без сомнения, ликер... новый, усовершенствованный ликер... Эх, черт возьми, каких ликеров не бывает в этих кондитерских!» — рассуждал он, глядя с жадностью на вожделенную влагу, и в ту минуту, когда декоратированный чиновник, выпив одну рюмку, потребовал другую, он не выдержал искушения и приказал дать ему того же напитка.

— Ведь это ликер? — спросил он декоратированного чиновника.

— Это ликер, совершенно новый...— отвечал тот всепотрясающим басом.

— Название новое,— заметил Евтей,— каков-то вкус?

— И вкус новый... не горький и не сладкий, совершенно польковый!

— Точно! — воскликнул коллежский секретарь, выпив поданную ему рюмку польки.— Я с вами совершенно согласен: вкус польковый. Истинно полезное изобретение!..

Когда чиновники выпили еще по одной рюмке польки, разговор между ними оживился и развился; он касался всего: пирожков, пушек, шоколада особенного приготовления, железных дорог, Рубини*, и пр. и пр. Последний предмет дал им повод выпить еще польки и съесть по два пирожка. Потом оба чиновника, случайно встретившиеся, почувствовали один к другому самое дружеское расположение и «декоратированный» первый рекомендовался Евтею таким образом:

— Я коллежский асессор Спичка.

«Какие странные бывают коллежские асессоры! — подумал Евтей.— Не приличнее ли было бы этому называться Мачтою!» — и в то же время отвечал с поклоном:

— А я коллежский секретарь Беда!

— Ну, это вовсе не беда! — заметил коллежский асессор. — Вы еще молоды, успеете быть и тайным советником!

— Не чин мой беда,— объяснял коллежский секретарь,— а я сам называюсь Бедою.

«Черт знает какие коллежские секретари водятся в Петербурге!» — подумал асессор и отвечал, дружески пожав руку Евтею:

— Понимаю; вы такая же беда, как я — спичка! Мы с вами малороссияне и носим малороссийские прозвания. А по какому ведомству служить изволите?

— По департаменту***. Очень неудобная служба!

— Не говорите! — воскликнул Спичка,— это самое благоустроенное ведомство, там все люди ученые, образованные, там и оклады большие.

— Большие — для больших,— заметил Евтей,— а маленькие для маленьких!..

— Да, я служил когда-то в числе маленьких... признаюсь, нестерпимо было! Пиши, переписывай... и с пятнадцатого числа сиди без хлеба и без дров! Ну, я и не выдержал!..

— Странно!.. Стало быть, в то время, когда вы служили в числе маленьких, позволялось не выдерживать?

— Не в том смысле, как вы думаете! — отвечал коллежский асессор, и вслед за тем, с особою деликатностью, попросил Евтея позволить ему иметь честь угостить его иным, новейшим ликером, и когда коллежский секретарь поклоном и улыбкою изъявил на то согласие, Спичка приказал подать *могадора,* и *могадор* явился пред изумленным взором Евтея, в большом сияющем графине, цвета небесной лазури, и потек в рюмки густою, благовонною струею.

Оба чиновника разом выпили благодатную влагу и, весело глядя один другому в глаза, воскликнули в один голос: «Превосходно!» Потом уже Евтей заметил от себя: «Непостижимо, какие ликеры бывают вкусные! Можно сказать, иные, как, например, эти полька и могадор, в состоянии осчастливить нашего брата!»

Выражение «нашего брата» показалось странным коллежскому асессору, и он спросил у Евтея: «Вы получаете жалованье: какое, позвольте узнать?»

— Десять рублей в месяц,— отвечал Евтей с тяжким вздохом... — Десять рублей получает человек, учившийся двадцать лет сряду, написавший и победоносно защищавший превосходную диссертацию «О влиянии всеобщей гуманности на частную социальность», знающий два древних и четыре новых языка, блистательно выдержавший строгий экзамен в законоведении и камеральных науках*... Посудите сами,— восклицал Евтей,— к чему мне все это послужило?

— Вы мечтатель! — сказал коллежский асессор.— Неужели вы до сих пор не узнали великой истины, что для всякого рода успеха, возвышения в чем и где бы то ни было нужно одно знание — глубокое знание страстей человеческих; что блага мира сего доступны не уму, а коварству; что несчастливцы, которые сетуют на пренебрежение их учености или способностей и не умеют сыграть партии в любовь, в ненависть, в бескорыстие, во благо общее и в тысячу других игр, которыми занимаются люди, эти несчастливцы — просто дураки! Кстати: позвольте вам предложить особого ликера, под названием... Эй, малый! подай нам туда, в другую комнату, *О'Коннеля!*

Рассуждения и в особенности последнее предложение коллежского асессора живо заинтересовало коллежского секретаря, и он с большим удовольствием согласился отведать *О'Коннеля.* Новые знакомцы уселись в углу особой комнаты, и между тем как Евтей, вперив взор в стоявшие перед ним рюмки, анализировал содержание их и старался составить себе точное понятие о вкусе этого содержания по его ярко-зеленому цвету, коллежский асессор Спичка, видимо, желавший быть полезным бедному Беде, продолжал свое назидание:

— Если вы хотите составить себе какую-нибудь карьеру... позволите ли говорить вам откровенно?

— Сделайте одолжение. Ваши практические суждения уже указали мне кое-что важное...

— Итак, если вы хотите составить себе карьеру... У вашего на-

чальника есть, конечно, жена, или что-нибудь вроде несчастной покровительствуемой сироты, или все это вместе?

— О! — воскликнул коллежский секретарь... и чтоб утишить волнение крови, произведенное этим вопросом, проглотил *О'Коннеля!*.. — У него есть и жена, и нечто, называемое Анною Алексеевною!

— Ну, так приволокнитесь за начальницею и влюбитесь в эту Анну Алексеевну.

— Волочиться за начальницею? — сказал Евтей с видимым испугом.— Это было бы непостижимою дерзостию, цыганскою наглостию! Это довело бы меня до...

— *До степеней известных**,— прервал его практический асессор. — Вы, молодой человек, слишком неопытны в делах житейских, и вовсе, по-видимому, не знаете женщин.

— Да, признаюсь, я мало разумею в женщинах.

— В том-то и дело, что вы составили себе какое-то особое понятие об этой части человеческого рода. Вы, подобно прочей поэтической молодежи, считаете женщин за лучезарные, *неземные* существа, а я вам скажу, что они, за немногими исключениями, то же, что и мы, мужчины, так же за немногими исключениями.

Потом практический коллежский асессор, воодушевляемый разными ликерами и интересом разговора, стал рассказывать коллежскому секретарю, переходившему от изумления к изумлению, бесчисленное множество оригинальных историй, ежедневно случающихся в этом самом Петербурге, который, между прочим, так строг в отношении к сохранению форм и приличий.

Евтей, по случаю своих горьких обстоятельств и по неимению так называемой *партикулярной пары,* проводил все свое время то в канцелярии, то в квартире, только изредка, в первые числа, заходил в кондитерскую, под предлогом чтения газет для узнания, что делается на белом свете; таким образом, он не имел истинного, практического понятия о тысяче различных мелочей и в особенности неукротимых, ненасытимых, иногда страшных страстей, тайно, но неограниченно владычествующих над этими благородными людьми, у которых в глазах сияет благость, над этими благовоспитанными, эфирными, чувствительными женщинами, которые держат себя так умно, так прилично, иногда сочиняют детские книги, иногда благотворят страждущему человечеству. Для него были странны и новы беспощадные суждения Спички о мужчинах и женщинах (не говорим, о людях); его поражал этот строгий, практический анализ отношений обоих полов.

Парализируя мужчин и женщин, людей и лошадей, коллежский асессор начал было новое назидательное суждение, но Евтей не выдержал; его светлые мечты, фантастические понятия о многих существенных принадлежностях человеческого бытия были уничтожены безжалостно и безвозвратно. Под гнетом тягостного, возмутительного впечатления он прервал одну из страшных историй циника-асессора в самом патетическом месте.

— Извините,— сказал он,— но я думаю, что в ваших суждениях, сколь они ни остроумны, ни поучительны, более злословия на счет

ближнего, чем сущей правды. По крайней мере, так должно думать для чести человечества!

— Для чести человечества! — воскликнул асессор, заливаясь смехом.— Заботьтесь, молодой человек, о чести человечества, а оно между тем изобретает новые роды того, что слывет наслаждением! Мы с вами не переделаем человечества, и по мне лучше уж думать о нем дурно, ради истины, нежели хорошо, для его чести!

V

Коллежский секретарь Евсей Евтеевич

Между тем как ученый коллежский секретарь Евтей Евсеевич, предаваясь отвлеченным размышлениям о первом числе, наблюдал нравы, испытывая ликеры, находил новую точку воззрения на жизнь, новые начала действительного обеда и настоящей комнаты с истинными дровами, его товарищ по квартире, коллежский секретарь Евсей Евтеевич, получив двенадцать серебряных рублей, выданных четырьмя светло-зелеными кредитными билетами, не захотел и взглянуть на Невский, а прямо из должности отправился в квартиру, и там, рассчитавшись, как следует, с хозяйкою, вдовствующей губернскою секретаршею, уединился в своей каморке и запер за собой дверь двумя тяжелыми старинными стульями.

Видя, что никто не может потревожить его внезапно, коллежский секретарь положил на стол три оставшиеся у него, за расчетом с хозяйкою, билета, и глядел на них в течение одной минуты со странною улыбкою, придававшею бледному лицу его неестественное выражение. Налюбовавшись билетами, он подошел к двери, внимательно вслушался, не идет ли кто, и потом, сняв с себя ветхий, вытертый, неопределенного цвета вицмундир, украшенный вдоль и поперек многими швами, положил его к себе на колени и, вооружившись иглою и перочинным ножичком, предался странному, невероятному занятию...

Этот коллежский секретарь был резко противоположен своему товарищу. Природа, выпуская его в свет, оттиснула физиономию его с особенною тщательностию: он имел правильные, благообразные черты лица, встречаемые редко в деловых и ученых людях и часто — в хороших лакеях. Неподвижность и сонливость этого благообразного лица еще более оправдывает приведенное сравнение; но, с другой стороны, необыкновенная мраморная бледность его, отсутствие резких морщин на лбу, неизбежных на челе людей мыслящих и даже ходящих за барынями, отличали лицо Евсея Евтеевича от лица какого-нибудь лакея, которое всегда сияет розовым румянцем, следствием хорошего житья и милости господской. Эта бледность в глазах многих петербургских женщин, знающих толк в мужчинах, была несравненно выгоднее, чем для Евтея его игривая, выразительная, но рябая физиономия, его сверкавшие огнем и чувством серые глаза. Евсей, однако, не пользовался выгодою своей интересной бледности и даже не замечал ее.

Переходя к нравственному отличию Евсея от его товарища, прежде всего должно заметить, что он никогда ничему, кроме российской азбуки, не учился и не имел ни малейшего понятия ни о железной воле, ни о ясном разуме. Самый род службы его не требовал от него этих понятий, и чиновники-товарищи и, отчасти, начальники его были все люди практические, образованные, проученные и прошколенные житейскими потребностями.

Но хотя он не имел и понятия о воле и разуме, считая их за технические термины какой-нибудь таинственной немецкой науки, хотя, сколько ему ни толковал об этом Евтей, он никак не мог постигнуть, в чем заключается воля и к чему ведет разум — он, однако, был снабжен этими, самому ему неведомыми, качествами в страшном размере. Дело в том, что Евтей учился воле и разуму в университете и, не *обладая* ими, только *знал* их и беспрерывно толковал о них своему товарищу; Евсей, напротив, стиснутый при самом сознании своего бытия мелкими, но свирепыми обстоятельствами жизни, был весь проникнут ее условиями и началами и, не мысля о воле и разуме, жил по мудрому указанию нижеследующих своих ответов на свои же вопросы. *Первый вопрос*: Если я каждый месяц буду издерживать все свое жалованье, что из этого выйдет? — *Ответ*: Весь век буду нищим. *Второй вопрос*: Если я буду жить как-нибудь и чем-нибудь, откладывая каждый месяц половину и даже две трети жалованья, не доверяя то никому — ни банку, ни ломбарду — и сохраняя при себе в известных мне иных, более надежных местах так, чтобы ни одна душа в свете не знала того, что я коплю рубли,— из этого что выйдет? *Ответ*: Я со временем скоплю двухгодовое жалованье наличными рублями, а с такой кучей денег можно жениться на благородной девице с хорошим приданым или на благонравной вдове из купеческого звания, с опекаемыми детками и домами.

Следствием этих мудрых вопросов и еще более мудрых ответов была колоссальная, чудовищная решимость жить несколько лет сряду в тесных пределах самого неумолимого воздержания — решимость, которой не могли поколебать никакие соблазны, бывшие искусительными, потому что они всегда стояли лицом к лицу с нестерпимыми лишениями; ни горькие нужды, для перенесения которых требовался необычайный, мощный, почти нечеловеческий дух; ни саркастические выходки товарищей против его отчуждения от всех развлечений, от всех удобств, покупаемых хотя дешево, но — покупаемых. Трудно ему было сначала переносить все, к чему осуждала его мудрая, практическая, даже, можно сказать, героическая решимость; но, мало-помалу торжествуя над вопиющими потребностями, одолевая животные страсти расчетом, он преображался, перерождался. С каждым первым числом капиталец его увеличивался; самоотвержение, надежды, расчеты расширялись; дух стяжания и отчуждения от всего, требующего издержек, разрушал в нем все страсти, свойственные молодости, все искушения, свойственные Петербургу.

Случайно сошелся он с подобным себе горемыкою, Евтеем. Знакомство их завязалось под воротами дома, где они должны были укрыться от дождя. Сначала они говорили о дожде, потом о производ-

стве и наградах, наконец, перешли к самому интересному для обоих предмету — к рублям и важности рублей. Оба страдали недостатками, оба понимали важную выгоду житья пополам, и вскоре после того стали жить пополам; но бес расточительности гнездился в душе его товарища, и Евтей, терпя лишения в течение целого месяца, редко воздерживался от вознаграждения себя за это терпение первого числа, тогда как Евсей не тратился на пустяки, спокойно выслушивал выходки Евтея о воле и разуме и думал свою думу.

Между тем и судьба, всегда внимательная к тем, которые пренебрегают ею, улыбнулась Евсею. Великодушный начальник, которому он при всяком удобном случае жаловался на явную несправедливость своего повытчика, требующего от него собственных сочинений, тогда как он именно приготовился к переписыванию, этот начальник, часто употреблявший его с пользою для домашней переписки и убедившийся в крайней его необходимости ко всякому сочинению, особенно полюбил его за тихость нрава и красивый почерк. Будучи пожилым, семейным и значащим в обществе человеком, он, в минуту приятного расположения духа, пожелал сделать своего многострадательного подчиненного счастливым иначе — вывести его в люди, и в то же время предложил ему свое покровительство, которое Евсей принял с должным благоговением и целованием руки начальника, а начальник, не откладывая дела в сторону, предложил ему, на первый случай, жениться на очень хорошей женщине, Каролине Ивановне, имеющей маленькую дочь и большую способность к выводу в люди своего мужа. Евсей согласился.

Чтобы доставить Евсею способ познакомиться с Каролиною Ивановною попечительный начальник отправил его к ней с какой-то посылкою, и таким образом Евсей, не имевший «партикулярной пары», имел возможность явиться к ней в качестве простого посланного, одетым в свою форменную одежду. Каролина была роскошная женщина. С первого взгляда на нее Евсей мог увидеть в ней идеал свой, если бы давно не изгнал из головы всех идеалов, считая их бредом разгоряченного воображения. Но такова была Каролина... Можно подозревать, что Каролина знала истинную причину посещения Евсея, потому что была необыкновенно внимательна к этому мученику рублей и воли. Она с первых слов обратила разговор не на погоду, как вообще водится, но очень разумно и тонко заговорила о дороговизне квартир и хозяйственных припасов и о других не пустозвонных, дельных предметах; даже с удивительною разборчивостью умела коснуться близкого Евсею сюжета — о том, какое бывает на свете странное начальство — не назначать должностей людям по их способностям!

Впечатление, вынесенное Евсеем из необширной, но благоустроенной квартиры Каролины Ивановны, было таково, что он, возвращаясь домой, зашел по пути к портному и заказал ему *партикулярную пару*, чтобы явиться в ней к Каролине Ивановне для формального испрошения руки ее; и когда *пара* была сделана, с выгодным условием уплачивать за нее по частям, в первые числа, он отнес ее домой и положил, до надлежащего времени, в старый, давно не за-

пиравшийся комод, неведомо Евтею, от которого он, по натуре или по привычке, скрывал свои мысли и действия, как мог более. Он, однако ж, не выдержал в ту минуту, когда Евтей объявил ему о близкой женитьбе, и, как было сказано в первой главе этой *достоверной* истории, признался своему ученому товарищу, что и он женится.

Кончив странное занятие, о котором упомянуто в начале этой главы, Евсей пришел в восторженное состояние: он бросил в сторону старый вицмундир, над которым только что произвел операцию, и стал прыгать по комнате, подобно ребенку, кончившему урок, или нищему, нашедшему целковый...

Много лет прошло с тех пор, как он составил обширный, колоссальный план, задумал строгую, великую думу! И тот план, та дума деспотически владычествовали над ним до этой минуты, уничтожали в нем и всякий юношеский порыв, и всякое человеческое стремление. Теперь предел всему чудовищному, сатанинскому, героическому! Долго был он *автоматом,* движимым нуждою и желанием преодолеть, уничтожить нужду — «наконец и он стал *человеком*!»

Несколько минут сряду Евсей то ходил по комнате, то садился к столу, в положении человека, не знающего, куда деваться со счастием; потом, облекшись в изящную черную, *партикулярную пару* и оглядевшись в стеклышко, заменявшее для него и его товарища настоящее зеркало, он улыбнулся, дружески ущипнул себя за ухо, примолвил: «Молодец, разбойник!» — и поспешно вышел...

VI

Невеста

«Русая головка» мелькает у окна нижнего этажа, где производится полезная фабрикация женских шляпок и мужского белья. Первое побуждение, влекущее «русую головку» к окну, есть любопытство, простое желание посмотреть на то, что делается на проспекте; в ту минуту, когда она смотрит на других, другие смотрят на нее, и вот рождается новое, приятное влечение к окну, для того чтобы показать себя,— и на ней останавливается внимательный и проницательный взор людей, мимо идущих тихим шагом, с явным намерением посмотреть всюду и все и не нашуметь нигде. «Русая головка» не обращает на них внимания; но раздается звон шпор и сабли: смело и бодро, будто идя на страшный приступ, шествует воинственный улан по тротуару, глядя во все стекла, и русая головка прильнула к окну со вниманием. Это внимание возбуждено шпорами, но глаза встречаются с усами и, о счастие! оказывается, что сии усы и *оные* шпоры принадлежат одному лицу. Какое милое сочетание! Усы между тем шевелятся, шпоры звенят и сабля, выпущенная из руки, ударяясь о гранит, извлекает яркие искры. Прелесть! И вслед за искрами летят к русой головке следующие замечания усов: «Какая хорошенькая! Как тебя зовут, душенька?

А?.. Ты не слышишь?.. Мадам?.. Я изломаю твою мадам! Я заверну сюда попозже; ты выйди... прогуляться!»

Вслед за тем новый звон, новые искры; усы оборачиваются направо-кругом и исчезают; но долго еще глядит в окно русая головка... усов уже не видно, а ей все слышится звук шпор, в глазах еще мелькают искры... Она и вполовину не расслышала слов, произнесенных усами, но как быть? В магазине скучно, и она, едва дождавшись вечера, надевает скромную соломенную шляпку и выходит... подышать свежим воздухом; а они уже здесь, у самых дверей, эти роковые усы! Они умеют кстати владеть шпорами и саблею и — если понадобится, проберутся тише кошки, крадущейся к мышке.

Следует небольшая прогулка, в которую улан успевает наговорить русой головке много нежного, веселого, трогательного, одним словом — милого до такой степени, что она начинает чувствовать приятно-томительное влечение к этим коварным усам, и когда они, пользуясь темнотою, прильнули к ее розовым щечкам, она вздрогнула и не могла сказать никакого замечания по случаю этого таинственного и, между прочим, невыразимо-сладостного прикосновения. После этого усы сказали русой головке, что они имеют надобность быть здесь завтра, в ту же самую пору, и пройдут мимо магазина — и с демонской улыбкою услышали от нее тихий ответ, что ей тоже надобно выйти из магазина в ту же пору, «по своему делу». Вследствие этих двух надобностей в другой вечер последовала новая, также случайная встреча русой головки с уланом и его усами.

И вдруг люди, проходящие мимо магазина тихим шагом, не замечают русой головки, а опустевшая дорогая квартира над магазином, во втором этаже, заново отделанная и меблированная, занята молодою хозяйкою, а для дворника и своей горничной — барынею... Русая головка уже не шьет шляпок, а, исполняясь человеколюбивого намерения примириться с обманутою «мадамою», заказывает ей все необходимые в новом быту тряпки; из покровительствуемой становится покровительницей, и мадам льстиво и лживо замечает ей: «Я говорила вам, сударыня, что в моем магазине вы составите себе карьеру; вот, не правда ли?» Таковы уж все мадамы! После друзей и кредиторов мадамы самый страшный народ в Петербурге!

С переселением в бельэтаж странный призрак мелькает в душе и сердце русой головки, так же как она мелькала в окнах магазина: она чувствует себя довольною и счастливою. Минуты летят за минутами, и из многих минут образуется год... а долее может ли существовать этот факт, называемый счастием! и притом сколько надобно самоотвержения, самозабвения, пылкости, юности, страсти, чтоб создать себе с единым, исключительным посредством хорошенького личика свое домашнее, никому неведомое счастие!

Она счастлива... и в ту пору, как она наиболее теряется, уничтожается разрушительным обаянием счастия, является существенная надобность платить за великолепную квартиру. Это житейское обстоятельство уничтожает, разбивает вдребезги ее счастие. Она волнуется пошлыми нуждами, она трепещет в чаянии пришествия —

не *его*, не сиятельного князя, ловкого, бравого молодца, которому принадлежат часто упоминаемые усы, шпоры и сабля, а дворника, негодного, неучтивого, положительного дворника!

Дело в том, что в двенадцатый месяц счастливой любви воинственный улан пренебрегает «счастливою любовью». И не должно обвинять его: в Петербурге так много женщин утонченных, пылких, воздушных, облачных, электрических, бальзаковских, жорж-сандовских, даже шекспировских, даже мечтательных — байроновских и шиллеровских, что и не такая голова, как та, которая была на плечах у сиятельного князя, могла вскружиться, даже одуреть от них, если б лицеприятная природа не создала его заблаговременно дураком.

При таких обстоятельствах немудрено, что друг, между прочими обязанностями, стал забывать и наиболее важную обязанность доставлять ей, русой головке, по положению, тысячу рублей в каждое первое число, и русая головка принуждена была объясняться с дворником...

Тогда безропотно, в молчании, русая головка решилась сократить свои издержки, рассчитаться с положительным дворником и поселиться выше, в третьем этаже, там, кстати, оказалась свободною квартира: не так просторная, не так удобная, как в бельэтаже, но все-таки очень хорошая квартира. Она переселилась, и сиятельный друг, посетив ее однажды, вовсе и не заметил этого переселения, а о тысяче рублях, которые так положительно были определены в минуту страсти, тоже ни слова! Русая головка закручинилась...

Она не погибла. Попечительная судьба, в образе откупщика, толщиною в пол-экватора, толстейшего и пустейшего из всего, что производила земля толстого и бестолкового, эта судьба следила и наблюдала ее в театрах, на балах (да простится сущее невежество в точном названии тех «собраний», в которых, под сенью сиятельных усов, была царицею русая головка), в маскарадах и всюду, куда ни возил ее сиятельный друг в минуты любви и желания похвастать своею любовию!

Откупщик явился к ней с предложением услуг в самое удобное время, когда она, томимая горьким предчувствием грядущих бед, пугалась их бессознательно, когда они представлялись ей не в сущности, а в воображении, в чудовищно-сказочном виде, в каком обыкновенно умная нянька представляет черта глупому ребенку; он явился кстати и умел доказать ей свою преданность самыми уважительными, положительными фактами.

Откупщик был человек опытный в той же мере, в какой был он человек глупый. Он понял высокую выгоду питаться остатками барского стола. Любил знаться и водиться с важными, знатными людьми, которыми он считал всех ребят, бьющих зеркала в трактирах и стекла в кондитерских: он готов был ограбить и откупа, и своих законодателей, только бы с могущественным содействием рублей быть с этими господами запанибрата; да это и не трудно: известно, что знатные господа, столь генеалогические в иных случаях, всегда раздвигаются для принятия в свои ряды тех разумных людей, которые

сосредоточили свои родовые и личные качества во всех всемогущих ломбардных билетах.

Имея в доме жену и семейство, он считал нужным иметь еще и на стороне, в разных частях города, побочных жен и побочные семейства. После страсти к знатному знакомству была у него сильнейшая страсть отбивать у знатных приятелей их Анет, Алин и т. п. Иногда удавалось ему, точно, отбивать желаемый предмет, иногда он вступал во владение этим предметом как движимою собственностью, по сделке с первоначальным владельцем; но во всяком случае он искал только такой Анеты или Алины, которая уже пользовалась вниманием «великих» людей — так называл он своих блистательных знакомцев.

И вот русая головка во владении человека, имеющего деньги, но не имеющего ни шпор, ни усов, ни любезности ее первого друга. Она испытывает первую тяжесть этой странной жизни многих женщин в Петербурге, жизни, проданной ценою квартиры с отоплением и освещением, тянущейся однообразно, томительно, скучно, среди соблазнительных вестей кухарки, в отчуждении от всего мира...

Но откупщик недолго надоедал ей своею любовью и своими посещениями; он уже успел выменять у князя воздушную, электрическую хористку на лихого рысака, серого в яблоках, рысака, которому подобного не было во всем Петербурге. Он *бросил* русую головку, и русая головка наняла квартиру еще выше.

Только тут, в четвертом этаже, она положительно узнала ничтожество любви, эгоизм мужчин, материальность жизни. Только тут она увидела ожидающий ее жребий, странный, отвратительный жребий всякой «эмансипированной» женщины, теряющей курс и красоту. Достигнув *Петербургских вершин* — предела обитаемого мира холодной полосы, которая не производит и не терпит столь нежных растений, каковы любовь и счастие, которая более мертвит, нежели животворит, она потеряла навсегда и пиитическое название «русой головки», под которым была в обращении у своих знатных и богатых поклонников. Теперь она просто называлась мадам Каролиною и даже Анною Алексеевною, потому что, будучи русскою немкою, имела несколько разных имен.

Выше Петербургских вершин нельзя уже было подняться; но легко было пасть с них в самое низовье, в бездну совершеннейшего... космополитизма.

Глубоко было ее отчаяние, когда она в первый раз внимательно и проницательно обозрела свое положение, свое будущность. Она была в опасности погибнуть, подобно тысяче других женщин, которым, к их несчастью, не дано столько видения, сколько страсти, для которых первое невинное, радостное, тайное свидание есть ошибка, а первое увлечение любви, чистое, священное в своем начале, есть уже преступление.

Тогда, заглушив горькие чувствования, перенося мужественно насущные нужды и непостоянство своих поклонников, руководствуясь опытностью и пренебрежением ко всему, что потеряно ею безвозвратно, она решилась, и решась, сумела создать себе новое,

самобытное значение. Ее *известность* в эксцентрических обществах, называемых танцклассами, привлекала к ней одного за другим лучших обитателей Петербургских вершин. Сравнительно с прежними, эти искатели любви ее были ничтожны в финансовом и общественном значении, и ни один из них не стоил ее привязанности, потому что не был в состоянии оказать ей ничтожную услугу принятием на себя платежа за ее квартиру; но сообразив, что *вся* эта толпа людей может быть полезнее *одного* откупщика, она отличила, на первый случай, двух пожилых чиновников, которые, занимая внизу «хорошие места», были, в сущности, статские советники, а принадлежа по жительству, по происхождению и по родству своему к обитателям Петербургских вершин, назывались и были называемы здесь, вверху, генералами. Этих генералов Анна Алексеевна, она же и мадам Каролина, принимала таким хитрым образом, что они никогда не имели огорчения встретить один другого в ее маленькой гостиной и, хотя были старые знакомцы между собою, однако, при самых задушевных объяснениях за дешевым шампанским, [не] могли открыть, что у них одна приятельница. Они знали и твердо были уверены, что у одного из них есть Анна Алексеевна, живущая в большом доме у Каменного моста, у другого — Каролинхен, живущая в том же доме, только по другой лестнице.

Соединенная любезность этих «генералов» заново и изящно отделала маленькую скромную квартирку Анны Алексеевны и была вознаграждена и возбуждена в каждом генерале отдельно яснейшими знаками глубокой признательности — обетом верности вечной, неизменной — верности, в отношении к которой пожилые чиновники, имеющие определительное значение в обществе, весьма щекотливы.

Между тем, пока статские советники, они же и генералы, каждый в назначенное ему время, разогревали свою хладеющую кровь ласками Анны Алексеевны и мадам Каролины, она одерживала над обитателями Петербургских вершин новые победы...

Потом, когда насытилась ненависть ее к этому полу, когда в душу стали закрадываться томительная скука вечного одиночества, сознание возмутительной особенности своего положения в качестве «свободной женщины», досада на свое непреоборимое отчуждение от общества, она захотела примириться с этим своенравным обществом, движущимся по собственным, но непреложным, неумолимым законам, примириться — пока еще было время и средства...

Тоскуя о своем одиночестве, она имела счастие быть матерью маленькой девочки, по появлении которой на свет каждый из статских советников удвоил свою любезность и почтительность к Анне Алексеевне...

Анна Алексеевна торопилась жить. Ее купидончик женского пола торопился расти: в один год он не только бегал по комнате, но плясал род польки собственного изобретения — довольно глупый род, должно заметить для исторической верности, но очень оригинальный и забавный, по мнению Анны Алексеевны.

Пока подрастал этот купидончик, Анна Алексеевна задумывалась более и более... Что будет с ним или с нею, с этою маленькою Аннушкою, когда она достигнет лет шестнадцати, когда в молодой головке ее закружатся радужные мечты, когда неведение добра и зла допустит ее к приятным увлечениям обманчивого счастия, когда ей скажет какой-нибудь *он:* «Люблю тебя, душенька! Выйди завтра прогуляться... Но не говори матери — она деревянная старуха!» И дочь ее станет такою же вольною женщиною, как она, и станет повышаться помещением из первого этажа во второй, из второго в третий и, поднимаясь все выше и выше, забьется, наконец, в темный угол под самую крышу, и там — вспомнит и проклянет мать свою!

Как оскорбление самолюбия отважило ее на самый цинический образ жизни, так заботливость о будущей судьбе этого хорошенького, веселого, танцующего и лепечущего ребенка стала обращать ее к другой жизни, тихой, уединенной и — общественной. Ей хотелось дать дочери имя и значение, чтоб на нее не указывали пальцами, чтоб ее, еще невинную, не клеймил позор матери...

Тогда она потребовала у генералов, которые думали каждый про себя, что судьба этого ребенка и его матери лежит у него на совести,— чтобы они доставили ей в кратчайший срок мужа превосходных качеств, удивительной беспорочности по службе, совершеннейшей верности в супружестве. Генералы с тайным удовольствием согласились «покончить разом это казусное дело», и в течение одной недели оба представили ей в женихи по коллежскому секретарю самого неукоризненного достоинства. Ей оставалось выбрать любого: один имел протекцию, значительную по своей должности сумму денег и самую осязательную верность, осязательную потому, что он в два визита свои к «мадам Каролине» ясно выказал свое глубокое экономическое воззрение на жизнь, свои строгие семейные понятия и уверенность в копеечных началах общественного и частного благополучия. Его одежда, его вид подтверждали, что он проникнут этими понятиями, этими началами; что он не может расстаться с ними никогда, не может и изменить жене, потому что всякая измена противна упомянутым копеечным началам, на которых основал он свою жизнь,— всякое нарушение супружеского согласия влечет за собою расстройство в домашней экономии и непредвидимые издержки. Другой имел тоже протекцию, но не имел ни гроша денег и допускал сильное подозрение в способности своей к верности: он откровенно и пылко объяснял «Анне Алексеевне», что «любил и будет любить женщин, что он всегда, даже за полмесяца до первого числа, бывает восхищен, воодушевлен, счастлив, если встретит красавицу; что женщины искони нравственнее, добрее, лучше, возвышеннее мужчин, что они — живая поэзия, источник жизни и радости, цвет, украшение и начало человечества...» и много других слов в пользу женского пола насказал он, слов, показывавших, что иметь такого мужа в отношении к его пылкости, восторженности и почтительности — редкое счастье, но в отношении к верности его — постоянная мука.

Таким образом, принимая у себя в установленное время двух женихов, известная одному под именем Анны Алексеевны, а другому под именем Каролины, бывшая «русая головка» изучала их достоинства, и чем более изучала, тем менее имела решимости предпочесть одного из них другому... Она хотела бы составить из обоих одного соединенного чиновника, в котором сосредоточивалось бы неисчислимое множество драгоценных качеств, долженствовавших явить в Петербурге самую редкостную редкость — полного, беспорочного коллежского секретаря и абсолютного мужа.

VII

Коллежский секретарь Евтей Евсеевич

Было десять часов вечера, когда Евтей Евсеевич оставил кондитерскую у Полицейского моста. Дождь, хлеставший в лицо, освежил его. Тусклый свет фонарей, мерцавших в глубоком мраке, гул и вой ветра наводили тоску на душу. С трудом совершил он опасную переправу через озеро стоячей воды на другую сторону проспекта и отправился по прямому тракту в квартиру.

Он отпраздновал первое число в кондитерской. По случаю ликеров и пирожков он лишился половины своего жалованья, и по случаю встречи с оригинальным асессором всех своих философических убеждений, всех фантастических верований, которые поддерживали и укрепляли дух его в мелочной борьбе с мелочными нуждами. Теперь он осознал ничтожество своей воли, о которой имел такое высокое понятие, неприложимость к житейским обстоятельствам своего разума, на который так много надеялся!

Есть минуты, когда обыкновенные ежедневные влияния и встречи имеют над душою чародейственную силу, когда пошлые, всегда и всякому видимые происшествия и случаи в общественной жизни, часто повторяемые, болезненные, мизантропические идеи перед раздражительною восприимчивостью духа принимают образ и получают свойство начал этой жизни. Такими минутами были для Евтея Евсеевича те, которые провел он в кондитерской, в питии различных ликеров и в цинических рассуждениях с коллежским асессором Спичкою.

Стечение многих мелких причин и условий разрушило его самоуверенность: первое число, в которое живет чиновник так называемою жизнию; десять рублей серебром, с которыми он видится и которыми владеет только первого числа; разные ликеры неописуемо чудного свойства, необыкновенно атлетические размеры коллежского асессора, странный характер его положений и доводов о преобладании в обществе начал животных над началами духовными; унылая, мрачная перспектива, представлявшаяся Евтею при взгляде на свою будущность, со своей точки зрения, наконец, резкая противоположность светлой, удобной, изобильной кондитерской с темною, холодною клеткою, в которой обитает он по недостатку рублей,— все это действовало на него с необъятною силою, все возмущало дух его, наводило тоску, повергало в отчаяние...

А между тем на улицах петербургских продолжался разгул первого числа. Мастеровые пели песни, не обращая внимания на близкое присутствие съезжей*; чернорабочие отважно и громогласно судили своих подрядчиков за вычет прогульных дней, говоря, что *мест-тов-то* им довольно есть, и не у *евтаких* хозяев живали, да в первые числа гуляли! Разные желтолицые люди, во всякое время смирные, озабоченные, дрожащие, в вытертых вицмундирах, смело рассуждали об отставке экзекутора и о войне в Алжире. Сама природа, в иные дни серая, туманная, петербургская, теперь была грозна, величава, срывая вихрем крыши с домов, опрокидывая пешеходов, низвергая на Петербург страшную массу воды.

И он стал, по старой привычке, анализировать свое положение и сравнивать свою жизнь с этим длинным, темным путем, от Полицейского до Кокушкина моста, представляющим для него одну цель — сырой чулан между землею и луною, вдали от благ земных, вдали от даров небесных. Горькое воспоминание прошедшего, мертвящее предчувствие будущего овладело им, терзало его...

Он уже погибал жертвою своих мелких нужд, когда заботливая судьба послала ему товарища для житья *пополам,* в одной комнате, точнее — ангела-хранителя в особе такого же, как он, коллежского секретаря, Евсея Евтеевича. Экономическое влияние Евсея над Евтеем день от дня становилось очевиднее. Бывало, Евтей Евсеевич не каждый день посылал хозяйку в мелочную лавку за молоком и хлебом; иногда, выпросив у казначея до первого числа целковый, он ходил обедать в кухмистерскую. Теперь эта роскошь была оставлена. Огромный хлеб был покупаем непосредственно из пекарни, и этим способом хозяйственного заготовления провианта соблюдалось три копейки выгоды. Молоко приносила чухонка, и тут копейка выгоды; кроме того, последний продукт употреблялся не ежедневно: Евсей Евтеевич заставил Евтея Евсеевича быть религиозным: по средам и пятницам довольствоваться квасом. Бывало, у Евтея, чуть стемнеет в комнате, уже горит свеча, и горит без толка, без всякой существенной надобности, потому что Евтей занимался не служебным делом, а бесполезным чтением книг,— теперь только в самые темные вечера, и то не более как на один час, зажигался огарок.

Трудно, странно, даже страшно было сначала Евтею покориться таким лишениям; но доводы Евсея в пользу этой возмутительной экономии были сильны, и его победоносною логикою уничтожалось всякое сопротивление Евтея.

Время шло, и Евтей стал привыкать ко всему: он исправно в каждое первое число приносил Евсею свое жалованье и принимал от него советы, куда и на что употребить эти деньги. Советы были глубокомудры, и он следовал им с полным сознанием их мудрости. Не прошло и года со времени их житья пополам, как *лишние* вещи, составлявшие весь гардероб, все имущество Евтея, были выкуплены у ростовщика; он заплатил весь капитал, сто двадцать процентов на капитал и девяносто процентов на проценты, заплатил и тут же обругал ростовщика, назвал его скотиною и ростовщиком. Первый эпитет был еще довольно сносен для самолюбия ростовщика, но

последний жестоко оскорбил его; люди вообще обижаются собственными именами и хотят, чтобы их называли только *прилагательными*. Ростовщик обиделся и сказал Евтею пословицу «Не плюй в колодезь — пригодится воды напиться»,— Евтей отвечал на это, что вперед он никогда не обратится к нему, а ростовщик, промолчав, пока Евтей ушел от него, сказал: «Хорошо!»

Вне своей квартиры он был, по-прежнему, расположен к нерасчетливости и расточительности. Дух сластолюбия овладевал им, и он готов был бросить целковый — если имел его — на совершенные пустяки; но одно воспоминание о том, что этот целковый, будучи отдан ростовщику, подвинет освобождение его *лишних* вещей, воздерживало его от глупости. Он носил ветхий, вытертый, со многими заплатами вицмундир; прочие части его одежды гармонировали с вицмундиром. В таком наряде еще можно было просидеть в должности, но пройти по Невскому или зайти к начальнику, который нередко обещал позаботиться о нем и звал его к себе для сообщения чего-то важного,— он очень совестился. Когда же он возвращался в свою комнату, то подвергался весьма полезному, но и весьма томительному влиянию своего товарища. Он чувствовал, как за порогом квартиры его оставлялись роскошные желания, пылкие страсти, как бес скупости, совершенной скупости, а не одной расчетливости, овладевал его душою. Несмотря на благоприятные для него последствия *житья пополам,* он томился и бесился. В его воспоминании мелькали веселые образы, фантастические мечты, являвшиеся прежде, когда он не был скован неразрывною, тяжкою цепью воздержания.

Расчет его с ростовщиком был кончен ровно за месяц до того первого числа, в которое Евтей совершал философическую прогулку по Невскому и зашел в кондитерскую. Этим окончанием расчета объясняется, почему в нем достало малодушия нарушить долгое, таким блистательным успехом увенчанное воздержание.

Еще была одна важная причина его уклонения в кондитерскую — это мысль о женитьбе на женщине, покровительствуемой его начальником, мысль, возмущавшая его самолюбие, льстившая его честолюбию, томившая душу его своею разносторонностью и разноцветностью, державшая решимость его в постоянном, мучительном напряжении...

Предаваясь воспоминаниям о прежних золотых мечтах и надеждах, размышляя о предстоящей горькой, унизительной необходимости обратиться к великодушию оскорбленного ростовщика, потому что значительная часть «достаточного» жалованья была безумно употреблена на разные ликеры, коллежский секретарь Евтей приблизился к большому четырехэтажному дому у Каменного моста. Тут была, как всегда, страшная толкотня пешеходов, непрерывное движение экипажей. Он остановился и огляделся: это был тот самый дом, где жила его невеста, о которой он только что раздумывал.

«Что ж, не зайти ли к ней? — сказал он сам себе.— Она женщина любезная и даже лучшая в своем роде. Может быть, она и не

виновата в своем странном положении, так же, как я в своем. Люди, если обсудить хорошенько, сами по себе вовсе не виноваты в своем положении... О, Карп Лукич Спичка! О, колоссальнейший из коллежских асессоров! Я верю новооткрытым вами началам жизни: только они одни исполнены истинной, практической философии!»

И он решился зайти к Анне Алексеевне, чтоб засвидетельствовать ей, по-прежнему, глубочайшее почтение и сказать по обычаю установленную формулу: «Не откладывайте далее моего счастия! Каждая минута разлуки с вами — для меня год адского мучения!»

Передняя не была заперта, и Евтей вошел в квартиру Анны Алексеевны, не позвонив в колокольчик. Его встретила Фекла, кухарка, она же и горничная.

— Дома Анна Алексеевна?

— Дома-с.

— Одна?

— Нет-с.

— Кто у нее?

— Не знаю-с.

— *Сам*?

— Нет-с.

— Кто же?

— Барин.

— Какой, как его зовут?

— Не знаю-с.

— Ты или дура, или плутовка,— сказал Евтей, смущенный и взволнованный неопределительностью ответов Феклы, и пошел в гостиную.

Там огня не было, только из кабинета Анны Алексеевны в полуотворенные двери лежала на ковре светлая полоса. Евтей остановился в нерешимости, идти ли далее и поразить неверную внезапностию своего появления, или возвратиться домой и прислать ей учтивую записку... Шаги его, поглощаемые мягким ковром, не были слышны в кабинете, где продолжался разговор, который Евтей невольно должен был слушать...

— Я вам только скажу,— говорит мужской голос,— что мне покаместь удалось скопить моею всегдашнею бережливостию тысячу рублей... это, правда, небольшая сумма, но для семейного человека — если вы позволите мне иметь счастие...

Громкий женский смех прервал это объяснение, и в то же время Евтей вздрогнул, будто от электрического удара. Мужской голос был знаком ему, несмотря на необыкновенно-нежное выражение...

— Извините, Евсей Евтеевич! — сказал женский голос.— Сколько я вас ни люблю, ни уважаю, но эти тысяча рублей, которые вы скопили в несколько лет невообразимыми лишениями для будущей семейной жизни, рекомендуют вас *очень ужасно экономическим супругом!*

Новый смех громче первого заключил слова Анны Алексеевны. Евтей не верил самому себе, думая, не помешался ли он! — так странно, неожиданно, необъяснимо было для него это явление,

А между тем разговор его невесты с его товарищем и другом еще раздавался у него в ушах, и он видел обоих — *ее* и *его* своими глазами. Придя несколько в себя от сильного потрясения, он приложил руку к горячему лбу, может быть, отыскивая *начала* страшного человеческого космополитизма.

Более ничего не мог он ни видеть, ни слышать. Предметы и идеи перемешались в его воображении. Сознавая в эту роковую минуту решительную опасность для своего рассудка, он машинально и тихо вышел из комнаты Анны Алексеевны.

Идя с лестницы, он горько заплакал. Сердце его сжалось мертвящею тоскою, душа была поражена совершенным унынием. Внизу, в коридоре, им овладело неудержимое бешенство. Кстати у дверей стоял полупьяный и полузамерзающий извозчик. Евтей дал ему такой толчок, какой может дать только человек бешеный. Это спасло обоих: извозчик, перекувырнувшись со ступеней подъезда на тротуар и с тротуара на мостовую, бодро вспрянул в руках двух будочников, совершенно трезвый и отогретый; Евтей, встретившись лицом к лицу с благочинием, присмирел и не взбесился окончательно.

VIII

Похороны первого числа

Ужасно было состояние Евтея, когда он возвратился в подоблачную каморку у Кокушкина моста. Разбросав свою форменную одежду по всем углам, он несколько минут бегал в совершенном исступлении...

Все было потеряно!.. Но не столько мучила его самая потеря, сколько адское чувство, что он пренебрежен *ею* — и кем же! Что он предпочтен *ему*! и кому же?..

Долго шел он по ложному пути, долго терпел горькую долю, потому что думал о жизни не так, как другие, потому что не умел жить!

Потом, когда вразумили его, что надобно думать и жить за одно с другими, и посулили ему лучшее бытие; когда он согласился на все для этого бытия — он снова обманут!

Старая губернская секретарша, хозяйка квартиры коллежских секретарей, в чаянии от Евтея надлежащей платы за квартиру, затопила печь. Это отопление производилось в зимние месяцы исключительно по первым числам и большим праздникам, и потому в иные дни в комнате с водою и дровами могли жить только белые медведи да коллежские секретари. Старуха, по той же причине, которая побудила ее затопить печь, была в веселом расположении духа и хотела, против своего обыкновения, потолковать с Евтеем, но, взглянув на него, безмолвно отступила за дверь.

Долго глядел он на старые, почерневшие стены своей квартиры, на все предметы, составлявшие ее украшение, ветхие, разрушающиеся, всегда наводившие на него безотчетную тоску своим мрачным, мертвым видом. Новый прилив бешенства и неукротимой злости начинал терзать его... Пред глазами его, в темном углу, лежал

на стуле старый вицмундир. Этот вицмундир, казалось Евтею, дразнил его, казалось, говорил ему: «Я, бедный, бессмысленный вицмундир, сшитый по надлежащей форме, не нуждаюсь ни в житье пополам, ни в жалованье, ни в женитьбе, ни даже в первом числе! Я живу себе счастливо и самобытно. А ты — хотя ты и важная персона — коллежский секретарь, нуждаешься во всем этом и не можешь жить независимо и самобытно, как я!» Евтей с живостью подбежал к коварному вицмундиру, схватил и бросил его в печь; потом, сев на прежнее место, с странною улыбкою смотрел, как горел вицмундир.

В ту минуту вошел коллежский секретарь Евсей.

Между ними была разительная противоположность: один со сверкающими глазами, с лицом бледным, на котором беспрерывно показывались и исчезали красные пятна, губы его дрожали, как бы в тщетном усилии произнесть слово; судороги бешенства дергали его, а между тем из глаз катились слезы,— он был страшен. Другой, чего никогда с ним не бывало, отличался щегольским партикулярным нарядом и особенно веселым выражением лица. После радостного восклицания первым движением его при входе в комнату было кинуться на шею Евтея... Вдруг он остановился в изумлении: Евтей глядел на него и так глядел, что он вздрогнул и отступил от него.

Глаза Евтея впились в лицо Евсея. Евсей не мог выдержать пронзительного, страшного блеска их и обратил свой робкий взгляд в сторону... В то же мгновение он затрепетал и, указывая на вицмундир, горящий в печи, вопросительно смотрел в глаза Евтея.

— Где ты был, Евсей? — спросил Евтей грозным голосом, от которого тот вздрогнул.

— Что это сжег ты? — спросил Евсей и, кинувшись к печи, вытащил из огня недогоревшую часть вицмундира — фалду с пуговицами.

— Так! Мой вицмундир! — сказал он про себя отчаянным голосом и обратился к Евтею.— Для чего сжег ты мой вицмундир, Евтей? Что сделал я тебе? Шесть лет собирал я копейки в рубли — не пил, не ел, жил как дикий зверь — собирал и зашивал... все ждал этого дня; собрал, дождался и — вот!..

В одну минуту в лице Евсея произошла страшная перемена: он был другой экземпляр Евтея.

— А где ты был, Евсей? — опять спросил Евтей, который так был проникнут и потрясен своим горем, что не понял ни слова из сетований Евсея.

— Для чего ты сжег мой вицмундир, мои деньги, мою душу?

— *Твой* вицмундир?.. Ну, я ошибся... но это пустое. А где ты был?

— Ну, что ты пристаешь ко мне! Я был у Каролины, и так все хорошо *покончил*! и вдруг! — все кончено! За что ты погубил меня, Евтей?

— У Каролины? Ты лжешь, приятель! Ты был у Анны Алексеевны! Ты и она — вы оба до последней минуты обманывали меня!.. О!

Для чего, за что вы обманывали меня?.. — горестно воскликнул Евтей.

Оба чиновника с минуту молчали после этого разговора, глядя в глаза один другому. Отчаяние, исступление выражались на их лицах. Потом Евсей снова сказал Евтею:

— Так-то, ты погубил меня! Ты сжег меня! О, мои деньги!

— Да, ты уничтожил меня! — сказал Евтей.— Ты уничтожил и меня и мои начала. О! Мои начала!

Они разом захохотали так сильно, что губернская секретарша, сидя в своей каморке, вскрикнула от испуга и бросилась к дворнику.

Коллежские секретари пустились танцевать что-то вроде «адского вальса». Долго и бешено танцевали они; пол трещал под их ногами; стулья были разбиты в щепки; кровати с ископаемыми одеялами опрокинуты; у дверей комнаты стояли безмолвные и удивленные дворник, водонос, хозяйка квартиры и несколько посторонних старух. Никто не смел остановить веселости коллежских секретарей, и они все быстрее и быстрее кружились в дружеских объятиях. Глаза их становились мутнее и страшнее; черты лица искажались гримасами.

Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич повалились на пол.

Женщины вскрикнули и разбежались. Дворник отправился в «квартал», чтоб заявить о происшествии.

* * *

Темнота и безмолвие. Мгновенная вспышка углей в печи озаряет двух бледных коллежских секретарей, скрестившихся руками. Их тяжкое дыхание страшно нарушает тишину. И опять та же темнота, то же безмолвие. Вдруг на отдаленной колокольне Николы Морского загудел бой двенадцати часов: то был похоронный бой *первому числу.* Друзья вздрогнули... Напомнил ли им этот бой их утренние надежды, вызвал ли Евтея на анализ утра первого числа с вечером, только они теснее прижались один к другому и тихо внимали роковому звону, будто этот звон внушал обоим им одну горькую мысль...

И скоро утих гул полуночного колокола. *Первое число* кануло во всепожирающую вечность, и вместе с ним умчались надежды и страсти коллежских секретарей Евтея Евсеевича и Евсея Евтеевича.

На другой день корпус сумасшедших укомплектовался двумя новыми лицами...

ХОРОШЕЕ МЕСТО

I

Ограниченная поверхность нашей планеты усеяна светлыми точками, к которым стремятся мечты, самолюбие, зависть и все страсти и страстишки человеческие. Те точки суть *хорошие места;* те места

самобытны, независимы ни от физических, ни от политических потрясений мира; они имеют свои степени и подразделения: есть такие места, которые сообщают своим обладателям силу и величие богов Олимпийских и возвышаются над другими, тоже хорошими местами, как заоблачные вершины Гималая над Валдайскими горами; есть и такие, которые доставляют счастливцам, занимающим их, все средства не только к ежедневному обеду, но даже к курению копеечных сигар. Вообще хорошее место — ад и рай, мука и блаженство для бедного животного, горделиво называющегося человеком, даже чиновником, даже *царем природы*,— как будто эта природа вырастит, по его велению, *хорошее место*, которого жаждет его эгоизм, или *какое-нибудь* место, без которого он может умереть с голода, как будто этот жалкий царь природы имеет собственное, личное значение среди тысячи миллионов других, подобных ему царей, если не занимает хорошего места.

После этого, какой он, в самом деле, царь природы, этот человек, чиновник, бедняк самолюбивый! Он не самобытен подобно хорошему месту; он абсолютное *ничто*, если не имеет этого места, а если «какими-нибудь судьбами» добудет его, усядется на нем, он — *нечто*, факт, а не мечта, аксиома, а не гипотеза, одним словом: «человек, занимающий хорошее место!»

Земля и на ней хорошие места созданы прежде человека: потом создан человек, и он занял, без всякого соперничества, хорошее место — в Эдеме; но скоро сатанинская интрига столкнула первого человека с первого хорошего места*; а когда человечество размножилось, оно увидело, что может существовать без горя и забот только в той благодатной атмосфере, которая искони свойственна одним хорошим местам, и стало грызться, резаться, даже подличать, стремясь в эту атмосферу. Но увы! — сколько оно ни грызется, ни режется, ни подличает, для всех людей, чиновников, царей природы недостает хороших мест!

II

Если бы природа производила людей, соображаясь с будущим значением их в обществе, она предупредила бы многие бедствия, удручающие род человеческий... Не было бы нынешних противоречий личного достоинства с рангом, честолюбия — со способами к его удовлетворению, ума — с возможностью употребить его на что-нибудь умное. Люди имели бы нравственные качества, соответственные положению их между другими людьми, и были бы счастливы, самодовольны.

Есть, однако, много людей, которые дают повод к заключению, что природа «наводила надлежащие справки» при рождении их. Есть люди высоких нравственных свойств, и они занимают высокие степени на общественной лестнице; есть дураки абсолютные — и они простодушно вывозят в гору, на своем хребте, людей разумных, считая это занятие прямым своим уделом.

Ни к тем, ни к другим нельзя причислить Терентия Якимовича Лубковского, родившегося когда-то в украинском городе Чечевицине, в качестве сына и наследника пана Якима Терентьевича, владельца двух мужеских и трех женских ревизских душ, четырех борзых собак и ветряной мельницы.

Яким Терентьевич был недоросль сорока лет, всю жизнь свою собиравшийся поступить на службу и не поступивший, потому что ему не давали хорошего места. Он считал неприличным своему шляхетству начать служебное поприще в сане кописта нижнего земского суда; его честолюбие удовлетворилось бы званием дворянского предводителя; но, будучи паном *малодушным,* не имея наследственного или благоприобретенного добра, он не мог быть избран в эту почетную должность и оставался при своих лучезарных надеждах. Уже многие из товарищей детства его были людьми важными, занимали хорошие места, а он все еще ждал, что не сегодня-завтра прискачет к нему курьер с известием, что его сделали чем-нибудь, на первый раз хоть губернатором или винным приставом.

Терентий Якимович, возрастая в доме родительском, со дня на день исполнялся честолюбием своего отца и приобретал высокое понятие о хорошем месте. В приходской школе он узнал от профессора элоквенции* и пиитики, очень восторженного немца, что есть где-то на Руси столица, счастливый город Санктпетербург, и в той столице отводятся желающим хорошие места, по востребованию.

Мошко Янкелевич, шинкарь и раввин чечевицинский, к которому он часто хаживал с товарищами ради усладительной варенухи и снисходительной Хаи, жены его, объяснил ему, что в Петербурге, как наверное узнал он, будучи там на откупных торгах, всякий корчмарь значит больше пана чечевицинского капитана-исправника, что там родятся, делаются и оттуда на весь мир насылаются паны губернаторы...

Кроме рассказов учителя и корчмаря, в Чечевицине, даже во всей Украйне, славился Петербург своими сердитыми и страшными панами так же, как в Петербурге славится Украйна своими арбузами, Черкасск быками и Крым баранами. Ясно, что всякая почва, всякий климат производят один исключительный продукт: Украйна — большие вкусные арбузы, Черкасск — откормленных быков, пригоняемых в Петербург на съедение, Петербург — тоненьких и страшных панов, приезжающих в Украйну для откормления.

Неизвестно, чему и как учился Терентий Якимович в чечевицинской школе. Достигнув двадцатилетнего возраста, он вышел из нее, то есть перестал ходить в нее, потому что надобно было наконец сделать решительный выбор между ею и Хаею, еврейкою, которая между тем лишилась своего Мошки, без вести пропавшего в одну из поездок для провоза контрабанды. В то же время он, с родительского благословения, задумал определиться в службу на *хорошее место* по статским делам.

Но где статские дела, где хорошие места, достойные Терентия Якимовича? В Чечевицине статские дела были весьма не обширны,

а хороших мест, в том смысле, как он понимал их, вовсе не было. «В Петербург!— подумал Терентий Якимович.— Мое место там!»

Невелики были дорожные сборы его. Купив на ярмарке небольшой, выкрашенный разноцветными яркими красками сундук, он уложил в него свой уездный гардероб, несколько банок домашнего варенья и толстую тетрадь под названием *Таинственная книга,* где были записаны несчастливые дни, в которые ничего важного начинать не должно, множество важных изречений малороссийских мудрецов, заклинания или заговоры против двенадцати лихорадок, и другие полезные предметы. Этот сундук был поставлен в национальный еврейский экипаж, называемый чертопхайкою, нанятый вместе с владельцем его, Ицкою, за пятьдесят рублей. Важнейшее лицо чечевицинской аристократии, капитан-исправник, дал Терентию Якимовичу рекомендательное письмо к своему старинному приятелю, пану Халяве, занимавшему в Петербурге, как слух носился, важное место квартального поручика, а нежные родители, продав одну ревизскую душу, благословили его вырученными деньгами. Потом Терентий Якимович, простясь с родными и знакомцами, напутствуемый искренними и лицемерными желаниями, сел в чертопхайку; жид поместился на козлах; ясное украинское солнце скрылось в облаках; брызнул мелкий дождь,— и клячи медленно потащили в столичный город Санктпетербург сто тысяча первого и все еще не последнего искателя хороших мест и статской службы.

III

Долго, почти два месяца, ехал Терентий Якимович в своей чертопхайке; насмотрелся по дороге таких чудес, о которых ни бывший учитель, ни приятель корчмарь не говорили ему; наконец прибыл он в Петербург.

Рассчитавшись с жидом и наняв себе квартиру — небольшую комнатку на чердаке дома в Садовой, он принялся отыскивать своего будущего покровителя, квартального поручика, и имел первую неприятность не найти его ни в наличности, ни в списках Управы благочиния*; он узнал только, что когда-то служил при полиции какой-то Халява, который за чрезмерное употребление спиртных напитков и за склонность к азарту выгнан из службы, после чего долгое время упражнялся в писании ябед, за которые отдан под суд, под коим и умер, с отчаяния ли или от перепоя — неизвестно.

После этой неудачи пан Лубковский стал ходить с утра до вечера по всему Петербургу в чаянии найти хорошее место; но, употребив на это хождение целый месяц, он с глубоким прискорбием удостоверился в горьком обстоятельстве, неожиданном и непринятом в расчете при выезде из Чечевицина, что все *хорошие* места уже заняты, и остается только небольшое количество *разных* мест, для занятия которых есть впрочем до десяти кандидатов на каждое...

Между тем родительское благословение, полученное Терентием Якимовичем на дорогу, истощалось; понятия его о петербургской жизни, о хороших и разных местах прояснялись. Он призадумался о

том, что может выйти, если ему не удастся получить должности — уже не губернатора, а только канцелярского чиновника.

«Говорят у нас в Чечевицине,— думал он,— что в Петербурге хороших мест на весь свет достанет. Дурни! Петербург не один — их три: первый внизу, где живет народ торговый, мастеровой; другой в середине: это и есть настоящий Петербург, где все места — хорошие места; там родятся, делаются и оттуда на весь мир насылаются губернаторы; жить там, в средине,— значит быть на хорошем месте; и опять — иметь хорошее место — значит жить в средине Петербурга. Вся трудность в том, чтобы попасть в эту благодатную середину, а там уже только звезды лови да рубли собирай. Третий Петербург вверху, где я живу. Это уже то — да не то. Здесь живут тоже люди чиновные, благородные, но из этих чиновных и благородных от начала мира не было ни одного губернатора, на этих вершинах до самого светопреставления не будет ни одного хорошего места!»

Одна канцелярия сжалилась над ним и приняла его в чиновники, на пять целковых в месяц жалованья. Этих пяти целковых ему было бы достаточно в Чечевицине даже для роскошной жизни, но в Петербурге их недоставало и на платеж за квартиру. Несколько месяцев Лубок терпеливо сносил свои нужды и лишения, в ожидании скорого получения хорошего места. Наконец, он вынужден был послать в Чечевицин письмо следующего содержания:

«Уведомляю вас, любезнейшие родители, что я, слава богу, жив, здоров и благополучен, только есть нечего: в Петербурге не то, что в Чечевицине, о варениках и не спрашивай, варенухи и в помине нет, коржив никто не печет, а рубли здесь — просто непостижимое дело! Они точно такие же, как и у нас, в Чечевицине, круглые рубли, только совсем не то значение имеют. Я получаю пять рублей серебром в месяц, ей-богу, не хвастаю!— а их недостает и на одно первое число. Оно, конечно, я живу здесь очень высоко, почти выше всего Петербурга, в пятом этаже, а вся знать живет ниже меня, даже министры, наибольшие паны в Петербурге, живут во втором этаже. Дыни здесь вовсе не растут. Ни зимы, ни лета здесь не бывает, и солнца никогда не видно... Я думаю, что если не завтра, то послезавтра меня сделают астраханским губернатором. Астрахань, говорят, большой город, и рыбы, и хлеба, и всякого зерна там вдоволь. Сделайте милость, пришлите мне десять целковых на дорогу в Астрахань. У вас есть лишние души: Тарас Хромой и Пахом Лопата, им уже лет по сту будет, проку от них нечего ждать; продайте их на перевод и пришлите мне гроши, также и баб продайте: у Наталки Кравчихи половина души, у Палашки Ткачихи четверть души, да у Явдохи целая душа. Все это народ негодящий, плутоватый, продайте их на развод, и гроши мне пришлите. Притом же, Явдоха, я вам скажу, ведьма, а Пахом — упырь. Продайте их или променяйте на гречиху. Пишите мне письма по почте, а с чумаками не посылайте. Не жалейте сорока копеек: копейка наживное дело! Откровенно скажу вам, любезные родители, что здесь есть одна графиня и одна княгиня. Княгиня, известное дело, знатнее, зато графиня краше. У княгини триста тысяч душ и десять миллионов рублей, а у графини четыреста тысяч душ и пятьдесят миллионов

рублей. Я видел обеих по четыре раза. Сделайте такую божескую милость, пришлите мне хоть пять целковых; да попросите отца Никифора отслужить молебен с акафистом за мою душу: может быть, скоро пропаду от горя и холода! Здесь есть речка, Невою называется, и монументы всякие есть: Суворов, Петр-царь, Петербургская сторона и Васильевский остров. Если б вы знали, какие здесь паны живут! Иной пан побольше будет нашего губернатора. Самые большие паны называются министрами. Для них сделать губернатора, как для нас люльку тютюну выкурить — пустяки! А исправники просто ни по чем! Здесь всяк сам себе исправник! Скажите же вы пану Барану, нашему чечевицинскому исправнику, чтоб он не очень храбрился своими усами и регистраторством и не трогал наших дивчат, а не то, слава богу, Петербург столица!

P. S. Вторительно прошу вас, любезные родители, если уже нельзя прислать пяти целковых, пришлите хоть три. Я за вас вечно буду бога молить».

Чрез два месяца Лубковский получил с почты следующий ответ: «Любезный сын Терентий Якимович! Письмо твое принесло нам и соседям нашим величайшую радость. На то мы тебе и воспитание хорошее дали, чтобы ты пошел далеко. Особенно благодарны тебе за описание Петербурга. Видно, что знатный город! Женись на ком хочешь, на княгине или на графине: на всякий случай посылаем тебе наше заочное родительское благословение, навеки нерушимое. Хотели бы и денег послать хоть три корбованца, да *не-ма*. У нас, знаешь, тяжба с родичами: все в суд идет! Надейся на бога и почитай родителей; с родительским благословением всюду и во всем успеешь! Только с немцами не водись: все они безбожники — постов не соблюдают. С ними как раз сгубишь свою душу ни за понюх табаку! И на вечерницы не ходи: в Петербурге, мы думаем, парубки всякие бывают, иной побратается с тобою только для того, чтобы ты угостил его. Затем прощай, сынку! Пошли тебе господь скорее губернаторское место!

P. S. Проведай, какие души у твоей княгини и какие у графини. Теперь свет плутоват стал, и нынешние души совсем не то, что были души прежние, старинные. Нынешние души годятся только для ломбарда. Вот и мы хотели, по твоему совету, продать свои три и три четверти души, да не тут-то было: никто за них и гроша не дал. Давали, правда, четыре ведра горелки, да горелку мы сами курим, на что нам горелка! Кстати, промотался пан Перепичка: всю свою стаю, знаешь, знатная стая борзых, за бесценок отдавал. Тут-то послал мне милосердный господь счастие: за упомянутые негодные души я успел выменять, отбить у пана Семиголового, бравую, первую в своре собаку! Шерсть рыжая, белое пятно на лбу, щирая* поджарая, просто не пес, а бес! Теперь у меня, сынку, первая собака во всем Чечевицинском уезде, и все паны мне завидуют. Наши вороги настроили пана Семиголового тягаться со мною; да я ни за что не уступлю. Он повез в суд четыре мешка муки и годовалого бычка, а я отвезу восемь мешков муки и двух бычков! Пожалуйста, если знакомство хорошее имеешь, постарайся там, в Петербурге, пана Семиголового, всех

наших врагов в Сибирь сослать. Тебе это ничего не стоит! Только поторопись, а то как раз Манифест милостивый выйдет».

IV

Родительское благословение, навеки нерушимое, нисколько не помогло бедному Терентию Якимовичу в горьких его обстоятельствах, и он со всем напряжением отчаяния стал разыскивать и исследовать все хорошие и разные места в Петербурге. Насущные нужды укротили гордость его. Он перестал думать о губернаторстве, и со дня на день теряя украинские понятия о жизни, приобретая качества настоящего петербургского чиновника, становился смиреннее, общежительнее. Он увидел, что самые хорошие места для таких людей, как он, суть канцелярские должности с двадцатью целковыми в месяц жалованья и казенною квартирою, с казенными дровами; он увидел также, что ему до такого места, «как до звезды небесной, далеко», потому что Петербург битком набит искателями подобных должностей, и каждый искатель, стараясь по мере сил уничижать, уничтожать своих соперников, в то же время сам подвергается влиянию враждебной конкуренции.

Итак, неужели нет для него в Петербурге ни одного места, даже не видного и незавидного по названию, только хорошего по свойству? Неужели навсегда он обречен жить в соседстве с луною, быть отчужденным от всех благ, даруемых земным обитателям?

По обеим сторонам Обводного канала тянутся бесконечные заборы, огораживающие пустопорожние хорошие места. Это огороды, производящие репу и картофель. Владельцы этих огородов занимают их в течение лета, а на остальное время года, называемое в календаре осенью, зимою и весною, переселяются в город, поручая их хранению людей неукоризненной честности, преимущественно из благородного сословия. Эти люди, в сущности, сторожа, носят иное, более пристойное, но также ответственное название «смотрителей огородов». За исполнение своей обязанности смотритель получает следующие важные выгоды: готовую квартиру в шалаше, сколоченном на огороде из кружевного барочного леса, дрова, достаточное для пищи и освещения количество жирного снадобья неизвестного названия, но весьма удовлетворительного для обеих потребностей качества, и запас разных огородных овощей, не проданных в течение лета. Он пользуется этими благами около девяти месяцев в году, самых враждебных месяцев для человека, получающего пять рублей в месяц жалованья.

Но как ни велико число хороших мест этого рода, их недостает для всех честолюбцев, стремящихся к ним всякими путями. И таково благодатное свойство каждого из этих мест, что занявший его однажды не расстается с ним никогда, кроме трех редких случаев: смерти, женитьбы и получения казенной квартиры в городе. Эти случаи открывают в каждую осень одну или две ваканции на хорошее место. Тогда-то кипят страсти и желания искателей, созидаются фантастические планы, возбуждаются чудовищные надежды, разыгрываются

смелые интриги, являются яркие, поразительные картины эгоизма, отчаяния, обманутого самолюбия!

Ум человеческий способен извинить великие злодейства великостию целей их. Он понимает, что для достижения одного из мировых хороших мест человек может отважиться на многое: на преступление, на подлость, даже на героизм, даже на добродетель; но когда на маленьком пространстве Московской и Каретной частей Петербурга взволнуется множество людей желанием блаженной должности сторожа, когда это желание вызовет ту же энергию, что и колоссальное честолюбие, когда эгоизм мелкий, комарий достигнет высшего напряжения, и закипят столь же неутолимые страсти и возмутительные интриги, и все это ради хорошего места на петербургском огороде, тогда цепенеет ум, ничего не извиняет и ничего не понимает.

Терентий Якимович, недавно мечтавший, что его сделают по крайней мере губернатором, прожив в Петербурге полгода, стал мечтать, увы! о хорошем месте в готовой квартире на огороде, по ту сторону Обводного канала! И для того чтобы получить это место, недостаточно быть достойным его, надобно еще иметь всемогущую протекцию случая. У него был товарищ по службе, человек пожилой, бесстрастный, пользовавшийся хорошим местом на огороде десять лет сряду. Этот человек, никогда не выказывавший своих чувствований в хороших или дурных обстоятельствах, умер скоропостижно от радости, что его сосед и враг по огороду, найдя на улице бумажник с двадцатипятирублевою ассигнацией, в восторге от этой благодатной находки сошел с ума и открыл ему ваканцию на другое хорошее место. Таким образом, случайная погибель этих двух человек, также когда-нибудь питавших честолюбивые, юношеские мечты, очистила Терентию Якимовичу место в бедном шалаше на уединенном огороде, и он эгоистически радовался, что «такой случай вышел!»

Заняв хорошее место, он получил возможность собирать, по малороссийской поговорке, грош до гроша, копейку до копейки, все, что прежде издерживал по необходимости на поддержание своего существования, которое теперь обеспечивалось выгодами этого места. Его новая обязанность не сталкивалась с обязанностью служебною: на службе он проводил дни, на огороде ночи. Сначала трудно, страшно было ему жить одному в совершенном отчуждении от всякой живой души, среди пустынных огородов, на которых свободно разгуливала зимняя вьюга: особливо боялся он ночевать в своем шалаше... боялся не воров, с которыми умел бы справиться, а ведьм, мертвецов и прочей нечистой силы, против которой бессильна всякая храбрость; но проведя несколько ночей не встревоженный ни мертвецом, ни чертом, он успокоился и стал мало-помалу забывать прежнее горе и прежнее честолюбие.

V

Пять долгих однообразных лет минуло с того времени, когда Терентий Якимович благодаря случаю, располагающему хорошими местами, занял должность смотрителя огорода. В это время он совершен-

но забыл и великолепную мысль о губернаторстве, приведшую его в Петербург, и Малороссию с ее дынями и еврейками; он стал истинным канцелярским чиновником, с канцелярскими страстями, канцелярским взглядом на жизнь, и имел один важный предмет, вовсе не свойственный канцелярским чиновникам, деньги, относительно к его значению в Петербурге — *большие* деньги.

С помощию этих больших денег (которые, для исторической точности, должно назвать определительно тысячею прежних ассигнационных рублей) он стал первенствующим лицом в кругу своих товарищей и дельным человеком в глазах одного пожилого чиновника высшего ранга, именно надворного советника.

Отличив Терентия Якимовича от его товарищей, этот важный чиновник сказал ему однажды приличным, покровительственным тоном: «Я советовал бы вам, господин Лубковский, окончательно устроиться. Есть у меня в виду прекрасная благовоспитанная девица. Если мое посредничество что-нибудь значит в вашем мнении, женитесь, неотлагательно женитесь,— для собственного счастия».

Канцелярская мудрость считает брачную храмину, что ныне — супружеская спальня, хорошим местом и ставит ее в порядке хороших мест выше огорода на Обводном канале. По указанию этой мудрости и еще по другой причине Терентий Якимович немедленно оставил старое хорошее место для обладания новым.

Другою причиною к женитьбе на прекрасной, благовоспитанной девице была превосходная ваканция, замещение которой зависело от его покровителя: то было частное (ради аллаха, не привязывайтесь, строгие ценители и судьи: говорится определительно *частное*, а не казенное) место смотрителя, не огородов, а гробов. Воображение его было поражено превосходством этого места над должностью смотрителя огородов, и он не сомневался, что если угодить кому следует, то оно будет отдано ему в обеспечение грядущего семейного благополучия.

Должность смотрителя гробов состояла в том, что отправляющий ее занимал удобную квартиру в самом Петербурге (о чем Терентий Якимович мечтал даже на огороде), получал достаточное жалованье, имел возможность бывать в клубах и других обществах, честь посещения которых стоит один рубль серебром — и за все эти блага был обязан наблюдать строго и неуклонно, чтобы гробы, обильно поставляемые в госпитали и лазареты богоугодных учреждений, имели установленную меру и форму и были той несокрушимой прочности, которая искони называется казенною.

Ему предстояла блистательная будущность: молодая жена, покровительство значительного человека, хорошее место и с ним все счастие, даруемое человеку хорошим местом. Он женился...

Отец жены его был, лет двадцать тому, первостатейным купцом, отчаянным благотворителем страждущего человечества, а этот надворный советник был у него чем-то вроде управляющего делами и, по уважению постоянного усердия к пользам хозяина, удостоился быть крестным отцом его дочери.

Потом благотворитель затеял совершенно верную спекуляцию: пошел в банкруты, думая нажить миллион, и попал вовсе неожиданно в тюрьму, в качестве злонамеренного, так называемого злостного банкрута, а его управляющий пошел в надворные советники и, между прочим, в строгие блюстители формальностей; но по обычаю людей, проникнутых коммерческим духом, он все-таки не мог воздержаться от благотворительности, и как в ту пору бывший его милостивец, отец и благодетель скончался с горя от неудачи в вернейшем торговом обороте, то он озаботился о судьбе своей крестницы: несколько лет платил за нее в пансион из денег, нажитых у благотворителя, и чтобы не тратиться на приданое для нее, выдал ее в замужество за одного из «своих людей».

VI

Воспитание и выдача в замужество за хорошего человека бедной дочери банкрута стяжали покровителю Терентия Якимовича лестную славу человека бескорыстного, преисполненного любви к ближнему. Покровитель с дальновидностью мудрого эгоизма давно рассчитал, что в некоторых случаях благотворительность может принести больше пользы, чем спекуляция на питейные откупа. Она, в крайнем случае, не давая человеку, занимающемуся ею с расчетом и тактом, прямых материальных выгод, постепенно составляет ему несокрушимую репутацию, высокое нравственное значение, перед которым благоговеют иные люди, посвятившие себя другим предметам.

Оконченный подвиг человеколюбия доставил бывшему купеческому приказчику давно желанное партикулярное, состоящее вне сферы казенной, место управляющего различными частными учреждениями в пользу страждущего человечества. Нет надобности упоминать, под каким градусом широты и долготы лежало это благодатное место, иначе выйдет опять личность, но позволительно сказать, во избежание той же неприкосновенной личности, что оно было далеко за пределами Петербурга. Надворный советник так поспешно отправился на свое хорошее место, так был занят своими личными выгодами, что с равнодушием, вовсе не филантропическим, обещал Терентию Якимовичу «подумать» о его притязаниях и нуждах.

Завидная должность смотрителя гробов была потеряна для Терентия Якимовича. Новое лицо, заменившее надворного советника, поручило ее *своему* человеку, в достоинствах которого было уверено. Между тем *большие* деньги, скопленные им в пятилетнее обладание хорошим местом на огороде, исчезали; нужды нового, супружеского быта увеличивались, и годового жалованья, лаконически называемого достаточным, недоставало на один месяц.

Тогда воображению его представилась страшная картина ожидающей его будущности, картина вечной, со дня на день усугубляющейся нищеты, которою поражены тысячи других людей, подобно ему прибывших в Петербург, бог весть, откуда, искать хороших мест, славы, счастия; подобно ему, горько обманутых своими надеждами и мечтами, утративших под гнетом опыта счастливые заблуждения мо-

лодости, пожелтевших от нужды и разочарований и, наконец, женившихся, чтобы сделать угодное своим милостивцам и поправиться, как говорится, «из куля в рогожу».

Лубковский захворал с горя и на болезненном одре предался воспоминаниям надежд своей молодости. И чтоб было ему остаться в Чечевицине, не поддаваясь обольщениям громкого имени столичного города Санктпетербурга! Правда, в Петербурге родятся губернаторы и люди побольше губернаторов, но здесь также родятся в несметном числе нищие разного звания, и только один бог знает горечь их существования.

Одна старинная еврейская песня начинается восклицанием: «Как упоительна любовь в довольстве и роскоши!» И точно, без довольства не может быть любви, без способов к удовлетворению животных потребностей человек не имеет высокой духовной способности любить. Терентий Якимович прежде, когда видел в молодой и прекрасной жене своей средство к исполнению своих эгоистических честолюбивых замыслов на хорошее место, обращался с нею уважительно, с некоторою нежностью. Он и любил бы ее, если б душа его освободилась от тяжких вседневных забот, убивающих всякое возвышенное чувство; но, угнетаемый материальными нуждами, пугаясь мрачных предчувствий, он считал жену виновницею его неизбежной погибели. Без нее, без этой Пелагеи Петровны, он не имел бы надобности ни в квартире, не оплачиваемой его жалованьем, ни в Сенной площади, ни в дровяных дворах...

Безмолвно сидела Пелагея Петровна у постели Терентия Якимовича. Еще не зная практически той жизни, на которую обрекаются люди одного значения с ее мужем, она понимала, что сделалась причиною его страданий, его несчастия. Слезы покатились из глаз ее; но она поспешила отереть их.— В эту минуту муж глядел на нее.

— Что ты плачешь? О чем ты плачешь?— спросил он сурово.— Пожалуй, могут сказать, что я *тиран* твой. Чего доброго! Для меня только этого недоставало!

— Я думаю,— отвечала Пелагея Петровна дрожащим голосом, глотая слезы,— я думаю, что мы очень несчастливы! Ты больной, всегда расстроенный... как же мне не плакать!

— Слезами тут ничего не поможешь...— Он не кончил своего замечания, по-видимому, развлеченный внезапною мыслию. Пристально и задумчиво глядя в лицо жены своей, он, казалось, развивал на нем свою идею, свои новые замыслы. Чрез несколько минут глаза его оживились, лицо потеряло страдальческое выражение, он поднялся с постели и, не говоря ни слова Пелагее Петровне, стал сочинять какое-то письмо...

Был у него *милостивец*, человек важный, довольно значащий в обществе и в службе, удостоивавший называть его *любезнейшим*, нередко обещавший позаботиться о нем и никогда не исполнявший своих обещаний. И не мудрено: у милостивца была толпа людей, которых он, по благосклонности своей, называл любезнейшими и которые, пользуясь этой благосклонностью, утруждали его такими же просьбами, как и Терентий Якимович. Всех просьб удовлетворить было

нельзя, а для того, чтобы оказать одному из любезнейших предпочтение пред другими, требовалось, чтобы этот любезнейший имел какие-либо права на него, особые уважения, которые ставили бы его в глазах милостивца вне толпы обыкновенных просителей.

Светлая мысль блеснула в уме Терентия Якимовича и исполнила душу его животворящею надеждою. Долго сочинял он свое письмо, наконец сочинил, переписал его тщательно на тонкой почтовой бумаге и, запечатав в конверт, обратился к жене своей.

— Послушай, душенька!— сказал он ей ласково.— Еще недавно ты плакала, а я, больной от горя, лежал на постели, с которой и вставать не думал. Теперь бог послал мне мысль, которую я считаю счастливою. Очень может быть, что положение наше поправится. Я вспомнил обещания одного важного человека, который о сю пору не исполнил их — знаю почему! знаю, что он за человек и на что я решаюсь... (он произнес последние слова с особенным выражением). Но, говорит пословица: с волками жить — по-волчьи выть. Не я один!.. Я почти уверен, что если ты сходишь к нему с этим письмом, то он сжалится — не надо мною, так над тобою. Расскажи ему о нашей крайности... Я прошу его в этом письме содействовать мне, «по причине жены», к получению хорошего места. Ты попроси его от себя. Большие люди внимательны к женщинам, и ты не бойся обременить его своими просьбами. Наш брат, мужчина,— дело другое. Только будь с ним любезнее... В этом нечего учить тебя. Я говорю для «твоего соображения».— Поезжай с богом, душенька! Я на тебя надеюсь!

Пелагея Петровна повиновалась. Одевшись просто, по способам бедной чиновницы, но со вкусом и изяществом благовоспитанной женщины, она положила в ридикюль письмо своего мужа и отправилась на скромных извозчичьих дрожках к его милостивцу.

VII

Новая просьба Лубковского имела решительные следствия: «по причине жены», как выразился он в письме к своему милостивцу, он получил хорошее место.

Он стал одним из тех счастливых, привилегированных людей, для которых жизнь — один непрерывный, упоительный, победоносный танец.

В отношении к Терентию Якимовичу обязанность по хорошему месту заключалась в том, что он долженствовал в определенные часы уходить из квартиры для исполнения особых поручений. Эти поручения исполнял он с такою точностью, что в короткое время заслужил многие удобства, кроме тех, которые вообще свойственны хорошему месту. По важности лежавшей на нем обязанности он получил просторную, прекрасно отделанную квартиру, обзавелся парою лихих лошадей и тем милым городским экипажем нынешней формы, который покамест носит обидное название дрожек, но в сущности выражает идею приятного качания, а не лихорадочного дрожания.

Вообще чувствуя преуспеяние свое во всех благах мира сего, он покидал замашки прежнего дикого быта и со дня на день совершенст-

вовался духом и телом. Разум его стал яснеть, не возмущаемый и не гнетомый мелкими житейскими потребностями. Различные отношения и условия в делах человеческих приходили для него в стройный, общеполезный порядок, и на страсти и бедствия, деспотически властвовавшие над миром вне собственной его особы, он привыкал смотреть космополитически, равнодушно, обращая их в неизбежную принадлежность упомянутого мира.

Спокойный духом, счастливый, он с радостью видел приятное округление своего подбородка и других частей лица, дотоле угловатых, растянутых, и возвышение своего драгоценного чрева. Это благодетельное внимание к нему самой природы давало ему приятный повод видеть себя в будущности совершенно похожим на любого наилучше откормленного на Волге российского степного помещика.

Он долженствовал исполнять свою обязанность в шесть часов пополудни. Нельзя не заметить, как гармонировала она с личною его потребностию. В шесть часов, после хорошего, даже очень хорошего обеда, он отправлялся из квартиры для совершения предписанной во всех, в том числе и в конских, лечебниках прогулки, особенно полезной для таких людей и лошадей, которые, подобно ему, сосредоточив нежнейшие чувствования своего сердца на собственной особе, видят ее расцветающею и полнеющею вожделеннейшим образом. Итак, следуя указаниям сердца и всеобщего лечебника, он в то же время почти бессознательно исполнял и свою обязанность.

VIII

Однажды, в осенний вечер, пообедав отлично, Терентий Якимович предался приятной дремоте и еще более приятным мечтам, столь плодовито и обильно рождающимся после обеда. Дождь стучал в окна; на улице холод и мрак; в его кабинете теплота и свет, разливаемый прекрасною усовершенствованною лампою. Взглянув в окно, он вполне почувствовал неоцененную выгоду своего положения. Сколько там, на улице, бродит чиновников того же класса, как и он, мучимых потребностью хорошего места, ищущих его всюду, на улице, в грязи, на тротуарах, под воротами домов, под балконами, в чужих передних, в чужих кабинетах, даже в чужих спальнях! И сколько всякий из них натерпится горя, набегается, накланяется, наподличает, пока достигнет хорошего места! Сколько между ними таких, которые весь век, имея хорошее место у себя под носом, не замечают и не находят его, и, наконец, таких, которые во всю жизнь ища хорошего места, гоняясь за ним от неопытной, пылкой юности до коварной старости, находят его только в могиле!

И опять, какое разнообразие в идее хорошего места, какая разладица в понятиях о нем: для одних искателей его оно, по меньшей мере, трон китайского богдыхана, для других — оно только казенная квартира с дровами, для третьих — управление департаментов, для четвертых — заведывание нравами дворников, для пятых — хождение за барынею пожилых лет, для шестых — гроб!

Терентий Якимович, покоясь в креслах, предался дремоте, кото-

рая, однако, не прерывала вышеприведенных дельных размышлений. Мало-помалу от посторонних интересов он перешел к собственным своим. Вспомнив время, которое он проводил на огородах, куда хаживал в такую же, как теперь, погоду, голодный, оборванный, с отчаянием в душе, он предался невольному увлечению блаженства, ощущаемого при одном сравнении прошедшего с настоящим, и воскликнул:

— Хорошее место!

И будто в ответ ему раздался легкий, благозвучный бой шести часов. Он вздрогнул. Впервые этот бой отозвался не в ушах, а в сердце его. Он потерял приятное расположение духа и, прислушиваясь к жужжанию дождя, впервые почувствовал тяжесть обязанности, неудобство хорошего места. Теперь ему хотелось бы остаться дома, и вместо того, чтобы тащиться бог весть куда и зачем в такую петербургскую погоду, посадить возле себя или даже у себя на коленях свою хорошенькую жену, которая стала еще лучше с тех пор, как хорошее место, доставленное мужу, избавило ее от горя, от забот, от нищеты...

Вдруг раздался звонок в передней. Терентий Якимович торопливо накинул на себя пальто, схватив шляпу и скорчив гримасу неопределенного смысла, бросился из кабинета, и в дверях повстречался со своим *Милостивцем*.

Оба, по какому-то внезапному чувству, отступили один от другого. Потом, опустив глаза долу, раскланялись с легким, не выразимым никакими словами восклицанием. Руки их сначала протянулись было одна к другой, потом, будто постороннею силою, были отброшены в противоположные стороны. Милостивец первый начал разговор следующим вопросом:

— А?

— Да-с!— отвечал Терентий Якимович.— Я уйду... Мне очень нужно идти по разным поручениям...

Милостивец приятно улыбнулся и поклонился. Терентий Якимович тоже улыбнулся и, поклонившись, ушел по особым поручениям.

Едва только он сошел с лестницы, как дождь окатил его будто из ведра. Он хотел было остановиться у подъезда собственной квартиры, но долг говорил ему повелительно, как Вечному Жиду: иди, иди, иди! И он пошел под сильным влиянием *идущего* дождя и *прошедшей* встречи. Он торопился в кондитерскую или в трактир, но ни той, ни другого не были вблизи, а дождь все усиливался и, наконец, полил в таком размере, что все шедшее и бежавшее по улице кинулось под ворота домов. Терентий Якимович тоже приютился с толпою кухарок, мужиков и чиновников под воротами.

После краткого молчания толпа заговорила, начав с нравоучительных изречений по случаю дождя. Потом разговор, заводимый отдельными группами, по полам и по состояниям, принял более обширное направление, и по странному случаю все, и кухарки, и мужики, и чиновники, говорили об одном предмете — о хороших местах. Терентий Якимович, стоявший отдельно, вслушивался в разговоры и скоро понял, что все эти люди, случайно сбитые в одну кучу и чрез

минуту долженствующие рассыпаться по разным вершинам Петербурга, суть искатели хорошего места.

— Великое дело!— воскликнула одна дюжая баба, покрыв своим голосом менее звучные выражения прочих сообщников,— велико дело — хорошее место! Имей, выходит, хорошее место, так уж ни за что в свете не пойдешь из фатеры в эфтакую непогодь!

— Вздор!— сказал Терентий Якимович громко и решительно, так что вся толпа, смолкнув, обратила на него внимание, и в ту же минуту, изумясь сам своему невольному увлечению, он бросился из-под ворот.

Войдя в переднюю своей квартиры, измокший, терзаемый досадою и тоскою, он снова встретился с Милостивцем, только что возвращавшимся.

Оба, по-прежнему, остановились, взволнованные этою встречею, и, улыбаясь один другому, казалось, хотели заговорить о чем-то. После минутного замешательства Терентий Якимович сказал, кланяясь Милостивцу:

— Вот, я уже и возвратился!

— А!

— Да-с!

— Гм!

И Милостивец с новою ласковою улыбкою и поклоном *изволили* уйти.

Долго стоял Терентий Якимович у окна своего кабинета, мучимый тяжкою думою. Черты лица его были искажены судорогами, в глазах сверкало отчаяние. Только сильный ливень дождя и вой ветра несколько развлекли его; он прислушался к игре петербургской погоды, у которой еще недавно сам был игрушкою, и взглянув потом на свою роскошную квартиру, на дорогие ковры, на мебели красного дерева драгоценной отделки, на изящные бронзы и на многие другие безделки, он стал приходить в себя и, внимательно глядя на все эти предметы, как будто извлекая из них дух космополитизма, произнес наконец с совершенным спокойствием:

— Да! Хорошее место!..

ПАРТИКУЛЯРНАЯ ПАРА

Нам миром носится вечный, лучезарный призрак, называемый счастием. Для существования человека в этом мире необходимы женщины, хорошие места, воздух и эгоизм, и эти предметы существуют фактуально, осязательно; но человек, всегда недовольный тем, что есть, сам изобрел этот призрак, эту мечту, это счастие; потом он поверил, что счастие существует и что ему без счастия и жизнь не жизнь, и чины не чины!

В Петербурге едва ли есть счастие, а верно то, что есть магазины, любовь и сплетни — для женщин; честолюбие, козни и выговоры —

для мужчин; мечта, луна и дева — для поэтов; наконец, эгоизм и Невский проспект — для всех!

Хотя каждый и каждое из упомянутых предметов и качеств, существенных, а не мечтательных, может с совершенным успехом заменять для петербургских людей отсутствующее счастие, однако многие из этих людей не удовлетворяются избытком магазинов, козней, воды и пр., считают необходимым для своего существования счастие, гоняются за ним во всю жизнь, видят его всюду, «куда приезда не имеют», осуществляют его во всем, чем владеть не могут, и сходя в могилу, измученные, разочарованные, говорят ожесточенно: нет счастия в мире!

Между тем это — люди, большею частию никогда не мыслившие и не имевшие надобности мыслить о разных обстоятельствах, управляющих жребием человеческим, не испытывавшие ни одного из горьких лишений, которыми исполнена и пожирается жизнь других людей, покорно и безропотно идущих к крайнему, утешительнейшему пределу ее, могиле. Они занимают «хорошие места», имеют хорошие квартиры; в двенадцать часов бреются, в два часа гуляют по Невскому, в шесть часов обедают, в восемь зевают в Итальянской опере, и на них иногда завистливо, иногда с правдивою досадою смотрит какой-нибудь жилец пятого этажа, считающий себя человеком не хуже других.

И опять, в том же Петербурге, существует множество людей, для которых счастие, как оно и есть,— мечта, призрак, которые стараются жить и живут *как-нибудь*, волнуемые копеечными выигрышами и проигрышами в преферансе, возвышением цен на дрова и съестные припасы, люди, которые постоянно более или менее довольны собою и своими обстоятельствами, считают глупостию стремление к отвлеченным благам и, постоянно гнетомые суровыми потребностями жизни, твердо верят, что свет идет весьма удовлетворительно, и хотя им очень желательно бы иметь квартиру и обстоятельства получше, однако, по соображению других квартир и других обстоятельств, видят, что они живут, по милости божией, весьма хорошо!

Эти счастливцы — те самые, которые в зимнюю стужу или в непогодь осеннюю, закутавшись в ветхую шинель, торопливо идут в должность, а если случится Новый год или другой какой-нибудь всерадостный праздник, то к покровителю с установленным поздравлением, и на лице их отражается одна служебная забота, боязнь выговора, и не отражается никакое эгоистическое ощущение, как будто на них не действуют ни своенравные стихии, властвующие над ними на дворе, ни мелкие, но многочисленные нужды, съедающие их в домашнем быту.

К числу таких счастливцев принадлежал Петр Иванович Шляпкин, бывший Чарочкин, молодой человек с большими канцелярскими дарованиями и маленьким чином. Даже можно сказать утвердительно, что он был самый счастливый человек из всех верхних обитателей большой и длинной Мещанской улицы.

Когда Петр Иванович назывался просто Чарочкиным, он испытал многие неудобства и огорчения по службе и в домашнем быту. Сна-

чала он пришел было в отчаяние, но, будучи от природы человеком рассудительным, стал, по мудрому совету одной глубокой книги, отыскивать причину своего несчастия в самом себе и нашел ее в своей фамилии. Тогда, по праву людей, имеющих неблагозвучные прозвания, он решился переменить свое несчастное название Чарочкина на другое, более счастливое и благозвучное... Но какое прозвание самое счастливое в природе и самое благозвучное в русском языке?.. Он припоминал многие, но все они казались ему не довольно счастливыми и благозвучными. Поэтому он захотел «сочинить» себе фамилию и сочинял ее целый месяц, выдумал сотню прозваний, одно другого мудренее и лучше, так что, наконец, не знал, которое из них выбрать: Громов — хорошо, но Громовых много на Руси; Рублев, даже Двухрублевый и особенно Трехрублевый, тоже хорошо, но как-то страшно; Онегин, Чубуков, Чубукевич, Кнутиков, Бутылкин, Петухов Выжигин... Вот, наконец, самая счастливая фамилия народная в России*! И какой канцелярский чиновник не хотел бы называться Петром Выжигиным!

Но как ни лестно было Петру Ивановичу Чарочкину называться Петром Ивановичем Выжигиным, он испугался популярности этого имени. «Что выйдет,— рассуждал он,— если где-нибудь в компании узнают, что я Петр Иванович Выжигин? Станут, пожалуй, указывать на меня: «Вот, дескать, Петр Иванович Выжигин», станут расспрашивать меня о батюшке, покойном Иване Ивановиче, о дедушке, который доселе здравствует и бранится в каждую субботу со всем светом, о мне самом... Иные даже захотят ощупать или ущипнуть меня... Есть такие странные люди, которым недостаточно смотреть на интересующий их предмет, надобно еще ущипнуть его, чтобы сказать потом: «Я знаю его совершенно!»

Вследствие этих рассуждений Петр Иванович обратился к более скромным прозваниям... Он не только любил женщин, подобно всем, но даже уважал их, как немногие, и потому произвел свою новую фамилию от одного из предметов женского наряда, от шляпки. Таким образом он стал называться Шляпкиным.

С переменою фамилии переменилось служебное и домашнее положение Петра Ивановича. Он получил давно желанный, радостный чин, еще более радостную прибавку к жалованью и, кроме того, неожиданно открыл способ к увеличению своего дохода и сбережениям по системе политико-экономистов и к израсходованию его единовременно *первого числа*, по обычаю людей, для которых это число есть единственный радостный день в течение целого месяца.

Кроме числа и достаточного дохода Петр Иванович имел еще одну важную вещь: *установленную форму,* состоявшую из вицмундира и принадлежностей к нему, купленную на Апраксином дворе за сорок рублей ассигнациями, в качестве *малоподержанной пары,* а по строгом рассмотрении оказавшуюся только *годною* к употреблению во всех приличных случаях.

Петр Иванович получал жалованья соразмерно своему чину, ассигнациями двадцать семь рублей одиннадцать копеек с половиною в месяц, и за эту цену ежедневно, кроме праздников, записывал исхо-

дящие бумаги и запечатывал их в конверты, для рассылки по адресам. Однажды, держа в руках конверт, он подумал: «Очень много конвертов выходит из нашей канцелярии... и много денег платится за них!.. А что если рассчитать, сколько конвертов выходит во всем свете, или хотя в одном Петербурге?.. О, видно, что люди, делающие конверты, наживают копейку! А между тем небольшое искусство делать конверты: нужно только иметь ум... и бумагу притом... Мне, например, только ум собственный и нужно бы иметь для делания конвертов... Право, не заняться ли?»

В тот же день Петр Иванович, запершись в своей комнате, до тех пор резал бумагу, пока не изучил в совершенстве искусства делать конверты. При этом он заметил, что конверты делаются гораздо удобнее, легче и лучше из казенной бумаги, нежели из собственной, и по случаю этого замечания решился не покупать бумаги, а открыть производство «отличных» конвертов единственно из той, которую удобно мог добывать «в должности».

Петр Иванович озаботился об открытии надежных рынков для сбыта своего продукта и с этою целью отправился в некоторые купеческие конторы, вызываясь поставлять конверты всевозможных видов и размеров по ценам, несравненно меньшим противу тех, которые платятся за них в лавки и магазины. К этому вызову Петр Иванович присовокуплял небольшое, но весьма дельное рассуждение о том, что лавочники и магазинщики, торгующие конвертами, суть не что иное, как посредники между производителями и потребителями этого товара, и в качестве посредников берут за него вдвое дороже против настоящей «мануфактурной» цены.

Купцы и их конторщики всегда предпочитают продукт из первых, производящих его рук, и нормальную цену — продукту из вторых посредничествующих рук и цене возвышенной десятью процентами за труд этого посредничества, и хотя, в настоящем случае, выгода от приобретения конвертов у самого Петра Ивановича составляла копеечную разницу, однако, по строгой аккуратности благоустроенных торговых домов, она не была пренебрежена, и Петр Иванович получил во многих конторах заказы на свое изделие. Увлекаясь успехом и выгодами своего предприятия, он хотел было вызваться на поставку конвертов и в казенные места, из чего могла бы выйти казенная польза, из которой в свою очередь вышло бы что-нибудь лестное для него как чиновника, радеющего о казенной пользе; но, приняв в соображение ядовитую зависть, преследующую всякий успех по службе, по откупам, подрядам, поставкам и т. п., он укротил свое честолюбие и ограничил свою мануфактурную деятельность одними «партикулярными» местами.

Обширнейшими из торговых связей Петра Ивановича были связи с домом *господ братьев Гельдзак и Компании,* в который поставлял он конвертов на двадцать рублей в месяц, по уговору с господином Францем Вильгельмом Штейном, кассиром, имевшим первостепенное значение в конторе и подписывавшим векселя и корреспонденцию от имени торгового дома per-procura*, то есть по уполномочию. Сами «господа братья Гельдзак и Компания», сосредоточенные в малень-

кой, суровой особе негоцианта Карла Христофоровича Гельдзака, всегда были заняты главнейшими расчетами и оборотами, и как Петр Иванович приходил в контору по окончании своих служебных занятий, когда *господа братья* отправлялись на биржу, то они редко встречали его, а встретив, не осведомлялись о причине его посещения.

Эта контора была обширнее всех других, в которые Петр Иванович доставлял конверты. Она находилась на полпути Петра Ивановича в должность. По этому случаю Петр Иванович заходил в контору почти каждый день, в три часа пополудни. В эту пору конторщики, утомленные занятиями, посматривали на часы, нетерпеливо ожидая пробития *ровно* четырех, чтобы в ту же минуту идти обедать. Правда, Петр Иванович, в качестве поставщика отличных конвертов, играл между этими людьми довольно жалкую роль: они, получая такое жалованье, какое и не снится чиновникам одного с ними служебного значения, любили потешиться над ним, особливо над его античною, установленною формою; но Петр Иванович, давно привыкнув к нецеремонному с ним обращению, нисколько не обижался выходками конторщиков, и если иная выходка была точно смешна, то он хохотал со всем простодушием человека, чувствующего себя счастливым, довольного собою и своею судьбою.

Таким образом, появление Петра Ивановича в конторе господ братьев Гельдзак и Комп. всегда было встречаемо конторщиками с удовольствием. Они, для сокращения остального времени, в которое долженствовали быть в конторе, входили с ним в рассуждение о новейших банкрутствах и о житейских обстоятельствах петербургских людей, не имеющих счастия быть ни помещиками, ни портными мейстерами и вынужденных добывать себе средства к существованию переписыванием чужого марания. Петр Иванович рассказывал им занимательные анекдоты о том, как и чем живут многие несчастные люди, получающие подобное ему жалованье, люди, которые так смешны в русских водевилях. С своей стороны, конторщики знакомили его с бытом коммерческим, дотоле ему чуждым. Он был поражен превосходством жалованья коммерческого над чиновническим, и еще более удивлял его образцовый порядок делопроизводства в конторах, где торговые обороты и расчеты на колоссальные суммы производятся с непостижимою для чиновника точностию одним человеком, например, *пер-прокурою.*

Ознакомившись с людьми, составляющими эту контору, Петр Иванович нашел в ней стихии и начала, совершенно отличные от тех, которые преобладают в местах казенных, интересовавшие его своею оригинальностию и новостию.

Контора делилась на две партии: немецкую и русскую. Первая, равная числом своих членов последней, имела над нею перевес нравственный: в главе ее находился русский немец Франц Иванович Штейн, получивший образование в Коммерческой школе* и за свою деятельность и верность возведенный в звание *пер-прокуры* торгового дома братьев Гельдзак и К°. Он был молодой человек благовидной наружности, знал несколько языков, мечтал о компаньонстве с домом Гельдзак, любил свое занятие и получал директорское жалованье.

Вторым лицом после него был господин Иосиф Шпиц-Рутель, бывший пер-прокурою тридцать лет, оставивший свою важную должность по старости, но не могший оставить своей любезной конторы. Не будучи обязан никаким занятием, он работал над счетами и балансами по страсти. Русского языка он почти не знал, да и по-немецки говорил мало. В числе важных преимуществ, предоставленных ему торговым домом, было одно, самое драгоценное для него: право курить в конторе сигару, не стесняясь присутствия самого принципала*. Этим правом он пользовался беспрерывно с девяти часов утра, когда являлся в контору с постоянною тридцатилетнею точностию, до четырех часов пополудни, когда оставлял ее с тою же точностью. Углубясь в свои счета и куря сигару, он забывал все окружающее его, иногда вздрагивал, и глядя на сидящего против него бухгалтера из русской партии, Федора Ивановича, вскрикивал: *«Вас?»*[1]. «Ничего, Осип Иванович!» — отвечал бухгалтер, и старый *пер-прокура* впадал в прежнюю апатию. Один раз в день, когда притуплялось перо его, он обращался к тому же Федору Ивановичу с такою речью, произносимою дрожащим голосом: «Мейн либер герр[2] Фридрих! пожалойста поправить мой федер!»[3], и Федор Иванович, он же и *федер*, очинив поданное ему перо, возвращал его своему соседу, говоря почтительно: «Извольте, Осип Иванович!» Были еще три конторщика из немцев, вышедшие из Коммерческой школы, люди довольно благовоспитанные и вежливые.

Эта партия отличалась от русской своею преданностию торговому делу, своим коммерческим честолюбием, которое всегда удовлетворяется: после нескольких лет службы в конторе немцы получают комиссионерские поручения, вступают в долю с своими принципалами и становятся купцами самобытными.

Русскую партию составляли люди, вышедшие из той же Коммерческой школы, только с другими идеями: первым из этих людей и вторым по значению в конторе был бухгалтер, Федор Иванович Щеточкин. Он получал сто рублей серебром в месяц жалованья и употреблял их на удовлетворение своей страсти к щегольству и франтовству в одежде. Часто наряжался он в красный бархатный жилет, светло-зеленый фрак, наматывал на шею голубой платок с широким бордюром самых бестолковых цветов, цеплял на себя часы с толстою золотою цепочкою, и когда пер-прокура смеялся над безвкусием этого наряда, он объяснял, что фрак стоит ему полтораста рублей, шарф контрабандный, и в цепочке четверть фунта чистого золота. Постоянно, в течение пяти лет, он был пожираем каким-то недугом, вследствие которого на голове его образовалась нисколько не почетная лысина, плохо скрываемая усовершенствованным париком, купленным за два с полтиною на аукционе по смерти одного профессора астрономии. Он имел в ящике своей конторки и носил с собою в кармане несколько стклянок с разным аптечным снадобьем и в каждое

[1] Вас? (*нем.* was) — что?— *Ред.*
[2] Мейн либер герр (*нем.* Mein lieber Herr) — мой дорогой господин.— *Ред.*
[3] Федер (*нем.* Feder) — перо.— *Ред.*

утро рассказывал конторскому сторожу обстоятельства своей болезни. Лишь только он садился за конторку, им овладевала сонливость, и он дремал, работая машинально, по привычке. Он редко разговаривал о *пустяках*, даже в часы досуга, и только один предмет обращал на себя его внимание — это доктор. Лишь только кто-либо из присутствующих произносил это слово, он спрашивал: «Какой доктор? От чего он лечит? Как лечит? Скоро ли лечит?» и т. п. Петр Иванович, уже десять раз посещавший контору, не удостоился разговаривать с ним, пока случайно, рассказывая Штейну историю одного чиновника, замерзшего в своей квартире «с отоплением», не упомянул о докторе. Федор Иванович, в то же мгновение оставив счеты, обратился к нему с вопросом: «Какой это доктор, господин чиновник?»

— Это наш департаментский доктор,— отвечал Петр Иванович.

— От чего он лечит?

— Нельзя сказать, что он лечит, он только залечивает! Впрочем, ученый человек: отлично рассекает трупы!

— Извините, я думал, не из тех ли он, каких мне нужно. Я уже десятерых докторов переменил: были ученые и не ученые, все невежды: только деньги брать умеют. Впрочем, нынешний мой коновал обещает мне полное выздоровление непременно через месяц.

С этого объяснения началось знакомство Петра Ивановича с кандидатом коммерции Щеточкиным.

Второстепенные лица русской партии были одного покроя со своим бухгалтером. Их звание «кандидатов коммерции» давало им право на очень небольшой чин в случае поступления в казенную службу. И между тем как немцы из конторщиков становятся купцами, негоциантами, банкирами, богатеют и горделиво называются немецкими купцами, они, привилегированные мещане, обратясь в регистраторов, большею частию выслуживают нищету и чахотку; потом выходят, за болезнию, в отставку, выпрашивают у частного пристава свидетельство о своей крайней, беспомощной бедности, о своем «многочисленном» семействе, и с этим документом отправляются к разбогатевшим плебеям, бывшим своим товарищам, искать милости и сострадания.

Петр Иванович не был из тех людей, которые считают себя наблюдателями и мыслителями, но, зная по собственному опыту житье петербургского чиновного класса и видя довольство, почти блаженство жизни этих конторщиков, которые за честь и счастие считают быть департаментскими тружениками, не мог не назвать их мысленно дураками.

Ознакомясь с конторою господ братьев, Петр Иванович оказал ей несколько мелочных услуг доставлением сведений о ходе тяжебных дел Гельдзака, производившихся в том месте, где служил он. По этому случаю *пер-прокура* представил его самому Гельдзаку, который обошелся с ним как с человеком полезным и нужным по делам.

В течение полугода Петр Иванович постепенно приобрел в конторе Гельдзака значение более почетное, нежели то, которое имеет обыкновенный поставщик конвертов, вечно несчастливый и плаксивый; поставщик этого рода в разговорах с конторщиками всегда ста-

рается обратить внимание на свою нищету, спрашивает, нет ли у них лишней шинели или другой вещи в теплом роде, для продажи ему под расписку по уважению крайней бедности его. По этому случаю конторщики не находят ничего скучнее чиновника, поставляющего конверты, и ничего возмутительнее рассказов и просьб его. Петр Иванович был, напротив, человек веселый, простодушный, самодовольный, даже счастливый, как уверял он сам себя, и умный, как можно бы сказать, потому что одни умные люди умеют ладить с жизнию; но так как он по своему чину и общественному значению принадлежал к толпе, которая редко имеет случай быть умною, то этот эпитет и оставляется по принадлежности людям с большими чинами и самолюбием. Он никогда не жаловался своим коммерческим приятелям на бедность, не выказывал перед ними пошлого желания денег и говорил только о таких предметах, которые могли интересовать всех, не утомляя никого.

Потолковав с пер-прокурою и конторщиками до того времени, когда они уходили обедать, он отправлялся в свою квартиру, состоявшую из маленькой комнаты в четвертом этаже, которою был совершенно доволен, несмотря на то что зеленые стены ее имели странное свойство источать воду по каплям. Он уподоблял эту квартиру знаменитому Бахчисарайскому фонтану, который «каплет хладными слезами, не иссякая никогда»*; но, заметив однажды, что пиитическое свойство ее имеет вредное влияние на его «установленную форму», вешаемую на гвоздик, вколоченный в стенку, купил собственно для охранения формы рогатую мебель,называемую вешалкою.

После обеда, состоявшего из вассер-супа* и бифштекса, Петр Иванович посвящал часа два или три производству конвертов, продажа которых обеспечивала ему драгоценную независимость от насущных нужд, независимость, составлявшую его счастие. Потом, если у него были деньги, он отправлялся в Александринский театр и там, за двадцать пять копеек серебром, испытывал величайшее эстетическое наслаждение.

Он любил театр и посещал бы его в каждое представление, если бы всегда имел необходимые двадцать пять копеек. И можно ли, будучи не ирокезцем или киргизом, а тем, что называется человеком с душою, не любить театра, этого волшебного мира, представляющего такие фантастические, не свойственные нашему действительному миру явления? Петру Ивановичу в особенности нравились трагедии, в которых отравляются или зарезываются все действующие лица. Правда, он догадывался, что эти господа, враждующие между собою, замертво унесенные со сцены, бодро встают за кулисами и отправляются дружною толпою играть в преферанс и ужинать; что эти госпожи, привязанные одна к другой на сцене до героического самопожертвования, расходятся врозь за кулисами и уезжают домой, каждая со своим кавалером, сплетничать одна о другой, но все-таки ему было страшно, эстетически страшно...

Взгляните во время представления патриотической драмы, где беспрестанно вопиют о разных величественных предметах, где все знатные люди — герои добродетели, а злодеи все из маленьких; или

комедии, без капли комизма и с огромным количеством нравственности, или водевили, где маленькие чиновники выставлены в смешном и жалком виде, взгляните на публику... не на ту, которая зевает внизу, а на другую, занимающую театральные вершины, в каком она восторге, какому неистовому увлечению предается! И в той публике, в тысяче разнообразных физиономий, раскрасневшихся от жара и давки, вы заметите восторженное, одушевленное эстетическим чувством лицо Петра Ивановича.

Если в афише значилось, что представляемая пиеса трагедия или драма, Петр Иванович исполнялся предварительно, когда разыгрывалась вечная, ископаемая увертюра Александринского театра, надлежащим ужасом, а во время самого представления дрожал, плакал, вскрикивал при каждой страшной выходке актера и аплодировал; а если то была комедия, он смеялся, сначала потихоньку, чтобы не обратить на себя внимания еще не тронутых, не разгорячившихся соседей, потом, предаваясь неодолимому увлечению, он хохотал до судорог, и соседняя публика, состоящая большею частью из людей коммерческих и благородных, дружно помогала ему... Театр потрясался рукоплесканиями, и по окончании пьесы раздавались восклицания: «Автора!» Автор являлся, обращал к *вершинам* благодарный взор, прикладывал руку к сердцу и убегал в буфет выпить стакан лимонада для охлаждения крови, разгоряченной неожиданным успехом его творения. Потом газеты объявляли, что пиеса произвела *фуроре*, и осыпали поздравлениями автора с успехом, а публику с автором, пророча в нем нового Шиллера или Молиера... Я непременно напишу патриотическую драму и нравственную комедию, если в Александринском театре явится новый посетитель такого же восторженного характера, какой имел Петр Иванович.

В ноябрьский холодный вечер шел длинный бенефис г. Бесталанного. Афиша, немного короче Невского проспекта, объявила Петербургу о «имеющем быть сего числа» представлении десяти новых пиес, названия которых были напечатаны буквами ростом с Александринский театр. Эти пиесы были, как всегда, патриотического и сатирического содержания, уже по одному названию страшные и смешные; в заключение спектакля шла трагикомедия «Праздник размножения столбов и фонарей». Это название коварный бенефициант придал плохой пиесе собственного изделия для того, чтобы публика подумала, что тут есть что-нибудь *особенное*. Публика так и подумала... Она всегда любит особенное, а ей всегда дают непреложное...

Петр Иванович с шести часов вечера сидел на своем месте, в райке, и глядел на сцену, впрочем, не на самую сцену, а на массивную лампу, которая висела в перспективе между им и сценою. В предчувствии грядущего наслаждения он читал афишу и потирал руки, чтобы хорошенько прихлопнуть в выход Каратыгина*. Особенно интересовал его «Праздник размножения столбов и фонарей». «Тут верно есть что-нибудь такое...— думал он,— даже странно, что представляют эту пиесу. Да что же это российские творцы расходились все о чиновниках: разве нет у нас купцов, с их невежеством и деньгами, или мещан, с их барскими претензиями и лошадиным зна-

чением?.. Ну, если бы я был автор... И в самом деле, не лучше ли мне прекратить производство конвертов и производить впредь комедии, в которых действовали бы *иные* сословия? Это было бы оригинально, даже умно, даже справедливо!»

Размышления Петра Ивановича были прерваны и рассеяны началом увертюры... Он предался душою и сердцем ожиданному представлению... Оно началось и было сопровождаемо обычными явлениями восторга театральных вершин.

Театр был полон; сбор денежный вполне соответствовал ожиданиям бенефицианта. Публика, высидев шесть часов в душной зале, осталась довольна и пиесами, и актерами, и собою; только не рассудила дожидаться «Праздника размножения столбов и фонарей». Даже Петр Иванович был утомлен долгим удовольствием и вышел из театра подобно другим.

Между тем у театра мерзла толпа кучеров. Некоторые из них, имевшие деньги, вздумали сходить на минуту в *заведение,* и возвратясь оттуда через полчаса, сильно разогретые, вступили в разговор с полузамерзшими приятелями. Сначала они рассуждали дельно и разумно о предметах религиозных и ученых, о которых всегда любит толковать малограмотный русский человек; наконец, заспорили о том, смертный ли грех оскоромиться в пятницу или обыкновенный, и так как они не имели ни малейшего понятия о терпимости мнений, то непосредственно от спора перешли к ссоре и личностям: «Ты чей такой?» — спросил один из кучеров другого, схватив его за ворот. «А ты чей такой, что смеешь щекотаться?» — спросил другой.—«Я, брат, князев! Вот я чей; а ты?.. Кто твой барин?.. Чай, регистратор какой?» — «Мой? У меня вовсе нет барина — вот я каков!»

Жандармы прекратили ссору и приняли под свое покровительство обоих враждующих кучеров, которые в то же время стали кротки, как голуби, и откровенно назвали себя дураками.

Под влиянием сладостных впечатлений шел Петр Иванович из театра по Невскому. Хотя он спешил в ближайший трактир поужинать, однако не мог воздержаться от удовольствия заглядывать в лицо женщинам, встречавшимся по пути или возвращавшимся также из театра. Впрочем, не один он доставлял себе это удовольствие: были такие странные мужчины, которые обращались даже с разговором к незнакомым женщинам, и были такие, еще более странные женщины, которые отвечали незнакомым мужчинам с необыкновенною любезностию. Петр Иванович рассчитал, что в этот вечер он будет только ужинать и не будет разговаривать с женщинами, потому что это лишняя роскошь, которую можно позволить себе в наступающее первое число.

Он уже хотел уклониться в трактир, когда маленькая сцена обратила на себя его внимание. Кто-то, в собольем бекеше, вооруженный чудовищными усами, преследовал двух дам, шедших из театра, обычною в таких случаях фразою: «Мое почтение, сударыня! Позвольте вас проводить».

Дамы остановились, пристально посмотрели на вежливого кавалера и, не сказав ему ни слова, торопливо пошли далее; но он следо-

вал за ними, по-видимому, с твердым намерением заставить их принять его услуги. Петр Иванович, понимая затруднительность положения этих женщин, обратился к бекешу с решительною просьбою оставить их в покое. Бекеш отвечал ему: «А! извините!» — и, повернув в сторону, запел, к совершенному соблазну мимо шедшего помощника квартального надзирателя.

Петр Иванович подошел к смущенным дамам и, смутясь сам, пробормотал что-то вроде предложения услуг. При свете газового фонаря он мог ясно рассмотреть обеих дам: одна из них была женщина пожилая, другая казалась ее дочерью, имея одинаковые с нею прекрасные черты лица и ту выразительность и живость в глазах, ту свежесть в лице, которые свойственны одной молодости и проходят вместе с нею.

— Благодарю вас,— отвечала пожилая дама, успокоенная благовидною наружностью Петра Ивановича,— и с удовольствием пользуюсь вашим предложением. Мы живем недалеко...

Все трое шли по Невскому в направлении к Морской, продолжая разговор.

— Как видно,— сказал Петр Иванович, обращаясь к старшей из своих дам,— вы, сударыня, вовсе не знаете Невского проспекта, если решились идти в такую пору одни... Здесь бывают странные сцены...

— Но представьте себе наше положение: по выходе из театра мы полчаса стояли в коридоре, ожидая своего экипажа; человек, которого мы послали отыскать его, тоже не возвращался к нам. Поэтому мы решились идти домой одни, не думая, впрочем, встретиться с каким-нибудь нахалом.

— Если вам угодно, я теперь же, проводив вас до квартиры, «наведу справку» о вашем экипаже и завтра буду иметь честь представить ее вам.

— Не трудитесь, прошу вас; но завтра все-таки доставьте нам удовольствие видеть вас... Ведь вы позволите нам узнать, кому мы обязаны?..

— Я чиновник, губернский секретарь Петр Иванович сын Шляпкин.

— Нам очень приятно будет познакомиться с вами и благодарить вас у себя, если вы пожалуете завтра в квартиру негоцианта Гельдзака, в Большой Морской...

— Гельдзака? — воскликнул Петр Иванович.— Я бываю там, нельзя сказать чтобы в его доме, но в его конторе...

— Следовательно, вы с ним уже знакомы? Я жена его, а эта девица, Мария Гельдзак, дочь наша.

Петр Иванович, поклонясь как мог учтивее, отвечал: «Не смею сказать, что я знаком с таким важным лицом, как господин Гельдзак... Он, однако, знает меня... по делам... Я несколько раз «наводил справки» по делам».

— Тем приятнее будет ему благодарить вас за новую услугу, которую вы оказали нам...

— О, помилуйте! Что это за важная услуга такая, это просто...—

Петр Иванович едва не сказал «дрянь». Это выражение он считал очень сильным и благопристойным, потому что многократно слышал его произносимым на сцене, для эстетического наслаждения слушателей, и читал многие длинные критики в защиту необыкновенной благозвучности его в разговоре и литературном произведении; он, однако, по внезапному чувству, не произнес этого слова и заключил свое возражение следующею фразою: «Всякий, и получше меня, за счастие сочтет возможность оказать вам какую бы то ни было услугу».

— Так ваше имя Петр Иванович Шляпкин? — снова спросила госпожа Гельдзак.

— Точно так-с. Я, знаете, хотел было называться Выжигиным, но рассудил, что лучше быть Шляпкиным. Так я и в канцелярии числюсь: Петр Иванов сын Шляпкин, из дворян Смоленской губернии, Рославльского уезда... Отец мой был в тамошних местах помещиком и капитан-исправником, да вышла оказия по причине луны...

Петр Иванович произнес эти слова скороговоркою, сам не понимая, что и для чего он говорит. Подвигнутый великодушием к защите этих дам, он потом растерялся, узнав, что они *мадам* и *демуазель* Гельдзак, существа высшего коммерческого света, имена которых все конторщики, знакомцы его, даже сам *пер-прокура*, произносили с благоговением! Всего более смущала его мысль, что они могут «навести о нем справку» в конторе и узнают, что он фабрикант конвертов из казенной бумаги, без всякого возмездия за нее в пользу казны. В этом неприятном положении он почти бессознательно начал рассказ о своем высоком происхождении от дворянина, помещика и капитан-исправника, и дамы, по-видимому, слушали его, по крайней мере, демуазель Мария Гельдзак, потому что при словах «по причине луны» она спросила у Петра Ивановича: «Что значит, по причине луны?»

— Ах! да,— отвечал Петр Иванович,— это, знаете, такая история случилась... Луна вдруг стала между землею и солнцем, и вышло затмение, очень страшное затмение — четверть часа продолжалось. Это, впрочем, ничего — астрономы все вперед вычисляли и в календари внесли; но мужики деревенские встревожились: пришла, говорят, кончина света... и это ничего... да нашлись такие мужики, бедняки, которые в ожидании кончины света захотели побуянить хоть впотьмах, кинулись в чужие избы, стали грабить и жечь... Деревня загорелась, а тут и день опять наступил, и наехал мой батюшка, капитан-исправник... Он и принялся чинить расправу; очень строгую и справедливую расправу сделал, только ошибся немного; сгоряча произвел суд и экзекуцию не над грабителями, а над ограбленными... Батюшку отдали под суд; деревушку свою он растратил, но после его оправдали... В ту пору и я на свет родился... Ну-с, дело известное, когда человек не имеет своих душ, он должен заниматься чем-нибудь для собственной пользы... Вот, по этой самой причине я и занялся службою и торговлею...

— Вы занимаетесь и торговлею? — спросила госпожа Гельдзак.

— Да-с, маленькою! И что это за торговля сравнительно с дру-

гою, например с торговлею господина Гельдзака!.. Меня просто дрожь берет, когда я взгляну в конторе на счеты!..

Обе дамы самодовольно улыбнулись. Между тем все трое приблизились к дому, занимаемому Гельдзаком, и Петр Иванович, радуясь, что избавился от тяжкой необходимости занимать своих дам разговором, в котором чувствовал себя неловким, ненаходчивым, спешил позвонить у подъезда и проститься с ними до завтра.

На другой день, в три часа пополудни, Петр Иванович отправился в квартиру торгового дома Братьев Гельдзак и Компании уже не в качестве поставщика конвертов и справок, а в качестве защитника невинности. Г-жа Гельдзак приняла его с такою предупредительностию и любезностию, как будто он спас ее от разбойников в киргизской степи; девица Гельдзак тоже была к нему внимательна, только он не заметил насмешливых взглядов ее, брошенных на его форменную, неукоризненной чистоты и допотопной древности одежду; сам г-н Карл Гельдзак, по отправлении почты явившийся в кабинет своей жены, крепко сжал ему руку и благодарил его на диком немецко-русском наречии за охранение жены и дочери его от *плютов*. В то же время господин и госпожа Гельдзак просили Петра Ивановича посещать их всегда, когда ему угодно, без новых приглашений, а теперь остаться у них обедать; он и остался бы, но, сообразив свою скромную установленную форму с роскошным убранством столовой комнаты, где ставили серебряный сервиз особ для двадцати, должен был сказать с сожалением, что получил приказание начальника явиться к нему в четыре часа пополудни и что в другое, более удобное время он воспользуется лестным их приглашением.

Уходя, Петр Иванович думал о потерянном здесь и о предстоящем на квартире его обедах и не думал о том, как ему сделать прощальный поклон господину и госпоже Гельдзак и их дочери. По этой причине он поклонился им просто, то есть хорошо, как следует... и вышел также просто, оставив во всем семействе приятное мнение, что он человек благовоспитанный, благородный, только, по-видимому, *несостоятельный*.

В этот день, после скромного домашнего обеда, Петр Иванович чувствовал себя совершенно счастливым: он имел достаточный доход, обеспечивавший его существование, не последний чин, ставивший его, по табели о рангах, выше многих людей, подобно ему называющихся чиновниками, установленную форму, или форменную пару; он, наконец, случайно свел такое знакомство, которым, быть может, гордились бы многие люди чиновнее и значительнее его. И какие блистательные надежды внушает ему это знакомство! Нет более надобности в производстве конвертов; оно даже уронило бы его во мнении торгового дома и семейства Гельдзаков, если бы Карл Гельдзак, его жена и дочь узнали, что он бедняк, занимающийся столь мелкою промышленностию. Люди всегда судят о других не по качествам, а по средствам их к своему существованию; если средства обширны, хотя бы и не совсем благородны, они с уважением смотрят на человека, умеющего употреблять их в свою пользу; если же они и чисты, неукоризненны, но малы и мелки, человек, существующий ими, трактуется

пустым человеком и его поражает незаслуженное презрение. Итак, нет надобности к дальнейшей поставке конвертов. Будучи человеком, принятым в семействе Гельдзака, можно оставаться для конторы его — чиновником, «наводящим разные справки». Последнее значение хотя не так выгодно, как значение поставщика конвертов, потому что ради уважения Гельдзака, его пер-прокуры и конторщиков должно отказаться от обычной за услуги этого рода *благодарности,* однако гораздо почетнее и представляет в будущности обильное вознаграждение за это пожертвование насущными денежными выгодами: Гельдзак, один из первых негоциантов петербургских, легко может помочь своим влиянием ему, человеку бедному, но бескорыстному, которого фамильярно называет он Петром Ивановичем и любезным другом...

Важным для Петра Ивановича последствием этих размышлений, надежд и предположений была решимость его прекратить выделку конвертов и поставку их в купеческие конторы, в том числе и в контору Гельдзака. С этою выделкою и поставкою прекратились и частные доходы его, с доходами прекратилось посещение Александринского театра, и только тогда, как в первый раз недостало у него двадцати пяти копеек на место в райке, и недостало собственно по причине прекращения им общеполезной индустрии, ему сгрустнулось о прежнем образе жизни и потере прежних способов к ней...

Но не по материальным средствам он считал себя счастливым. Он был убежден, что имел в своем характере все элементы счастия, и, зная, что нельзя оплакивать всех огорчений, которыми отравляется жизнь человеческая, старался переносить спокойно многие нужды и лишения, возникшие от его внезапной, но твердой решимости. Он думал уничтожить в себе сознание горького своего положения зрелищем довольства и красоты, и каждый раз, когда считал нужным сообщить Гельдзаку что-нибудь полезное по его делам, являлся к жене и дочери его засвидетельствовать им почтение, узнать о здоровье их и рассказать новости не светские, которые никогда не доходили до него, а городские или полицейские, большею частью о пожарах, о самоубийствах от любви, о захваченной контрабанде, о разбитии экипажей горячими лошадьми и т. п.

Однажды, войдя в контору со свежею, только что «наведенною» справкою, Петр Иванович застал в ней одного Щеточкина: не было ни *пер-прокуры,* ни кого-либо из конторщиков и писцов.

— Что это вы одни сегодня, Федор Иванович? — спросил он.

— Штейн уехал с хозяином на Биржу, а другие пошли туда же,— отвечал Щеточкин,— только на меня навалили работу... заставили *писать*, как будто я виноват, что имею красивый почерк! Моя обязанность считать, а не писать; но, извольте видеть: господин Штейн и Марья Карловна рассудили, что я один могу написать красиво эти глупые бумаги. Когда-нибудь я отплачу Штейну за честь, которую он оказывает мне, считая меня хорошим писцом. Что он пер-прокура, так и в самом деле штука важная!.. Пустяки— немец! Вместе учились, вместе из школы вышли и сюда поступили. Что же? Я — бухгалтер, а он — пер-прокура! Почему? Потому что он немец, потому

что его сторону держат мадам и демуазель... Ну, хорошо же! Когда-нибудь я воздам прокуре!

Петр Иванович, любопытствуя, что за переписка такая поручена исключительно Штейну, который писал, точнее, переписывал, по канцелярскому уподоблению, как жемчуг низал, подошел к конторке его и увидел перед собою две кипы билетов, писанных на тонкой почтовой бумаге, одна по-немецки, другая по-русски; последняя, как заметил он по почерку, была писана ожесточившимся бухгалтером.

— Почему бы не напечатать эти билеты, если они одного содержания? — заметил Петр Иванович.

— Ну, подите же с пер-прокурою! — воскликнул Щеточкин.— Не только я, но и *сам* был того мнения, чтобы отослать два циркуляра на немецком и русском языке в литографию; но Штейн у нас умнее всех! Весь дом, все головы забрал в свои руки! Он говорит, что нынче неучтиво рассылать печатные билеты, надобно приготовить рукописные,— и что мне за дело — рукописные или печатные. Только то досадно и обидно, что он *присудил* написать сорок билетов на русском языке — мне, своему товарищу, первому в конторе счетчику, бухгалтеру, даже если считать по должности, то не младшему самого пер-прокуры! Ведь у него своя часть, у меня своя — сами посудите. Боже мой! Уже четыре часа! Есть хочется до смерти, а я не написал еще и двадцати билетов! Ну, помни же это, проклятый Штейн!

— Я с удовольствием разделил бы труд ваш; вы знаете, что я переписываю... конечно, не так красиво, как вы, но довольно изрядно. Угодно ли вам? — спросил Петр Иванович, исполненный жалости и участия к голодному бухгалтеру, осужденному пер-прокурою к работе, не относящейся к его обязанности.

— О, сделайте мне это одолжение! — отвечал обрадованный Щеточкин.— Вы имеете прекрасный почерк. Садитесь, вот здесь, насупротив меня. Вот вам циркуляр билета и реестр приглашаемых. Пишите, как есть в циркуляре, только переменяйте имена по реестру...

Записка, которую бухгалтер называл циркуляром, была следующего содержания:

«Торговый дом Братьев Гельдзак и Комп., свидетельствуя глубочайшее почтение Господам Капустину и Комп., имеет честь известить оных господ, что завтра мы празднуем с своими друзьями день рождения любезнейшей супруги нашей, Анны Карловны, и тезоименитство любезнейшей дочери нашей, Марьи Карловны; вследствие чего всепокорнейше просим почтеннейший торговый дом высокостепенных Господ Капустиных и Комп. пожаловать к нам завтра отобедать. (Подписано), Per-procura Франц Вильгельм Штейн».

Написав несколько билетов по этому циркуляру, Петр Иванович обратился к бухгалтеру с вопросом: «Растолкуйте, пожалуйста, что это за звание такое — пер-прокура? Я доселе не мог узнать вполне степень власти или значения его в делах Гельдзака?»

— О! Пер-прокура великое, очень великое дело,— отвечал Щеточкин.— И потому-то мне досадно, что поручили эту важную должность Штейну, не потому, чтобы я точно был хуже его, а потому, что он немец и нравится обеим немкам: той и другой...

— Как, он нравится... *ей*, даже *ей*? Он, приказчик? — воскликнул Петр Иванович с особенным чувством. Сердце его забилось, и кровь взволновалась так сильно, что он не мог писать: рука, дрожа, не выводила ни одной буквы.

— Приказчик? Пер-прокура — приказчик? Так позвольте же вам заметить, что вы вовсе не смыслите ни в коммерции, ни в людях коммерческих. Вы думаете, что для купца его приказчик также ничто, как для директора, например, чиновник для письма в его канцелярии? Нелепость! И опять — какое расстояние между обыкновенным приказчиком, которому равняюсь я, счетоводец, и *пер-прокурою*! Например, этот самый Штейн, он сам по себе человек пустой и притом немец; кредита он ни на грош ни у кого не имеет, разве у своего портного или сапожника; но этот кредит есть у меня. Пойди он по всему Петербургу, ко всем купцам большим, малым, ничтожным и апраксинским* просить *для себя* взаймы сто рублей — отвечаю, эту сумму — ее никто не даст ему! А между тем стоит ему написать на лоскутке бумаги: *«Просим заплатить г. чиновнику Шляпкину, или кому он прикажет, сто тысяч рублей серебром»*, и подписать эту записку: *«Пер-прокура Штейн»*, и вы сегодня же получите от Штиглица сто тысяч рублей серебром! Вот, сударь, что значит *пер-прокура*! Как только Штейн перебил у меня это звание, я потерял на коммерческом поприще все виды, и только жду срока, чтобы получить аттестат и поступить в казенную службу. Слава богу! Чин коллежского регистратора и благородное звание — стоит пер-прокурства у Гельдзака!

Петр Иванович слушал Щеточкина с напряженным вниманием. Тот говорил с живостию, раздражаясь голодом и неприязнью к Штейну; но, кончив последние билеты и переведя дух, он смягчился и сказал: «Впрочем, говорит пословица, все перемелется — мука будет», и другая говорит: «Все к лучшему». Так, может быть, я напрасно погорячился против Штейна: он мне товарищ и не должен бы морить меня голодом и работою, для которой есть писари; но теперь — вы тоже дописываете последний билет? — теперь меня ничто не задерживает. Я могу идти обедать. Так, видите ли, Петр Иванович, что, с другой стороны, для меня может быть «все к лучшему», и я, считаясь в казенной службе для чинов, буду сам пер-прокура, если Штейн женится и вступит в товарищество с домом не по состоянию, которого не имеет, а по родству».

— На ком же он женится?

— То, что я говорю, еще не решено; но, судя по всем вещам, я твердо убежден, что Штейн женится на Марье Карловне. Посмотрите только, какую *пару* сделал ему Оливье* к послезавтрашнему балу! Чудо! Это что-то выше фрака... одежда, которую носил бы сам Аполлон, если б Оливье шил на богов!

Петр Иванович был под влиянием нового мучительного чувства, которого сам не мог истолковать себе; ему страшно и горько было думать, что *она* может быть женою пер-прокуры или кого-нибудь *другого*. Доселе он вовсе не думал об этом, только любил смотреть на нее, слушать ее: смотрел, слушал и был счастлив!..

В ту минуту, когда бухгалтер, благодаря Петра Ивановича

за пособие в работе, положил написанные обоими билеты на стол пер-прокуры для подписи и готов был уйти из конторы, в нее вбежала с веселым беззаботным видом демуазель Мария.

— Г. Штейн! Где же Штейн, г. Щеточкин? — спросила она бухгалтера, не видя в конторе пер-прокуры.

— Штейн, Марья Карловна, свидетельствует вам глубочайшее почтение! Он уехал по делам на Биржу! Не позволите ли на этот раз мне услужить вам?.. Только,— прибавил он боязливо,— не писать пригласительных билетов!

В это время Петр Иванович, бледный, показался из темного угла комнаты и молчаливо поклонился Марье Карловне.

— Здравствуйте, Петр Иванович! Вы так бледны! Что не зайдете к нам? Мы одни: папа скоро будет. Пожалуйте.

И, не ожидая ответа Петра Ивановича, Марья Карловна снова обратилась к Щеточкину:

— Вы слышали, г. Щеточкин, важную новость?

— А!.. новость! Позвольте узнать эту важную новость?

— Папа прибавил мне жалова́нья! Теперь я получаю тридцать рублей серебром в месяц. Я хотела сию минуту потребовать у Штейна свое жалованье по новому окладу. Вы не позавидуете, если я скоро буду получать так же, как и вы, сто рублей серебром? А между тем я не пишу, как вы — я только танцую!.. Кстати, Петр Иванович, вы хорошо танцуете? Вы танцуете мазурку? Знаете: послезавтра у нас бал — весело будет! Пойдемте, Петр Иванович! Вы что-то суровы сегодня. Прошу вас быть любезным... по крайней мере, как были в тот вечер, когда избавили нас от чего-то...

Эти слова были произнесены гармоническим голосом легкомысленного резвого ребенка, хотя и говорят опытные люди, что девушка в осьмнадцать лет вовсе не ребенок. Слова сопровождались громким простодушным смехом, от которого разлился по лицу Марьи Карловны тонкий румянец.

— Пожалуйте, Петр Иванович! Мамахен будет рада видеть вас. Нынче у нас никого нет, зато послезавтра... О! послезавтра будет весело! Прощайте, г. Щеточкин!

Петр Иванович машинально пошел за нею. Он сам не знал, что с ним делалось. Доселе возможность видеть *ее,* говорить с *нею* считал он своим счастием; теперь ее присутствие возбуждало в нем мучительное ощущение. Мысленно проклинал он свое любопытство, доведшее Щеточкина до неожиданного объяснения, уничтожившего его счастие.

Госпожа Гельдзак была занята в своем кабинете с какою-то гостьею. Петр Иванович, избегавший представлений, рекомендаций и следующих за ними учтивостей, остался в гостиной с Марьею Карловной, но и с нею, гнетомый дотоле неизвестною ему тоскою, он не мог завесть сносного разговора. И потому, извиняясь стереотипною обязанностию явиться теперь же к начальнику, торопился уйти...

— Так вы и сегодня не хотите остаться обедать с нами? — спросила с живостию Марья Карловна.

— О, боже мой! — отвечал Петр Иванович с тяжким вздохом.—

Я всегда, поверьте, всегда рад остаться с вами, но посмотрите только...

Петр Иванович в порыве искренности едва не убил себя окончанием этой фразы; он хотел сказать: «Посмотрите только, какой на мне вицмундир! Могу ли я сесть с вами за стол и провести у вас вечер, будучи одет не в партикулярную пару, как следует, а в эту ветхую форму, которая,хотя и содержится в совершенном порядке, хотя и чистится ежедневно, с крайнею осторожностию и совершенным уважением к ее пуговицам и древности, однако все-таки грозит скорым, неизбежно скорым разрушением! А другой, даже такой, как эта, формы нет у меня, и купить ее не на что. Для того чтобы иметь одно счастие быть принятым в вашем доме и видеть вас, я бросил индустрию, доставлявшую мне способы иметь не только новую установленную форму, но и самую недостижимую ни для какого чиновника одной со мною канцелярской степени — партикулярную пару! Теперь, без этой роковой пары, я все-таки должен отказаться от счастия, которому пожертвовал ею. Теперь я понимаю, как горько ошибся, считая себя счастливым... Счастие есть не что иное, как *партикулярная пара,* и партикулярная пара — есть *счастие*! Я был в заблуждении, и почему не продлилось оно на всю жизнь мою!..»

Но он не сказал этих слов, они замерли на устах и в сердце его. Впору спохватившись, он продолжал: «Посмотрите только, какие у меня неприятные служебные обязанности!.. Службою, знаете, как бы она тяжела ни была, нельзя пренебрегать!.. Вот, по этой одной причине я должен снова отказаться от удовольствия обедать с вами!»

Марья Карловна пристально смотрела на бледное лицо и в голубые, сверкающие отчаянием глаза Петра Ивановича и после минутного молчания сказала ему:

— Вы очень странный человек, Петр Иванович! Вы чудак! Вы всегда говорите одну и ту же причину, по которой не можете быть у нас... но причина должна быть другая... Вы, вероятно, влюблены... и торопитесь к *ней.* Что, не правда ли? Я угадала — иначе вы не покраснели бы. Признайтесь же, я угадала?

Петр Иванович точно покраснел, только от радости, что Марья Карловна не знала тайны его.

— Я влюблен!.. В кого же?.. Нет, Марья Карловна! А впрочем, если смею сказать... я точно влюблен и жалею, горько жалею, что разные обстоятельства... служебные... не позволяют мне пользоваться приглашением вашего папеньки и вашим...

— Вот! Угадала же я!.. Но все-таки странно, что вы избегаете общества, людей, с которыми можете встретиться и познакомиться у нас, людей значащих и любезных... Что вы держите себя таким дикобразом... А между тем вы могли бы весело проводить время у нас, танцевать... Ведь вы хорошо танцуете.

— В пансионе меня считали лучшим танцором,— отвечал Петр Иванович, успокоенный насчет проницательности Марьи Карловны.

— Хорошо же, теперь вы не увернетесь от нас; послезавтра, по случаю дня рождения маменьки и моих именин, у нас будет небольшое собрание... Вы будете танцевать со мною мазурку — не правда ли?

Неужели в мои именины, когда я приглашаю вас танцевать, вы опять должны быть и будете у своего начальника, отнимающего у вас все развлечения, убивающего вас, по-видимому, вечною работою? Что же, вы опять не соглашаетесь?

— О, нет! Извините!.. Я надеюсь иметь честь танцевать с вами мазурку... Но, боже мой! Что за служба моя! Я должен торопиться, бежать отсюда, от вас... Мое почтение, Марья Карловна!

Схватив шляпу, Петр Иванович кинулся к дверям, но тут был остановлен громким смехом Марьи Карловны... Он вспомнил, что засвидетельствовал ей свое почтение таким тоном, каким испуганный и провинившийся школьник оправдывается перед учителем. Думая поправить неловкость, он воротился, взял Марью Карловну за руку, слегка пожал ее и, не говоря ни слова, вышел из гостиной, сопровождаемый новым смехом.

Машинально шел Петр Иванович в свою квартиру в Большой Мещанской улице. В первый раз он видел разрушение своих лучших надежд и планов. Желая иметь значение порядочного человека, необходимое для того, чтоб быть принятым в доме Гельдзака, он оставил мелкое, но выгодное занятие, доставлявшее ему средства к скромному существованию. Но «порядочный человек», кроме того, что он не должен заниматься мелкою промышленностию, может явиться в общество других порядочных людей не иначе, как с соблюдением строгих приличий в своей наружности, одетый в *партикулярную пару* — а этой-то пары и не было у него. Доселе он хаживал к Гельдзакам только «по пути из должности, на минутку», засвидетельствовать почтение матери и дочери, и по этой причине им не странно было видеть его в рабочем костюме; но как бы приняли они его, если б он явился в той же форме, по приглашению, на обед или на вечер, и может ли в ком-нибудь до такой степени простираться дерзость и сумасшествие? Несчастный Петр Иванович! А между тем как счастлив был он прежде, когда ограничивал собственные виды и выгоды своим полуплебейским кругом, когда жил по пословице «Всякий сверчок, знай свой шесток». Теперь нельзя уже было возвратить прошлого самодовольствия, нельзя было и продолжать посещений в дом Гельдзака. Не явясь на именины Марьи Карловны, он обнаружит свое истинное значение среди петербургских людей; над ним посмеются, и она посмеется! И опять какая ничтожная причина разрушает его золотые надежды, не допускает его вступить в соперничество с пер-прокурою! Разве влияние и доброжелательство Гельздака не могло доставить ему высшего значения по службе? а чиновник, значащий по службе, по «хорошему месту», не может жениться на дочери купца, значащего по капиталу, по биржевым оборотам? Все это могло быть, если бы он имел партикулярную пару, протанцевал в ней мазурку с Марьей Карловной, сделался бы постоянным гостем на обедах и вечерах Гельдзака, ознакомился с людьми, стоящими в первых рядах общества по званию, или по состоянию, или по уму, хотя, впрочем, в Петербурге ум сам собою редко ставит в эти ряды людей, не обладающих юридическою силою *звания* или материальною силою *состояния*. И ничего этого не может быть, по-

тому что он не имеет какой-нибудь ничтожной партикулярной пары!

Но можно ли, по справедливости, назвать ничтожным черный фрак со всеми к нему принадлежностями, фрак, который, облекая глупца и негодяя, делает его на вид «порядочным человеком», открывает ему вход и доставляет прием всюду, куда не впустят, где не примут с уважением человека умного и благородного, если он одет в кафтан, или старый вицмундир, а не так, как постановил всевластный обычай толпы? Из тысячи человек, принятых всюду, изрекающих общественное мнение, судящих обо всем, не знающих ничего, держащихся в своем кругу с помощью точных визитов, девятьсот девяносто принимаются именно потому, что они всегда одеты «как следует», в черный фрак или иной мундир порядочных людей. Но стоит только снять с них эту оболочку, нарядить их в платье паяца, гаера или ездового лакея, и в них не найдется ни одной нравственной черты, которая показала бы, что они не паяцы, не гаеры, что под лохмотьем их скрываются люди, которых надобно облечь в «партикулярную пару» и ввести в благодатный круг обитателей вторых этажей.

Грезы, то неприятные, то страшные, возмущали его сон. Он спал, как человек, угнетенный невыносимым горем, доведенный до отчаяния, страждущий во сне еще с большим сознанием, нежели на яву, когда под бременем страдания он жесточает духом и только смутно понимает свое положение.

Собираясь на другой день в должность, он получил с городской почты пригласительный билет торгового дома братьев Гельдзак и Комп., подписанный пер-прокурою. С горькою улыбкою прочитал он этот билет и, положив его в карман своего почтенного вицмундира, отправился в канцелярию.

Там не могли узнать его: он был бледен, растрепан, даже в невычищенном вицмундире, что служило товарищам его очевиднейшим доказательством несчастия, а между тем не было до того времени ни одного случая, по поводу которого он назвал бы себя, подобно другим, несчастным, и вдруг — ясно, что этот благоразумный, мудрый Петр Иванович несчастен, как и другие. Он не говорил об этом, но мутные глаза и страдальческий вид его выражали глубочайшее, нестерпимейшее ощущение несчастия.

— Что это с вами, Петр Иванович? Не дай бог!.. С кем не случается несчастия!.. Но если рассудить, то несчастие такой же вздор, как и счастие! — сказал ему приятель и ближайший начальник, взглянув на прочих пищущих людей, как бы ожидая от них признания высокой утешительности своего довода...

— Денег нет, Андрей Тихонович!— отвечал Петр Иванович.— Сделайте милость, дайте мне денег, иначе я пропаду!

— Сколько вам нужно денег?

— По крайней мере, тридцать рублей серебром!

— О! Что это вы, Петр Иванович, сами рассудите! Ведь на тридцать рублей серебром, легко сказать, можно сделать партикулярную пару!

— Мне и нужна партикулярная пара!

— Вам? Да к чему она вам? Вы человек... как бы это сказать оп-

ределительнее... бог знает, какой... живете скромно, одиноко, знакомства такого не имеете... После этого в самом деле, на кой черт вам партикулярная пара?

— Вот несчастие!

— Неужели с вами точно случилось несчастие! Это просто странность!.. Что же за причина такая вашему несчастию?

— Денег нет! Ради бога, дайте мне денег, на каких вам угодно условиях, только дайте! Вижу, какое горе тому, у кого нет денег!

Андрей Тихонович, помолчав с полминуты, рассудил, что нельзя просто отвязаться от Петра Ивановича, и потому, сделав декламаторский жест, сказал во всеуслышание: *«Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были!*»*

Эти слова произвели чудесный эффект во всей канцелярии. Товарищи Андрея Тихоновича сказали ему: «Ну, брат, ты, просто сказать, утешитель! Ты хоть мертвого развеселишь!» Помощники их, не отваживавшиеся сказать этого, подумали: «Вот, видно, что учился в университете и хорошее воспитание получил! Очень умный человек, хотя и бесчувственный, как скотина!»

Но Петра Ивановича нисколько не утешало остроумие его начальника. Это был единственный денежный человек, на помощь которого он имел кое-какую надежду, и когда эта надежда была разрушена равнодушием, вообще свойственным людям, не бывавшим под деспотическим гнетом нужды, он предался глубокому, даже малодушному отчаянию.

«Где бы достать партикулярную пару?— думал он во весь вечер этого дня.— Ее можно купить в *одном* месте даже за двадцать рублей серебром; но где, у кого достать двадцать рублей серебром? Нынче все люди лицемеры: пока не просишь у них денег в заём, они хороши с тобою, ласкают тебя, предлагают тебе свою дружбу... а вдруг случись несчастие, когда понадобится партикулярная пара, никто гроша не даст!»

* * *

Десять часов вечера. Небольшой дом в Морской был ярко освещен. В цельных стеклах окон его мелькали черные партикулярные пары и белые платья, головы умные и пустые, и головки вообще ветреные. По улице перед окном стояло множество карет и колясок; но останавливались у подъезда и скромные извозчики: те, высадив своего седока, торопливо уезжали «к черту от жандармов». Толпа народа русского, чухонского и немецкого, мастеровых, кухарок и чиновников стояла насупротив этого дома, наблюдала действие, в нем происходившее, и бросала на ветер и в назидание проходящим окаменелые истины; очень хорошо быть богатым человеком; богатому все возможно, даже то, что и присниться не может бедному человеку! и проч.

«Богатый человек может иметь каждый день новую партикулярную пару и новое счастие. Он может менять свое счастие по последней модной картинке!»— сказал Петр Иванович таким голосом,

в котором выражались странная торжественность и глубокое убеждение. Ответом на это изречение был громкий смех толпы.

Вдруг раздались глухие звуки бальной музыки. Петр Иванович кинулся на другую сторону улицы к самому дому... Играли мазурку... Он поглядел вверх, в окно второго этажа, и ему показалось, будто *она* ждет его тут же у окна, будто она сердится на него, что он опять не сдержал обещания; она сама пригласила его танцевать с нею мазурку, и вот мазурка началась, а он все еще не явился. После этого стоит ли любить, хотя уважать, даже хотя не пренебрегать такого неучтивца, каков он, Петр Иванович?

Замелькали мужские и женские силуэты. *Она* тоже танцует. Может быть, она и не сердится на него! Может быть, и не вспомнила о нем! Но с кем же иным она может танцевать, если не с ним? А *перпрокура*? А бухгалтер Щеточкин? А множество других людей, которые слывут почтенными, хорошими и порядочными людьми, приглашены на бал и танцуют только потому, что они счастливцы, имеющие партикулярную пару?

Очень легко и весело стало на душе Петра Ивановича. Насвистывая мазурку, танцевальным шагом шел он к Синему мосту. Тут он остановился у перил и оглянулся: длинные тени ложились от высоких домов. В тех домах, думал он, живут петербургские люди, несчастливцы, подобные ему; там обитает, как и в его бедной каморке, вечное горе, не утолимое мимолетною радостию, которую судьба дарует страдальцу для того, чтобы живее, мучительнее чувствовал он отсутствие *счастия:* где же оно?

Петр Иванович взглянул на небо, и оно сияло вечною, мирною красотою, миллионами звезд, которых мерцание служит как бы маяком для измученных душ, отбывающих на тот свет. Он опустил взор к Мойке, и она, в другую пору грязная, мутная, как жизнь обитателей Петербургских вершин, теперь отражала в себе те же звезды, то же небо... то же счастие!

На небе все прекрасно...
На небе горя нет!—

подумал Петр Иванович и, твердо решившись окончить злополучную жизнь свою в мутных струях Мойки, опрометью побежал к плоту.

В то же мгновение немецкий шарманщик, возвращавшийся с семьей из долгого музыкального странствования по петербургским улицам на свой убогий чердак, в Глухом переулке, заиграл, для собственного удовольствия, любимую обывателями Петербургских вершин песню Торопки: «Уж как веет ветерок!» Его жена, высокая и тощая немка, ведшая на шнурке десяток голодных собачонок, драпированных ветхими лоскутьями красного сукна, запела эту песню пронзительным голосом. За ними безмолвно шли четверо оборванных мальчиков, каждый с двумя учеными обезьянами на плечах.

Извозчики, стоявшие у моста, и негоцианты, торговавшие там же сайками и спичками, не имевшие в этот день ни малейшего способа к приятному препровождению времени в «съестном заведении», раз-

влеклись этой сценой, забыли свое горе и дружно принялись смеяться над бедными артистами.

Петр Иванович, так философически решившийся отправиться из сего мира, ночным путем через Мойку, в мир лучший, внезапно потерял свою решимость, когда слуха его коснулись резвый «ветерок» и смех извозчиков. Бросив взгляд на живую картину нищеты, переносимой терпеливо, по крайней мере, без неистовых порывов отчаяния, он был отвлечен от собственного горя к филантропическому сочувствию толпе музыкантов, олицетворявших пословицу «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Потом, возвращаясь к самому себе, он вспомнил, что, мучимый заботой о партикулярной паре, он не обедал два дня сряду, и что по этой причине не худо бы зайти *куда-нибудь*; а когда, произведя в карманах тщательный розыск, он нашел в одном из них трехрублевый и четыре копейки, забыл и партикулярную пару, и бал, и демуазель Гельдзак, и мазурку. В радостном предчувствии ужина он снова стал самодоволен и счастлив и, торопливо идя по Вознесенскому проспекту в трактир, думал: «Как мало нужно человеку для счастия!»

КОМИЧЕСКИЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬМАНАХ

„ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ“,

СОСТАВЛЕННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМ



ВОДЕВИЛИСТ

НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ





I

ВОДЕВИЛИСТ

Не всякого, кто написал или пишет водевили, можно назвать водевилистом. Есть водевилисты, которые ничего не пишут, хоть и говорят за десятерых. Под именем водевилиста должно разуметь существо особенного рода, появившееся в обществе с недавнего времени и распложающееся в нем как саранча.— Что же это за существо?

Если вы человек наблюдательный, вы его тотчас узнаете, входя в общество, на бал, в театр, на гулянье. Он всегда молод и юн; ему никогда не более 22-х лет, хотя бы зубы его и держались на проволоке, хотя бы голову его и покрывал парик. Нужды нет: этот счастливый человек не чувствует полета времени. Лицо его также молодо, но довольно степенно и, главное — серьезно: как подобает мужу, а не мальчику. Если он говорит с вами в первый раз, в глазах его вы непременно читаете что-то непростое, что-то наполеоновское: так они смотрят с достоинством. В голосе спокойствие; в тоне уверенность опытного и сведущего человека. Главное его достоинство — всеобъемлемость, универсальность. О чем бы вы ни говорили, спросите: он не заикнется! Он даст вам короткий ответ, с совершенным спокойствием и уверенностью в его высокой истине, хотя бы он был нелеп, как дважды два пять. Не думайте возражать ему! Благоразумный, он никогда не перевершает своих приговоров и имеет похвальное обыкновение — свое говорить, а чужого не слушать. Все, что он ни скажет, скажет именно для того, чтобы вы слышали, *как* он говорит, а не *что* говорит; и потому-то везде пробивается в нем способность той двусмысленности, для него всегда такой острой, в которой часто нет никакого смысла! Но не думайте, чтоб он с первого же раза стал набиваться вам своими остротами, своими редкими талантами: никогда! Он очень хорошо понимает, что это не в тоне , что это не водится, что истинные заслуги молчат, что гений сам о себе говорить не должен. Поэтому водевилист всегда скромен, хоть по наружности; никогда не говорит вам прямо о себе, и только накануне представления нового своего водевиля он делается несносным надоедалой. Он забывает всякие приличия, всякую скромность, развозит афиши и билеты, просит, умоляет, то притворной шуткой, то серьезным намеком на достоинства новой пиесы, и так или иначе, а заставит вас взять хоть один билет, хоть в раек...

Если же ваше знакомство случается не в эту торжественную эпоху его славы, будьте уверены, что этот искусный человек тем или другим путем, а уж непременно на другой же день заставит вас узнать все его заслуги: в такой-то столице (столице — непременно: водевилисты не терпят провинции) давали его такой-то водевиль и автора

вызывали; в таком-то журнале напечатан отрывок из его драмы (водевилисты пишут все, даже трагедии); там-то помещена статейка, и преострая, об игре такого-то актера, и вот по рукам ходят едкие куплеты на известное лицо... Если вы при встрече намекнете ему об этом, он с небрежностию скажет: да, шалил! и тотчас переменит разговор, хотя через несколько времени опять искусно наведет вас на свои заслуги. О, в практике водевилисты такие искусники, такие хитрецы! Они умеют заискать везде, быть везде любимыми и принятыми с улыбкой. Да и как иначе? Водевилист лучший компаньон в обществе. Он так умеет услужать, насмешить! Затейте бал, танцы — вам больше всего нужны танцоры?— водевилист танцует свободно, легко, грациозно; и я клянусь честию, он там и там уж успел привлечь на себя кое-какие глазки; уж ему удалось кое-где пожать ручку, уж он и влюблен, в двух или трех, и сам же говорит об этом, и так мило!.. Вам нужен партнер к висту: а водевилист на что? Он играет превосходно, да в один ли вист! Во что хотите! Здесь он часто художник!.. Затеете вы театр, музыкальный вечер, пение — он актер, какого свет не производил; и трагик, и комик, и пастушок; певец и музыкант! Рассказать ли смешной анекдот, представить ли в карикатуре общего знакомца: все же он, везде он! В так называемой любезности он превзошел самого дьявола! Лицо его, показавшееся вам в первый раз серьезным, лощеным и гладким, как паркетный пол, теперь становится как на пружинах! В одну минуту он представит вам из себя и бюст Наполеона, и харю пьяного лакея; будет петь, как лучший певец, и щебетать, как сорока; покажет лучшее антраша Тальони*, и вдруг изменится в неповоротливого Стецка (из малор. оперы). И все это на первый раз довольно забавно; во всем есть какое-то мастерство; все выпукло и гладко; но присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что все это как механика, все лишено жизни и души. Впрочем, никто не имеет права требовать от водевилиста души. У него нет души, от самого рождения. Вместо души у него в теле только пар, который и делает его таким легким и подвижным. Вы, может быть, подумаете, что это сказано резко и водевилист в праве оскорбиться. Ошибаетесь. Нет существа снисходительнее, мирнее и, как я уже сказал, любезнее водевилиста. Он никогда ничем серьезно не оскорбится, и если случится, что вы увидите на лице его выражение гнева, так это только в шутку, для вида, точно так, как бывает в водевилях, где все ссоры и дуэли кончаются полюбовно, стаканом шампанского, с приправою куплетца или каламбура. О, куплет и каламбур — самые чувствительные струны водевилиста; его коньки.

Попробуйте назвать водевилиста в лицо самым площадным именем, толкните его, что есть мочи; он оглянется и, если свидетелей нет — ничего: он отпустит вам каламбур, и дело с концом. Но если дело при свидетелях: беда! Лицо его, с удивительной быстротою, вызовет бурю, уста прогремят угрозы, и вы погибли! Завтра на вас написаны куплеты; они ходят по рукам, переписываются, читаются, поются; их заучивают пятилетним детям; их передают уличным мальчишкам! А если водевилист еще и *драматический писатель* — кончено! вы помещены в его первой пьесе, под вымышленным именем... Вот

вам наказание — не правда ли, жестокое? Вот вам мщение, да какое!.. благородное мщение, мщение нынешнего образованного века, а не какое-нибудь варварское, вандальское! И это потому, что водевилисты суть лучшие поклонники и защитники образования и гонители невежества. Так, по крайней мере, думают они сами о себе. О, на этот раз они люди со вкусом и с разборчивостью. Они с аптекарскою точностию и честностью умеют взвешивать каждое достоинство свое, и отмечают его на полях своего журнала, con amore[1], красными чернилами. Они не придут, подобно Молиерову мещанину*, в восторг, если вы скажете им, что они говорят *прозой;* напротив, они будут недовольны и удивлены, что вы этого давно не заметили и не поставили им в талант и достоинство. Каждое слово свое они готовы записывать, чтобы оставить его в поучение грядущим векам, и никакая кокетка не смотрится в зеркало прилежнее водевилиста. Да это и естественно. Водевилисты читают *так много, много* в своей физиономии, и ничто не приводит их в такое умиление, как созерцание ее! Вот отчего, по-моему, так дорога ныне портретная живопись, и так редки «вывесеченные» *живописцы*...

Но как ни мудры и возвышенны гг. водевилисты, а и они делают часто такие вещи, которых нет возможности понять или определить. Конечно, это происходит или оттого, что errare humanum est[2], или что гении всегда недоступны пониманию современников. Однако же для факта мы представим образцы этих темных сторон водевилиста. Как бы вы хорошо ни постигали его, как бы долго ни изучали, будьте уверены, что рано или поздно, и там, где вы меньше всего этого ожидаете, водевилист вдруг отольет такую штуку, которая поневоле поставит вас в тупик и разрушит все ваши о нем построения! Например, если вы привыкли слышать из уст его довольно складные и всегда остротой приправленные вещи, то вдруг придется вам из тех же уст внимать такому вздору, такой чистейшей галиматье, что вы, по выражению Гоголя, подумаете, будто то говорит не сам водевилист, а кто-нибудь другой, за ним спрятавшийся. Вы, например, знаете, что водевилист влюблен в такую-то идеальную женщину: и что ж? не успели вы задуматься о его глубокой, волканической страсти, о которой он хоть и не говорит, но которая видна на лице его как нельзя лучше,— как узнаете, что он влюблен еще в трех, а вдобавок на четвертой женится... Вам довелось играть с водевилистом; вы привыкли думать, что он всегда играет на чистые, потому что расплачивается довольно аккуратно; и что же?— нечаянно вы узнаете, что в самой жаркой игре он играл без гроша; и пр. Здесь, я полагаю, нужно искать разрешения и тем беспрерывным несообразностям, какие мы видим в большей части творений наших водевилистов. Творец проявляет себя в творении — известное дело: чем же не хороши наши водевили? Не сущие ли это портреты самих авторов? Водевильные лица так уж устроены, что, рассматривая их все вместе и каждое порознь, ни за что на свете, никак не определите значение их! Не только нет характеров, нет

---

[1] С любовью (*лат.*). — *Ред.*
[2] Человеку свойственно ошибаться (*лат.*). — *Ред.*

никакого человеческого смысла, нет человеческого лица, простой формы. Это какие-то новые существа нового мира, нелепого и разве только потому нам не чуждого, что, к несчастию, мы беспрерывно видим их на сцене и живем с великими творцами их. Вот уж подлинно:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?*

Впрочем, надо и то сказать, что ведь, по выражению какого-то ритора, гении творят новые миры; а кто больше гений, как не водевилист? Спросите об этом у него. Вот почему в их гениальных водевилях встречаются вещи, которых вы одну с другой никак не соедините, будь вы доктор философии или химии. Например, вы видите молодого человека, страстно обожающего такую-то прекрасную деву, видите престарелого отца, имеющего дочь, им нежно любимую: хорошо. Что ж? Этот же самый молодой человек, страстный любовник, этот нежный, чадолюбивый отец отпускает на счет дочери и любовницы такие площадные вещи, такие вещи, которых мы не скажем презреннейшей из женщин. Вы думаете, это разрушает *такой-то* характер, это противоречит чистейшей связи между влюбленными, это, наконец, противно законам природы и связям родства?— нимало! Разве вы забыли, что водевилист влепил здесь, по поводу какого-нибудь слова, приличную остроту — и только!— в водевилях богатые, образованные и красивые девушки добровольно выходят замуж за отъявленных негодяев, нравственных и физических уродов, которых достоинство они знают лучше нас! В водевилях мужья никогда не обижаются за поругание своих прав, а если и делают это, так для шутки; жены никогда не узнают своих мужей; отцы весело, добродушно, а чаще сухо и вяло развращают своих детей; дяди (самый глупый народ) все прощают своим племянникам; в водевилях, наконец, царствует такой же хаос и вавилонское столпотворение, как в головах их производителей! Возьмите любое водевильное лицо, поставьте его вниз головою, заставьте говорить ногами: лицо не переменится, только будет эффектнее, и для эффекта водевилисты готовы лезть в огонь и в воду! Они и лезут, да жаль, не тонут, не горят. Они сотворены из такого материала, которого не переработает никакой огонь, не поглотит никакая вода; и потому они бессмертны! Смерть берет только тело; а водевилист, в сущности, ни тело, ни дух, а пар, испарение... Его постоянное жилище земля, в полном значении слова, земля — несчастнейшая из всех планет мира!

В заключение прошу тех, кто не найдет в моем очерке ни последовательности, ни полноты, вспомнить, что это совершенно зависит от предмета. Начинайте его рассматривать с конца или с середины, или ни с конца, ни с начала, где попало, все равно! Нигде вы не найдете ничего определительного. Все слито, перепутано, перемешано.

Впрочем, некоторые дополнительные черты этого лица вы найдете в следующем очерке.

II

НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ

Musa et Apollo[1] и ты, о Феб, огневлас! Все трое, молю, подайте мне силы! Пою, пою...

Но прежде всего, где мое лучшее перо? Где лучшие чернила? Увы! У нас нет хороших чернил; у нас все пишут квасом! Дайте ж мне краски и кисть. Кисть широкую, размашистую; краски яркие! Их нужно две: мрачно-темную и пламенно-красную, и я нарисую портрет великого мужа! Непризнанный поэт... Народ, на колени! Непризнанный поэт... Да, он весь состоит из пламени и мрака: буря и пожар! Это волкан, которого жерло в отверзии завалено громадой облаков: пламени некуда деться, и оно пробивается в щель. Вот почему у всякого непризнанного поэта — на лбу вечные тучи, вечная буря, а на носу вечный пожар!..

Существо прошедшего века, историческая достопамятность, непризнанный поэт! Он вечный страдалец в нашем меркантильном обществе! Страдание назначено ему с самой колыбели! Как известное лицо, которого в детстве уронила мамка, с тех пор все отдает водкой*: так и поэт наш еще на своих крестинах гремел уже людям проклятия! Тогда еще его не признали, и с тех пор он в мире, как в пустыне. Мало: все его гонят, все клянут; главное, все завидуют, и потому не признают его поэтической души, и вот он в вечной вражде с людьми! Да как же иначе? На то он поэт! И какой же в самом деле порядочный поэт не в ссоре с веком, с обществом, с людьми? И если не так, то что тогда ему петь? над чем разыгрываться фантазии? Давно сказано, что страдание есть пламя, в котором очищается душа поэта от всех грязных житейских пятен. Но позвольте, я боюсь, чтоб моя восторженность при созерцании этого великого предмета не испортила всего дела. Целое его так охватывает мое воображение, что я иначе не могу приступить к частностям, как только чрез сравнение. «Неужели с водевилистом?»— скажете вы. Что делать! Я знаю, что это крайне обидно для поэта, но переменить нечем. «Что есть меж ними общего?» Не многое, но есть: во-первых, внутренний хаос; во-вторых, отсутствие действительности и жизни; третье — великое понятие, высокое мнение о себе; в-четвертых... Но довольно пока. Впрочем, эти общие качества, сходствуя по роду, отличаются у них по видам. Если у водевилиста в голове хаос довольно мелкий и пошлый, у поэта — крупный и великолепный. У водевилиста всегда в голове представления довольно мирные, повседневные: холостая пирушка, ссора двух соседей, обманутый муж, смешное недоразумение, и все это на улице, дома, в комнате, все это с благополучным окончанием; у поэта — все резня! Кровь и месть! Отчаянная катастрофа, сумасшедший от любви, утопленница, гром и океан и разрушение вселенной! Водевилист думает только о невинных куплетцах, о какой-нибудь трудной рифме, к слову, напр., лошадь; поэт никогда такими пустяками не занимается! У него не в рифме дело, а в целом! Идея! Водевилист

[1] *Муза и Аполлон (фр.). — Ред.*

совершенно спокоен насчет окончания своей пьесы: за руки — и куплетец к зрителям; поэту здесь-то и мучение! Как лучше: утопить, задушить, заколоть, отравить, зарезать, повесить, сжечь или уморить голодом своих героев? Зато водевилист иногда за острым словцом, за проклятою рифмою ходит дня два, три, целую неделю; перемарает дести четыре; у поэта этого никогда не случается! Рифмы его не смутят! Он пишет без перемарок, набело, и это-то служит ему лучшим доказательством, что он великий гений. Водевилист хоть и любит славу, хоть и сладко облизывается, когда в райке смеются его остротам; но иногда за неимением своего он готов похвалить и чужое, даже, из скромности, признает кого-нибудь и выше себя... Поэт! Гм! Подите вы с ним! Нет человека, которого бы он поставил в уровень с самим собой! Пожалуй, когда вы станете перед ним восхищаться Пушкиным, Байроном, Гете, Шекспиром, он тоже будет прихваливать их, хоть и холодно; но зато, загляните хорошенько в его душу: что там он думает! Смотрите и не удивляйтесь: это истина. «Пушкин! кричат, Пушкин! А что такое это в самом деле? Пушкин оттого только и велик, что начал писать прежде меня! Доказательство: Пушкин в своих стихах хоть мало, а все-таки делал перемарки, а я ни одной. Да притом у Пушкина есть иногда какофония... Байрон! Байрон! Пожалуй, он путешествовал, был в Греции, видел море — вот и все. Впрочем, что написал Байрон, то еще лучше и еще глаже могу написать и я; и все скажут: украл у Байрона, когда это все мое собственное!.. Шекспир их хваленый!.. Ге, ге, ге... выдумали: велик! велик! А у Шекспира часто и смысла нет!..» Словом, наш поэт есть такой уж какой-то, которого еще и мир не создавал: но вся беда — не признан веком! Нет, водевилист на этот раз гораздо скромнее. Он думает: «Что ж? Ну, так, Шекспир велик; не спорю; а, впрочем, чем же дурна и моя сцена из новой драмы? Каков там монолог какого-нибудь художника? Игрушка!.. А водевиль? Ведь в Питере восхищались...» Поэт Пушкина, Шиллера, Гете, Байрона и проч. считает личными своими врагами-соперниками; остальных поэтов он не удостаивает взглядом, и беда новому светилу, которое загорится на горизонте отечественной литературы! Он в каждой букве его стиха отыщет нелепицу и недостаток грамматического смысла; водевилист, напротив: Пушкин, Шиллер, etc[1] — его друзья и приятели; он с ними запанибрата, их сверстник и ровесник. Поэт не может вынесть ни одного стиха, кем бы то ни было помещенного в наших периодических изданиях; водевилист, напротив, отыскивает иногда в «Биб. д. чт»* и еще кое-где очень хорошенькие стишки и не стыдится восхищаться ими открыто. Переходя от литературы к практической жизни, находим одно и то же: у поэта все враги! Нет в мире человека, который бы, по словам его, не сделал или не хотел сделать ему зло: все гонят, все преследуют! Зависть, зависть, как я сказал, вот главный источник их вражды! У водевилиста, напротив, все приятели и друзья. Если поэт с вами поссорился: кончено! Он говорит: «Ссора моя вековая, вражда непримиримая!» Но не страшитесь этой мрачной грозы! Стоит только где-нибудь сказать: «Вот истинный, великий поэт»,— тучи тотчас рассе-

---

[1] Etc — et caetera (*лат.*) — и прочее.— *Ред*

ются и поэт самодовольно произнесет: «Да, такой-то нехороший человек, но я его уважаю за его ум». Так точно и водевилист, который, впрочем, гораздо умереннее в своих ссорах, все вам простит, если вы скажете: «Впрочем — он очень умный человек, и это видно по лицу».

Если во внутренней организации этих двух приятелей наших нашли мы некоторые сходства, то, рассматривая их внешность, найдем большие противоположности. Начнем с физиономии. Поэт, как уже известно, непременно должен смотреть бурею; лицо его всегда пасмурно, мрачно; следы страстей, самых пламенных, утрат, самых горестных, видны на нем. При этом во всем непременно должно быть нечто *рыдающее, вопиющее,* чтобы всякий видел, что наш поэт непростой, что он жил, страдал, дрался в кровопролитной битве с железным роком и потому носит на себе все следы этой несчастной битвы! Его юность была не нашей чета! Он *кутил* во всю мочь, но кутил не из простого, низкого желания только покутить: нет, чтобы этим заглушить боль глубоких ран, нанесенных ему людьми — крокодилами, и в особенности женщинами — сиренами! Женщина! Любовь! Вот первоначальные темы его песен, его восторгов и проклятий! Известно, поэт — он любил, как в наше время уже не любят*, глубоко, страстно, пламенно, мрачно, и она не поняла! Ад и проклятие! (Вино для смягчения злосчастий.) Итак, вы видите, какими путями поэт выслужил, выстрадал себе красный нос, впалые глаза, глубокие морщины, растрепанные, развеянные по ветру волоса! Ну, не истинный ли он поэт? И можно ли сравнить с ним какого-нибудь водевилиста?.. Да, с последним, правда, ничего подобного не может случиться. У него и лицо всегда молодо, гладко, спокойно, хоть это и не простое спокойствие, а *творческое*! Водевилист тоже кутит в своей вечной юности, но он кутит по простому и прямому влечению; его нельзя ничем споить, и нос его так устроен, что никогда не делается красным! Притом водевилист влюбляется в шестерых разом и ничуть не страдает от потерь и измен: он тотчас найдет новых утешительниц, тогда как, по уверению поэта,— любить можно только однажды в жизни, одну, заветно и вечно. Водевилист всегда приглажен, чисто и ловко одет, ходит стройно, смотрит браво — у поэта все наоборот! Вечно растрепан, одет в какой-то хаос, ходит согнувшись, смотрит кисло! Водевилист умеет всем воспользоваться: нет у него жилета, он наглухо застегивает сюртук или фрак, и говорит: это последняя мода; все верят и восхищаются. Поэт не любит щеголять; но иногда вздумается ему сшить редкий какой-нибудь жилет или фрак: и что же?— все это пестро и красно; надето странно, смешно; сшито косо, мешком. Заметьте ему об этом, он с презрением скажет: «Я не поклонник пошлых мод и модников не подражатель». На бале, напр., водевилист танцует себе что есть мочи, с жаром, с упоением; поэт если удостоит своим посещением это жалкое сборище людей, то останавливается где-нибудь на возвышении, складывает крестом руки и смотрит на танцующих, с едкой насмешкой бичуя их своими эпиграммами, которых, впрочем, никто не слышит! Если где затеется маскарад: водевилист в восторге! Тут-то случай показать свои дарования! Из тысячи водевилей выбирает он самое замысловатое лицо и является вдруг

каким-нибудь студентом, артистом, хористом, оперистом, с прибавлением 30-ти других истов, до сапогочиста включительно. Поэт, напротив, выбирает самое злейшее лицо самой злейшей трагедии и является в общество — о, ужас! ужас! ужас! палачом или разбойником... Итак, один из них — смеша, казнит; другой, казня, смешит! Итог один... Вот люди! Есть ли им подобные?

Эти небольшие аналогичные сходства и различия двух наших гениев явно открывают нам их внутреннюю бедность, грубость, пошлость, самолюбие, восходящее до низости, тщеславие до глупости! Скажите им обоим какую угодно гиперболическую лесть, назовите их каким угодно славным именем, хоть явно в насмешку, они, право, оба примут это за чистую монету, только поэт будет так прост, что тотчас и покажет это, а водевилист скроет. На этом силке может ловить их всякий. И знаете, кто больше всего и лучше пользуется такой оказией? Пожилые женщины, которым давно уж и очень крепко хочется замуж! Они расхваливают их необыкновенные дарования и показывают, что очарованы ими самими. Этого довольно. Наши герои тотчас делаются мужьями, это ведь так легко, и начинают хвалить встречному и поперечному редчайшие достоинства своих жен. Музы никогда не были ни умнее, ни милее, ни любезнее их жен. Мужья в восторге! Поэт говорит, что он нашел, наконец, женщину, которая постигла его, и вследствие этого он уже примиряется с судьбою (которая, сказать правду, никогда и не думала удостоить его своею враждой); водевилист не говорит таких вздоров, а просто: «Моя жена — объеденье! Славно поет и играет: чудная могла бы быть актриса! Да мы с ней разыгрываем театр дома». (Тут непременно острота.) Оба гения наживают детей целую кучу и воспитывают их по-своему; но поэт недоволен плодородностью жены — большая обуза, большие издержки! Водевилист об этом не заботится. Ему все равно: чем больше, тем лучше: можно на домашнем спектакле своей семьей разыгрывать даже трагедии... Поэт стареет, делается скуп, жаден, начинает барышничать всем, бросает, наконец, наблагодарную поэзию, которая столько сделала ему зла, торжественно проклинает ее и впадает в мир самой гнусной прозы; водевилист до конца один и тот же; он никогда не стареет; поет, говорит и сочиняет куплеты и водевили; он не скуп, не жаден, но и не щедр; и это не по благоразумию, а так, по беспечности. Несмотря на то что поэт под конец жизни, по-видимому, прощается с поэзией,— мысль, что он именно великий, но непризнанный поэт, не покидает его до могилы. Он уверен, что потомство воздвигнет на ней памятник с надписью: «Великий поэт — жил, как писал». Водевилист доволен уверенностью, что по нем никто не напишет лучшего водевиля...

Заключим: оба эти лица жалки, пусты, никогда не могут они взглянуть прямо в свою сущность и никогда не думают об этом. А между тем они проживают много лет в свете, делают много зла, хоть потому, что расплож ают себе подобных. Одна только смерть, прикасаясь к ним своею величественною рукою, заставляет нас верить, что и они были люди... Но ни за что в мире не захотел бы я взглянуть на мертвые лица моих героев.

*— инъ.**

ИЗ ЖУРНАЛА

„ФИНСКИЙ ВЕСТНИК“, 1845–1847 гг.



ДЕНЩИК

ЛУКА ЛУКИЧ

ПРИКАЗЧИК

СВАХА

ГОСТИНОДВОРЫ

ЯРОСЛАВЦЫ

БОБРОВЫЙ ВОРОТНИК





ДЕНЩИК

(Физиологический очерк)

Говорят, в каждом человеке есть сходство с тем или другим животным — по наружности, по приемам, собственно по лицу или даже по свойствам и качествам. Единственный в своем роде Гранвиль* неподражаемо умел схватывать сходство и отношения эти и переносить их карандашом на бумагу. Если бы у меня многотрудное уменье или искусство не отставало от вольного в разгуле и дешевого воображения, то я бы, кажется, мастерски нарисовал денщика Якова Торцеголового в виде небывалого, невиданного чудовища, составленного из пяти животных; одного недостаточно, потому что достоинства Якова слишком разнообразны. *Верблюд*, сутулый, неповоротливый, молчаливый — а подчас несносно крикливый — и притом безответный работник до последнего издыхания; *волк*, с неуклюжею, но иногда смешною хитростью и жадностью своею, дерзкий и неутомимый во время голода; *пес*, полазчивый, верный, который лает на все, что только увидит вне конуры своей; *хомяк*, домовитый хозяин, с запасными сумками за скулами, который полагает, по-видимому, будто весь мир создан для того только, чтобы было откуда таскать запас и припас в свою норку — и наконец: *бобр-строитель*, который на все мастер, все умеет сделать, что нужно в доме, и хоть из грязи, да слепит хатку, и живет по-своему хорошо. Вот эти пять животных — вот какой сложный зверь вышел бы у меня из Якова Торцеголового,— а чей хвост, чья голова, чьи руки и ноги у него, разбирайте сами!

Он попал в денщики по малому росту и сутулости, был сверх того левша, любил на ходу глядеть в землю, махать руками, переваливаться и распускать около себя одежду повольнее. Из карманов шаровар его и казачьего кафтанчика всегда почти висели концы ниток и бечевок; а на дне кармана лежали пробки, мелок, рожок или тавлинка*, горсть гороха и другие подручные принадлежности; а когда полк стоял в Южной России, то во всех карманах у Якова, не исключая и жилеточных, были рассыпаны для обиходного лакомства арбузные семечки.

Иногда какое-нибудь стеклышко, отбитая от чашки ручка, обломок сургуча или найденная где-нибудь петелька, гвоздь, крючок, попав в карман Якова, держались там очень долго, по нескольку месяцев; шарит, бывало, по карманам за чем-нибудь, попадется в руки мелок, пробка или гвоздь — он поглядит на него, иногда еще попробует на зуб, не серебро ли, и положит опять на место. Перебирая от нечего делать редкости эти, Яков припоминал, где и как они найдены или достались ему, по какому случаю попали в карман, и тешился таким образом живыми воспоминаниями своих похождений. В этом скопидомстве вы, конечно, узнаéте хомяка. Как тесного, так и короткого платья Яков не мог терпеть и говаривал, что он был этим

испуган в малолетстве. Когда барин хотел было ему однажды сшить из старого мундира куртку, то Яков разревелся, как верблюд, уверяя в отчаянии, что после этого нельзя больше жить на свете. Он любил, чтобы все около него было и просторно и прикрыто, и потому предпочитал всякой иной одежде темно-зеленый казакин* со сборками; но только не в обтяжку. Один из карманов или лацкан этого облачения были обыкновенно надорваны, обшлага с исподу вытерты *на нет*, до самой кисти, на лацкане же, на ребро в шов, затыкались торчмя, про всякий случай, булавки, а с боку претолстая игла, укутанная ниткой, в виде цифры 8. Жилетка обыкновенно пользовалась преимуществом красной выпушки; фуражка с козырьком, обносок барина, и сапоги своей работы довершали наряд.

На сапоги свои Яков любил иногда глядеть безотчетно и засматривался на них по целым часам, особенно когда они были недавно вычинены им и вымазаны салом. Тогда Яков охорашивался, сидя где-нибудь в углу, повертывал пред собою ногу и старался заглянуть под подошву, чтобы полюбоваться новыми подметками. Он мурлыкал в такое время про себя «растоскуйся ты, моя голубушка!» или насвистывал сквозь зубы другую заунывную песню.

Яков служивал на веку своем у всяких господ, как уверял он, и служил верой и правдой. Первый барин его был немножко беспокойного нрава, любил повеселиться,— но был очень скучен навеселе и крутенек. Угодить на него было мудрено, но Торцеголовый, благодаря бога, ладил и с ним; плакался Яков на него, это правда, но плакался, как жалуются, по привычке, на весь божий свет; а не то чтобы заправду, как жалуются на беду неминучую, известную, общую: на господде, известное дело, не угодишь; господской работы не переработаешь; работа наша, хоть день и ночь прибирай, не видная,— ровно все ничего не делаешь, а к вечеру поясницу разломит и проч.,— а затем, в утешение себе же, он приговаривал: что ж, известно, на то они господа. С этим-то барином, человеком по чину очень небольшим, Яков ехал однажды на перекладных; скакали, сломя голову, день и ночь, в погоню за самонужнейшим делом. Может статься, время было холодное, или бессонье одолело путника, или, наконец, его растрясло невмочь — но только он, по привычке своей, подкрепился раз, а там и другой и третий — да так крепко, что слег вовсе. У нас принимают вообще три степени этого отвлеченного состояния: *с воздержанием, с расстановкою,* и *с расположением*; при первой степени одержимый может еще пройти подле стенки, придерживаясь за нее; при второй, с расстановкою, может идти, если двое поведут его под руки, а третий будет расставлять ноги; при последней же степени, с расположением, одержимый располагается, где случится, где припадок захватит его врасплох, и, растянувшись во весь рост, лежит бесчувственно, так, что никакие силы не могут более воздвигнуть его на ноги. Этой-то третьей степени самозабвения достиг барин Якова на одной из станций — но помнил еще одно обстоятельство: что ему надо ехать, надо торопиться, погонять и драться. Барин Якова не был собственно дантистом*, как классически выразился Гоголь, но подчас все-таки считал приятным долгом заняться по сей служебной части.

Между тем на станцию входит какой-то проезжий и видит следующее: на диване лежит, растянувшись во весь рост и закрыв глаза, человек довольно длинный и стройный; подле сидит на стуле другой, в темно-зеленом казакине, из кармана коего торчит коротенькая трубка и висит какой-то ремешок; этот человек звенит почтовым колокольчиком над головою сонного, который по временам, в светлые минуты, тщетно силится раскрыть глаза, замахнуться кулаком и заставляет непослушный, суконный язык свой прокричать грозное: пошел! и снова замахивается кулаком. Проезжий остановился пред этой занимательной живой картиной, спросил вполголоса: «Что это такое?» — и Яков, продолжая звенеть, отвечал со вздохом: «Да вот, сударь, другие сутки эдак едем; как перестанешь звенеть, так дерется; пошел, говорит, да пошел; спросит водки — да опять пошел; вот и едем».

Долго ли, коротко ли Яков с барином ехали таким образом, и далеко ли уехали — не знаю; но этот способ езды, столь докучливый для Якова, оказался также вредным для барина его, который, пустившись в бесконечные поездки и путешествия этого рода, вскоре волею божиею помер. Когда несчастие это совершилось, то бедный Яков Торцеголовый в отчаянии ударил руками об полы и залился слезами. Он пересчитывал и припоминал все дурные свойства и качества покойного, оканчивая однако же каждый раз припевом: «Да все-таки барин добрый был!» «Бывало, сердечный, жалованьишко прогуляет, есть нечего до трети* — нет ли, брат Яков, каши? — да каши, сударь, нет,— крупы-то ведь немного отпускается, сами знаете; ну, говорит, так хлеба ломоть отрежь, жалованного, казенного — добрый барин был! Конечно, что правда то правда, как подгуляет, бывало, так больно дерется... ну, на то они господа; а все барин был добрый!»

Чувствительность и добродушие русского человека при подобных случаях заслуживают всякого уважения. Напр., везут знаменитого, сановного покойника, бабы, выскочившие толпой, с любопытством смотрят на поезд, и готовы, пожалуй, и заплакать, смотря по тому, кто как сумеет направить их участие. «Да это кто же?» — спрашивает одна.— «Это покойник, тот и тот, известный на всю Россию человек».— «Ох, он, батюшка мой родной, сердечный... а это что же вон едет за ним?..» — «Это называется печальная колесница, это карета покойного...» — «Ох, она, моя матушка, голубушка...» — и баба, забыв от избытка участия покойника, готова горько плакать над каретой!

Яков побежал объявить о смерти барина своего адъютанту и сказал ему предлинную чувствительную речь, которой смысл — по отрывистому расположению дум Якова — трудно выразить, но в коей несколько раз повторялось: «власть господня, все мы под богом ходим, покуда грехам нашим терпит — а у меня, сударь, известное дело, теперь родных больше нет, окроме вас, больше заступиться за меня некому».

Адъютанта этого Яков причел в родни потому, что тот более других знался с барином его и часто дружески его журил, стараясь убедить, что из него мог бы выйти очень порядочный человек, если

б он не обращался слишком часто в скотину. Тогда, бывало, и Яков, простояв во все время такой речи у дверей и переступая спокойно с ноги на ногу, принимал слово, по уходе адъютанта, и читал барину наставления, вроде следующих:

«Ну что, сударь, бросьте,— ей-богу, бросьте, они правду говорят. От этого что хорошего будет — ничего не будет; вот намедни вы изволили заснуть в передней на лавке — а тут впотьмах вас завалили было шинелями; что доброго, так бы и задохлись; ведь я насилу вас вытащил; право, сударь, ведь целый ворох шинелей накидали на вас, а уж вы без памяти изволили быть; или вот хоть на той неделе, как изволили с господами гулять, да кучер Ивана Марковича свалил вас в одни пошевни, развозил вас по домам,— подъехал к фатере вашей и кричит: Яков, а Яков,— поди возьми своего барина, говорит. Я вышел, а вы еще изволите упираться, а там и драться, не тронь, говорите, не подымай меня, не твое дело. Ну чье же, сударь, дело, коли не мое? Известно уже, коли я не присмотрю за вами, так кто же приглядит? Нехорошо, сударь, воля ваша, что этак-то хорошего будет? Ничего не будет!»

Когда, по внезапной смерти барина, пришли описывать и опечатывать имение его, то Яков, из усердия к покойному, заступился за так называемое имение это и не хотел допустить никого; за это попал он под караул и чуть не было еще хуже. Что он думал в это время, как мог отстаивать мундир и панталоны покойного барина силой,— этого не мог он объяснить толком никогда; но отговаривался и оправдывался впоследствии тем только, что, «известно-де, за покойника заступиться некому, как же мне не беречь господского добра?»

Относительно прав собственности у Якова Торцеголового были вообще особенные понятия, кои требуют некоторого пояснения. Нельзя сказать, чтобы он действовал всегда на правах волка,— но давно сказано: гони природу в дверь, она влетит в окно. Он, во-первых, дошел своим умом до основных понятий философии Канта, с тем только различием, что употреблял, при всеобщем разделении вселенной, множественное число вместо единственного; весь мир распадался для него на две половины: на *мы* и *не-мы*. *Мы* — это были для него сам он с барином своим и со всеми своими пожитками; *не-мы* — это были все прочие господа — весь видимый мир. В более обширном смысле *мы* означало также свою роту, батальон или даже полк; а в самом пространном значении *мы* принималось в смысле: вся армия, все военные, и тогда *мы* и *не-мы* было то же, что приятель и неприятель.

Затем обязанности Якова, как человека, христианина и служивого, были в глазах его тем священнее и ненарушимее, чем теснее можно было применить к вопросному случаю понятие *мы*; но он потакал сам себе тем более в произвольном применении этой истины, чем шире становилось философское понятие, не признавая за собой уже почти никаких обязанностей за пределами этого основного понятия; тут Яков обращался в волка с ног до головы; тут он вступал уже, как полагал, по всем правам, в неприятельскую землю и понимал своим умом буквально и очень ясно изречение: бей и маленького, вырастет — неприятель будет!

Вор — слово постыдное в глазах Якова; вор был у него тот, кто готов был обокрасть барина своего или собрата, сотоварища, кто ворует у той половины вселенной, которую Яков называл *мы* и *наше*. Яков плюнет на такого человека и отойдет. Но если б вы сказали ему, что и сам он вор, потому что в хозяйстве его находится некупленный ухват, взятая где-то мимоходом сковорода, сапоги, стоящие рубля четыре и купленные, по известным причинам, за двугривенный,— то Яков выпучил бы на вас глаза и с чистейшею совестию, покачав головой, сослался бы на барина своего и на весь полк: они-де знают его, Якова, как человека, которого можно обсыпать золотом, и он ничего не тронет. Затем он, смотря по обстоятельствам, или разбранил бы клеветника своего в глаза, или сказал бы: «Бог с ним; обидеть, известно, можно всякого человека, хоть кого угодно — бог с ним».

Из беды и напасти, то есть из острога, после заступничества за имущество покойного барина, Якова выручил другой барин, который взял его в денщики. Яков обещал и тому служить верой и правдой и сдержал, по-своему, слово. Он, может быть, от избытка усердия, попадал иногда впросак, но не смущался этим, зная раз навсегда, что на господ не угодишь. Однажды он вычистил золоченые пуговицы кирпичом; он положил в другой раз четверть фунта корицы в суп, полагая утешить барина французским столом; он, по ошибке, заправил щи, вместо уксуса, ваксой,— видно бутылочки обе стояли рядом; он положил плохо завязанный узелок с толченою солью в барский чемодан и пересолил белье и платье насквозь; он на светло-серую шинель барина своего положил заплату оливкового цвета, пристегав ее белыми нитками; он дергал, от избытка усердия, седой волос из бобрового воротника; он выскреб, для опрятности, стол красного дерева косарем*, потому что у первого барина его не было такого домашнего обзаведения, а были стол и лавки простые, какие в деревне случались. Становился ли он умнее после каждой из подобных проделок — этого не знаю; но он видел только в неудовольствии барина каждый раз новое подтверждение важнейшей статьи из опытной премудрости своей — что-де известное дело, на господ не угодишь; но не сердился нисколько, когда его бранивали за подобные проделки, потому что и это-де, известное дело, без того нельзя, чтобы не побранили, на то они господа.

Бывало, Яков собирается писать домой письмо; тогда он ходит несколько дней призадумавшись, забывает дело и отвечает невпопад. Например: «Яков!» — Молчок.— «Яков!» — «Сейчас, сударь». — «Яков, что ты не идешь, когда я зову?» — «Да там нельзя было бросить и отойти...» — «Что же ты делал?» — «Собирался было руки помыть...» Письмо крепко озабочивало Якова, и хотя это случалось никак не более одного или двух раз в год, но зато он в это время жил душою дома, где не бывал уже лет около двадцати. Письма этого рода пишутся, как известно, отъявленными писаками, на заказ, и разделяются по цене, на два или три разряда, смотря по тому, *полные* ли или *неполные* посылаются поклоны; Яков не противоречил однако же и тому, когда один заказной плут, из писарей, взял с него лишнюю гривну за то, что полк перешел далее и что письмо Якова теперь дале-

ко пойдет. Полные или неполные поклоны, смотря по количеству финансов Якова, — если он не решался упросить кого-нибудь написать письмо в долг — составляли вообще самое существенное различие этих писем, в которых, однако же, всегда говорилось несколько слов о барине. Человек двадцать родных было еще у Якова — русский человек без них не живет — и он отписывал каждому порознь и поименно *милостивого государя* или *государыню, любезного, возлюбленного, вселюбезнейшего* — а затем *нижайший, глубочайший, усердный, преусердный* или другого разбора поклон; называл себя «мы», сестру или брата «вы», испрашивая у родителей, дядей, теток и проч., у каждого порознь, их родительского или родственного благословения, навеки нерушимого,— прибавляя: а о себе скажу, что мы, благодаря бога, живы и здоровы обретаемся, чего и вам желаем и вседневно и всечасно у создателя в горячих молитвах испрашиваем,— и заканчивал обычным и приличным оборотом: *уважаемый* вами — такой-то. Он иногда вставлял еще где-нибудь известия о здоровье или нездоровье своего барина, говорил: что мы-де с барином собираемся жениться и проч.

Разговорный язык Якова также отличался галантерейностью своею и часто смешил людей. Он поздравлял барина и других офицеров с собственными своими именинами: «Ваше благородие, имею честь проздравить, я именинник»; он говорил из вежливости: «я изволил вам докладывать, или вы изволили мне доложить»; разделяя весь видимый мир, по теории Канта, на *мы* и *не-мы* — на приятелей и неприятелей — он об редком человеке относился с равнодушием, или даже со спокойствием, и большею частию горячо вступался за людей или бранил их без пощады. Кто хорош, тот был для него золотой и хорош без меры; а кто досадит, тот уже никуда не годился от козырька до закаблучьев. Замечательны были, в сих и подобных случаях, доводы и причины Якова, коими он оправдывался пред барином своим или посторонними людьми. Напр., Якову досталось однажды съездить куда-то на лошади соседнего помещика Губанова; лошадь не показалась Якову или пристала что ли дорогой — и с этого времени он придумал, для брани, поговорку: «А чтоб тебя с Губановым на пристяжку пустить!» Когда нашлись люди, которые заметили Якову, что нехорошо браниться так и не кстати, то он отвечал: «Помилуйте, сударь, что тут не браниться, я, власть ваша, никого не займаю,— а только после этого уж и на свете жить нельзя». Не ходи ты, Яков, с бреднем по этому озеру — сколько раз тебе это добрые люди говорили — ты плавать не умеешь, а тут омут на омуте! — «Ничего, сударь,— отвечал Яков,— что же делать, власть господня, вот и намедни в Грачевке мальчик эдак же утонул»... а затем, в тот же день вечером опять-таки отправился с бредником на озеро.

Замечательное и преполезное, для барина его, свойство Якова заключалось еще в том, что он был везде дома, куда бы ни пришел.— Здравствуй, хозяйка, здорово, хозяин! — и затем он, перекрестившись, протягивал руку за ухватом и кочергой, очищал, где следовало, место себе и барину, знал по навыку, где найти чулан, каморку, клеть и чего и где там искать, как задобрить или застращать хозяйку, чем

угодить хозяину,— и между прочим знал также такое слово, от которого дружился с каждой собакой, как только шагнет на двор. «Отчего на тебя, Яков, и собаки не лают?» — спрашивали у него бывало, и он отвечал, смотря по расположению своему: «Они мне все свои, я всех их знаю» — или: «А что ей лаять — не видала что ли она человека?» Он всегда давал собаке кличку по шерсти, с первой встречи, спорил с хозяином, если тот уверял, что это не серко, а куцый; и куцый, по-видимому, соглашался с этим и охотно бежал на зов нового приятеля.

Известно, что календарь нашего крестьянина отличается по способу выражения от нашего: мужик редко знает месяцы и числа, но знает хорошо посты, заговенья, сочельники, все праздники, святых и, избирая более замечательные в быту его сроки, обозначает их сими названиями. У Якова был свой календарь, довольно понятный в его кругу: время назначения новых капралов, фельдфебелей, ротных, батальонных, полковых, бригадных и, наконец, корпусных командиров; смотры, постройка или пригонка амуниции, лагерь, ученье, перемена стоянки, марши, походы, дневки, привалы,— и, наконец, замечательные события в роте, в батальоне, в полку: такой-то арестант бежал; такой-то солдат сломал приклад ружья, потерял штык; тому или другому дана награда, такой-то произведен чином, такой-то умер, переведен, вновь определился и проч. Вот эпохи, по коим Яков определяет прошедшее; для настоящего ему не нужно было календаря, потому, что оно пролетало мимо его, как мимо всех нас, а для будущего — потому, что он все будущее предоставлял богу и говорил только: даст бог — будет то и то — авось вот дождемся — и знал кроме того четыре времени года, как все пять пальцев. Ведро и ненастье, тепло и стужу измерял и определял он также по-своему: на дворе холодно, хоть ружье в избу поставь, так разве чуть только отпотеет; на дворе мороз, лошади на конюшне всю ночь протопали; видно, сыро, барабан чуть слышно; жара такая, что за козырек рукой нельзя взяться; такой дождь, что ломоть хлеба из пекарни под полой сухим не донесешь домой и проч. Честен был Яков по-своему, о чем мы уже говорили; честен и неподкупен для себя, для своего барина, роты, батальона, полка, но чем дальше и шире расходился этот круг, тем жиже становилась честность нашего Якова и на самых пределах перехода видимого мира из *мы* в *не-мы* — она была до того мутна, что терялась вдали, как серый туман, без лица, без цвета и без образа. Чтобы употребить другое, может быть, более удачное подобие, скажем, что честность его расходилась от него во все стороны клином и оканчивалась, в известном или неизвестном расстоянии, будучи снята *на-нет*.

Таков был Яков, и таковы будут все Яковы наши, по крайней мере, большинство их. Мастер и доточник*, или источник на всякую домашнюю потребу, он чинил сапоги, латал, как мы видели выше, платье, строгал, заклепывал, долбил, клеил и ладил все, что было нужно в походном хозяйстве. Как комнатный, кравчий* и постельничий, он ставил чайник, варил кофе, набивал трубки, бегал за вином рысью и откупоривал бутылки, стлал солому, покрывал ее простыней или рядном и клал в голову подушку, а в ноги халат, и про запас еще

шинель, чтобы одеться; как конюший и ясельничий*, стремянный и кучер, он ходил за лошадью, когда она была у барина, седлал ее выбракованным гусарским седлишком, или закладывал в пошевни; как приспешник, готовил он до четырех блюд: щи, кашу, пирог и битки. Верблюдом был он на походе, когда, запустив шаровары в сапоги и навьючившись разным скарбом, месил грязь мерною поступью; волком — как и где случалось: в нужде, за недосугом купить или выпросить то, что ему было нужно; верным псом был он всегда и вся забота его, все назначение состояло в том, чтобы хранить и оберегать, по крайнему разумению, господское добро; хомяком был он на зимних квартирах, на стоянках, когда несколько месяцев постою на месте казались ему веком, и он обзаводился в то время всякою дрянью, будто век с ней жить, для того только, чтобы после долгих вздохов и соболезнований кинуть все это, когда приходилось выступить в поход; наконец, бобром-строителем Яков делался если не на каждом привале, то по крайней мере на каждом ночлеге: вилы, два шеста или хворостина, рядно да охапка соломы — и дворец готов, извольте, ваше благородие, перебираться!

В. Луганский

ЛУКА ЛУКИЧ

(Нравоописательный очерк)

Лука Лукич был большой плут — в чем и состояло разительное его сходство с родителем. Проявление этого свойства замечено в нем было с самого детства — и росло с необычайною быстротою. Не раз почтенный родитель его с ухмыляющимся лицом поговаривал: большая каналья этот Лука, загоняет он своего отца,— пора его и в прок; и в силу таких рассуждений пристроил юношу к какому-то уездному судилищу. Лука Лукич облачился во фрак, переделанный из родительского, и начал посещать служебное место. Начальник обходился с ним чрезвычайно деликатно, не утруждая его особенными делами; благородное общество чиновников полюбило искренно своего нового товарища и уже с первого дня его служения удостоило его дружеским «ты» и еще одним прилагательным, которое, впрочем, за неблагозвучием произносилось вполголоса. Для соблюдения полной формы чиновника Лука Лукич в служебное время имел обыкновение держать за ухом перо, а пальцы и губы вымарывал чернилом. Таковые признаки трудолюбия не раз приводили начальника в умиление, и он возымел необыкновенно высокое мнение о новом подчиненном, в особенности с тех пор, как, по неизвестному случаю, у начальника на смену тавлинки явилась золотая табакерка. Приходя ежедневно на службу с таковою благоприобретенною движимостию, важно понюхивая из нее табачок, он постоянно осведомлялся у Луки Лукича о состоянии здоровья его родителя. На этот вопрос юноша обыкновенно отвечал: да что ему делается? — здоров! Снискав таким образом

благоволение начальства, Лука Лукич сделался весьма доволен судьбой и службою и, очистив свой стол от растопок, которыми он именовал бумаги, учредил в нем нечто подобное съестному заведению, куда обыкновенно опускались руки его товарищей за разным продовольствием для закуски. Стол этот, снабжавший таким образом утробы чиновников, называем был ими не иначе как — *съестное депе**. Лука Лукич, одаренный от рождения жидовскою натурой, крайне любя деньги, завел этим способом довольно выгодную для себя торговлю, записывая, какой чиновник что именно съел и выпил, при получении жалованья он вытребывал причитающиеся ему за то деньги, сводя счеты с искусством маркитанта.

Накушавшись вдоволь и накормив товарищей, Лука Лукич имел обыкновение садиться на окно, выходившее на одну из немногих улиц города, и так себе, для удовольствия, плевал на прохожих горожан; а если кто из них грозно подымал голову и делал жест, означавший заступничество за оскорбленную честь,— то он начинал дразнить обиженного языком. Все эти невинные шалости, свойственные его званию, которыми он забавлялся для препровождения времени, не имели бы для него важных последствий, если б он не вздумал простирать их слишком далеко. Однажды ему пришло на мысль спустить бумажного змея, сооруженного им из какого-то попавшегося под руку дела. Подрядив для совершения процесса стоявшего под окном мальчика, он с восхищением увидел, как змей взвился и быстро понесся по воздуху. Громкий смех восторженных чиновников привлек внимание начальника — и он предстал пред ними с грозным вопросом: что за шум? Чиновники мгновенно бросились по своим местам, а змей продолжал взвиваться к небесам, пред самыми окнами присутствия, при громком смехе уличных зевак. Подобное зрелище поразило начальника, и он воскликнул: эк каналья, как высоко! А уж потом потребовал объяснения истории дебожа[1]. Сначала все чиновники объявили, что ничего знать не знают; но уж потом те из них, которые были поблагороднее, не утерпели и сфискалили на Луку Лукича. Начальник с удивлением обратился к юноше и после некоторого глубокомысленного молчания произнес: «В вас, милостивый государь, так сказать, совершенное отсутствие всякого присутствия (при этом он указал на лоб), вы, то есть... я...» — тут он вздумал понюхать табаку — и гнев его несколько поуменьшился. Вся эта история кончилась тем, что змея приказано немедленно вернуть в присутствие, дело, употребленное на его изготовление, положить обратно в шкаф, а Луку Лукича для примера подвергнуть строжайшему аресту, с лишением средств к побегу; в силу чего юноша обязан был, сняв сапоги, отдать их сторожу — а сам удалился на целый день в темный чулан. Неприятность эта имела сильное влияние на нравственность Луки Лукича, и он уже начал задумываться о том, что ему пора бросить провинциальную службу и как-нибудь добраться до Петербурга, куда манил его тайный голос, обольщая усладительными обещаниями. Следующие два

---

[1] ...дебожа — т. е. дебоша.— *Ред.*

обстоятельства послужили к окончательному решению его оставить уездную администрацию, где даже страдала амбиция, которую он почему-то вздумал в себе подозревать.

Однажды, придя в состояние грустной мечтательности, он удалился в сени присутственного места и в глубоком раздумье поместился возле стены. Вошел какой-то офицер, приезжий из губернского города, и, с важностью обратясь к юноше, произнес повелительно: «Сними шинель!» — Чувство оскорбленного достоинства потомственного дворянина закипело в душе Луки Лукича и он, гордым взглядом окинув дерзкого, не трогаясь с места, произнес величественно: «Я — чиновник!» Офицер на него взглянул весьма хладнокровно, отвернулся, подошел к стоявшему возле дверей сторожу и, обратясь к нему, сказал: «Ты кто?» «Сторож, ваше благородие»,— отвечал служивый. «Так сними шинель»,— продолжал офицер. Сцена эта чрезвычайно сильно подействовала на Луку Лукича, из нее он заключил, что между сторожем и таким чиновником, как он, вероятно, очень мало разницы, и потому порешил в наискорейшее время оставить это место служения. Вторая неприятность окончательно решила его судьбу. Начальник, неизвестно по каким причинам изменившийся к любимому своему подчинённому и даже переставший спрашивать о здоровье его родителя, поручил юноше написать какую-то замысловатую бумагу. Юноша написал ее, как умел. Начальник взял бумагу, прочел ее, потом улыбнулся и, подозвав своего секретаря, указал на Луку Лукича, потом постучал рукою по стене и сказал: «Все одно!» Чиновники, видя улыбку начальника, но не понимая причины, ее вызвавшей, почли непременным долгом расхохотаться; Лука Лукич, думая, что и ему следует смеяться подобно товарищам, начал хохотать весьма громко; когда же единственный из разумных чиновников, понявший глубокий смысл горького сарказма начальника,— объяснил ему причину улыбки его высокородия и намек его на тупоумие написавшего бумагу, то Лука Лукич пришел в страшное волнение и с оскорблением объявил, что более служить не хочет и не может,— и с согласия родителя своего двинулся в Петербург.

Счастлив человек, угадавший свое назначение! Лука Лукич его угадал. Он был создан для Петербурга, и тайный голос, зазывая его в столицу, не лгал, обещая ему богатства и счастливую будущность. Такие люди, как он, не должны прозябать в провинциальной бездейственности; и уж если такому человеку суждено быть плутом, по рождению ли, по фамильной ли к тому склонности, то пусть по крайней мере процветает его индустрия в мире, проникнутом цивилизацией, где, плутуя, он в то же время может приносить некоторую пользу обществу.

Тонкий плут необходим для организованного общества, составляя часть его многосложного механизма. Общество может его презирать за поступки его, иногда грязные и низкие, но не может и не должно отвергать как необходимого сочлена своего. Он плутует тонко, ловко, обогащая тем себя, но между тем человек честный, нисколько себя не бесчестя, употребляет его орудием для достижения своих целей, которых бы не мог достигнуть без него. Это все слишком

ясно и известно, чтобы требовало каких-нибудь пояснений. Лука Лукич приехал в столицу и сделался *ходатаем по делам*. Считаем излишним объяснять разницу между этою индустриею и трудами стряпчих или адвокатов. Индустрия первого состоит в чистом или, лучше сказать, в нечистом мошенничестве — стряпчие же или адвокаты люди более облагороженные, пользующиеся общественною доверенностью и нередко уважением, действующие более пред лицом закона, в качестве агентов или защитников судящихся или подсудимых. Круг действия сих последних более или менее определен — более или менее достоин уважения. Ходатай же по делам, в особенности такой, каким был Лука Лукич,— существо неопределенное.

Способности Луки Лукича развились быстро, и он вскоре составил себе порядочную известность. Ловкость, расторопность и удача доставили ему вскоре множество дел — и кошель его стал пополняться. Он понял вполне великую науку ходатайства по чужим многоразличным делам, узнал, пред кем нужно было гнуться, с кем как говорить, к кому с чем подъезжать; к кому прийти в оборванном фраке для возбуждения сострадания, к кому приехать в коляске, в новом платье, с разными деликатностями; у кого с какой миной спрашивать о здоровье; чью при случае погладить собачку, накормить сахарцом, подивиться ее уму и статности; любит ли такая-то власть преимущественно вина или деньги, или то и другое вместе; пред кем сколько времени стоять на улице без шляпы и проч. и проч. Случится, бывало, ему иметь дело до стихотворца, и он просит его сначала удостоить прочтением стишков, и пиита, не имея у себя слушателей никого, кроме глухого слуги, с жаром начинает читать свои бредни; Лука Лукич, слушая его, выходит из себя, бьет в ладоши, кричит: суперфинус,— просто парнас! — и, приведя таким образом пииту в восторг, начинает говорить о своем дельце — и достигает своей цели, бывало, нужно ему снискать доверие барича — он узнает, который его любимый камердинер, и начинает сначала с него; знакомится с ним, водит его в трактир, дарит его жене платочки и зато, чем свет являясь в прихожую барича, по протекции знакомого камердинера получает в передней стул, между тем как другие ждут стоя или сидя на ларе. Получив почетное место, он гордо осматривает прочих просителей, глядя на них с дворянским достоинством, забывая его, униженно обращаясь к камердинеру, потчуя его табаком. При этом случае камердинер в силу холопской натуры своей преважно берет понюшку, кивая головою, говорит «спасибо» и помещается возле дворянина, заводя с ним откровенный разговор. Нередко ходатай по делам обнимал камердинера, приговаривая: «Каналья ты, Егор Иванович, да я сам шельма — вот мы с тобою и ладим — а люблю я тебя, бестию!» Здесь невольно рождается вопрос, кто ниже из них: дворянин, унизившийся до дружбы с холопом, или холоп, нахально равняющий себя с дворянином? Первый низок до презрения, подличая по расчету,— второй нахальствует лишь по холопской натуре своей.

Лука Лукич, держась правила, что всякое деяние есть благо, за унизительные труды и хлопоты свои не отказывался ни от какого вознаграждения, даже не гнушался мелкою монетою, которую не раз

получал за окончание грошовых дел. В чем же собственно состояли дела его, спросят нас? Дела его были чрезвычайно многосторонни и многоветвисты; трудно определить, в чем именно заключался круг его действий; дела его были большею частию такого рода, которые требовали более или менее отсутствия совести, медный лоб, унижение, отсутствие мягкосердечия, сострадания и прочих человеческих чувств и при этом ловкость и расторопность, которые в нем были необычайны. Кому нужно было достать деньги, тому добывал он их разными способами за жидовские проценты, не забывая, разумеется, себя. У кого пропадала какая-нибудь дорогая вещь или деньги, тот обращался к нему как к оракулу о указании вора — и Лука Лукич, имея близкие сношения со всеми столичными промышленниками чужой собственности*, мог открывать похитителя, смотря по тому, выгодно или нет предать своего собрата. Иной, выведенный из терпения поведением своего слуги, поручал его Луке Лукичу на исправление, и он за синюю ассигнацию не раз присутствовал при экзекуции слуги-мошенника и наблюдал за правильностию ударов, считая их с английским хладнокровием. Любопытно было бы знать, что чувствовал Лука Лукич, присутствуя при наказании человека за украденную ложку,— припоминая о целых серебряных сервизах, добытых им почти таким же путем и хранящихся в шкафе. Имевший тяжбу адресовался к нему с деньгами и с просьбою о наискорейшем ее окончании — и Лука Лукич при посредстве разных лиц, с которыми умел входить в близкие сношения, кончал дело живо-быстро. Покупателя на дом или имение, ростовщика, подкупленного свидетеля — все мог добыть Лука Лукич.

«Верьте богу,— бывало, говаривал он,— бегал как шальной по городу, ни ног, ни головы не чувствуя, устал, все бегал и хлопотал для пользы ближнего». И пойдет, бывало, Лука Лукич высчитывать, сколько он принес пользы ближним. И действительно, иной, выслушав его, с умилением скажет: добрый вы человек, Лука Лукич, одного избавили от тюрьмы, другому взыскали капитал, который он считал пропавшим, третьего избавили от хлопотливой тяжбы, бедной девушке нашли мужа, отыскали воровство, и все это в один день — добрый человек Лука Лукич!

И вот Лука Лукич прослыл добрым человеком — и мало ли подобных ему слывут и добрыми, и честными, и правдивыми!

Общественное мнение нередко клеймит и позорит человека менее виновного и потворствует людям, каков был Лука Лукич. Много и в наше время есть людей, подобных ему, пользующихся даже уважением в свете — и не скоро переведется их племя! Лука Лукич имел и друзей, но и дружба его была основана на глубоком математическом расчете, все взвешено, все обдумано было наперед у этого человека. С так называемыми друзьями своими он кутил, пил с ними донское, ходил в театр, в собрания, но нигде не делал шага без расчета жидовского; пускали его всюду — к чему гнушаться человеком, у которого набит кошелек,— были бы деньги — вот и рекомендация человека,— а откуда они взялись, про то никто и знать не хочет. Много делал Лука Лукич на своем веку подлостей, но он ими кичился, и чем тоньше

была его плутня — тем более он ею хвастался. К нему как к человеку, обладающему дивными способностями, не раз прибегали советоваться люди, не сведущие в деле плутовства и обмана, и он из любви к ближнему наделял их своими советами. Кредитор требовал с должника уплаты значительной суммы, грозя подать ко взысканию вексель. Должник, находясь в стеснительном положении, не знал, на что решиться, и, по совету человеколюбивого Луки Лукича, поступил следующим образом. Он назначил кредитору день для уплаты своего долга и когда тот предъявил ему вексель, то он его схватил, мгновенно изорвал на мелкие части и проглотил. Кредитор остолбенел и, не имея более документа, не желая заводить дела, махнул рукою и лишился таким образом своей собственности. Подобный круг знаний распространял Лука Лукич! Однажды к нему приехал незнакомый господин, прося его взять на себя дело, для окончания которого требовалось совершить какой-то акт задним числом. «Мне рекомендовали вас,— сказал он,— как человека необыкновенно способного к подобным делам, и потому я ни к кому, кроме вас, не смел обратиться». Лука Лукич в этот день был немного расстроен, он только что похоронил своего отца и потому был в глубоком трауре. Услышав о выгодном для себя деле и о лестном для него мнении незнакомца, лицо его мгновенно просияло, и он воскликнул: «Уж если дело за подлостию, то уверяю вас честию, что лучше меня ее никто не смастерит; уж я такая шельма, что ей-богу в городе не найдете другого. Вот не тем будь помянут покойный мой папенька, уж какой был подлец — а я все-таки его почище» . . . .

D-

ПРИКАЗЧИК

(Физиологический очерк)

Неизмеримая пространством, разнообразная климатом и дарами природы, родина наша разнообразна и характерами ее обитателей. Россия — страна контрастов! Соединение европеизма и руссизма, подражания и самобытности — житель Петербурга, москвич и обитатель юга; тип северянина, олицетворенная легенда — финн, сибиряк с его многоразличными ветвями, его поверьями и обычаями — какой богатый рудник поэзии и национальности! В этом анализе Россия возьмет верх над всеми нациями Европы; в России же, по разнообразию характеров, идей, понятий, первое место останется за нашею северною столицею.

И дачник, и денщик, и дворник, и шарманщик, Петербургская сторона и петербургские углы — все это анализируется, рассматривается с критической точки,— а сколько еще предметов, достойных наблюдения! К таким предметам относим мы и приказчика. Разумеется, чтоб очертить его оригинально и остро, верно и отчетливо,— для этого нужно бойкое перо Луганского, Кукольника*, Башуцкого, или Гребенки...но надежда и рыбака толкает под бока. Сюжет, нами взятый, кажется, нов...

— Как нов? — скажут некоторые.— А с удивительным искусством создаваемые роли г. Григорьевым?* Разве случайно, разве вследствие какого-нибудь ослепления принимает он рукоплескания восторженной публики?

— Какие же роли называете вы с искусством созданными? Не те ли выходки и пошлые остроты актера, выставляющего какие-то небывалые, несуществующие лица, которым он дает название приказчиков и которых часто, даже уже слишком дерзко, именует купцами? И зачем же с такой смешной стороны смотреть на торговое сословие? Нам непременно возразят: неужели же купечество так серьезно, что в нем нельзя отыскать ни одной комической черты? Мы этого не говорим; комического в купечестве слишком много; но дело в том, что актер уже чересчур пересаливает это смешное. Оттого-то все его лица так натянуты, так чудовищно нелепы, что если мы и смеемся выполнению его роли, то смеемся не остроумию, а смеемся — над слепотою и рукоплесканиями самого же купечества, аплодирующего изо всей мочи своему карикатуристу. Над ними издеваются, выставляют их в пошлом, в глупом виде — и они же восхищаются — они же выходят из себя от восторга!

Купец, так же как и дворянин, тот же член государства, тот же гражданин нашей необъятной Руси, тот же верный слуга царский. Истинно жалеем тех, которые с презрением смотрят на бороду, на длинный кафтан, смотрят на это, как на что-то нелепое, смешное. Не в тысячу ли раз смешнее купец, который, как бы гнушаясь своего происхождения, сбрасывая с себя одежду, усвоенную веками и предками, облачается в так называемое немецкое платье и в палевых перчатках и с завитым коком хочет казаться джентльменом? Еще слишком недавно купечество начало лезть в дворянство, чтобы следы его особенностей могли б изгладиться в наших купчиках; природа всегда берет свое, и никакой фрак Оливье* не прикроет того, чем как-то особенно отличается купчик. Не глупо ли, не смешно ли в человеке это тщеславие казаться тем, чем он не есть?.. Чем честный купец, коммерческим умом добывающий себе хлеб, ниже дворянина по происхождению, но плута по ремеслу? А мало ли подобных дворян!

Не грустно ли, не досадно ли видеть, как какой-нибудь мелкий чиновничек, канцелярский крючок, промышляющий взятками и неправдами, занятый своим дворянским происхождением, увидя купца с бородою, смеется над ним в глаза? Мы видим, и всякий должен сознаться с нами, что купечество всегда готово было споспешествовать — и споспешествовало всем мудрым предначертаниям правительства. Вспомним, что из среды этого сословия вышел человек великий, спасший нашу дорогую отчизну*! Или слова его: «Продадим свои домы, заложим жен, детей — и выкупим отечество»,— некогда раздавшиеся по всему пространству России, как трубный звук ангела в день судный,— неужели эти слова чужды нашего слуха, неужели они уже не в состоянии затронуть, расшевелить ретивое?!.. Впрочем, я заговорился, заплутался в лабиринте мыслей; пора спешить к делу.

Не знаю почему, жизнь человеческую делят на поэтическую и

прозаическую. К какому разряду словесных причислить приказчика? По его вечной деятельности, по его борьбе между отчаянием, страхом, успехом и неудачею, счастием (по его понятию) и крайним горем — это, пожалуй, маленький поэт. Но вглядитесь в него хорошенько, проследуйте развитие его приказчичьей жизни, однообразной, уже вперед рассчитанной — это прозаик, горький прозаик! Известно, что все радости человека, все, чем живет он, к чему стремится, как путник к концу своего пути, заключаются или в прошедшем, или в настоящем, или в будущем. Которое же из этих времен может вывести утешительный результат для приказчика? Прошедшее его было так безотрадно, так горько, что об нем он и вспоминать не хочет. В прошедшем времени — он был мальчиком у своего хозяина. Не посвященные в тайны купеческой жизни не поймут, что за несчастное создание этот мальчик. Говорим, особенно несчастное, потому что этот период его жизни имеет сильное, безусловное влияние и на всю остальную часть его существования. Это прошедшее приготовляло из него будущего Молчалина*: и в юности все его поступки, все его мысли клонились к тому, чтоб «угождать всем людям без изъятия»*. Он был несчастный труженик, раб, без всякой надежды на ласку, на благодарность от кого-либо из окружающих его лиц. Мальчик обыкновенно встает раньше прочих, прежде кухарки, часа в четыре, но уже никак не позже пяти. Первая его обязанность вычистить сапоги — сперва хозяину, потом приказчикам; свои вычистить ему некогда. Подымается кухарка.

— Ванюшка,— кричит она сиплым голосом,— ставь самовар; хозяева-то, думаю, проснутся скоро... ну же, живее! Экой болван какой, неповоротливый!— И удар по голове мальчика или толчок в спину заключают монолог кухарки.

— Сейчас, Ульяна Петровна, сейчас,— говорит мальчик и, не кончив одного дела, принимается за другое. Еще счастье его, если он успеет согреть самовар до пробуждения приказчиков; если же нет — и здесь побои, брань, укоры.

Перед его глазами совершаются всевозможные подлости приказчиков,— и он, чтобы не потерять и остальное расположение их, молчит об этом, показывает вид, что ничего не замечает, ничего не слышит, не знает. В противном случае приказчики доконают его вдосталь. Потому-то, волею или неволею, он пристает к их шайке, перенимает все их низости, порочные направления — и таким образом зарождается в нем натура приказчика.

Но время летит; проходят лета мальчика — и он, в свой черед, делается сидельцем или приказчиком. Здесь является настоящее. В этот второй период его жизни девизом себе избирает он глагол — наживаться: ему нужно составить свое будущее. Для него нет нужды, что дела его хозяина приходят в упадок, приближаются к ужасному банкротству; он со стоическим равнодушием помышляет о том, что скоро там, где была самая расточительная роскошь, скоро явится бедность во всей ее наготе,— разумеется, в таком случае, если купец объявит себя несостоятельным по справедливости.

Оскорбительное слово «Ванюшка» теперь уже для него не су-

ществует: хозяева называют его Иваном, прочие — именуют по отчеству.

Тема для разговора у всех приказчиков по большей части одинакова: каждый из них обыкновенно говорит о продаже в лавке, и все полученные хозяином выгоды приписывает своим оборотам, своей наглядности, ловкости; или же он бесщадно подражает кухаркам и горничным, передавая, что видел в соседних лавках или слышал от других приказчиков: в этом случае это тип разносчика новостей, это живая афиша всех обстоятельств и случаев частной жизни людей. Редко, редко вы увидите приказчиков с лучшим, более благородным направлением мыслей. Предназначив себя к жизни приказчика, всякий из них должен обогатиться как можно большим запасом лести, ласкательства, низкопоклонничества — иначе у него не будет так много покупателей. Сфера его — самовар, плутни и деньги. В замену потери нравственного достоинства приказчик приобретает благо жизни тленной, звонкое благо — деньги; он обманывает, часто немилосердно обманывает покупателя. А идучи домой, говорит про себя, с улыбкою самодовольствия: сегодня я зашиб копеечку! И эта улыбка есть одна из необходимых принадлежностей приказчика; она обратилась в привычку вместе со складыванием пальцев правой руки, чтобы совершенно снять или только приподнять шляпу перед вошедшим в лавку покупателем. Дело кипит в руках продавца; он вынимает, раскладывает товары перед покупателем, который сортирует их, оценивая, разумеется, вполовину или немного побольше,— и обычная улыбка и всегдашнее выражение приказчиков: нет-с, нельзя-с, себе дороже-с! — непременный ответ покупателю. Приказчик провожает его с почтением даже и тогда, если он и ничего не возьмет себе. Есть еще посетители лавок, постоянные покупатели, знающие по именам приказчиков: вот уж перед ними-то рассыпаются и гнутся торговцы. Сделайте одолжение-с, будьте так добры-с, присядьте, пожалуйста, на диван,— говорят они сладким голоском. А если покупатель — дама, приказчик строит глазки, жеманится, беспрестанно поправляет свой шарф, подобный старинному потолку, расписанному яркими красками.

Страсть наживаться во что бы то ни стало так сильно развита в приказчиках, что остановить ее нет никакой возможности. Хозяин — купец и знает, что его приказчик наживается, попросту сказать, ворует, но он поневоле молчит перед ним, даже на стороне, на замечания других, обыкновенно отвечая: пусть его... лишь бы много не взял! Вы скажете: разве он не может отослать приказчика? И хотел бы, да нельзя. Потому, во-первых, что к этому приказчику уже привыкли покупатели; во-вторых, и потому еще, что если он и пристрастен к своему карману, то зато, с другой стороны, иногда и хозяину доставит выгоду, благодаря своему природному и практикой развитому дару — маклачить и обманывать. Хорошо еще, если у хозяина один приказчик; а если их несколько, тогда хоть помаленьку возьмет каждый из них, зато в итоге выйдет много. Вот почему купцы, имеющие большое число лавок, и разоряются скоро, приходят в несостоя-

тельность. Приказчик же и в этом случае ничего не теряет: он получает свое жалованье сполна, рубль за рубль, тогда как другим и по гривне не достается.

Выше заметили мы, что немаловажную причину упадка цветущего состояния торговли купцов составляет их желание иметь большое число лавок. Приведши в исполнение свою любимую методу — расширить владение,— купец лишается возможности следить строго и зорко за состоянием лавок, за их положением, наблюдать поведение приказчиков, которые тому и рады и, право, не дадут промаха. Но в этом расширении виновата, собственно, наша русская природа: хотим брать все с боя, силою. Не худо бы было позапастись, вместо того, терпением; а под вывескою лавок выставить эпиграфом умнейшую, полную философии пословицу русскую: кто малым недоволен, тот большего недостоин.

Приказчики получают жалованья от одной до трех-четырех тысяч, а проживают, по крайней мере, вдвое более.

Кончается тем, что большая часть их, довольные судьбою, по прошествии нескольких лет оставляют своего хозяина; ограбленный делается несостоятельным — а подлец-приказчик заводит лавку или фабрику.

Один приказчик, сделавшийся причиною банкрутства и смерти своего хозяина, уехал на родину в Вологду, где у него не было, что говорится, ни кола, ни двора; возвратясь же оттуда через несколько месяцев, он открыл свой магазин у Полицейского моста. Плут уверял, что получил в Вологде наследство!

Впрочем, неправдой нажитое скоро разлетелось у него по ветру.

Другой и третий тоже завели свои лавки. И при подобной натуре приказчиков — как же подняться купцу на должную степень, как же сохранить приобретенное?

Действуя так разорительно на торговое состояние купца, приказчики нередко бывают причиною их семейного расстройства. Есть некоторые купцы, которые допускают приказчиков к одному столу с собой, даже в одно общество, при гостях. У купца есть дражайшая половина, полуобразованные дочки, которые не прочь пококетничать; приказчики же — люди часто с удовлетворительною физиономиею — не упускают случая влюбляться в молоденьких хозяюшек, даже, пожалуй, другие из них станут волочиться и за хозяйкою, ради прибавки жалованья. Начинается период любовной переписки. Как же передавать послания? Как найти время шепнуть несколько слов возлюбленной? Ведь приказчик не бывает дома, благодаря газовому освещению, от 9 до 10 часов! Полноте! Будто вы не знаете всех тонкостей, всех хитростей влюбленных! Шепнуть слово можно мимоходом. Вот, например, барышне нужно выйти в другую комнату; она только что приподнимается со стула, а учтивый приказчик уже отворяет двери.

— Помилуйте, напрасно вы беспокоитесь,— говорит барышня вслух; шепотом же: «Благодарю тебя, mon cher[1]! Как ты был мил

---

[1] *Мой дорогой! (фр.) — Ред.*

сегодня на пороге у лавки! Мы тебя видели с кузиною Марфушею. Душечка!» — Тут барышня суживает губки à la поцелуй. Только влюбленные имеют такой необыкновенный дар фразировать! От такого сладкоутешительного монолога приказчик наш расчувствовался; он и не знает, что сказать от восхищения.

— Ми... мила...я моя,— шепчет он.

Возлюбленная награждает его необыкновенно ласковым взором, так вот и проницающим душу.

Впоследствии хозяин отказывает, по особенным причинам, этому приказчику от места; приказчик считает необходимостью разгласить о своей интрижке, разумеется, с прибавкою многого и небывалого. Таким образом, сплетается целая скандальная история, разносится по всем соседним торговцам, и бедная девушка убита, уничтожена.

На купеческих сынках лежит справедливое прозвание — кутил и мотыг*. Не будем так дерзки, чтобы простирать этот титул на всех вообще, но признаемся, что большая часть из них таковы на самом деле. Часто имение, десятки лет наживаемое отцом и дедами, в два, три года пускается на ветер франтиком-сынком. И в этом случае больше всего виноваты приказчики: еще при жизни отца хозяйские сыновья кутят вместе с ними, проматывая капитал родительский. Они стараются потворствовать всем их дурным наклонностям и раздувать их порочные страсти.

Однажды, это было в июне месяце нынешнего года, поздно вечером, пробирался я от Введенского моста к Загородному проспекту. Впереди меня шли двое мужчин, разговаривая между собою с жаром и довольно громко. Несколько слов, долетевших до моего слуха, показались мне довольно интересными; я умерил шаги и начал прислушиваться.

— Да, Максим Петрович,— говорил один из них,— да, на русских виден какой-то особый отпечаток гениальности; чрезвычайная переимчивость — признак многообъятного ума! Всмотритесь хорошенько во все сословия наши: все это начинает копошиться, выходить наружу, требует пищи для ума и сердца!

— Оно так, Сидор Лаврентьевич,— отвечал другой,— так, да иногда, по совести сказать, переимчивость-то эта является сущим обезьянством. Господи! Когда исчезнет это французолюбие, или, говоря нынешним языком, франкомания! И пусть бы уже старались корчить из себя парижан какие-нибудь господчики, эти, знаете ли, полурусские и телом, и душою, а то и... что за напасть такая!.. и приказчики-то все туда же, вслед за ними! Ну, на что это похоже! Где же тут самобытность-то наша? Где народность? Продали, сударь, продали ее,— примолвил с горькою улыбкою Максим Петрович и продолжал.— Вы знаете, перед отъездом Василия Андреевича за границу давали Кина*. В первом антракте, подле меня в кресло, до тех пор не занятое, садится молодой человек, парижанин, каким он сначала казался. И как же было не ошибиться? Француз с вида — вылитый француз! Начиная с ног до самой головы, все это так и отзывалось французом! И густые бакенбарды, и небольшая, округленная бородка, и все! В продолжение двух действий он сохранял вид самого хо-

лодного, наблюдательного зрителя; хлопал редко... вишь, на какие хитрости поднялся. Вот, думаю, прекрасный случай узнать, какого мнения иностранцы о нашем великом артисте. Обращаюсь к нему с вопросом по-французски.— Молчит. Еще повторяю.— Ни слова. Что за диковина? — подумал я. Спрашиваю по-немецки. Что же он отвечал мне?

— Вероятно, говорил, что далеко русским до его одноземцев.

— Не угадали.— Он отвечал мне: извините-с, я, кроме русского, ни на каком-с языке не говорю-с.— В это время подходит к нему его знакомый, смотрит и не узнает. «Карпов, ты ли это? В два месяца, как я тебя не видел, ты совершенно переменился. Ну что у вас в Гостином дворе? Все по-старому?»

Тут Максим Петрович вздохнул тяжелее прежнего, прибавив: «Вот до чего мы дожили, Сидор Лаврентьевич! Русские не узнают русских!»

Здесь пешеходы остановились и начали прощаться. Я пошел далее.

Приказчики имеют несколько подразделений. На первом плане рисуются гостинодворцы, собственно приказчики зеркальной линии; потом следуют и другие: перинные, суконные, суровские, апраксинские*. О других приказчиках — в портерных, погребках, лабазах, мелочных и овощенных лавочках мы не говорим ни слова — они слишком лабазны!

Приказчики зеркальной линии, или гостинодворцы, резко отделяются от прочей братии и умишком, и наглядностию, и одеждою, и самою физиономиею. Это люди с амбициею, с высоким мнением о своей важной особе, большею частию одетые щегольски, старающиеся быть тонными, чтобы подгладить, подлощить свое звание. Они редко выходят из лавки; а если явятся, то стоят в какой-то особенной позиции: прислонясь к стене, ногами образуя ломаную букву X, держа обе руки в карманах или одну между пуговицами расстегнутого сюртука. Они уже не так низко снимают шляпу перед покупателем, показывают недовольный, гордый вид, когда с ними торгуются, при выходе покупателя из лавки говорят ему только «прощайте», или слегка приподымают шляпу. В театр ходят они обыкновенно в кресла, расхаживают с форсом по буфетной, гордо поводят глазами по всем ложам и бенуарам; при встрече знакомого, слегка пожимая его руку, отмачивают остроты вроде следующей пошлости актера: с пальцем девять-с! — со львовскою наблюдательностию лорнируют или наводят трубку на хорошенькую актрису, позволяя себе иногда следующие замечания:

— Сеня! — посмотри на L. Diable! comme elle est belle![1] Чтобы, если бы... ну, сам знаешь что.

— Эк ты, высоко заехал! — говорит его сосед, тоже зеркальный.— Это, братец, не нашего колибра. Вишь, не даром военщина-то шумит. Давай и мы. Вот так я думаю подобраться к Я., тоже славная

---

[1] Черт! как она хороша! *(фр.)* — *Ред.*

штучка! а? не прада ли? Смотри, какая милашка в бенуаре!.. Вот выходит Я.

— А много ли у тебя денег? — спрашивает первый.

— Если не форсисто жить, без экипажей и лошадей, то с нея будет,— отвечал Сеня.

Этого отдела приказчиков вы встретите везде: и в Царском, и в Павловске, и на Безбородкиной — всегда с обычною их физиономиею, с их ухватками, которые, несмотря на все старание скрыть их, выказываются наружу. Страсть подделываться под тон порядочного человека, копировать все, как бы оно глупо или нелепо ни было,— эта страсть идет у них об руку с известным уже нам старанием наживаться.

Приказчики перинной, суровской линии и Апраксина двора более или менее схожи друг с другом. Оригинальнее всех из них последние.

Они стоят несколькими ступенями ниже зеркальных: это отражается и в их одежде, и в физиономии, и в ухватках, в самой позиции, в голосе. Умственные способности их притупились при самом развитии, как распуколка* от утреннего мороза! Между ними редко можно встретить франтика: все они одеты просто, без всяких вычур и модных утонченностей. Суконная фуражка, иногда шляпа, суконная накидка, вроде шинели, кушак или шелковый платок, которым они подпоясываются; большею частью полное, красное лицо; волосы, остриженные в кружок, иногда по-немецки и даже à la Polka[1] — вот элементы их внешности. В противоположность зеркальным, они, размахивая руками, беспрестанно вздергивая плечи, засучивая рукава, расхаживают по линии, взывают к проходящим:

— Что вам угодно-с? Что вы требуете-с? Господин! пожалуйте: у нас есть-с халаты, капоты, платья готовыя, фраки, жилеты-с; пальты разныя-с: саки*, с талиею, без талии! Барыня! Госпожа! Что вам угодно-с? У нас есть шляпки-с, барнусы... атлас, канифас*, канва, марля... Назар! дай-ка сайку с икрой!

Вы идете по линии, вам нужно купить что-нибудь. Вы еще не вошли в лавку, а уже со всех сторон кричат вам: к нам, к нам пожалуйте! Чтобы скрыться от шума, вы заходите в лавку, спрашиваете известную вещь — ее нет! Вы еще не дошли до порога, как уже у дверей дожидаются десятки приказчиков других лавок и почти силою тащат вас, предлагая и то и другое.

Вообще, здесь отсутствие всякой чинности, всякого порядка, всякой гармонии в целом: это, скорей, базар, торговая площадь, чем купеческие лавки. Вот здесь-то вы увидите обман во всей его полноте; вы слышите божбу, крик приказчиков, крик саешников; вы торопитесь убежать из линии, как из какого-нибудь грязного, нечистого места. Апраксинского часто вы встретите на Крестовском или в Екатерингофе, с неизъяснимым удовольствием смотрящим в стеклышки* и слушающим ораторскую речь мужичка с подвижным киатром: вот, извольте глядеть и видеть — едет Полеон с Напартом, и все енаральство и высшее офицерство за ним идет! И там, на высоких горах,

---

[1] Под польку *(фр.)*.— *Ред.*

храброе российское воинство из ружей стреляет, и с пистолей также, на музыке играет, в барабаны бьет. Столичный град хранцузский Париж взят нашими молодцами-удальцами! Вот извольте глядеть и видеть — город славный, залихватский Лондон, как на ладони: народ кипит и валит, крякает, деньгами брякает; высший люд все гуляет, купечество товары спускает; вот здесь лорд и милорд с мамзелькой гуляет и проч. и проч.

Впоследствии мы разовьем наше физиологическое наблюдение над приказчиком.

А. Лихачев

СВАХА

(Физиологический очерк)

Есть у нас на Руси замечательное, типическое лицо; лицо, можно сказать, единственное, сохранившее с незапамятных времен доныне свой первобытный, оригинальный характер, свои отличительные качества и свойства, непонятным образом ускользнувшие от влияния просвещения, преобразовавшего русский народ, изменившего более или менее его нравы и обычаи. Созданное на Руси, ему не имеет подобного ни одна нация, даже равносильного русскому его названию нет ни в одном языке: это лицо — русская сваха. Нет никакого сомнения, что в каждом народе существуют женщины, занимающиеся сватаньем и составивщие себе из этого занятия ремесло; но настоящей русской свахи, в обширном смысле, какое это название имеет у нас, вы, конечно, нигде не найдете. Русская сваха — это ходячий сборник всех вестей, всех сплетней, всех семейных тайн, в которые проникает она с неимоверным искусством; это олицетворенная хроника всего окружающего ее мира и всех в нем живущих; это живой адрес-календарь всех семейств, в которых есть дочери-невесты или сыновья-женихи, и вообще всех холостых и вдовцов, вдов и девиц, в деревне, городе или столице, смотря по тому, где обращается круг ее действий.

Свахи, однако же, бывают у нас двух родов: одни — занимающиеся сватаньем как ремеслом, которое их кормит; другие — пускающиеся в сватанье по страсти к свадьбам и к свадебным пирам. Свахи по страсти действуют часто добросовестно, бескорыстно, довольствуясь, в вознаграждение за труды свои, участием в пирах, на девишниках, обручениях и свадьбах, и браки, под их влиянием совершившиеся, не всегда бывают несчастливы. Напротив того, сваха по ремеслу, которую именно мы и намерены, по возможности, изобразить здесь, действует как хитрый спекулятор, как аферист, для которого к достижению цели своей нет ничего святого. Ложь, обман, хитрость, лукавство, бесстыдство, пустословие, нахальство, притворное добродушие и корысть — вот орудия свахи по ремеслу. Что к посредству подобных женщин прибегают люди низшего сос-

ловия, бедные чиновники, ищущие случая подняться, как говорят, на аферу женитьбою,— это не удивительно; но что к свахам адресуются отцы и матери семейств, иногда люди почтенные во всех отношениях, несмотря на то что ежедневно видят гибельные последствия браков, заключенных через свах, это истинно непостижимо; непостижимо еще более потому, что это делается в столицах, где господствует европейская образованность, где почти ничего не осталось коренного русского.

Каким образом обычай заключать брачные союзы через посредство свах мог сохраниться в столицах; каким чудом самые свахи там существуют поныне, удержав в продолжение целых веков свой первобытный характер, тип времен варварства в России, после того как вся Русь облеклась в форму европейскую? — это вопрос, который трудно решить. Положим, что теперь свахе не оказывают того почета, которым пользовалась она в старину. Во времена оны сваха имела доступ не только в боярские, но и в царские палаты; на свадьбах она занимала первое место между гостьми, а в свадебных поездах ей назначались, смотря по времени года, особая колымага или сани, нарочито разукрашенные. Теперь честят* сваху только в деревнях и в низших сословиях городских обществ, а в барские дома ей доступ закрыт; но в этом и вся разница между старинною свахою и свахою нашего времени. Во всем прочем она осталась та же, какою была при праотцах наших, и поныне есть, как уже сказали мы, почтенные семейства, которые без свахи не выдают замуж своих дочерей и не женят сыновей своих. Это факт, которого объяснить мы не беремся.

Наружные отличительные черты русской свахи следующие: она бывает большею частью вдова от 45 до 60 лет, пережившая, может быть, и уморившая по малой мере двух, а часто и трех мужей: женщина дородная, румяная, несмотря на лета свои, с лицом всегда улыбающимся, праздничным, с проницательным, лукавым взглядом, притворно-простодушным. Говорит она скороговоркой, испещряя рассказни свои пословицами и прибаутками и превознося красоту предлагаемых ею невест и женихов в простонародных, пошлых выражениях; большая охотница до кофе, которого пьет чашек по двенадцати, и за кофейником будет говорить без умолку от раннего утра до поздней ночи. Костюм ее: чепец с узкою оборкою, или платок, повязанный сверх чепца, обыкновенно двуличного цвета; платье или капот темный, преимущественно коричневый или темно-лиловый; большой платок с узким бортом, туго обтянутый около плеч и зашпиленный на груди булавкою, серьги жемчужные или из бус наподобие жемчуга, а в руках носовой платок, свернутый в трубочку, и большой ридикюль; некоторые из свах нюхают табак.

Когда сваха ищет жениха или невесты из семейства, которое, по ее предположению, не отвергнет ее посредничества, то первый приступ к сватанью начинается у ней обыкновенно рассказами про все бывшие в течение последних месяцев свадьбы в городе. Тут вы услышите подробную номенклатуру приданого каждой невесты и имущества каждого жениха, от убранства спальни до кухонного поло-

тенца, от недвижимого имения, или капитала в банке, до четвертака, данного после венца на водку церковному сторожу или наемному кучеру. О наружности женихов и невест и говорить нечего: она опишет их, начиная с головы и до последнего пальца, нередко с злостными насмешками над ними, в особенности, когда брак состоялся без ее вмешательства. В последнем случае она не преминет пожалеть и повздыхать об участи молодого или молодой, и в подкрепление справедливого соболезнования своего перескажет по секрету или скандалезную хронику, или корыстолюбивые виды, или бессовестные намерения той или другой стороны. Потом уже, вздохнув и допив 12-ю чашку кофе, станет она постепенно приближаться к цели своего прихода в дом.

— Вот так-то, матушка,— начнет она, обращаясь к хозяйке дома,— так-то пропадает у нас молодежь ни за копеечку. Женили, сударыня, Ивана-то Андреича, да не поздоровится ему от этой женитьбы. Спросил бы он у меня, уж я бы высказала ему всю подноготную про невестушку: так нет вот, обойдусь и без свахи, как будто мне и прибыль какая сватать его или другого! Благодаря бога, не нуждаюсь ни в чьей копейке, а жаль, как оплетут такого молодца. Ну, да бог с ним, не раз вспомянет меня старуху.— Или: — Так-то, сударыня моя, и спроворили Аграфену Петровну за нищего, что называется, ни рожи, ни кожи, а девушка славная, воспитанная, не такому бы чахлому чета. И приданое не пустяшное,— двадцать тысяч чистоганом — на улице не найдешь. Вишь, родители-то метили на чиновного; вот-те и чиновный, прости господи!! урод уродом! Да еще жидомор какой-то; жалованья получает 1800, а к венцу выпросил пару платья! тьфу! — прибавит она, оплевываясь,— и говорить-то стыдно. Подъезжали родители-то Аграфены Петровны и ко мне, да видишь, у меня жених не чиновен, всего титулярный, а этот, видишь, надворный*; и подлинно надворный: только бы в дворниках и быть ему. Нет, матушка, пускай мой не в чинах, да уж зато козырь козырем: росту высокого, черноволосый, черноглазый; лицом, что твоя красная девушка; человек деликатный, говорит по-французскому, квартиру нанимает не хуже своего начальника отделения, живет чистенько, опрятно, небель вся красного дерева, крыта шерстяным штофом; в комнатах по два раза в неделю полы вощат; в гостиной на столе бронзовые часы, а в передней вешалка под красное дерево. Правда, жалованье небольшое, 1200; ну, да знаете, перепадает кое-что от просителей. Вот и намедни принес ему какой-то купец в подарок газовую лампу, то есть она не то, матушка, чтобы была сделана из газу; газ, известно, идет только на дамские наряды, а названа она газовою потому, что вся прозрачная, из пунцового хрусталя и горит без светильни, именно, сударыня, вся прозрачная, как газ. Так вот уж женишок! Положим, хоть не в больших чинах, однако в петлице две кавалерии, Станислава и Анны; ну и денежные награды получает почти каждый год, когда 100, когда 200, а иногда и 300 руб. сер.: это в семейном быту не шутка. Вот что бы вам, матушка Анна Федотовна, подумать пристроить Александру-то Петровну; ей-ей, не будете каяться; или вот хоть Сергея Петровича. А

уж что у меня для него за невеста, так... — тут вы услышите звук поцелуя свахи в оконечности пальцев, сложенных вместе в виде воронки... — просто первый сорт. Приданого на 15 тысяч рублей, да чистых, сударыня, 35, да квартира в доме на Песках. Свой дом, матушка, у родителей-то, двуэтажной, низ каменный, а верх деревянный, и дом как полная чаша, и серебра и всякого добра вдоволь, а дочка-то одна как перст. Да что за лебедка — просто загляденье: стройная, белая, чистая, румянец во всю щеку, 17 лет, глаза голубые, а брови-то, брови-то, бров.. и.. т..о... — Здесь сваха от избытка чувств последние слова договаривает замирающим, едва внятным голосом, закатив глаза под лоб и проведя сложенными вместе указательным и большим пальцами по бровям своим дугообразно...— как ниточка.— Потом переведя дух, продолжает безостановочно.— Приданое, сударыня, как имела честь докладывать, барское: платьям, капотам, мантильям, шляпкам и чепцам счету нет, белье все голландского полотна, а к венцу дюжина рубах батистовых и для визитов дюжина платков таких же, с вышитыми углами и с вензелем; киота с образами в золоченых ризах, серебра столового и чайного на 24 персоны; ну, словом, не невеста — клад; да какая добрая, да какая приветливая, да что за нрав ангельский. Эх, кабы голубчик мой Сергей Петрович решился... уж уладила бы в неделю все дело; а там веселым пирком, да и за свадебку. Пусть на меня положится — в накладе не будет; не из корысти, вот те Христос, не из корысти; ведь я это красное солнышко на руках носила, так как не порадеть? а женится, так и сам за спасибо старухи не забудет. Что бы, матушка Анна Федотовна, Сергею-то Петровичу съездить в воскресенье к Знаменью; там моя красотка каждый праздник у обедни бывает, так вот бы и посмотрел, ведь за смотр денег не платят; а как взглянет да приглянется она, так уж мое дело. Ей, подумайте, матушка; и в родню-то войдет не в какую-нибудь: люди все хорошие, с деликатным обхождением, умеют жить в свете, не чванны и за чиновными да богатыми не гонятся, был бы добрый человек да по сердцу дочке; а уж что голубчик мой понравится, так и сомневаться нечего. Еще бы эдакой графчик не понравился! Ну, такая парочка, что хоть со свечкой поискать!

Всю эту длинную рацею сваха будет говорить почти не переводя духу, и коль скоро заметит, что сделала хотя малейшее впечатление на хозяйку, на сына ее или дочь, если они при том присутствовали, то непременно доведет до того, что сперва согласятся посмотреть жениха или невесту, потом, по неотступным настояниям свахи, решатся познакомиться, а там не пройдет месяца, как состряпают свадьбу, щедро наградят сваху, и молодые — в чистых дураках. Знаменитый жених окажется гол как сокол, иногда и с сомнительною репутациею, а за богатой невестой, вместо 35 тысяч чистогану, по словам свахи, надают на 35 тысяч векселей, за которые не возьмешь и по 10 к. за рубль; серебро и бриллианты, которыми пустили пыль в глаза жениху, взяты напрокат, а родительский дом, будущее достояние дочери, давным-давно заложен, просрочен и чрез неделю продастся с публичного торга. Свахе до этого дела нет, она

свое взяла, а там хоть и трава не расти; в оправдание свое она станет клясться всеми святыми, что сама была бесстыдным образом обманута, будет ругать обманувших ее, хоть от того обманутым нисколько не легче. Иногда мало того, что обманут приданым, но обманут и самою невестою: по справке окажется, что ей вместо 17 лет давно за двадцать, и бедный жених вместо богатой невесты-красавицы после венца находит размалеванную куклу, только что не в одной сорочке.

Несмотря на это, однако же, сотни искателей невест и искательниц женихов приглашают к себе свах и ездят к ним на дом. В последнем случае вот как водится у свах: положим, приходит к свахе молодой человек, которого она никогда не видала. «Что, батюшка, прикажете?» — спрашивает она. Молодой человек заминается, говорит, что много слышал об ней хорошего, слышал, что она принимает участие в положении небогатых молодых людей, что он имеет намерение жениться и что пришел просить ее помощи, по рекомендации многих, обязанных ей своим счастьем. Сваха зорким глазом окидывает тут искателя невест с ног до головы и с первого взгляда угадывает почти безошибочно, с кем имеет дело и что из него сделать можно. «Милости просим, батюшка,— говорит она, приглашая гостя в другую комнату,— почему не пособить такому молодцу? Но надо заметить вам, батюшка, что нынче невесты крайне разборчивы стали. Позвольте узнать, где служить изволите, какой чин имеете и сколько получаете жалованья? Товар надо продавать лицом, батюшка, так не прогневайтесь, если кое-что мне от вас узнать потребуется». Тут начинается со стороны свахи формальный допрос жениху: имеет ли, сверх жалованья, свое состояние, кто его родители, где живут, есть ли у него братья и сестры, какие виды имеет по службе, не играет ли в карты, не употребляет ли крепких напитков, не нюхает ли или не курит ли табаку, не подвержен ли каким болезням? Получив на все ответ, сваха предлагает ему книгу, в которой ведет она реестр невестам всех возрастов, всех сословий и всех возможных состояний, с подробным описанием их физических, моральных и прилагательных достоинств, и с отметкою, какого каждая из них ищет жениха. Для образца выписываем три статьи из такого реестра, бывшего у нас в руках.

1) Елена Андреевна К**, третья дочь купца 2-й гильдии, 19 лет, девица, роста среднего, темно-русая, глаза карие, румян не употребляет, говорит по-французски, играет на фортепиане и на гитаре. За нею приданого 50 тыс. рублей банковым билетом, бриллиантов, серебра, платья и белья голландского на 25 тыс. руб. По смерти отца каменный дом на Лиговке, обще с двумя замужними сестрами, и капитал в 200 тыс. руб., с ними же нераздельно. Желает полковника, или капитана, но в таком случае гвардейского, не старее 35 лет, черноволосого, не слишком полного, но и не худощавого, высокого роста, чтоб говорил по-французски, не курил табаку и имел кроме жалованья, своих не менее 2 тыс. руб. в год.

2) Авдотья Васильевна В**, единственная дочь коллежского асессора, 17 лет, белокурая, глаза голубые, воспитана в пансионе. При-

даного на 3 тысячи руб., дом на Петербургской стороне, приносящий дохода, кроме квартиры, назначаемой молодым, до 300 руб. в год, а после смерти отца капитал в 10 тыс. руб. ассигн. Желает чиновника, хотя небольшого чина, но при выгодном месте, преимущественно по провиантской или комиссариатской части, с жалованьем не менее 1000 руб., от 25 до 28 лет, белокурого, с голубыми глазами и отнюдь не румяного; может быть и черноволос, но во всяком случае с бледным и интересным лицом. Желательно также, чтоб играл на каком-нибудь инструменте, на флейте, или гитаре, или даже и на фортепиано; впрочем, необходимости в этом нет, но чтобы отнюдь не нюхал табак.

3) Вдова 25 лет, имеющая до 10 тыс. годового дохода, не имевшая детей, желает хорошего и доброго человека, преимущественно военного или из отставных военных, от 30 до 35 лет, высокого роста, благонадежного здоровья и крепкого сложения; красоты не ищет, но чтобы был не безобразен, черноволос и в усах; табаку бы не нюхал, а курить может; за состоянием также не гонится; может быть и старее несколько 35 лет, но непременно в цветущем здоровье, не бледный и не худой.

Фамилии в этих реестрах не всегда выставляются; часто не означают в них и звание невест, хотя это свахам все достоверно известно, и они нередко на этом основывают план своих действий к удаче предположенного обмана. Женихам ведется реестр такой же, и если явившийся претендент не найдет в списке невесты по вкусу, то сваха просит его записаться в число предлагающих себя в мужья, с таким же подробным объяснением всех его достоинств, как показано в выписанных нами статьях о невестах. Затем претендент на женитьбу, сделав свахе, в виде задатка, небольшой подарок, а если ищет невесты повыгоднее, то заключив с нею вперед условие на счет вознаграждения ее, откланивается, оставя ей свой адрес, и может быть уверен, что через неделю, а много через две сваха явится к нему с ответом. Если отысканная свахою невеста окажется таковою, какую желали, то назначается первое свиданье, разумеется, по соглашенью с невестою. Эти свиданья обыкновенно бывают за обеднею в церкви, в приходе которой живет невеста, и если обе стороны останутся довольны, то сваха вводит в дом невесты счастливого жениха, улаживает свадьбу, берет с той и другой стороны деньги, ту и другую сторону обманывает самым наглым образом, в чем сами сосватанные нередко ей помогают, и кончается тем, что одна сваха в барышах.

Нет спора, что и через посредство свах составившиеся браки бывали счастливы; но этому причиною по большей части один слепой случай: или одна сторона окажется добросовестнее другой, против всякого ожидания свахи, или сосватанные действительно понравятся друг другу и потому менее станут смотреть на прилагательные достоинства, составляющие обыкновенно главную цель браков посредством свах. Невзирая на это, ежедневно встречаете вы людей, через свах продавших имя, высокое звание, густые эполеты и ши-

тые мундиры свои за сотни тысяч купеческим дочкам, которые потом, в непривычном кругу родных и знакомых мужей своих, играют роли ворон в павлиньих перьях*.

А. Вилламов

ГОСТИНОДВОРЫ

(Физиологические заметки)

Обозревая мысленно нравоописательные произведения современной литературы, столь богатой всевозможными типами различных каст и состояний, я не нашел между ними до сих пор существ, не менее других стоящих внимания наших моралистов и сатириков. Говорю о гостинодворах-приказчиках, которые по нравственной цивилизации составляют разряд людей, совершенно отдельный от других торгующих сословий. Было, правда, несколько времени тому назад, нечто вроде описания Гостиного двора (сочинение г. Булгарина*); но, к сожалению, тут не было ни лицевой стороны, ни изнанки Гостиного двора, которой ошибочно смешан с Апраксиным и Щукиным дворами, и в довершение всего мои благородные собраты поставлены, о, ужас!.. на одну половину с апраксинцами[1]...

С чувством праведного негодования вопию к Аполлону об этой страшной несправедливости, и даже дерзаю сослаться на всех прекрасных посетительниц и высокопочтенных посетителей Гостиного двора, что подобных типов нет между гостинодворами; разве существовали в то время, когда еще, по выражению старожилов, за Невским волки бегали... Да! Согласитесь со мною, что сравнить со щукинцем или апраксинцем гостинодвора с суровской линии, которого в воскресенье, на солнечной стороне Невского проспекта, вы никак не отличите от французского посланника, есть тысячу раз страшное заблуждение!.. Итак, рассудите беспристрастно: с одной стороны, совершенное забвение, с другой, непростительное искажение,— все это вместе не должно ли было заставить меня с геройским самоотвержением подать на торжественном ареопаге просвещенного мира голос в защиту забытых и униженных собратов моих, меня, хотя не принадлежащего еще к гостинодворам высокого полета, но всегда готового до последних сил защищать репутацию моего прекрасного Гостиного двора?..

Но так как в своем деле судьею быть нельзя, то я предоставляю другим завидную славу разбирать философически моральную сторону моих героев и ограничусь одними сухими фактами, передам будущему историографу Гостиного двора некоторые черты жизни людей, остающихся до сего времени в неизвестности, будто обитающих между антиподами неоткрытого острова, и которые со временем бу-

---

[1] Автор этой статьи, вероятно, позабыл физиологический очерк «Приказчик», напечатанный в V томе «Финского вестника», в котором г. Лихачев весьма удачно схватил некоторые черты этого замечательного сословия.

дут играть немаловажную роль во всех родах нашей литературы. Что они вскоре явятся на сцене ее, я не сомневаюсь нисколько, ибо твердо уверен, что вопль молений моих отзовется в поэтических сердцах наших деписателей. Ведь дарят же они нас типами водовозов, чиновников и т. п.; чем же провинился перед ними бедный гостинодвор?..

Гомеры, Аристофаны, Шекспиры!.. к вам взываю я от лица забытых вами братий моих!.. Во прахе перед величием вашей славы молю вас, отмежуйте хотя аршинную частицу на обширной ниве словесности существам, достойным творческого пера вашего, составляющим не последнее звено в общей массе человечества!.. И, да благословит вас Феб!! Неужели голос мой будет гласом вопиющего в пустыне?..

Впрочем, как хотите, была бы честь предложена, а я между тем приступаю к делу!..

Общество гостинодворских приказчиков по духу разделяется на многоразличные секты, по вещественному порядку вещей, на два класса: *главных*, составляющих аристократию Гостиного двора, и второстепенных, или *подручных*.

Последний разряд многочисленнее в пять раз первого. В моральном же отношении в обоих разрядах нет ничего отличительно резкого, глубокопоразительного, над чем можно было бы задуматься хотя на минуту. Все они как бы вылиты в одну форму, хотя некоторые из первоклассных джентльменов Гостиного двора и глядят Байронами, или становятся в величественную позитуру à la Каратыгин*. Конечно, между ними есть исключения; но где же не бывает исключения?.. Я знаю некоторых; это люди с истинно образованным умом, с поэзиею в душе, как будто ошибкою судьбы брошенные на незавидную дорогу, достойные лучшей участи; но эти исключения составляют одну сотую всего народонаселения Гостиного двора, и я, из сострадания к ним, вычеркиваю эту сотую из общей суммы; результат выйдет один и тот же.

Отличить один разряд приказчиков от другого можно одним взглядом. Если случится вам проходить по линии Гостиного двора, вы тотчас заметите *главных,* зимою — по темному еноту воротника шириною в три четверти аршина или бобровому у шинели; летом же — по пуховой шляпе, изящному покрою сюртука и необыкновенно яркому цвету жилета и брюк. Они стоят у столба напротив своей лавки, свысока смотрят на все их окружающее, очень редко снимают шляпу перед кем бы то ни было и объясняются друг с другом во всеуслышание цветистыми фразами сомнительной правильности. Если вы издалека услышите громкий смех на линии между приказчиками, то знайте, что это смеются *главные*.

Второстепенные персонажи стоят смиренно на пороге своей лавки, усердно изгибаются тупым углом перед проходящими, вежливо прикасаясь рукою к полям своей поношенной шляпы. Иногда тупые углы превращаются с геометрическою правильностью в прямые, смотря по костюму проходящего или по приятному личику проходящей. Второстепенный приказчик не дерзает становиться далее аршина от своего порога или отойти без надобности за следующую лав-

ку, и разве в отсутствие *главного* решится вприпрыжку подбежать шагов за десять к приятелю, разнюхать в компании с ним березинского, или сказать ему лаконически по секрету словца два-три. Впрочем, и между ними есть люди с отважными характерами, дерзающие приближаться к заветному столбу или произвольно болтаться от лавки к лавке; сии последние копируют *главных* и состоят с ними на приятельской ноге, вследствие секретных отношений.

Между главным приказчиком и подчиненным его расстояние неизмеримое, как по вещественному, так и нравственному положению; последние получают жалованья вполовину менее первых и находятся в совершенной зависимости от них. Чего не может сделать гадкого главный для своего подручного, в особенности, если последний не из бойкого десятка? О, многое! Не говоря о мелочах, он может насолить ему перед хозяином, за безделицу может распечь его, может даже не отпустить его со двора в воскресенье, что составляет величайшее из огорчений в жизни гостинодвора. И подручный понимает все это в совершенстве, и потому едва ли не больше мальчика исповедует рабское почтение к особе главного и безусловное повиновение воле его, хотя в глазах других и не показывает ни малейшего признака этих обстоятельств.

Ежедневная жизнь гостинодвора делится на домашнюю и гостинодворскую. В домашней жизни он совершенный мученик неволи, в будни хозяйская квартира для него настоящая тюрьма, из которой, по окончании торговли, вечером нет уже для него выхода на свет божий. Здесь он, исключая праздника, закупорен в четырех стенах, как муха, попавшаяся на зиму между оконными рамами; и нужно много гениальной изобретательности ума, чтобы вырваться ему на вечер из своего заточения. Для главных есть, конечно, много исключений, но для второстепенного до сего времени я знаю только два благодетельные случая, отворяющие беспрепятственно двери хозяйской квартиры; это — пожар и венчанье свадьбы. И если б вы знали, с какою внимательностью наблюдают они эти два противоположные обстоятельства! с какою заботливостью следят они в воскресенье за обеднею выклички венчающихся, как внимательно прислушиваются они дома к экипажному стуку по улице!.. Уверяю вас, за версту отличат, по сотрясению рам, пожарный поезд от обыкновенного! И вот он несется, как вихрь, мимо квартиры обрадованных невольников, и все встрепенулось, засуетилось, все кричит во все горло: «Иван Иваныч! Иван Иваныч!.. пожар — возле нас горит... пожар!»

— Ну, что вы тут болтаете? где же возле нас? и зарево-то не в той стороне совсем! Должно быть, на Охте!

— Что вы, помилуйте, Иван Иваныч!.. да близехонько — рукой подать, вон и искры видно...

И засуетившийся бог знает отчего Иван Иваныч кричит уже встревоженным голосом: «Бегите-ка, господа, поскорее, да разузнайте, где это и в самом деле...» Но мои господа повторять не заставят; схватил фуражку, подпоясал носовым платком халат, накинул сверху что попало под руку, не забыл прихватить и кошелек кстати, да и бы-

ли таковы!.. Да уже и подсобляют тушить огонь, до самого рассвета сил своих не щадят на пользу ближнего!.. А спроси после, где горело?.. Да, впрочем, зачем же спрашивать? Поутру в Полицейской газете* узнаете...

Второй способ не так удачен и, к прискорбию гостинодворов, выходит из употребления, и представьте, из-за каких пустяков!..

Стали, однажды вечером, проситься у Ивана Иваныча со двора: Иван Иваныч! позвольте-с к Казанской*, богатую свадьбу венчают-с... а Иван Иваныч и рот разинул: да что, говорит, сегодня?.. — То есть, как-с, что? — Да какой день? — спрашивает Иван Иваныч.

Молодцы и язык прикусили; ведь этакое иногда придет в голову затмение, из ума вон, что сегодня четверток...* И что бы, кажется, за важное дело?.. кто по середам не ошибался? так ведь нет же, приди этому Ивану Иванычу на ум бог знает что такое.— А,— говорит,— голубчики! так вы у меня этак-то... так-то... и то, и то,— и очень много неприятного наговорил Иван Иваныч; мало этого, еще сказал Ивану Васильичу, Иван Васильич скажи Василью Иванычу... и пошло по всему Гостиному, по всем хозяевам, и вот теперь из пустяков, по глупости двух-трех болванов, страдает целая нация... Изволь сидеть дома да ждать пожара...

Впрочем, и дома бедные узники не лишены некоторых невинных развлечений; в дружеской компании убивают они скучные, бесконечные зимние вечера, по копеечке в три листика*, дерзают и в преферансик; иногда втихомолку является и веселительная влага, контрабанда, пронесенная перед глазами хозяина оборотливым мальчишкою в пустом сапоге, бывшем будто бы у сапожника в починке. И вот, с помощью живительного эликсира, оживляется скучная беседа, все заговорило и запело, составляется тесный кружок, на сцену является запевала с гитарою, слегка выделывая ногами маленькие антраша, и пошла потеха, и забыто все, забыты треволнения гостинодворские, забыты все лишения и скука однообразной жизни... но надолго ли?.. Вон... показалась в дверях кислая физиономия Ивана Иваныча!.. и конец всему...

Зато уже праздником вознаграждаются со сторицею все неприятности будничной жизни гостинодвора...

О, конечно, никто, как он, в целом мире не чувствует так живо приближение праздника, никто, как он, в праздник не предается так глубоко порывам глупых удовольствий.

Но нет!.. не хочу отдать на поругание света своих собратий, не подниму завесы, скрывающейй язвы нашего общества, потому что в них нет обиды ближнему!! Да и кто богу не грешен, царю не виноват?.. Живи, живи, да еще и не стукни! Почему ж иногда с хорошим человеком чайку не напиться?..

Но да не дерзнет никто упрекнуть гостинодвора в присвоении хозяйского добра!.. Скажу не из пристрастия, но положив руку на сердце, что последнюю, трудовую свою копейку он, не вздохнув, поставит ребром, но к чужому добру не прикоснется даже помышлением!.. Люди часто судят по признакам, и потому взводили на него, бедного, небылицы!.. Конечно, в семье не без урода; бывали и меж-

ду гостинодворами соколы, у которых находили червончик за ногтем или видали рыльце в пушку; но эти казусы редки!.. Горе гостинодвору, замеченному в воровстве!.. Он погиб уже невозвратно, его всюду преследует общее презрение, и нет ему угла свободного между сослуживцами...

Гостинодвора, в отношении к жизни, можно сравнить с заведенною машиною. Он в своей сфере живет и действует ежеминутно по одним данным, по одним законам движения; каждое утро, в один час, минута в минуту, выходит он в лавку, несмотря ни на какую погоду, хотя бы в то время все громы небесные рушились на землю. *Второстепенная* толпа отправляется вперед, *главные* же, врассыпную, несколько позже, не желая унизить себя идти с подчиненными, или сказать иначе, из глупого тщеславия, чтобы посторонние считали их за что-нибудь позначительнее Гостиного двора.

В девять часов утра все лавки уже отворены, приказчики обоих разрядов, не продавши ни на грош, успели уже истратить каждый по полтине на завтрак; но покупателей нет еще, и в это время, кроме нищих и разносчиков с горячими пирогами, на линии Гостиного двора не увидишь никого более; разве какая-нибудь почтенная капральша времен очаковских* забредет купить шестигривенного ситцу, или востроглазая швея из модного магазина Грязной улицы забежит к знакомому прикупить пол-аршина материи к заказанному салопу. Они всегда покупают слишком рано, ибо по опыту знают, что позже никто не впустит их в лавку. Настоящая торговля начинается с 12 часов, и вот тогда-то открывается обширное поприще деятельности и красноречию гостинодвора. С покупателями незнакомыми, или так называемыми с ветру, упражняется второстепенный приказчик, как имеющий менее знакомства; главный же бодрствует на линии у любимого столба в ожидании знакомых покупателей, или с высоты своего величия, как человек солидный, внушающий к себе невольное доверие, поддерживает с достоинством уверения своего подручного перед покупателями. Часто случается, что главный возвращается домой, не продавши ни на грош, хотя этим не делается никакого упущения хозяину. Самая деятельная торговля бывает пред большими праздниками, пасхою, троицею, рождеством; самая тихая — летом, в каникульное время, когда чиновные аристократы средней руки, главные покупатели Гостиного двора в долг, разъехались уже в наемные карточные дачи по окрестностям столицы, подышать сырым воздухом, поглотать пыли и насладиться комфортом дачной жизни.

В это время гостинодворская братия, свободная от дела, без заботы стоит на линии, балагурит с каким-нибудь пройдохою-нищим, платя ему пятаками за каждую площадную остроту; лакомится шестигривенною клубникою и наслаждается раздирающими уши звуками шарманки нищего тирольца. А бедные хозяева, собравшись в кружок в лавке, поужав животы, жалуются друг другу на новые времена, охают от худой торговли, больших расходов и нынешних приказчиков!..

Правы ли они в последнем случае? Аллах их ведает!.. У них обыкновенною меркою приказчицких достоинств служит приказчик давно минувших дней; все они без исключения воздыхают о благословенной старине, косо посматривают на успехи юного поколения на пути цивилизации и бранят, зажмуря глаза, нынешнее образование приказчиков...

Москва, вишь, виновата*.

Впрочем, эти господа хозяева во мнении приказчика совершенные вандалы, отставшие полустолетием от нынешних понятий; приказчик же, как просвещенный человек, понимающий условия своего века, не обращает внимания на вздохи и замечания хозяина и только... слушает да ест...

Не берусь рассуждать, кто из них прав, кто виноват, не могу сравнивать нравы нынешних приказчиков со старыми, потом что о последних знаю по преданию только, а ведь свежо предание, а верится с трудом*, сказал некто ранее меня. Не мое бы дело говорить здесь и об образованности гостинодворов, но, хотя слегка, коснусь этой важной статьи. С сожалением должен сказать я, что образование свое начали они не с головы, а с ног; все они тщательно следят за последним изменением сюртука, фасона шляпы; многие из них берут уроки в танцевальных классах,некоторые прекрасно пляшут польку, многие из *главных* не пропускают ни одного из зимних бенефисов, в которых из первых рядов кресел наводят с изумительною ловкостью светских львов огромные лорнеты на ложи первого яруса; наконец, все они говорят тоном высокого слога, в простоте словца не вымолвят; но литературные понятия их не простираются далее «Северной Пчелы» и романов Поль-де-Кока*. Да чего же еще больше надобно для них?.. В их положении изящный костюм, право, нужнее их головы!..

Тень прежней патриархальной простоты нравов осталась теперь только между апраксинскими и щукинскими сидельцами; но в последние года благодетельные лучи просвещения осветили и темные притины* обитателей Щукина и Апраксина дворов, и уже многие из последних, копируя гостинодворов, усвоили себе галантерейное обхождение их и заменили великолепными бакенбардами свои ярославские бородки; но за всем этим все еще они составляют жалкую пародию на джентльменов гостинодворских; трудно переработать рыночную натуру на гостинодворский лад.

Жестоко ошибаются те, которые считают Гостиный двор в одной категории с Апраксиным и Щукиным; расстояние между ними более нежели десять сажен проспекта... В короткое время Гостиный двор совершенно изменил и свою физиономию, и свой характер, что преимущественно относится к двум суровским линиям; остальные две, суконная и зеркальная, подходят к ним приблизительно. На последних сохранились еще остатки прежней простоты лавок и местами мелькают еще православные бородки и длиннополые сибирки.

Но обращаюсь к моим героям!..

Однообразно, скучно течет жизнь их, как мутная струя по болоту; каждый день видеть одни и те же предметы, говорить одни и те же фразы перед покупателями, затверженные уже наизусть, не заботясь приискивать новые выражения, право, скучно! точно белка в колесе!.. Да если взглянуть и повыше Гостиного двора, не одно ли и то же увидишь на белом свете?.. Но там есть, по крайней мере, цель, точка, виднеющаяся вдалеке, до которой достигнуть не щадят многие ни сил, ни способов; а у гостинодвора в перспективе нет, кажется, ничего... есть, конечно, у *главного* цель быть хозяином, у *второстепенного* — быть главным, да на беду ваканция одна, а кандидатов сто; приходится поневоле не всем быть великими мира сего.

Конечно, есть между ними своего рода Наполеоны, но про Наполеонов и говорить нечего, им и книги в руки! речь идет об общей массе.

Но не подумайте, что гостинодвор считает себя за страдальца неволи, что он ропщет на свою долю; нет! он уже с малолетства свыкся с своим положением, без ропота на судьбу покоряется незавидным обстоятельствам своей жизни, и в этой безусловной покорности он не видит никакого пожертвования; она обратилась ему в привычку: он живет, или прозябает, как будто и должно быть так, а не иначе... едва ли большая часть из них понимает свое настоящее положение, и почти все они, позабыв прошлое, не думая о завтрашнем, почитают себя счастливейшими существами в мире...

В заключение всего скажу несколько слов о будущности большей части из моих героев, ожидающей их на конце блестящего поприща гостинодворского. Сколько бы ни получал гостинодвор жалованья, хотя бы был он скупее Мольерова Гарпагона*, у него не останется гроша на черный день... половину годовой платы он должен употребить на щегольской наряд, иногда по собственной склонности к франтовству, а больше по необходимости, ибо изящный костюм почти нужнее его головы; об остальной части его достояния и говорить грустно!.. есть у гостинодворов несчастный обычай, вынужденный необходимостью, обычай продавать в долг, а у почтеннейших покупателей есть варварский обычай, покупая на честное слово, не платить своих долгов, вероятно, по забывчивости...

Приказчик, веря на слово своему знакомому покупателю, должен принять на собственный страх пропавший хозяйский капитал; к несчастью, эти случаи часты, и вот бедный труженик при окончательном расчете с хозяином должен иногда оставить у него все плоды многолетних трудов, стоившие ему столько забот и лишений, которые, может быть, каждую ночь мечтая с подушкою, считал он по пальцам, созидал воздушные замки в воображении, которые, может быть, обеспечили бы на всю жизнь его безбедное существование вместе с престарелою матерью, бедною сестрою... Еще хуже бывает, когда бедняга имеет дело с хозяином без сердца и совести и когда пропавший капитал превышает зажитую плату!.. тут нередко приходится оставить под прилавком у хозяина свою великолепную шубу и плащ, в которых он во дни благополучия веселый, беззаботный, так гордо расхаживал в воскресенье по солнечной стороне

Невского проспекта, самонадеянно посматривая на все его окружающее... а теперь!! Боже мой! что за комиссия быть гостинодвором!.. И только одни существа в целом мире не оттолкнут от себя с постыдным эгоизмом отставного гостинодвора!.. и кто бы, вы думали?.. все те же гостинодворы-приказчики, его бывшие сослуживцы, которых, может быть, ждет в будущем та же самая доля... только одни они с бескорыстным участием обеспечат хотя несколько бедственное положение своего однокашника; только одни они с благородным состраданием подадут ему руку помощи и поддержат его на краю гибели!..

Но что сказать о тех существах, которые были причиною того, что несчастный гостинодвор остался теперь в одном сюртуке на двадцати градусах мороза, без средств к неукоризненному существованию, без гроша за душою, без надежды на будущее?.. Куда пойдет он теперь, на закате лет, привыкший к довольной жизни, не имеющий ни малейшего понятия ни о каком ремесле, не знакомый с работою поденщика?..

Что сказать о них, может быть, вертящихся в эту минуту под страстные звуки Штрауса* в великолепном разгуле бала или наслаждающихся итальянскими напевами в опере Большого театра, чудно разодетых в бархат и шелк на счет невинного страдальца?.. Если я обращусь к его бывшему хозяину, тот, по крайней мере, скажет мне, пожав плечами: «Дело торговое!». Но что скажут они?.. не знаю... пожалуй, в утешение прочтут басню о Стрекозе и Муравье!*.. итак молчу, не мое дело!.. Но бедняку уже не придется здесь рассчитаться с ними, не здесь уже отплатится им горькая слеза его.

П. Федоров

ЯРОСЛАВЦЫ

(Физиологический очерк)

(И. В. Лук-ву)

Дурен, да фигурен,— в потемках хорош.

Ярославская поговорка.

Если когда вам встретится на улице существо, молодое или, пожалуй, даже и пожилое, одетое, как говорится, во что бог послал, таскающее в коробке какую-нибудь крысу, пойманную за морем, или сурка, невольного туриста, едва дышащего от долгого и продолжительного путешествия по белу свету, или навертывающего шарманку, осипшую от прогулок по северному морозу и сырости, не ломая долго головы, скажите: савояр!* и идите себе своим путем-дорогой, не стараясь изучать глубоко отличительных черт их характеров. Разве если уже вы так любопытны и нечего вам делать более, то заставьте его повертеться перед собою на одной ножке и поразодрать вам слух какою-нибудь мелодиею, отзывающеюся вместе и полькою, и вальсом, и «чем тебя я огорчила?», и спешите далее в полной уверенности, что на другой день вы встретите того же индивидуума, в той же одежде, с теми же атрибутами, покуда не умрет у него мышь, которую он еще и по кончине ее долго будет таскать

и просить на погребение, не разобьют веселые гуляки больную шарманку о его же курчавую голову, или не умрет от недостатка средств к жизни само это прозябающее, прибредшее издалека в сладкой уверенности найти в замороженных наших душах сочувствие к звукам и выбирать из наших карманов медные гроши. Не требуйте и не ждите от этих людей, чтобы они были способны на что-либо другое; не полагайте, чтобы вы когда-либо могли носить даже хоть сапоги савоярской работы — куда! я почти уверен, что на другой день вам бы пришлось отыскивать по всему городу отпадшие подошвы. Избави бог взять их даже к себе в услужение, кроме того случая, если у вас в квартире много мышей и никто из домашних не имеет столько смышлености, чтобы сделать мышеловку. Так, видно, им написано на роду, как написано на роду олончанинам вечно тесать гранит и мрамор, владимирцам рубить бревна. Суздальцам украшать станционные дворы эстампами, изображающими погребение сибирского кота, раскаяние блудного сына, пасущего свиней, находящихся от него в десяти верстах, и облокотившегося по сему случаю на вершину сосны, на которой, не разгадает никто *почему*, уселась какая-то птаха, чуть ли не вдвое больше его буйной головушки, с надписью над нею: *и пение соловья не казалось сему непотребному сладким,* и пр. и пр., словом, теми фигурами, у которых носы то синие, как у павианов, то зеленые, как обертка «Финского Вестника», смотря по тому, какая прежде краска попалась под руку художнику. Так, видно, им всем написано на роду, как написано на роду вяземцам печь пряники, тулякам делать замки да запоры, вещи самые выгодные и употребительные в настоящее время; тверякам наполнять всевозможные гостиные ряды обувью, получившею от носящих ее потребителей название *«сапог до ветерка»*; казанцам продавать мыло, от которого через час что-то такое появится на лице, что, взглянув потом на себя в зеркало, перекрестишься да оплюешься и при новом же первом предложении невольно как-то сложишь перед продавцами кулак так, как называют такое сложение провинциальные барышни *фигою,* фигурою плода, впрочем, очень употребительного, а отнюдь не презентабельного.— Что город, то норов, что деревня, то обычай, говорит русская пословица; дед жил свиньей и внук поросенком; потому, если вы встретите где-нибудь на улице мужичка, несущего с собою котомку и топор, можете смело осведомиться у него, каковы, мол, озимы во Владимире,— или попадется вам навстречу извозчик, подпирающий под бок сухопарую клячу, справьтесь безошибочно о Пскове, если Псков имеет в себе что-нибудь для вас занимательного. Зато если вы увидите когда-нибудь на улице фигуру, идущую так, что движется не только каждый член, но даже каждая частица члена, фигуру, потряхивающую и кудрями, и шапкою, идущую прямо, не отстраняясь, как солдат напролом, не спрашивайте, откуда он; говорите утвердительно: ярославец!

Ярославцы — народ нежный, деликатный, не марающий своих круглых лиц ни известкою, ни каменной пылью, ни сапожным варом: ярославцы народ промышленный, который вам и порося обратит в карася, и на воде не утонет, и в огне не сгорит, на обухе рожь смолотит, шилом патоку заварит. Впрочем, и зачем бы было и говорить о

ярославцах? Как будто они не известны всякому человеку, имеющему только желудок да очи, чтобы рассмотреть всевозможные символические вывески и с руками, с подносами, выходящими из облаков, и с самоварами, под которыми человек в рост мухи открывает кран, вывесками, по которым решительно можно в России каждому памятливому путешественнику очень хорошо научиться географии без помощи учителя и, не солгавши, сказать, что мы, дескать, побывали и в Вене, и в Аршаве, и в Кронсбере*, и из Москвы, так сказать, улепетывали, подбирая пятки, если бы не чесался язык да не было лишней бумаги! Взойдите в любой дом, ознаменованный надписью *растерации, трактера, гостиницы, харчевни* и даже *распивочной лавочки с продажею пива и меду,* — везде вы встретите людей, у которых все говорит и все вертится, как будто они наполнены ртутью, и вы можете познакомиться поближе с ярославцами. Это первое и главное поприще их деятельности, начиная с малочинной степени полового и разносчика различных горячих и вскипяченных питей до почетного класса маркеров, выигрывающих подчас у подгулявших игроков все, даже до последней *акакиевки**, то есть шинели, которую нельзя назвать шинелью, если осмотреть ее внимательно.

Чуть только подрастет ярославский мальчишка и будет в состоянии уносить, не опасаясь быть догнанным, краденый горох или репу с чужих огородов, ему уже становится грустно и тесно под кровлею родной лачуги, его горлу недостаточно местного воздуха, глазам его не ярко ярославское солнце, не зелены ярославские листья,— для его движений малы деревенские поля: он рвется туда где еще более жизни для его ртутной крови, более целей для сметливого ума, более дураков, чем в целой родимой губернии. Возьмет с собою ярославский мальчишка домашнего холста, салфеток, скатертей и полотенец, выйдет и пойдет себе либо в Москву, либо в Питер счастья добывать, домок наживать, а если придется, так и в каменных палатах онучи посушить,— идет себе, не думая, куда попадет он и что будет делать, если выйдет все полотно или никто не купит его. Ярославцу все равно: придет нужда, он и кошкой замяучит, да хлеб достанет. Не найдет он места в ресторации, пойдет в лавочку хлебы месить, проживет себе месяца два, глядишь, черт знает откуда, у него и сибирка синяя возьмется, и манишка коленкоровая явится. Простолюдин других губерний целый век свой проходит в тулупе или армяке; у ярославца заведись лишь копейка, он из нее тотчас рубль сработает и позаботится о своей наружности, для того чтобы душа не парилась, красная девица зарилась. Придет к ярославцу в побывку мать из деревни; некуда сынку приютить ее: не осталось у него на ту пору ни копейки, чтобы помочь ей; все истратил ярославец, чтобы купить себе часы, чтобы перед земляками лицом в грязь не ударить,— и пойдет старуха до времени побираться милостынею. Ходит она с утра до поздней ночи, ждет ее сынок и не дождется. Вынимает он часы.

— В рот ей коляска! пять часов уже, а матка с-помиру нейдет! — восклицает ярославец. Прошу прислушаться; кто бы прибрал такое удачное желание для проголодавшейся старухи, как не ярославец?

Впрочем, всякому известно, что ярославцы народ находчивый. Ведь и архангелогородцы продают иногда полотно, даже, по словам многих хозяек, и лучше ярославского; но почему же именно всегда почти слышишь, что полотно куплено у ярославца? потому, что ярославцы умеют лучше их товар лицом продавать. Придет к вам архангелогородец, прокричит перед окном: *полотно,* эй, *полотно!* — не дождется и прочь пойдет. Ярославец, напротив, влезет к вам в дом почти насильно, не погонится даже и за треухом, приберет к своему товару всевозможные применения, приберет до того красно, что иному и совсем оно не нужно, а подумает, что нужно, поглядит, поглядит да и купит.

Для чего далеко ходить: пришел раз ярославец к какой-то благочестивой старушке, такой благочестивой, что та всех добродетельных людей даже по батюшке знала, как зовут, и пристает к ней: купи, барыня, полотна, купи на простыни.

— Поди ты к богу,— отвечает старушка,— и без тебя у меня их много.

— Купи хоть на утиральники; право, ведь важнеющая вещь, чистота в отделке, настоящее дело, ей же те богу.

— Поди ты, ангел те на душу! На что мне твои утиральники?

— Купите, матушка: останетесь довольны, купите себе хоть на... Ярославец тут назвал такой костюм, который носят только восточные женщины и в которых старушке не приходилось никогда себя видеть даже и во сне.— Онамесь* одна барыня нарочно для этой одежды материалу спрашивала.

У благочестивой старушки от этого предложения даже в ушах зазвенело: словно кто ударил ей под носом в тысячепудовый колокол.

— Ах ты, иродов пасынок, да что это ты так того... вон пошел, да я тебя знаешь за это... вот чего...

Вопрос: что бы сказал другой русский простолюдин в свое оправдание? Просто почесал бы затылок да пошел бы наутек прытче зайца. Не таковы ярославцы: в карман за словом не полезут.

— Не лимонами же их назвать, сударыня, когда они для всех так самим богом названы,— отвечает ярославец.

Прошу вас покорно сказать, что бы вы ответили на такой силлогизм? Подумала, подумала старушка да и купила.

Проезжайте через какой угодно городок, войдите хоть в одно какое-нибудь трактирное заведение, вы, наверно, встретите в нем и ярославца; загляните в любую мелочную лавочку, и если вы увидите в ней человека, который вместе одною рукою и вешает какой-нибудь старухе кофе, и тут же режет хлеб, и в один и тот же раз и мальчику лавочному успевает дать подзатыльника за то, что тот вместо того, чтобы с покупателями обращаться, котом занимается,— это ярославец. Пройдите когда по улице, остановите какого-нибудь двигателя русской словесности, носящего на спине своей тяжелый груз отечественных дарований, и если он сумеет исчислить перед вами все достоинства покупаемых вами книг, если он, подавая вам даже и греческую книгу, будет критически обсуживать и ее — это ярославец.

Встретится вам такой подвижной цветник русской литературы, попробуйте остановить его и спросите себе что-нибудь новенького. Ярославец развяжет перед вами мешок и всунет вам в руки первую попавшуюся наудачу книгу. Вы откроете ее и прочтете, пожалуй: Гуак или непреоборимая верность*, книжечку тоненькую, напечатанную на такой же точно бумаге, в какую вам завертывают разносчики ягоды,— посмотрите на нее и спросите, нет ли чего-нибудь поновее и получше? Делайте подобный вопрос кому-нибудь другому, другой безмолвно полезет и достанет вам другую, третью, четвертую, пятую, до тех пор, покуда книга не придется по вашему вкусу; ярославец не уронит своего литературного такта и звания.

— Есть и другие,— скажет он вам,— да отчего же бы вам этой-то не купить?

— Дрянь! — ответите вы.— Что за бумага!

— Точно,— ответит вам ярославец,— издание-то точно некрасиво, да издать-то трудновато ее было: покупка оригинала весь капитал у издателя подъела; а если бы вы прочли, что про нее Белинский сказал, так про бумагу-то и забыли: видели бы только одни мысли да периоды; общие места удивительно как схвачены...

Вы станете припоминать себе, не читали ли вы когда-либо в самом деле критической оценки Гуака, и остановитесь по недостатку памяти.— Что-то не помнится,— проговорите вы книгопродавцу. Ярославец означит вам год, нумер, страницу и проговорит наизусть целую тираду выражений, совершенно сходных с духом того критика, на которого он ссылался.

— Нет! — скажете вы.— Нет ли чего-нибудь поновее?

— Да поновее-то книги будут хуже,— скажет вам ярославец.— Вот этой книги только один экземпляр и остался; покупал его у меня Ольхин* для своего магазина, да думаю: не важничай; пусть и меня образованные люди знают.

— Нет! — скажете вы.— Нет ли у тебя чего-нибудь из известных писателей?

Видя, что не удается сбыть ему Гуака, ярославец подсунет вам под глаза другую книгу.

— Вот новое сочинение Гоголя: Мстиславлев или сдача города Могилева*, только что отпечатанное (едва ли еще и в магазинах есть), последнее, что он составил после своей переписки с друзьями*.

— Да где же тут Гоголь? — спросите вы.— Стоит точно глаголь, да ь на конце, и ничего более.

— В том-то и штука, что *ерь* на конце. Это, видите ли, писал про него Булгарин, что, дескать, от того и сочинения его хороши, что к имени привыкли, что только и слышно, что Гоголь да Гоголь. Вот он и пишет к Погодину*: докажу я Булгаринову, что попа и в рогоже узнают. Михайло Петрович и отвечает ему: хорошо! это более заинтересует, и печатайте, говорит ему, вы уже в Москве.— Провинциалы, приехавшие в Петербург и запасающиеся для себя библиотеками, почти всегда увозят с собою такие образчики русских знаменитостей, если покупают книги у ярославцев.

Обманывая так безбожно доверчивых любителей просвещения,

ярославцы, зато истинная находка для библиоманов всякого рода. Черт знает откуда, ярославец, если вы ему закажете, выкопает вам такую книгу, которую ни за какие деньги не достать вам даже и в публичной библиотеке. Ну, положим, достать не трудно; но замечательно то, что с доставлением книги ярославец расскажет вам, и когда она выпущена из цензуры, и кто какого об ней мнения, и на какой странице что особенно замечательное, как будто он сочинял ее сам. Дойдет ли дело до иностранных сочинителей, ярославский книгопродавец и их биографию и новые произведения знает.— Мильтон*, скажет он вам: тот, который *парадис* написал*— дворец ума человек, даром что слепой. Спросите вы его о Беранже*, и с Беранже он знаком немножко. Объяснит вам, какое издание пояснее, в каком недостает каких песен. Вот, скажет он вам: издание и дешево бы можно было отдать, да тут *ле минтриги* есть, *де сер де шарите** также есть; нельзя отдать дешево. Ярославцы даже знают все тайны журналистов, и недавно один из таких кочующих просветителей познакомил меня с новым типом зверя, породившимся в Петербурге недавно, с отжившим стремлением к литературе, именно — *с литературною ищейкою*, существом, имеющим верхнее чутье, с которым я со временем познакомлю читателей, если им будет угодно. И кого из сочинителей не знает ярославец?

— Нет ли у тебя новостей каких-нибудь получше? — спрашивает пришедшего в нумер гостиницы ярославца приезжий из хлебородных и грязородных губерний.

— Как не быть! Есть разные, есть и Ивана Ивановича, и Осипа Ивановича, и Николая Алексеевича, есть и Михайла Юрьевича, есть и Сергея Федоровича*, да этот еще из молодых.

Ошеломленный таким календарем всех святых, покупатель делается знакомым поближе и с Панаевым, и с Сенковским, и может даже при случае и озадачить свою губернию, назвав по батюшке тех людей, с которыми так близко знаком, по словам его, ярославец. Велит помещик принести себе таких-то новостей — и что же? Чрез несколько дней ярославец является к нему с разными томами новостей, хорошо переплетенных, чистеньких, беленьких, увидя которые сами сочинители удивились бы и начали бы припоминать, когда они издавали их отдельно, хотя часто, правда, случается и тот грех, что, приехав на родину, недосмотревший покупщик найдет между их беллетрическими листами подчас и такие листы, которые чисто принадлежат к одному только домохозяйству и научают вас лишь легчайшему и скорейшему способу истреблять блох и клопов,— листы, вложенные ярославцами, вероятно, по одному лишь эстетическому вкусу к приличной наружной полноте томов — повсеместного провинциального мерила достоинства нашего литературного труда.

Какое бы поприще ни избрал себе ярославец, чем бы ни занимался он, всегда найдете вы разницу между им и прочими обитателями пятидесяти двух губерний и узнаете ярославца, не спрашивая о том ни у кого. Известно всякому, получающему маленькое жалованье, как бывает иногда как-то неловко поставить свою шляпу, в которой на дне стоит какое-нибудь фамильярное имя Петухова, Про-

торгуева и тому подобных имен, около шляп, заклейменных фирмою Юнкера, Циммермана и прочих известных шляпников. Что же? — всякий получающий маленькое жалованье может избежать этой неприятности; лишь только стоит ему запастись шляпою ярославского изделия, шляпою, которая, кроме того достоинства, что дает вам почувствовать, что она у вас на голове, и редко по своей тяжести срывается даже и самым сильным ветром, случая очень неприятного, особливо в грязное время, отличается тем, что поставит решительно каждого любопытствующего узнать, у кого она куплена, в положительное недоумение. Начать с того, что, кроме всегда ослепляющей глаза подкладки самых ярких цветов, ярославский ум придумывает в них такие символы, которые явно определяют все их достоинства, заменяющие печатные публикации. Иные из них имеют, например, какую-нибудь всем нациям одинаково непонятную надпись, так что каждая нация может смело выдавать эти шляпы за произведение чужеземное, например: Puccies Fabridieg* со львом, держащим в лапе своей картуз, другие изображают какого-нибудь мужика, в положении колосса Родосского, опустившего свои ноги, обутые в шляпы, в ушаты с водою, с надписью: *импровед,* слова, относящегося неизвестно к кому — к мужику ли, к шляпам ли или к ушатам. Есть даже и такие, которые очень полезно брать с собою в разные публичные заведения и собрания, не опасаясь, чтобы они были подменены, потому что на дне их красуется поддерживаемая амуром миртовочка, напоминающая охотникам до чуждого добра шестую заповедь: *не укради.* Нет людей изобретательнее ярославцев, и если вы когда-либо, желая заказать себе платье, будете отыскивать по вывескам портных и увидите на ней какого-нибудь Иванова из Парижа или Варшавы, не верьте этому извещению: это ярославский портной.

Спросите у любой старухи и экономки, у кого она покупает овощи; из десяти девять ответят вам, что у ярославцев. Теперь вопрос: почему именно у них? Потому, что они умеют польстить и покупщицам, и своему товару. Пройдет стряпуха мимо зеленных лавок, в которых нет ярославского духу, она услышит только: не покупаете ли что? или просто ничего не услышит. Пройдет стряпуха мимо зеленщика ярославского, слух ее приятно будет поражен многими вежливостями, и если она молода, наименованием честной девицы, если уже пожилая — уважительным эпитетом «чиновницы».

— Честная девица, пожалуйте-с, пожалуйте-с, позвольте вам оказать уважение морковкой краснее вашего белого личика! — кричит ярославец, хватаясь за кончик кулька.

— Просим покорно, матушка! заверните, чиновница! — говорит другой,— чудовой спаржей почествую. Стручков купите: стручки такие, что и бобам на них совестно поглядеть будет! — И что за удивительные льстецы эти ярославцы! Французы, которые с незапамятных времен отличаются искусством говорить в лицо приятную для нас ложь, я уверен, уступят в некоторых случаях ярославцам. Это знает всякий, кто только имел у себя в услужении ярославского слугу. Лысина, известное дело, хотя и не порок, и иным даже иногда и очень идет к лицу, однако все более или менее стараются скрывать

ее, особливо холостяки, желающие жениться даже и на вдовах, приглядевшихся уже ко всему. Нет ничего оскорбительнее названия плешивого. Был у одного такого изуродованного природою слуга ярославец. Плачет почти, бывало, господин, подходя по утру к зеркалу и поглядывая на свою голову: точно череп.— Никуда я не гожусь, Ванька! — говорит в отчаянии барин слуге.— Прошу вас придумать, что бы сказал, например, хоть француз в защиту такого телесного недостатка? — посоветовал бы разве парик купить.

— Об чем тут горевать! — отвечает ярославец, утешая барина.— Тем лучше, всякий, по крайней мере, увидит, что вам бог за какую-нибудь особенную добродетель лицо прибавил.

— Полно, так ли, Ванька?

— Да как же не так! отчего же медведи да ослы никогда плешивыми не бывают,— отвечает утвердительно Ванька, отвечает, может быть, потому только, что цирульник не хотел дать ему спрыска с предполагаемого сделать парика.

Ярославцы своей копейки не потеряют и зарабатывают ее всем, чем только наделила их природа,— ногами, головой, даже горлом, под опасением лишиться навсегда голоса.

Пред лавочками гостиных рядов всей России проходящие могут слышать целый ряд громких однообразных завываний.

— Купец, что покупаете? помещик, кавалер, просим покорно; изволили пройти: здесь лавка Горелова,— здесь лучшие товары... наше вам почтение.

— Барыня, сударыня, что угодно? чего изволите? все есть, пожалуйте, будьте покойны: шпильки, булавки, атлас, канифас, весь дамский припас,— все есть для вас, пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте, даром отдадим. Три *копейки* с капитала из чести уступим.

— Ведерлас, демикатон, ситец, кисея, бумазея, помочи, носки, спички — все французские товары есть.

Поверя безусловно голосам этих неумолчных скворцов, иная покупательница взойдет в лавку.

— Есть бумазея? — спросит она, входя в лавочку.

— Чви — льте? — в переводе: чего изволите? — Ярославцы любят говорить лаконически.

— Бумазея есть?

— Бумазеи нет-с: бритвы есть, самые отличные, тульской работы, чубуки есть, палки камышевые.

— Да как же ты говорил, что у вас и бумазея есть?

— Настоящее дело! Точно есть, да немного подальше; а у нас чубуки, трубки, бритвы — не угодно ли купить? Впрочем, иногда и всяко бывает.

Такие приглашения делают вам только ярославцы, исполняющие должность *закликал*, должность очень трудную, требующую весьма звонкого голоса, сильной груди, непомерного терпения слышать разные брани, и, кроме того, еще требующую трудолюбия. Впрочем, ярославцы народ смирный и в трезвом состоянии все переносящий со стоическим хладнокровием, особливо, когда дело касается личных выгод. Зато нет буйнее и беспокойнее людей, как ярославцы

пьяные, и пословица: пьяным море по колено — непременно, кажется, должна была выехать в Русь именно из одного только Ярославля. И когда вам случится увидеть простонародье наше в эти нередкие минуты, где так странно и неразгаданно является столько смеси неистовства и добродушия, откровенности и лукавства, столько разбитых носов, соприкасающихся над лобызающимися губами, гремящими и самыми нежными наименованиями и, вместе, теми лаконическими придаточными, которые русский народ мешает и ко щам и каше,— вы увидите перед собою пьяниц не ярославских. Ярославцы в пьяном виде бывают людьми чисто западными, не признающими никаких общественных условий. И потому, если когда удастся вам встретить, когда-нибудь проезжая губернские города и даже *один известный город,* людей, метущих улицы и носящих на себе меловые знаки, но людей, впрочем, не унывающих, поющих и даже ругающихся со своими сермяжными смотрителями за прилежанием, изо ста вероятностей девяносто будут в пользу ярославцев, потому что обитатели других губерний на другой день своей вакханальной жизни бывают всегда очень послушны. И когда за молодеческие добродетели, пьянство, буянство и шатанье по темным ночам придется ярославцам остричь поневоле свои волнистые кудри и вместо какой-нибудь плисовой поддевки и синей чуйки надеть иное платье, в котором русский и летом не зябнет, и зимой не потеет, в котором и талия обнаруживается, в котором русский человек по струнке пройдет и в грязь не упадет, ярославцы не смешаются и не погибнут в толпе. Блаженны те господа, у которых попадется слугою ярославец! Проигрался кто-нибудь, а в это время еще и заимодавец портной приходит. У бедняка нет ни копейки: все истрачено на какую-нибудь даму, заимодавец нападает злее иного осетинца или шапшуга*; нужно офицеру поддержать кредит.

— Эй, Подпалкин! — говорит какой-нибудь барин, желая избавиться от докучного посетителя,— приготовь ехать скорее!

Случись тут не ярославец, просто бы нехотя осрамил на весь божий мир: сказал бы какую-нибудь глупость прямо в лицо. «Извозчики, мол, в долг, ваше благородие, уже больше не верят». Осрамил бы навсегда перед портным и военных дел мастером. Не таков денщик-ярославец.

— Расковалась серая, ваше благородие,— ответит перед заимодавцем денщик-ярославец; — серый жеребец хромает с тех пор, как ономеднись вы изволили на бегу бегаться. Извозчика разве прикажете привесть, да извозчиков-то по вас скоро не потрафишь.

«Серая расковалась», «жеребец хромает»,— возьмет себе на ум портной или поставщик военных товаров: богат, верно; впрочем, дай, попробую.

— Позвольте, если нет денег, хоть материалы назад получить,— проговорил ошеломленный такою избыточностию кредитор.

Совестливый барин приказывает тотчас же слуге отдать требуемое. Случись вместо ярославца какой-нибудь олончанин, или псковец, или даже, пожалуй, и самый продувной и вытертый москвич — отдал бы, наверно, все кредитору... Не таков ярославец.

— Ида Васильевна вчера все изволила сломать или изорвать (если дело касается до изорванья),— ответит ярославец.

— Нечего, брат или герр такой-то, делать,— отвечает барин,— и рад бы отдать, да вот, видишь, вчера Идка все испортила; подожди немного, покуда из починки или штопанья выйдет.

Глядишь, и ждет ошеломленный такою роскошью заимодавец, и ждет до тех пор, покуда не придет *треть** или не выиграет барин на *пе* или *перепе*, или *лампопо**, то есть *транспорт* sans perdre* да еше *куш* мазу* к тому в придачу.

Впрочем, ярославцы отличаются и не в одном служебном звании: они тешат и теми песнями, которые любит слушать удалой люд тогда, когда у них легко на душе и тяжело в карманах,— именно, про дочку Аннушку и бедную Акулинушку,— песнею, от которой дамы удаляются, так как будто они ни о чем не имеют понятия и их только что еще носят кормилицы.

Русь, о родина! изобилуешь ты всякими людьми; но никто не видел людей столько смышленых и столько находчивых, как ярославцы. — Дурны, да фигурны,— в потемках хороши!

В. Толбин

БОБРОВЫЙ ВОРОТНИК

(Из гостинодворских сцен)

По верхней галерее Гостиного двора, мимо лавок, украшенных прибитыми к дверям кошачьими хвостами и телячьими шкурами, очень искусно испещренными под барсовые и тигровые, в сумерки одного сумрачного дня пробирался какой-то господин, окутанный в енотовый воротник, сделавшийся от долгого употребления очень похожим на лисий. Несмотря на то что шинель этого господина была довольно потаскана и не заслуживала никакого более драгоценного украшения, и хотя по всей прочей одежде его нельзя было предполагать, чтобы он мог купить себе что-либо поизящнее русского барана или котятины, однако он обходил уже много лавок и изумил, обрадовал даже торговцев своим требованием.

На приглашение их: господин! что изволите требовать?.. куницы, соболи, отличные песцы есть для вас; прошу, господин! для почину за свою цену отдам...— он отвечал с какою-то несмешливостью: «Да у тебя, братец, может, кроме расписанных собак, никаких мне нужных вещей нет». Господин этот останавливался и спрашивал: «Есть ли у вас в лавке бобры?..»

И когда торчавшие перед дверьми сидельцы, наперерыв друг перед другом, старались уверить его, что у кого же как не у них быть и бобрам, господин енотового воротника входил в лавку и перерывал весь магазин...

[1] Без потерь *(фр.) — Ред.*

Так обошел он уже несколько лавок, выходя изо всех им рассмотренных с очень недовольным и озабоченным видом, ругая продавцов бородачами, умеющими только кричать, а не удовлетворять требованиям покупщиков.

— Шематон!* — шептали ему иные, раздосадованные напрасно израсходованными клятвами и ловкостию, с которыми они вертели перед глазами его требованными товарами.

— Весь-то со всем, что на нем ни есть,— поговаривали другие,— заячьего хвостика не стоит, а кричит, требует и ругается, будто граф какой.

— Для аппетита, видно, только рассматривал,— подсмеивались вслед покупателю третьи.

Таковы были мнения торговцев мехами о господине енотового воротника, требовавшем себе бобров получше, посолиднее и подороже; а между тем другие, только что выходил он из соседней лавочки, начинали кланяться и кричать по всему дальнейшему протяжению:

— Господин, просим покорно; господин, пожалуйте; в нашей лавке вы можете получить удовольствие.

При таких криках покупатель снова остановился перед одной лавкой и, повторив свой прежний вопрос: есть бобры, хорошие, солидные, знаешь, такие, которые бы не заставляли меня даром тратить время? — вошел в меховой магазин.

Приказчик вынул для требователя пару бобров, подул на них, прищелкнул пальцем и с уверением, что лучше этих, кроме их лавки, не найти бобров во всем Петербурге, положил перед глазами господина енотового воротника.

— Дрянь,— сказал покупатель.— Потчуй такими бобрами себя.

— Помилуйте-с, что за дрянь? — возразил приказчик.— Если такие бобры вы найдете где, отдаю их вам даром. Извольте посмотреть, какая ось, какая седина! Вот ее только теперь не видно, а при солнце настоящим серебром светить будет... и упругость какая! — добавил приказчик, причем, лизнув языком, показал, что как только встряхнуть его, то волос опять подымается.

— Дрянь,— отвечает покупатель,— это не бобры, а котики.

— Помилуйте, какие котики! Да котики такими никогда и не рождались. Котиков нам и держать не из чего.

— Лучше нет?

— Как не быть? Есть и лучше.

— Так отчего же ты это меня минут десять над этими-то заставил простоять? Я ведь тебе объяснил русским языком: покажи мне бобров, какие солидные ни на есть.

— Да помилуйте-с, как же я мог знать, что эти не будут для вас солидны? Для иного и эти ко вкусу подойдут.— Тут приказчик вытащил еще несколько пар.

— И эти не хороши,— заметил требователь.— Для меня нужен отличный бобер.

— Да позвольте вам, сударь, побожиться,— возразил приказчик,— что для этой чуйки* вам такого бобра во всем свете не по-

добрать. Извольте посмотреть, как он к ней подойдет.

И, не дожидаясь согласия, меховщик обернул шею покупателя бобровою шкурою.

— Хоть во дворец с таким воротником,— добавил он.

— А что цена? — спросил покупатель.

— Прикажете торговаться или нет?

— Без торгу; да смотри у меня, не по щукинскому манеру.

— Помилуйте-с, не извольте нашей лавки обижать. Вот, если вам угодно, без торгу последнее слово: сто рублей серебром.

— Оно бы, кажется, и недорого,— заметил покупатель,— очень недорого; бобер хорош, точно, бобер хорош; но все не по мне... Мне надо такой, братец, бобер, который бы мог прославить тебя, о котором всякий бы спросил: позвольте осведомиться, у кого вы это такую штуку прибрали? Вот мне надо какой бобер.

Приказчик почесал затылок и, подумав немного, отвечал, что и такой бобер может у них сыскаться, но что только его здесь налицо не имеется, а лежит он припрятан для случая, для иногородных; но что если его высокоблагородию благоугодно будет немного пообождать и не соскучиться, то он сбегает тотчас наверх и принесет.

— Не надо,— сказал требователь,— опять что-нибудь подобное.

— Никак нет-с; единственная вещь.

— Долго, братец, дожидаться; нет времени.

— Смею вас заверить всеми святыми,— отвечал приказчик, обрадованный такою редкою практикою и пускаясь с радости острить,— стриженая девка косы не успеет заплесть, как слетаю; окажите только божеское милосердие пообождать несколько минут.

— Ну, ступай,— сказал покупатель.— Посмотрю я, во сколько времени у тебя стриженая девка косы не успеет заплесть.

Приказчик, приподняв свою ярославку, исполинскими шагами взлетел на лестницу, ведущую на какой-то чердак, и через минуту возвратился с новыми бобрами, которые хотя и оказались бобрами очень хорошими, но все-таки не удовлетворяющими требованию господина с енотовым воротником, несмотря на все страшные клятвы приказчика, что, объезжай он всю Сибирь и Америку, лучшего бобра сыскать будет невозможно.— Ну, да что уже делать? — сказал господин с енотовым воротником.— Если нет лучшего, нечего делать, придется купить и этот. А что цена? смотри, без обмолвки.

— Без обмолвки, полтораста рублей серебром.

Господин согнул перед лицом приказчика как-то особенно руку, просвистал и молча взялся за шляпу.

— Из уважения к вам, сто сорок девять; меньше ни копейки.

Господин продолжал свое шествие к двери.

— Позвольте же по крайней мере вашу цену узнать,— сказал приказчик, укладывая между тем разбросанные на прилавки бобровые меха.

— Полтораста ассигнациями,— проговорил господин,— хочешь, так получай три рубля задатку и по рукам.

— Помилуйте, да где же такие цены слыханы? угодно сто тридцать серебром? чтобы только хорошему человеку досталось.

— Сто сорок ассигнациями, если еще торговаться будешь,— отвечал несговорчивый покупщик и уже отворил дверь.

— Ах, бог ты, матерь божия! — вскрикнул в это время приказчик, уложивший в порядок все бобровые шкуры, и, перескочив через прилавок, уцепился за воротник енотового господина.

— Что ты белены, что ли, объелся, капустник ты поганый,— вскрикнул в свою очередь посетитель, отбивая ухватившую его руку,— что это ты, невежа, забылся, что ли?

— Сам ты забылся, брат, подавай-ка шкурки: то-то стилиснул* бы их, так немудрено, что за соболь бы не дороже мышиной шкурки посулил.

— Какие, сумасшедший ты этакой, шкурки? — заметил с разгневанным выражением господин.— Смотри, чтобы за этакую проделку твоя собственная цела осталась!

— Ладно,— горланил приказчик,— посмотрим, чья прежде попортится! — и, отворив дверь, начал звать и Ваньку, и Потапыча, и Анику Тимофеевича, и Белоусова, и Черноглазова, и прочих торговцев.

Скоро перед лавкой собрались кроме людей приглашенных и многие посторонние, не приглашенные лица.

— В чем дело, Петаша? — спрашивали одни.

— Ни холера ли? — желали узнать стоявшие подалее и не видевшие, как за господина в еноте уцепилось уже с полдюжины рук.

— Подтибрил два бобра,— объяснял любопытствующим приказчик.

— А да это та фигура, что меня даром заставил всю лавку разрыть,— замечал один

— Тот самый!— кричали прочие.

— Шишимора!..

— Беспятый!

— Мазурик!.. обыскать его...— Незнакомый господин объявил, что обыскивать себя не позволит.

— Покажи ему за это какое ни на есть уважение, Петаша! — говорили многие, стараясь показать примером, в чем должно было состоять это и какое ни на есть уважение, и подталкивая господина с енотовым воротником в спину и куда ни попало согнутым коленом.

Напрасно господин, желавший купить себе бобра, говорил им, что это личное оскорбление, за которое им не сносить головы, увещал собравшихся лавочников быть с ним поделикатнее, угрожал им совершенным разорением и бог знает еще чем худшим,— ему уже готовились вязать руки и точно бы, может быть, нанесли личное оскорбление, в прямом, а не в иносказательном смысле, если бы некоторые из купцов, желающих посмотреть, как поведут на привязи лицо, называвшее себя не капустником, а благородным, не привели для этого зрелища, чтобы сделать его законным, городового...

— А, брат, попался,— строго проговорил городовой,— вот ужо я тебя; вот уж я покажу тебе себя.

— Ты, любезный, постой,— сказал покупатель, подозреваемый в покраже бобров,— ты не мужлай, а человек казенный, так должен знать, чему ты подвергаешься за извет и послабление самоуправству; вели-ка сперва мне немного пооcлабить горло...

— Пооcлабишь дорогой.

— Да ты посмотри, несчастная твоя голова, только мне под шинель! — проговорил грозно незнакомый.

— А ну-ка, что там такое? — заметил городовой, всунув нос свой под истертую шинель.— Стойте, господа,— сказал он,— это нужно будет призвать кого-нибудь.

Это *кто-нибудь* явилось по требованию.

— Что за история? — сказал он, удаляя телодвижением некоторых чересчур любопытных людей.

— Воровство случилось, Ефим Николаич, просим покорно оказать к нему ваше содействие,— отвечал приказчик похищенных бобров.

— Милостивый государь,— выразился незнакомый господин, обращаясь к новому лицу,— прошу вас покорно быть свидетелем, вот обвиняюсь невинно в законовоспрещенном поступке — в подтибрении двух бобровых воротников; получил даже сзади неизвестно от кого личное оскорбление...

— Прикажите обыскать его, Ефим Николаич! — вопил приказчик.— Невинно в гроб из чужого добра лягу, если не отыщется материал.

— Желаю, требую этого именем правосудия! — вопил в свою очередь подозреваемый в покраже посетитель.

— Молчашки в чашки,— заметил Ефим Николаич,— мне порядку ни у кого не учиться... Что за человек? — спросил он, обращаясь к господину с енотовым воротником.

Господин с енотовым воротником объявил ему, кто он.

— Гм! — откашлялся Ефим Николаич,— диво бы простой мазурик, а то кто! Не стыдно ли вам, милостивый государь, заниматься такою должностью; что вы ненасытный мамон*, что ли, или побочных доходов совсем нет, или обременены многочисленным семейством, или слишком горячим веществам любите придерживаться, что решились на такое богомерзкое звание?

Словом, Ефим Николаич истощил всю свою нравственную философию и перечислил с большим знанием и подробностию все жизненные обстоятельства, могущие подвигнуть смертного к нарушению шестой заповеди.

— Невинно терплю такой позор, государь мой милостивый,— почти проплакал обвиняемый,— захотел как следует прилично окапировать[1] себя; стал покупать по силе и возможности приличное тепленькое для шеи, как честный человек предлагал три рубля задатку,

---

[1] Окапировать — т. е. экипировать, одеть. — *Ред.*

и вот, от мерзавцев, от аршинников терплю такое, за что следует повесить; прошу произвести формальное исследование, потребовать налицо добросовестного, казенного свидетеля из почтенного мещанства и сделать строжайший обыск.

— Все будет исполнено,— заметил Ефим Николаич,— ученого учить только портить; во-первых, чем вы занимаетесь?

— Служу ближним по мере способностей.

— Похвальное дело, гораздо похвальнейшее, чем производить такую ревизию чужому добру; зачем вы взошли в эту лавку?

— Бобрика себе приобресть, недорогого...

— Гм! а вот он показывает, что дорогого... что хватались за такого, что хоть бы у миллионера языку на него повернуться.

— Да, то есть, зная нравственность этих людоморов, не хотел, чтобы они с меня за собачину, милостивый государь, жидовскую цену сломили.

— И это похвально,а зачем же вы два бобра-то без спросу себе взяли; ведь вам их, верно, купец этот не подарил.

— Милостивый государь,— заметил уставший известный господин,— позвольте вам доложить, что вы меня на словах не подденете, я отроду подарков ни от кого не брал и брать не намерен, и брать не долженствую, а терплю эту всю напраслину оттого, что, может быть, этот плут приказчик сам их спустил, может, пропил, может, проиграл, а может быть, подарил барышням каким-нибудь и, увидав, что я с виду человек смирный, на меня же с больной головы да на здоровую и своротил...

— А вот это мы все разберем, как следует,— сказал Ефим Николаич,— не угодно ли вам со мною пожаловать?

— Вот уже никак не угодно,— отвечал господин в еноте,— вы не на новорожденного напали, чтобы мое бесчестье безгласно в воду кануло; не окажется ничего, пожалуй, скажут, доро́гой улику с себя сбросил... посмотрите, как шинель-то и енота-то моего отделали, так я отсюда живым не выйду, покуда не оправдает меня справедливость и не присудит мне должного за кровную обиду...

— Знаю, знаю,— сказал Ефим Николаич,— яйца курицу не учат; мы предварительно вас здесь же на месте обыщем, а там, если бог даст окажется все благополучным, так тоже знаем, как поступить...

— Именно этого единого и желаю,— проплакал оскорбленный приобретатель бобровых мехов,— готов хоть пред целым Невским проспектом, как на свет родился, стать, только бы показать перед публикою: на, смотри, публика, нигде ничего постороннего нет.

— Рассмотрим, рассмотрим,— сказал Ефим Николаич.

— Розгами тебя, мошенника,— погрозил немного уже известный господин, снимая с себя шинель...— на! что взял, есть, что ли, что под нею?

— Бывает и в рукавах,— заметил Ефим Николаич, выворачивая с осмотрительностию рукава,— покамест ничего подозрительного; посмотрим, что скажет фрак.

— Вот будет тебе на плетюги,— продолжал, раздеваясь, оскорбленный и снимая с себя фрак,— на, смотри; вот тебе носовой платок, вот тебе яблок, вот тебе табакерка; а, что? где твои бобры?

— Бывает, иногда прячут и в других местах,— заметил Ефим Николаич, встряхнув также и фрак, и начал было рассказывать один анекдот о хитрости одной какой-то бабы и, вероятно бы, сказал что-нибудь очень замечательное, если бы не был прерван готовностию оскорбленного доказать публике, что и в других местах у него ничего ни лишнего, ни противозаконного нет.

— А вот как попотчуют тебя кнутофеем,— продолжал раздевающийся, снимая остальное одеяние,— чтобы ты напрасно благородного человека горячке и сраму не подвергал, так и узнаешь ты, как меня кличут... извольте встряхнуть,— добавил господин, освобожденный от верхнего платья, подавая его Ефиму Николаевичу.

Ефим Николаич не преминул встряхнуть и *нижнее верхнее* платье.

— Да, хоть бы и не встряхивать,— заметил он,— никакая физическая механика не умудрится всунуть сюда бобра: и коротки, и узки. Невинны, совершенно невинны, больше, кажется, рассматривать нечего, бобров нет...

— Нет, коли уже на то пошло,— возразил разгорячившийся покупщик,— так пусть же вы освидетельствуете все до последнего мизинца; да что я говорю, мизинца! если полагаете, что я мог их спрятать в горло, нате смотрите и в горло.

И с видом торжествующей добродетели подозреваемый разинул рот.

Ефим Николаич, по забывчивости, или нимало не желая по обязанности упустить ни малейшего следа преступления, посмотрел и в горло.

— Прошу,— сказал господин енотового воротника,— теперь кому следует постановить определение, что такое-то лицо было оскорблено и оклеветано в несправедливом похищении двух бобровых воротников; теперь я в свою очередь требую, чтобы вы связали преступников, за что, поверьте, равно как и за справедливое заступничество, не премину поблагодарить от души.

Ефим Николаич переменил выражение лица в обратную сторону.

— Ну-ка, борода,— сказал грозно Ефим Николаич хозяину лавки, прибывшему уже на помощь к своему приказчику,— не угодно ли тебе отправиться со мною?

— В кандалы, в кандалы его, милостивый государь! — кричал оправданный обыском господин.

— У нас и так не уйдет,— возразил с уверенной улыбкой Ефим Николаич,— и на тонкой паутинке доведу.

— Сибирь, Сибирь ему! — продолжал кричать господин енотового воротника, надевая фрак и постукивая от холода челюстями.— Мало того, что за бесчестие взыщу, на излечение зубов у анафемы вытребую!

— Дело, ваше благородие, очень казусное,— заметил купец.— Сам вижу, что двух бобров недостает; а ни один живой дух, кроме их чести, в лавке у меня не был.

— Духа, брат, и обыскивай,— заметил Ефим Николаич,— а у человека ничего не оказалось, так ты и виноват. Вперед с бухты

в барахту поостережешься скандал на весь ряд пускать!

— Батюшка, да что же теперь мне будет за это?

— Ну, будет не слишком чтобы очень дурно: сперва лавку запечатают, потом под суд отдадут, потом, чему ты милостивого государя подвергал, тому сам подвергнешься.

— Розги, плетюги, кнут, каторгу,— всего попробуешь! — кричал оскорбленный господин,— все, все, разбойник, что последнюю у меня честь пытался отнять; и вот даже и те неизвестные разбойники, которые сзади меня подталкивали, и те равную примут с тобою участь!

Толпа, ожидавшая до сих пор, чем кончится такое таинственное и редкое происшествие, рассыпалась во все стороны; в лавке остались только лица, действующие в этой драме: владелец енотового воротника, Ефим Николаич, хозяин и приказчик лавки, которого купец укорял с отчаяния в краже, мотовстве, буянстве, пьянстве и прочих никогда не бывалых за ним слабостях.

— Да, дело нехорошее, скажу даже, если нужно сильно выразиться, очень нехорошее,— сказал Ефим Николаич, которого купец, после разных выражений приказчику и в то время, как начал его ругать в свою очередь несправедливо им оклеветанный, отвел в сторону и о чем-то долго упрашивал.

— Не рассудил, что сам на себя надевает петлю, так пусть за него хозяин теперь расплачивается,— проговорил с выражением достоинства господин, покупавший бобров.

Ефим Николаич подтвердил, что в этом он соглашается вполне; но, как человек, и притом человек миролюбивый, не может, по христианскому незлобию, не посоветовать им устроить это все кляузное дело как-нибудь втихомолку.

— Ни,— возразил господин енотового воротника.

— Ей-богу, порассудите, мой вседобрейший, да возьмите меня в посредники, и доставим общими силами праздник этому бедному человеку для Пятницы Великомученицы,— сказал Ефим Николаич.— Неужели вам будет приятно, чтоб у него вся последняя кровь перепортилась?

— Ни,— отзвался обиженный,— ни; не посрамлю своей чести; пусть недаром перед кафтанниками осмотрен был.

— Да подумайте, мой наиблагороднейший,— заметил Ефим Николаич,— ведь вы уже прошедшего не воротите. Кто нынче за лишним тычком гоняется? — разве только один сумасшедший.

— Тычок тычку рознь,— возразил претендатель за свою личность.— Тычок от достойного человека и от бородача — совершенно противоположная вещь.

— Да все-таки тычок,— ответил Ефим Николаич,— ведь вы его поцелуем ни на каком языке не назовете, согласитесь сами.

— Нет, в этом-то предмете совсем не соглашаюсь. Этот тычок обойдется клеветнику моей чести дороже бог знает чьего поцелуя. Я с него взыщу, непременно взыщу...

— Об этом-то я, из любви к вам обоим, и хлопочу,— сказал Ефим Николаич.— Вы не поверите, как мне нравится ваша физиономия!

Господи боже ты мой! — подумал я сейчас, — за что такая приятная физиономия сама напрашивается, чтобы на нее всякий пальцем указывал да приговаривал: смотрите, совсем хороший человек, и тихий, и скромный человек, а не избежал-таки сраму: волочили его за какое-то подозрение, да еще и пинками тузили, тузили так, что месяц с постели не вставал...

Обиженный господин почесал, с выражением полного сознания, очень сильно нос свой.

— Что правда, то правда,— отвечал он.— Злые языки, пожалуй, прибавят, что и в сибирке сидел. Против злых языков и до сих пор еще никакого лекарства не отыскано, а все-таки согласитесь сами, ведь я почти раздетым стоял, я и зубы простудил и до моего затылка невесть чем замаранные руки дотрагивались, и знакомые могли меня в таком ланшафте видеть; так я на какие-нибудь сто рублей не позарюсь.

— Оно, конечно,— возразил Ефим Николаич,— ни я, никто ста рублей за такую бы обиду не взял. Обида обиде рознь. Назови вас кто — подлецом — ну, подлец еще слово употребительное; подлецом часто приятельски, так сказать, в удивление, истинное достоинство человека называют; а публично в воровстве обыскивать — это рогатая закорючка, этого и мужик, мало-мальски сведущий, не спустит. Согласен с вами вполне; но согласитесь сами, не лучше ли кончить все это без бумаги, без пролития этих окаянных чернил, третейским судом?..

— Нужно вам заметить, от этого бы я и не прочь,— отвечал господин.— Мне, поистине, этого мужика немного и жаль, да вот, извольте сами посмотреть, это чего-нибудь да стоит... посмотрите, сколько на меня и теперь непристойных рож из-за стекол смотрят. Поди я с чем-нибудь успокаивающим, капитальным, черт с ними, пускай шушукают да хвастают между собою: и я ему, дескать, по малой силе печать приложил; а как пойдешь с малым, так, воля ваша, не вытерпишь, грустно заноет сердце, обольется кровью и, пожалуй, заплачешь: господи боже ты милостивый, скажешь, за что я получил столько заглоушин даром?

— Вполне, вполне с вами согласен, — проговорил совершенно сочувствующим голосом Ефим Николаич.— Как не надорваться от этого сердцу истинного амбиционера? Ну да за это мы с этого вот голубчика рублей двести сдуем.

При этом Ефим Николаич нежно потряс купца за бороду.

— Так ли, борода, правда ли, что сдуем с тебя двести рублевиков? А? Что же ты надулся, как мышь на крупу?

— Сдуете, батюшки, сдуете. Как не сдуть за такой грех? — чтобы его лешие побрали!

— Ни! — сказал обиженный.— Честь моя больше двухсот рублей стоит, какая она ни есть маленькая; да притом я не паяц, чтобы себя из-за такой бездельной цены Геркулесом показывать.

— Да полно-те вам целомудренником-то притворяться, добрейший (не знаю, как вас зовут)! — возразил Ефим Николаич.— Ну, хотите ли, я вам за полтораста хоть Венерой покажусь?

— Вы, пожалуй, чем хотите себя показывайте; у вас, может быть, конструкция не простудливая,— отвечал господин, простудивший зубы,— а я теперь, из-за их милости, должен сейчас в баню идти, да на полке скапидаром и редькой мазаться, так слуга покорный... я еще своим телом торговать не пустился, чтобы с ним всякий делал, что хотел.

— Ну, да он человек добрый, двести пятьдесят даст,— добавил примиритель.

— Ни! Я сам ему двести пятьдесят дам, если он согласится позволить себя публично ошельмовать.

— Ну, да, одним словом, на чем же нам повернуться с вами? — решил Ефим Николаич.

— Пожалуй, за два бобровых воротника, да сколько они еще стоят, в придачу, так и быть...

Плата за честь однако не прошла без долгого аукциона. Последняя цена была определена над перинными лавками, где и произошло примирительное лобызание.

Чрез несколько дней приказчик начал выколачивать шубы. Из рукава одной из них показалось что-то необыкновенное — то были недостающие два бобра...

— Ах, подлец! подлец! — вскрикнул приказчик.— Неужели на том свете не повесят его за это за руки!.. Хитро напросился на страм и прочее... впрятал сам вот куда бобровые воротники... Вот что значит быть головой; знал вперед, что его будут обыскивать... не даром взял два бобра... Умная голова!..

В. Толбин

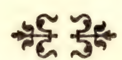
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СБОРНИК

„ВЧЕРА И СЕГОДНЯ“,

СОСТАВЛЕННЫЙ

В. А. СОЛЛОГУБОМ



ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗНОСЧИКИ





ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗНОСЧИКИ

В календаре на 1845 год очень ясно сказано, что весна в Петербурге начнется марта 8 дня, пополудни в 7 часов 45 минут; лето — июня 3 дня, в 4 часа 44 минуты; осень — сентября 11 дня, в 6 часов 55 минут; зима — декабря 10 дня, в 0 часов 28 минут среднего времени. Кажется, чего бы яснее! Так нет, находятся люди, утверждающие, будто в Петербурге нет ни весны, ни лета, ни зимы, а одна непрерывающаяся осень, в продолжение которой иногда только проскакивают, и то вовсе невпопад, дни летние, зимние и весенние. Положим, даже, что это и справедливо; все-таки, при самом пасмурном небе, при тех же пяти градусах тепла в июне, сентябре и январе, есть самое легкое средство без помощи календаря узнать истинное время года. Вот каким образом.

Если вы слышите на улице: «апельсины, лимоны» — извольте знать, что в Петербурге весна. Если у вас под окнами беспрестанно раздается: «садова клубника, садова малина, садова вишанья!» — хотя бы при этом крупный дождь с примесью льдинок хлыстал в окна, а холодный и пронзительный ветер не дозволял без шубы выйти на улицу,— смею уверить, что, несмотря на все это, вы находитесь в самой середине лета. Затем, если услышите вы возгласы: «яблоки, груши, бергамоты* хороши» и если плоды эти не зеленые и водянистые, взлелеянные под петербургским небом, а действительно хорошие, спелые, привезенные из-за границы или с берегов Волги, или, наконец, из Крыма,— нет сомнений, что на дворе сентябрь месяц, несмотря на то, показывает ли термометр 15 градусов тепла или находится на точке замерзания.

Принимая в соображение эту первую услугу, оказываемую Петербургу разносчиками, я мог бы воспользоваться ею при необходимой во всяком ученом рассуждении классификации предмета, то есть, разделить наших разносчиков на весенних, летних, осенних и зимних; но почитаю более соответственными предмету следующие два разделения: 1) по крикам, издаваемым разносчиками, и 2) по большей или меньшей важности и необходимости в нашем быту тех вещей, которые они нам доставляют.

По первому из сих разделов разносчики могут относиться к породе кричащих или некричащих; по второму они могут принадлежать: 1) к таким, которые удовлетворяют нашим самонужнейшим житейским потребностям, 2) к таким, которые услаждают наш вкус и удовлетворяют нашим умственным потребностям. В первом из этих разрядов играет главную роль мясник, во втором — разносчик фруктов, в третьем — букинист. За каждым из этих главных лиц своего разряда, как хвосты за кометами, тянутся многие другие разносчики, хотя

не столь важные, но не менее того необходимые и приносящие существенную пользу жителям Петербурга. Пересчитаем их и сделаем маленький очерк их душевных и телесных свойств, деятельности и выгод, доставляемых полезною их деятельностию. Станем называть их по девизам, ими самими избранным, то есть по крикам и как обыкновенно называют их в Петербурге; ибо ни от одного лица, призывающего к себе разносчика, не услышите вы слова «разносчик»,— но обыкновенно: «эй, говядина!» или — «яйца!» или — «яблоки! пойди сюда!»

Разряд разносчиков, удовлетворяющих жизненным потребностям жителей Петербурга, чрезвычайно многочислен, и, для ясности изложения, должен быть подразделен еще на два отдела: 1) на продавцов съестных припасов и 2) на продавцов разных других вещей, как-то: тканей, одежд и вещей галантерейных.

В главе первого из этих отделов, как и выше сказано, стоит мясник. За ним, по порядку важности, следуют: 1) рыба жива-с! 2) ка-артофель! то есть колонист с своей женой, или дочерью, сидящий на возу с картофелем; 3) охтянка, относящаяся к породе некричащих; 4) ливка, ливка! — то есть чухонец со сливками; 5) тетерерябчики; 6) раки, раки, раки! и так далее, не менее ста раз; 7) колбасы, сосиски и штокфиш![1] 8) крендели выборгские — некричащий. Затем: 9) грибы молодые, 10) рыба копченая, 11) сыр галанский, 12) огурцы зеленые и редиска молодая, 13) икра свежая. Наконец, 14) сбитенщик, 15) квасник, 16) калачник и 17) пирожник — составляют собственно принадлежность Гостиного двора, или таких мест, где бывает собрание народа, преимущественно черного.

Ко второму подразделению этого разряда относятся: 1) баргатни халат! то есть, татарин с халатами, 2) холсты, полотна, 3) мыло, духи, помада, вакса, 4) гребенки, щетки, 5) ситы, решета, 6) корзины, 7) бесчисленное множество мальчиков, девочек, старух с разными вещами, как-то: мальчики со спичками, американскими, как они уверяют, мальчики со столиками, мальчики с трубками и чубуками, мальчики со стеклянной посудой и множество других петербургских gamins[2], девочки с цепочками и кошельками из бисера, старухи с воротничками и манишками, отставные приказные с картинами собственного произведения.

К разряду разносчиков, услаждающих наш вкус, относится собственно одна только порода: продавцов фруктов; порода эта, сообразно званиям покупателей, разветвилась на столько отделений, что подробности ее сделались почти неуловимыми для самого опытного наблюдателя. Во всяком случае между разносчиками этого разряда первое место принадлежит ярославцу с лотком на голове, на каковом лотке имеются, смотря по сезону, апельсины или яблоки, ягоды или виноград с арбузами и дынями.

В разряде разносчиков, удовлетворяющих умственным потребностям, как я уже имел честь докладывать, первое место занимает букинист, относящийся к породе некричащих. За ним, по разным ча-

---

[1] Штокфиш (*нем.* Stockfisch) — треска.— *Ред.*
[2] Уличные мальчишки (*фр.*).— *Ред.*

стям искусств, следуют: итальянец со статуями, которого я причисляю к породе полукричащих, потому что только людям, пристально смотрящим на его статуи, он говорит: bona figura signore[1]. Затем, по части живописи и народной книжности: ярославец с лубочными картинами, гадательными книгами и сказками,— вот и все тут! Из чего ясно следует, что душевные потребности низшего класса жителей Петербурга далеко не так развиты, как его потребности телесные, и особливо потребности роскоши.

Теперь остается мне только объяснить, какая благодатная земля насылает в Петербург столько людей, которые, приняв на себя важную обязанность разносчиков, оказывают столь важную услугу северной столице России.

Известно, что первоначальный промысел человека, самый простой, необходимый и указанный ему самою природою, есть земледелие. К торговле же и ремеслам обращались всегда люди, не имевшие достаточного количества земли для своего пропитания или поселившиеся на земле бесплодной. Так было всегда и везде, так и ныне. Из лежащих между Петербургом и Москвою губерний, самые малоземельные, и еще с плохими землями, суть губернии Ярославская и Тверская; зато, особливо в первой, едва ли найдется деревня, в которой бы исключительно занимались земледелием, а обыкновенно бывает так, что из семьи крестьян всегда один или двое в отлучке, то есть работают на фабриках или торгуют в губернских городах и столицах и этим способом не только уплачивают за свои семьи все подати и повинности, но еще приносят домой лишнюю копейку. При помощи этой трудом добытой копейки они доставляют себе и семьям своим довольство, не известное людям, исключительно занимающимся земледелием. Таким образом, большая часть петербургских разносчиков — жители губерний Ярославской и Тверской. Они сами не производители, но промысел и услуга их состоят в том, что они избавляют вас от хлопот самому бегать по рынкам. Словом, это факторы, при помощи которых вы, сидя дома, можете иметь все необходимое для домашнего обихода, не рискуя купить гнилого или завалявшегося товара, потому что разносчик, ежедневно вас посещающий, дорожит вашим знакомством.

Теперь пересмотрим отдельно и в особенности каждого петербургского разносчика, по принятой мной классификации.

Мясник — дюжее, плотное, грудистое, плечистое, мускулистое, краснощекое создание! Все эти признаки здоровья зависят от причин сколько физических, столько же и нравственных. Обращаясь всегда с мясами разных животных, мясник, по объяснению медиков, укрепляет грудь свою, которая спасает его от изнурения. Сверх того, имея всегда верный сбыт своего товара, а следовательно, верную копейку, производя торговлю ранним утром, а потому не имея нужды, подобно другим разносчикам, бегать как угорелый, мясник наслаждается благосостоянием преимущественно перед всеми другими разносчиками. Та же ранняя прогулка заставляет его с вечера быть в трезвом состоянии, что удваивает его здоровье, а следовательно, и благосостояние.

---

[1] Хорошая статуя, синьора *(ит.).— Ред.*

Что касается до крика мясника, должно заметить, что большая часть разносчиков, удовлетворяющих нашим необходимым потребностям, издает самые простые крики, без всяких прикрас. И это очень естественно: торгуя такими предметами, в которых все больше или меньше нуждаются, они не имеют нужды навязывать свой товар. Любо — купи, не любо — не покупай. Сообразно этому и крики их ограничиваются простым наименованием предметов. У мясника вы слышите только: говя... или: вя... или даже просто: я... И это еще произносит он как бы нехотя и негромким голосом, как будто желая сказать: кому-де нужно, тот услышит, а мне некогда, как иному разносчику фруктов, останавливаться перед каждым окном и упрашивать, чтобы купили. Меня ждут не дождутся мои клиенты, кухарки и повара! И торговаться с вами мясник не станет. Кажутся вам говядина или телятина дороги — он лоток на плечо и со двора долой. И этому причина очевидна: мясник хоть и желал бы, по обычаю всякого русского торговца, запросить с вас вдесятеро, да не может: вам известна такса на говядину. Обвесить вас, как в былые времена, он также не может: у него весы и гири с клеймом. Таким образом, волей или неволей, мясник есть честнейший из промышленников. Обыкновенные атрибуты мясника составляют узкий лоток, потому что он носит его не на голове, а на плече, затем: сверх цветной рубахи, какое-то особого рода полукафтанье, подпоясанное ремнем, изукрашенным медными бляхами; к этим бляхам прицеплены: большой нож для разрубания костей, нож поменьше для резания мяса и полоса железа с зазубринами для точения ножей. Правое плечо его полукафтанья, на котором он носит лоток, покрыто куском кожи. Ходит он всегда скорым шагом и не смотрит по сторонам и на окна или на проходящих.

Вид его хотя и озабоченный, потому что ему надобно сделать множество визитов, но это не нахальный вид разносчика фруктов, который осматривает каждого проходящего и заглядывает во все окна. В заключение я скажу, что мясник для многих жителей Петербурга существо вовсе невидимое. Я разумею тех людей обоего пола, а их, кажется, немало в Петербурге, которые ложатся спать, когда другие встают, и встают, когда другие ложатся.

Эти господа разве только по слуху знают о том человеке, благодаря которому они так часто кушают бифштекс и котлеты; потому что после одиннадцати часов вы уже не увидите на улицах Петербурга ни одного мясника. А что делает мясник с этого времени до пяти часов следующего утра — то для меня покрыто мраком неизвестности.

Рыбак. Вместе с мясником, или еще и ранее, поднимается рыбак, замечательный быстротою как в движениях, так и в крике. Очень естественно: рыбак должен разнести свой товар в одно время с мясником; но мясник может купить его с вечера, а рыбак непременно поутру, и к тому должен обежать знакомые ему кухни с таким проворством, чтобы рыба, которую он несет, не успела заснуть, как он выражается, потому что за сонную рыбу дают только половинную цену. Итак, поднявшись чем свет, он скорым шагом идет на тоню, или в садок, за рыбою, и положив ее в лоханку, наполненную водою, спешит на продажу. Эта поспешность совершенно выражается криком рыба-

ка, который на быстром бегу столь же скоро произносит: окуни, лещи, сиги, ерши живые! Вы уже слышите здесь эпитет; но этот эпитет необходим, потому что выражает необходимое достоинство товара: от него зависит весь успех продажи. Для этого, проговорив скороговоркою имена своих рыб, рыбак с той же торопливостью прокричит еще: рыба жива-с, или просто: жива-с.

Рыбак хотя и запрашивает за свой товар гораздо дороже того, что он стоит, однако же, подобно мяснику, не любит торговаться, и за первую выгодную цену сбывает товар. Ему и некогда торговаться: у него одна мысль на уме — продать товар живьем, чтобы не понести убытка.

С тою же быстротою рыбак поднимается на лестницы задних ходов в знакомые ему кухни, откуда, однако ж, нередко возвращается он, ничего не продавши, потому что на товар его нет стольких потребителей, как на мясо. Впрочем, опытные рыбаки заранее уславливаются с поварами и кухарками о том, какой рыбы и в какой именно день нужно доставить, и в таком случае сбыт их верен. Даже очень часто случается, что они два раза в утро успевают сбегать на тоню, или в садок, за рыбою; и оттого рыбак самый усталый из всех петербургских разносчиков.

Колонист с картофелем. Я всегда с особенным уважением смотрю на колониста, немца, когда он, рано поутру, сидя с своей достойной супругой на куче картофеля, с важностию провозглашает: каартóфель, каартóфель, каартофéль! Звук *а* сдваивается при этом от толчков мостовой. С уважением смотрю я на эту пару супругов, потому что при этом ясно и живо представляется мне домашнее их счастие, происходящее от трудолюбия, порядка в хозяйстве, немецкой аккуратности и честности в торговле. Я сейчас переношусь в прекрасный, чистый, опрятный домик этих супругов, где-нибудь в окрестностях Петербурга, и в ту же минуту представляю себе немца с трубкой в руке, окруженного семейством, которое смотрит на него с уважением, толкующего главу из Священного писания или читающего нравственную книгу,— или того же немца в сообществе домочадцев трудящегося на огороде или в поле,— или, наконец, того же немца, после удачной продажи картофеля пьющего у себя в садике с другом и соседом пиво и толкующего о европейской политике с собственной точки зрения. Но особенно замечательно, что во всем этом отражается вид какой-то важности и достоинства. Взгляните, например, на него хоть в то время, когда он сидит на возу с картофелем: проезжай он с таким видом где-нибудь в захолустье России, мужики непременно снимали бы перед ним шапки, принимая его за управителя или приказчика. Но вот кто-то назвал его, или он подъехал к знакомому дому. С аккуратностию сложив вожжи и вручив их своей супруге, он, все с тем же важным видом, насыпает картофель в железную мерку и несет его на кухню. Между тем хозяйка его, а часто и хорошенькая дочка, приведя в порядок растревоженный картофель и прикрыв его, берет вожжи в руки и кокетливо садится на свое место. Наряд ее прост, но очень мил: на ней чепчик самой простой архитектуры, который одно время был даже в моде, и большой чистый передник, закрывающий всю перед-

нюю часть платья. Через несколько минут муж ее, или отец, продав мерку картофеля, возвращается из кухни, кладет мерку на место, заботливо осматривает телегу, сбрую на лошади и, приведя все в надлежащий порядок, при помощи подруги взлезает в телегу и с прежнею важностию продолжает путь, подскакивая при каждом толчке мостовой. Распродав свой картофель, он, счастливый и довольный, возвращается домой, где готов уже для него любимый им бирзуп*, или сосиски мит зауерколь[1], или гутес штюк флейши мит картофелн[2].

Нужно ли объяснять, что колонист не торгуется и не запрашивает вдесятеро, потому что у него заранее вычислено, сколько он должен продать и сколько получит барыша, а равным образом, что он не станет продавать дурного товара и тем более обманывать! Все это не сообразно с его понятиями о честности; да он и не имеет нужды прибегать к подобным средствам: как у доброго хозяина, у него заранее все распределено и ничто не пропадает,— картофелем, не годным в пищу для людей, он кормит скот и птиц.

Охтянка. Едва ли не большего еще уважения, нежели колонист, заслуживает трудолюбивая жительница Охты; во-первых, за исполинский подвиг: поднявшись в четыре часа утра, пробежать, с тяжелою ношею на плечах, по меньшей мере верст двадцать; во-вторых, за благодетельный подвиг — этим тяжким трудом прокормить престарелых отца и мать, сестер и братьев, а иногда и пьяного тунеядца-мужа, от которого, в благодарность за все, возвратившись измученною из дальнего путешествия, терпеть нередко брань и побои. В справедливости первого из приведенных здесь показаний, то есть, что каждая охтянка, бегающая со сливками по Петербургу, есть кормилица своего семейства, можете вы удостовериться от первопопавшейся из этих разносчиц.— «Кабы не нужда, да не большая семья,— ответит она вам,— кто бы заставил меня бегать по городу, мокнуть под дождем и мерзнуть от холода!»— «А муж?»— спросите вы.— «Что муж,— жил у столяра-хозяина и работник хороший, да вишь, все болен!»— Добрая женщина не скажет вам даже, что он пьяница.

И действительно, только нужда и тунеядство мужей или отцов могут заставить этих женщин бегать по городу с тяжелыми ношами. Вы знаете, а может быть, и не знаете, что большая часть охтян отличные столяры и лодочные строители. Многие из них имеют большие и прекрасные мастерские и снабжают изделиями своими Гостиный двор, который, в свою очередь, снабжает ими небогатых жителей Петербурга. Разумеется, что эти люди, живя в довольстве, не имеют нужды заставлять жен и дочерей своих промышлять тяжкою работою. Но беднейшая, или, лучше, пьянейшая часть охтян промышляет трудами жен и дочерей своих, которые ватагой, с раннего утра, отправляются с крайнего пункта Петербурга с одной стороны, и храбрейшие из них доходят до крайнего же пункта с другой стороны, то есть до Галерной гавани. Не угодно ли сосчитать, сколько верст пробежит таким образом охтянка в оба конца, потому что она непременно должна

---

[1] Мит зауерколь (*нем.* mit Sauerkohl) — с кислой капустой.— *Ред.*

[2] Гутес штюк флейш мит картофелн (*нем.* gutes Stück Fleisch mit Kartoffeln) — хороший кусок мяса с картофелем.— *Ред.*

возвратиться домой, где ожидает ее семейство, иногда не совсем-то сытое! Это мучительное путешествие облегчается для трудолюбивых женщин зимою, когда они могут всю тяжесть, под которою страдали их плечи, положить на санки и когда, при помощи добродетельных ванек, после хорошей выручки, они могут полдороги проехать на лошади. Зато посмотрите, как кокетливо охтянка выступает зимою, таща за собою санки, нагруженные кувшинами с молоком и сливками. Наряд ее, особливо при хорошеньком, свежем личике, подрумяненном морозом, очень красив: кофта, опушенная и часто подбитая заячьим мехом, очень хорошо выказывающая стройность талии; ситцевая юбка и синие чулки с разными вычурами и стрелками. Все это, вместе с красивыми лицами, встречаете вы у молодых охтянок. Но вместе с ними отправляются на торговлю также и матушки, тетушки, а что мудреного — и бабушки, потому что нередко случается видеть на улицах Петербурга пожилых женщин, которым, кажется, едва под силу тащить тяжелые кувшины; оттого подле этих почтенных женщин найдете вы нередко двенадцатилетних спутниц, которые, знакомясь с городом, вместе с тем помогают старушкам в их тяжкой работе.

Видя такое множество охтянок со сливками, рассеянных утром по городу, можно подумать, что Охта содержит огромное количество рогатого скота. Ничего не бывало! Большая часть сливок и молока, продаваемых этими разносчиками, подвозится на Охту крестьянами ближайших к ней селений, у которых охтянки скупают эту провизию и потом разносят ее по городу. Говорят, будто при этом они, для большей выгоды, к купленным сливкам и молоку подбавляют иногда воды и муки; говорят еще, что не все из них отличаются совершенною чистотою нравов... Может быть, только это до меня не касается, потому, во-первых, что грехи везде могут быть,— в семье ведь не без урода!— а во-вторых, потому что это грязная сторона описываемого мною предмета, от которой я отказываюсь!

Ливка. Помощником охтянки в продаже молочных товаров — чухонец, обитатель окрестностей Петербурга, гуляющий по городу с какими-то бочонками особенной формы, из которых одни наполнены маслом, а другие тем, что чухонец называет *ливка.* Как то, так и другое находят однако ж немного покупателей, потому что, погнавшись за дешевизною, покупатель рискует найти в сливках, приобретенных у чухонца, или кусок грязной мочалы, или хвост гнилой селедки, или, что еще лучше, пару черных тараканов. Недостаток покупателей не исправляет, однако ж, чухонца; равно и близость столицы от его жилища, обогащающая и просвещающая смышленого русского мужика, не оказывает никакого влияния на чухонца: он остается таким же, каким был в то время, когда русские дрались со шведами за крепость Орешек. Он одет в те же лохмотья, прикрыт тою же шапкою из волчьего меха, льну подобные волосы его так же распущены в беспорядке по плечам. С робким видом гуляет он со двора на двор и предлагает свои *ливка.* Удалось ему как-нибудь продать товар, он тотчас половину денег пропивает, а на остальную покупает гнилых селедок, которыми потом лакомится в кругу своего семейства.

Тетерерябчики. Если к описанным уже мяснику, рыбаку, колонисту и охтянке прибавим еще почтенное лицо, гуляющее по Петербургу с криком: тетерерябчики,— то выйдет довольно полный комплект разносчиков, удовлетворяющих самонужнейшим потребностям столицы. Крик «тетерерябчики» раздается не ранее, как когда улицы Петербурга покроются снегом, или незадолго до того, когда случится подвоз дичи и живности. Тетерерябчики принадлежат, впрочем, к тем разносчикам, у которых множество домов крестьянских в окрестностях Петербурга как будто на откупу. В известное время этот разносчик объезжает деревни, где живут знакомые ему крестьяне, и скупает у них всю живность, которую разносит потом по городу. Сообразно тому, что он успел закупить в деревнях, переменяется и крик его. Так, например, «тетерерябчики» он покрикивает только осенью и зимой; весной он редко показывется, а летом ходит по дачам, провозглашая: курочки, цыпляты, поросяты битые и яйца свежие!

Это порода разносчиков замечательна еще тем, что, разбогатевши, она переходит из кричащей в некричащую. Если вы изволили заметить, «тетерерябчики и куры битые» кричат только мужики в серых зипунах; коль же скоро разносчик этого разряда оставил серый зипун и облекся в синий кафтан, это явный знак, что он перешел в породу некричащих, то есть приобрел десятка два домов, в которых он сделался непременным поставщиком дичи, живности, яиц, масла, зелени и тому подобных припасов. Переходя в этот разряд, разносчик не только перестает кричать по улицам, но и вообще переменяет манеры и обращение. Он делается другом и приятелем поваров в больших домах и угощает их уже не в кабаках зеленым вином, и не в харчевнях чаем, как угощал некогда поваров средней руки, а у себя дома, и не иначе, как кофеем, шеколадом и русской мадерцей. Наконец, этот разносчик очень часто имеет честь представлять товар свой лично хозяйке дома и торговаться с нею. Чтобы не заслужить упрека, спешу оговорить, что, упоминая о хозяйке дома, я никак не разумею под этим русских барынь. Известно, что русская барыня, как только ежегодный доход ее, хотя бы и тяжкою работой мужа приобретаемый, превышает три тысячи, никак не решится идти на кухню и тем менее торговаться с бородатым разносчиком; ну а немки или англичанки — этим давай хоть по двести тысяч дохода, они все-таки не перестанут хлопотать на кухне. А как скоро разносчик добился чести торговаться с барынями богатых домов — это верный признак, что благосостояние его растет. Это доказывается еще и тем, что он носит уже с собой книгу, по которой долги его клиенток, отмечаемые ими самими, возвышаются иногда до тысячи рублей.

Благосостояние этого разносчика возвышается иногда то того, что он уже сам не ездит по деревням, а имеет для этого агентов, равно как в услугах его находятся другие разносчики, которых он рассылает, если число знакомых ему домов возросло до того, что он сам не в состоянии их обнести. Наконец, благосостояние его достигает высшей степени, если он одарен сметливостию и распорядительностию, необходимыми для удовлетворения всех его клиентов, которых требования ставят его часто в затруднительное положение. Эти господа, не

соображаясь с временем года, часто требуют от разносчика таких вещей, которых весьма трудно достать; но для умного разносчика нет ничего невозможного: хоть бы пришлось пробегать два, три дня, а потешить господ надобно. Уже конечно, что подобная потеха не обойдется дешево и двухдневное искание не пропадет даром.

Раки, раки, раки! и так далее не менее ста раз. Вот, примерно доложить, молодец, совершенно противоположный чухонцу со сливками. Как тот робко и тихо провозглашает о своем товаре, так этот нахально лезет к вам в окно и в продолжение целого часа одинаким голосом кричит: раки, раки! Я имел несчастье жить в одном доме с любителем раков и терпел страшное мученье. Разносчик с раками являлся с раннего утра, становился перед окнами моего соседа и кричал: «раки, раки!»— до тех пор, пока сосед или звал его к себе, или отгонял прочь. И эта история повторялась ежедневно в продолжение целого лета! С тех пор я возненавидел и раков, и еще пуще разносчиков с раками, а потому и не могу говорить об них.

Штокфиш и колбасы-сосиски. Но вот крики, забавнее которых ничего не может быть. Представьте себе скрип немазаного колеса — вы будете иметь понятие о первом, а второй уж я и не знаю с чем сравнить. Знаю только, что в нем «колбасы» произносится как можно протяжнее, а «сосиски» как можно скорее. Рассматривая предмет сей со стороны психологической, я уже имел честь объяснить, почему, например, мясник и рыбак отрывисто и скоро произносят имена своих товаров; но для чего немец в сером сюртуке кричит, как немазаное колесо: *штокфиш,* а русский, обыкновенно маленький мужичок: *колбасы-сосиски,* того я никак не могу понять. Равным образом никак не берусь объяснить, где и между какими людьми разносчики находят покупателей, потому что вонючая штокфиш, приготовляемая немцем, и колбасы, изделия русского мужика, на вид невзрачны, а об вкусе страшно подумать.

Затем крики: огурцы зеленые, редиска молодая, грибы молодые, рыба копченая и сыр галанский, издаются одним и тем же лицом, только в разные времена года. Всеми этими вещами торгует обыкновенно ярославец или тверитянин, только что явившийся в Петербург с десятком или двумя рублей, и, по новости, еще не успевший постоянно прилепиться к какой-нибудь отрасли разносчичьей промышленности. Такой разносчик покупает себе прежде всего лоток, а потом, смотря по времени года, разного товару, например, весной — из парника огурцов и редьки, летом и осенью — грибов, зимой, на масленице и о великом посте,— икры, за негодностью продаваемой из фруктовых лавок. За недостатком же всего этого, он все-таки находит средство извернуться, чтобы не проживаться даром в Петербурге. Он накупает копченой рыбы или сыру, как он говорит, галанского, и разносит по городу. Что продаваемый им сыр действительно голландский, в том нет никакого сомнения. Однажды я вздумал в этом усумниться, но тотчас раскаялся, потому что разносчик представил мне ясные доказательства, что сыр его действительно голландский, безо всякого обману. «Ваше благородие,— сказал он мне,— немец Карл Адамыч, от которого я его покупаю, сам его делает!»

Сбитенщик. Если вы житель и давний житель Петербурга, вы, вероятно, знали, вы не могли не знать старика-сбитенщика, который лет шесть тому назад с прибаутками прогуливался по Невскому проспекту. Да, вот уже шесть лет как не видно этого чудного сбитенщика, шесть лет не слышно его знаменитых прибауток, которые слушать, равно как и его самого смотреть,— останавливались все встречавшиеся ему по дороге. Этот сбитенщик влек за собой всегда толпу, уж не говорю о мальчишках, всегдашних его спутниках, нет, он влек за собою толпу людей взрослых и даже почтенных. Он мог сосчитать в числе своих слушателей многих из этих господ, которые ранним утром пробираются по Невскому проспекту с портфелями в руках. Разумеется, никто из них не дотрагивался до его сбитня, а между тем пятачки и гривенники так и сыпались в карман сбитенщика-балагура. И не шутя сказать, он заслуживал и внимания и награды: это был сбитенщик-поэт, сбитенщик-трубадур, сбитенщик-миннезингер! Послушав его, нельзя было не удивляться чудной способности подбирать и сочетать слова, которые остротой и игривостью обращали на себя невольно внимание и смешили, тем более что без малейшей улыбки произносились седым балагуром, придумывавшим каждый день что-нибудь новое о своем сбитне. Будь это в Италии, давно бы уже какой-нибудь поэт, подслушав и выучив все прибаутки сбитенщика, составил из них целую поэму, а вслед за ним Доницетти* — целую оперу. И действительно, мой сбитенщик был ничем не хуже, если еще не лучше знаменитого доктора Дулькамары!* Бывало, послушать седого балагура — так сбитень его имел чудные свойства: он делал человека и здоровым, и веселым, и счастливым! Он имел все свойства любовного напитка; при помощи его можно было узнавать самые сокровенные действия и думы. В заключение, напившись этого сбитня, дурной делался красавцем, дурак — умным, нищий — богатым!

Однако ж я так заговорился о сбитенщике-поэте, что и забыл о его собратиях, которых он всех затмевал своим талантом. Впрочем, об них нечего много говорить; в наше время они стали очень редки; их почти совсем не видно, как надобно думать, потому что в наше время русский сбитень вытеснен из употребления китайским напитком*. Действительно, в наше время всякий, не пьющий водки, не просит уже, как бывало прежде, на сбитень, или на калач, или на пряник, а непременно на чаек.

Калачник. Неоспоримо, что, прогуливаясь по Гостиному двору, можно видеть и слышать много занимательного и поучительного, если станем следить за всеми проделками как продавцов, так и покупателей; но уж, конечно, ничего не может быть занимательнее и поучительнее сцен, происходящих на двух углах помянутого двора, выходящих к Публичной библиотеке и к Пажескому корпусу. Предполагаю, мой читатель, что вы философ и наблюдатель нравов, а потому хотите видеть борьбу человеческих страстей, эгоизм, желание выехать на счет ближнего, которого, разумеется, нужно для этого унизить, осрамить, затоптать в грязь... Хотите в самом деле?— Ну, в таком случае прочитайте объявления журналистов перед новым годом о выходе их журнал... Нет, нет, не то,— я хотел сказать: пойдите к

углу Гостиного двора и громким голосом произнесите магическое слово: калач! Вот что произойдет тогда: вы очутитесь в центре круга, которого радиусы, числом до десяти, состоящие из рук человеческих, будут оканчиваться калачами; окружность этого круга не долго останется в правильном положении: она начнет волноваться, вытягиваться, сжиматься, принимать разные неправильные фигуры, пока не обратится в совершенный хаос. Вместе с тем и радиусы, принадлежавшие к кругу, перемешиваются, сталкиваются в разных направлениях, отталкивают друг друга, и вся эта суматоха сопровождается криками.

— У меня, у меня купите! У меня самые лучшие, свежие!

— Неправда, совсем не свежие! Вот где свежие-то!

— Вот еще выдумал, такие ли бывают свежие-то! Не слушайте его, барин, возьмите у меня: только что из печи! Извольте-ка пощупать!

— Ну уж и из печи! Хочешь обмануть барина, черствый калач подаешь!

— Молчи, ты, борода! Сам хочешь вчерашний продать! Ей-богу, вчерашний, ваше благородие, не покупайте у него!

— И вестимо, не покупайте у них обоих, и купите у меня, ваше превосходительство!

— Обманывают они, поверьте чести, обманывают, ваше сиятельство! А вот купите-ка у меня. Извольте взять в руку, что за калач!.. Денег не возьму, если не понравится!

Если вы человек без характера, вы рискуете в этом хаосе, точно как на белом свете, вовсе растеряться. По крайней мере, вы наверное купите черствый калач, если, чтоб отвязаться от крикунов, решитесь взять калач из ближайшей протянутой к вам руки. Чтобы избежать этого, надобно, избрав какой-нибудь один лоток, подойти к нему и самому искать калачей, из которых только черствые предлагаются покупателям, лучшие же и свежие лежат покрытыми на своих местах. Но чтобы добраться до лотка, нужно, во-первых, протолкаться сквозь мятежную толпу, а во-вторых, и при самом выборе не обращать внимания на крики и порицания завистников. Это точно как — виноват, не могу удержаться от сравнения,— точно как при рецензии какой-нибудь книги журналистами: нет другого средства узнать достоинство сочинения, как прочитать его самому.

Что касается до достоинства калачей, то смело можно сказать, что всякий любитель русских щей, борща и каши не может пройти мимо Гостиного двора, не купивши калача, который в свежем виде действительно превосходный хлеб. Оттого часто вы можете видеть сани и кареты останавливающимися у Гостиного двора с тем только, чтобы купить свежий калач. И калачники знают это: как скоро карета остановилась у их угла, они бегут к ней с калачами в руках, толкая друг друга.

Мне случилось видеть забавную сцену между калачниками и моим знакомым доктором, из немцев. Почтенному доктору понадобилось что-то купить в Гостином дворе; он в своей маленькой карете подъехал к углу калачников, и не в состоянии будучи сам отпереть дверец кареты, хотел попросить ближайшего из калачников и для этого мах-

нул рукой. Вдруг пять или шесть рук с огромными калачами просунулись к нему в карету. Напрасно доктор кричал, чтоб калачники убирались, что он калачей не употребляет. Ничто не помогало! Калачники не слушали его и дрались у кареты, восхваляя свой товар. Я не знаю, чем бы кончилась вся эта проделка, потому что доктор начинал уже терять терпение, если бы кучер не догадался и не поторопился отъехать от угла калачников.

Что всего занимательнее, вражда между калачниками продолжается, пока покупатель не выбрал или не купил себе калача. Как же скоро товар уже куплен, продавцы-соперники очень дружно разговаривают между собою.— «Дядя Андрей, дай-ка гривну медных, надобно сдать барину!»— И дядя Андрей безо всякого прекословия дает гривну своему противнику, который отбил у него покупателя. А спросите дядю Андрея, разве он не сердит на названного племянника, который за минуту перед тем утверждал, что Андреевы калачи никуда не годятся и что сам Андрей надувало?— «За что сердиться,— ответит он,— вестимо, всякому хочется свой товар продать!»

Крендельщик. Кто любит щи и кашу, сказал я, тот любит и калачи; а кто любит калачи, тот любит и крендели. А кто любит крендели, тот должен отправляться, для приобретения их, туда же, на Гостиный двор, потому что там только может он найти хорошие крендели, которых, как известно покупателям, все достоинство состоит в свежести. Что касается до крендельщиков, ходящих по городу, их должно разделить на носящих товар свой в корзинах и на носящих его просто на плече, неприкрытым, а равно — на русских крендельщиков и выборгских крендельщиков. Последние относятся к породе некричащих, русские же провозглашают: а вот крендели-баранки!

У разносчиков русских, носящих крендели в корзинах, хотя и редко, но еще можно найти свежие крендели, а у тех, которые носят товар свой в двух вязанках, перекинутых через плечо, вы рискуете купить крендели и черствые, и грязные, и омытые дождевой водой.

С выборгским крендельщиком, вероятно, вы уже знакомы. Товар его, кроме кренделей и хлебов, состоит еще из разного рода пирожных и пряников. Ни сам выборгский крендельщик, ни его хлебы не представляют ничего особенно замечательного, кроме того разве, что хлебы эти, по причине сладкого вкуса, весьма скоро приедаются.

Пирожник. Расстегаи, которыми, вероятно, вы изволили лакомиться у Излера*, суть не что иное, как усовершенствованные произведения тех брадатых пирожников, которых в большом числе встречаете вы на Гостином дворе. Что произведения этих пирожников, хотя и уступающие излеровским, имеют свои достоинства, можно доказать тем, что ими питаются не только торгующие на Гостином дворе, но весьма часто и посетители. Мне нередко случалось заставать в лавках барынь с пирогами в руках, и еще чаще за уголками господ, которые, отправляясь ранним утром к должности, не могут пройти мимо Гостиного двора, не съевши пары горячих пирогов; и как барыни, так и господа утверждают, что означенные пироги в горячем состоянии бесподобны, только требуют хорошего желудка, по причине содержащегося в них в избытке масла.

Пирожник, торгующий на Гостином дворе, заслужил уже такую репутацию, что не имеет нужды ни в прибаутках, ни в излишних эпитетах к своему товару и довольствуется отрывистыми восклицаниями: горячи-с! с пылу-с! самый жар-с! — зато собратия его, гуляющие с своими произведениями по городу, дачам и лагерям, весьма замечательны в этом отношении. Не далее как в прошлом лете я встретил в лагере пирожника, совершенно понимающего важность прибауток в своей торговле. По долгу человека, принявшего на себя обязанность описывать этот класс людей, я тотчас же остановил приятеля и заставил его проговорить все, что он провозглашает о своем товаре. Вот от слова до слова его скороговорка:

(Piano[1]) Горяченькие, кондитерские, слоеные пирожки, с говядиной, с фаршем, сладкие с яблочками! Макароны, бриош*, баток де руа*, берлинский хлеб! (crescendo[2]) Французские и итальянские макароны, капелькухен*, походный кофе, бисквиты, английские пирожки! (forte[3]) Шод безе*, меринги* и кондитерские миндальные, сладкие, белые палки! (fortissimo[4]) Здравия желаем, ваше сиятельство!

При последних словах пирожник вытянулся в струнку, в три темпа снял корзину с головы и поставил ее передо мною.

Перейдем теперь ко второму отделению этого разряда: разносчикам, удовлетворяющим туалетным и другим потребностям жителей столицы. Само собою разумеется, что люди, удовлетворяющие этим потребностям посредством разносчиков, не принадлежат к высшему и даже весьма мало к среднему слою общества.

Замечательнейший из разносчиков этого разряда есть, конечно, татарин, или, как, не знаю почему, называют его в Петербурге, бухарец, торгующий халатами. Да позволено мне будет сказать о нем несколько слов.

Баргатни халат. Нет спору, хороши и занимательны известные всякому проделки гостинодворских сидельцев с покупателями; но должно сказать по совести, они ровно ничего не значат перед тем, что совершает с покупателем своим татарин, торгующий халатами, который, можно сказать, утрирует все выходки гостинодворца. Сделайте одолжение, зазовите к себе когда-нибудь татарина и попробуйте с ним поторговаться.

Вошедши к вам, он прежде всего пристально осмотрит кругом все ваши вещи, мебель, потом оглядит вас с ног до головы, и затем уже развернет узел, в котором хранится его товар. Из этого узла вынет он то, что найдет наиболее сообразным с вашим житьем-бытьем и особенно вашим старым халатом, который, по его мнению, и в новом виде никуда не годился. При этом он заметит, что стыдно такому прекрасному барину носить такой дрянной халат, и изъявит удивление, что вы не позвали его раньше. После того, видя, что вы обра-

---

[1] Негромко *(ит.)*.— *Ред.*
[2] Усиление звучности *(ит.)*.— *Ред.*
[3] Сильно, громко *(ит.)*.— *Ред.*
[4] Очень сильно *(ит.)*.— *Ред.*

тили внимание на который-нибудь из предлагаемых халатов, он тотчас расстелит его перед вами, но так, чтобы вы не заметили ни одной дурной сшивки или вставки разноцветных материй. Когда вы рассматриваете халат, он уверяет вас, во-первых, что это баргатни, или шелковый, или термоламовый халат, во-вторых, что такие халаты носят только турецкий султан да оренбургский муфтий*, и, в-третьих, что таких удивительных халатов вы нигде не найдете, как только у него, Ахмета Сеитовича Абдул-Рахманова, казанского мещанина и вашего покорного слуги. Если вы на это заметите, что он обманывает, татарин с самым невинным и набожным видом воскликнет: «Ай, ай, барин, что ты говоришь, утманить! Как можно утманить! Это ведь грех. Мухаммед не велел утманить. Уж утманить-то не станем, своя душа греха-то не возьмем!»

Ну как бы, кажется, не поверить такому человеку! Вы спрашиваете, что же стоит халат? — и татарин, положивши руку на сердце, отвечает: «Буследний цена бультараста рубля!»

А если татарин просит полтораста рублей, давайте смело двадцать. Положим, вы предложили ему двадцать рублей. В ответ на это он посмотрит на вас с недоумением, как будто желая сказать: не с ума ли ты сошел? Потом он очень спокойно сложит свой халат, укладет его в узел и, надевая свою мохнатую шапку, скажет: «Прощай, барин, видно, купить-то не хочешь. Зачем же тащил меня к себе?»

Подобная проделка однако ж не должна смущать вас: это только начало комедии — конец еще далеко. Татарин хлопнет дверью, постоит в прихожей, а потом, отворив дверь и высовывая голову, скажет: «Ну ладно, барин, сто сорок рубля можно взять, а меньше не можно!» — Вы отвечаете: «Двадцать!» — Тогда он с негодованием уходит от вас, выходит из дому, и несколько раз взад и вперед проходит по улице, поглядывая на ваши окна в ожидании, не позовете ли вы его. Но вы не зовете, и он скрывается в конце улицы. Кажется, ушел совсем. Ничего не бывало! Дошедши до конца улицы, он снова возвращается, сперва к вашему дому, потом, постояв немного, к вам на двор и, наконец, задним крыльцом в комнаты.

— А что, барин, сто двадцать рубля даешь, или нет?

— Нет!

— А что даешь?

— Я сказал: двадцать рублей.

— Ну, крайний слово, хочешь покупай, хочешь не покупай: сто рубля!

Вы больше двадцати не даете, и татарин уходит уж в самом деле, так что вы начинаете думать, не слишком ли мало давали ему. И действительно, что же за необходимость человеку уйти от вас, не продавши товара, если бы предлагаемая цена была для него выгодною. Но вы и не подозреваете, что дела ваши с татарином еще не кончены. И они в самом деле не кончены. На другой день, едва успели вы встать с постели, как из дверей прихожей выглядывает уже голова вчерашнего знакомца.

— Ну, барин, даешь ли сто рубля?

— Нет.

— Ну ладно, берем семьдесят пять, старый халат и еще как-нибудь[1] вещь в придачу,— вон тот ковер, что под столом.

— Ты взбесился никак, бритая голова! Ковер отдать! Да ковер-то один стоит двести рублей.

— Ну полно, барин, шалтай-болтай рассказать. Шалтай-болтай не надо говорить, надо дело говорить. Торгуй делом-то!

Наконец, татарин вам надоедает и вы без церемонии объявляете, чтоб он убирался, если не хочет отдать халата за двадцать рублей. И он уходит, говоря, что это дело *любавный**: хочешь — покупай, не хочешь — не покупай, а меньше семидесяти пяти он уступить не может. А между тем на третий день он рано поутру тут как тут у вас, в передней, и просит уже пятьдесят рублей за халат. Тут уж проделка его делается слишком явною, и вы, не давая более двадцати рублей, решительно гоните его вон. Тогда только, видя, что все уловки его не удаются и больше двадцати рублей с вас взять нельзя, он отдает вам халат за эту цену, уверяя, что потерпел страшный убыток, и прося на придачу все вещи, которые попадаются ему на глаза, не исключая и ваших старых спальных сапогов![2]

Выше сего, поименовывая разносчиков, относящихся к этому разряду, я упустил из виду двух: *птицы певчие* и *цветы-цветочки*.

Первый из этих криков слышен на улицах Петербурга преимущественно весною, от апреля до июня. Он издается небольшим мужичком, который несет в руках две длинные жерди. На эти жерди натыкано множество клеток с чижами, канарейками, скворцами, дроздами, зябликами, жаворонками и другими птичками, для которых подобное путешествие есть истинная мука. От движений рук разносчика шеста, к которым прицеплены клетки, качаются и бедные птицы беспрестанно бьются головами о бока и потолок клеток.

Преимущественно этот разносчик сбывает товар на Светлой неделе, когда русские купцы покупают у него бедных затворниц не для комнат, а для того, чтобы выпустить на волю. Намерение, бесспорно, птицелюбивое, только следствия не совсем-то ему соответствуют: птички, выпущенные на волю в большом городе, не зная, куда лететь, садятся на крыши и достаются на завтрак кошкам. Крик продавца птиц самый забавный: он пискливым и гнусливым голосом возглашает: птицы пиявчия!

Цветы-цветочки. За городом, большею частию на Петербургской и Выборгской сторонах, ярославские огородники, они же и садовники, нанимают у частных владельцев небольшие клочки земли, строят на них оранжереи и разводят множество цветов и деревьев, обыкновенно недорогих, каковы: розы, жасмины, герани, мирты, левкои, резеду и другие. Каждую весну к этим огородникам являются из деревень их приятели и за известную плату разносят цветы по городу и дачам. По обычаю русского разносчика, они носят горшки с этими

---

[1] Как-нибудь — здесь: какую-нибудь. — *Ред.*

[2] Говоря о разносчиках-татарах, следует заметить, что в настоящее время они уже халатов по домам не разносят.

цветами на головах и продают их за весьма дешевую цену. Горшок резеды или левкоя можете вы купить летом за пять копеек медью. Неоспоримо, что эти разносчики доставляют большую пользу, и особенно тем жителям Петербурга, которые, не имея возможности переехать летом на дачи, могут по крайней мере иметь удовольствие уставить за дешевую цену окна своих квартир благоухающими цветами и деревьями.

Не имею ничего особенного сказать о лицах, издающих следующие крики: *холсты, полотна,— мыло, духи, помада,— щетки, сита, корзины,—* кроме того, что это люди, торгующие по большей части произведением рук своих, и что из них продающий духи, помаду и гребенки есть любимец горничных и гризеток, а потому и перехожу прямо ко второму классу — классу разносчиков, удовлетворяющих прихотям и вкусу.

Выше было упомянуто, что к этому классу относится собственно один только продавец фруктов и сластей, и что оттенки его бесчисленны; во всяком случае, однако же, первое место занимает здесь продавец апельсинов, яблоков, персиков, груш и тому подобного.

Я сказал — продавец апельсинов, персиков и прочего; но и здесь необходимо подразделение, потому что этого рода продавец может быть: 1) продавец в бархатном кафтане, 2) продавец в суконном кафтане и 3) продавец в зипуне.

Первый из них есть разносчик-богач, разносчик разжившийся. Голова его, как и голова всякого разжившегося человека, не в состоянии вынести большой тяжести, а потому и лоток его не так нагружен, как лотки разносчиков-плебеев. Он несет всего пять-шесть корзин, из которых в каждой десятка по два немассивных яблоков или арбузов, но лучших ананасов, персиков, слив. Этот разносчик только по виду разносчик: он не бегает по улицам и не кричит, как другие разносчики, но разъезжает на извозчике по домам и по разным другим местам. Любит же и покровительствует он особенно тех покупателей, которые берут у него в долг, по весьма уважительной причине, а именно потому, что они покупают, не торгуясь. А вестимо дело, купить у русского купца, не торгуясь, значит заплатить вдесятеро. Правда, эти господа и платят не совсем-то исправно, но у разносчика свой расчет: положим, что должники заплатят только половину долга, что почти всегда точно так и случается, все-таки, значит, он продал свой товар впятеро дороже действительной ценности.

Клиентов, то есть должников, у этого разносчика пропасть, и я не знаю, поверят ли мне, если я скажу, что в Петербурге есть лица, которых долги одному разносчику фруктов простираются до пяти тысяч рублей. А впрочем, рассуждая беспристрастно, почему же и не задолжать разносчику пяти тысяч, когда пять тысяч для вас небольшие деньги. Ведь был же тут барин, который промотался на перчатках, а другой — на галстуках и жилетах,— всякий мотает по-своему! Достоверно только, что если вы задолжали разносчику пять тысяч, значит купили у него товару никак не более, как на тысячу, и, следовательно, можете платить не более как две или много что две с половиною тысячи. Барыш все еще будет не дурен. Но вот в чем вопрос:

хорошо, если задолжает разносчику такое лицо, которое может уплатить долг; но ведь известно, что в Петербурге довольно и таких, которые, не имея никаких ресурсов, готовы задолжать хоть сто тысяч рублей! Я хочу сказать: не рискует ли разносчик, поверив в долг на две тысячи, не получить ровно ничего?! О! на счет этого можно быть покойным. Сведения и справки о доходах покупателей собраны у него самые верные, и со всею аккуратностию рассчитано, кому и на сколько можно поверить. Если вы покупатель, то можете быть уверены, что вашему разносчику-кредитору известно не только число душ ваших и состоят ли они на оброке или на барской запашке и платят ли исправно повинности; но также с удивительною верностью рассчитано, сколько вы должны получить с имения вашего доходу и в какой именно срок. Как раз в этот срок разносчик-кредитор без лотка и товара очутится у вас в передней. Если у вас нет ни душ, ни земель, разносчик в подробности узнает другие источники вашего существования, и, соответственно им, ни больше ни меньше, будет отпускать вам в долг. Придерживаетесь вы, примерно сказать, карточек, разносчику уж известно, когда вы выиграли и когда проиграли. Если, например, вчерашний день счастье вам поблагоприятствовало, будьте уверены, что сегодня поутру, вышед в переднюю, прежде всего встретите разносчика-кредитора; если же вы проигрались, или из деревни, или из других источников, не получили доходов, то, конечно, никак не увидите у себя разносчика. Из чего явствует, что разносчик фруктов есть самый любезный из кредиторов.

Но откуда такое чутье? — спросите вы.— Какие средства употребляет этот человек, чтобы узнать все подробности о ваших доходах? — А лакеи-то ваши на что? А на что в Петербурге столько харчевен и ресторации, где получается разное кушанье и чай? Положим даже, что слуга, которого разносчик пригласил в заведение, пошел с ним не из видов каких-либо, а так просто, для ради компанства, все-таки, пивши чай, что может продолжиться по меньшей мере час, должны же они, как люди, знающие обращение, кой о чем покалякать. А о чем же и калякать, как не о барине! Покалякали — смотришь, разносчик уж и знает всю подноготную своего покупателя, как свои пять пальцев.

Впрочем, в отношении к должникам служащим, и особливо если долги их незначительны, разносчик и не имеет нужды собирать таких подробных сведений: уже самая служба и простая расписка их руки достаточно его обеспечивает.

При всех поименованных достоинствах разносчик фруктов, разбогатевший ли он или плебей, должен обладать еще одним существенно необходимым достоинством, без которого он не только не может попасть в первый разряд и напялить на себя бархатный кафтан, но и вообще иметь какой-либо успех в торговле. Достоинство это есть — балагурство. Всякий порядочный разносчик должен быть вместе и балагуром, что весьма натурально: у кого на уме лакомства, тот не хочет около себя видеть постных лиц; и разносчику, для успеха торговли, необходимо подделываться под тон покупателей, то есть, сбывая товар, вместе с тем и забавлять их. Разносчик поважнее вполне

понимает это и волей или неволей старается иметь веселый вид и смешить покупателей. Впрочем, он редко начинает сам балагурить, а задирает обыкновенно покупатель. Это делается большею частию таким образом.

Покупатель, разумеется, служащий, возвратившись из департамента, или с караула, или с ученья, и, пообедав порядком, предается на диване, с трубкою в зубах, усладительному far niente[1], как докладывают ему или сам он видит, что явился разносчик с фруктами.

Надобно вам сказать, что молодежь, посещаемая разносчиком, дает ему непременно кличку, с которою он потом и делается известным. Кличка эта зависит от случая и от изобретательности покупателей. Я знал, например, разносчика, получившего прозвище вот по какому случаю. Он назывался по святцам Хрисанфом, но в деревне, где он жил, называли его и сам себя он называл Красоном. А от Красона до Гарсона[2] один шаг, и вот Хрисанф превратился в Гарсона. К чести Гарсона, надобно, однако ж, сказать, что он долго отбивался от этого названия и даже обижался, кто его знает, может быть и притворно; по крайней мере на эту кличку он отвечал: что это, барин, собака что ли какая? Только собак называют Гарсонками. Ему доказывали, что он несправедлив, что Гарсонами называют также мальчиков в кондитерских и у парикмахеров, и продолжали называть этим именем. Все это кончилось тем, что разносчик так привык к своей кличке, что, наконец, и сам себя иначе не называл, как Гарсоном.

Итак, Гарсон или другого названия разносчик входит к лежащему барину, таща с собой лоток, который он, в угодность барину, и ставит перед диваном, где он лежит. Я разумею здесь диван летний, стоящий или в беседке сада, или на балконе дачи, или в палатке лагеря. Когда разносчик поместился таким образом перед покупателем, то последний, не дотрагиваясь еще до лакомств, начинает, выпуская изо рта клубы дыма, вопросом: ну, что скажешь, Гарсон? или: откуда, Гарсон? У Гарсона уже готово: для потехи барина, а часто и его собеседников, он начинает молоть всякий вздор, от которого мало-помалу переходит к своему товару. Разумеется, он говорит панегирик своему товару и своей честности. Над панегириком его смеются, а на клятвы о честности уверяют, что он мошенник. Он силится доказать противное и поневоле завязывается спор, во время которого покупатели, конечно, с ним не церемонятся: Гарсона бранят, над Гарсоном смеются, а сами все-таки кушают да кушают, что попало, из лотка. Посмеялись, покушали, ан смотришь, целковиков на десяток и продано! Следовательно, дело сделано.

Иногда разговор разносчика с покупателями принимает совершенно другое направление. В рассказы о том, где был и что видел, он нередко вмешивает разные семейные сцены, которых был свидетелем, и даже целые истории, которые без него остались бы, может быть, домашними тайнами. Всего же чаще речь идет о хорошеньких — о

---

[1] Ничегонеделание *(ит.)*. — *Ред.*

[2] Гарсон *(фр.* garçon*)* — мальчик.— *Ред.*

ком бы то ни было — барынях, барышнях, гувернантках, горничных, швеях и проч. Здесь сметливость разносчика доходит до совершенства. Он не только знает по именам всех красавиц в посещаемых им домах, но и об их свойствах, наклонностях, образе жизни, поведении, и не только утвердительно может сказать, за кем можно с успехом приволокнуться, но даже и укажет средства, как приступить к этому делу и счастливо покончить его. Весьма часто вслед за таким разговором разносчику попадает в руку — здесь он в долг уже не верит — белая ассигнация вместе с раздушенной запиской на атласистой бумаге; к этому присоединяется обещание дать вдвое, если доставит ответ.

Подобные проделки совершают с своими покупателями и разносчики средней руки, или, как я их назвал, разносчики в суконных и нанковых кафтанах, отличающиеся от описанных тем, что ходят пешком и что лоток их нагружен потяжелее: на нем уже не видно персиков и ананасов и красуются только яблоки, бергамоты, груши, арбузы, дыни и проч. У этого второстепенного разносчика хотя и есть свои клиенты, но уже не так много, как у разносчика первого разбора, и потому он находится в необходимости провозглашать о своем товаре во всеуслышание. Товар его зависит от времени года. Он является в Петербург в апреле месяце перед пасхою, то есть в такое время, когда еще нет никаких фруктов, которые, как известно, привозят не прежде мая. Что ж делает он до того времени и зачем так рано явился в столицу? А вот видите ли зачем: зиму-то он пролежал на печи,— приходит весна, надобно работать в поле, а этим вот уже десятый год он не занимался: а между тем зимой жена накоптила целую сотню окороков. Дело ясное: надобно идти в Питер продавать окорока, пока подвезут апельсины. Окорока распроданы в апреле, а в мае покупаются и разносятся по городу апельсины и лимоны. В придачу к апельсинам кладутся еще на лоток: пряники, плоды, варенные в сахаре, и дешевенький шеколад. Все это продается до конца июня. В это время лоток нагружается исключительно ягодами — сперва земляникой, потом клубникой, малиной, смородиной, вишнями. В августе на лотке разносчика показываются яблоки, груши, бергамоты, сперва совершенно зеленые, петербургские, потом спелее и, наконец, в сентябре, совершенно спелые, крымские и заграничные. В это же время к означенным товарам присоединяются арбузы, дыни и виноград. Такая торговля продолжается до ноября. Ноябрь на дворе — баста: пришла пора идти домой на зимовку, вместе с тем приспела пора окончательного расчета с должниками. Разносчик оставляет лоток, облекается в дорожный костюм и в таком виде является к должникам, уверяя, что завтрашнего числа выезжает из Петербурга. Должники, однако ж, не торопятся: каждый из них знает, что кредитор выедет, или, лучше сказать, выйдет из столицы не раньше декабря. Многие даже и на это не обращают внимания и, несмотря на клятвенные уверения разносчика, что в этот год он потерпел страшные убытки, откладывают уплату долга до будущего года. Хотя разносчик и получил только половину долга, а как сведет концы с концами, смотрит — сотня целковиков и очистилась. Довольно, и очень довольно, чтобы

уплатить подати и оброки, накупить питерских гостинцев для домашних и пролежать целую зиму на печи. А там, по весне, бог даст, опять пойдем в Питер, да еще и сынишку возьмем с собой: он ведь у нас уже матёрой, пора приучаться хлеб зарабатывать! А для домашних работ принаймет батрака, который в лето-то возьмет много-много, что десять целковиков.

Послушаем теперь криков этого разносчика и потолкуем о других его достоинствах.

Крик разносчика фруктов зависит, разумеется, от того, что у него на лотке, за исключением только пряников и шеколада, которые, как я сказал, кладутся для дополнения. Во всяком случае главный и необходимый эпитет к продаваемому товару, что он хорош: самые зеленые яблоки и груши, самые гнилые апельсины именуются непременно хорошими, а ягоды — садовыми. Впрочем, обратив более тщательное внимание на этот предмет, мы откроем, что означенный эпитет, кроме показания достоинства товара, необходим в напевах разносчика и потому, что его требует самое ухо: без него не вышло бы размера. Извольте пропеть например: яблоки, груши,— не выходит,— и разносчик находится в необходимости петь: груши, яблоки хороши! — апельсины, лимоны хороши — виноград крупно́й, или: садова малина, садова клубника. Но — садова вишня — опять не выходит, нужно прибавить лишний слог,— и разносчик поет: садова вишанья. Вследствие того же требования уха, как надобно думать, разносчик прибавляет к слову дыни название «мелены»,— не умея растолковать, для чего он делает подобную прибавку, и даже значения слова «мелены».

У второстепенного разносчика уже не покупают, не торгуясь, как у разносчика разжившегося, потому что покупатели его беднее; а торговаться с ним необходимо всякий раз, как желают что-нибудь купить. За десяток того же сорта яблоков, которые вы вчера купили за двадцать копеек серебром, хотя разносчик и просил за них полтинник, он сегодня будет просить все тот же полтинник, уверяя, что сегодня утром яблоки очень вздорожали. Нет сомнения, что и сегодня и завтра он продаст их за те же двадцать копеек, только не иначе, как с боя, то есть начиная просить полтину и постепенно понижая до двадцати копеек.

Так как для разносчика особенно выгодно иметь как можно более знакомых, то, продав вам десяток яблоков, он уже называет вас знакомым барином, и на этом основании считает себя вправе являться ежедневно перед вашими окнами, провозглашая: купите, барин, есть отменные фрухты! Если вы, шутя, а может быть, и без шуток сказали, что нет денег, он предлагает взять в долг и продолжать эту милость и на предбудущее время. Последнее обстоятельство доказывает только, что он успел уже перенюхаться с вашей прислугой и удостовериться, что вам можно верить в долг, или, еще проще, узнал, что вы служащий и, следовательно, с вас можно получить расписку, а в случае нужды припугнуть начальством. Если же он, продав вам вчера что-нибудь из своего товара, видит сегодня, что вы покупаете у другого, он начинает вас стыдить, говоря, что вы, знакомый барин, изменили ему, не хотели десяти минут подождать, пока

он придет, а покупаете бог знает у кого и бог знает какой товар. Но если он, действительно, ваш старый знакомец, то без церемонии гонит нового разносчика прочь, утверждая, что он никак не дозволит обманывать своего барина и продавать ему гнилой товар.

Спускаясь от разносчиков в синих кафтанах к разносчикам в зипунах, мы встретим такую пестроту, такое разнообразие, такое множество криков, напевов, припевов, что нет никакой возможности уловить всего этого! Время, изобилующее в Петербурге разного рода разносчиками фруктов,— сентябрь и октябрь месяцы. В это время всякий петербургский gamin, имеющий гривенник в кармане, запасается корзиной, лотком, ящиком, чем попало, накупает фруктов, каких попало, и, провозглашая их хорошими, отправляется по городу. Первую роль во всем этом играют яблоки, покупаемые из складочного места, Щукина двора, и продаваемые потом солдатам, извозчикам, чернорабочим и другим низшего класса жителям Петербурга.

Этим можно было бы кончить статью о разносчике фруктов; но я не могу упустить еще двух видов этого разряда. Первый вид — продавец вареной груши, второй — клюквы.

Продавец груши играет важную роль в простом народе, тем более, что он является с своим дешевым товаром в такое время, когда еще вовсе нечем лакомиться, кроме разве прошлогодних орехов, именно в апреле месяце. На пасхе, и около этого времени, в отдаленных частях города вы слышите беспрестанно крик: по грушу, по варену, по грушу! Мужик, торгующий этим товаром, держит на голове огромный лоток, а в руке подставку, на которую, при продаже, ставится лоток. На одном конце этого лотка лежит разваренная в воде сухая груша, на другом — бочонок, наполненный водою, в которой груша варилась. Как к груше, так и к бочонку с грушевой водой, или грушевым квасом, как ее называют, страшно дотронуться чистыми руками; однако ж есть люди которые всем этим лакомятся да еще похваливают. Если вам угодно будет когда-нибудь пройтись по берегу Невы около Невского монастыря, вы увидите на берегу около барок и на самых барках, стоящих на Неве, много людей, которые пригоршнями кушают вареную грушу или лакомятся грушевым квасом.

Продавец клюквы отличается забавным напевом, где он играет созвучиями: клюква и крупна; он поет: по клюкву ягоду, по клюкву,— по клюкву, по крупну! А вот ягода клюква, ягода крупна, и проч. Покупатели его те же, что и покупатели вареной груши.

Мороженщик. Взять молока, или малинового отвару, толченого сахару и смешать это с достаточным количеством снегу. Из этого воспоследует мороженое, сливочное, или малиновое, какое угодно, только не простое, а «морожено хорошо-с!» — Такого рода мороженое продается русским мужичком в огромном ушате, наполненном льдом. Один этот ушат весит по меньшей мере пуда три; но мужичок не тужит, носит себе на голове да покрикивает: морожено хорошо-с! а покупатели кушают, не нахвалятся. Как теперь смотрю: сидит извозчик на крыле дрожек, намазывает на ломоть черного хлеба белое

мороженое и хвастает перед товарищем, что это кушанье преважнеющее, так глотку и захватывает! Только дорого: рюмка в три глотка стоит ни мало ни много две серебряных копейки. Для извозчика, конечно, это дорого, зато для писаря, который на гулянье Крестовского острова, с одной стороны, видит мороженщика, и с другой — свою возлюбленную, горничную, для писаря мороженщик — сущий клад: и дешевое, и прекрасное, деликатное угощение, а главное — угощение, которое так нравится горничным! Дамский угодник, писарь, взяв рюмку с мороженым, бежит навстречу к своей возлюбленной. «Ах, Фекла Ивановна, а я вас давно ищу! Не угодно ли полакомиться!»— «Благодарю покорнейше, Гаврила Степанович!» — И Фекла Ивановна жеманно принимает из рук его рюмку с мороженым. Однако ж, предлагая прохладительное даме своего сердца, любезник напоминает, чтоб она осторожнее обращалась с лакомством, потому, прибавляет он, что «день жаркой — вы кажется изволили взопреть».— «Что мудреного,— замечает на это простодушная спутница Феклы Ивановны,— что мудреного, ведь мы от Таврического пришли пешком!»

За сим предстоит нам обозреть третий и последний разряд: разносчиков, удовлетворяющих душевным потребностям низшего класса жителей Петербурга. Начнем с букиниста, стоящего во главе сего разряда.

Букинист. Правду говорят, что русского человека куда ни кинь, везде годится, на все способен, всему выучится, ко всему приладится. Только дайте ему хорошего учителя. А какой же учитель может быть лучше нужды? И признаться сказать, только этот учитель и в состоянии победить обыкновенную беспечность русского человека. Чтобы не обращаться к предметам посторонним, я приведу в пример ту же самую толпу разносчиков, которую мы только что вывели на сцену. Кто, как не нужда, гонит их за пять, за шесть сот верст от домашней хаты? Кто, как не нужда, заставляет разузнавать потрсбности жителей столицы? Нужда выгнала, попытались прийти, развернуть ум, способности, дремавшие до того,— и вышло хорошо. Кроме нужды, и пример великое дело. Иван в Питере нажил копейку, дай-ка, и я то же сделаю. Сделал — хорошо,— и вот целая толпа горемык, поселенных на плохой земле, не имеющих часто ни кола ни двора, идут в Питер и все возвращаются с копейкою в кармане.

«Кой черт,— думает Трофим,— все идут в Питер, все наживаются, а иные даже успели и каменные домы построить и в мещане записаться! Да и что за люди! Почти ни один грамоты не знает и никакому ремеслу не учился. А я, слава тебе господи, грамоту-то смекаю, как свои пять пальцев, недаром целый год у волостного писаря помощником был! Да не только русскую грамоту, а благодаря сыну отца Василия — дай ему бог много лет здравствовать — и латинские буквы сумею разобрать! Неужели и мне не найдется места в Питере?» — Как не найтись, иди только.

И пришел Трофим в Питер, и принес с собой на разживу капиталу без малого сто рублев. Пришел да и смотрит, за что бы ему приняться. Яблоки или грушу вареную продавать такому ученому мужу, как

Трофим, не приходится. Торговал у него дядя на Толкучем разным старым тряпьем. Приютился сначала Трофим к дяде, который и пустил его по городу собирать старое тряпье. Ходит Трофим по дворам да покрикивает козлиным голосом: старого платья, старого меху продать! — и приносит к дяде каждый вечер целую кипу тряпок. На первый случай, конечно, хорошо, зашибить копейку можно; но и это ремесло не по Трофиму: он, по своему образованию, стоит слишком высоко над ветошниками Толкучего рынка! Надобно выбрать что-нибудь другое. Видит Трофим на том же рынке целые груды разных книг, и от времени до времени,по знакомству с книжными торговцами, возьмет да прочитает то ту, то другую книгу. Пришла ему, наконец, в голову идея, за которую он крепко ухватился.— Постой-ка,— думает он,— попробую, вместо тряпья, носить да продавать книги. Именно так! Только надобно примениться к этому делу.— Идет Трофим в книжную лавку да спрашивает: а позвольте узнать, что стоит такая-то книга? Отвечают ему: пять рублей. А вчера эту же книгу, да еще в переплете, отдавали ему на Толкучем за четвертак.— Хорошо, ладно,— думает Трофим,— будем смекать! Куплю за четвертак, а продам за полтинник и придется капитал на капитал! — И вот Трофим знакомится и дружится с мальчиком из книжной лавки, узнает от него, какие книги наиболее покупаются, запасается каталогом Смирдина*, сравнительно с ним закупает на Толкучем целую кипу книг, почти за ничто, и отправляется с ними по городу. Вот вам начало букиниста! Ко всему этому, какое счастье! — Трофим, толкаясь по улицам Петербурга, встречает сына отца Василия, того самого, который учил его некогда разбирать латинские буквы. Он кончил курс в семинарии и приехал в Петербург на службу. Хотя сын отца Василия и чиновник, однако же он не загордился: он так же добр и милостив с Трофимом. А Трофиму это и на руку. Благодаря сыну отца Василия он выучился разбирать заглавия не только латинских, но также французских и немецких книг. Он уже без запинки, взглянувши на заглавный лист, говорит: Эвр де мосье де Вольтер[1], или: Гетес земтлихе верке[2]. В благодарность за это он натаскал своему приятелю полную комнату книг и латинских, и французских, и немецких, и все за бесценок, за ту же цену, за которую сам купил. А кладовая Трофима, откуда он приобретает столько книг, была и есть Толкучий рынок, изобилующий, по признанию самого Трофима, книжным товаром более, нежели всеми прочими.

Изъявив, в лице Трофима, происхождение промысла букиниста, я беру на себя смелость изобразить в нескольких словах и самую характеристику этого замечательного разносчика.

Букинист уже и по своему наружному виду существенно отличается от других разносчиков. Одет он, правда, так же, как они, в суконный кафтан, большею частию синего цвета, и подпоясан куша-

---

[1] Эвр де мосье де Вольтер (*фр.* œuvre de monsieur de Voltaire) — Произведение господина Вольтера.— *Ред.*

[2] Гетес земтлихе верке (*нем.* Goethes sämtliche Werke) — Избранные произведения Гете.— *Ред.*

ком; но разница, и весьма важная, доказывающая, что он по образованию стоит выше других разносчиков, заключается в его обращении, манерах, а также и в подстриженной бороде. Поступь его, ухватки и разговор являют человека, понимающего важность торговли, которою он занимается, торговли, удовлетворяющей не суетным потребностям роскоши и не пошлым требованиям вседневной жизни, но высоким требованиям ума и души. Он не балагурит, а ведет себя тихо, скромно и с должною сану своему важностию. Говорит он хотя и не совсем правильно, но довольно хорошо, и особенно старается заимствовать выражения из книг, с которыми так много обращается. Вообще, разговор его доказывает, что он много читал и значительно расширил сферу своих понятий; а подстриженная борода может служить признаком того, что он, не желая отстать от обычаев сословия, к которому принадлежит, более своих товарищей, однако ж, приблизился к сословию безбородому и образованному. Впрочем, такое неутральное[1] положение бороды букиниста можно объяснить еще и другими обстоятельствами. Вероятно, до него, как до человека, следящего за образованием, дошел слух о не решенном еще ныне и колеблющемся европейском вопросе: признавать ли бороду признаком образованности. И я позволю себе думать, что вслед за решением сего вопроса должна прекратиться и неутральность бороды букиниста, а именно: если решение склонится в пользу бороды, то букинист отпустит ее вполне, в противном же случае сбреет ее также вполне.

Товар свой букинист носит в холщовом, узком и длинном мешке. Мешок этот, с прорехою посередине, перекидывается через плечо так, что часть книг лежит у букиниста на спине, а другая — на груди. Кроме этого мешка букинист несет еще в руке другой мешок, также из холста и наполненный книгами.

Уважая собственное достоинство, букинист не кричит по улицам, как другие разносчики, однако же позволяет себе остановиться перед окнами дома, где на него обратили внимание, и махать книгами, находящимися у него в руках, как бы спрашивая: не прикажете ли войти? Если его позвали, он входит, становится на одно колено и сбрасывает с плеча мешок с книгами. Следует, разумеется вопрос: какие у тебя книги? Букинист без запинки отвечает: романы-с,— и вслед за тем начинает выбрасывть книги, провозглашая их названия.

— Он и она,— роман господина...

— Мимо,— прерывает покупатель.

— Леонид*, сочинение...

— Мимо, мимо!

— Студент и княжна...

— Мимо!

— Учительская дочка, прекрасная Астраханка...

— Мимо, все-таки мимо!

— Сочинения дворянина Кукареку*...

— Кой черт,— восклицает нетерпеливый покупатель,— ты все

---

[1] Неутральное — т. е. нейтральное. — *Ред.*

дрянь показываешь! Разве лучше ничего нет?

— С собой нет-с, а можно достать.

— И кроме романов можешь что-нибудь достать?

— Все, что угодно! А впрочем, если прикажете, со мной есть еще разные путешествия, истории.

— Покажи.

Букинист снова начинает копаться в мешке; но прежде, нежели дойдет до обещанных путешествий и историй, пытается навязать некоторые из своих книг.

— Вот-с Юрий Милославский*.

— Читано.

— А может статься, вот это желаете,— продолжает он, вытаскивая целую кипу книг какого-нибудь полуизданного журнала, которого издатель начал пышным объявлением, а кончил увы! не додавши пяти книг! — Купите, сударь, все семь книг, дешево отдам!

— Как семь книг? А где ж остальные?

— Редактор обещает издать в будущем году. В этом году у него, вишь, денег не хватило. Угодно купить журнал?

— Читай его сам.

Дошла, наконец, очередь до требованных книг. Букинист провозглашает: Путешествие по России в двадцати губерниях...*

— Дичь, дичь!

— Путешествия на луну...

— Вздор.

— Путешествие по Невскому проспекту...

— Нет, это уж из рук вон! Ты, кажется...

— А вон истории-с. История господина Эртова, господина... плачевная история...

— Нет, послушай, любезный, ты, кажется, смеешься надо мной!

— Помилуйте, как можно-с!

— Зачем же все вздор показываешь? Неужели у тебя ничего нет получше этого?

— Я уж докладывал, что с собой нет, а могу достать все, что угодно.

— И иностранные книги?

— Всякие-с.

— Просили меня купить: les mystères de Paris*.

— Какое издание прикажете, брюксельское[1], или парижское?

— Да которое подешевле.

— Конечно, брюксельское.

— А что стоит?

— В магазинах стоит двадцать рублей без переплета, а я могу достать за десять в переплете.

Как скоро букинист назначает цену книге, он вместе с тем объявляет и магазинную ее цену, которую еще преувеличивает, чтобы по-

---

[1] Брюксельское — брюссельское.— *Ред.*

казать, что он берет с вас гораздо дешевле. Впрочем, за половину против настоящей магазинной цены он всегда может достать вам книгу, и еще часто в отличном переплете. Это может набросить тень на промысел букиниста: прямым путем едва ли можно достать новую книгу за полцены. А какое ему дело: он купил книгу на Толкучем, а каким путем она зашла туда, это до него не касается. Впрочем, такие книги, как Mystères de Paris, которые покупаются богатыми людьми только для прочтения, а потом бросаются, словом, книги, не могущие составить капитальной принадлежности хорошей библиотеки, букинисту не трудно добывать за бесценок не на одном только Толкучем рынке. Сверх того, мало ли в Петербурге случаев, которыми букинист может воспользоваться? Промотался, например, какой-нибудь барин, для виду имевший у себя библиотеку, смотришь, библиотека уж в руках букиниста, или: умер богатый любитель чтения, завещавший сыну хранить и передавать по наследству книги, которые он с большими пожертвованиями собирал в продолжение целой жизни, а букинист тут как тут, у него в библиотеке, и покупает книги с пуда*.

Все вышеизложенные проделки букиниста с покупателем должно относить только к тем случаям, когда он пришел в дом в первый раз и еще не разузнал порядком, с каким покупателем имеет дело. Однако ж обстоятельство, что мешки его набиты вздорными романами и дрянными путешествиями, доказывает, что требование большинства читателей клонится именно к подобного рода книгам. Дельных книг он не носит с собой вовсе, и вообще к людям знакомым и у которых он поставщиком книг букинист является совсем в другом виде. К ним приходит он часто вовсе без книг, а только с лепортом[1], как он говорит.

Не удивительно ли в самом деле, что букинист, что, просто сказать, Трофим, умевший только читать по-русски и кой-как разбирать латинские буквы, поживши в Петербурге два-три года, в состоянии рассказать вам к первому числу каждого месяца о ходе и движении русской, а частью и иностранной литературы, и рассказать отчетисто и беспристрастно. Он никак не берется излагать собственное суждение о достоинстве вышедших сочинений и добродушно признается, что он человек темный и вовсе ничего не понимает; зато он с удивительною верностию передает слышанные им суждения разных лиц и мнения журналистов и литературных партий, прибавив к тому только самое скромное замечание: книга должна быть хороша, или: видно, книга-то плохонька. Но и это замечание решится он произнести не прежде, как взвесив и обсудив порядком все известия, которые ему удалось собрать. Самое же замечательное в ежемесячном рапорте букиниста то, что ему известны часто скрытые от нас, читающих, рапорты журналов о вновь выходящих книгах, причины и побуждения восторженных похвал и порицаний.

— Вот-с вышли сочинения такого-то господина,— говорит Трофим,— или такой-то госпожи, во стольких-то частях. Продаются в магазинах за такую-то цену, а я могу достать за столько-то. Отзывы

---

[1] С лепортом — т. е. с рапортом.— *Ред.*

журналов об этой книге такие: один журнал говорит, что эта книга удивительная, неслыханная, невиданная; ошибок и промахов в ней никаких не имеется, а сочинитель обладает необыкновенным талантом. Другой журнал утверждает, что сочинения означенного господина, или означенной госпожи, никуда не годятся, что автор не имеет ни малейшей способности и даже не знает грамматики.

После этого на несколько минут следует молчание и на лице Трофима является насмешливая улыбка. Значит, он готовится открыть вам тайные причины этих безотчетных похвал и порицаний.

— Вот видите ли, сударь,— продолжает потом букинист,— когда книга вышла из печати, сочинитель побежал разносить ее по журналистам и критикам и созывать их на обед; да, вишь, дал маха, или уж не хотел, только мне наверное известно, что того, который его разбранил, он не только не позвал на обед, да и книги ему вовсе не поднес. Словом, не поклонился, как следует.

В подтверждение того, что сочинитель действительно давал обед критикам, Трофим обстоятельно вам расскажет, что именно кушали за столом и как, с бокалом шампанского в руках, хвалили его сочинения и обещали вывести в люди.

— Вышли романы такой-то и такой-то,— продолжает букинист, кончив описание обеда у сочинителя.— Первый похвалили все журналы, а должно быть, не очень хорош, расходится куда как плохо. Вот я целый месяц ношу один экземпляр и не знаю куда сбыть. Второй роман похвалил один только журналист и тот потому, что сочинитель приходится ему зять или свояк, не могу наверное сказать. Расходится нешто, так себе, но больше в простом народе и между купцами.

Объявив еще о нескольких вновь вышедших книгах, с подробностями о похвалах или порицаниях в журналах, букинист вынимает из-за пазухи лист бумаги, весь исписанный. Это оглавления иностранных книг, написанные самим букинистом русскими буквами. Эти оглавления относятся частию ко вновь вышедшим, наиболее известным иностранным книгам, большею же частию к тем, которые букинисту удалось приобрести в разных местах в продолжение месяца. Впрочем, он записывает на бумажку имена только таких книг, которые его особенно затрудняют.

Лепорт букиниста оканчивается вопросом: что прикажете принести? Заказанные книги являются через два или три дня и отдаются за половинную цену против каталогов или афишечных объявлений книгопродавцев.

Что весьма важно также для небогатых любителей книг, имеющих дело с букинистом: этот промышленник берет за книги не только деньгами, но всем чем угодно. У него все идет в счет: сапоги, халат, оборванные книги, изломанные стулья и столы, наконец, даже старые афишки, банки, бутылки, огарки, веревочки, тряпки. Он ничем не пренебрегает, потому что всему находит сбыт.

Спрашивается, не удивительный ли, не преполезный ли человек букинист? Представляя вам ежемесячный рапорт о ходе книжного дела, он еще очищает дом ваш от всякого хлама и, взамен того, до-

ставляет средства наполнять вашу голову — другим хламом, или чем-нибудь полезным — это уж не его дело.

Итальянец со статуями. Вот еще благодетельный человек, снабжающий небогатых жителей Петербурга украшениями для комнат. Нет ни одной квартиры, ценою от трехсот до тысячи рублей, в которой бы не красовались дешевые его произведения. Предметами для изображений своих избирает он, преимущественно, Петра Великого и Наполеона. Сверх того видны на лотке итальянца статуи: Пушкина, Гете, Крылова, мальчика с чашей, молящегося дитяти, солдата, лошади и другие. Первое место занимает здесь статуя Петра Великого, во весь рост, со шпагою в руках. Это изображение показалось года три тому назад; но можно сказать наверное, что нет в Петербурге уголка, занимаемого мелким чиновником или беднейшим ремесленником, где бы не было его. Статуя Наполеона делалась итальянцами в разные времена, в разных видах: большом, поменьше, маленьком и крошечном. Наполеон изображается непременно в низенькой треугольной шляпе и сюртуке, из-под которого виден мундир.

Все эти дешевые изображения (от пяти копеек до двух рублей серебром) отливаются из алебастра и отдаются черномазым итальянским мальчикам, которые и разносят их по городу.

Лубочные картинки. Мужик, продающий лубочные картины, не показывается на больших улицах столицы: там ему нечего делать. Чтобы видеть этого продавца, и особливо его картины, надобно идти в Ямскую, на Пески, к Невскому монастырю, на Охту, Выборгскую и Петербургскую стороны. Только в этих местах можете вы встретить ярославца с длинною бородою, у которого закинута на шею веревочка, а к веревочке прицеплена длинная палка с навернутыми на нее картинами. Сам разносчик, торгующий этим товаром, ничем не замечателен, но картины его, и особливо имеющиеся под ними и над ними надписи,— это другое. Как раз недавно случилось мне встретить такого молодца, и я запасся целою коллекцией лубочных картин. Коллекция эта передо мной, и если позволите, я опишу вам некоторые из картин, ее составляющих.

Картина первая представляет три павильона с красными крышами. На среднем павильоне видна надпись: реестр о дамах и прекрасных девицах. Во всех трех павильонах, по две в каждом, расставлены всего шесть дам и прекрасных девиц, из которых три à la lettre[1] замазаны с ног до головы желтою краской, две — красной, и одна — синей. Между ними изображен какой-то барин, в красном фраке, треугольной зеленой шляпе и голубых штанах. Внизу рамка, обведенная желтою краской, и потом самое описание прекрасных дам, занимающее вдвое более места, нежели самая картина. Описание это состоит в следующем: постоянная дама Варвара с поволокою глаза, Василиса кислой квас, Ироида веселый разговор, Аграфена великое ябедство, Устинья толста да проста, Афросинья песни спеть,

---

[1] Буквально *(фр.)*.— *Ред.*

Дарья хороший голос, Домна худое соврать, Агафья в пролом сходит, Улита умильный взгляд, Авдотья скорая походка, Акулина взглянет, утешит, Орина промолвит, накормит, Софья черные глаза, Ульяна воровской взгляд, и прочее.

Картина вторая. Господин, все-таки в красном фраке, смотрит в зеленое окно; другой, в малиновом кафтане, стоит подле него, с рюмкою в руках, а вдали, на диване, сидят, обнявшись, барин с барынею, и из них первый замазан красною краскою, а вторая — желтою. Внизу подпись: *повисть о купце и шуте и трахтирщике зженою,* за тем следующие стихи:

Некий шут великой забавник был
Своими шутками людей завсегда виселил
За што его все возлюбляли
И нималыми дарами одаряли,
и прочее.

История в том, что шут побился об заклад с трактирщиком, что он не простоит целого часа у окна, не оглянувшись назад. Трактирщик встал к окну и, несмотря на уверения шута, что купец амурится с его женою, никак не хотел обернуться назад,— и выиграл заклад.

Картина третья. Опять три павильона, о двух столбиках каждый. В двух крайних стоят, в одном — мужик, а в другом — учитель в красном фраке. В середнем павильоне стол, а на столе глобус и книги; глобус запачкан красной краской, а книги — желтой. Учитель, подняв указательный палец, задает вопросы, а крестьянин, опершись на палку, отвечает. Выпишем несколько вопросов и ответов, сочиненных, как надобно думать, каким-нибудь отставным семинаристом.— Кто не родясь умер?— Адам и Ева.— Кто, живота лишась, не сгнил, и родясь не умирал?— Лотова жена*.— Какая вода обманчива?— Женские слезы.— Сколько дней приятных с женою?— Два: первый — как браком сочетаешься, второй — как мертвую со двора понесут.— Кто богат на бумаге, а беден на деле?— Арехметик.— и прочее.

Картина четвертая представляет патриотическую сцену следующего содержания. Русский ратник, Иван Гвоздила, попал косой прямо в горло французу, которому не помогло и ружье его: он валится, вместе с ружьем, на землю, шляпа его с красным султаном летит в сторону. Падающий француз окружен надписями, из которых верхняя гласит: у басурмана ножки тоненьки, душа коротенька,— а нижняя: что, мусье, промахнулся? А вот тебе раз, другой бабушка даст!

Все прочие картины из добытой мною коллекции изображают знаменитых наших генералов 1812 года и последующих времен. Кому не известны эти картины? Кто не видал их в квартирах станционных смотрителей и не любовался ими долго, может быть, слишком долго, когда смотритель докладывал ему, что лошади все в разгоне! А с кем случалась такая напасть, тот, рассматривая в продолжение трех-четырех часов означенные картины, вероятно, заметил, что в них, после главного лица, изображаемого на первом плане, главную роль играет непременно казак. На одной — казак колет пикой француза, которого необходимая принадлежность — тоненькие ножки; на дру-

гой — сшибает его с лошади, на третьей — даже заряжает пушку.

Касательно раскраски, необходимой принадлежности лубочных картин, надобно сказать, что все они представляют нечто чудовищное. Видно, что раскрашивавший не только не заботился о распределении красок, но едва ли имел и кисть в руках, а просто мазал пальцем и хлопотал только о том, чтобы картина вышла как можно пестрее. И он совершенно успел в этом. Глядя издали на лубочную картину, вы видите только пятна разных цветов; самые же предметы, изображенные на картине, открываются не прежде, как по продолжительном рассматривании, и то в самом близком расстоянии. Так они замазаны красками, и преимущественно красною!

Но вот что довольно странно: у ярославца, снабдившего меня лубочными картинами, не было вовсе знаменитой картины — мыши кота погребают, и той, где описываются похождения ерша. Он сказал мне, что на эти картины нет требований. Это обстоятельство, а равно и то, что на описанных выше картинах все люди изображены в немецких кафтанах, могут служить доказательством, что потребности вкуса мужика, пожившего в Петербурге, уже не те, которыми отличается мужик, не покидавший своей деревни. Первый, насмотревшись в столице на разных господ в нерусских кафтанах, того же требует и на картинах, где являются уже и дамы. Конечно, эти дамы Василиса и Акулина, но все-таки они нарисованы в робронддах* и именуются дамами, словом, вовсе непонятным для деревенского жителя.

Вот все, что мне удалось собрать о разносчиках петербургских, которых масса составляет, может быть, не более сотой части разносчиков, рассыпанных по всем концам России. Описание этих последних, на придачу к петербургским, могло бы, конечно, представить много новых и любопытных сведений, как о самых промышленниках, так и о странах, ими посещаемых, а равно и о сословиях народа, с которыми они имеют дело; но составление подобного описания — труд, если не невозможный, по крайней мере весьма нелегкий. Это описание одно могло бы составить несколько томов. Возьмите, например, сколько страниц может занять и сколько любопытных сведений доставит читателю рассказ об одних только вязниковцах и ковровцах! Вероятно, всякому известно, что жители Владимирской губернии, уездов Вязниковского и Ковровского, занимаются большей частью разносчичьей промышленностью. Не знаю, являются ли эти разносчики в Петербурге, но известно, что они рассыпаны по всему пространству России; нет угла в обширном отечестве нашем, угла самого отдаленного, самого холодного, куда бы ни проник предприимчивый вязниковец со своими товарами. В Крыму и Коле*, в Малороссии и Камчатке, в Литве, Чукотской земле и Кяхте* — везде вы встретите бесстрашного и неутомимого вязниковца. Судите же сами, сколько сведений разнообразных, полезных и любопытных, которых не отыщете вы ни в одной из Географий и Статистик России, можно приобрести, познакомившись и поговоривши с тремя-четырьмя вязниковцами, искрестившими русскую землю во всех направлениях. Чего эти люди не видали, не слыхали, не вытерпели!

Через город Вязники проведено ныне шоссе. Если вам случится ехать по этому шоссе и остановиться на Вязниковской станции, не поленитесь, пока переменяют лошадей, войти в находящуюся при станции гостиницу и посмотреть на картины, украшающие ее стены. Извольте знать, что эти картины чисто китайской работы и привезены вязниковцами из Кяхты. Если же вам посчастливится, как это со мной случилось, найти в гостинице за самоваром *бывалого* седого вязниковца, познакомьтесь, непременно познакомьтесь и потолкуйте с ним. Я убежден, что, начав говорить с вязниковцем, вы решитесь остаться на этой станции хоть на целые сутки. Словоохотливый старичок расскажет вам о путешествиях, своих собственных и четырех сыновей, из которых один погиб в снежных пустынях Сибири, а другой убит разбойниками в Чердынских лесах. Два последние сына его и он сам, как видите, уцелели, побывав на Кяхте и в Камчатке, на Новой Земле и в Астрахани. Но чего стоили им эти путешествия! И бурей-то носило их по Охотскому морю, и снегом засыпало на берегах Иртыша! И китайцы в Кяхте, и армяне в Астрахани обманывали их, и киргизы брали в полон! Но милосердный бог и матерь божья, во имя которой они построили в своем селе церковь, провели их сквозь тысячи опасностей и доставили здравыми и невредимыми на родину. Теперь они все трое купцы второй гильдии и живут в Вязниках, где имеют по каменному дому и по сту тысяч капитала.

Еще раз, если бы я вздумал передать только, что слышал от старого вязниковца,— это составило бы целую книгу!

П. Ефебовский

Примечание. В то время, как эта статья печаталась, автор ее скончался (в ночь на 1 января, на 36-м году от рождения). Имя его только в первый раз является здесь в печати, хотя уже несколько повестей и других литературных статей его помещено в разных журналах: «Мамзель Катиш, или ловля женихов», «А. А. фон Женихсберг, или ловля невест», «Счастливый брак», «Гувернантка», «Досужие люди». Под этими статьями он подписывал или вымышленное имя *Адам ф. Женихсберг*, или начальные буквы своей фамилии, или вовсе ничего не подписывал. Кроме того, он издал отдельной книжкою, также без подписи своего имени,— Историю древней Греции для детей (Спб., 1841), переделанную им из Ламе-Флери*.

Изд.

„ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ“

И.Т. КОКОРЕВА





СТАРЬЕВЩИК

ЧАЙ В МОСКВЕ

СВАДЬБА В МОСКВЕ

ЯРОСЛАВЦЫ В МОСКВЕ

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЗВОЗЧИКИ-ЛИХАЧИ И ВАНЬКИ

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫВЕСКИ

САМОВАР

КУХАРКА





СТАРЬЕВЩИК

Если вы прислушивались к разноголосым крикам московских разносчиков, то, конечно, заметили, что у каждого рода продавца свой особый неизменный напев: раскатисто выхваляется «подснежная, манежная клюква», а скороговоркой кричится «свежая говядина»; большая разница между объявлением о продаже «вареной патоки с инбирем» и «арбузов моздокских, винограда астраханского»; это, впрочем, сейчас бросается в уши. Так нет сомнения, что среди разносчичьей разноголосицы случалось вам слышать один напев, всегда важный, немножко печальный, но раздирающий любые уши, точно призывный крик муэдзина*: «Нет ли старого меху, платья, бутылок, штофов, старых сапогов, нет ли продать?» Так распевает человек неопределенных лет, одетый тоже неопределенно, с мешком под мышкою, иногда за плечами, в который он сваливает свой товар, свою куплю, потому что человек этот — не разносчик, а скупщик, род комиссионера между продавцами первой руки и покупателями второй. Что за люди те и другие — сейчас увидим.

Старьевщик, говоря его словами, знает где раки зимуют. Нет ему торговли, нет и наживы на богатых улицах, жильцы которых слишком горды, чтобы вступить в сношения с ним. Он идет в захолустья, в переулки, где живут люди не щекотливые, знакомые с нуждою и горем не по слуху, которым ничуть не стыдно показать свои обноски. Тут что ни шаг, то добыча. Старьевщик редко глазеет на уличные окна, как обыкновенный разносчик, зная, что тут казовая сторона жильцов,— а на те, что с надворья, глядит зорко, особливо если дом незнакомый. Для его опытного взгляда какое-нибудь ничтожное обстоятельство уже ясная указка, а не будь ничего, так и распевать не для чего, разве только для освежения горла, по привычке, чтобы знали, что входил на двор не шерамыга, а торговый человек. Где есть продавцы, там на призывный голос старьевщика разом являются они. Мальчишка в затрапезном халате, босоногая девочка, старуха в полулохмотьях — вот обычные их знакомцы; всякое старье, негодный хлам — их товар.

— Что дашь, дядюшка, за это?— спрашивает мальчишка, показывая старьевщику растоптанные опорки, сапоги, «прослужившие на одних подметках семи царям», и штук пять полуобитых помадных банок.

— Что просишь, золото или серебро?— отвечает купец, коли проявится у него охота растабарывать.

— За двугривенный отдам, дядя! голенищи, видишь, какие здоровенные!

— По полушке за банку, гривна за старье, две деньги накину на пряник: двенадцать копеек берешь?

— Скоро состроишь каменный дом, как будешь наживать по стольку; пятиалтынный, и то по знакомству, можно взять.

— Три пятака взял?

Продавец с негодованием вырывает свой товар и хочет идти домой.

— Слышь, знать быть тебе с обновкой: мальчуга ты хороший, возьми пятак серебра и поди с богом.

Торг колеблется еще несколько мгновений, наконец, слаживается, когда новенькая монетка побеждает твердость мальчика. С другими продавцами он идет, изменяясь, смотря по достоинствам вещи и характеру продавца, но редко не достигает цели, то есть продажи вынесенных вещей. Со стороны старьевщика не заметите ни малейшего унижения (он знает, что еще делает услугу бедняку, освобождая его от хлама), не услышите никакой божбы; нет у него речи ни о барыше, ни об убытке: спокойный, как судьба, он не имеет ни к кому лицеприятия; даже прекрасный пол, перед которым, как известно, не утерпит ни одно торговое сердце, чтобы не полюбезничать, даже он не в состоянии найти в нём какую-либо слабую сторону...

Лишь изредка выходит старьевщик из своего равнодушия в обращении с продавцами, делает им крошечную уступку. Дом знакомый: ни разу не случалось выходить из него, не нагрузив доброй половины мешка, а теперь, как на зло, хоть и два раза известил торговец о своем приходе, не показалось ни души.

«Приходится идти ни с чем домой; верно, заработались больно,— думает старьевщик,— дай наведаюсь сам».— И он отворяет дверь в мастерскую, останавливается на пороге и говорит:

— Бог в помощь, молодцы-графчики. Не завалилось ли где какой дряни?

Ответ редко бывает отрицательный, особенно если кто из артели нуждается в складчинных деньгах на чай или на русское веселье[1],— тогда и нужное делается ненужным, и последний полушубок переходит в мешок старьевщика. «До зимы еще далеко, да, признаться, этот уж наскучил, поневоле купишь новый»,— рассчитывает продавец.

Обход двух-трех переулков наполняет мешок, и старьевщик возвращается домой. Если он не нанимается у какого-нибудь торговца старьем, то сортирует свой товар, тщательно шарит в карманах купленных обносков, хотя знает, что легче сделать деньги, чем найти их здесь: но неровен случай. Под вечер нередко приходят к нему комиссионеры-мальчишки, кто с битым стеклом или со старым железом, кто с тряпьем или с костями, на все эти вещи определенная такса[2], но за лучшие старьевщик всегда прибавит *на пряники* — награда, возбуждающая чрезвычайное соревнование между лакомками.

Но как ни велика деятельность и как ни многосторонни обороты старьевщика, он в свою очередь тоже комиссионер разных людей, у

---

[1] У мастеровых все попойки или распивания чая делаются в складчину, по скольку сойдет с брата.

[2] Для соображения политэкономов вот некоторые из этих цен: стекло $^1/_2$ коп. за фунт, тряпье от 1 до 2 коп., железо от 3 до 4, разумеется, на ассигнации.

которых или карман потолще его, или которым несподручно самим закупать из первых рук кое-какие предметы, необходимые им. Старье сапожное и платяное покупается разными мастеровыми, переделывается заново или обращается: первое — в *поднаряды*, последнее — *в приклад;* прочие товары гуртом сбываются заводчикам.

Таков быт старьевщика. День за днем, год за годом проходит его жизнь в трудах, не слишком легких, потому что он не должен знать устали или бояться непогоды. Из чего же биться, зачем не переменить это занятие на более выгодное? «Да затем,— ответит труженик,— что всякая птичка привыкла кормиться своим носком; жизнь — не поле перейти; увидишь и хорошего и худого; бог не без милости». Прошу еще о нескольких минутах внимания к старьевщику.

Если читатель коренной москвич, то, наверно, знает, что в Белокаменной есть уголок, который с незапамятных времен, неизвестно почему, называется *Балканом**, оправдывая такое громкое имя разве лишь тем, что осенью он также непроходим, как Балканские горы. В этой укромной стороне дома подстать улицам, значит, квартиры в них недорогие, есть и каморки и углы, где по деньгам жить людям, у которых все богатство в усиленном труде.

Тому много лет (сколько заподлинно лет, читатель, вероятно, не полюбопытствует знать) и я жил на Балкане. В доме, где семейство мое нанимало квартиру, в числе разнородных жильцов был и старьевщик. Все, от малого до большого, звали его дядюшка Игнат, считая лишним прибавлять к этому его отчество, и казалось, что он всегда будет дядюшкою, потому что лета не оказывали на него никакого действия: он все был в одной поре, ни старел, ни молодел. Даже платье дяди Игната не знало износу, и хоть крепко поистерлось, а служило ему неизменным усердием, не хуже нового.

Старьевщик был человек крепкий, старинного покроя, умел беречь денежку, не употреблял ни чаю, ни табаку и вообще не жаловал никаких прихотей. «Непригодно нам баловаться да нежить свой мамон*,— говаривал он.— Мы люди маленькие, воспитаны серо». Он так часто повторял эти слова, что, наконец, уже никто не стал удивляться, что у дяди Игната «середа и пятница со двора нейдут»*, и разве лишь в годовой праздник купит он себе у *головщика*[1] на гривну вареной говядины или легкого. «По добыче и житье»,— замечали однодомцы. В самом деле, откуда возьмутся деньги, когда день-деньской ходишь из-за какой-нибудь полтины, а ведь надобно прожить, заплатить за квартиру, взнести подати за себя и за мальчишку (с дядей Игнатом жил племянник)! И так слыл старьевщик за человека, у которого грош с копейкой никогда не сталкиваются. Но это не мешало ему делать одолжение для всех и каждого в доме, конечно, не деньгами, а тем, что под нужду нередко дороже денег. Понадобился кому гвоздик, лоскуток сукна, старые башмаки вместо галош во время грязи,— где взять их, как не у старьевщика, и от дяди Игната не бывало никогда отказа. «Для дружка последняя сережка из ушка»,— промолвливал, бывало, он, удовлетворяя просьбу. Зато уж всякий хлам

---

[1] Торговец в сбитенной, который продает яства.

у жильцов должен был сваливаться в кладовую старьевщика. Нас, мальчишек, снабжал он бабками и кубарями, за что мы отплачивали ему сбором костей и всего, что случалось найти на дворе. Я, сверх того, доставлял дяде Игнату все произведения моего пера, то есть, говоря попросту, упражнения в каллиграфии, старые тетрадки арифметических задач и т. п., и пользовался за это особенным расположением его.

Но все эти повадки существовали лишь для нас, а племянника старьевщик держал в черном теле, не потому, чтобы не любил его, а «чтобы не избаловался парнишка и сызмаленьку привыкал к нужде». Ему только по праздникам позволялось поиграть с нами, а в будни — то ступай по дворам собирать выброшенный хлам, то помогай дяде сортировать товар, то тащи мешки в лавку — словом, Ваня не знал ни минуты отдыха; пища у дяди Игната, как я сказал, была *антониевская**; но не любил он, чтобы кто-либо из жильцов лакомил племянника куском пирога или другим чем, повкуснее его серых щей, в которых одна капустина погоняла другую.

— Что за разносолы, с нашим ли рылом соваться в калачный ряд! Избалуете вы у меня мальчишку, сделаете неженкой. Надо, чтоб из него вышел человек, а не лизоблюд!— зачитает, бывало, старьевщик, как увидит, что его Ванюшка уписывает что-нибудь так, что «за ушами пищит».

— Да как же, дядя Игнат, не полакомить ребенка! Небось, сам был маленький, тешили тебя!— заметят ему.

— Как же, расставь шире карман-то! Соска с жеваным сухарем — вот тебе и пирог... Да зато ведь проживешь двойной век, коли бог грехам потерпит. Простуда, какая ни на есть болезнь, все пятится от тебя задом.

Этим обыкновенно кончались все *поблажки* — и разве украдкой удавалось Ване попробовать наших детских гостинцев.

О нравственном воспитании племянника старьевщик заботился немного поболее, чем о физическом. Грамоте и на счетах учил его сам, но иногда, доверяя моим сведениям и званию гимназиста, просил растолковать «что-нибудь из наук, особенно цыфирь». Понятливость ребенка развивалась разговорами вроде следующих:

— А какое это, Ванюша, дерево?— спрашивает дядя Игнат, показывая обломок стула.

— Да спереди словно крашеная береза,— отвечает ученик.

— Ан врешь: это дерево стояростовое.

— Какое, дядя?

— Стояростовое. Ну, а это (показывается ратовище метлы)?

— Рублем прост буду, это береза.

— Болтаешь, дурак: и это стояростовое.

— Что ты, дядя? Ведь то совсем не такое...— замечает Ваня в недоумении.

— Глупый! всякое дерево стояростовое оттого, что стоя растет. А скажи-ка, Ванюша; отчего собака лает?

— Да я почем знаю! Так уж бог создал.

— Бог-то бог, да и человек должен знать: лает она оттого, что не баит. Зверь ли, птица ли какая, все они бессловесные, а кричат по-своему и понимают друг дружку.

Только и удержалось у меня из воспоминаний детства о старьевщике. Потом прошло много лет, и я его потерял из виду, даже из памяти. Нередко встречались со мною товарищи его по ремеслу, раза два я даже совершал с ними коммерческие сделки; но дядя Игнат канул как будто на дно моря. Однажды понадобилось мне сделать кое-какие дополнения в своем наряде. Немало в Москве магазинов с готовым платьем, да не всякому они по карману, и, когда приходится беспрестанно применять к жизни *деление*, поневоле станешь покупать по присловью, *дешево и сердито*. Итак, я отправился на Площадь[1]. Только что продрался сквозь густую толпу народа, запрудившую ее из конца в конец, как тотчас же сделался добычею сидельцев, из которых каждый старался перекричать соседа и затащить к себе покупателя. Смелее других действовал языком и руками парень в мою пору, и я не знаю сам, как очутился в его лавке. Спросил, что требовалось, раз пять переменил вещь, пока добрался до порядочной, и, наконец, справился о цене. Запрос был такой бессовестный, что я бросил товар на прилавок и поворотился к лестнице.

— Куда же, сударь?— закричал, по-видимому, сам хозяин.— Иль не по нраву пришлась покупка?

— Да вы запрашиваете вчетверо: так нельзя сторговаться.

— Э, батюшка, запрос в карман не лезет! Пожалуйте-ка, авось, столкуемся с вами; а ты, Ваня, не зевай, видишь, покупатели!

Парень, втащивший меня, занялся с новопришедшими, а я, точно, в первые десять слов сладился с хозяином. Стал рассчитываться, гляжу, точно где-то видал это сухое лицо, быстрые серые глаза, клинообразную бороду цвета ржавого железа,— а где, никак не припомню. Торговец скорее моего разрешил это недоумение, назвав меня по имени: это был дядя Игнат!

— Ведь я знал вас еще вот таким,— заметил он.— А теперь так выросли, что и в очках не узнаешь.

— Да, я думаю, и пора вырасти; вас, Игнатий Емельянович, тоже не думал встретить здесь. Кажется, живете слава богу?

— Нечего гневить всевышнего; вот скоро десять лет, как плачу купеческий капитал.

Пошли расспросы.

— Ничего, сударь, потерпите,— сказал мне бывший старьевщик,— бог терпел и нам велел. Лишь не занимайтесь никаким художеством, так все будет ладно. Закона нет, чтобы все были богаты, да ведь и бедняков тоже не сеют. Сам человек пробивай себе дорогу... Ничего, сударь...

— Да полноте величать меня.

— По привычке, сударь; ничего. А помните Ванюшку-то? Выровнялся такой, что выше меня. Женить собираюсь.

---

[1] Москва знает, что это за рынок; для петербуржцев замечу, что их Щукин двор слабое подражание нашей Площади.

Я посмотрел на прежнего товарища своих игр; по наметанности он был типом торговцев, по росту и силе — настоящий русак. В это время он нападал на какую-то бабу, торговавшую холодник*:

— Износу не будет; забудешь, умница, когда купила. Ты примеряй только... вот так... Честь имею поздравить с обновой...

И небойкая покупательница, оглушенная похвалами, уверениями в доброте товара, спешила расплатиться за обнову...

С этого времени взгляд мой на старьевщиков, бывший дотоле чисто историческим, проникнулся философией, и никогда не могу я слышать без особого чувства их заунывного припева: «Нет ли старого меху продать?..»

ЧАЙ В МОСКВЕ

Начнем издалека, ab ovo[1], как начинаются все важные предметы, Более тысячи лет тому, в Китае жил мудрец Будда-Дарма, человек, каких немного бывает на белом свете. Умерщвляя плоть свою всевозможными средствами, он отрезал от глаз своих веки; Верховное существо наградило его за это пожертвование бессмертием, а из отрезанных век произвело чудодейственную траву *ча-э* (китайское название чая), которой дало силу излечивать многие болезни, душевные и телесные. Ученики святого мудреца усердно стали пить отвар листьев нового растения, и вскоре употребление его сделалось всеобщим в Поднебесной империи. Но род человеческий, вместо стремления к совершенству, с течением времени развратился до того, что чай вовсе потерял силу врачевать душевные недуги и остался лекарством лишь для тела: так, еще до сих пор он укрепляет глаза, желудок, возбуждает бодрость, предохраняет от подагры и от каменной болезни. Я передал, что говорят китайские летописи; а верить или не верить их словам и диковинным свойствам чая — представляется на волю каждого. Неоспоримо только то, что чаю природа назначила играть первостепенную роль. Вместе с завоеваниями Чингисхана он перешел за пределы родины, потом из Азии перебрался в Европу, где для почину, не зная, что делать с невиданным дотоле зельем, голландцы запрятали его в музеум редкостей, а англичане сварили из него соус; отсюда шагнул он в Америку, где из-за него вспыхнула война, имевшая последствием отторжение американских колоний от Великобритании; из Америки не трудно было ему пройти в остальные части света,— и теперь чай всюду в таком же употреблении, как... как романы французской фабрикации.

Соседи с китайцами, мы прежде других европейцев познакомились с благородным напитком, и тогда как другой чужеземец, табак, подвергался у нас страшным гонениям, чай с каждым годом приобретал большее и большее число почитателей, употребляясь сперва

[1] Сначала *(лат.)*.— *Ред.*

как «пользительная трава», а потом просто в удовольствие желудка. Во второй половине XVII столетия чай продавался уже по *тридцати копеек за фунт,* и хотя при Петре Великом мы переняли от голландцев употребление кофе, но этому новому гостю не под силу было выжить старого, который сделался нашим закадычным собеседником.

Как средство возбудительное (наркотическое), чай действует более на *сердце,* чем на голову: вот почему особенно полюбили его жители Белокаменной. Другие города, строго преданные дедовским обычаям, не скоро знакомились с роскошью, довольствовались сбитнем, отваром мяты, липового цвета или другой какой скромной, доморощенной травы с медом; Петербург пробавлялся кофеем, а Москва деятельно пристращалась к чаю. *Аустерии* (то есть ресторации), заведенные Петром Великим для развития у нас общественности, не замедлили сделаться приютом чая; когда прошло то золотое время, как посетителей угощали в них даже даром, лишь бы приохотить их к чтению газет, гости охотно стали заменять горячительные напитки безвредною горячею водою. Для домашнего обихода изобретен был самовар[1], это предзнаменование могущества паров, и быстро вытеснил медные чайники, в которых деды наши, подражая китайцам, грели воду для чая. К сожалению, я не имею достаточных показаний о количестве чая, какое выпивалось у нас в прошлом столетии. А сколько и как пьем его мы, люди девятнадцатого века, конечно, не безызвестно всем и каждому, и благосклонный читатель, надеюсь, не потребует от меня статистических данных. Теперь, слава Будде-Дарме! вся Русь, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»*, все от мала до велика, миллионер и поденщик, великорус и сын юга, белорус и калмык, пьют чай, кто ординарный, кто кирпичный с солью, маслом и молоком, кто душистый ма-ю-кон, кто букетный лян-син, иные даже диковинный жемчужный или златовидный ханский. И если Англия с своими огромными колониями выпивает чаю гораздо больше нашего, а Северная Америка мало чем уступит нам в отношении к количеству употребления его, зато мы получаем самые лучшие сорта драгоценной травы и несравненно разборчивее иностранцев на счет ее достоинств, даром, что нет у нас записных, специальных *чаеведов,* какие водятся у англичан в Кантоне.

Кто знает Москву не понаслышке, не по беглой наглядке, тот согласится, что чай — пятая стихия ее жителей и что, не будь этой земной амврозии, в быте москвичей произошел бы коренной переворот; хлебосольное гостеприимство, эта прадедовская добродетель, неизменно хранимая нами, рушилась бы вконец. Бывали ли вы в доме чисто русском, где хозяин не прячется от посетителей, где пред вашими глазами не сядут за стол, не пригласив вас разделить хлеба-соли, «чем бог послал»? Тут никакое потчевание не обойдется без чаю; им оно начнется, как следует по порядку, и им же нередко кончится, на дорогу. Хозяева только что отпили, вы пришли, когда самовар уже сняли со стола, но это не помешает ему закипеть снова и явиться для

---

[1] Наши войска в 1813 г. выучили Европу употреблению этого умно придуманного снаряда.

услаждения беседы; и вы будете пить не одни; любезность хозяев посоответствует вам. Никакие отговорки не избавят вас от обязанности присесть к самовару. Погода холодная, сырая — вы, конечно, прозябли: следовательно, вот законная причина согреться; будь тепло в 20 градусов — все-таки есть повод пить чай для *прохлаждения*. Словом, во всякий час, во всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю, так что во многих домах, кроме обычных двух раз, утром и вечером, его пьют столько, что и счет потеряешь. Если бы китайцы знали это, я уверен, они почтили бы нас именем *преждерожденных, старших братьев* (китайские комплименты).

Из москвичей редко найдете бедняка, у которого не было бы самовара. Иной бьется как рыба об лед, в тесной каморке его нет ни одного неизломанного стула (хотя их всех-то пара); а ярко вычищенный самовар красуется на самом видном месте, составляя, может быть, единственную ценную вещь, какою владеет хозяин. Москвич скорее согласится отказать себе в другом каком удобстве жизни, даже не испечь пирогов в праздник, чем не напиться чаю хоть раз в день. Удовольствие это стоит не дорого (разумеется, речь идет о людях, у которых, по их собственному выражению, в одном кармане Иван Тощой, а в другом Марья Леготишна): положим, семья состоит из трех или четырех человек; значит, золотник чаю десять копеек, пол-осьмушки сахару семь копеек, воды на копейку, уголья нередко свои: и так за осемнадцать копеек покупается все наслаждение. Человек несемейный редко держит самовар; но для него постоянное и недорогое прибежище в *заведениях,* которых у нас не меньше, чем в Японии чайных домов,— и об них да позволено будет сказать тоже несколько слов.

Трактирных заведений в 1847 году считалось в Москве более трехсот. Употреблено в них, в продолжение года, чаю сто девяносто одна тысяча фунтов (на сумму более 500 тысяч рублей серебром), а сахару с лишком тридцать четыре тысячи пудов (на сумму более 334 тысяч рублей серебром): цифры, не поражающие своею значительностью, когда знаешь, что главный товар заведений — чай. Немец, вспрыскивая покупку, калякает с товарищем за бутылкою пива; француз в таком случае требует вина, а москвич — чаю. Поэтому в тех частях города, где более движения, торговой жизни, там более и пьют чаю, и наоборот: в 1847 году Городская часть* (я говорю про одни заведения) выпила более 20 тысяч фунтов чаю, а Рогожская — до 30; тогда как Пречистенская потребила около 7 тысяч фунтов, а Мещанская ограничилась с небольшим 3 тысячами[1]. Торговому человеку не приходится за делом думать о русском напитке, веселящем душу; зато он усердно накачивает себя китайским, решая за тремя парами его дела не на одну сотню тысяч и вовсе не заботясь о вредных последствиях, какие сулят доктора неумеренным любителям чаю: напротив,

---

[1] Цифры эти заимствованы из верных источников. Заметим еще, что в 1847 г. почему-то не посчастливилось московской трактирной торговле и в иные годы цифры ее оборотов бывают значительнее.

он полнеет так, что сердце радуется, как взглянешь на него, и готов бы отвечать врагам чаепития словами Вольтера...[1]

Заведения, с своей стороны, стараются не ударить себя в грязь лицом пред неизменными гостями. Начиная от трактиров, где прислуга щеголяет в шелковых рубашках, где двадцатитысячные машины услаждают слух меломанов, где можно найти кипу журналов, до тех заведений, по краям Москвы, в которых деревянные лавки заменяют красные диваны, а половые ходят в опорках,— везде, если найдете какой недостаток, то уж, наверно, не в чае, и если возмутит что вашу душу или аппетит, то, конечно, не он.

Не имею права заключать решительно, что вы были когда-нибудь в заведении; но если вы любопытны, смею попросить вас туда на четверть часа. Войдемте в знаменитый *Троицкий* или в не менее славный *Московский*. Ловкая прислуга, все чистые ярославцы, мигом снимет с нас шубы, учтиво укажет, где удобнее сесть, если мы, среди множества гостей, затруднимся выбором места, расстелет салфетку на красной ярославской скатерти, покрывающей стол, и произнесет обычное: «Что прикажете?»— Разумеется, чаю. Полюбуемся ловкостью, с какой половой несет в одной руке поднос, установленный посудою, а в другой два чайника, и займемся делом. Что это? Вы кладете сахар в стакан, щедрою рукою льете сливок, не думая, что портите этим аромат чая, ждете, пока он простынет, требуете огня, чтобы закурить сигару: с горем вижу, что вы не настоящий чаепиец. Осмотритесь кругом: кто делает так? Вот хоть бы, примерно, наши соседи — истинные любители чаю, и пьют его с толком, даже с чувством, то есть совершенно горячий, когда он проникает во все поры тела и понемногу погружает нервы в сладостное онемение, которое кто-то удачно назвал *китаизмом*. Они знают, что всякая примесь портит чай, что он, как шампанское, должен быть цельный,— и пьют его чистый, убежденные, что лишь одним иностранцам простительно делать из него *завтрак,* и пьют вприкуску, понимая, что сахар употребляется для подслащивания, а не для рассиропливания чаю. Смотрите дальше: у всех такой же вкус, такая же разборчивость, точно мы в Китае, где мудрецы-императоры сочинили законы и о том, как пить чай. Везде слышите почти исключительное требование чаю, звон чашек; видите, как взад и вперед снует народ, как одни посетители сменяются другими, жаждущими, подобно им, чаепития, и как половые едва успевают удовлетворять их требованиям: словом, здесь без чаю «нет спасенья». Правда, на ином столе явится порой графин с подозрительной жидкостью, иногда раздастся возмутительное хлопанье пробки, но это не уничтожает общности приятного впечатления, производимого чаепитием. Зайдем куда-нибудь в другое, не столь благообразное

---

[1] Вероятно, читателям известен анекдот о фернейском философе, но не мешает повторить его здесь. Однажды доктор красноречиво убеждал Вольтера перестать пить кофе, говоря, что это медленный яд. «Но я уже шестьдесят лет пью этот яд, и, право, никогда не чувствовал себя хуже!»— отвечал пациент. Замечу, кстати, что, тому недавно, наука избавила чай от несправедливых нареканий, доказав, что он питателен как нельзя лучше.

заведение: представится то же самое зрелище — все кушают благоуханный нектар. Пьет его подмосковный крестьянин, с радости, что выгодно сбыл два воза дров, и пьет «до седьмого яруса пота»; пьет в складчину артель мастеровых, которых узнаете по немилосердному истреблению табаку: чаем запивает магарыч компания ямщиков; чаем подкрепляет свои силы усталый пешеход.

Мало этого: в Москве есть *водогрельни*, в которых продают одну горячую воду для чая. Главная из них, находящаяся под Спасскими воротами, продает *воды* в год не менее как на *две тысячи рублей серебром:* припомните, что обок с нею Гостиный двор, что сидельцам несподручно бегать в трактир, и не дивитесь. Чайных магазинов и лавок в Москве считается более сотни, и обороты их простираются до 7 миллионов рублей серебром ежегодно. Не говорю уже о том, что чай продается в каждой мелочной лавочке, составляя один из главнейших товаров их.

Есть у нас несколько домов, где по утрам пьют кофе: это предпочтение обидно чаю, но зато чайные вечера в этих домах — истинное очарование, и всякий, кто хотя раз бывал на них, поймет, почему чайные вечера за границею вошли в такую моду...

Следовало бы кончить статью одою в честь чая или, по крайней мере, рассуждениями о поэзии самовара: но нет у меня таланта стихотворства. Не могу, однако, не заключить чем-нибудь свою речь о чае, тем более, что, пожалуй, иной читатель спросит: «а что же доказано этим?»— спросит, как спрашивал один французский математик после представления какой-то драмы, в которой он не нашел ни уравнений, ни дифференциалов. Итак, заключу я вот чем:

Нас, русских, частенько колют в глаза словами Нестора*: «Руси веселие пити». Особенно солоно достается москвичам, как будто в укор их гордости, что они сохранили многие обычаи древней Руси. Надеюсь, что каждый благомыслящий человек, прочитав эту статью, скажет: «Руси веселие пити чай»[1],— и слова его повторит не один усердный любитель китайского напитка, каким имеет удовольствие быть сам автор.

СВАДЬБА В МОСКВЕ

«Суженого конем не объедешь; кто в кого родится, тому на том и жениться»,— говорят русские пословицы. Так вот, когда на жизненном пути сойдутся существа, которым суждено составить из себя чету, заводится, по обычаю предков, сватовство. В Москве, городе исстари славном и обильном невестами, оно начинается почти всегда со сто-

[1] Я вспомнил при этом о любопытном сближении. Вы знаете, что в Англии, в Ирландии, в С. Американских Штатах существуют *общества воздержания*, члены которых называются teetotallors, т.е. *чаепийцами, чаевниками;* следовательно, незаметно для нас самих, общества эти есть и у нас, так что патеру Мэтью*, право, нечего бы делать в Белокаменной.

роны прекрасного пола и прекрасным же полом, который решительно не жалует безбрачия. Но чувство, общее всем, обратилось у иных в страсть, в *свадьбоманию,* которая, кратчая с летами, достигает сильнейшего своего развития в ту пору, когда женщина должна отказаться от надежды снова выйти замуж после потери первого своего «незабвенного». Свахами большей частью бывают вдовы, и не знаю, найдется ли у них, по френологии*, орган сватовства, а ведут они свои дела так мастерски, что один очень умный человек печатно доказывал, будто они успели женить в Москве самого Каломероса*: так вот каковы московские свахи; а про обыкновенных смертных и говорить нечего. Все томимые жаждою брака, все партии, все кандидаты в супруги, подростки из девушек и остепеняющаяся молодежь — все на счету у свах; от зоркого глаза их не ускользнет никто, и без их благодетельного посредничества не обойдется почти ни одно супружество. Как искусные дипломаты, заключающие государственные договоры, они соображают брачные союзы, расчетливо взвешивают положение и выгоды обеих сторон и, если не видят препятствий, открывают переговоры. Много раз заботливая мать, у которой на руках не одна дочь, сама просит сваху, нет ли у ней на примете хорошего женишка; иногда, не дожидаясь просьбы, сваха первая заводит речь, что девушку, как вольную птичку или товар, дома не удержишь, еще, пожалуй, беду с ней наживешь. Так или иначе, дело начато, и сваха к товару приискивает *купца.* Если есть в виду человек известный и под пару, то и хлопотать не об чем, а к незнакомому ведь не бросишься же с бухты-барахты: надо опросить, разузнать, какого он поведения, не с норовом ли, чтобы не плакалась после молодая жена и не кололи глаз добрые люди. Опрашивать всего сподручнее в мелочных лавочках окрест дома, где живет чаемый жених, у соседей, развязчивых в таком случае на язык, а иногда у людей, с которыми он имеет дела, например у купцов, если он мастеровой. Вестимо, иной покривит душой, взнесет на человека небывальщину или закрасит пятна; зато другому честь дорога, не станет он говорить про то, чего не знает наверняка; да и сваха, конечно, разумеет, какие речи принимать, а какие пропускать мимо ушей. Собрав все справки, сделав, так сказать, повальный обыск, она отправляется к жениху[1], которого мы назовем Гавриилом Николаевичем, и после обычных приветствий прямо приступает к делу:

— Наслышана, батюшка, что вас бог еще не сочетал законным супружеством; так не имеете ли желания принять к себе в дом хозяюшку?

— Дело хорошее, тетенька[2], имени-отчества вашего не знаю; да надобно маленько погодить: времена тяжелые, в пору промаячиться одному...

— Э, сударик мой, на всякую долю бог посылает. И не бесприданницу какую возьмете, а снаряженную всяким добром: две тысячи

---

[1] Если он не одиночка, то переговоры начинаются с его родителями или с старшим в семье.

[2] Титул переменчивый; иную *политика* требует называть «сударыней».

пятьсот чистыми денежками да с залишком на четыре приданого разного. Вот оно каково, голубчик мой! Пожалуй, возьмете и больше, да попадете на такую, что и жизнь будет не мила; нынче, я вам скажу, народ дошел до всяких тонкостей, девушки цигарочки покуривают...

Срам да и только, до чего дожили!.. А про Наталью Ивановну слова худого никто во всем околотке не скажет; умолили у бога ее родители: послушная дочь и примерная будет жена. Дело не заглазное, посмотрите сами, может статься, и придет по нраву, коли ваша суженая. А уж что за красавица: кровь с молоком, румянец во всю щеку, глаза какие, коса вот до сих пор, идет — настоящий король, говорит — что твоя книга!..

Разительное описание достоинств невесты и особенно звонкое слово о том *презренном металле,* о котором хлопочет все человечество, смягчают решимость будущего жениха. Посмотреть, что за беда, думает он: ведь за это денег не возьмут, насильно не женят. Неосторожный!— он не знает, что кто сделал шаг вперед, тот уже прошел половину пути, что легче выскочить из огня, чем освободиться из петли начатого сватовства, которое мало-помалу, незаметно для неопытного глаза, притягивает сватающегося к водовороту, где одно спасение — женитьба. Он подался, и все кончено.

Посмотреть я не прочь,— говорит, наконец, кандидат в женихи после еще нескольких убеждений со стороны свахи, только, видите ли, приданое-то...

— Все с иголочки да с молоточка, отец родной! Дело безобманное! Если что не покажется, прибавят, переменят. Вот и роспись...

— А как зовут вашу невесту?

— Наталья Ивановна. И имя, батюшка, хорошее.

Остается лишь условиться о дне смотра с родными невесты, и к ним спешит неутомимая сваха, окрыляемая целковиком, который вручил ей жених на извозчика, несмотря на притворные ее отнекивания.

Заварила кашу сваха — ей же приходится и доваривать ее и расхлебывать. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается,— и пройдет немало дней, пока совершенно устроится смотр. Опросам и показаниям свахи о женихе дается вера, но не безусловная: родственники невесты опрашивают снова, особенно беспокоясь о двух обстоятельствах: употребляет ли жених хмельное да не водится ли у него зазнобушки. Все это время сваха в страшных хлопотах: и ноги и язык у ней не знают устали. Случается даже, что, желая наперед показать, что не ударила себя в грязь лицом, она устраивает предварительный смотр, и по ее указанию будущие жених и невеста видят друг друга в церкви, во время обедни, но это делается в виде исключения из общепринятого порядка и без официального смотра все-таки не обойдутся.

Настает этот день. Мужское сердце томит одно любопытство, а девичье трепетно бьется мучительным ожиданием: тот ли он, кого сулило зеркало в святочный вечер и кого привыкло ласкать воображенье?.. «И молод, и хорош, и умен»,— говорит сваха: да где же чужому, старому глазу рассмотреть, что надобно!.. Скоро ли же он бу-

дет, когда станет легче дышать грудь, свободная от тяжелого чувства неизвестности?.. Уж бьет шесть часов, накрыт и уставлен разными лакомствами круглый стол в большой комнате, самовар бурлит без умолку, родные все чинно сидят по местам, готово все, а невеста еще не одета, хоть с самых вечерен не отходит от зеркала. «Наташа, помилуй, душенька! Того и гляди приедет, а ты и вполовину не готова!»— говорит ей мать. «Сию минуту, маменька!»— отвечает бедняжка,— и минута тянется добрые полчаса: и то и другое не так, и платье не обрисовывает талии, и прическа прежде выходила лучше... Вдруг раздается голос свахи, которая стоит настороже у окна: «Приехал, приехал!»— и уборам невольный конец. Вот он, дорогой гость, тоже тщательно принаряженный, вместе с своими отцом и матерью[1]. Его встречают, приветствуют, как старого знакомого, и скоро завязывается общий разговор, разумеется, о вещах посторонних. Жених успел осмотреться кругом, а невесты не заметил, да ее и нет здесь, она в соседней комнате. Когда пора начаться угощенью «чем бог послал», мать вводит ее. Безмолвно обмениваются молодые люди поклонами,— и хоть теперь не то, что старина, а все не пройдет без взаимного смущения, и жарче зарницы вспыхнут щечки девушки. Садится она супротив того, кто должен сказаться ее суженым или нет, заводит разговор с его, с своими родными, а с ним ни полслова: этого требует обычай. Впрочем, разговор взглядами не запрещался никогда, а выразительность их поспорит с любыми словами. Начинается угощение: все, что следует, жениху подает невеста, а если молодой человек церемонится, берет по кусочку или отказывается выпить три законные чашки чаю, ей вменяется в обязанность потчевать, упрашивать его. Но тем и кончаются все сношения их между собою: за них действуют старшие с обеих сторон и по разговорам, по приемам оценивают достоинства молодежи. Родные жениха зорко смотрят на «красавицу». Родственники этой последней выпытывают «молодца». Посредница во всем и помощница — сваха: о чем бы ни шла речь, она не преминует навести ее на предметы, где молодые люди, промеж чужих разговоров, могли бы хотя несколько узнать взаимные склонности и расположение. Чужая в семье, она ближе многих из членов ее принимает к сердцу начатое сватовство и не забывает ничего, что может содействовать цели его: так, едва вошел жених, она тотчас приперла минут на пять дверь, по примете, чтобы дело было крепко, не расходилось.

Сразу человека насквозь не увидишь, а все заметишь, какого он полета. По этому самому непригодно смотру тянуться долго: напились новые знакомые чаю, побеседовали, пообгляделись — и довольно. На прощанье никто и словом не выскажет, идет ли дело на лад или летит на ветер: всякий таится. «Просим быть навсегда знакомыми»— обыкновенный привет хозяев на расставанье; «премного благодарим за ласку и угощенье»— таковы прощальные слова гостей. Сваха, однако, не утерпит, чтобы не выскочить вслед за жени-

---

[1] Если кого из родителей нет вживе, место их заступают ***посаженые*** отец и мать. Также полнота в представителях семейства наблюдается и с невестиной стороны.

хом и не спросить: «Понравился ли вам наш товар?» Прямого ответа она не получит, но все-таки смекнет, как показалась невеста. Если жених скажет: «Много будешь знать, скоро состаришься, тетка»,— да улыбнется, так и дело в шляпе; а коли цедит сквозь зубы: «Товар-то хорош, да купец плох»,— не быть тут добру, пропали хлопоты...

Во всяком случае, официальными известиями обе стороны меняются назавтра: невеста пришла жениху по сердцу, по нраву, и он ей не противен — говорит радостная сваха. При этом же уговариваются о каких-нибудь особенных условиях брака или о дополнениях в приданом, какие требует женихова сторона. Скорейшее окончание переговоров много зависит от искусства посредницы: например, жениха приводит в раздумье многочисленная родня невесты. «Станет она помыкать моею женою, да и мне слова пикнуть не даст»,— говорит он свахе.

— Ну, уж и на этот счет будьте спокойны! Они и к Ивану Петровичу-то ездят лишь в годовые праздники да в именины. Все купечество! Статочное ли им дело, батюшка, пускаться в такие дряни!.. А заметили вы толстого старика, что сидел в углу? Дышит на ладан, один-одинехонек, а дом за Москвой-рекою тысяч в двадцать! Откажет, наверно, Наталье Ивановне: он души в ней не слышит, и крестный и дядя доводится...

В наше расчетливое время не мешает принять к сведению это обстоятельство и среди мечтаний о наследстве забыть чаемые сплетни родных.

Подобными средствами сваха уничтожает все возражения. Обе стороны произносят великое слово: *честным пирком да и за свадебку,*— условливаются, когда быть *рукобитью,* и начинается свадьба.

Начинается она, как все торжественные в жизни русского человека минуты, молитвою и призванием благословения свыше на обручающуюся чету. Трогателен обряд благословения, одинаковый для всех православных, присутствие служителя веры придает ему особенную важность. Усердно молятся обручаемые перед святою иконою, которою напутствуют их родители в новую жизнь; горько плачет невеста, и слезы навертываются на глазах жениха; но это слезы умиления, не столько дань прежней беззаботности, как новому, неиспытанному чувству. И скорее, чем роса от солнца, высыхают они, когда по окончании обряда молодым людям отдается сладкое приказание: «Теперь поцелуйтесь, дети!»— и когда потом несмелою рукою молодой человек берет трепещущую свою подругу за руку, ведет к столу и по праву жениха садится с нею рядом... Впервые раздается песня девушек, которые собрались «опевать свадьбу»:

Благословлялось солнышко
Перед светлым месяцем:
«Благослови меня, светел месяц,
За темны леса закатитися!»
Благословлялась Наталья Ивановна
Со удалым, добрым молодцем,
Со Гаврилом Николаевичем:
«Благослови меня, родной отец,

Со родимой со матушкой,
За дубовый стол идучи»...

А потом вслед за нею:

Черные кудри
За стол пошли,
Русу косу
За собой повели...
. . . .

Начинаются поздравления, тем более искренние, что чужих на благословенье не бывает никого: это исключительно семейное торжество. Степенным старикам скинуло с костей лет по десятку, радость и пенистая влага молодят их: воспоминание о былом вызывает веселые чувства...

— Хорошо вино, да что-то не сладко,— говорит кто-нибудь из них.

Старики посмеиваются, молодые люди краснеют, зная, к чему клонятся эти слова.

— Горечь, чистая горечь, хоть брось,— продолжает пьющий,— надобно подсластить. Наташа! Это твое дело, привыкай хозяйничать.

— Прикажете подать сахару?

— Чтобы испортить вино? Хороша дочка! Эх, недогадливая молодость!.. Ты бы, лишь только намекнули, сейчас должна понять, мигом поцеловать Гаврила Николаевича. Спроси-ка у матери, как делалось в старину, на нашей свадьбе... Ну, целуйтесь же скорее, а то и пить не стану!..

Стыдливо, а надобно слушаться.

— Это что? Чмокнула, да и баста! Ведь вылью вон!

Следует новый поцелуй.

Как по команде, у всех оказывается вино прогорклое, все требуют подслащивания: разумеется, не устанет молодежь удовлетворять этим требованиям, и робкая невеста, раскрасневшаяся, как розан, уже не отнимает у жениха руки, которою он полчаса назад завладел насильно.

А песни меж тем идут своим чередом, славят достоинства обрученных и их почетных родственников. Жених собрался уже в путь, любовно распрощался со всеми: подошел было к дверям, а девушки поют:

Воротись, сокол,
Воротись, ясный!
Целовал, миловал...
Да покинул...

И он возвращается, чтобы поцеловать еще несколько раз провожающую его невесту: идет опять, а песня снова свое...

В каких бы мечтаниях и грезах ни провел он ночь, а наутро его уже ждет начало исполнения обязанностей жениха: он должен приехать осведомиться о здоровье своей обрученной и привезти ей чаю да сахару, а вечером того же дня конфет или других гостинцев. И

потом до самой свадьбы он каждый вечер у невесты, и всегда с гостинцами для нее и для подруг. Вечера эти, однако, не пиры какие, а просто посиделки, на которые жених приезжает запросто, проводит время бесцеремонно и уезжает, когда вздумается. Мало-помалу он ознакомляется с характером невесты, а она привыкает к нему: нередко в безыскусственной беседе их, не стесняемой мыслью о людских пересудах, высказываются признания задушевные, и обрученные узнают друг друга с самой поэтической стороны любви. И право, если постоянное посредничество свахи, старанье «продать товар лицом» приведут, пожалуй, на память слова Кошихина: «Нигде нет такого обмана на девки, как в Московском государстве»*,— зато вечера эти искупают почти все.

А девицы меж тем, сидя за шитьем приданого, без умолку поют песни, даже в отсутствие жениха: ими встречают они его, ими провожают до самых ворот. Песни эти сложили люди старинные, которые не знали мудреной науки хитрить чувствами: прямо говорится в них про неизвестность будущего житья-бытья и оплакиваются последние дни девичьей жизни: «Пришел милый по сердцу, а еще не гадано, какого он нрава». Сам он в одной песне, гуляя по саду, расчесывая кудри русые, приглаживая их к лицу белому, велит своей суженой «привыкать к его уму-разуму, и ко нраву молодецкому, и к обычаю неженатому»; напоминает ей, что теперь надобно «спеси-гордости убавити, уму-разуму прибавити, держать голову поклонную, к ретиву сердцу покорную, называть свекра батюшкой, а свекровь матушкой...» Иногда, для скоротания вечера, песни сменяются фантами, жмурками, хороводами; если с женихом ездит *дружко*[1], а у невесты есть братья или другие близкие родственники — молодежь, девушки непременно затеют *подушечку,* эту игру, столь любезную молодости, потому что развязка ее заключается в поцелуе с кем-угодно, по выбору, изо всего круга...

Неделю, иногда две-три тянутся предсвадебные вечера. Наконец, приданое все в порядке, жених управился с делами, приготовления к свадьбе на исходе: пора бы, кажется, положить конец томительным ожиданиям обрученных? Но требуется еще исполнить один долг, и долг этот отдается обществу, которое равно взыскательно на всех ступенях своей лестницы, на нижних и на верхних. Необходимо справить *народный сговор* (семейным было рукобитье), необходимо предварительно познакомить с будущими супругами людей, с которыми отцы их водят хлеб-соль. Смотря по состоянию родителей невесты, сговор или принимает размеры бала (на *среднюю* ногу), или просто смахивает на щедрую вечеринку; на ином бывает музыка и разряженные, непременно «по последней моде», дамы танцуют с удивительно завитыми и сильно надушенными кавалерами,— дерзают даже и на польку; на ином скромно довольствуются разлаженным органом,

---

[1] *Дружко* — как можете судить по самому слову — должен быть близкий человек жениху, молод и ловок, так чтобы суметь в известных случаях заменить его. Он сродни *шаферу,* только круг обязанностей его гораздо обширнее; у людей, про которых рассказываю я, шафер бывает лишь с невестиной стороны, на время бракосочетания.

взятым напрокат, пляшут по-русски, и в простоте сердца забавляются теми играми, что многие презрительно привыкли называть простонародными, но которые очень любила видеть на своих эрмитажных вечерах* Екатерина Великая... Как бы то ни было, а для веселья принимаются все возможные меры. Утром жених дарит своей возлюбленной шаль и кольцо, а к вечеру присылает для пира порядочное количество бутылок, конечно, не порожних; последнее обстоятельство зависит, впрочем, от большего или меньшего хлебосольства его будущего тестя. На сговор сзывают столько гостей, сколько могут вместить в себя покои; а радушие хозяев и тесные сделает просторными, так что даже для посторонних людей найдется место и в продолжение вечера немало любопытных соседок придут посмотреть на жениха с невестой. Пируют долго, и какой бы церемонный вид ни имело собрание в первые часы пира, под конец русская натура возьмет свое, приветливость хозяев переспорит любое жеманство, и веселье пойдет нараспашку, не выходя, однако, из границ уважения к обрученным, которые занимают самое видное место за столом и едва успевают *подслащивать* вследствие бессчетных требований гостей. Правда, что им только и дела, и лишь для порядка возьмет жених кусок чего-нибудь, не забывая каждый раз делить его пополам с своей сердечной. Девушкам больше хлопот: кроме песен про обрученных, каждому гостю надобно воздать честь, повеличать его, и сваху, и дружка потешить песенкой[1]. Зато редкий не расступится золотой казной, не положит чего-нибудь, по бедности полтинник, в стакан с водой, который поднесут ему после песни. Щедро наградил он девушек — поют ему спасибо, дал мало — молчат. О свахе поют песни лишь двусмысленные, например:

Сваха ты, сваха, утеха моя!
Два дни бы, три дни
Не пил, не ел,
Все бы на сваху глядел!..

Но с дружком не церемонятся: он отвечает за все про все — и за скупость жениха, который тоже платит за песни, и за свою собственную. Если не туго развязывается его кошелек, так —

Друженько хорошенький,
Друженько пригоженький!
Как на дружке сюртук
Багрецового сукна...

А чуть задумался неразлучный спутник жениха, его корят:

Вспомни, дружко,
Как ты по миру ходил

---

[1] Некстати было бы здесь представить вниманию любознательного читателя полное собрание свадебных песен, которые поются в Москве. На это есть особенные мастера, и хоть не скоро, да здорово соберут же их. Замечу лишь, что, однообразные по содержанию и напеву, они почти все нравятся простотой того и другого. Некоторые из них сложены очень давно; например, должен же быть какой-либо смысл в песне:

Звонко звонят в Нове-городе,
Звонче того в каменной Москве...

Да суму волочил,
В подворотню глядел
Да собак дразнил,
Лоскутишки сбирал,
Сюртучишка сшивал...

Просим не прогневаться: слова из песни не выкинешь. Впрочем, обижаться не думает никто, а веселые все.

Справлено требование общества: время покончить семейное дело. От сговора не за горами отстоит *девичник,* канун свадьбы. Обеим сторонам хлопот по горло в этот день. Накануне его дружко привозит свахе деньги на баню, куда невеста идет в девичник, сопровождаемая своими подругами, которые поют песни и, поощряемые примером свахи, выступающей вперед, тянут их в ину пору и на улице. В самый девичник жених привозит невесте *свадебный поднос,* укладенный разными мелкими подарками: тут и подвенечные башмаки, перчатки, и гребни, и булавки со шпильками, и ленты для подарка девушкам, и многое множество уборных безделушек, так дорого ценимых женщинами; все это пересыпано конфетами. Словом, поднос — то же, что в старину был *ларец,* а теперь, у людей, знакомых с французскими обычаями, *свадебная корзинка.*

С женихом кроме дружка приезжают немногие родственники; со стороны невесты лишних тоже никого нет; ведь девичник не пир, а «заботный вечер». Приданое расставляется и развешивается, точно в магазине, сколько для жениха, чтоб знал, что берет, столько и для посторонних людей, которые не упустят случая посудить о чужом достатке.

Озабочены лица всех присутствующих: грустны и песни девушек. Уныло прощается ими невеста с прежней жизнью, со отцом, и с матерью, и с любезными подругами... «Недолго цветочку во садике цвести, недолго ей во девушках сидеть... Она не знала, не видала, как приехала к ней сваха-разлучница, змея-подговорщица, стала выхвалять чужую сторонушку: как чужая-то сторонушка сахаром усыпана, сытóю поливана, виноградом огорожена...» Заплакала девица и жалобно своему батюшке говорит: «Бог тебе судья, родной батюшка, молоду меня в чужи люди отдаешь... Много горя я там навидаюсь и печали наслыхаюсь». Строгий отец молвит ей: «Ты носи платье, не складывай, ты терпи горе, не сказывай». Зато нежность матери утешает бедняжку такими словами: «Не носи платье, складывай, не терпи горя, сказывай; я тебе всегда помощница».— «Матушка,— отвечает она, безропотно покорная своей судьбе,— всякого горя не наскажешься».

Особенно горько жалеет она по русой по косе:

Не в трубушку трубили рано по заре:
Натальюшка плакала по русой по косе...
«Коса ль моя, косынька, русая коса,
Ты девичья красота!
Вечор тебя, косыньку, девушки плели,
Поутру ранешенько матушка плела,
Золотом косу перевила,
Крупным жемчугом перенизала,

Бог судит тебя, родной батюшка!
Прислал ко мне свашеньку немилостивую:
Стала мою косыньку рвать, порывать;
Золото из косы вырвала,
Крупен жемчуг весь рассыпала.
Подбирайте вы, девушки, крупен жемчуг:
Поминайте вы, девушки, подруженьку,
Ах, любимую подружку свою!»[1].

Против воли струятся слезы из глаз невесты, как бы ни был игрив ее характер, и еще грустнее станет ей, когда самым жалобным голосом запоют подруги прощальную песню, поэтический перл между всеми свадебными. Послушайте простосердечной жалобы:

Уж ни низко, ни высоко
Соловей гнездо совивает,
Молодой тепло согревает...
Уж ни близко, ни далеко
Иван Петрович дитя снаряжает,
В чужи люди отпускает.
Уж не пава, не пава,
Что по сеням ходила,
Не павлиньи перья роняла:
Тут ходила, тут гуляла
Свет *Наталья Ивановна,*
Горючи свои слезы роняла,
Во слезах таку речь говорила:
«Куда тошно, куда грустно
Сидеть сговоренной;
Мне еще тошней того
К венцу ехать.
Отоприся, мой немецкий замок, отоприся,
Полуженая цепь, отложися,
Кипарисная дверь, отворися,
Тесовая кровать, покачнися,
Встань, проснися, пробудися,
Ты, моя матушка родная!
Уж не год мне у тебя годовати,
И не зимушку зимовати,
Не неделюшку гостити,
Одну ночку ночевати.
И тоё мне в тоске, во слезах не видати;
На молитве всю ночь простояти;
Либо с батюшкой, либо с матушкой
Думушку думати,
Либо с подружками посидети.
Я глядела, я смотрела
Я на их на трубчатые косы,
Я девичью красоту вспоминала,
Молодецку красу проклинала;
Мне девичья красота до возраста,
Молодецкая краса вековая;
Мне девичьей красы не нажити,
Молодецкой красы не изжити».

«Песни песнями, а дело делом»,— думает дружко, который один между всеми остается бесстрастным зрителем семейного горя-ра-

---

[1] Песню эту поют более во время одевания к венцу.

дости. «Не пора ли, помолясь богу, и укладывать?»— спрашивает он у родителей невесты. Приступают к приему приданого. Дружко читает роспись ему по порядку, родственники жениховы смотрят за укладыванием всего в сундуки и комоды, куда мать невесты или сваха не забудет положить в каждый угол по нескольку кренделей и серебряных монет. Случается, что какой-нибудь дядя-скептик примется переворачивать платья и белье, подозревая, не старые ли они (подозрение, извинительное по духу нашего века), заспорит из пустяков, но одно слово жениха, не вмешивающегося в разбор приданого, прекращает неудовольствие. «Ну, покончено все; остается лишь постель— говорит усталый дружко,— где ж она?»— Во власти девушек, у которых, по обычаю, жених должен выкупить ее. Укладена и постель; заперты сундуки; невеста подает жениху ключи от них и бумажник с теми земными благами, которые несет в придачу за собою. Для порядка он пересчитывает деньги, подписывается к росписи приданому,— и самым тяжелым, самым неприятным хлопотам конец. Запевают девушки песню на отправление приданого; сваха принимает от невестиной матери «божье милосердие» (иконы) да хлеб-соль и снаряжается провожать все к жениху в дом. Только что вышла, возвращается с известием, что ни карете, ни дрогам нельзя съехать со двора: ворота заперты на замок, а дворник не может нигде отыскать ключей. В подобных случаях ключи всегда затериваются и отыскиваются не иначе, как с помощью пары рублевиков. Да вообще на карман жениха в этот день делаются беспрестанные нападения. Едва успел он разделаться с дворником, ему объявляют о пропаже невесты.

— Я подожду, мне не к спеху,— отвечает он, измученный хлопотами, и спокойно садится на свое место.

А девушки в ответ:

Что за голубь
Без голубки летит!
Что за жених
Без невесты сидит!
Аль она ему не надобна?

Делать нечего: обычай — тиран. «Дорого ли же возьмете вы отыскать пропажу?»— спрашивает обескрыленный голубь. «Как вам не стыдно торговаться,— возражают девушки,— разве можно оценить Наталью Ивановну!» Однако вынутой ассигнации оказывается мало. «Это за косу невесты»,— говорят девушки: а самой ее все-таки нет! Новая ассигнация переходит в их руки: ряд резвушек расступается, и из-за него является дорогая пропажа.

Простите и меня и московскую свадьбу за эти подробности. Молодость дорожит ими, и если скучно слышать рассказ об них, то быть участником, право, веселье... Выслушайте последнюю песню девичника: невеста провожает своего милого с крыльца (и на деле исполняется это) и спрашивает: «Ты когда же ко мне будешь, когда меня к себе возьмешь?»— «Нынче я у тебя в гостях,— отвечает он,— а завтра к себе возьму, пришлю берлин* со свахою и карету с поезжанами»,— выслушайте и милости просим пожаловать завтра на свадьбу.

Светлый день! Не бывает в жизни двух молодостей, не испытывает сердце двух таких ощущений,— и пока бьется оно, не перестает человек помнить этот день: уж он отец семейства, окружен внуками,— а благодарное сердце не забывает отпраздновать былой радости *серебряною* и, если бог благословит, *золотою свадьбою!*.. Говорят, и довольно вероятно, что есть люди, которые встречают незабвенный день тем, что задают последнюю холостую пирушку старым собутыльникам и пьют прощальную жженку; не знаю, многие ли делают так; но у настоящих москвичей, у людей русских, этого не бывает. До наступления торжественного часа свадебный день проводится постаринному. Прямо от обедни, отслужив молебен пресвятой деве, невеста идет в Благовещенский собор и с молебном молится перед древнею иконою спасителя, находящеюся там; жених поступает так же. Заздравная просфора составляет во весь день единственную пищу невесты; жених тоже соблюдает возможно строгий пост. Так велось у наших прадедов, такого же, вероятно, обычая будут держаться и наши внуки...

С заунывными песнями одевают подруги невесту к венцу: мать не сводит глаз с милой голубки, которая того и гляди улетит из родимого гнездышка: всякую вещь, которая должна войти в убор ее ненаглядной, она усердно крестит... При наряде соблюдают следующие приметы: в правый башмак (а обувает непременно мальчик) кладут серебряные деньги, в ворот платья втыкивают протер (иголку без ушков — вероятно, для избежания дурного глаза); карман, привешиваемый к нижнему платью, наполняется тоже протером, кусочком глины, угольком и серебряными деньгами. Приехала парадная карета, запряженная шестеркою серых лошадей, знакомая всей Москве; девушки запели расставальную песню; входит дружко с объявлением, что все готово к бракосочетанию: берут родители невесты икону, хлеб-соль,— и редко бывают в жизни слезы жарче тех, какие ручьем польются у них, когда станут отпускать свое дитя к венцу...

Богат ли, беден ли жених, а свадьба всегда окружена возможным торжеством и великолепием, для которого он не пожалеет последней сотни рублей. Оглашается ли храм громким хором певчих или раздаются в нем незвучные голоса причетников, сияет ли он огнями или мерцают в нем немногие свечи,— а всегда на этот раз полон народом... Толпы любопытных теснятся окрест венчального круга, и разве какой недогадливый проминует заметить, кто из обрученных стал прежде на ковер и взглянула ли невеста на жениха, когда надели на них венцы. Если так, то будет и госпожой в доме и жить полным домом. Последняя примета редко оправдывается, говорят люди опытные, а первая почти всегда...

Хоть и есть старая поговорка, что дается пир на весь мир (и когда ж это более кстати, как не на свадьбе?), но незваных гостей в наше время не бывает. Посмотреть, впрочем, на свадьбу не запрещается никому, и этим правом воспользуюсь я, потому что на ней решительно нечего делать, как только веселиться. Что радостны новобрачные, что очень мила молодая супруга — это известно всем и каждому. Сваха

наша отдыхает от долгих трудов: сидит у пышной брачной постели да угощает своих знакомых[1]. Назавтра у ней опять куча дела: будить молодых, торжественно разъезжать по городу на паре славных лошадей, разубранных лентами,— да заваривать новую свадьбу...

Первый визит молодых к теще: поклонятся они ей в ноги, порадуются вместе, а потом помчатся по Москве развозить конфеты к вчерашним гостям и сзывать их на новый пир.

Затем наступает медовый месяц, не подлежащий ни нашему, ни чьему ведомству. Долго ли, коротко ли тянется он, про то ведают одни молодые, а иногда заметят и чужие люди, что, конечно, не к добру.

Послесловие

Описал я *среднюю* свадьбу, то есть того круга, который держится средины между сановитым купечеством и зажиточным мещанством. Не знаю, *кто* вы, мой читатель, но приходит мне на мысль (и да простится мне она!), что, может быть, странны и дики для вашего эстетического вкуса покажутся многие из обычаев, о которых я рассказывал вам,— дики почти столько же, как нравы разноплеменных обитателей земного шара. Может быть, с своего или чужого голоса, не могу знать, заговорите вы при этом о влиянии татарского элемента, об унизительном положении, на которое старина осудила у нас женщину,— спорить с вами я не смею. Прошу об одном: сделайте милость, расскажите нам о *ваших* свадебных обычаях: как и что делается у вас. Носится молва, что и у вас есть вещи прелюбопытные, в которых, однако, русского духа ни видом не видать, ни слыхом не слыхать; говорят, что иные женятся как в Гретна-Грине*: из церкви прямо в дорожную коляску и марш за тридевять земель; что не переводятся в каком-то *свете* мудрецы, которые величают брак «могилою любви» и, сгубив в себе все жизненные силы, ищут в нем не живой воды, не света-радости, а чего-то иного. Но что об этом!..

Увлекли меня раздумья, которым здесь не место, как не идут к свадебному пиру песни заунывные. Значит это — начать за здравие, а свести на упокой,— в чем и приносит низкую повинную *И. Кокорев.*

ЯРОСЛАВЦЫ В МОСКВЕ

В царстве, где солнце не знает заката, земли столько, что будь в нем народу вдвое, втрое более, чем есть теперь, переходи в него сколько хочет Европа,— для всех станет места. Но и при этом раздолье у нас в иных местах тесно, то есть, впрочем, только для нашей охоты до простора, а вершковому немцу как раз было бы по мерке. Да вдоба-

[1] В некоторых богатых домах место ее в этом случае заступает так называемая *постельная* сваха, какая-нибудь близкая родственница невестиной матери; но это посягательство на права законной свахи не признается обычаем.

вок и земля-то иногда не мать родная, а хуже мачехи, не дает никаких угодьев. Что тут делать, как быть? Перешел бы на другое место, разумеется, если есть на то закон; да легко сказать — покинь свою сторону! Здесь я родился, здесь привел бы бог и кости в землю сложить, на том же погосте, где лежат мои кровные; здесь я вырос, знаю, почитай, всю округу, как свои пять пальцев; везде у меня есть люди близкие, свои — кто сват, кто названый брат, кто просто дружище... А там, на чуже, ну что я буду? От одного берега не отстану, к другому не пристану. Засядешь, как курица на насесте. Мне еще мила своя изба. Бог не без милости; авось, промаячимся и на старом, насиженном гнезде. Я не без рук, здоровья и сил не занимать стать. Коли здесь нет работы, поищем ее; земля не клином сошлась.

— Слушай, батюшка! благослови меня идти на чужую сторону, в Москву али в Питер, на заработки: там много нашего брата живет, а я из твоей воли не выйду нигде. На подмогу тебе остается брат, Ванюшка мой подрастает; да и я, по силе, по мочи, стану присылать, что заработаю. Отпусти, родной!

— С богом, сынок; на дурное не благословлю, а на хорошее сам бог велит. Да смотри: Питер бока повытер, а в Москве толсто звонят да тонко едят, говаривали старики. Так ты глаза-то не распускай, не сшибись как-нибудь.

И пошел мужичок, примерно, к нам в Белокаменную, пошел с одной котомкой, да с тою смышленостью и уменьем приноравливаться всюду, куда ни поверни,— этими двумя способностями, которыми мы сами в себе не надивимся. Таким гостям всегда есть место в Москве. Владимирец принялся за плотничество, в офени или в кулаки пошел, а то «по ягоду, по клюкву» стал распевать; ярославец сделался каменщиком, разносчиком, сидельцем в Гостином дворе и, наконец, трактирщиком; ростовец поступил на огороды; тверитянин с рязанцем явились как простые чернорабочие, поденщики[1]; туляк принес с собою ремесло коновала, а костромич и галичанин — бондарное мастерство или кровельное со стекольным; корчевец* начал тачать сапоги; подмосковный — искусник на все руки: и в извозе ездить и с лотком на голове ходить; коломенец, сверх того, печет калачи и на барки нанимается; можаец с звенигородцем — летом мостовщики, а зимой ледовозы, пильщики, дровоколы. Из широких степных губерний, где человеку только что в пору управиться с благодатною землею, к нам не ходит никто. С недавних пор стали похаживать белорусские крестьяне, да они большей частью работают на *чугунке*[2], так поэтому и нейдет им быть в счету московских пришельцев[3].

Но ни в Москве, ни в Петербурге нет гостей многочисленней ярославцев, и никто так сразу не бросается в глаза, как они. Не подумайте, однако, чтобы их выказывало высокое *о*, на которое усердно напирает ярославец у себя дома; нет, благодаря своей переимчивости,

---

[1] Первый нередко и торгует; например, все мороженщики — тверитяне.
[2] То есть на железной дороге.
[3] О фабриках и заводах я тоже не говорю; на них рабочие приходят еще подростками.

он, живя в Питере, сумеет объясняться и с чухною и с немцем; а свести понемногу, как пообживется, свое родное *о* на московское *а* ему уж не трудно. Отличие его совсем не то. Взгляните на этого парня: кудрерусый, кровь с молоком, смотрит таким молодцом, что хоть бы сейчас поздравить его гвардейцем; повернется, пройдет — все суставы говорят; скажет слово — рублем подарит; а одет — точно как будто про него сложена песня: «По мосту, мосту, по калиновому»— и кафтан синего сукна, и кушак алый, и красная александрийская рубашка, и шелковый платок на шее, а другой в кармане, и шляпа поярковая набекрень, и сапоги козловые со скрипом. Так бы и обнял подобного представителя славянской красоты! Это и есть ярославец белотельный, потомок тех самых людей, которые три пуда мыла извели, заботясь смыть родимое пятнышко.

Да вот вопрос: откуда же взялась у него, конечно, не молодцеватая выправка, с которою он, знать, родился, а та щеголеватая одежда, что далеко не по карману и обычаю крестьянскому? А вот откуда. Между всеми столичными пришельцами и с огнем не найдешь никого смышленее ярославца. Примется он, положим, за розничную торговлю с единственным рублем в кармане, поторгует месяц, много два, серым товаром, а потом у него заведутся и деньжонки, и кредит, и пойдет он разнашивать «пельсины, лимоны хорóши, коврижки сахарны, игрушки детски, семгу малосольну, икру паюсну, арбузы моздокские, виноград астраханский»— товар все благородный, от которого и барыш не копеечный. Наймется ли ярославец в сидельцы, и тут он умеет зашибить копейку, не пренебрегая, впрочем, выгодами своего хозяина. А что за ловкость у него в обращении с покупателями, что за умение всучить вещь, которая или не показалась вам, или нужна не к спеху, но к которой вы попробовали прицениться! Что за вид простосердечия в божбах и истины в уверениях насчет доброты товара! Какое мастерство в знании, с кого можно взять лишнее, кому следует уступить, с кем необходимо поторговаться до упаду! Как раз применяется к нему поговорка «Ласковое телятко две матки сосет». Прошу не считать этих похвал преувеличенными: ярославец мне не сродни, взяток я с него не брал и говорю чистую правду. Не угодно ли сравнить его с любым разносчиком, вот хоть с этим яблочником, которого по ухватке сейчас видно, что не ярославской породы.

— Почем за десяток?— спрашиваете вы у мешковатого продавца.

Он объявляет цену, вы торгуетесь, он подается упрямо, как медведь, цедит слова сквозь зубы, чуть-чуть не грубит; настоящий мужичина.

— Пропадай ты и с яблоками!— говорите вы в заключение, не поладив с разносчиком.

— Сами, барин, дорого оченно покупали,— отвечает он в свое оправдание, которого, разумеется, вы и знать не хотите, желая, вопреки пословице, купить *дешево* и *мило*. Этими качествами всегда готов услужить ярославец.

Подходит к нему покупатель мало-мальски почище одетый, он и шапку долой, и благородием повеличает, если не довольно ходячего

«сударя». Запросит он бессовестно, но зато можете торговаться с ним сколько душе угодно. У него на все есть резоны.

— Сами изволите видеть, какой товар. Дадите дороже, а такого не купите. Во рту тает, словно ананас, хоть бы королю на стол! Закушайте, сударь, опробуйте, и денег не возьму, коли не одобрите.

— Хороши, да дороги...

— Поверьте честному слову, один грош на десяток наживаю. Как перед богом, сударь, торговля такая стала, хоть в деревню ступай... А уж каких яблок отберу я для вашей милости, что ни на есть самых лучших. Только лишь для почина, не за продажею дело стало.

Неловко не купить у такого славного парня. А «почин, который дороже денег», и уважение к вашей милости продолжаются у ярославца целый день; под исход же товара он начнет продавать «для вечера». И благодаря своей догадливости он всякий день возвращается домой с порожним лотком, между тем как нерасторопный его сотоварищ, который виноват лишь тем, что природа отказала ему в даре слова и лисичьей натуре, приходит на ночлег усталый, нагруженный — только не деньгами, а нераспроданным товаром.

Тайна превосходства ярославца заключается главнейше в том, что он вполне смекнул торговую аксиому: «Отнюдь не должно упускать покупателя, если навернулся он». Поэтому он чрезвычайно учтив и низкопоклонен не с одними «сударями», но со всяким, даже с своим братом, серокафтанником. Он кланяется не кафтану, а карману. Одного он чествует «купцом» (преимущественно дородных покупателей), другого «почтеннейшим», третьего «добрым молодцем»; покупательницы у него — кто «умница», кто «красавица» и уж никак не ниже «тетеньки». Политичный человек наш ярославец!

Нередко выручает его и прибаутка. Послушайте присказки блинника, звонко выкрикивающего свой товар:

С самого жару,
По грошу за пару!
Вались, народ,
От всех ворот,
Отбирай блины.
Вынимай мошны!

И народ окружает весельчака предпочтительно перед другими разносчиками, потому что для рабочего человека случай посмеяться от души сто́ит в ину пору рюмки водки; клюква и патока любезны ему не столько сами по себе, как потому, что всегда сопровождаются песнями и прибаутками.

Не гневайтесь, читатель, что я осмеливаюсь занимать ваше внимание таким ничтожным человеком, как блинник, который и сам, чувствуя свое незавидное положение, не дерзает показываться в порядочном уличном обществе. Не знаю, случится ли вам когда услыхать, что в старинные годы один ярославец, начавший свое торговое поприще с блинным лотком, передал наследникам до полумиллиона рублей капитала, а другой, торговавший сперва яблоками-мякушками, добился под конец своей жизни до трехсот тысяч годового до-

хода; для меня же эти два *факта* служат лучшим оправданием и дают законное право продолжать беседу о ярославцах.

Конечно, не всякому так прытко повезет судьба: кому какая линия. Уж если на роду написано тебе ходить день-деньской с лотком, гранить мостовую, распевать что есть мочи, грех ежечасно брать на душу кривой божбой, то и в гроб пойдешь с этим. Но и тут не следует бога гневить: большому кораблю большое и плавание и простор совсем другой требуется, а ты маленький человек и должен мотать себе на ус поговорку «Всяк сверчок знай свой шесток». Ведь тоже живешь, по милости создателя, не хуже людей: сыт и без разносолов, без соусов, чай в складчину с товарищами пьешь почесть всякий день; и рюмку нашему брату позволительно хватить в праздник, лишь бы дела она не портила; на гуляньях на всех бываешь даром, на ночлег придешь не куда-нибудь в нехорошее место, а на свою фатеру; сочтешь торговлю, смекнешь барыш, да и за ужин,— а стряпает тебе кухарка, на то и нанимаем ее всею артелью. Денежка про черный день тоже не переводится у тебя; оброк с подушными платишь как следует, да, кроме того, домой, в семью, рублей с полсотни перешлешь. Все слава богу!.. Эх, братцы-земляки! подхватывай дружно:

Распрекрасная сторонка,
Ты, наш город Ярославль!..

Хороша песня, да некогда слушать ее. До сих пор мы только вполовину познакомились с ярославцем, видели его лишь на улицах; взглянем же теперь на блистательнейшую сторону его деятельности — на ярославца-трактирщика.

Здесь прежде всего поражает следующий замечательный факт: между разносчиками встретите многих и не с ярославской стороны, но трактирщики все оттуда. Трактирщик не ярославец — явление странное, существо подозрительное. И не в одной Москве, а в целой России, с незапамятных времен, белотельцы присвоили себе эту монополию. Где есть заведение для распивания чаю, там непременно найдутся и ярославцы, и, наоборот, куда бы ни занесло их желанье заработать деньгу, везде норовят они завести хоть *растеряцыю*, коли не трактир. Не диво, что при таком сочувствии к чаю в Ярославской губернии найдется множество семейств, в которых от подростка до старика с бородою — все трактирщики; не диво, что иной ярославец три четверти жизни своей проведет в трактире; мальчугой он поступит в *заведение*, сперва на кухню, для присмотра за кубом, за чисткою посуды, и в это время ходит чрезвычайным замарашкой, в ущерб своему лицу белому; потом, за выслугу лет, за расторопность, переводится в залу, где приучается к исполнению многосложных обязанностей полового, бегает на посылках и, наконец, после пятилетнего или более искуса делается полным молодцом; возмужалый, он нередко повышается в звание буфетчика, а на закате дней отправляет важную службу приказчика — и часто все в одном трактире. Зато уж каким мастером своего дела становится он, и как кипит это дело у него в руках! Разносчик часто из корыстных видов умасливает покупателя, озабочиваясь сбытом своего товара; напротив, побуждения

трактирщика к услуге гостю гораздо благороднее. В заведении на все существует определенная цена, запросов нет, всякий приходит с непременным желанием подкрепить чем-нибудь свои силы; следовательно, половому остается лишь оправдать доверие, оказанное его заведению гостем, послужить вам — если не всегда верою и правдою, то, по крайней мере, усердно и ловко. Если гость почетный, ярославец ведет его чуть-чуть не под руки на избранное место; «что прикажете, чего изволите, слушаю-с, сударь»— не сходят у него с языка при выслушании распоряжений посетителя. Воля ваша исполняется в мгновение ока, и ярославец отходит на почтительное расстояние или спешит встречать новых гостей, готовый, однако, живо явиться на первый ваш призыв. И надобно иметь такие же зоркие глаза и слухменные уши, как у него, чтобы среди говора посетителей, звона чашек и нередко звуков музыкальной машины* отличить призывный стук или повелительное — «челаэ-эк», произносимое известного рода гостями; надобно обладать его ловкостью, достойной учителя гимнастики, чтобы сновать со скоростью семи верст в час и взад и вперед, то по зале, то к буфету, то на кухню, сновать среди беспрестанно входящих и выходящих гостей и не задеть ни за кого. Ярославец, когда он несет на отлете грузный поднос в одной руке и пару чайников в другой, несет, едва касаясь ногами до пола, так что не шелохнется ни одна чашка,— потом, когда бросает (ставит — тяжелое для него слово) этот поднос на стол и заставляет вас бояться за целость чашек,— он в эти минуты достоин кисти Теньера*...

Впрочем, доскональная причина чрезвычайного усердия ярославского полового, если раскусить его хорошенько, окажется не такою бескорыстною, как показалось с первого разу, при сравнении его с разносчиком. Предположим, что вы, почитатель народности, рады всякому случаю ознакомиться с подробностями быта простолюдинов: очень естественно, что приятно изумленные ловкостью мужичка, взятого от сохи, но который понатерся до того, что заткнет за пояс любого официанта, вы не проминуете потолковать с ним. Расспросите, откуда он, чей, женат ли и проч.; слово за словом, дойдете и до вопроса: «Как идут дела?»

— Да что, сударь,— ответит ярославец,— дела как сажа бела. Жалованье небольшое, туда, сюда — все изойдет, еле-еле натянешь концы с концами: оброк надобно заплатить, в деревню что-нибудь послать, на сапогах да на рубашках сколько проносишь,— сами изволите знать, что с нас чистота спрашивается. Сказать правду, живешь в этой должности больше по одной привычке. Не то что как в городе, у Бубнова, у Морозова, у Печкина*,— там нашему брату житье разлюли. Хозяева солидные, двадцать лет у одного прослужишь, и за услугу он всегда тебя наградит; на волю скольких откупают. Жалованье вдвое супротив здешнего, а дохода втрое супротив жалованья. Народ ходит все первый сорт, на чай дают по малости полтинник; городские купцы ситцами, материями дарят служителей. Вот это житье, и умирать не надобно... А здесь голо, голо да посинело. Какие гости ходят? Трое три пары спрашивают, чайников шесть воды выдуют да еще норовят своего сахара принести, чтобы и четвертому было

что пить. Все голь перекатная, мастеровщинка или выжиги-торговцы — кто пыль в проходном ряду продает, кто колониальные товары — капусту да свеклу развозит. Тут взятки гладки; на масленице разве на пряник что-нибудь из глотки вырвешь. Только слава лишь одна, что заведение стоит на бою: а рынок, как есть рынок. Хорошие господа, примерно как вы, оченно редко ходят. Вот, сударь, к слову пришлось: на чай бы, если милость будет, ярославцам пожаловали; напились бы мы за ваше здоровье.

Расщедритесь, посетитель, примите во внимание покорную просьбу полового: право, не раскаетесь. Ведь он не протранжирит пожалованных денег, а запишет их в дележную книжку и употребит на дело; чай хозяйский и без того он пьет два раза в день. Сухая ложка рот дерет, а как смажете ее, то встречать и провожать вас станут с поклонами и прислуживать будут вдвое усерднее, и трубку Жукова* подадут даром, и «Пчелку»* на дне моря отыщут, и сливок принесут с пенками; мало того: если вас посетит безденежье, благодарный ярославец поручится за вашу добросовестность пред хозяином, примет трактирный долг на себя. И хотя при этом он часто делается жертвою обмана, но деликатность его в отношении к хорошему гостю все-таки не прекращается.

Число ярославцев, временно живущих в Москве, можно определить приблизительно: трактирных заведений в ней считается более трехсот; следовательно, полагая кругом до десяти человек служителей на каждое, выйдет с лишком три тысячи одних трактирщиков; да, наверно, столько же наберется разносчиков и лавочников. Эти шесть тысяч человек составляют здесь промышленную колонию, и как ни привольна жизнь в столице, а все дома кажется лучше. И ярославец как можно чаще навещает свою родину — разносчик каждогодно, а трактирщик, смотря по обстоятельствам, через два-три года. Приезжают они домой в рабочую пору и сгоряча, в охотку, работают на славу; привозят с собой и гостинцев, и денег, и разные прихоти цивилизованного быта, к которым приучились в Москве; поживут себе как гости да и возвращаются опять наживать копейку. И наживают они ее до седых волос, а все кажется мало, и все не знают они, когда пойдут на окончательный отдых в дедовскую избу да станут, полеживая на теплых полатях, вспоминать старину и учить внуков, как следует вести себя в матушке-Москве...

Впрочем, не одни ярославцы, все мы, даром что временные жильцы на сем свете, а хлопочем и волнуемся до самой гробовой доски, не ведая и не предвидя, когда начнем приготовляться к отъезду на вечную квартиру.

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Что вам угодно?— Охотничье ружье, которое бьет наверняка в пятидесяти шагах, черкесский кинжал, отличную лягавую собаку, свирепую мордашку, сметливого водолаза, умную овчарку?— Пожалуй-

те в Охотный ряд в сборное воскресенье* и получите желаемое. Или, может быть, недостает у вас ягдташа, пороховницы, болотных сапогов, нет ножа для прикалывания зайцев, крючка для уды, капкана на разбойника-волка?— Идите в Охотный ряд и там найдете все это. Но не мудрено, что ошибаюсь я, предполагая в вас охотника, sportsman'a[1]. Так нет ли у вас какой-нибудь почтенной тетушки, для которой шпиц с ноготок, шерсть с локоток, курносый мопс, плясунья-levrette*, говорливый попугай, кривляка-обезьяна — самые приятные на свете подарки? Или не найдется ли в кругу близких вам маленького Вани, крохотки Саши, которым давно обещаны ученый чижик с парою козырных голубей или сладкопевчая канарейка в награду за прилежание?

За всем этим извольте отправляться в Охотный ряд. Впрочем, очень естественно, что и здесь я мог дать промах и что ничего подобного не требуется вам. Нет?— Так доможил ли вы, не желаете ли обзавестись дворовой птицей или теми визгливыми животными, к которым чувствовал сердечное расположение господин Скотинин?* Или, может быть, вы гастроном и давно сбираетесь сами откормить, по всем правилам науки кушать пулярку да индейку; давно чувствуете аппетит на овсянок и воробьев для паштета, на жирных свиристелей для соуса, а величавого павлина для жаркого в древнем вкусе? Наконец, не производите ли вы анатомических, химических, физиологических и всяких исследований над животными, сбираясь перенести их потом на человека? Не надобно ли вам для этого смиренных кроликов, зайцев, дворных собак, этих отличных субъектов для опытов над переливанием крови? Не заводите ли вы у себя, для домашнего обихода, музея естественной истории, не требуется ли вам для накопления его что-нибудь из отечественной фауны, например: степенный еж-ежович, вертунья-белка, сибирский кот, сонливые хомяк с сурком, философ-крот, лиса-ивановна, злой барсук, волчонок с медвежонком, глупый лесовик, мошенник-коршун, трудолюбивый дятел, премудрая сова, болтунья-сорока? Угодно, что ли?— Так пожалуйте в Охотный ряд. Вы отрицательно киваете головой, смеетесь над моим непрошеным усердием, над моими предложениями, из которых ни одно не приходится вам по нраву... да что же вы за человек? Так-таки и нет у вас ни к чему ни охоты, ни любопытства, нет никакой страсти, и отшельником живете вы на белом свете, и сердце у вас ледяное, и кровь рыбья?.. Не может быть! Что-нибудь да в состоянии же расшевелить вас и кроме ремиза в преферанс, когда туз, дама, сам-пят на руках, или тому подобных важных случаев!

Сказать, однако, правду, мне все равно: я человек уживчивый, привык применяться ко всяким обстоятельствам; по мне, в божьем мире все хорошо; на все можно смотреть с сочувствием, не будучи ни Демокритом, ни Гераклитом, без слез и без смеха; но будь вы другого, пожалуй, прогрессивного мнения,— и я потяну на вашу сторону, лишь только сопутствуйте мне в прогулке в Охотный ряд. Пойдемте хоть для того, чтобы, глядя на шум, хлопотню и суету людскую,—

---

[1] Спортсмен *(анг.)*. — *Ред.*

и все из-за мелочей, из-за пустяков,— иметь право глубокомысленно произносить: «и это жизнь, и это люди». Да, прав Лермонтов: «жизнь — глупая шутка»*— Прав, так. Давайте разочаровываться. И английский сплин, и наше русское «Мне моркотно молоденьке» имеют свою выгодную сторону...

Ну вот что значит сбиться с дороги: из Охотного ряда, куда собрались идти, мы забрели в чащуру переливанья из пустого в порожнее. Марш назад! Вот вам сапоги-самоходы — раз-два-три, и мы опять у цели нашего путешествия.

Сажен за сто уже слышится шум, гам, визг, чиликанье, голосистое кукареку, важное кряканье утки — словом, самая разноголосная музыка, в которой есть все звуки и недостает одного согласия. Ежеминутно раздается повелительное: «Поди, поди,— берегись!» Народ снует и взад и вперед. Толпы приливают то в ту, то в другую сторону; один покупает, а десятеро глазеют. Блины горячие, сбитень-кипяток, сайки крупитчаты, баранки белы, гречневики поджаристы, с маслом гороховый кисель, мак жареный медовый — шныряют во все стороны и насыщают алчущих. За углом, втихомолку, мальчишки затевают орлянку, этот уличный банк, или взапуски ломают копеечные пряники. Раек* тешит толпу слушателей самодельными остротами. Но мимо все это...

Мы в птичьем царстве. Начинается оно голубями. И каких тут нет! Чистые, турманы красные и черные, козырные, двухохлые, махровые, тульские, гордые, трубастые, деликатные, огнистые, египетские дутыши, сизяки чинно посиживают в плетушках, ожидая покупателей. Далее тянется длинный ряд саней с птицами певчими. На каждых санях торчит по дереву, на каждом отростке дерева висит по нескольку клеток, и в каждой клетке сидит по нескольку птичек. Известно, в неволе что за песни, и чиликают себе бедняжки, попрыгивая с жердочки на жердочку да вспоминая — кто вольную волю, кто милую подругу. А если бы запели они все — что ваша итальянская опера! Колокольчиком зальется овсянка, сорок колен начнет выводить остроглазая синичка, бойко защебечет шалун-чижик, десять ладов перепробует сметливый скворушка, словно дверь, заскрипит малиновый щур, молодецким посвистом свистнет подорожник, искусно передразнит барана болотный барашек, лучше турецкого барабана задолбит дятел, бубенчиками и мелкой дробью рассыплется красавица-канарейка, защелкает, засвистит, зальется и всех заглушит своей сладкой песенкой душа-соловушко... Даже и молчаливый снегирь, которому бог не дал добропорядочного голоса, и он не ударил бы себя в грязь лицом перед почтеннейшими зрителями: фокусы бы разные стал показывать, потому что, несмотря на свою степенную наружность и красный мундир, он большой штукарь. А то нет: чирк-чирк-чирк-тью-тью-тью — только и есть.

Как же велика цена талантам, скрытым под спудом? Да как раз по карману тому возрасту, который еще сам, словно птичка, живет на свете без печалей и забот и располагает лишь теми деньгами, что пожалует papa с maman, тятенька с маменькой или добрая бабуся. На один гривенник можно купить чижа с синичкой, а на другой —

клетку и корму для них. Канарейки и соловьи ценятся гораздо дороже; только хороших птиц продавцы редко выносят сюда: среди шумного, разнообразного чиликанья не мудрено сбиться с голосу и самому лучшему певуну: где один другому слова выговорить не даст, там красноречие не у места. А если вам угодно крылатую примадонну или певца с бархатным голоском, извольте, представим первый сорт. Только уж не жалейте золотой казны, не думайте удовлетворить свое желание каким-нибудь десятком рублей. Пойдемте к охотнику; не один он здесь, но я поведу вас к первостатейному; а чтоб знали вы, с кем будете иметь дело, расскажу главные черты его жизни.

Ему с лишком шестьдесят лет. Половину их он провел в доме вельможного барина екатерининских времен, страстного охотника, и был у него сперва простым псарем, а потом доезжачим. Живо помнит старик молодые свои годы и увлекательно рассказывает о великолепных охотничьих поездах того времени, когда, бывало:

Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах...*

По смерти барина он получил отпускную, но зато остался почти без куска хлеба и долго не знал, куда приклонить одинокую голову. Пойдет то к тому, то к другому господину, у которых были псовые охоты, никому не надобно его услуг, свои люди есть. Делать нечего, побрел бывший доезжачий в Москву. В Белокаменной, известное дело, разве только безрукому не найдется работа. Стал Степан Михайлов промышлять стрельбою дичи и хоть с грехом пополам, а кормился кое-как. Да на беду поехал он раз «позабавиться» с дилетантами охоты, и один из них, у которого рука вернее управляла бильярдным кием, чем ружьем, как-то удосужился всадить ему ползаряда дроби в правое плечо. Долго прохворал бедный егерь, а как выздоровел, пришлось отказаться от своего промысла. Чем же жить? Ремесла он никакого не знал; давай опять кормиться охотой, только другого рода. Прежде он стрелял птиц, теперь начал ловить их, разводить, покупать, продавать. И мало-помалу новое занятие обращается у него в страсть, которая, усиливаясь с каждым годом, становится, наконец, необходимою ему как воздух, не потому только, что доставляет средства для пропитания, но и потому, что в ней единственная отрада его жизни, она одна наполняет собою его существование, она согревает зачерствелое среди бед житейских сердце и разнообразит быт старого холостяка. Голуби, чижи, синицы, канарейки, соловьи — вот его семейство, его неизменные друзья и приятели. Сколько радости, когда канарейка выведет миленьких птенчиков или стае его голубей удастся заманить редкостного чужака! А когда после долгого молчанья дорого купленный соловей вдруг подаст голос, да еще с такой трелью, что сейчас узнаешь в нем мастера своего дела,— чуть не пляшет от восторга Степан Михайлович. Зато немало хлопот и горя бывает ему с своими любимцами. То типун сядет у подающего большие надежды певца, то затоскует соловей и начнет обмирать, то неизвест-

но каким путем прокрадется в голубятню злодейка-кошка и похитит пару голубей, да каких! В подобной беде Степан Михайлович утешает себя, курныкая любимую свою песенку: «Чижик, чижик, где ты был?— за горами воду пил...», или заманит к себе Петю со двора и примется рассказывать ему *докучную* сказку о том, как воробей, мужик в сером кафтане, хотел жениться на синичке, барыне в синем платье.

И слава своего рода выпала на долю страстного охотника. Его знает вся Москва. Сколько раз в газетах было публиковано про него. Живет он на Бутырках, а к нему едут от Серпуховской заставы, чтобы узнать его мнение о какой-нибудь дорогой птице; и зачастую охотники-любители, особенно купцы, приглашают его в трактир, где вывешен соловей, чтоб решить, какие тоны выкрикивает предмет их спора. Степан Михайлович выпьет две-три чашки (хмельного он не употребляет, с тех пор как стал водить голубей, которые не жалуют пьяных), внимательно и не один раз прислушается к раскатам соловья, подумает и решит дело. И весело глядеть, как он, дряхлый, едва передвигающий ноги, воодушевится в подобную минуту, помолодеет десятком лет, с каким жаром излагает свое мнение, каким юношеским блеском загораются его полупотухшие глаза, какой силой убеждения проникается и крепнет его дребезжащий голос!..

И птиц ни у кого не найдете лучше. Примерно взять махровых голубей. Смотрите-ка сюда: вот пара и вот пара; эта стоит многомного полтора целковых, а за эту, что у Степана Михайловича, мало дать и двадцати. А отчего? У одной хохлы торчат, как мочалки, а у другой перышко подобрано к перышку, волосок к волоску, словно листья розана, а мохры-то на ногах — на редкость: почти в два вершка длиной. Вот как! Канарейки у Степана Михайловича поют «россыпями, овсянками, разными бубенчиками, колокольчиком, бриллиантовыми и флейтовыми дудками»; соловьи «натурального учения, криковые, кричат дробью, простой и рассыпной, на разные манеры: куликом, вороном, кликотом, светлыми и водяными дудками, раскатом, тревогою, стукотней, свистом, кукушечьим перелетом...»[1]

Разумеется, что не дешево стоит такой мудреный соловей, и за сто целковых разве только по знакомству уступит его нам Степан Михайлович; за канарейку придется заплатить тоже не много меньше...

По этим значительным ценам не следует, однако, заключать, чтобы зашиб себе копейку владелец дорогого товара. Не из корысти торгует он, а по страсти, по охоте, которая, как говорит пословица, пуще неволи. Дорого он продает, но недешево и сам покупает. Скажите ему, что вот, дескать, «Степан Михайлович, продается соловей, какого доселе и видом было не видать и слыхом не слыхать! просто редкость. Да по деньгам ли тебе? Двести целковых — не шутка!» — Что же? Хоть разорится Степан Михайлович, распродаст все до нитки, под жидовские проценты займет, себя заложит — а купит. Знай наших! С другой стороны, торгует он по убеждению, что промысел

---

[1] Охотнические термины.

его укореняет «добрые нравы». «Это как?» — спросите вы, решительно не понимая, что за связь таится между птицеводством и человеческими добродетелями. «Да так,— простодушно возразит Степан Михайлович.— Мало ли к чему пристращается человек? Сказано, что мягок, как воск. Иной чересчур познакомится с чаркой, другой повадится картежничать, у кого амуры разные на уме, кто из кожи лезет, чтоб на фуфу удивить крещеный мир. А что толку-то! Грех да суета одна. И насчет охоты тоже. Охота охоте рознь. На что как псовая али вот рысаки — знатная штука, да не всякому подручно оно. А птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку. И на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточка корму да капелька водицы — вот и весь ее паек. И уход за нею небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку,— больше ничего и не надо ей. А зато будет она распевать тебе день и ночь, разгонит хоть какую скуку и кручину, прослужит беспорочно пять иль более лет, и худого ты никогда от нее не увидишь: она не зверь какой, не бесчестный попугай, а божье созданье, и нет у ней в сердечке даже помыслов на зло...»

Не могу знать, согласны ли вы с речью охотника, а уж по лицу вашему вижу, что раздумали покупать у него дорогую птицу. Туго развязывается ваш кошелек; делать нечего, извините, что задержал я вас,— и пойдемте дальше. Наше почтение, Степан Михайлович!

Дальше, рядом с царством птиц, идет область собак и разных зверей, каких именно — я уже имел честь докладывать вам. И здесь расставлены сани, а у саней привязаны собаки; и здесь раздается всеоглушающий гам на разные тоны — начиная от звяканья болонки до басистого рева меделянской собаки; и здесь расхаживает множество охотников, любителей псов, только все они люди *специальные:* один взял на свою часть борзых с гончими, другой — собак для травли, а вот у этого и из-за пазухи, и из карманов, и на руках торчат миниатюрные щпицы да моськи.

Я думаю, нам нечего смотреть, как происходит купля и продажа разношерстных, как оцениваются и рассматриваются их достоинства: сцена Ноздрева со щенком* повторяется при этом беспрестанно. Но вот исключение.

Выведена на продажу дворняжка: четвертак — красная цена ей. Ничем не провинилась она перед своим господином, стерегла двор и денно и нощно, издалека различала своего от чужого и, вероятно, спокойно бы дожила до глубокой старости в одной конуре, если б не судьба. Хозяйка ее овдовела; убогий домишко, единственное наследство после мужа, продала. Приходится нанимать чужой угол: где же поместиться в нем с разным скарбом и хламом, которым был простор лишь в своем доме? И сбывает она с рук и кадочки, и бочонки, и ухваты, продает и семью кур с петухом, и верного сторожа. Маленький сын ее держит на веревочке черношерстную Орелку, которая, как будто предчувствуя разлуку, печально глядит на него и изредка помахивает хвостом. Покупщик скоро нашелся.

— Смотри же, дядюшка,— говорит мальчик, сдавая ему свою любимицу и чуть не плача,— корми Орелку; она у меня такая знатная...

Орелка ты моя золотая, съешь хоть на дорогу-то кусочек,— промолвливает он, бросая ей калача.

И бредет, понурив голову, бескорыстный друг человека за новым своим хозяином, готовясь служить ему с таким же усердием, с каким служил прежнему. А все-таки нет да нет и оглянется на мальчика, который далеко провожает глазами своего сотоварища в играх...

Но довольно. Нам остается осмотреть еще другую половину Охотного ряда. Идемте же скорей: уже обед на дворе. На перепутье нам встретится мелкая промышленность с своими изделиями и промыслами: домиками для чижиков, незавидными игрушками, удочками, неразрывными силками, черными тараканами, муравьиными яйцами[1] и тому подобным.

Но что это? Что я слышу? Старая моя знакомка выучилась барышничать. О времена, о нравы!

— Это, сударь, я вам доложу, не простая какая-нибудь уда,— говорит плутоватый действователь мелкой промышленности своему покупателю,— это-с редкость-с. Вы что глядите? палка не чиста? да ведь рыбе-с не целоваться с нею. Вы вот где смотрите — вот-с: каков волос-то, не здешний-с!

— Откуда же, из Америки, что ли?

— Не из Америки, а арабский-с.

— Как так?

— Да от арабской лошади-с, вот что-с. Уж его какая хотите щука не перекусит-с; пять фунтов смело вытягивайте им-с. А крючок-то видите-с?

— Вижу. Что, и крючок не здешний?

— А как бы вы думали? Я не облыжно говорю: у меня брат в Туле оружейником; нас всех пятеро-с; так он мне присылает-с. Я не барышник какой, чтоб мне обманывать вашу милость. Такие крючки только и есть в одном Петербурге-с.

«Ну, любезный,— сказал бы я ему,— заговариваешь ты зубы не хуже цыгана».

На другой половине Охотного ряда, собственно на Охотной площади, тоже два царства — птичье и звериное, с тою лишь разницею, что представители их служат человеку на пользу, а не на одно удовольствие,— куры, гуси, индейки, утки, свиньи, бараны, телята,— можете представить, и не слыхав, что за приятная музыка. Громче всех вопиют поросята, предвидя насильственную смерть, потому что им пришлось лежать рядом с замороженными своими собратьями. Охотников здесь немного: большею частию одни доможилы. Движение сосредоточивается преимущественно вокруг кошелок с курами. Тут есть и павловские с белыми и черными хохлами, и крупные гилдянские, и красавицы шпанские, и ноские украинские, и цыцарки, *золотые* и *серебряные*. Из самых отдаленных частей Москвы идут сюда заботливые хозяйки купить курочек, которые нанесут им яиц к

---

[1] Предлагаю справочные цены двум последним товарам: тараканы, преследуемые особенно сапожниками-мальчишками, продаются от 20 до 30 копеек серебром за сотню, а фунт муравьиных яиц стоит не менее 40 копеек серебром.

Светлому дню. Правда, что в Москве можно купить хоть миллион яиц, простых и крашеных; да свои все как-то приятнее, знаешь, что свежие, безобманные, не болтуны; а главное, куда ж девать крошки со стола, если не водить кур? И выбирает хозяюшка доморощенную курочку, которая уж *растится* и не сегодня, так завтра занесется. Охотники-мужчины зарятся на петухов, боевых и заводских, и жарко спорят, кому отдать преимущество — крепкой ли груди *русского*, огромным ли шпорам *аглицкого* или увертливости *гилдянского**. Но с ними познакомимся мы в другой раз. А теперь, смекаю я, устали вы, мой снисходительный спутник: ходьба возбудила ваш аппетит, и помышляете вы о домашнем крове. С богом! Останусь я один и до конца выполню взятую на себя обязанность — познакомить вас с сборным воскресеньем.

Особенности московской жизни проявляются в этот день и не в одном Охотном ряду. Близка весна, а вместе с нею не одним только деревьям открывается надежда зажить новою жизнью. Комнатные живописцы, пробедствовавшие всю зиму[1], гурьбою собираются на так называемый *монетный* двор и запивают магарыч со взятых на весну работ. У Варварских ворот тысячи плотников, владимирских и рязанских, ударяют по рукам с подрядчиками, делятся на артели и скоро принимаются за топор. Немало сходится тут же и пильщиков, которых нанимают на весну хозяева окрестных рощей. Далее, на Бабьем городке*, в Тверской-Ямской, в Свиблове, в предместиях и в глухих переулках, затеваются кулачные бои — разумеется, не то, что в старину, когда охота показать свою удаль оканчивалась нередко свороченными салазками или переломленной рукой; а так, просто для одной потехи, соберутся десятка два уличных мальчишек да подростков фабричных. Далее, на Переведеновке, на Черногрязке, под Вязками, на Смоленском рынке, начинаются другого рода бои, в английском вкусе, бои петушиные. За Рогожскою заставою, в амфитеатре, только не римском, происходит в первый раз «удивительная медвежья травля; для удовольствия публики травится свирепейший медведь аглицкими мордашками и меделянскими собаками, напуском по охоте...»

Наконец, и это вы знаете без меня, в сборное же воскресенье открывается музыкальный *сезон* — длинный ряд концертов, которыми угощают нас разные знаменитости, приезжие и доморощенные, поющие и играющие на всевозможных инструментах, даже на рожке и барабане.

Кажется, все.

Нет, позвольте еще минуту. Только расстались мы с вами, случилось замечательное происшествие. Купил некто, неизвестно для какой потребы, пару павлинов. Едва стали пересаживать их из одной кошелки в другую, павлин, которому не пришлось это по сердцу, вдруг порх из рук своего хозяина и сел на крышу. Неразделившиеся владетели его — туда, сюда, и так и сяк — нет, нельзя никак достать

---

[1] В противоположность портным, для которых это время года самое хлебное, а лето самое горемычное.

павлина, и с места даже не спугнешь его. Уселся и сидит себе, словно поджидает мила друга, что осталась в злой неволе. И не чует он, что собирается над ним гроза неминучая, что попал он из огня в полымя, и не видит он, что обсели его кругом галки да вороны; принялись они каркать по-своему, как будто собрались суд судить над красавцем. Кра-кра-кра, и бросился черноперый народ долбить и щипать нарядного гостя, с особенным ожесточением нападая на его радужно-изумрудный цвет. Притча о вороне в павлиньих перьях* разыгралась в лицах; но здесь страдало не самозванство, а истинное достоинство. Нападения на павлина становились с каждой минутой ожесточеннее, ворон и всякой сволочи прибавлялось более и более; даже воробьи прилетели насмешливо почиликать над бедным страдальцем: а он сидел как вкопанный, повесив голову, не защищался и не думал даже лететь. Лишь изредка, когда сильный удар какой-нибудь ожесточенной вороны вырывал у него перо с корнем, подымал он голову и печально посматривал на зевак, толпою собравшихся глядеть на птичью драму, как будто желая сказать им: «Люди добрые, виноват ли я, что у меня такая светлая одежда!» К вечеру павлин забит был до полусмерти, и дальнейшия судьба его осталась покрытою мраком неизвестности.

Теперь, я думаю, все, и ставлю заключительную точку.

ИЗВОЗЧИКИ-ЛИХАЧИ И ВАНЬКИ

«Ну, гнедко, пора и ко дворам! Вон и лавочки запирают. Сколько ни стой, ничего не выстоишь.— Вишь, какую бог послал погодку, и сверху и снизу. И хоть бы плохой седок навернулся: съездить на пятачок, так и будет ровно три четвертака. Что ж, и за это надо благодарить бога! Вчера выездил и больше, до целкового, почесть, хватало, да деньгам-то поклонился. Надо же быть такому греху! Кажись, на что лучше седока: двугривенный в час, и езда не дальняя, и на водку тебе будет, коли хорошо поедешь. «Уж заслужу, сударь,— говорю я,— прокачу вашу милость, то есть так, что хоть бы на лаковых санках не стыдно». Ладно. Едем мы. Посадил я его на Плющихе, окружили мы Арбат, Тверскую, Петровку. «Стой здесь».— «Слушаю-с».— «Тебе следует за три часа, так ли?»— «Сами изволите знать,— говорю я,— не обидите нашего брата».— «А водку пьешь?»— «Грешный,— говорю,— человек, употребляю».— «Ну, сейчас вышлю деньги, и водки тебе вынесут». А сам и шмыг в трактир. Жду; эдак и с час уже и прошло, а я все стою да жду. Кой прах! уж не запамятовал ли барин про меня? Дай, наведаюсь. Вхожу — глядь туда, сюда — нет моего седока. «Что тебе, погонялка?»— спрашивают половые.— «Да что, мол, вот так и так, братцы».— «Ну,— говорят зубоскалы,— здесь такого и не сидело: прозевал ты, ворона, ясного сокола: барин-то твой, видно, жулик, улизнул задним ходом на другую улицу». Что тут делать? Подумал, подумал, плюнул, да и поехал. Подавись ты, разбойник, моей трудовой копейкой; коли много тебе надо, не разбо-

гатеешь, чтоб тебе ни дна, ни покрышки, а уж когда-нибудь да наскочишь. «Простофиля ты,— толкует Серега,— настоящего седока сейчас видно по ухватке». Да, поди-кось, влезь ему в душу. На лбу, что ли, у него написано, какой он есть человек: барский ли барин, заправский ли, или просто шишимора? Одет важнительно, с усами, шуба какая, часы, и говорит, как следует барину. Эх, житье, житье ты разбедовое!.. Ну, гнедко, двигайся, овсеца прибавлю».

Так беседует сам с собой злополучный *ванька* (он же «бесколодный» и «ночник»), колеся Москву, рыская по улицам и закоулкам, радушно предлагая свои услуги встречному и поперечному, терпеливо вынося насмешливые советы многих прохожих: «Куда тебе, не довезешь!» А сказать правду, вовсе незаслуженно терпит он такое презрение. Конечно, лошаденка у него взята из-под сохи, сани — самодельщина, сбруя наполовину из веревок, кафтанишка плохой, шапка с нахлобучкой; сам он мешок такой, редко дорос до казенной меры*; сидит увальнем, скорчившись в три погибели; едет нога за ногу, трух-трух, беспрестанно понуждая нерьяного своего коня и словом и делом, вожжами и кнутом; среди улицы, в виду всей честной зевающей публики, к невыразимому стыду своего седока, вдруг остановится поправлять шлею или убеждать гнедка, чтобы не артачился и не забывал своей обязанности; случится где ехать в гору, ванька, жалея своего кормильца, слезет с саней, и хоть раскричись седок, пойдет пеший, вожжи в руках, пока минуется трудный путь. Все это так, известно и переизвестно москвичам; но обращали ли они должное внимание на добрые качества бедного возницы? Нет, тысячу раз нет! Пусть же свидетельствуют за него сами *факты*.

Ранним утром, когда половине человечества — самый сладкий сон, а другой — забот полная охапка,— кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах пешего хождения по свету, и ускоряет ход их дел?— Ванька. А в глубокую полночь, у театров, у клубов и прочих приютов веселья, среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых весь экипаж, как говорят они, заключается в калошах, кто развозит их по ночлегам?— Ванька. А в слякоть, в метель у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход, вызванный на улицу безотступною нуждою?— У ваньки. Поздним вечером кто шажком плетется по малолюдной улице, по глухому переулку, как будто чуя, что здесь в одном доме справляется вечеринка, запоздалые гости сбираются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и дальней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин сбирается уже сам провожать гостей?— Ванька. Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сынка берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь,— дорогой разутешает ребенка, позволяя ему править лошадью, и подобру-поздорову, без всяких приключений, достигает до места.

А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не «на своих

на двоих»; сколько еще более таких, которые обязаны нагружать себя кульками и узлами пуда в полтора весом; немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяемое себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов ванька, и от них уже редко слышатся сетования на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявление взаимного сочувствия заводят между собою разговор, большею частью о чем-нибудь о житейском: седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про семейный быт ваньки; а этот последний допытывается, для чего строят «чугунку» и смирно ли сидит француз. Словом, за пятачок тут для обоих соединяется, по правилу Горация, приятное с полезным*.

Не таков извозчик-лихач. Не кочует он по улицам порожняком, не выезжает на промысел ни свет ни заря, не морит себя, стоя до полуночи из-за гривенника. Улицы кипят народом, ванька уже успел упарить лошаденку и пробирается в укромное местечко задать ей корму; а лихач только что в эту пору выезжает на биржу*. Утром он посиживал в трактире, распивая чай в складчину с товарищами и растабарывая о вчерашних похождениях; потом холил коня, снаряжался сам — времени прошло и немало. Впрочем, дело не терпит почти никакого ущерба от этого замедления, потому что седоки лихача показываются не ранее полудня. Приехал он на биржу, перекрестился, раскланялся на все четыре стороны, стал и будет стоять, не зазывая без разбора всякого прохожего, не гоняясь за дешевым наемщиком, за ездою менее рубля. Седоки навертываются к нему редко да метко, и один стоит десятерых. Вон идет барин: по осанке видно, что ноги его созданы не для ходьбы, и за делом ли, за бездельем вышел он, а следует ему взять извозчика. И лишь едва кивнул он головой — мигом встрепенулась биржа, лихачи шапки долой и обступили желанного. «Куда, ваше благородие?»— «Со мной, батюшка, со старым извозчиком, я и допрежде возил вашу милость...»— «Возьмите, сударь, рысистую...»— «На иноходце прокачу, ваше сиятельство!»— «С первым, барин, со мной, с кем рядились...»— «Возьмите меня, сударь, заслужу... у меня и сани с полостью». Оглушенный залпом этих возгласов соперничества, наемщик может зато на выбор выбирать, что более ему по вкусу — окладистую ли бороду, казистые ли сани или ретивого коня. Выбрал, сторговался — извольте садиться. Ну, Петруха, гляди в оба, не в один, не осрамись, валяй, качай — даст барин на чай... «Эх, голубка!»— крикнет лихач, дернет вожжами, чмокнет — и пошел. Только его и видели, пока разминался горячий рысак. Вот она, русская езда! «Дымом дымится дорога»*, не едешь, а летишь; дух замирает в груди, а чувствуешь себя как-то бодрее, могучее, сознаешь свое превосходство над всем, что идет и стоит кругом, мелькая в глазах быстрее стрелы. «Пади, пади, держи правей-та! Что разинул рот, извозчик?»— кричит лихач, и, послушный повелительному голосу, смиренно жмется к сторонке ванька, поспешно перебегает дорогу пешеход или, изумленный, останавливается на половине пути; а лихач все мчится, обгоняет и пару и четверню, даст на минутку вздохнуть разгоряченному коню, вдруг гикнет и

опять погонит быстрее прежнего. А как он сидит, как правит, как мастерски избегает столкновения со встречными экипажами, как повелительно приказывает остановиться едущему вереницей обозу! Что за расторопность в отыскивании сбивчивых переулков, что за уменье угодить седоку и окольным, но верным путем подобраться к его карману! «Это тебе, братец, на чай»,— молвит удовлетворенный донельзя барин при расплате. «Много довольны вашей милостью»,— скажет с поклоном лихач, тряхнет кудрями и поедет — «протирать глаза» вырученным деньгам, распивать порцию чаю, если только, к счастью его кармана, не попадется на пути новый седок.

Вообще лихач хотя не пьяница и не мот, а денежкам у него не вод; особенно, если он живет не в работниках, сам по себе, и большой и меньшой весь тут. Впрочем, к чести его надо сказать, что подушные редко стоят за ним, и в деревню он также посылает подмогу по силу, по мочи. Откладывать же из заработков копейку на черный день не в его характере; а если и заведется она каким-нибудь чудом, мало ли на что можно употребить ее. Хороша у лихача и суконная шапка; а еще лучше купить плисовую с мишурным галуном; ковер мог бы, наверно, прослужить еще год-два; а мы сменим его новым, на зло Терехе, который хвастается своей узорочной попоной; чем, кажись, не сани — лаковые, с резьбою, с камышовым плетеным задком,— а все не мешает приделать к ним бронзовые головки: будет показистее; полушубок — как следует быть полушубку, и под синим кафтаном не видать, романовский ли он* или простой, а лихач постарается украсить его лисьей выпушкой — знай, дескать, наших! И пускай бы только подобные улучшения соблазняли лихача: нет; нередко и сшибается он. А отчего? Седок нападает такой, что пей, ешь с ним, что твоей душе угодно; вином, и не простяком, а настойкой да шипучим хоть залейся: пой только дорогой ухарские песни, катай во всю ивановскую да показывай кое-какие столичные диковинки. «Ух!»— гаркает лихач, кружась по улицам с таким молодчиком, да потом закруживается и сам, оживляя воспоминания песней, что распевал с седоком:

Как едут наши купчики
К Макарью торговать*,
Приказчики-голубчики
Попить да погулять...

Ванька, напротив,— враг всякой роскоши. Удивишь, что ли, кого этими вычурами? Дома-то, небось, нужда и через ворота уж перелезла. Он временный жилец в Москве и приехал в нее не проживать, а наживать деньгу, и прихотничать ему не из чего. Не дешево обойдется ему знакомство с дистанциею огромного размера*, не в один месяц намосквичится он, и, пока продолжается курс этого образования, не один раз попадает он впросак. То седок, не расплатясь, ускользнет проходным двором или городскими рядами; то, по незнанию настоящей ближайшей дороги, ванька сделает версту крюку; то иной наемщик воспользуется этим незнанием и, наняв его, например, просто на Тверскую, протянет до Триумфальных ворот, или с Арбата вплоть до Смоленского рынка. А легко ли запомнить сотни названий уро-

чищ, приходов, переулков, в которых запутается и старожил? Словом, на первых порах ванька сам не свой и плутает, точно в лесу.

«Извозчик! Что возьмешь ко *Всем* воротам?» — «Да кое же это место, батюшка?» — спрашивает ванька, теряясь в недоумениях о неслыханном названии: Тверские ворота он знает, к Покровским бариньку вчера возил, у Красных земляк живет, Никольские есть — а Все-то где? «Да вы натолкуйте, где ехать?» — молвит он, приготовляясь слушать объяснение дороги. «А вот,— отвечает наемщик,— сперва ступай ты на Арбат, с Арбата на Арбатец, отсюда в переулок Безыменный, из Безыменного в Безумный, здесь своротишь в Пустую улицу, потом повернешь в Золотую[1], а тут и пойдет прямая дорога ко Всем воротам. Понял, что ли?» Поймет ванька, что подсмеиваются над ним, ругнет зубоскала прямиковым словом; а между тем время-то ушло, глядишь, среди баляс и седока упустил. Случается также, что нанимают ваньку взад и вперед, с условием заехать в одно место *на минуту;* в простоте деревенского сердца он и порядится по цене, сообразной времени, а на деле выйдет, что прождет он добрый час, прибавки не получит ни гроша,— и тогда смекнет, что значит московская *минутка.* Да мало ли каким проделкам подвергается он в первое зимовье свое в Москве! Надобно же чем-нибудь наверстывать недостаток опытности, непредвидимые упущения,— а чем же более, как не трудом да усердием? Лихач и смотреть не хочет на нерублевого седока, а ванька не прочь ехать и за гривну меди; московского хвата разве калачом выманишь со двора в непогодь, а деревенский труженик тут-то и выручается.

Чуждый прихотей не по карману, ванька выгадывает супротив лихача и в других отношениях. Постоялый двор в предместьях столицы выбирает такой, где бы он не стеснялся необходимостью брать сено с овсом у дворника и где бы плата за харчи не была накладна для его кармана. Биржевых расходов он не знает; да и на что ему колода? Лошадь не дворянка, поест и из торбы,— а стоять можно на любом углу; разумеется, коли у лавочки — подчистишь кой-когда мостовую, а если близ будки — ну, поздравишь кавалера в праздник. На особенно бойких для стоянья местах, например около трактиров, у рынков, на перекрестках, ваньки составляют между собою тесную *корпорацию*, и извозчик, не принадлежащий к их обществу, не смей становиться здесь, под опасением различных гонений со стороны всех членов товарищества. Но и товарищи в ладах между собой только до первой кости. Дружелюбно растабарывают они, собравшись в кучку и похлопывая рукавицами, высчитывают, кто на сколько съездил, кого возил; с хороших прибылей решаются задать себе пирушку — кличут блинника. Вдруг... все врассыпную, каждый благим матом к своим саням,— хлыст по лошади, и поскакали что есть духу в одну сторону. Что же такое случилось? Гром разве ударил над ними? Нет, не гром, а на углу показался седок. Прервана поучительная беседа, оставлены стынуть блины, забыты узы родства и дружбы, и ваньки наперебой

---

[1] Арбатец лежит на Крутицах, Безыменных переулков два — в Грузинах и на Балкане; Безумный — на Трубе*; Пустая улица — в Рогожской, а Золотая — на Бутырках.

летят к цели. Явись в эту минуту отец родной, загорись в двух шагах дом, проходи целая армия с музыкой — ванька ничего не слышит и не видит, кроме седока. И чего не делают, чего не говорят соперники, чтобы залучить к себе желанного! Но счастливцем бывает, разумеется, только один, а прочие опять возвращаются к своему пристанищу — «сидеть у моря да ждать погоды».

Крепко хлопочет ванька, зато и не может пожаловаться на судьбу, вознаграждающую его хлопоты. Конечно, пробьется он зиму не в тепле и холе, но всегда сыт, хотя без разносолов; приехал с грошем, а поедет не с одним десятком рублей; и лошаденка откормится. Вот и на следующий год, чуть только запорхает снежок да пойдут морозы-морозовичи, едет он в гости к кормилице-Белокаменной, иногда и парнишку везет с собою на подмогу. Глядя на него, отправляется и сосед извозничать, и другой, и третий, и ваньки с каждым годом прибывают в Москве,— и живут они до поры до времени точно сказочные Иванушки-дурачки, в загоне у своих братьев-извозчиков да в милости у судьбы. Потребностям московских пешеходов удовлетворяют почти одиннадцать тысяч живейных извозчиков: из этого числа не более трех тысяч постоянно живут здесь, а прочие — все ваньки.

Лихач равнодушно смотрит на это увеличение одинаковых с ним промышленников, потому что не боится никакого соперничества. Но большинство обыкновенных живейных извозчиков, которые составляют средину между лихачами и ваньками, бывают средственные и плохие, летом ездят на калибере-трясучке, а зимою на санках средней руки,— они питают самое враждебное чувство к пришельцам, называют их «голодными воронами» и бранят на чем свет стоит, что сбивают эти «погонялки» настоящую цену.

Сколько-то лет тому назад пошло гонение на калиберные дрожки. «Это не экипаж,— кричали цивилизаторы,— а пытка; он постыдный остаток варварства, он трясет все существо человека не хуже лихорадки...» Извозчики вняли справедливым жалобам и завели пролетки[1].

После этого дознали они, что чужеземные наблюдатели, удостоивающие приехать взглянуть на Россию, обратили на них, собственно на них, особое внимание: записали в своих путевых впечатлениях и droschki, и iswostschtik, объявили всей Европе, что последние — люди ужасного вида, носят огромные бороды и снежные очки для предохранения от мороза; происходят по прямой линии от татар; хлопают руками (то есть рукавицами) так, что слышится звук, подобный ружейному выстрелу, и вдобавок ко всем этим диковинкам распивают шампанское по пятнадцати франков бутылка! Извозчикам все эти слухи, как с гуся вода,— пусть тешатся немцы!

---

[1] Но когда бывает доволен человек! В последнее время стали слышаться жалобы и на пролетки. «Не предохраняют они от простуды»,— вопиют неженки, которым мало резиновых калош, вязаных шарфов, непромокаемых макинтошей, зонтиков и прочих защит для защиты от нашей осени. Сострадательные извозчики приняли к сведению и это обстоятельство, и вопрос о заведении крытых пролеток обсуждается лихачами.

Наконец, в недавнем времени пошли разъезжать по Москве так называемые городские линейки* и кареты. Извозчики недоверчиво поглядели на неожиданных соперников их промыслу, подумали и решили, что новая машина не пойдет. Словом, все напасти извозчики переносили равнодушно или великодушно. Одни ваньки как бельмо на глазу у них, и вторжение этих «сынов природы» выводит их из себя. Поэтому назвать простого живейного извозчика-москвича *ванькою* — значит нанести страшную обиду его *амбиции* и задеть его *репутацию*. А ваньку — «как хочешь зови, лишь хлебом корми»; он себе на уме и неспроста поет:

Мужик я простой,
Вырос на морозе;
Летом ходил за сохой,
Зимой ездил все в извозе...

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫВЕСКИ

Что такое публикация и вывеска — известно всем и каждому. Кому принадлежит честь изобретения их — грекам или римлянам, когда последовало это изобретение, во времена ли глубокой древности или под ведомством истории? — не место здесь и недосуг пускаться в разыскания. Для нас, русского люда, достоверно лишь то, что обе эти принадлежности развитой общественной жизни выдуманы не на берегах Волги, Днепра и Дона; публикация прикатила к нам вместе с первым кораблем, в одном и том же тюке, где заключались: *цивилизация, аттестация, рекомендация, амбиция, градация, генерация, вариация, грация, репутация, нотация, экскузация, профанация, мистификация, традиция, эрудиция, композиция, кондиция, конкуренция, сентенция, протекция* и многое множество всяких ***аций, анций, инций, енций,*** содействующих обогащению отечественного языка; вывеска же приехала с зимним обозом натяжеле. Публикация породила у нас, в известном слое общества, поведенцию и надуванцию (ars[1] naduvandi, по выражению одного остряка), но еще продолжает ходить за море для усовершенствования; а вывеска обрусела, как немецкий булочник. Вот все, что можно и позволительно сказать об их истории и чего, кажется, достаточно для приступа к современному быту той и другой.

Была пора, когда слухом земля полнилась, язык доводил до Киева и г-жа Простакова верила, что извозчики лучше всякой географии знают дорогу; прежде по горло было дела кумушкам-вестовщицам и тем добрым людям, которые готовы пять раз на дню пообедать, лишь бы услужить чрез это ближнему... То ли ныне? Слухи под опалою скептицизма, языку не дают более веры, г-жи Простаковой с огнем не найдешь, удел кумушек — сватовство, а добрым

[1] Ars *(лат.)* — искусство.— *Ред.*

людям, переименованным в порядочные (comme il faut)[1], осталось на долю составлять партию виста... Человек сам стал машиною и требует, чтобы все шло у него, как заведенные часы, и никто не мешался бы не в свое дело. Встретилась ему какая надобность — продать, купить, заложить — все, что только продается, покупается и закладывается,— он публикует, и дело в шляпе. Машина приготовит перья и бумагу, машина напишет публикацию, машина напечатает ее, машина разнесет во все концы вселенной, кликнет клич,— и будь желаемое хоть на дне морском, а явится оно пред чудодеем, как лист перед травою, по щучьему веленью, по его прошенью, вызванное могучею силою публикации. Рычаг, двигающий эту машину, не нужно называть: его слышат глухие и видят слепцы; его зовут «презренным», а он сам презирает всех, потому что он и есть та точка опоры, которой искал Архимед, чтобы сдвинуть земной шар с места; и поэтому владетель полновесного груза смело плывет на всех парусах по широкому морю, а у кого оказывается недовес в баласте или балансе, тот садится на мель, удит рыбу в мутной воде или мечтает да пишет стихи... Но

Пофилософствуй — ум вскружится!*

Лучше вот целая кипа публикаций всякого рода, вида и цвета. Посмотрим: «Продается дом на веселом и бойком месте. Требуется лакей трезвого поведения, знающий поварскую должность, а в случае нужды — кучерскую. Иностранец ищет компаньона из русских с капиталом. Сбежала собака, приметами хвост и уши рубленые... Приведена шестерня караковых лошадей, из коих одна известного завода: отец Юпитер, мать Пенелопа...»

Ну, для вас это неинтересно. Мимо. Пусть читают те, кому о сем ведать надлежит. Далее. Мадам такая-то извещает, как о событии черезвычайной важности, что модистка, которую она ожидала, приехала на днях из Парижа и привезла с собою большой *ассортимент* уборов à la то, à la это и à la ни то, ни се. Гастрономический (попросту — съестной) магазин уведомляет о первом транспорте свежих *фленсбургских устриц*, доброты доселе здесь невиданной, так что «оные даже пищат». Содержатель *зубного кабинета* публикует о получении из Америки «партии лучших искусственных зубов, *превосходящих* натуральные как в отношении прочности, белизны, так и удобства к жеванию и произношению». Рядом с этой публикацией какой-то добрый человек всенародно объявляет, что у него вставные зубы, которые он приобрел у одного *зубоврача* в столице, где «обретаются все блага жизни». Ну, эти известия не мешает принять к сведению.

А ведь, в самом деле, не ошибся добрый человек, сказав, что все блага имеются в столице. Вот кипа публикаций о разных увеселениях: каких здесь нет, и чем не потешает человек человека! Миновав обыкновенные театры, концерты и тому подобное — потому что здесь не умеют писать порядочных публикаций — далее видим: Олимп; Олимпический цирк; удивительные эквилибро-механико-гим-

[1] Прилично; в соответствии с правилами светского приличия *(фр.)* — *Ред.*

настико-конные представления; бриллиантовые фейерверки с великолепным *табло*; Венеру, проезжающую на огненной колеснице в гости к Плутону; медвежью травлю; концерты на барабанах и кошачьи (первые представляют сражение при Ватерлоо, последние играют польку-мазурку); воздушные полеты; картины живые и туманные; зверей и людей в натуре и из воску; панорамы, диорамы, косморамы; механико-оптико-магические фокус-покусы; египетское волшебство; Геркулесов, Адонисов, тирольцев, американцев,— все это в великолепно-пышных программах, «не щадящее трудов и издержек, ласкающее себя надеждою заслужить благосклонность почтеннейшей публики», возвещаемое в разных чудовищных публикациях (annonce-monstre), вершковыми буквами, украшенное нередко политипажами времен царя Гороха,— все это в состоянии наполнить пустоту обычной жизни людей, которые нянчатся с своим временем. Но только что готовишься запеть:

На радость жизнь нам боги дали...

вдруг... улыбка замирает на губах, шутка улетает недоговоренная, лицо вытягивается, волосы топорщатся, дрожь пробегает по леденеющему телу... Из-за сборища игр и смехов, как тень в Гамлете*, как гроб на пирах древних египтян, мрачно выглядывает следующая публикация: *«Фабрика надгробных памятников*... Рекомендуются почтеннейшей публике надгробные монументы в новейшем вкусе, с ручательством за прочность оных и за красивую отделку. Образцы можно видеть на всех кладбищах...» О ужас, ужас, ужас!.. Итак, должно умереть, а сперва сесть написать завещание:

... Вот здесь, когда меня не будет...

поставьте памятник новейшего фасона, сделанный на такой-то фабрике... Умереть по милости этого зловещего momento mori[1], которое своим появлением отравило радостную минуту и грозит торчать, судя по двум почти годам, беспрестанно в глазах, нагнать тоску, истомить душу, уморить, пока не догадаешься умереть сам, не сделаешься потребителем изделий фабрики или заблаговременно не закажешь себе монумента в новейшем вкусе! Умереть во цвете лет, не дочитав всех публикаций, не посмотрев ни одной вывески!

Так назло, не хочу же, не стану умирать, не поддамся никакой фабрике, хоть распубликуйся она: у меня в руках «Истинный способ быть богатым, веселым, счастливым, здоровым и долговечным»; несомненная польза этого сокровища доказывается *третьим* изданием. Куплю его и буду застрахован от всех бед и напастей, в том числе и от фабрики надгробных памятников. Мало того, обзаведусь всем, что может содействовать успешному осуществлению драгоценного «Способа». Разумеется, что потребуется прежде всего: «Копите злато, злато до конца...» Вот «Искусство наживать деньги», сочинение Ротшильда, денежного царя, а такой сочинитель уже, верно, не обманет. Стоит всего три гривенника. Хорошо; куплю я «Искусство», разбогатею, заживу пан-паном, все будет покорно моей воле,— и

---

[1] Помни о смерти *(лат.)* — *Ред.*

вдруг влюблюсь, потому что против молнии прекрасных глаз бессилен всякий «Способ»; влюблюсь и не буду любим взаимно; золото мое и сердце отвергнут, над вздохом улыбнутся, клятвам не поверят. Лишусь я сна и пищи, исхудаю, как скелет, и снова буду близок к надгробной фабрике. Что делать тогда?.. О добрая публикация! опять выручаешь ты несчастливца, и с сладостным трепетом сердца читаются следующие строки: «Нет более несчастья в любви, или истинный и вернейший ключ к женскому сердцу, искусство нравиться женщинам, основанное на изучении женской натуры и примененное к духу нашего века». Книга петербургского изделия, цена полтинник, а с пересылкой во все города Российской империи три четвертака. Покупаю этот алмаз любви, и, как говорили в старину, самая неприступная крепость женского сердца спускает предо мною флаг. Будущей супруге своей, вместо свадебной корзинки, дарю «Искусство быть всегда любимою своим мужем», «Секреты дамского туалета», «Лучшее приданое для молодых девиц, желающих быть счастливыми в супружестве»; сам запасаюсь «Супружескою грамматикою, посредством которой каждый муж может довести свою жену до той степени, чтобы она была ниже травы, тише воды»,— и женюсь в полной уверенности, что буду наслаждаться супружеским счастьем, благодаря и вспоминая бумагопрядильную литературу.

Но не всякий выберет себе такую блистательную долю. Иной пожелает довольствоваться скромною умеренностью, провести свой век тихо, не беспокоя никого и не мешаясь ни во что. Хорошо. Да будет по его желанию. Год за годом, и вот придет к нему старость-не радость и приведет с собой ватагу немощей. Лечиться скучно, расстаться с жизнью жаль. Что же делать в таком случае? Стоит только купить «Домашнего врача» (если лечебник Енгалычева* уже потерял свой давний авторитет), посоветоваться с «Новейшим и вернейшим способом лечить *все* болезни смесью французской водки с солью»— и здоровье восстановится заново, в самом прочном виде. Это универсальные средства против всех болезней; а специальных и не оберешься: «Нет более геморроя»; «Лечение от запоя и пьянства»; «Трактат о болезнях волос»; «Симпатическое средство против сердечных болезней»... да всех и не сочтешь. Словом, перечитывая публикации, не надивишься, как скоро бумагопрядильная литература вникла во все подробности страждущего человечества, озаботилась о малейших его нуждах, а во многом перещеголяла заморскую свою учительницу. Случится кому выжить из ума, ошалеть,— купи «Искусство сохранять память и приобретать ее, потерявши, не обман, а истину»,— и ума прибудет палата; бегает какой-нибудь современный человек от долгов, пусть купит «Искусство не платить их», и кредиторы завоют; один бережливый человек желает сократить свои расходы, немаловажную статью в которых составляют счеты сапожника: пусть он пожертвует двугривенным на «Секрет носить сапоги и всякую обувь, не изнашивая»,—и сапожный цех обанкрутится; выдумает он, то есть этот бережливый человек, лично, своею особою, заменить кухарку,— к его услугам «Русская поваренная книга, составленная *обществом* хозяек, под дирекциею знаменитого Яра»*, захочет он

обойтись без цирюльника — вот «Способ бриться без бритвы, мыла и воды»; придет кому охота посмеяться над готовым остроумием — извольте разориться на «Зубоскала. Анекдоты всех веков и народов. Приятного и веселого собеседника», — и хохочите до упаду.

Бумагопрядильная литература составляет «Надежных управляющих, которые удесятеряют доходы с имений»; выращивает крыловскую спаржу; преподает «Курс светских приличий»; сводит мозоли и бородавки; истребляет клопов и разных насекомых; изобретает новые печи, требующие вдвое менее дров; приготовляет блистательную ваксу, лучшую горчицу; отбивает хлеб у Боско*, обнародывая его фокусы; делает солод без сушильни, сахар без заводов; топит сало без котлов; гадает на картах, кофе и бобах — делает все, что угодно публике, только себя не дает провести на бобах. Лишь бы придумано было заманчивое заглавие ее изделиям да написана ловкая публикация — и хлопотать более не о чем: земля русская велика и обильна, прокормит не одну тысячу дармоедов...

Мастерица бумагопрядильная литература составлять публикации; но и другие промышленности мало уступают ей в благородном стремлении завлекать публику. Послушайте:

«Не нужно нам более сальных свеч! Их могут теперь заменить такие-то...»

«NN et C°, портные (Marchands-tailleurs[1]) из Парижа. Большой *ассортимент* готового платья. Заказы, исполняемые в 24 часа (не на живую ли нитку?). *Экспедиции* (!!!) во все губернии. Они *ангажируют* публику не оставить их своим вниманием...»

«Смерть клопам, тараканам и прочим нарушителям спокойствия мирного крова человека! Нижеподписавшийся ручается своею честью...»

«Правда красильного искусства, Nec plus ultra[2] совершенства: старые платья, без распарывания, чистятся и красятся заново в 24 часа...»

«Где вы обедаете, мой почтеннейший, что отрастили себе такую благостыню?» — спрашивает господин-спичка у господина, весьма упитанного жизненною полнотою (как видно на политипаже, помещенном в заголовке объявления от одной гостиницы, под которым напечатан этот разговор).— «Постоянно там-то. Чистота, аккуратность, ловкость прислуги, умеренность цен, *гастрономический* шик на всех блюдах — вот *девиз* этого заведения, единственного в своем роде...»

Впрочем, русский человек иногда пересолит, занесет такую небылицу в лицах, что сейчас скажешь ему: «Нет, брат, не наторел ты еще в надувательной системе». Зато залетные к нам гости, для которых Московия — обетованная страна, кипящая рублями и простофилями (bonhomme),— они тогда только попадают впросак, если какой-нибудь злой дух натолкнет их на мысль перевести свое

---

[1] Буквально: торговцы-портные (*фр.*). — *Ред.*

[2] До последней степени (*лат.*). — *Ред.*

широковещательное annonce[1] по-русски. Но на родном их диалекте, на этом конфетном языке, на котором чем больше слов, тем меньше дела,— здесь все шито да крыто. Немец занимается по большей части чернорабочими ремеслами, где дело говорит само за себя; притом солидная наружность и многозначительные: ja, ja, so, so[2] — подымают его по крайней мере на десять процентов. Публикации здесь редко требуются; и француз жить без них не может, и дело у него не будет клеиться, и сам он затрется в толпе грошевых промышленников. Великолепная обстановка, бросающая пыль в глаза, размашистое, высокопарное объявление — вот что подымает его в гору, вот на чем выезжает он, первый в свете краснобай и непременно артист какой-нибудь профессии — хоть ножниц или щипцов. «Messieurs et mesdammes[3],— говорит он поучительным тоном, как с кафедры, обращаясь к нам, северным варварам,— до сих пор волосочесательное искусство в России находилось на самой низкой степени, нисколько не соответствующей прогрессу других частей цивилизации. Им занимались большею частью ремесленники, не чувствовавшие в себе никакого призвания к этому артистическому занятию. Надобно родиться куафером[4]. Посвятив всю жизнь свою шевелюре, я нарочно покинул Париж, где находился членом одного из знаменитейших волосочесальных заведений, переплыл моря и явился в эту столицу с пламенным желанием принять на себя попечение о ваших головах и головках. Могу смело сказать, что я обладаю всеми сокровеннейшими тайнами куаферии, и успехи мои по этой части не оставляют желать ничего более. Кому не известно, что прикосновение артистического гребня решает участь головки, дебютирующей в свете, а мастерски приколотый цветок или грациозный локон определяет число побед на бале! Для человека хорошего тона прическа то же, что оружие для воина. С этой целью я открыл роскошно комфортабельный зал для стрижки и завивки волос, в котором находятся особые апартаменты для дам. Здесь имеется все, что может удовлетворить самому прихотливому вкусу: большой запас настоящих французских волос, превосходный ассортимент готовых кос, париков, накладок, буклей, бандо*, торсад*, лучшие парфюмерии, косметики, феноменальная вода, окрашивающая волосы в одну минуту, и проч., словом, все, что принадлежит до моего искусства. Надеюсь, что публика...» и т. д. Надейтесь, г. профессор гребенки, надейтесь; а мы на домашнем совете вздумаем думу крепкую: куда же девалась шелковая коса души-красной девицы, перевитая лентами, пересыпанная жемчугом? кто обрезал кудри русые добра-молодца? — подумаем, вздохнем да и пойдем стричься под приезжую гребенку á la что-нибудь, пожалуй хоть à la Russe, если скажут нам, что Париж удостоил издать такую моду.

---

[1] Обьявление *(фр.)*. — *Ред.*
[2] Да, да, так, так *(нем.)*. — *Ред.*
[3] Господа и дамы *(фр.)*. — *Ред.*
[4] Кауфер *(фр.* coiffeur) — парикмахер. — *Ред.*

Стоит еще заметить в публикациях различные прилагательные, какими сопровождается слово *продажа*: продают — за отъездом, за излишеством, по ненадобности, по обстоятельствам, по нужде... Сметливые покупщики соображают по этим эпитетам план приступа и ход дела: нужда человеку, воспользуйся ею, прижми его и несколькими удачными покупками составь себе славу умного человека. Впрочем, и продавцы не всегда промах, и слова: обстоятельства, нужда, отъезд — нередко одна приманка, на которую идет крупная рыба.

Вообще, известное выражение «дешево и сердито» искушает не одного добропорядочного человека, и, пользуясь этим невинным желанием, многие магазины назначают, кроме громкой Фоминой недели*, еще несколько недель в году для продажи «по самым дешевым ценам»; иные вдруг объявят, что спешат распродать *ассортимент* таких-то товаров «с необыкновенною, неслыханною уступкою», да и публикуют это добрый год, к удовольствию расчетливых покупателей и к пользе своего кармана. А один книгопродавец, которому досадно было видеть, как хватают барыши Ножевая линия с Панским рядом в Фомину неделю, объявил, что у него продаются *литературные остатки!!!*

Но не все же одни пуфы (по-русски — надуванья) встречаются в публикациях. Много в них вызывающего не одну насмешку; есть в них и горе и тайны, скрытые под формы букв: говорят они и мысли, лишь надо читать их.

С толком, с чувством, с расстановкой*.

«Одинокий пожилой человек ищет места управителя в надежде заслужить себе вечный приют усердием и честностью. Спросить там-то. Тут же продается канарейка, которая дерется на руке и поет». И вот представляется бедная комнатка-уголок в глухом переулке, в старом деревянном домике; убранство ее — ветхий стол, давно приговоренный к сожжению, стул без задка да матрас с чемоданом вместо подушки. Здесь, на хлебах у какой-то вдовы, приютился в ожидании места объявитель. Издалека притащился он в надежде основаться и дожить свой век в столице. Ни родных, ни знакомых — нет у него никого в огромном городе; был, правда, один сослуживец-однокашник, да он живет теперь в таких палатах, что и подойти страшно; верзила-швейцар стоит у дверей, докладывает по выбору, а на пришельца и не взглянул. Потолкался кое-куда будущий управитель — везде один ответ: «Подождите». Ждет он и месяц, и два, и полгода, перебиваясь со дня на день последними крохами; наконец, и крохи под исход, и продавать более нечего, разве единственный заслуженный фрак. Хозяйка отдыха не дает: «Когда же, батюшка, разбогатеешь ты деньжонками? Сама, вдова горькая, бьюсь, как рыба о лед». «Дай напечатаю в газетах, авось, будет толк, навернется, может быть, какой приезжий помещик»,— думает бедняга и отдает трудовой четвертак за скромную публикацию. Но если кому и нужен управляющий, кто поедет в такую даль? А когда и завернет случайно наемщик, не сойдутся: не учился, дескать, рациональному хозяйству, осанки управительской не имеет, смирен больно,

не сумеет прикрикнуть как должно, распечь кого следует... И опять тягостные дни бесплодного ожидания, опять пуще прежнего пристает хозяйка, грозит жаловаться... «Делать нечего, продам Анночку»,— решается бездольный управитель; а Анночка — канарейка, вскормленная и обученная им в счастливые годы. Привез с собою желтобокую певунью и век бы не расстался с нею, да нужда, авось, дадут на редкость рублей двадцать... Новая публикация, новое мучительное ожидание... Кого-то бог пошлет — покупщика или наемщика? «Ну, Анночка, прыгни, голубочка, на руку, запой в последний раз бриллиантовой флейтой с раскатами... Ох, нет, ни за что не расстанусь с тобой!»

«Гувернантка, знающая языки, французский, немецкий, и музыку, желает поступить к малолетним детям в самую дальнюю губернию». Почему же в самую дальнюю, в глушь, в Саратов, в Оренбург? Почему не здесь, в столице или в ближней губернии? Не высказывается ли тут желание унести далеко от суетной, шумной жизни, от любопытных взоров, от людских пересудов следы душевного горя, неизлечимой сердечной раны,— и среди новых впечатлений однообразного, скромного быта заглушить в себе грустные воспоминания? Кто знает! Чужая душа, что лес, темна.

«Проездом от Арбатских ворот под Девичье потерян старинный кинжал с простой деревянной рукояткой; доставивший его по адресу получит такую-то награду». Это что значит? Потерял антикварий, возивший показывать другому любителю старины свое приобретение, стоившее ему немалых хлопот; поднял потерю уличный мальчишка и, рассмотрев, что ножик крепкий, усердно отточил его на камне и определил исправлять какую-то домашнюю службу. Мигом разнесла публикация весть о дорогой для древно-любителя потере; но, увы! мальчишка не читает газет и ценит свою находку не на вес золота, которое мог бы получить от хозяина вещи, а дешевле обыкновенного ножа, потому что у этого последнего ручка-то костяная!.. А между тем бедный антикварий не знает себе спокойного часа; чуть стукнули в дверь — кто? не кинжал ли принесли? Займется делом — мысли бегут за мечтами, в строках мерещится узорчатая рукоятка с надписью, объяснение которой доставило ему столько удовольствий; забудется сном — сердце не на месте, и тревожная дума пробуждает ежеминутно.

Потеря другого рода — и другая сторона медали. «На маскараде в Большом театре обронено золотое кольцо, с медальоном из волос, на котором вырезаны литеры Н. И. 18..». Здесь как гадать? Действительно ли волею злой судьбы потерян сердечный *сувенир* или какое-нибудь остроглазое домино похитило его с согласия владельца за ужином tête-à-tête? Сожалеет ли потерявший об утрате, или с приятным чувством вспоминает о милой болтовне, которой предшествовало похищение кольца, и только для формы, для успокоения особы, с которой связало его кольцо лет пять тому, публикует во всеобщее известие о сомнительной потере? За неимением фактов решить трудно.

«Отставной унтер-офицер желает быть дядькой или смотрителем за домом; он же может быть камердинером, дворецким и поваром; знает мастерства: сапожное, башмачное и портное». Нет никакого сомнения, это суворовский чудо-богатырь. Бил он турок и поляков, в Париже пировал, под Варною стоял,— а теперь, уволенный вчистую, не хочет да и не может жить без дела: со скуки пропадешь. Нет нужды, что на плечах он носит за шестьдесят: любого двадцатилетнего парня заткнет за пояс. Прошел он сквозь огонь и воду, едал хлеб не из семи печей,— так ему всякая должность знакома, как свои пять пальцев, ничего из рук не вывалится. И малюток он будет нянчить, и за подростками присматривать, и взрослым прислуживать, и кушанье какое угодно состряпает, и платье заново поставит. Не упускайте же такого клада, благо сам в руки дается; а ты, храбрец-кавалер, здравствуй на многие лета!

«Душеприказчики покойного *NN* (по слухам — миллионера) сим вызывают, по неизвестности местопребывания, единственного его наследника (такого-то), в установленный законом срок, для вступления во владение завещанными ему благоприобретенными капиталами покойного». Итак, оказывается, что богатые дядюшки существуют не в одних романах. Где-то и как застанет счастливца нежданная весть? Может быть, под железным гнетом обстоятельств, в долгу как в шелку; может быть, у него не найдется и рубля, чтобы угостить первого, кто, как живой водою, вспрыснет его этим известием,— у него, который через сутки, отуманенный волшебным превращением, не будет знать, что делать с своим богатством!

Но ведь это одни мечты, работа воображения,— заметит иной положительный человек. Спорить не буду; а если угодно вам положительности, потрудитесь прочесть заключительную нашу публикацию: «Отдаются под верные залоги от 30 до 50 тысяч рублей серебром». Кажется, увесистее нельзя и требовать, даром что напечатано неказисто. Скорее же, скорее все, владеющие верными залогами, садитесь — не на ковер-самолет, изгнанный из употребления, а на паровоз — и спешите по адресу, пока не упредили вас.

Паровоз — эмблема нашего *парового* века, требующего, чтобы всякий мало-мальски разумный человек хоть бы рысцою, да бежал и успевал за его семимильными шагами, под опасением, в случае обыкновенной ходьбы, прослыть отсталым от века,— паровоз, и ты попал в публикацию: «Магазин *под знаком* паровоза»*. Что ж это такое? Да ничего более, как вывеска, изображающая паровоз, который мчит на себе колесную мазь, чернила, лошадиные лекарства да бритвы с ремнями, потому что эти предметы, вероятно, выражающие дух века, продаются в означенном магазине.

Следовательно, вывеска — это указатель, способствующий к отысканию какого-либо предмета, и название свое получила от того, что вывешивается. Это ясно и не требует никаких филологических изысканий. Публикация — указатель временный, вывеска — постоянный. В древности всякий, занимавшийся какою-нибудь промышленностью, вывешивал признак, по которому легко было бы найти его без расспросов. С распространением образованности обы-

чай этот, по многим причинам, оказался неудобным, слово заменило дело, и возникла новая отрасль живописи — вывескописание. Впрочем, следы древнего обычая сохранились местами еще и доныне; обручник вывешивает над своею лавочкою-мастерскою связку обручей; местопребывание стекольщика означается неказистой рамкой из разноцветных стекол, иногда с изображением долота; лавку шорника указывает висящий на дверях хомут или дуга; на притолоке у дышащего паром окна калачника торчат «крупичаты-горячи». Но скоро-скоро эти незатейливые приметы уступят место вывескам, и скоро все будет вывеска...

Постепенное усовершенствование этих последних можно видеть и в настощее время; но скромные остатки старины как-то совестятся стоять рядом с надутыми произведениями современности, и почтенная, изъеденная временем наружность их боится сравнения с блестящей золотом и разными узорочьями, видной на всю улицу. «Ваеннай и партикулярный партъной Иван Федаравъ» — прячется подальше от «Marchand — tailleur de Paris[1]»; «Авошенная лафка» живет в захолустье от «Магазина колониальных товаров»; «Перукмахер и фершельных дел мастер, он же отворяет жильную, баночную и піявочную кровь», изобразивший важнейшие моменты своей деятельности на вывеске, украшенной кавалером с дамою, не смеет приютиться рядом с великолепным «Salon pour la coupe de cheveux ; «Въхот взаведения растеряцыю» устроен на почтительном расстоянии от «Hôtel de Dresden»,[3] смиренная домашняя вывеска — лоскуток бумаги, возвещающая, что «Всем доме отдаетца каморка», краснеет, глядя через улицу на затейливую дощечку с надписью: «Chambres garnies à louer...»[4].

Антикварию городской жизни любопытно будет заняться исследованием стародавних вывесок; «блюстителю русского языка» может прийти охота побалагурить насчет их ссоры с грамматикою, но нам решительно некогда: животрепещущая современность раскидывается перед нами такой великолепной картиной, поражает столькими диковинами, что нет никакой возможности устоять против ее обольщений.

Кузнецкий мост, Тверская, Никольская, Ильинка — какое зрелище пред очи представляете вы? Домище на домине, дверь на двери, окно на окне,— и все это, от низу до верху, усеяно вывесками, покрыто ими, как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным кренделем; окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полпуда весом присоединился бок о бок с исполинскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бовы-королевича, и перчаткою, в которую влезет дюжина рук; виноградная гроздь красноречиво довершает эффект — «Торговля российских и иностранных вин, рому и водок».

---

[1] Портной из Парижа *(фр.). — Ред.*

[2] Салон для стрижки волос *(фр.). — Ред.*

[3] Гостиница Дрезден *(фр.) — Ред.*

[4] Сдаются меблированные комнаты *(фр.).* — Ред.

Это вывески натуральные, осязательно представляющие предметы; а вот богатая коллекция вывесок-картин: узкоглазые жители Срединного царства* красуются на дверях чайного магазина; чернокожие индийцы грациозно покуривают сигары при входе в продажу табака, а над ними длинноусый турок, поджав ноги, тянет наслаждение кейфа из огромного кальяна; пышные платья и восхитительные наколки обозначают местопребывание парижской модистки; процесс бритья и пускания крови представляет разительный адрес цирюльни; различные группы изящно костюмированных кавалеров образуют из себя фамилию знаменитости портного дела; ряд бутылок, из которых бьет фонтан пенистого напитка, с надписью «эко пиво!» приглашает к себе жаждущих прохлады; Везувий в полном разгаре извержения коптит колбасы; конфеты и разные сласти сыплются из рога изобилия в руки малюток, а летящая слава трубит известность кондитерской; ярославец на отлете несет поднос с чайным прибором; любители гимнастики упражняют свои силы в катании шаров по зеленому полю...

Но что ж тут удивительного? Товар лицом продается, а публика, хоть и почтенная особа, однако любит разные приманки. Все это тешит взор, а сердца ничуть не шевелит: надписи, надписи — вот отчего оно бьется сильнее обыкновенного. Какой прогресс, какое быстрое развитие, какая скороспелость!.. Смотришь — и не верится, начнешь думать — и мысли врозь от радости. Русский дух насолил не одному порядочному человеку, а здесь его и видом не видать, и слыхом не слыхать, и баба-яга может разъезжать безбоязненно во все четыре стороны. Париж, настоящий Париж, то есть, разумеется, самый заманчивый уголок его, в футляре и за стеклом, чтобы наш северный мороз не пошутил с залетным гостем... A la mode di jour, au pauvre diable, à la cocuette, à la renommée, à la confiance, à la locomotive, au Rocher de Gancale, à la ville de Paris, à la ville de Lyon, à la ville de Moscou...[1]

Позвольте, как же это *Москва* попала в Моску́, а из златоглавой первопрестольной *столицы-матушки* сделалась виллой? Да так! Век приказал, а кто смеет спорить с веком: поневоле нарядишься в маскарад...

Мало ли чего не знала и о чем не воображала добрая старушка прежде! Были у ней, например, просто лавки да ряды, что ломились под товарами; прошло не много не мало лет — и магазины затерли лавки чуть не в грязь; минуло еще годков десять — приехали *депо*, и теперь, куда ни погляди, везде депо: у хлебника депо печенья, у табачника *главное* депо сигар, у помадчика депо благовонных товаров, здесь депо пиявок, там депо дамских кос... потом пожаловали пассажи, галереи, маленькие базары и à la, которые, по-видимому, имеют волшебную силу притягивать к себе русские кошельки и опорожнять их á la так или сяк. Прежде, например,

---

[1] «Последние моды» — «Дешево» — «Кокет» — «Репутация» — «Доверие» — «Двигатель» — «Скала Канкаль» — «город Париж» — «город Лион» — «город Москва»...— *Ред.*

один русский человек, портной по профессии, Иван по имени, Иванов по отчеству, вздумал написать на своей вывеске, что он «из немцев», вздумал единственно потому, что немцам на Руси шибко везло,— написал и сел у моря ждать погоды. Куда! не тут-то было: земляки подняли такую тревогу, такой хохот, что чуть не сжили бедняка со свету. А потом, лет через двадцать появились frères Kousmin, frères Panteleef, Wolkof père et fils, Williamson Koubasoff[1] (в паспорте значится: Василий Васильев из Коломны), Егор обратился в Жоржа, Федор в Теодора, — и ничего, все с рук сошло, и теперь еще сходит, потому что «нам без немцев нет спасенья»*, и смесь французского с нижегородским долго еще будет теснить смиренный русский язык... прежде, например, Москва в простоте сердца верила, что запрос в карман не лезет и что если изба красна углами, то и лавка хороша не зеркальными окнами, не лаковыми шкафами, не в барашки завитым commis[2] и не вертлявою dame du comptoir[3]. Вдруг подул ветер с полуночи*, и все перекувырнулось вверх ногами, и русский человек, особенно бородка, сделался таким плутом, что без обману и часу не проживет, и торговаться стало стыдно, mauvais ton[4] и в лавках наступили холод с темнотою, и сидельцы разжалованы были в неучи. Prix-courant, prix-fixe[5] — как магнит, потянули к себе покупателей, и добрые люди, не морщась, приплачивали по пятидесяти процентов и за комфорт магазина, и за галантерейное обхождение commis и за улыбочки конторщицы: дорого, дескать, да мило. Счет всегда круглый, рубли да рубли en argent[6], и удивительно, как округляет карман. К счастью, снова проглянуло солнышко и разогнало туман, застлавший было всем глаза. Перекрестился русский человек, нанял целый дом, разубрал его как следует, битком набил товарами собственных своих трудов, обозначил скромной надписью: «Русские изделия»* — и заторговал на славу. Десятки тысяч рублей оборачиваются здесь ежедневно, сотни тысяч переходят из рук в руки в других местах, где дело делается по-русски, не в затейливом магазине, а просто в лавке, в полутемной палатке, не обозначенной даже и вывескою. И если покупателю нужны не bijoux, не parfumerie с galanterie и не bonbon'ы[7] да разные вздоры, он может смело, с полным доверием к старинному «праву-слову», обратиться к земляку, помня, однако, что на грех мудреца нет, и в семье не без урода.

«Но вкус,— слышатся возражения,— вкус: кто даст нам его? Ведь мы и с заграницею торгуем одними сырыми, грубыми произведениями: салом, кожами, пенькою!» О вкусах никто и не спорит, господа. Законодательство по этой части, издание мод, острот, лю-

---

[1] Братья Кузьмины, братья Пантелеевы, Волков отец и сын, Вильям сын Кубасов (фр.) — *Ред.*

[2] Продавец *(фр.)*. — *Ред.*

[3] Продавщица *(фр.)* — *Ред.*

[4] Дурной тон *(фр.)*. — *Ред.*

[5] Прейскурант, твердая цена *(фр.)*.— *Ред.*

[6] Серебром *(фр.)*. — *Ред.*

[7] Ювелирные украшения; парфюмерия; галантерея: конфеты *(фр.)*. — *Ред.*

безностей, болтовни и всяких вздоров пусть и остается, по праву давности, за великой нацией. Например, касательно одежды — пусть они одевают нас, лишь бы в лапти не обули; пусть чистят наши перчатки, лишь бы вовсе нас не обчистили; касательно волос — пускай привозят сюда французские, лишь бы наши при нас остались; касательно болтовни — пускай тешатся сколько душе угодно, только бы не нам пришлось платить за чужие грехи, и прочее и прочее, и так далее.

Впрочем, это дело уже решенное, и отставные учителя наши давно пользуются своими преимуществами безданно, беспошлинно.

Вон — длинный ряд вывесок, возвещающих место жительства разных артистов по части гребенки, иголки, шила и ножниц: это все знаменитости. Такой-то, одна фамилия, без всяких атрибутов ремесла,— и фамилия эта гремит. Мало того: если Пьер был знаменит, то и Жан, называя себя его successeur[1], пользуется такою же известностью, если основатель магазина нажил своей профессией дом, то его преемник питает надежду нажить два...

Может быть, надоело глазеть на мертвые вывески — так смотрите на живые, на ходячие: не одна Москва — весь свет полон ими.

САМОВАР

I

Кипит медный богатырь; полымем пышет его гневное жерло; клубом клубится из него пар; белым ключом бьет и клокочет бурливая вода...

Близко наслаждение; готов душистый чай. Какой вкус, какой запах: что пей, то хочется! Чашка за чашкой, и вот мало-помалу во всем существе, по всем жилкам и суставчикам, разливается неизъяснимое самодовольствие; тепло становится жить на свете, легко и весело на сердце; ни забота, ни печаль не смеют подступить к тебе в эти блаженные минуты... Хорошо. Тихая лень обаяет душу и тело, все чувства в бессрочном отпуску; хлопотливому уму-разуму отдых, игривому рою мечтаний полная воля... Приходят и сумерки, задумчивые зимние сумерки. Кругом тишь и темь; сидишь в каком-то полузабытьи, дремать не дремлешь, а похоже на то. В легких облаках вьющегося пара вереницей мелькают фантастические лица; воображение уносится за тридевять земель, точно в пору детства, когда засыпаешь, бывало, под сказки бабушки и летишь раздольною думою в тот волшебный мир, где живут Иван-царевичи с жар-птицами, бабы-яги да мужички с ноготок, борода с локоток...

---

[1] Преемник *(фр.)* — *Ред.*

Вот и самовар заводит обычную свою песню на разные голоса. То затянет ее дребезжащим голоском подгулявшего старика, то хватит пронзительного дисканта, то возьмет мягкого тенора, из него возвысится до громкого basso-cantante[1] и вдруг спустится в певучее mezzo-soprano[2], замолкнет на минутку, как будто раздумывая о чем-то, и зальется опять звонкой песней, то радостной, то заунывной. Какой же смысл таится в ней? Ведь не на одну забаву себе и хозяину надрываешь ты грудь, шумишь и гудишь во всю мочь! Что-нибудь недаром. Давно мы знакомы с тобой, часто прислушиваюсь я к твоему загадочному пенью; иногда, кажется, нахожу ключ к нему; неопределенные звуки облекаются в слово, в мысль — и вдруг обрывается путеводная нить, и опять слышатся одни неясные вариации на непонятную тему...

Попробуем еще раз. Запой, сделай милость...

А! Так. Плачешься ты на судьбу, вспоминая старину: славное было время — и люди были долговечнее, и посуда крепче. Все делалось особого, крепкого закала, не хрупело от какого-нибудь ничтожного толчка, не знало износу и храбро сопротивлялось губительному времени. Что за вековечная была прочность! Медь была увесистая, такая, что из одной вещи вышло бы пяток современных; серебро — все было настоящее, высокой пробы, широкого размера, никак не голь накладная, или самозванец нейзильбер*; бронза добротностию и красою мало уступала золоту; камень дорогой — настоящий самоцвет, не шутовское imitation de diamants[3], изобретенное веком, который хочет рожь на обухе молотить и зерна не уронить. Да. Служили вы отцу, заново переходили к сыну, и внук получал дедовское наследие и бережно хранил его, как родовую святыню, зная, что не на прах и не на час собиралось оно, а скоплялось пóтом и бережливостию, заготовлялось впрок и на век, с мыслию о нем, еще не родившемся потомке. Привольно было обжиться в одной семье, весело было служить признательному человеку. Теперь как в воду кануло это золотое время. Разлюбил человек воспоминания, отрекся от старины и, закалив свое сердце в броню из металлов, бежит вперед без оглядки, точно вырос он в парнике, а не на почве, увлажненной слезами и кровью нескольких поколений. До вас ли, стариков, ему, занятому исключительно одним собой, своими нуждами и выгодами? На что ему дедовские кубки, братины, столетние кресла, фамильные портреты, вековые пергаменты? Одно он переплавил в хрупкие столовые приборы, другое продал менялам, заложил ростовщику, третье валяется в кладовой, обреченное тленью и в добычу мышам... Если самого себя меняет он на неделе семь раз, то какого же постоянства ждать от ветреника в отношении к самоварам! Вот и ты, того и гляди, попадешь под опалу, забудется долговременная твоя служба, и продадут тебя в лом — не за порок какой-нибудь, а единственно за то, что старомодного ты фасона, отстал от века. Пройдут года, и никто не вспомнит о те-

---

[1] Бас-кантате *(ит.)*.— *Ред.*
[2] Меццо-сопрано *(ит.)* — *Ред.*
[3] Подделка под бриллианты *(фр.)*. — *Ред.*

бе, никто не скажет, что был такой-то самовар, который столько-то лет грел воду для наслаждения и утешения человечества! Грустно... На каком же основании создалась жизнь *зонтика*? Как смели *калоши* иметь свою историю? Кто позволил вести путевые впечатления *зайцу?* Откуда взялись приключения *булавки, червонца, синей ассигнации?* Да, словом, редко у какого из предметов, ничуть не полезнее, не заслуженнее тебя, не было своей биографии, своего историка. За что же ты один подвергаешься несправедливому забвению? За какую провинность обижает тебя судьба-мачеха? Бедный самовар!..

Чу! радостно загудел ты, давая знать, что поняты твои жалобы. Начнем же скорее, пока не простыл в тебе жизненный пыл, повествование о твоей кипучей жизни, соберем в одно все отрывки ее, что слышались и виделись мне под твой говор в длинные одинокие вечера.

Вышел ты на свет в городе, где по части металлических изделий — чего хочешь, того и просишь. Это свидетельствует старинная надпись, кудрявым почерком вырезанная на ободочке твоей крышки: *«василей, Иванъ Ломовы в туле».* Недолго пробыл ты на родине, и как пришла пора, хозяева повезли тебя к Макарью*, вместе с многочисленною артелью разных самоваров и всякой медной посуды. Поехал тут самовар-будан в три ведра объемом, председатель вечеров с наемными кондитерами и загородных трактиров-палаток; поехал и самовар-крошка в десять чашек величиною, отрада холостяков; приютились и дорожный складной, и десятки семейных самоваров разной вместимости; кастрюлям, чайникам, подсвечникам не было счета. Приехали вы на всесветное торжище, покрасовались в лавке недели две и разошлись по разным концам земли русской, кто куда. Тебя привела судьба жить в Рязани, в Солдатской слободке. Хозяин твой — пожилой чиновник какого-то суда, богат лишь одними детьми да заботами. Уже давно собирался он обзавестись самоваром, и жена сколько раз говорила: «Когда же мы, Егор Афанасьевич, перестанем греть воду для чаю в горшке? Хоть бы постыдились добрых людей!» — да на всякое хотение было терпение, и, не явись неожиданно наградные деньги, пришлось бы еще не один год довольствоваться горшочком. Зато уж и было радости, когда привезли тебя в трехоконный с зелеными ставнями домик новых твоих хозяев! Настоящий годовой праздник, особенно для детей, которые не могли наглядеться на твою светлую, как стекло, наружность, на узорочную конфорку, на хитрый кран, хлопали ручонками, кричали, бегали,— так что, благодаря их возгласам, почти весь околоток мигом узнал, что Егор Афанасьевич купил самовар, и не одна домовитая хозяйка позавидовала такой дорогой в то время вещи. А радостная семья, как водится, тотчас принялась обновлять покупку, и для этого важного случая устроена была надлежащая закуска и приглашено несколько говорливых соседок. Вот запылали уголья, зашумела вода, пошло диковинное бурчанье — ну, честь имеем поздравить: поступил ты, самовар, на службу, дана тебе жизнь и душа — служи же на пользу человеку и себе на славу. На первых порах на

новоселье все идет хорошо. Кипя ключом, горя жаром, на столе, покрытом белоснежной скатертью, среди семьи старинных чашек, дружелюбно приклонившись краном к объемистому чайнику, ты составляешь главный предмет разговора, к тебе относятся все похвалы за чай. «Нет никакого сравнения с водою, гретою в горшке!» — слышится со всех сторон, и никто не прочь выпить лишнюю чашку аппетитного напитка; даже маленькому Мише позволяется выкушать более обычной порции.

На следующий день горшок получает первоначальное свое назначение — служить на кухне, самовар вступает во все его права и, разумеется, с честию исполняет свою многотрудную обязанность. Работы вволю. Прежде семья Егора Афанасьевича пила чай изредка, по праздникам, или для гостей, а в будни довольствовалась мятой, бузиной, липовым цветом и другими домашними травами, да и то когда сподручно было согреть воду в горшочке; а как завелась благодетельная машина, то и питье чаю обратилось в привычку, почти в необходимость, тем более, что во всякое время, как только захотелось, можно мигом поставить самовар и усладить свою душу. Пришел кто из знакомых, чем лучше попотчевать его, как не чаем? Заболела у кого-нибудь из малюток голова, понездоровилось самой сожительнице Егора Афанасьевича — на что пользительнее лекарство, как чай? А случалось нередко и так: вечером Егор Афанасьевич придет от должности с огромною связкою бумаг, которые непременно надобно перебелить к следующему утру; мочи нет, как болит у него поясница, и глаза плохо видят ночью; да что ж делать-то: служба! Походит-походит труженик по горенке, побрюзжит на судьбу, на обстоятельства, кстати даст нагоняй кому-нибудь из шалунов-ребятишек да и кончит тем, что скажет жене: «Поставь-ко, матушка Катерина Александровна, самоварчик: авось, будет полегче! Бог не без милости!» И точно, напившись чаю, он перестанет хмуриться, развеселится, от сердца отойдут житейские невзгоды, как рукой снимет нездоровье,— усердно засядет ворчун за дело и просидит за ним, не разгибая спины, пока не осилит срочной работы.

Другу-утешителю человека в горе, другу-собеседнику в радости — самовару особенный почет и любовь ото всех. Занимает он самое видное место в комнате — на комоде; каждую субботу чистится кирпичом с уксусом и, благодаря этой операции, смотрит всегда, как будто сейчас с молотка; случись кому из соседей попросить его на часок, хозяйка дает, но с строгим наказом, чтоб не попортили ее любимца. Только тогда и бывают в семье Егора Афанасьевича недовольные самоваром, когда мать подвергнет крошку-шалуна за провинность чрезвычайному наказанию — остаться без чаю; да и то не более часа продолжается это неудовольствие: материнская нежность отирает детские глазки, и самовар снова делается миленьким, хорошеньким, певунчиком.

Но время-то между тем знать ничего не хочет — ни горя, ни радости, и бежит быстрее воды, что льется через твой кран; день исчезает во дне; год поглощается годом. Прошло немало лет твоей службы у доброй семьи. Два раза успел ты побывать в полуде; врос

в землю, избоченился уютный домик; поседел как лунь и сгорбился Егор Афанасьевич; а Катерины Александровны нельзя и признать с первого взгляда: настоящая старуха. Много горя и мало радостей видела среди себя согласная семья. Детей, кроме двоих, всех бог прибрал; да от этих двоих не скоро можно было ожидать подпоры родительской старости. Миша еще учится в гимназии, а сестра его на возрасте, через год невеста: но кто же возьмет бесприданницу?

Вот и еще минуло года с два. Егор Афанасьевич приказал долго жить. Известно, что хорошие люди и богу надобны; да и по летам-то смерть глядела старику уже через плеча, со дня на день следовало ожидать ее; но как будто вовсе непредвиденным, страшным ударом поразила она осиротелых. Как быть, чем жить? Делать нечего, бросай, Миша, науку, ступай служить, благо начальство помнит старика-отца; а ты, Аннушка, полно гадать о женихах, просиживай ночи за работой; прощай, буренушка, лет десять снабжавшая нас молоком: приходится вести тебя на базар; прощайте и яблочки из своего сада: вас снимет барышник... Но какие средства ни употребляли сироты, чтобы не чувствовать горя горького, не терпеть нужды безотступной,— без головы, без надежной подпоры им было куда как туго, и завтра всегда являлось печальнее сегодня. Редко развлекал самовар тоску своих хозяев; сплошь и рядом случалось, что вместо отрады он приносил с собою новую печаль. Подадут его на стол, закипит он как следует, зальется песнею,— и вдруг старушка вспомнит, что покойник любил этот говор или что весел он был в этот же самый день, столько-то лет тому назад,— вспомнит да и зальется слезами; глядя на нее, заплачут и дети...

Но не одни заботы о насущном пропитании, что тяжким камнем налегали на всю семью, мучили старушку: пуще всего тяготил ее Миша. Каким примерным мальчиком он был в гимназии, как любили его учителя! А поступил на службу — бог знает, что за рассеянность и за небрежность напала на него! То забудет поклониться кому следует; то, переписывая бумагу, вздумает исправлять слог ее; то найдет на него такой *стих*, что сидит пень-пнем целый час да бормочет что-то сквозь зубы. Раз дали ему переписать набело какое-то дело. Миша отличился, переписал ровным, четким почерком, и рука не расходилась у него ни на одну прибавку. Григорий Пантелеевич в первый раз похвалил Мишу и понес бумагу к Петру Федоровичу, Петр Федорович как взглянул, так и ахнул: на последней странице Миша удосужился приписать стихотворение Державина: «Властителям и судиям»*, и прибавил к нему несколько строк собственного своего изделия. Изумление всех сослуживцев нового поэта было чрезвычайное. «Пишет стихи! в эти лета?! Не имея даже классного чина!!!»

Один старый сослуживец покойного Егора Афанасьевича поспешил довести это казусное обстоятельство до сведения матери Миши. «Конечно, матушка,— заключил он, окончив свой рассказ,— сочинительство вещь не глупая; да надобно знать, как потрафить. Бывали примеры, что через сочинительство попадали и в генералы, например господин Сумароков*; да ведь это на редкость. А Ми-

хайле Егоровичу надобно послужить да и послужить; уж если есть у него такая смертная охота сочинять, так пусть напишет стихи на день именин Петра Федоровича: чрез это можно кое-что и выиграть. Так-то-с». Старушку это известие удивило не менее всего служащего люда. Тотчас к Мише. «Что с тобою деется, мой голубчик?» — «Ничего, маменька».— «Какое ничего: а стишки-то откуда берутся, каким манером ты их сочиняешь?» — Мудрено отвечал Миша, и одно только поняла мать, что он хочет учиться, спит и видит ехать в Москву, чтобы удовлетворить своим «высшим потребностям». «Охо-хо ты, мой сердечный,— промолвила мать, покачав головой,— высоко занесешься, упадешь, пожалуй. Помилуй бог как зачитаешься!.. Сем-ко* я поставлю самоварчик?»

Но как неожиданно падали беды в бездольную семью, так внезапно посетило ее и счастье. Свет стоит не без добрых людей, и не всегда с огнем отыскиваются они. К бесприданнице Аннушке присватался жених...

«Свадьба, свадьба!» — раздается на полгорода; «свадьба, свадьба!» — гудит самовар, весело шумя на пировом столе, окруженный роем девушек, воспевающих шелковую косу души-девицы. «Скоро ли свадьба?» — нетерпеливо вторит Миша, горя желанием увидеть осуществление задушевной своей надежды — ехать в Москву, средства для чего обещаны ему от будущего зятя.

Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается: началось оно осенью, а пока тянулись приготовления, шилось приданое, обзаводился жених своим домом, пока миновал медовый месяц,— наступила полная зима.

Памятный день в жизни Миши и в истории самовара! У ворот довольно красивого дома на Дворянской улице стоит тройка рьяных коней, готовая по взмаху кнута лететь за тридевять земель; ямщик обхаживает круг своих соколиков, похлопывая рукавицами, и, несмотря на крепкий мороз, курныкает «Степь саратовскую».

«Скоро ли же выйдут господа?» — спрашивает он у человека, нагружающего кибитку дорожной кладью. «Да еще не совсем собрались»,— отвечает тот. И в самом деле, хотя не один день продолжались сборы к дороге, а все-таки оказывается, что забыли приготовить и то и другое, и если бы укладывать все, что заботливость матери считала необходимым для спокойствия сына, то недостало бы и трех кибиток. Ну, теперь, кажется, все. Остается присесть да помолиться богу. «Ах, ведь совсем из головы вон,— говорит вдруг старушка,— самовар-то и забыли. Уложить его поскорее в один кулек с сапогами».— «Да помилуйте, маменька, на что он мне?» — горячо возражает сын, не чающий как бы выбраться за Московскую заставу. «А где же ты будешь пить чай?» — «Да там, где стану жить».— «На хлебах-то? Нет, дружок, знаю я, каковы наемные квартирки-то: по горнице лишний раз прошел, и за это заплати. То ли дело свой самоварчик: как захотел, так и напился; любо, да и только». И как ни отнекивался Миша, а должен был исполнить желание матери. «Береги же его, сынок,— промолвила она,— это память покойного отца...»

Пошли прощанья, проводы; прослезился Миша, заплакала сестра, ручьем слез разлилась мать... И вот кибитка с дорогими путниками уже скрылась из виду, а она все еще стоит на крыльце, как будто ожидая, не воротятся ли они; вот они уже миновали станцию, а мать все еще стоит на коленях пред образами, моля пречистую, да напутствует своим покровом ее ненаглядное детище...

Миша в Москве. Чудно поражает его этот

Город храмов и палат,
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град...*

Какое разнообразие! Сколько движения, жизни умственной, торговой, промышленной! Какое богатство видов! Сколько следов священной старины и в зданиях, и в обычаях, и в самом языке!.. Удовлетворив первой жажде любопытства, осмотревшись, написав стихи в честь Кремля, Миша горячо принялся за дело... И музы приютились у молодого пришельца: немало написал он элегий, посланий, просто стихов и, наконец, тех литературных игрушек, которые под именем шарад, логогрифов, анаграмм, акростихов потешали публику того времени.

А что делает самовар? Усердно служит, принимает горячее участие в трудах своего хозяина, и часто утренняя заря застает их вместе — одного с книгою или пером в руках, другого — закипающего для освежения сил труженика.

Между товарищами Миши многие также принадлежали к числу поклонников Аполлона, и общая любовь, общие мечты и надежды сблизили их тесною приязнью. Поочередно собирались они друг у друга коротать время. Не нужно, кажется, говорить, что литературные вечера молодежи показались бы странными теперь, когда дети величают себя молодыми людьми, а юноши титулуются мужами. Разумеется, много было заносчивого в суждениях будущих подвижников словесности; увлечение переливалось иногда через край; романтизм напропалую воевал с классицизмом, устойчиво защищавшим свои стародавние права; но все это было как-то уместно, искренне и, во всяком случае, лучше преферанса, ремизов и прочего. Мало проскакивало фейерверочных блесток ума, но достаточно было сердечной теплоты, и простота заменяла хитросплетенные парадоксы. Убеждение не навязывалось, а приходило само собою. Вечера у Миши были особенно шумны, и собеседники нередко просиживали за полночь. Хозяин не скупился на чай — единственное угощенье, какое требовали от него посетители, и расходы на этот предмет щедро вознаграждались довольствием, какое доставляли ему литературные собрания. И самолюбию его было чем удовлетвориться: стихи его почти всегда одобрялись большинством голосов, и один молодой сочлен предложил было издать их в свет на общий счет; но так как печатание требовало денег, которые не часто посещали карманы бессребреников, то решено было, для ознакомления публики с новым талантом, предварительно поместить несколько стихотворений в одном московском журнале. Миша выбрал

заветные свои произведения и послал. С месяц прошло в тревожном ожидании, наконец — о радость, о восторг! «Послание к родине» было напечатано, и еще с лестным примечанием снисходительного редактора.

Несколько дней Миша был сам не свой от полноты чувств, не знал, за что приняться, с кем поделиться своим счастием. Ему казалось, что уже вся Москва читает его стихи, что лишь только покажется он на улице, все обратят на него внимание, заговорят: «Новый поэт, поэт!» Пойдут знакомства, а у него, досада какая, и фрака нет!

Но долго ли носиться в голове юноши розовым мечтам и засыпать ему под их обаянием? Увы! разочарования не замедлили пойти своим чередом...

Началось с того, к чему особенно лежала душа,— с науки. Многое, что думал осилить он одною искреннею любовью, явилось недоступным ему... «Когда так, бог же с ней, с этой наукой,— подумал слабодушный Миша.— К тебе, поэзия святая, к тебе, неизменная подруга сердца, приникну я...»

Действительно, обиженному самолюбию, обманутым надеждам скоро представился случай к удовлетворению. Муж Аннушки рекомендовал молодого поэта одному вельможному покровителю литературы, и Миша поспешил представиться своему будущему меценату. С трепещущим, полным надежд сердцем поднялся он по великолепной лестнице в огромную приемную и робко занял место в длинном ряду просителей. Скоро распахнулись двери кабинета, и вельможа двинулся в путь, где предстояло ему сделать много добра или худа. С тревожным чувством заметил Миша, что он не в духе, расстроен. «Вам что угодно?» — спросил меценат, дошед, наконец, до него. «Ваше превосходительство назначили мне явиться...» — «Зачем?» Молча подал ему юноша «Бессмертие души», плод двух бессонных ночей. Бегло взглянул вельможа на мелко исписанную, точно бисером, тетрадь и, как громом, вдруг поразил поэта вопросом: «А читали ли вы Клопштока*?» Смущенный Миша не знал, что отвечать на такой нежданный экзамен. «Какой же вы поэт, если не читали Клопштока!» — заметил меценат. «Я полагал, что, чувствуя призвание...» — смиренно начал было Миша; но покровитель быстро прервал его новым замечанием: «Да кто же вас призывал?» — и, молвив это, двинулся далее.

Жестоко поражены были этим уроком поэтические наклонности Миши. Как назло, спустя немного, и журналист возвратил тетрадь его стихотворений с коротким замечанием, что не может их напечатать. Как назло, в это же время на горизонте литературных вечеров молодежи взошла новая звезда, несравненно ярче, и затмила собою Мишу. Как назло, и черноокая «душа его души», предмет многих посланий и мадригалов, вышла замуж за какого-то квадратного господина... Сосредоточиться в самом себе, равнодушно перенести и прихоти случая, и ветер людских мнений у бедного поэта недостало сил. Сомнение и тоска сильно закрались ему в душу. Не раз, «почувствовав в себе священный огнь поэзии, призыв на жерт-

ву Аполлону», брался он за перо; но едва начинали забываться дрязги жизни, вдруг, казалось ему, какой-то насмешливый голос шептал над ухом: «А читали ль вы Клопштока?» «А кто вас призывал?» Невольно краснел юноша и в тяжком раздумье бросался на постель, напрасно силясь оживить в себе иссякавший источник вдохновения.

Житейские заботы также круто подступили к Мише. Пришлось самому печься о средствах содержать себя в Москве, потому что муж Аннушки, пособиями которого до сих пор существовал он, умер, не оставив никакого завещания.

День за днем горькая действительность стала все более и более обнажаться из-под пелены, которою завесило было ее воображение, делалась все мрачнее и безнадежнее... «Тяжело... душевные силы истощаются, гаснут; всякий проблеск их мучает, а не животворит: так прочь же их совсем, прочь все, что мешает снизойти до совершенного равнодушия к внутренней жизни. Лучше быть бесчувственным, нежели чувствительным; а если заговорит прежнее, есть средства забыться...» Такие мысли беспрестанно искушали юношу, и забывался он под их тлетворным влиянием, и мало-помалу погрязал в тине прозябательной жизни, с каждым шагом все глубже и глубже.

Три года прошло, как расстался Миша с матерью. Узнает ли она его теперь? Назовет ли своим сыном этого полуюношу, полумужа, с испитым лицом, на которое не труд и не бессонные ночи наложили свою печать,— его, небрежно одетого, с цинической речью и презрительной улыбкой на устах? А если и признает, то не зарыдает ли тяжко и не промолвит ли: «На то ли родила я тебя, милый сынок, чтоб плакаться под старость на твою победную голову!»

По-прежнему собираются у Миши веселые товарищи, но не те, что прежде. Не о поэзии, не о светлых увлечениях молодости ведут они речь, насмешливо называя ребячеством все, что радовало душу в былые дни, а рассказывают анекдоты, при одной мысли о которых краснел, бывало, Миша, щеголяют друг перед другом двусмысленными остротами. Самовар уже заброшен в углу, и на столе вместо него господствует какая-то подозрительная посуда; дым от трубок столбом ходит по комнате, а разливной смех и забубенные песни тревожат сон не одного соседнего дома.

Еще несколько месяцев — и Миша покидает свою квартирку, где знал много счастливых дней; из экономии он переезжает куда-то на хлебы, распродает всю домашнюю утварь, не жалеет даже, как лишнюю вещь, и самовара, с которым, с единственным наследием после отца, обещал никогда не расставаться.

И три года могли так страшно исказить чистого юношу! Да, сильна пошлость, и если раз охватит кого своею губительною сетью, много надо жертв, чтобы отрешиться от нее.

Что будет с Мишею потом, в пору совершенной зрелости? Огрубеет ли он навсегда или дойдет до бога многомогущая материнская молитва, и воротится он в родной город измененным, со следами разрушительного опыта, но все-таки подобием человека, не погибшим безвозвратно?.. О, самовар, самовар!..

II

Везет тебя новый твой хозяин вместе с семгою малосольною, мешком грецких орехов, разною бакалеею и бочонком сантуринского, везет «вдоль по Питерской по дороженьке», без малого за двести верст. Товары нужны ему для мелочной лавочки, ты требуешься для постоялого двора, который содержит он. Ну, не жалуйся теперь, что заглох без дела, пропал со скуки; здесь только успевай кипеть, будь готов на службу во всякий час дня и ночи, не знай отдыха ни летом, ни зимой. Большая дорога; взад и вперед ежеминутно снуют по ней и конные и пешие; и всякий, у кого есть в кармане лишняя гривна, не откажется подкрепить свои силы благодетельным чаем, когда освежиться, когда согреться им. Всегда ты был кстати, добрый самовар; но где взять слова для выражения того, каким другом являлся ты в ненастные дни осени, в бурную вьюгу суровой зимы? Ветер страшно завывает, взметая до небес и крутя столбом снежную пыль; крепчает мороз; не то что дороги — зги не видно сквозь облака снегу; кругом разливанное море метели; ретивые кони выбились из сил; ямщик приуныл; у седока зуб с зубом не сходится, и медвежья шуба прозябла, покрывшись ледяным инеем... Пришел, видно, последний час... «Эх, голубчики, вывозите! — крикнет вдруг Ванюха, завидев желанный огонек,— вон оно, Ермилково-то!» Почуяв ночлег, понатужатся кони и разом примчат ко двору. Слава тебе, господи! Здесь и заговейся, злая вьюга. Ямщику стакан вина, барину живой рукой самовар. И довольно получасовой беседы с тобою, чтоб оживить душу и тело, разогреть кровь и сердце, почувствовать в себе завидный аппетит на плотный ужин, и крепкий позыв на угомонный сон, и силы для дальнейшего пути, сколько бы вьюг там ни предстояло. Но — так проходит слава мира сего и такова людская благодарность: на следующей же станции позабудут тебя; а настает хорошая погода, так не спросят, пожалуй, и самовара, а просто пройдутся по рюмочке.

Вспомни, самовар, кого не согревал ты, каких племен, одежд, лиц, наречий, состояний не приходилось видеть тебе на постоялом дворе!

Вот компанство почтенных владимирцев, которые под именем *ходебщиков и афеней**, с возами, коробами и мешками, гранят по лицу почти всей земли русской. Случайно встретились земляки, неизвестно, приведет ли бог свидеться опять: попьем же, братцы, вместе *бусильнику* (чайку) да погуторим про дела. И пьют они по многому множеству крошечных чашек, пьют «до седьмого яруса поту», крупными каплями выступающего чрез все поры тела; между антрактами расспрашивают друг у друга, каково поживает Тереха, здравствует ли дядя Антип, не обженился ли Семен; наведываются и про торговлю: в ходу ли нынче «Похождения несчастного Никанора»*, и отчего пошел в славу господин *Пушников;* почем покупали кубовую пестрядь, и много ли можно выручить на тульских бритвах.

Только что отпили православные бородки, распростились и пошли в путь *али на конь камурку бусать* (в кабак горелку пить), только что отправился ты на отдых в свой угол,— с громом и треском катит ко двору двухсаженный тарантас, нагруженный смоленским помещиком с дочерью-пансионеркою и прислугою, перинами, ларцами, сундуками, узлами, кардонами и всякою всячиною. «Живей поворачивайся, хозяин, помогай выносить из тарантаса, давай чистую комнату, приготовь свежей воды, разводи огонь, тащи кринку сливок, беги на деревню за земляникой...» — раздаются приказания за приказанием; хозяин смотался с ног, дым идет коромыслом по всему двору. Не любит наш барин ездить налегке и требует, чтобы на стоянке был у него такой же комфорт, как дома. Остановился где, так уж и закусит вплотную, и отдохнет, и на флейте, по драгунской привычке, посвистит, и чаю накушается всласть. Точно так случилось и на этот раз. Вздремнув с часок, барин потребовал, наконец, самовар. Какая белоснежная ручка хлопочет около туляка, какие бархатные глазки видятся в его полированных боках, что за персиковые губки прикасаются к чашке и что за жемчужный смех раздается из них, когда на вопрос: «С чем прикажите, папаша, налить вам чаю — со сливками или из бутылки?» — папаша серьезно ответит: «Я, душечка, с девяносто седьмого году по совету доктора постоянно придерживаюсь ямайского!» Промочив горло двумя стаканами «с подливочкою», барин принялся расспрашивать дворника, как и что он, сколько платит оброка и каковы нынче яровые; но едва вошел в предмет своего разговора, едва начал доказывать, что мужик лентяй-лентяем,— вдруг: динь-динь, залился вблизи колокольчик, все ближе, ближе, вот и коней видно -- ухарская тройка мчится что есть духу, на лбу написано: «по экстренной надобности», пар из ноздрей, брызги пены с боков, клубом пыль из-под копыт... Подлетели ко двору, остановились как вкопанные, с тележки спрыгнул молодцеватый офицер, хозяин со всех ног бросился встречать нового гостя, миловидная разливательница чаю невольно взглянула в семигривенное зеркальце, висевшее на стене, и поправила пелеринку. Все это сделалось скорее, чем глазом мигнуть.

— Чем прикажете просить, ваше высокоблагородие? — слышится за дверью почтительный вопрос хозяина.

— Мне ничего, братец не нужно, кроме лошадей да стакана холодной воды.

Помещик был хлебосол: каково же ему слышать, что его ближний, изнемогающий от жажды, хочет утолить ее водой,— простой водой, когда за два шага кипит благотворная китайская, да вдобавок с ямайским, со сливочками и с разными разностями. Русская натура взяла верх над европейскими приличиями. Оправив халат, домовитый постоялец вышел к проезжему. «Покорно прошу, по-дорожному, без церемоний: не угодно ли выкушать со мной стакан чаю?» Офицер, слегка поклонившись, окинул хлебосола взглядом. «Честь имею рекомендоваться: такой-то,— продолжал помещик,— везу дочь из Москвы, из пансиона, восвояси. Позвольте и мне узнать,

с кем имею честь говорить?» После обмена приветствий радушный хлебосол еще сильнее приступил к проезжему, и сколько ни отговаривался этот последний недосугом, дорожным костюмом, а должен был, наконец, принять его приглашение, тем более, что лошадей не оказалось наготове.

Слово за словом, стакан за стаканом, завязывается бойкий разговор, и часы пролетают, как минуты. Между новыми знакомцами водворяется такая короткость, что хозяин называет своего гостя братцем; пансионерка уже более не досадует, что одета сегодня en négligé[1], а офицер забыл, что платит тройные прогоны и дорожит каждой секундой. Уже два раза докладывал ямщик, что лошади готовы, давным-давно надо бы сделать станцию; но как же прервать начатый рассказ о столичном быте и не послушать такой милой рассказчицы! «Сию минуту, сию минуту!» — слышится от седока, и минута тянется полчаса. Наконец, и солнце село, и тарантас уже начал укладываться...

Пора! «Прощайте, Иван Васильевич! Вашу ручку, Софья Ивановна!» — «С богом!.. Счастливый путь!..» — «Увидимся ли когда?» — «Вы не забудете нас...» И скрылась из глаз лихая тройка так же быстро, как появилась. Иван Васильевич начал одеваться, а Сонечка что-то наскоро записала в своем пансионском альбоме.

Как знать, может быть, в это короткое время успел завязаться один из тех летучих романов, которые умеет рассказывать только автор «Метели»!* Чем кончится он? Промелькнет ли падучей звездой в сердцах обоих или долго будет теплиться в них живительным воспоминанием, или, согревая одно сердце, порастет травой забвения в другом?.. Не нам с тобою, самовар, решать и разгадывать эти вопросы: некогда. Видишь — новые гости.

Кто пожаловал? Добрый молодец, собою, как говорится, кровь с молоком, весельчак такой, что разлюли. Приехал он на одноконной подводе, вбежал в горницу, распевая:

> Нету денег ни гроша,
> Зато слава хороша!..

назвал хозяина плутом (на что этот снисходительно осклабил зубы), потом сорвал поцелуй с губ неприступной работницы и терпеливо перенес от нее здоровую стукманку; спросил себе самовар и усидел его добрую половину. Веселись, молодой человек, пока железным гнетом не налег на тебя опыт жизни, пока не постигло тебя превращение, подобное Мишиному; наслаждайся, пока играет на щеках румянец здоровья и рассыпным смехом заливается широкая грудь. Смотри: следом за тобою приехал на постоялый двор почти

---

[1] Небрежно (*фр*).— *Ред.*

ровесник тебе; но кто скажет, что ему двадцать лет! Наследник знатного рода и огромного состояния, он не промотал своего здоровья и своей юности; но злая болезнь, одно имя которой говорит о безнадежности выздоровления, грызет его сердце, и с каждым днем гаснут слабеющие силы. Люди заставили бедного юношу надеяться, что другое небо, другой воздух возвратят ему то, что может ниспослать один бог, и едет он из отчизны в страну, где действительно найдет и ясное небо, и жаркое солнце, и пахучие померанцы вместо угрюмых сосен; но где никто не даст ему ни родной слезы, ни горячего, некупленного участия; где не услышит он ни слова русского, ни молитвы, какою от колыбели привык встречать каждое утро... Не езди, милый, останься здесь, и сладкая будет тебе кончина, среди своих, и будто к тихому сну отойдешь ты в вечность. Бедный, бедный! Видишь ли, как слаб ты: едва прошел несколько шагов, и уже задыхаешься от усталости; потребовал чаю, и не мог выпить даже одной чашки.

Искать здоровья едет он за моря дальние; а оттуда спешит к нам какой-то господин за деньгами. Что ж! просим милости. Какой у вас талант? Пускать пыль в глаза, задавать фону, из деревенского учителя уметь прикинуться профессором всех возможных и даже невозможных знаний? Прекрасно; мы очень нуждаемся в таких людях. Выбирайте себе Москву, Петербург, пишите широковещательную программу с диссертациею о разных системах воспитания, нанимайте приличный дом, надевайте для пущей важности ученые очки,— и будьте благонадежны: наши рубли не замедлят явиться к вам. Лет через десять вы обрусеете не хуже своего земляка, который ментором сопровождает вас в финансовых экскурсиях по России, из Готлиба обратитесь в Ивана Ивановича, будете кушать чай с таким же аппетитом, с каким пьет он, женитесь, обзаведетесь Карлушами, Христиночками и будете жить себе припеваючи, услаждая душу неизменным биром[1], благославляя случай, вдохнувший вам мысль переселиться в Московию, и посмеиваясь втихомолку над людьми, которые, хоть и крепко возмужали, а все еще, по привычке, ходят на помочах...

Кто едет потом? Миллионер-сибиряк, волчья шуба, гороховая шинель, бухарские халаты, мыло казанское, цестные жидовские пейсики, грузинская папаха, простодушный сын Малороссии на паре *«цобе, цобе!»* — и все это более или менее беседует с тобою, неугомонный самовар, и внутренне благодарит неизвестного изобретателя благодетельного снаряда.

Но кто бы ни был временным твоим распорядителем, хозяйство его оканчивается всегда с вопросом: «Хозяин! Сколько тебе следует за все?» — «Да, что, с вашей милости лишнего не возьмем,— отвечает Сидор Федотович, подходя к постояльцу со счетами в руках. — Лошадкам сена да овсеца брали; кучер щи хлебал; сами изволили кушать; горшочек сливок спрашивали; за самовар, за воду, за уголья следует; бричку подмазали; в холодной горнице изволили сто-

---

[1] Биром (*нем.* Bier) — пивом. — *Ред.*

ять; парнишка прислуживал вашему здоровью, на почту бегал; свечка горела, по вашему приказанью, как изволили печатать письма. Всего-с...» Тут застукают счеты и выведется самый аптекарский счет. «А за постой, за тепло я уж ничего не полагаю с вашей милости: просим напредки не оставить нас своим посещением, всепокорнейше просим не проминовать нашей избы. Таким господам, как ваше здоровье, мы всегда оченно рады, с нашим удовольствием, истинно как перед богом, то есть заслужим вашей чести». Разумеется, что редкий постоялец терпеливо выслушает счет Сидора Федотовича и не разразится громом самых выразительных слов. «Что же, извольте обижать его, коли есть на то ваша воля; он человек маленький, подначальный, из послушания не выйдет, и с вашей милости полушки лишней не смеет взять: ведь он не магазейщик какой, *такцыи* у него нет, да ведь душа-то и ему надобна, а совесть, известно, эвтакое дело, дороже всего; его дело мужицкое, сиротское, а вашей милости бог пошлет на его долю». И в заключение подобной рацеи, произносимой голосом овечки в лапах у волка, Сидор Федотович скинет, в убыток, как перед богом, в убыток себе, единственно для хорошего барина, полтину-другую, умаслит постояльца, и в результате все-таки получит сумму, не безобидную для своего кармана. Мало того: он с поклонами проводит их милость до самого экипажа, поможет сесть, напомнит кучеру, чтобы осторожнее спускался с косогора и берег барина, словом, обделает дело так, что постоялец действительно никогда не проминует его двора: «плут, дескать, да умен». Любил эту пословицу Сидор Федотович, держал на уме и другую: «Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше».

«Оно, конечно, зашибить копейку можно и на постоялом дворе, и дегтем торгуешь не без прибыли: да стоит ли алтынничать? И будешь ты весь век свой мелюзга, а не настоящий торговец, и в рыло съездить тебя может всякий, и за бесчестье не заплатит; почета дождешься разве только в своей деревне,— а то везде ты мужик да мужик, да еще сиволапый. Ну, а если, примерно сказать, большой корабль — ему и плавание большое, и все уж такое. На лодке нечего пускаться в широкое море: или дальше берегов не уедешь, или пропадешь ни за денежку. Корабль дело другое...» Так частенько подумывал Сидор Федотович, завистливым глазом смотря на обозы с товарами, ежедневно длинной вереницей тянувшиеся по большой дороге, на многоголовые гурты скота, прогоняемые для продовольствия той или другой столицы. «Эх, кабы нам послал бог такой клад!..» Десять лет усильного скопидомства, барышничества и всевозможной изворотливости снарядили, наконец, желанный корабль, и он поплыл — в Москву.

Если сказать, что Сидор Федотович поселился в Замоскворечье, то этого и будет достаточно, чтобы дать понятие о новом его быте в этой части города, которая живет себе особняком от всех прочих и не походит ни на одну из них. Шибко повезло ему, быстро пошел он в гору. В доме уже не простые деревянные лавки да столы, а мебель вся красного дерева; ходит он не в нагольном тулупе, а в

лисьей кирейке*; у супружницы куний салоп; в лавке два приказчика; погреб с амбаром ломятся под годовыми запасами; на конюшне стоит пара лошадей. Оставалось только обзавестись двухтысячным рысаком, кучером с окладистою бородой, да не мешало бы держать какую-нибудь барбоску на цепи — и обстановка нового звания была бы совершенно готова. К несчастию, самовар не дожил до такого превращения.

Разумеется, как пошла линия Сидору Федотовичу, сожительнице его неприлично стало заниматься всякою черною работою на кухне; поэтому, оставляя за собою право печения именинных пирогов и кулебяк, она наняла для прочей стряпни кухарку — не из московских щеголих, а питомицу деревни, бабу работящую, славную; простовата лишь немного, да авось приобыкнет. Наш туляк прежде всех испытал на себе расторопность новой прислуги своего хозяина. «Акулина, поставь-ка самовар!» — приказывают кухарке в первый день ее службы. Акулина бежит в кухню, поспешно берет самовар и ставит его на стол перед изумленными хозяевами, не понимая, за что они чествуют ее «дурищею полоротой». Кое-как объяснили ей процесс согревания самовара; но показался он ей слишком мудреным, или просто надо быть такому греху, а не раз случалось, что Акулина набивала самовар угольями, разводила огонь и кипятила туляка без воды. Но все это были еще только цветки для самовара, а ягодка ждала его впереди.

Однажды Сидор Федотович по какому-то случаю решился сделать вечеринку. Собрались гости, завели беседу — время начать угощение, как водится, чаем. Акулина в страшных хлопотах: и официант она, и лакей, и камердинер, и горничная — все вместе. Вдруг, как угорелая, вбежала она в комнаты и во весь голос завопила: «Батюшки мои, отцы родные, пропала моя победная головушка. Самовар-то наш...» — «Ах ты, дурища неповитая,— гневно закричала на нее хозяйка,— перепугала всех нас. Что самовар — ушел что ли?» — «Ушел, светики мои, как есть ушел...» — «Так закрой его крышкой да долей, деревенщина глупая!» — «Да что закрывать-то; ушел он со всем, и с крышкой, и с трубой...» — Как так? Бросились в сени, нет самовара; туда, сюда — и следов не видно. Ушел. А случилось это самым обыкновенным образом. Проходил один добрый человек мимо дома Сидора Федотовича и, увидев отворенные ворота, полюбопытствовал узнать причину такого редкого в Замоскворечье явления. Вошел на двор, пробрался в сени, видит — стоит самовар, только что сбирающийся закипеть. Добрый человек очень основательно подумал, что такой ценной вещи не следует быть без присмотра, бережно взял туляка под мышку, скорым маршем добежал до соседнего глухого переулка, опорожнил свою находку (благо время было зимнее), да и был таков. Следовательно, виноват один случай, а у доброго человека и в мыслях не было никаких видов на самовар, пока не наткнулся он на него. В тот же вечер другой добрый человек, мастер на все руки, занялся *починкою* самовара и дал ему такой вид, что и сам Сидор Федотович не узнал бы своей пропажи. Тем и кончились похождения туляка в Замоскворечье.

III

Опять ты без дела, ждешь хозяина, стоишь в лавке, между разного медного хламу. Новое поколение соименников окружает тебя, и с удивлением смотришь ты на скороспелую молодежь: какой важный, надменный вид, какие толки об опытности, о разочаровании, хотя весь-то век их птичий без году шесть недель. Ах, время, время!.. Наконец, судьба сжалилась над тобою и послала покупателей, в виде молодой новобрачной четы.

Весело играет солнышко; канарейка заливается песнью, рассыпается трелями; герань и резеда благоухают на окнах, оттененных белыми занавесками; картинки глядят по стенам; фортепьяно звучит нежными аккордами; молодой человек переворачивает ноты своей возлюбленной: такую картину увидел ты на другой день новой своей жизни. Голова да руки составляют все богатство твоих хозяев; но и на миллионы не променяют они своей жизни, цветущей молодостью, здоровьем, украшенной любовью. Сироты безродные, они соединились навек, чтоб неразрывно и дружно идти по тернистому пути нужд и забот. В приданое она принесла ему многолюбящее сердце; он, вместо свадебной корзинки, подарил ей переписанного своей рукой «Чернеца» Козлова*. Она переписывает ноты, он дает уроки — и средств, доставляемых этими занятиями, довольно для неприхотливой жизни. Все удовольствия, которых жаждет богатство и ищет скука,— театры, концерты, балы — все это они умеют находить в самих себе, не переступая за порог скромной своей комнатки. Петя насмешит Сонечку, передразнивая светских франтов; а Сонечка, как ангел, пропоет «Черную шаль»*; потом они попрыгают, помолодевший самовар явится на веселую вечеринку, а сладкий поцелуй заключит роскошное угощение супругов.

Желалось бы тебе весь век прожить у таких голубков, и они ни за что не расстались бы с исправным стариком; но судьба вдруг покосилась на него, и с небольшим через полгода счастливая чета променяла Москву на какой-то уездный городок, а ты из Третьей Мещанской переселился на Тверскую.

Дурные приметы сопровождали твое переселение. Воз, нагруженный разною домашнею утварью, в числе которой находился и ты, чуть не опрокинулся дорогою; какой-то уличный шалун швырнул в тебя камнем; извозчик, не получив прибавки за провоз и таскание вещей на третий этаж, метко пожелал подняться пожаром всему дому. А дом, куда попал ты, стоит иного города. Это одна из тех пятиэтажных отчин, которые, без пятипольного хозяйства и скотоводства, приносят своим владельцам внушающие уважение суммы; один из тех домов, где найдутся люди всякого звания, рода и промысла, где можно обзавестись чем угодно, купить, продать, заложить все, что вздумается. Но пора познакомиться с твоим владельцем.

Он ни стар, ни молод, а самых солидных лет; лицо у него довольно благообразное; глаза всегда улыбаются; речь медовая, а когда заговорит о душе, о добродетели, о суетах мира сего, она доходит

даже до умиления; одевается он прилично, но без щегольства и вертопрашества; фамилию носит также приличную, не оскорбительную ни для чьих благовоспитанных ушей: господин Умудряев. Кто он, что делает, чем живет, нельзя угадать по виду. Служить, кажется, не служит нигде; а пишет много; со двора выходит редко, а к нему каждый день являются самые разнообразные посетители; говорит он с ними не много, но всякое слово его принимается с уважением. Уже по этим признакам можно полагать, что он не пустой человек, а с весом, и, следовательно, самовару нечего жаловаться на неблагосклонность судьбы и новый порядок, которому подчинил его аккуратный хозяин.

Песен, например, отнюдь не смей заводить у него, а стой на столе, как во фронте, чинно, молча, как будто и нет тебя; придет какой-нибудь посетитель, не думай, что тебе предстоит удовольствие отвести ему душу благодетельною влагою: господин Умудряев рассыплется в вежливости, но не предложит гостю и чашки чаю, или учтиво изъявит сожаление, что только сию минуту отпил. Да и сам-то он употреблял китайский напиток, вероятно, только для формы, по заведенному однажды навсегда порядку, и вовсе не чувствовал от него удовольствия, каким проникается сердце всякого человека после нескольких приемов душистого отвара.

Скучно тебе, туляк, да делать-то нечего: знаешь пословицу, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. В огромном доме ты жил, как в степи: не было ни одной живой души, которая чувствовала бы к тебе хотя частичку той привязанности, что знавал ты в прежние годы. Кухарки у господина Умудряева менялись беспрестанно, потому что он не любил платить денег даром и за синенькую* в месяц требовал, чтобы одна служила за десятерых. «Праздность мать пороков»,— повторял он, посылая единственную свою прислугу то туда, то сюда, заставляя то вычистить сапоги, то выгладить манишку. И чаю никогда не даст напиться как следует. Только что присядет усталая кухарка и начнет задушевную беседу с чайником, как на беду раздастся призывный голос барина, и желанное удовольствие сменится бранью сквозь зубы на «жидомора» и «выжигу».

В один осенний вечер господин Умудряев воротился домой довольно поздно и, против обыкновения, велел поставить самовар. Живо вскипел туляк, но и простыть успел, пока господин Умудряев расхаживал по комнате, видимо, погруженный в беспокойную думу, которая не замедлила выразиться рассуждением вслух, чего с ним также никогда не случалось. «Дрянь этакая,— толковал он,— фунта три крови испортит, аппетит совсем отобьет! Туда же, вздумает молиться, расчувствуется! Да и я точно ошалел... слеза показалась! Кто просил? Да нет, не стану я портить своей карьеры из-за бабьего норова! Эй, Акулина,— крикнул он, отворяя дверь в кухню,— чем свет завтра приведи ломового извозчика. Дам ей обзаведение,— продолжал он сам с собою,— пройдет эта криминальная история, и баста!»

IV

Опять нежданно-негаданно постигло тебя переселение, опять поехал ты вместе с разным хламом, колченогими стульями, кривобоким столом и порыжелым от старости диваном, поехал под прикрытием самого господина Умудряева в одно из скромных предместий Москвы. Угрюмо глядело недавнее твое жилище, еще печальнее смотрит ветхий домишко, куда попал ты как нечаянно. Молодая, но бледная, изнуренная женщина встретила твой приезд, робко приветствовала господина Умудряева и смиренно замолчала на следующий ответ его: «Прошу не беспокоиться, не вчерашние глупости! Вот вам полное хозяйство, живите себе по душе, только и меня не тяните за душу». С этими словами он и отправился.

Ну как же нам разгадывать чужую душу, темную, что лес дремучий? Как понять и внезапный твой отъезд, и связь, соединяющую два существа, столь противоположные между собою? Неужели, встретясь на жизненном пути, сблизились они потому только, что крайности сходятся? Как могла она, женщина слабая, бесхарактерная, но все-таки с любящим сердцем, проникнуться сочувствием к этому человеку «с характером», как выражался он сам? Не знаю я, не ведаешь и ты.

Как грустна твоя хозяйка, как уныла и черна ее убогая комнатка, так безрадостно и новое житье твое. Редко, редко прибегает она к твоим услугам, да и то без пользы: выпьет чашку, много две, да и понурит голову, и так задумается, что не услышит даже, как соседка взойдет. А что нужно соседке? Утешить горемыку, порадовать ее добрым словом? Нет, просто поболтать, растравить своими замечаниями глубокую рану да после посплетничать с другой соседкой. Еще счастье твоей хозяйки, что не красавица она была: завиден этот дар, да нередко ведет он к пагубе.

С полгода господин Умудряев довольно часто навещал свою знакомку и, как червь, что точит свежее дерево, мучил ее каждым своим словом; но когда в комнатке прибавился новый жилец — крошка с голубыми глазенками, страшный крикун,— посещения мучителя прекратились совершенно. Бог с ним! Не надо и тех ничтожных средств, что давал он иногда горемычной. Пока есть мочь, пока не ушло вконец здоровье, сама воспитаю Костеньку; а подрастет, не оставит его бог, и добрые люди не покинут сиротку безвинного... И до последних сил трудится мать. Что нужды, что тает она, как свеча, худеет с каждым днем, не знает себе ни минуты отдыха: зато у Костеньки всегда есть сливочки, и нарядная рубашечка готова к празднику. По воскресеньям хозяйка твоя иногда хаживала *в Марьину рощу торговать самоваром** и, благодаря твоей исправности, никогда не возвращалась без порядочной выручки.

Но не долго промаялась бедная женщина. Как ни силилась совладеть с губительною болезнью, как ни перемогалась, вдруг слегла. Вечный сон скоро успокоил страдалицу. Костеньку отдали в один из тех благодетельных приютов, которыми богата добрая Москва.

Помыкался наш самовар еще года с два по белу свету, побывал

в Одессе, собрался было в Кяхту, но вдруг, волею случая, после всех этих похождений, нашел убежище от мирской суеты у меня, любителя тишины и усердного почитателя чаю.

Хорошо ли тебе у меня, добрый туляк? Не обижаю ли я тебя излишнею взыскательностию, не часто ли требую на службу?.. Но ты замолк, приуныл? Уж не навело ли на тебя раздумье повествование о собственных твоих похождениях? Не хандрить ли начинаешь ты, размышляя, где же правда на земле, если худому человеку бывает хорошо, а доброму худо? Что такое жизнь? Успокойся, старый мой друг; не верь, если кто скажет тебе, что жизнь сон, комедия или глупая шутка, и вчуже пожалей человека, дошедшего до подобного убеждения. Пускай назовут нас оптимистами, а будем мы с тобою верить, что нет ничего лучше и выше жизни и что нет на земле такого зла, которое не меркло бы перед сиянием добра...

Еще одно слово: не богаты мы с тобой, часто стучится к нам в дверь нужда, так и об этом нечего тужить. Вон, через улицу от нас яркими огнями горит огромный дом; толпы кружатся в великолепных его залах: но искренне ли веселее нас эти улыбающиеся лица и с большим ли аппетитом кушают они чай из серебряного самовара? Едва ли. А завтра, когда, утомленные добровольными муками, они только что сомкнут глаза, мы будем с тобою уже на ногах, и солнышко, не смея пробраться за шелковые занавесы, первых нас поздравит с добрым утром...

Но заговорились и замечтались мы. Давно за полночь. А ведь надобно еще не шутя подумать о средствах разжиться завтра чаем с сахаром. Уголья у нас, кажется, пока есть.

КУХАРКА

«Пою тебя»... или:

Воспой, о муза, персону
ты ту,
Что желудка глад,
жажды же клич...*

Нет, не поется, даже по-Тредьяковски, и стих не строится в ряд и меру. Лучше без затей сказать так: «Наше вам почтение, Матрена Карповна, Акулина Антипьевна, Афросинья Панкратьевна,— все имена, никогда не удостаиваемые чести принадлежать какой-нибудь романической героине; имена, которые с давнего времени носят особы хотя из прекрасного пола, но считаемые в нем зауряд... Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе, блюстительница домашнего благочиния, то есть порядка и чистоты, повелительница очага со всеми его принадлежностями, звезда и жемчужина экономии, надежда обеда, радость неприхотливого желудка, подпора и питательница бренного тела!.. Не смущайся этой речью, слабой данью твоим заслугам, не красней, не

закрывайся фартуком: спокойно, как всегда, следуй своему призванию, исполняй свою профессию, делай дело. А нам между тем позволь побеседовать с тобой о твоем житье-бытье. Ладно ли?»

— Ничего. Да некогда мне растабарывать с вами: пожалуй, щи перекипят!

— Не перекипят, мы посмотрим. Сделай одолжение, всего-то пару слов перемолвить.

— Да вы не с подвохом ли с каким?

— Вот еще что выдумала! Как тебе не стыдно: точно деревенская какая, необразованная, будто не умеешь различать людей с людьми?

— Так-то так, с виду вы — как должно, и обращение у вас политичное: да поди узнай, что у вас на душе?

— Одно удовольствие познакомиться с тобою. Давно ли ты на этом месте?

— Да вот скоро год доходит.

— И хорошее место попалось?

— Э, захотели вы!.. Жалованье красная цена шесть рублей, да за шестерых и делай: ты и лакей, и горничная, и прачка, и кухарка. Еще куры не вставали, а ты уж будь на ногах, принеси дров, воды, на рынок надобно идти; а придешь с рынку — сапоги барину вычистишь, одежду пересмотришь, умыться подашь; а тут самовар наставляй, а тут печку пора топить, в лавочку раз десять сбегай, комнаты прибери; в иной день стирка, глаженье; тут на стол велят накрывать, беги опять в лавочку — то, се, пятое: до обеда-то так тебя умает, что и кусок в горло не пойдет. Просто повалишься, как сноп. Ведь все на ногах, на минуту присесту нет...

— Да, это трудно.

— Уж так трудно, что и господи! День-деньской отдыху себе не знаешь. Еще хорошо, что заведенья-то большого нет, а то смоталась бы совсем. Да и то в праздник кипишь, как в смоле. Туда же — голо-голо, а луковка во щах. Пиры, банкеты разные заводят...

— А кто твои хозяева?

— Господа, да не настоящие. Так себе — из благородных. Сам-то служит в новоституте да по домам ездит уроки задавать. Достатка большого нет. Только что концы с концами сводят... А добрые люди, грех сказать худое слово, и не капризные, и не гордые. Этак, года с два тому, жила я у одного барина. Сливошниковым прозывался: так тот, бывало, никогда не назовет тебя крещеным именем, знай орет: «Эй, человек, братец!» — «Какой же, говорю, сударь, я человек?» — «Кто же ты?» — «Известно, говорю, кто, совсем другого сложения».— «Ну, говорит, когда ты не человек, так у меня вот какое заведение: слушай!» и засвистит, бывало, бессовестный этакой! «Ну уж, после такого сраму,— говорю я,— пожалуйте расчет». Взяла да отошла, а три гривенника так-таки ужилил, не отдал!.. А здесь нельзя пожаловаться: Акулина да Акулина, либо Ивановна. А сама барыня точно из милости просит тебя сделать что-нибудь: «Пожалуйста, говорит, милая, послушай, говорит, Акулинушка!..» Хорошие люди. Жалованье хоть и небольшое, а на плату поискать таких. Чай

идет всегда отсыпной, не спивки, пью сколько душе угодно; пришел кто в гости — запрету нет, станови самовар, барыня и чаю пожалует. Здесь сама себе я госпожа. Искупила что на рынке или в лавочке, отдала отчет — и ладно; не станут скиляжничать, допытываться до последней денежки,— знают, что не попользуюсь ни единым грошем: душа мне надобна. А в другом месте живешь, так горничная на тебя ябедничает, нянька в уши хозяевам нашептывает, лакей или кучер что сплутовали, а на тебе спрашивается. Такое-то дело. Здесь, по крайности, живешь в тесноте, да не в обиде. Одно лишь забольно: насчет подарков очень скудно. Год-годской живши, только и награжденья получила, что линючий платчишка к Святой. Заговаривала не раз, что у хороших хозяев так не водится, да мои-то иль вдомек не возьмут, или подняться-то им не из чего.

— А разве у других хозяев помногу дарят?

— У хороших-то? Как и водится. Жила я у купца Митюшина, по восьми рублей на месяц получала, кушанье шло с одного стола с хозяевами; а дом-то какой — полная чаша, все годовое: и мука, и крупа, и солонина, и капуста,— а погреб-то, бывало, войдешь, сердце радуется. Так вот-с, жила я у этого купца, у Авдея Матвеича. Бывало, окромя годовых праздников, и в свои именины, и в женины, и в твои — всякий раз дарит тебе: то ситцу на платье, то платок прохоровский*, либо шелковую косынку. Житье было такое, что просто малина. И не рассталась бы с этим местом, да грех один случился...

— Напраслина, верно, какая-нибудь?

Но Акулина Ивановна, не отвечая, оборачивается к печке и начинает поправлять дрова.

— Гм!.. Стало быть, у купцов хорошо жить?

— Ну, это как случится. Всякие бывают. Иной попадется такой жидомор, что алтынничает хуже всякого кащея. Какой у кого карактер. Коли *сам* хорош, так иногда *сама*-то перец горошчатый либо семь хозяев в одной семье. У немцев тоже жить оченно хорошо. Только строгости большие: уж этак что-нибудь... мало-мальски... чуть заметят, сейчас и пашпорт в руки. Штрафами допекают. Разбейся посуда, пропади простыня — все тебе на счет. «Это, говорят, твой виноват, что не смотрел». Насчет постов тоже нехорошо: перемирай почти на одном сухом хлебе. Ведь у них круглый год скоромное, и за грех не считают...

— Вот в Петербурге, говорят, вашей сестре житье отличное.

— В Питере-то? Слыхали мы про него. Знаем тамошних белоручек: чепешницы, чухна бестолковая, а туда же, кофию просит, танцами занимается. Видела я здесь одну питерскую-то. Стоит на вольном месте, словно барыня какая, на нас и смотреть не хочет. Приходит нанимать кухарку какой-то купец, прямо к ней (с рожи-то она, как и путная), спрашивает у нее: «У меня, говорит, любезная, хлебы дома пекут, а если случится стирка, так и принанимаем». А она ему залепетала что-то, да и сует в руку свой *тестат*. «Я, говорит, жила у хороших господ, черной работой не занималась». Уморушки, да и только. «А если так,— говорит ей купец,— так прощенья просим, мадам; выходит, не ты мне, а я твоей милости должен служить».

Взял да и нанял из наших. Так-то-с, сударь вы мой. Видали мы этих тистатчиц. Для близиру — оно так, а на деле пустяк.

— Напрасно так думаешь. Аттестат — ведь эта порука и за уменье и за поведенье.

— Так оно и есть! Еще за поведенье! Извольте-ка выслушать. Есть у меня товарка, Агафьей зовут, женщина работящая, а уж в летах, этак с залишечком сорок. Вот была она без места. Прослышали мы, что вызывают в газетах ученую повариху, понимаете, чтобы за повара отвечала. Хорошо, что ж, и это можно, и за повара ответим, а ученье известно какое: не в пансионах воспитывались. «Ступай, говорю, Агафья, может статься, и выйдет толк». Приходит она к этому барину. Холостой он, собою такой видный. Посмотрел на нее, усмехнулся. «Нет, говорит, ты мне не годишься».— «Помилуйте, говорит, сударь, я и соусы разные, и пирожное всякое могу состряпать».— «Нет, говорит, мне надобно...».

Но в эту минуту что-то гневно забурлило в печи, уголья зашипели, пламя вмиг вспыхнуло ярче, кухарка взглянула и ахнула; любезные ее щи так и хлестали через края горшка.

— Ах, чтоб вас! — с негодованием крикнула она, и этим словом кончилась беседа. Смущенный гость спешил уйти, и напрасны были его извинения в невольно причиненной досаде Акулине Ивановне.

Он ушел, но в воображении его не переставал носиться образ кухарки, ее лицо, ее наряд, ее быт. Одна картина сменялась другой.

Вот кухня — что-то вроде комнаты, более или менее закопченной, так что иногда трудно решить, из какого материала построена она[1]. В кухне печь, простая русская, складенная из кирпичей, не хитро, но удачно приноровленная к своему назначению,— печь с печкою, иногда даже с полатями. Далее глазам представляются две-три полки, на которых стройно расставлена разная кухонная посуда; потом следуют: самовар, блистающий на почетном месте; стол почтенных лет, но всегда вымытый на загляденье, и около него скамья, вероятно, для противоположности, более или менее серого цвета; рукомойник, семья ухватов и кое-какой домашний скарб довершают принадлежности кухни. Тут и постель кухарки, и имущество ее, заключающееся в небольшом сундуке; тут красуется и двухвершковое зеркальце, обклеенное бумагою, и рядом с ним налеплена какая-нибудь «греческая героиня Бобелина»*, или картинка с помадной банки; тут и лук растет на окне, а иногда судьба занесет и герань; здесь и чайник с отбитым рыльцем, окруженный двумя-тремя чашками, в соседстве с какою-то зеленою стеклянною посудой, выглядывает с полки; здесь и жирный Васька посиживает на окне, греясь против солнышка или созерцательно рассматривая ближайшую природу, особенно стаи ворон, которых привлекает что-то лежащее на дворе, как раз против окна.

Вот и сама обитательница этого приютного уголка. Что она де-

---

[1] Понятно, что здесь идет речь о кухне в самом обыкновенном, простом значении этого слова. Другое дело—кухня поварская, с плитами, вертелами и разными затеями, управляемая метрдотелем — кухонным головою (chef de cuisine), и которую приличнее бы назвать *стряпательною палатою*.

лает?— «Стряпает, разумеется». Да, стряпает; но это слово не выражает всего круга ее многообразной деятельности, хотя он и ограничивается небольшим пространством — от кухни до погреба или до кладовой, из лавочки на рынок, или с рынка в лавочку; хотя центр его все-таки, ни больше ни меньше, как кухня. Но ведь на кухарке лежит весь порядок дома; она незаметный, но крепкий столб, поддерживающий его благосостояние. Она виновата, зачем вздорожала говядина, а сливки оказались кислыми, зачем лавочник дал мало угольев или обчел на одну копейку; с нее спрашивается, почему горшок прожил не два века, или как смела шаловливая кошка сделать неосторожный прыжок и разбить фаянсовую тарелку; ее требуют к ответу, отчего суп пересолен, а жаркое недошло; на нее гневаются, что печь изводит много дров, а в комнатах сыро и холодно; ей выговаривают, величая «деревенщиною глупой», зачем она сказала правду, когда приказано было объявлять всем посетителям, что господ нет дома, а она в простоте сердца на вопрос одного гостя: «Дома ли барин?»— радушно отвечала: «Пожалуйте-с, у себя, трубку изволят курить...»

Вот ранним утром спешно идет она на рынок с кульком под мышкой, с кувшином в руке. «Тетенька, умница, пожалуйте сюда!»— кричат ей лавочники, разносчики, молочники, а иной плут так еще и шапку снимет. Но она не поддается на учтивые приветствия, не верит божбам и правому слову продавцов, а торгуется донельзя, рассчитывая и выгадывая всякую копейку. Как внимательно рассматривает она доброту припасов, как заботливо считает по пальцам сдачу; скольких иногда убеждений стоит ей склонить несговорчивого продавца на уступку; сколько возов обойдет она, покупая, например, картофель, и то прицениваясь, то прислушиваясь к купле других, пока, наконец, решит свой выбор. А тут еще зелени разной требуется, корицы, перцу, кофею, сосисок; барин велел взять четвертку жукова табаку: «У нас, говорит, в лавочке семь копеек лишних берут»; барыня наказывала забежать в аптеку за гофманскими каплями; а яблоки-то к пирожному совсем было из ума вон. Легко ли упомнить все — и грошовую, и рублевую покупку, легко ли, потому что у кухарки нет ни реестров, ни записок: одна голова обязана отвечать и за неграмотность и за непонятливость. Неудивительно, стало быть, что, возвращаясь с рынка, она не раз пересмотрит сдачу или зайдет к знакомому лавочнику, с просьбою проверить итог ее расходов.

Вот она дома, отдает отчет, принимается за стряпню. Приказали борщ сварить и жаркое изготовить, а говядины всего пять фунтов на четверых. Как ее делить? Надо, чтоб все вышло хорошо — и борщ вкусен, и жаркое сочно, и чтоб всего было довольно, а то неравно навернется лишний человек, недостанет чего — тебя же обвинят; расчесть, скажут, ничего не умеешь. И в глубокой думе, изощряя свою опытность, мерекает она, на сколько частей резать небольшой кусок говядины, чтоб сделать оба кушанья в *плепорцию*. А тут Васька, мяуча и мурлыкая, ластится около ног, просит обычной своей подачки. Нельзя не дать и Ваське: брошен ему добрый кусок; съел, просит еще. На и еще. Не сыт Васька, не отходит от стола, а говядины убавилось чуть ли не на осьмушку фунта. Не дать жаль — кот-то славный такой,

а дать... «Ну вот тебе еще кусок, кстати жила попалась, да уж больше и не проси!» Опять — мяу! мяу! «Ах, ты обжора этакая!» И любимец получает справедливый толчок, после которого отправляется философствовать на окно.

Наконец, кухарка устроилась совсем: печь затоплена, дрова разгорелись, горшки закипают — дело кипит. Слава богу. Вдруг...

— Ульяна! а Ульяна! иди сюда скорее!— раздается звонкий голос хозяйки чрез отворенную дверь.

— Сейчас, сударыня. (Ах, чтоб тебе пусто было!)

— Да иди же скорее! Боже мой, какая ты неповоротливая!

— Нельзя же, сударыня, зря бросить дело.

— Ну, разговорилась! Вымой ручищи-то.

Это значит, что барыня изволит одеваться и нуждается в помощи своей единственной прислуги.

Во время застегиванья платья, для чего кухарка употребляет неимоверные усилия, барыня вступает с нею в «задушевный» (если угодно, *интимный)* разговор, выходящий из пределов кухни.

— Стало быть, Василий Григорьевич был-таки на порядках?

— Уж так на порядках, сударыня, что всю посуду перебил. Жене говорит: «Жить с тобою не хочу, ступай вон!» До Ивана Петровича дело доходило.

— Ну, это у них всегда так бывает. Поссорятся да помирятся. А что свояченица его?

— Варвара Кузьминишна-то? С прибылью скоро будет, с прибылью, сударыня. Соскучилась ждавши.

— Гм!..— и барыня предовольно улыбается.

— А правда, что Верочка Козлицына выходит замуж?

— Как же, сударыня, я не облыжно докладываю вам. И образом благословили. Через неделю быть свадьбе.

В эту минуту платье у барыни начинает почему-то застегиваться туго.

— Жених-то, нечего сказать, молодчина собой, и достаток, говорят, есть. Кондитеров нанимали на сговор, музыка, танцы были,— продолжает кухарка свое донесение.

У барыни лопается крючок.

— Дай бог им совет да любовь: парочка славная!— радушно говорит кухарка.

— Какая ты неловкая, Ульяна!— сердито вскрикивает барыня, вдруг рванувшись из рук своей собеседницы и пожертвовав одним крючком своей досаде.

Но виновата, разумеется, не Ульяна, не ее неловкость, а известие, что Верочка Козлицына выходит замуж, делает хорошую партию — партию, когда барыня знавала ее еще вот какой девчонкой и чуть не за уши драла! Барыня вовсе не злая женщина, и досада ее легко объясняется чувством, свойственным не одной тысяче порядочных людей: «Как, дескать, распоряжается судьба: чем такой-то лучше меня, а на него сыплются все земные блага, экипаж один чего стоит,— а я изволь покатываться на извозчике!»

Кончено многосложное одевание барыни, кухарка освобождена от должности горничной и опять суетится около печки, наверстывая потерянное время.

Спрашивается, откуда же, из какого богатого рудника почерпает кухарка современные новости, не помещаемые ни в одной газете и между тем благодаря языку облетающие известное пространство с быстротою телеграфа,— новости, которые составляют насущную потребность для нее, занимают соседей и служат приятным развлечением для хозяйки, откуда? Я не знаю — спросите у нее. Известно только, что население любого околотка, по месту жительства кухарки, все на счету у нее, и если она знает соседскую курицу, то как же не знать ей самого соседа, как не разведать, поправился ли Иван Григорьевич и ладно ли живет с мужем Аграфена Ивановна, и все такое прочее! Потом, когда сойдутся в лавке или встретятся на рынке Ульяна с Акулиной да подойдет к ним еще Маланья, о чем же им и говорить, как не о хозяйских делах? «У наших вот то и то...»— «А у моих вот какая напасть случилась». И пойдут, и пойдут. «Голубушки,— скажет сторонний человек, вслушавшись в их любопытную беседу,— ведь это значит сор из избы выносить».— «Как выносить!— возразят говоруньи.— Нешто мы сплетницы какие, разве мы славим по Москве? Так, к слову пришлось, дело соседское, а не что-нибудь этакое. Понимаете?»

Постараемся смекнуть...

Кончена стряпня, прибрана кухня, вымыта посуда, поспел борщ, и жаркое впору подавать на стол. Да господа что-то не рассудили обедать дома, в гости пошли. «Диковина, право,— говорит кухарка сама с собой,— нынче к себе бы гостей надо ждать,— давеча дрова стрекотали и Васька замывал вот с этой стороны,— я так и думала: быть гостям, ан нет. Поди ты, случай какой! Ну, да и то сказать: хлопот меньше. Хоть отдохну маленько».

И с этим намерением кухарка опускается на свою постель. Проходит несколько минут. Но что теперь за сон! Разве самоварчик поставить? Хорошо бы этак пропустить чашечку-другую, да воды нет, а в лавочку идти не хочется*. Ну, так и быть... «Охо-хо,— кухарка зевает.— Грехи наши тяжкие. Все в суете да в маяте, живешь не как человек, и лба некогда перекрестить». (Следует продолжительное молчание, и думы о суете житейской сменяются мимолетными воспоминаниями о недавнем путешествии на рынок, о свежих новостях, слышанных в лавочке, и тому подобном.) Наконец, это состояние полусна наскучивает кухарке, слышит она, что на дворе раздаются чьи-то голоса, с улицы доносятся крики разносчиков, стук экипажей, солнце весело глядит в окно кухни, на хозяйских часах пробило два,— кухарка решается. «Что это взаправду я разлежалась,— говорит она,— не целый же день ходить такою неряхой! Хоть умоюсь да платье переменю: ведь нынче праздник».

Сказано — сделано. Мы не будем входить в подробности туалета кухарки и раскрывать тайны ее наряда. Довольно сказать, что, употребив на свою особу несколько ковшей воды, прибегнув к помощи чего-то, бережно спрятанного в двухвершковое зеркальце, кухарка

изменяется совершенно. Точно сказочный Иванушка-дурачок, который, бывало, влезет в одно ухо сивки-бурки вещей каурки дурнем и неряхой и выйдет из другого молодец-молодцом,— так и кухарка, снарядившись, молодеет на десять лет, прибавляет себе красы столько, что и узнать ее нельзя. Та ли это Акулина, которая давеча, раскрасневшись от жару, со следами хлопот около печки на лице и на руках, с засученными по локоть рукавами, в затасканном фартуке, суетилась за стряпней? Та ли это Акулина, которая, накинув на плечи старую кацавейку, бежала утром на рынок и потом, вовсе не грациозно склонившись набок, несла из лавочки ведро воды и кулек с угольями? Нет, она переродилась, лицо ее побелело, на щеках появился румянец первого сорта, на голове кокетливо повязана шелковая косынка, из-под которой еще кокетливее выказываются косички волос, лоснящиеся, как стекло; новое ситцевое платье резко бросается в глаза яркостью цветов и пестротою узоров; на плечах, сверх платка, обнимающего шею, накинута удивительная красная или голубая шаль, такого ослепительного цвета, какой только может произвесть искусство купавинских фабрикантов*, шаль, которую и можно встретить единственно на кухарках; а что за башмаки у Акулины Ивановны! Козловые, со скрипом, который слышен издалека, деланы на заказ, заплачены три четвертака, и просторны до того, что надевай хоть три пары чулок, а в них еще найдется место для ножки какой-нибудь барышни, вскормленной на булочках и сливках. Такие башмаки и шьются только для одной Акулины Ивановны с подругами и составляют предмет тайной зависти для многих подмосковных «умниц», которые щеголяют в котах* с красною оторочкой и с медными подковками.

Кухарка охорашивается еще раз перед зеркальцем, приглаживает косички, берет в руки вчетверо сложенный белый миткалевый платок и стоит несколько минут, полная сознания собственных прелестей, любуясь ими, а еще больше ослепительным своим нарядом, и в маленьком раздумье, что ей теперь делать. Ведь она уж не просто кухарка, а подымай выше, не целый век возилась с горшками да с ухватами, а также видала добрых людей и от них не отстала; и летами еще не перестарок какой-нибудь: всего-то...

Но лета кухарки более или менее покрыты для зрителя мраком неизвестности, и наше дело сторона.

Вот и принарядилась Акулина Ивановна и сама знает, что стала не хуже других, да все-таки чего-то недостает ей для полноты счастья. А чего бы именно? Полюбоваться ею некому, ласковое слово сказать, что вот, дескать, точно принцесса какая, Мириктриса Кирбитьевна*, а не Акулина Ивановна... Сидишь в четырех стенах, и живой души нет кругом тебя. Одна-одинехонька. Ты да Васька только и живете в кухне; да что Васька — кошка, как есть кошка, и понятия никакого не имеет...

Но пока эти думы носились в воображении кухарки, ее любимец Васька, все время нежившийся на окне против солнышка, вспомнил ли он вследствие требований желудка, что в эту пору обыкновенно накрывают на стол, с которого ему всегда сходит подачка, или среди

сонных грез какой-то тайный голос шепнул ему, что кухарка имеет не слишком выгодное мнение о его понятливости,— неизвестно, по какой из этих двух причин, только Васька встал, живописно сгорбился, потянулся лапками, замурлыкал и сел, любопытно устремив глаза на разряженную свою хозяйку. Что он любовался ею, созерцал красную шаль и казистое платье,— это было видно из его взглядов и свидетельствовало о развитом в нем чувстве изящного. К сожалению, Акулине Ивановне некогда было обратить внимание на эту кошачью любезность и вознаградить за нее Ваську куском говядины или хотя погладить по голове. Недоумения ее кончились, она решилась поступить точно так же, как поступала всегда в подобных случаях: если нельзя идти со двора, то очень можно побывать на дворе; нельзя оставить дом, но выйти из кухни никто не мешает. Дело в том, что необходимо «людей посмотреть, себя показать».

И вот она на крыльце. Яркость ее наряда спорит с блеском лучей солнца; башмаки скрипят на славу; кончики головной косынки распущены необыкновенно ловко. Но на дворе нет никого. Верно, все обедают или отдыхают после обеда. Нет ни Маланьи, кухарки, что живет в верхнем этаже, у старика-француза, и умеет говорить по-немецкому; ни Прасковьи, которая нянчит детей у Петра Ивановича и за что-то каждый день ссорится с своей дородною барыней; не видать и Аксиньи, которая недавно сшила себе салоп; нет и повара Ивана, что нанимается у Чувашиных во флигеле и всякий раз обсчитывает своего барина, даром, что тот сам — пальца в рот не клади; и кучер Матвей, верно, завалился где-нибудь на сеннике... Нет никого! В другом доме хоть бы за ворота вышла, немножко развлекла бы тоску-скуку; а здесь нельзя: проезжая улица, скажут, что, мол, за вывеска такая стоит. Надо же и амбицию знать.

Скучно!.. Что ни думай, что ни делай — скучно. Нечем себя рассеять. Хоть бы орешками позабавиться, да орехов-то нет. Да и что орехи: ведь это вот на гулянье их очень приятно грызть, а одной-то и всласть не пойдет... Скучно!.. Да что же это такое? «С горя хлеба не лишиться, со печали жизни не решиться», и кухарка, усевшись на крыльце и приложив ладонь к щеке, вдруг затягивает:

Отлетает мой соколик
Из очей моих, из глаз...

Недолго, однако, тянется одиночество кухарки; в награду за песню и за перенесенную скуку судьба посылает ей кого-нибудь для компании. Обыкновенно прежде всех является кучер, питающий большое сочувствие к особе кухарки и преимущественно к ее заунывной песне, распеваемой самым пронзительным голосом.

Заснул он было сном богатырским, да мухи помешали сладкому отдыху, а далеко разносившийся голос песни окончательно решил спор между желанием потянуться еще полчасика и удовольствием покалякать с хорошим человеком. «Сон не уйдет, а тут приятство и все этакое может случиться: ишь ты, как закатывает Акулина»,— основательно подумал кучер, задетый кухаркиною песнею за самую чувствительную сторону своего сердца и любви к вокальной музыке. Надел

он плисовое полукафтанье, набил крепчайшею махоркою трубку, закурил ее и медленными шагами отправился на призывный голос.

Кухарка продолжала заливаться все звончее и звончее; одиночество и скука довели ее до патетического одушевления...

— А, наше вам! С праздником,— молвил кучер, слегка приподнимая картуз.

— Также и вас. Садитесь на чем стоите,— отвечала Акулина Ивановна, захохотала своей остроте и потом продолжала петь:

Уж ты, злодей, варвар ты, разбойник,
Прострелил ты пистолетом грудь мою...

Кучер остался очень доволен и чувствительными словами песни и наружностью кухарки. Песня хорошая, не мужицкая какая-нибудь, и сам он частенько поет ее тоненьким голоском, посиживая на козлах и дожидаясь господ. Акулина тоже баба славная: и с поведеньем, и с политикой. Собой... что ж, и собой ничего. Шаль-то какую надела — ахти мне! Да шаль-то что — шаль ничего, сама по себе; а ты вот приди к ней о празднике, как пироги пекут: ведь какую середку откромсает тебе: «На, говорит, Матвей, продовольствуйся, у нас этого всегда остается», да еще и чаем напоит. Известно, не то чтоб не видали мы эвтого, а ласка, приятство, уважение — вот это дорого... Словом, кучер остался очень доволен и, пуская струйки зловонного дыма, собирался сказать какую-нибудь любезность.

Акулина Ивановна, с своей стороны, была очень тоже довольна и приходом Матвея, и его нарядом. Не могла она не заметить, что на нем красная александрийская рубашка с иголочки, плисовое полукафтанье без рукавов (для легкости) и новые сапоги с голенищами чуть ли не до колен; серьга, продетая в левое ухо Матвея, и павлинье перо, торчавшее на картузе, тоже приятно останавливали ее внимание. Про наружность и говорить нечего: кучер, как следует быть кучеру. Не могла она притом не вспомнить, что Матвей очень хороший человек, не такой, как другие озорники бывают. Случится досуг, он и дров тебе принесет, и сапоги барину почистит; ну, и насчет всего прочего... Стало быть, и кухарка была очень довольна кучером, но сказать ему какую-нибудь любезность не была расположена, вполне понимая, по свойственной всему прекрасному полу тактике, что все выгоды разговора на ее стороне. Итак, думая и ожидая любезничанья, она не переставала наполнять воздух раздирательными звуками своей песни.

Кучер между тем надумался, что следует сказать голосистой Акулине Ивановне.

— Ишь ты, какие штуки откалываешь! Ах, чтоб тебе!..

И, сказав это, он шлепнул кухарку по плечу, что, по его мнению, означало очень большую любезность.

Кухарка не отвечала ничего, но довольно больно ударила своего кавалера по руке, вероятно, полагая, что и это любезность с ее стороны. Кучер, по-видимому, был тоже этого мнения, потому что на лице его показалась самодовольно-радостная улыбка, и он располагался отпустить еще какую-нибудь «штучку».

Конечно, со стороны могли бы заметить, что подобные выходки неприличны, что с прекрасным полом следует обращаться совсем иначе, соблюдать учтивость, политику вести. Но что же на кучере и взыскивать! Лакеи, например, или другие должностные лица, занимающиеся службою в барских комнатах, они в этом отношении не могут подвергнуться ни малейшему упреку: и обхождение у них галантерейное, и комплименты всякие есть, и красноречия пропасть. Но ведь им и есть где заняться и наслушаться хороших речей — они обращаются в сфере высшего света. Ну, а круг кучерской деятельности известно какой...

— Ваших, знать, дома нет?— спросил кучер после нескольких минут молчания, в которые, по-видимому, ему не удалось придумать никакой любезности.

— Ушли в гости. А ваши?

— Дома. Да мне что: я свое дело справил, так мне сполагоря.

Кухарка перестает петь и грациозно обмахивает свое лицо миткалевым платком. Кучер молодцевато поправляет картуз, подпирается одной рукой в бок и значительным тоном произносит такие многозначительные слова:

— А что, Акулина Ивановна, разве хватить нам куражного? Как вы располагаетесь? Жара такая, что мочи нет.

— Чего это вы?

— Да так, по маленькой, по шкальчику. Я мигом слетаю.

— Благодарим покорно. Мы уж пообедали.

— Что ж за важность, что пообедали. Лишь бы во здравие пошло. Это не что-нибудь другое. Я сам, признаться, перехватил кусочек, да для компанства завсегда приятно выпить. А одному что-то не куражно, петиту совсем нет.

— Нет, не хочется, в душу не пойдет.

— Ну, орешками позабавиться?

— Орехи ничего, это можно.

За такую, уже настоящую, несомненную любезность кухарка дарит щедрого кучера взглядом, описать который нет никакой возможности.

Приносятся орехи, начинается щелканье, являются новые собеседники — и Маланья, и Прасковья, и все хорошие люди, кто только есть в доме, которые любят компанство. Заводится самый одушевленный разговор, пересыпается из пустого в порожнее, обсуживаются поступки хозяев, безапелляционно решается, кто добрый и кто нехороший человек, кому давно на тот свет пора и кому дай бог много лет здравствовать... Все это любопытно и поучительно. Но вот, наконец, удостоивает беседу своим посещением и повар, тот самый, который ухитряется каждый день обсчитывать своего барина. Он одевается франтом, курит папироски, водит знакомство с княжескими поварами и прочею лакейскою знатью и сам знает себе цену.

— Банжур[1], гутморген[2], мамзель Лизет,— говорит он, обращаясь

---

[1] Банжур (*фр.* bonjour) — здравствуйте.— *Ред.*

[2] Гутморген (*нем.* guten Morgen) — доброе утро.— *Ред.*

к смазливой горничной, прелести которой затронули его франтовское сердце.— Салфет вашей милости, красота вашей чести.

— Мерси-с[1],— отвечает образованная горничная, улыбаясь не менее образованному своему поклоннику.

Он отпускает еще какую-нибудь любезность, в минуту становится душою общества, затмевает всех мужчин (если таковые имеются налицо) и приводит в восторг весь прекрасный пол, начиная от смазливой горничной до Акулины Ивановны включительно. Если обстоятельства благоприятны, заводится хоровод, и веселье тянется до той поры, пока служебные обязанности не позовут участников компании восвояси или пока не настанет ночь...

Акулина Ивановна ложится спать с самыми приятными ощущениями, и, вероятно, ей грезятся очень хорошие сновидения.

Еще довольнее собою, еще счастливее бывает она, когда отпросится у своих хозяев «со двора». Это случается не каждый месяц, потому что путешествие кухарки «со двора» редко продолжается менее дня. Во-первых, она идет (разумеется, разряженная в пух) по какому-нибудь делу; потом ей надобно навестить двух или трех знакомых, куму, а иногда и кума; наконец, если день праздничный, необходимо побывать на гулянье (особенным предпочтением кухарки пользуются Марьина роща и Новинское). У знакомок и у кумы кухарка напьется чайку и не откажется от чего-нибудь другого, более основательно действующего на сердце и на голову. На гулянье она покачается на качелях, распевая песни, погрызет орешков, посмотрит на добрых людей, на комедии и иногда сведет очень приятное знакомство. Домой вернется она поздненько, немножко навеселе, и в это время благоразумная хозяйка не должна делать ей никаких замечаний касательно продолжительного отсутствия или «растрепанных чувств» (выражение кухарки). Иначе эта последняя тут же потребует расчета или чересчур выйдет из пределов должного уважения к особе хозяйки.

Познакомившись с отдельными чертами быта кухарки, необходимо бросить взгляд и на ее биографию.

В известной бумаге токмо значится, что кухарка такая-то, стольких-то лет, наделена от природы темно-русыми или другими какими волосами, такими-то глазами и прочее, а особых примет не имеет. Какой же материал для ее биографии может составиться из этих сведений? Где ключ от загадочного ее происхождения? Где родилась кухарка, какую должность исправляла она, прежде чем приняла на себя стряпательные обязанности? Кто знает это? Может быть, была у ней и молодость, полная желаний и ожиданий суженого; являлся этот суженый, брал за себя душу-девицу, жил с ней медовый месяц, как голубь с голубкою, потом похолоднее, потом начал слишком придерживаться чарочки, а наконец, и угодил под красную шапку*. Дал ему бог талант, да не умел он им владать; знал он мастерство золотое, да стало оно у него хуже самого последнего. Куда деваться, куда голову приклонить? Было свое хозяйство, умела она распорядиться домом, сошьет, бывало, все, что нужно, и себе, и мужу, состряпает какое угодно кушанье; ну, а теперь что поделаешь? Жить трудами рук — не к тому готовили ее отец с матерью. В няньки идти — своих детей бог не

[1] Мерси (*фр.* merci) — спасибо.— *Ред.*

дал, так сумею ли ухаживать за чужими? А вот, под этот раз и находится добрый человек, соседка какая-нибудь; говорит она одинокой, что есть хорошее место для нее, восемь рублей в месяц жалованья дают, окромя подарков, хозяева хорошие, из купечества, семья небольшая: ступай, Акулина. «Да как же это? Я, право, не знаю, в чужих людях никогда не живала,— говорит Акулина в нерешимости.— Пожалуй, строгости пойдут разные, взыски... Да, может статься, я не сумею и работу такую делать...»— «Э, какая тут работа!— возражает соседка.— Известно, состряпать, что нужно, да прислужить — и все тут. Не ты первая, не ты последняя, бывали и получше тебя». И Акулина склоняется на такие убедительные доводы и нанимается в кухарки к «хорошим людям из купечества».

Сначала куда как дико кажется ей на новом, небывалом месте. И вставать надобно рано, и ко вкусу хозяйки приноровиться,и хозяину потрафить, и маленьких деток его уважить. Нечем важничать: кухарка ты, и на твое место двадцать человек пойдут с охотою. И мало-помалу привыкает Акулина, и года через два окухаривается до того, что не всякий из прежних знакомых узнает ее... А еще через годик она ссорится за что-нибудь с своими хозяевами и переходит на другое место, с которого спустя более или менее непродолжительное время перебегает на третье, на четвертое, и так далее, до той поры, когда мы встречаем ее у барина, что ездит по домам уроки задавать, и где она уже не прочь выслушивать любезности кучера Матвея...

А бывает, даже еще чаще, так, что какая-нибудь подмосковная умница, разлучившись с мужем, идет, по милости лихого свекра и золовок, что поедом ее едят,— идет в матушку-Москву отыскивать себе место и трудового куска хлеба, которым не кололи бы ей глаза. Выходит ей место в шпульницы на фабрику, зовут ее и в пололки, вот и кондитер нанимает баб на лето чистить ягоды для варенья, и немец ищет народу для переборки шерсти: да, кажись, места-то эти все непрочные. Лучше послушаться совета земляка, у которого есть пряничный курень и артель мастеровых,— пойти к нему в кухарки. И идет наша Маланья к пряничнику, намосквичивается, набирается столичного духа — и окухаривается.

А то бывает и так. Был у Аксиньи горе-муж Григорий, хозяйствовал он когда-то, потом маленько сшибся, пошел в работники, мастерство его вышло из моды, стало упадать, квартиру жене не из чего нанимать, а на улице жить не станешь, пить-есть тоже надо, и идет Аксинья в кухарки, с мужем видается только по праздникам, снабжает его деньгами на похмелье, а иногда и сапоги ему купит, и рубашку ситцевую сошьет. Нельзя иначе: врозь живут, а свой своему поневоле друг.

В кухарки нанимается и вдова круглая, у которой мужа бог взял, а близких родных нет никого.

В кухарки идет и та молодица, которая неизвестно куда прожила свои цветущие лета и красу, зазнобившую не одно сердце. Провела ли она бурную молодость или сгубил ее какой лиходей,— того не знает никто, да и сама она едва ли помнит все, что было с нею лет за десять тому, пока она не сделалась кухаркой. Много воды утекло с того

времени, и тяжело крушить себя воспоминаниями о том, чего не воротишь... Кухарки этого сорта носят довольно благозвучные имена.

Бывают еще кухарки и других сортов, других подразделений, из подразделений-то случаются даже исключения; но главные категории их все-таки именно те самые, о которых мы сейчас говорили.

Почему все они делаются кухарками, а не чем-нибудь другим, почему не ищут более почетных и прибыльных должностей — трудно определить. Знать, так на роду написано. Сказала судьба, положим, хоть Акулине Ивановне: «Вот, дескать, ты женщина работящая, домовитая, надобно дать тебе какое-нибудь дело, чтоб не пропала ты со скуки, не тяготила землю даром; будь же ты кухаркой». И стала Акулина кухаркой, и сотни подруг ее, на том же основании, пошли тою же дорогою. С судьбою спорить не станешь.

Но дело не в том, не в борьбе с судьбой. Замечательно, что из какого бы житейского моря ни вынесли кухарку волны обстоятельств на стряпательное поприще, всегда она бывает в одинаковой поре, не молодых и не старых лет, а как должно быть кухарке, от тридцати до сорока, с большею или меньшею моложавостью на лице, с большим или меньшим расположением приобрести приличную дородность, смотря по тому, какая линия в жизни пройдет. Огонь ли закаляет их от влияния времени, от бурь и треволнений житейских, или так надобно тому быть — право, не знаю. По крайней мере, встретить очень молодую кухарку или преклонных лет — чрезвычайная редкость. Кухарка-старуха, разумеется, недолго наживет на месте: и хозяева не совсем довольны ею, да и ей-то работа становится уж не под силу — и идет старушка жить к подростку-внучку, который сам говорит, что бабушка не объест его хлебом... Попадись молодая кухарка — ветер у нее в голове ходит, не установится она на одном месте, увлекают ее с этого пути на разные дороги то собственная воля, то чужие советы да обманы.

А бывает и так. Живет, например, какая-нибудь Федосья, девка кровь с молоком, и ни в чем дурном не замечена, живет она у какого-нибудь Евтихия Ивановича, у которого нет ни жены, ни родных, а имеется кой-какой благоприобретенный достаточек,— получает пять рублей в месяц жалования (потому, что Евтихий Иванович скуповат немножко), заменяет ему лакея, а подчас и дворника, удивительно умеет угодить на его вкус, приноровиться к нему... Крепко привязывается к ней Евтихий Иванович, по врожденной скупости ссорится иногда с единственною своею прислугою, пытается даже отослать ее,— но привычка — вторая натура, и видит он, что без Федосьи существование его не полно, что одиночке скучно жить на свете. Сбирался он было жениться, да свахи все надувают, показывают невест с изъяном или не тот товар, какой сулили; посвататься самому — духа не хватает, робость берет, чуть только взглянешь на какую-нибудь расфранченную барышню... Да и что думать об этих барышнях: смолоду не было судьбы, а теперь, как начала побаливать поясница и на голове появилось что-то сияющее, круглое, величиною в старинный пятак,— теперь и подавно нечего думать о какой-нибудь девице Берендеевой или Вахрамеевой, за которую чадолюбивые родители пла-

тили в пансион по двести целковых в год. Женишься, пожалуй, возьмешь без приданого, так она и разорит тебя, по собраниям да по театрам станет ездить, и выйдет что-нибудь нехорошее, чего бы, кажется, и ожидать нельзя от такого милого существа... Ну, как же расположить свое житье-бытье? Сказано, что человек слаб, а окружающий его соблазн силен... И вот, неизвестно через сколько времени после прибытия Федосьи в дом Евтихия Ивановича, повторяется сцена вроде той, какую вы, вероятно, видели на картине одного даровитого художника*, выставленной года два тому назад в Москве. А спустя несколько лет где-нибудь в Замоскворечье или в уединенной улице близ Камер-Коллежского вала вырастает уютный домик, на воротах которого значится: *такой-то* (бывшей Федосьи).

Наша *ex*-кухарка теперь сама себе госпожа; хотя она по-прежнему ухаживает за Евтихием Ивановичем, называет его своим «момочкой», бережно укутывает для защиты от простуды, лакомит вареньями и соленьями собственного производства, но все эти супружеские нежности не мешают бывшей Федосье держать Евтихия Ивановича в руках, особенно когда он вздумает увлечься воспоминаниями молодости. Надобно еще заметить, что его супруга очень разборчива в выборе кухарок и горничных, строго смотрит за их нравственностью и, как на редкость, нанимает таких, что нет ни у одной ни кожи, ни рожи...

Впрочем, ведь это исключение, и довольно редкое. Зачем же так долго останавливаться на нем и не лучше ли будет обратиться к общим правилам...

В один прекрасный день на какой-нибудь из московских улиц вы встретите следующую сцену. Тихим шагом едет ломовой извозчик; легко нагружен его воз, легко и оригинально: на тюфяке или на перине возвышается небольшой сундук, а на сундуке посиживает женщина в салопе или (смотря по погоде) в красной шали и держит в руках либо самовар небольшого объема, либо горшок герани. Это переезжает кухарка с места на место и, подобно одному древнему философу, может сказать: omnia mea mecum porto — «все мое при мне», потому что нажитое годами и трудами имущество ее заключается в сундучке, на котором посиживает она, равнодушно поглядывая кругом, на прохожих и проезжих, что мелькают перед нею, на улицы и дома, которые придется миновать ей, пока не достигнет она цели своего путешествия — места у новых хозяев или уголка в каморке, который надобно нанять, пока не отыщется теплое местечко.

Зачем же, Акулина, отошла ты от прежних хозяев? Чем было не место? Жила бы ты да жила, наживала бы себе привязанность хороших людей и копейку на черный день!.. А то ведь почем знаешь, каковы-то будут новые хозяева,— пожалуй, не пришлось бы потужить и о прежних; да хорошо еще, как едешь ты прямо на место, а не угол нанимать приходится. Разочти-ка, во что обойдется тебе свое собственное хозяйство. За угол заплатишь ты, по крайней мере, два с полтиной (по твоему счету, на ассигнации); пить-есть надо, и чаек ты привыкла попивать всегда два раза в день; случится, завернет к тебе знакомка, на ту пору также без места, и ее ты напоишь чайком, а еще, пожалуй, вздумаете с горя и по рюмочке выпить; а все это счет да счет, из твоего

кармана-то вон да вон. Проходит месяц-другой, и как ни грустно тебе менять заветную бумажку, бережно спрятанную в самом потайном месте сундука, а делать нечего, достаешь ты ее и размениваешь...

Почти каждый день отправляешься ты на *вольное место*[1], в надежде, не наймут ли тебя; но не всегда скоро сбывается эта надежда, и не одна ты простоишь понапрасну в ожидании наемщика, по крайней мере такого, который давал бы настоящую цену, а не какой-нибудь целковый либо полтора в месяц: «Мне,— говорит,— хоть попроще, деревенскую бабу, да подешевле...» Прослышишь ты случайно, что вот в таком-то месте требуется кухарка,— идешь туда, а там уже успели нанять. Рекомендует тебя какой-нибудь старинный кум или так хороший человек к какому-то барину; не нравится тебе рекомендованное место, кажется трудновато, либо в цене не сойдешься, и сидишь ты опять — не у моря, а в наемном уголку, ждешь не погоды, а местечка.

А накопленные денежки все убывают да убывают, и от заветной бумажки, которая еще не так давно составляла для тебя предмет тайной гордости и самых приятных мечтаний, от нее остается небольшое количество мелочи. И спустя еще немного времени принуждена ты нести в заклад свою любезную красную шаль и тогда уже рада какому-нибудь месту...

Зачем же, Акулина, довела ты себя до такого стесненного положения, зачем сошла с насиженного места? Мало ли «резонов» найдет она в ответ на эти вопросы; то сошлется на пословицу: «рыба, дескать, ищет где глубже, а человек — где лучше»; то скажет: «чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу»; или: «грех да беда на ком не живут»; или выставит такие доводы, почему ей нельзя было не отойти от места, что житейскою основательностью их не убедится разве только один закоренелый скептик. В числе этих доводов чаще встречается обстоятельство, что хозяева «прогорели», из покоев переехали в комнатку; а реже всего, особенно с настоящею кухаркою, случаи, когда ей необходимо месяца два пожить где-нибудь в укромном захолустье. ... Последние случаи составляют сердечную тайну кухарки, и нам не годится обнаруживать их...

Как бы то ни было, на какие бы причины ни ссылалась Акулина Ивановна, на поверку все-таки выходит, что она любит переселения из дому в дом, что ее точно магнитом каким тянет от одних хозяев к другим, и не живется ей долго на одном месте. Люди, которые имеют привычку глубоко вникать во всякое явление, анализировать его, объяснят, может быть, эту черту в быте кухарки жаждою новых впечатлений, любознательным желанием изучать жизнь в различных ее проявлениях: не пускаясь так далеко, я могу сказать лишь то, что кухарка, которая прожила бы на одном месте пять лет, заслуживает почетной награды хозяев,— и средний срок в этом случае для всех Акулин Ивановен редко превышает два года.

---

[1] Для немосквичей надобно заметить, что так называется место, где собирается в ожидании найма прислуга разного рода. Таких сборных мест в Москве два: на Новой площади (существующее исстари) и у Варварских ворот, где кроме домашней прислуги всегда можно найти толпы чернорабочих. Кухарки предпочитают Площадь.

Переходя с места на место, от одних хозяев к другим, в каком быту не наживется кухарка, чего не насмотрится!

Начинает она, положим, с артели фабричных. Здесь ей выгодное жалованье, носка дров и воды лежит на очередных дневальных, в стряпне не спрашивается никак разносолов; но зато уж и придется постряпать; щи и каша варятся не в горшках, а в котлах громадного объема; ранним утром надобно сварить какое-нибудь хлебово к завтраку, а обед с ужином идут своим чередом. Вследствие ли этих трудов или особенного расположения кухарки к какому-нибудь молодцеватому парню (из-за чего возникают справедливые укоры и ревность со стороны товарищей отличенного предпочтением), или по другим причинам,— только кухарка недолго наживает на фабрике, тем более, что служба здесь составляет большею частью еще только первый дебют ее, и она поступает на другое место.

Переходит она к артели разносчиков, которые сообща нанимают себе и квартиру и стряпуху. Здесь повторяется почти та же самая история.

Покидает кухарка и балагуров-разносчиков и через чью-нибудь протекцию определяется в купеческий дом. Здесь она постигает все тайны домашнего хозяйства и выучивается печь удивительную кулебяку. Смотря по характеру, темпераменту и большей или меньшей свычке с столичными обычаями, кухарка живет или в ладах с прочею прислугою дома (горничной, кормилицей и нянькой), или ссорится с ними зуб за зуб. Только к тому, кто холит хозяйских рысаков, она почти всегда чувствует невольное влечение.

Пожила кухарка у купца, очутилась потом и у господ. В эту эпоху кухонные ее познания приближаются к искусству повара, и ей становятся не чужды разные заморские названия супов и соусов, хотя она переиначивает их по-своему.

Семья аккуратного немца, небогатый чиновник, зажиточный мастеровой, барин — так из благородных, вдова, которая держит нахлебников, старый холостяк, грек или армянин,— у всех этих лиц, с различными видоизменениями, по нескольку раз поживет кухарка, и всех оставит, чтобы перейти к новому, у которого еще не приходилось ей жить, или к кому-нибудь из числа тех, с чьим бытом она уже ознакомилась.

По краткости времени житья кухарки, по ее непосидчивости редко где привязываются к ней тою приязнью, какая достается на долю другим членам домашней прислуги; редко где кухарка оставляет по себе продолжительное воспоминание, да и то ограничивается большею частью сравнением с ее преемницами в уменье стряпать и служить. И сама она одинаково равнодушно расстается почти с каждым домом,— и как горячо принимает к сердцу на первых порах те маленькие невзгоды, какие случалось ей перенести в этом доме, так же легко забывает и те приятности (относительно лакомого куска и чашки чаю), которые видела от хозяев его.

Равнодушие с обеих сторон,— и разве только на минуту прервется оно, когда где-нибудь на гулянье встретятся кухарка и ее бывшие хозяева. «А, да это наша Акулина!»— скажет барыня, кивнув голо-

вою в ответ на поклон прежней своей стряпательницы; промолвит еще два-три слова, да и пойдет дальше под ручку с своим мужем. А кухарка пытливо посмотрит ей вслед, насмешливо улыбнется и проговорит сквозь зубы: «Ишь ты как раздобрела, не такая была!»— скажет это, да и отправится на качели с каким-нибудь подвернувшимся на ту пору кавалером. Тем и кончится эта встреча людей, которые когда-то были близки друг другу.

Но барыня знала, вероятно, одну только внешнюю сторону жизни кухарки, внутренней, может быть, даже и не подозревала в ней. А кухарка была невольною свидетельницей всех семейных историй, из которых иные, ограничиваясь четырьмя стенами, не переходя за порог дома, разыгрываются иногда сильнее и поразительнее всех драм, какие мы смотрим на театральной сцене; кухарка видела и знала все эти мелкие житейские огорчения, которые, как микроскопические насекомые, подтачивающие крепкий дуб, вконец обессиливают самую твердую волю и ожесточают самое мягкое сердце. Кухарка знала, отчего ее молодая хозяйка плачет тайком и какая забота заставляет мужа, что души не видел в ней перед свадьбой, возвращаться домой зá полночь. Ей известно, куда хозяин девал деньги, когда сказал, что потерял их, и три дня ходил точно сам не свой. От ее глаз не укрылась та сцена, когда влюбленный и нежный супруг страшно грозил своей обожаемой супруге, не соглашавшейся подписать какую-то бумагу. Кухарка видела... мало ли что она видела, да молчала: «не мое, дескать, дело». С одной стороны, перед нею проходили семейные драмы и трагедии, с другой — комедии, водевили, и все это исчезло, исчезает, сменяется одно другим, забывается среди ее частых перекочевок с места на место, перекочевок, продолжающихся до той поры, пока судьба не скажет: «Ну, будет, послужила ты на своему веку, пора и на покой!..»



КОММЕНТАРИИ

АЛЬМАНАХ А. П. БАШУЦКОГО «НАШИ, СПИСАННЫЕ С НАТУРЫ РУССКИМИ». Спб., 1841—1842

ВОДОВОЗ

Тютюн (укр.) — самый простой табак.
Бачка (татар.) — господин.
...склонив к лядвеям туловище... — т. е. склонив к ляжкам.
Летучая мазь — наружное средство для втираний и компрессов.
Синяя — ассигнация достоинством в пять рублей.
...из шабров... Шабер *(обл.)* — сосед.
...могли иметь мебель boule или Pompadour. — Речь идет о дорогой мебели; название boule связано с именем крупного французского мебельного мастера XVIII в. А. Ш. Буля; pompadour — стиль отличающийся пышностью; назван по имени известной фаворитки французского короля Людовика XV мадам де Помпадур.
...Растораций... — слово, означающее всякое питейное заведение. В предлагаемых очерках встретятся его варианты: растеряция и др.
...с опасностью живота... — т. е. с опасностью для жизни.
Анкер (голл.), анкерок, ангерка — деревянный бочонок вместимостью до 50 литров.
...наказать при полиции! — Речь идет о телесных наказаниях крепостных, совершаемых в полиции, в «части».
Экарте (фр.), палки, шорт-уист (англ.) — названия карточных игр.
...бойко лансадировала (от *фр.* lancer — пустить(ся) — пускалась в галоп.
Гиг — двухколесный экипаж, запрягаемый в одну лошадь; сиденье для слуги было сзади.
...на двойке спустил все... — проиграл в карты; «двойка» — игральная карта.
...tulle-illusion — род тюля.
Франциск I (1494—1547) — французский король.

БАРЫШНЯ

...вышивала fond княгининой работы... — т. е. делала фон, основу, на которую потом наносился узор.
Обшивни — пошевни, розвальни, широкие сани или малые сани, обшитые лубом, с высокой спинкой.
Причет (или причт) — церковнослужители одного прихода.
После Святой недели... — т. е. после пасхальной недели.

ГРОБОВОЙ МАСТЕР

Шевроны — нашивки из галуна на рукавах форменной одежды в царской армии для обозначения званий и числа лет службы.
...напойкою бобкового... — т. е. понюшкой табаку.
...рисовальщиков вроде парижских Монье, Шарле, Жигу... — Имеются в виду французские художники: Ж. Л. Монье (1746—1808), Н. Т. Шарле (1792—1845), Ж. Ф. Жигу (1806—?).
Го-сотерн — сорт французского вина.
...ароматную мокку... — Мокко — один из лучших сортов кофе.
...была открыта Physiologie du goût... — Речь идет о «Физиологии вкуса», сочинении французского писателя Бриллат-Саварена (1755—1826) — см. вступит. статью.
Басон — тесьма для нашивок на одежду и для обивки; бахрома, плетеные украшения на погребальных предметах.
Крари (искаж. от *нем.* Крарреп, Крерреп или *фр.* crêpe) — креп.
...и в климатерических переходах... — Имеются в виду так называемые климатерические годы человека — каждый седьмой или девятый год, определяющий один из возрастов.

...разболтанною в воде мумией...— Мумия — бурая или красная краска.
...с аккуратно поставленным стругом...— Струг — общее название строгальных столярных инструментов.
...берутся на книжку...— т. е. в кредит.
...получит еще беленькую...— Имеется в виду ассигнация достоинством в 25 рублей.
...ни ничтожных амплификаций...— Амплификация — риторическая фигура, многословие, повторение для усиления выразительности высказывания.
...несколько томов «Гербовника»...— «Гербовник» — издание, содержащее изображения и описания дворянских гербов (выходило в 1789—1799 гг.)
Канитель — тонкая металлическая (золотая или серебряная) нить.
...с гродетуровым...— Имеется в виду шелковая ткань, выделываемая во французском городе Туре.
Рюш — обшивка из сборчатой легкой ткани.
Глазет — шелковая ткань с золотой или серебряной основой.
...с золотым десейном...— т. е. с рисунком (от *англ.* design).
Драдедам — легкое сукно, полусукно.
...для кавалерий... — т. е. для наград.
Фестон — украшение, гирлянда, узорчатая кайма.
...собственным коштом...— т. е. на свой счет.
...своей мемории...— т. е. своей записки, памятки.

НЯНЯ

Диви — пусть.
...накануне Светлого праздника...— т. е. накануне пасхи.
...в церковь за воздухами...— так назывались покровы на сосуды со святыми дарами.
...пошла себе плясать качучу...— Это говорится с юмором, с улыбкой. Качуча — испанский танец с кастаньетами.

ЗНАХАРЬ

Хустка, хуста *(укр).* — кусок полотна; платок.
...такой счастливец ничем не уважает...— т. е. ни на кого не обращает внимания.
Десятский — выборное должностное лицо из крестьян, исполнявшее полицейские обязанности в деревне в царской России.
...платье бучу...— Бучить — вымачивать, белить белье или холсты.
Паляничка, паляница — булка, белый пшеничный хлеб, пирог, калач.
...начали почитовать...— т. е. оказывать почет.

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

...в полуденных...— т. е. в южных.
...три по линии, да три на внешней...— Речь идет о распределении казачьего войска в соответствии с различными обязанностями и задачами. Линия — строевое регулярное войско, поселенное на пограничной линии; отсюда название линейных казаков.
Ярыга (обл.) — плавная сеть для ловли красной рыбы.
Чекушить — глушить рыбу по голове большой деревянной колотушкой (чекушей).
Багренье — зимнее рыболовство.
Пешня — лом с рукояткой.
...о всегдашней войне с кайсаками...— т. е. с «сибирскими киргизами», которых тогда называли киргиз-кайсаками.
Винтовка на ражках...— Ражки — ружейные подставки для прицельной стрельбы.
...прихватывая по временам гривки...— определенный способ для усиления удара пикой.
Катаур — верхняя подпруга, чересподсняк, идущий по седлу, сверх подушки.
...хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах...— Речь идет о разных лодках: *косная* — легкая лодка для переезда; *кусовая* — для ловли белуг на «кус» (на кусок); *расшива* — большое парусное судно.
Моряна — морская вода, нагоняемая в устье рек морским приливом или ветром.
Черная рыба — т. е. костистая рыба.
Жеребеек — кусочек, отрезок; отлитая вместо пули «стопочка» (В. Даль).
...яйца мартышек...— Мартин, мартышка — общее название водяных птиц.

...Камыш-Самару с Узеньями...— Узень Большой и Узень Малый — две реки, впадающие в Камыш-Самарские болота.

КАВКАЗЕЦ

Написан М. Ю. Лермонтовым в 1841 (?) г. для альманаха А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими», но не пропущен цензурой. Впервые опубликован по копии несохранившегося автографа в журнале «Минувшие дни», 1929, № 4, с. 22—24. В настоящем томе печатается по изданию: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т., т. 4, М., 1965.
Настоящих кавказцев вы находите на Линии... — Кавказская линия — кордонная линия по рекам Кубани, Тереку, состоявшая из ряда крепостей, укрепленных станиц и поселений.
«Кавказский пленник» — поэма А. С. Пушкина.
Ахалук (или архалук) — полукафтан, поддевка (чаще стеганая).
А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837) — декабрист, известный писатель-романтик, автор кавказских повестей «Аммалат-Бек», «Мулла-Нур» и др.
Уздени — одна из категорий дворянства на Сев. Кавказе, в Кабарде и Дагестане; иногда узденями назывались также на Кавказе «свободные» крестьяне.
Шапсуги — адыгейцы.
...портретом Ермолова...— Речь идет об А. П. Ермолове (1777—1861), который в 1816—1827 гг. был командующим Кавказского корпуса и главнокомандующим в Грузии.
Андийская бурка — дагестанская бурка из овечьей шерсти.

«ОЧЕРКИ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ» П. ВИСТЕНГОФА. М., 1842

КУПЦЫ

...коротенькой бороды [...] *называя ее алажень-франсе.*— Имеется в виду бородка клинышком (алажень — искаж. от *фр.* allongé — продолговатый).
...Санкавская-с...— Речь идет о Е. А. Санковской (1816—1878) — выдающейся русской балерине, танцевавшей в московском Большом театре (в труппе в 1836—1854 гг.).
Мушка, пикет, бостон — карточные игры.
...в Ряды...— Речь идет о торговых рядах.
...платки бор-де-суа...— шелковые платки с каймой.
Марьина роща — в прошлом место гуляний москвичей.

ЧИНОВНИКИ

Эпиграф взят из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 3).
Фризовый — из толстой ворсистой байки.
...клали синицу... — т. е. давали синюю ассигнацию (достоинством в 5 рублей).
...обедает у Шевалье и Будье...— Речь идет о дорогих, «престижных» заведениях.
Го-сотерн — см. коммент. к очерку «Гробовой мастер».
...строит курбеты...— то же, что строит куры.
...«веет ветерок», и арии из «Роберта», и вальсы Страуса...— Речь идет о «репертуаре» тех лет. Имеются в виду: опера немецкого композитора Дж. Мейербера (1791—1864) «Роберт-дьявол» (1831), сочинения И. Штрауса (отца) (1804—1849) — австрийского композитора, скрипача и дирижера, автора вальсов.
...ну, дьявол, толкай во лесах...— т. е. заводи песню «Во лесах».
...читают пчелку...— Имеется в виду «Северная пчела» — газета, выходившая в Петербурге в 1825—1864 гг. Редактором ее был Ф. В. Булгарин, позднее совместно с Н. И. Гречем; в ней печатались рекламы и фельетоны невзыскательного вкуса.
...в Инвалиде...— Речь идет о «Русском Инвалиде» — газете, издававшейся в Петербурге в 1813—1917 гг.
«Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с 1834 по 1865 г.

ЖЕНЩИНЫ

Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).
...девушки с прокормежными видами...— явная ирония: имеются в виду те, которых кормят там, где они гостят.

Бурнус — род верхней женской одежды в старину.
Мармотка (от *фр.* marmotte) — шляпка; головная косынка.
...*к мадам Шарпантье*...— Имеется в виду модный магазин одежды.
...*мусатовскою помадою*...— по имени Мусатова — владельца парфюмерного магазина в Москве.
...*в старинных аттитюдах*...— Аттитюд (*фр.* attitude) — одна из основных поз классического танца.
...*гезеля из аптек*...— Имеются в виду ученики или помощники аптекарей (от *нем.* Geselle — подмастерье).
Блонды (*фр.* blondeur) — шелковые кружева, чаще всего золотистого цвета.
...*из лавки Королева*...— Королев — владелец обувного магазина в Москве.
...*на Трубу*...— т. е. на Трубную площадь; известный в прошлом район Москвы с сомнительной репутацией; приют бедноты и нищих.

ЦЫГАНЫ

...*отвечает стокато*...— Стаккато (*ит.* staccato) — музыкальный термин, означающий «отрывисто», «коротко».
...*бросьте хафку*...— возможно, означает: «не ругайтесь» (от *жарг.* хавыкать — кричать, ругаться).

ИЗВОЗЧИКИ

Пролетка — легкий, с откидным верхом экипаж.
...*справляя их маленькие комиссии*...— т. е. выполняя поручения.
...*известна в Думе*...— Дума — распорядительный орган так называемого городского самоуправления в дореволюционной России (XVIII—XX вв.).
Калиберные дрожки — открытые, долгие, на малых рессорах.

РАЗНОСЧИКИ

Шпанская вишня — один из трех сортов вишни, выращиваемой в те годы в Тульской губернии (два других сорта — «французская» и «владимирская»).

МАЛЬЧИКИ

...*гоняют* [...] *кубари*...— Кубарь — волчок (пустой шар с дырою в боку), вертушка, погоняемая плеткой.

НАЕМНЫЕ ЛЮДИ, КУЧЕРА, ЛАКЕИ

Эпиграф взят из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. I, явл. 2).
...*оставить в передней ваше средство*...— т. е. оставить слугу.

АЛЬМАНАХ «ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА», ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. А. НЕКРАСОВА.
Спб., 1845, ч. 1 и 2

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИК

Впервые опубликован В. И. Далем, псевдоним Казак Луганский, в 1844 г. в «Литературной газете».
...*натешившись этим позорищем*...— Здесь «позорище» (*арх.*) — зрелище.
Титулярный советник — по «Табели о рангах» чиновник 9-го класса.
...*за назем этот*... Назем — то же самое, что навоз.
...*зельцерский кувшин*...— т. е. кувшин для сельтерской воды.
...*от Святой*...— т. е. от Святой недели — см. коммент. к очерку «Барышня».
...*бутылка с богоявленской водой*...— Богоявленская вода, т. е. освященная в праздник Крещения (6 янв. ст. ст.)
...*рядом с Платовым и Блюхером*...— Речь идет о портретах военачальников. М. И. Платов (1751—1818) — войсковой атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. Г. Л. Блюхер (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, участник войны против Наполеона.
...*на съезжую попасть*...— Съезжая — помещение для арестованных при полицейском участке в старой России.
...*и до красненькой*...— Имеется в виду ассигнация достоинством в 10 руб.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Гарусный — хлопчатобумажный.
...первоначальное слово было «шарманка» и произошло от «ширм»... — На самом деле слово шарманка произошло от названия немецкой песенки Charmante Chatarine, которая исполнялась на подобных органчиках.
Пучинелла (от *ит.* Pulcinella) — одна из масок слуги в итальянской комедии.
Й. Ланнер (1801—1843) — австрийский композитор и дирижер. Один из создателей «венского вальса».
Гаер — балаганный шут.
...обойтись посредством платка... — Имеется в виду гоголевская характеристика губернских дам в «Мертвых душах» (т. I, гл.VIII).
...поездки Мальбруга в поход... — В начале XVIII в. английские войска под руководством герцога Мальборо (1650—1722) одержали ряд побед над французами. Французы называли его Мальбрук. Ироническая песня о Мальбруке была распространена в войсках Людовика XIV. В России эта песня, переведенная на русский язык, получила распространение после Отечественной войны 1812 года и уже была, по сути, направлена против Наполеона.
«Торжество Мардохея», «Аман у ног своей любовницы», «Портной в страхе» — образцы широко распространенной лубочной «живописи».
...портрет Кизляр-аги... — Кизляр-ага — главный смотритель гарема турецкого султана.
Лазарони (*ит.* lazzaroni) — итальянский нищий.
«Анекдоты Балакирева» — точнее, «Анекдоты о Балакиреве» — см. «Балакирева, полное собрание анекдотов шута, бывшего при дворе Петра Великого». И. А. Балакирев (1699—1793) — придворный шут Петра I и Анны Иоанновны.
«Козел-бунтовщик, или Машина свадьба» — лубочный роман писателя Н. Базилевича (1841).
...разыгрывать роль Ловласа... — Ловлас, Ловелас — имя главного героя романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748); нарицательное название волокиты, соблазнителя.
Фигляр — фокусник, акробат.
...волтижеры... — от *фр.* voltiger — делать гимнастические упражнения во время езды верхом на лошади.
...является [...] *Кассандром...* — Кассандр (в истории македонский царь IV в. до н. э.) — комический персонаж пьес итальянского театра, уличных представлений и кукольных комедий.
Тамбурин — маленький барабан.
...понюхал березинского... — Березинский — сорт нюхательного табака.
...два моншера... (фр. mon cher — мой дорогой) — здесь: два бездельника. В этом значении слово введено в русскую очерковую литературу И. Панаевым.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТОРОНА

...перечитывая путешествие Дюмон-Дюрвиля... — Ж. С. Дюмон-Дюрвиль (1790—1842) — французский мореплаватель, океанограф, натуралист. Имеется в виду «Всеобщее путешествие вокруг света...», переведенное Н. Полевым (М., 1835). Французское название: J. S. C. Dumont d'Urville. Voyage autour du monde, resumê generale des voyages de decouvertes. Paris, 1834.
Эдукованный (искаж. от *фр.* education — воспитание, образование) — образованный.
...истории Кайданова... — И. К. Кайданов (1782—1843) — профессор истории в Царскосельском (позже — Александровском) лицее, автор многих учебников по истории.
...около Николы Морского... — Имеется в виду церковь в Петербурге на берегу Невы.
...много биржевых дрягилей... — т. е. биржевых извозчиков (от дрягать — корчиться, дергаться).
...с красным бандеролем... — Бандероль — ярлык, бумажная полоса, тесьма.
...это было просто шабли мусо... — Шабли мусо (*фр.* chablis mousseux) — пенистое вино; марка дешевого вина.
...из романов Лафонтена... — А. Г. Ю. Лафонтен (1758—1831) — немецкий романист, автор множества чувствительных произведений.
Щукин двор — место оживленной и разнообразной торговли в Петербурге.
Музыканты были аматеры... (от *фр.* amateur) — т. е. любители.

...кантонисты...— Так в России в 1805—1865 гг. назывались солдатские сыновья, с рождения приписанные к военному ведомству.
Шен, крест (от *фр.* chaine — цепочка и en croix — крестообразно) — цепочка и крест — фигуры кадрили.
Апраксин двор — торговый двор в Петербурге; основан в 1840 г.
...блонды...— см. коммент. к очерку «Женщины».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УГЛЫ

Очерк написан в 1843 г. и являлся одной из глав раннего романа Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843—1847).

Голицы — кожаные рукавицы.
махнул... водой на сомине...— Сомина — большая лодка.
...пеперменты...— Имеются в виду средства от кашля.
Действительный, брат, и кавалер...— т. е. в чине действительного статского советника; кавалер — лицо, награжденное орденом.
...с Измайловым был знаком... к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал...— Имеются в виду А. Е. Измайлов (1779—1831) — баснописец и романист, Г. Р. Державин (1743—1816) — выдающийся русский поэт, М. А. Яковлев (1798—1853) — известный водевилист.
Инде (простореч.) — местами; в другом месте.
Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал...— В. К. Тредьяковский (1703—1768) — русский поэт, писатель, филолог. А. П. Волынский (1689—1740) — русский государственный деятель.
Поэт Петров... состоял при Потемкине...— В. П. Петров (1736—1799) — русский поэт-одописец; Г. А. Потемкин (1739—1791) — русский государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II.
...козырные хлапы...— Хлап *(жарг.)* — игральная карта (валет).
...Манфреду, просившему у неба забвения...— Имеется в виду Манфред — герой одноименной драмы Дж. Байрона (1788—1824) «Манфред» (1817).

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БАЛ

...в милютиных...— Милютин — владелец известного торгового заведения в Петербурге.
...нежели удовольствие изображать семейство аллегорически», т. е. крестом, якорем и пылающим сердцем...— Крест был символом веры, якорь — надежды, пылающее сердце — любви. Именины Веры, Надежды, Любови приходились на один день — 17 сентября по ст. ст.
...в залах английского магазина...— Речь идет о модном магазине в Петербурге.
...за такого елистратишку...— т. е. за коллежского регистратора.
...в день Фрола и Лавра...— 18 августа по ст. ст.
...поют как-то фостонически...— очевидно, от искаж. французских слов: fort (сильно) и ton (тон, звук), т. е. очень громко.
...такой ферлакур...— т. е. любитель ухаживать (от *фр.* faire la cour — откуда в русском языке есть выражение «строить куры»).
...следовало делать балансé...— Балансé (*фр.* balancer) — фигура, движение в танце.
...необходимый... лессе-алле... (от *фр.* laisser-aller — гулять) — здесь: непринужденность и распущенность.
Пармезан (фр. parmesan) — сорт сыра.

СБОРНИК РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕРШИНЫ, ОПИСАННЫЕ Я. БУТКОВЫМ». Спб., кн. 1, 1845, кн. 2, 1846

НАЗИДАТЕЛЬНОЕ СЛОВО О ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕРШИНАХ

...в восторг от Екатерингофского гулянья...— Екатерингоф — парк с загородным дворцом, в окрестностях Петербурга. Там происходили гулянья.

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

...в «Полицейских ведомостях»...— Имеются в виду «Ведомости С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции» — газета, выходившая в Петербурге с середины 1839 г. (первоначально называлась «Ведомости С.-Петербургской городской полиции»).

...и переехать на постоянное жительство на девятую версту... — т. е. оказаться в больнице для умалишенных.
...загнуть угол... — карточный термин.
Понтер — участник карточной игры, делающий ставку против банкомета.
Талия исходила... — т. е. кончалась колода.
Атанде!.. — слово, употреблявшееся в азартных играх в значениях: стой, подожди, я ставлю.
...«свое суждение иметь». — Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 3).
...влиянием углов и транспортов... — Речь идет о карточных терминах.
...со своими Аннами на шее... — Имеется в виду орден святой Анны.
...обедом у Дюме... — Речь идет об одном из самых модных и дорогих ресторанов в Петербурге.
Ономнясь — недавно.
...билет в Итальянскую... — т. е. в Итальянскую оперу.
«Круг Соломонов» — Имеется в виду, скорее всего, «Гадательный круг царя Соломона, или предсказатель будущего в 150 ответах».
...депозиток... — Депозитные билеты, депозитки — бывшие в обороте бумажные знаки; впоследствии заменены кредитными билетами.

ЛЕНТОЧКА

...ленточку! — Речь идет о награде чиновника — ленточке в петлице.

ПОЧТЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

...на мелок... — Играть на мелок — значит, играть в долг; мелок — меловая палочка для записи картежного выигрыша.
...в магазине Смирдина... — А. Ф. Смирдин (1795—1857) — книгопродавец и издатель.
...полуимпериалов... — Империал — русская золотая монета достоинством в десять рублей с копейками (в зависимости от курса).

БИТКА

...под ла-вержет... (*фр.* vergette — веник, метелка) — своеобразная высокая прическа, при которой оставляется чуб, вихор.
...наподобие рук и ног... — Изображение трактирных вывесок явно перекликается с гоголевским описанием (см. т. I, гл. I «Мертвых душ»).
Што Пчелку [...] *подай Полицейскую!* — Речь идет о газете «Северная пчела» (см. коммент. к очерку «Чиновники») и «Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции» (см. коммент. к очерку «Назидательное слово о Петербургских вершинах»).
Косушка, косуха — полбутылки — распространенная мера для водки в старой России.
...будет страшный суд на Пулковой горе: там уже и дом такой выстроили. День и ночь смотрят на небо... — Комически отраженное известие об астрономической обсерватории в Пулкове. Открыта в 1839 г.
...для засвидетельствования им решпектов... — т. е. уважения (от *фр.* respect — уважение, почтение).
...помощником экзекутора! — Экзекутор — в дореволюционной России чиновник, ведавший хозяйственной частью в учреждении.

СТО РУБЛЕЙ

...написанную, по его соображениям, Карамзиным... — явственная авторская ирония. Н. М. Карамзин (1766—1826) — русский писатель, историк, автор «Истории государства Российского».
Анакреон (Анакреонт) (ок. 570—478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; воспевал чувственные наслаждения.
Коломна — окраина Петербурга.
Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) — последняя царица Египта (с 51 г. до н. э.) из династии Птоломеев; славилась красотой и умом.
...число имени антихриста составляет [...] *сумму шестисот шестидесяти шести...* — Число 666 — «звериное число» в Апокалипсисе (одной из книг Нового завета), под которым якобы скрыто имя антихриста.

ПЕРВОЕ ЧИСЛО

...за распространением гаса по великолепному перекрестку... — Речь идет о газовых фонарях.

«...людишки, пишущая тварь!» — Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. IV, явл. 5).
...превосходно декоратированные...— искаж. от *фр.* décorer — украшать.
Дж. Б. Рубини (1794/95—1854) — итальянский певец.
...в [...] *камеральных науках...*— Имеется в виду счетоводство; область финансового управления.
До степеней известных...— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. I, явл. 7).
...на близкое присутствие съезжей...— см. коммент. к очерку «Петербургский дворник».

ХОРОШЕЕ МЕСТО

...хорошее место — в Эдеме [...] *сатанинская интрига столкнула* [...] *с первого хорошего места...*— ироническая интерпретация популярного библейского мотива об изгнании первых людей из рая; Эдем — по библейской легенде рай, место пребывания человека до грехопадения.
Элоквенция (*лат.* eloquentia) — красноречие, ораторское искусство.
Управа благочиния — полицейский орган в России с 1782 г. до конца XIX в.
Щирый (*обл.*) — настоящий, подлинный (о породе собак).

ПАРТИКУЛЯРНАЯ ПАРА

...Выжигин... Вот, наконец, самая счастливая фамилия народная в России! — Иронический намек на героя романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829).
Per-procura (*лат.*) — в Древнем Риме термин, обозначающий управление хозяйством по поручению.
...в Коммерческой школе...— Речь идет о коммерческом училище, где давалось общее образование и вместе с тем учащихся готовили к коммерческой деятельности.
Принципал (*лат.* principalis) — глава, хозяин.
...«каплет хладными слезами, не иссякая никогда»...— Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1823).
...из вассер-супа...— ироническое название; нечто вроде похлебки (*нем.* Wasser — вода).
...в выход Каратыгина...— Каратыгины — известная фамилия в истории русского театра. Успехом пользовались актер-трагик В. А. Каратыгин (1802—1853) и актер, драматург, автор водевилей П. Каратыгин (2-й) (1805—1879).
...апраксинским...— Имеются в виду купцы, торгующие на Апраксином дворе — см. коммент. к очерку «Петербургская сторона».
Оливье — модный портной в Петербурге.
«Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были».— Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Воспоминание» (1821).

КОМИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬМАНАХ «ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ», СОСТАВЛЕННЫЙ Н. НЕКРАСОВЫМ. 1846

I

ВОДЕВИЛИСТ

...антраша Тальони...— М. Тальони (1804—1884) — известная артистка балета. Антраша (*фр.* entrechat) — в классическом балете прыжок, когда ноги танцовщика скрещиваются в воздухе несколько раз.
...подобно Молиерову мещанину...— Речь идет о герое пьесы «Мещанин во дворянстве» (1670) Ж. Б. Мольера (1622—1673).
...где разговоры эти слышут?..— Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

II

НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ

...отдает водкой...— Реминисценция из «Ревизора» Н. В. Гоголя (д. I, явл. I).
«Биб. д. чт.» — «Библиотека для чтения» — см. коммент. к очерку «Чиновники».
...поэт — он любил, как в наше время уже не любят...— Скорее всего, реминисценция из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. II, строфа XX).

...-инъ.— Очерки «Водевилист» и «Непризнанный поэт» принадлежат А. Я. Кульчицкому (1815—1845), выступавшему под разными псевдонимами, и в частности под псевдонимами «Говорилин», «-инъ», «-нъ».

ИЗ ЖУРНАЛА «ФИНСКИЙ ВЕСТНИК», Спб., 1845—1847 гг.

ДЕНЩИК

(Физиологический очерк)

Впервые опубликован в «Финском вестнике»,
1845, т. II, № 2, отд. III, с. 1—15.

Единственный в своем роде Гранвиль...— Имеется в виду Н. И. Ф. Гренвиль (1803—1847)— французский карикатурист.
Тавлинка (обл. таблинка)— берестяная табакерка.
Казакин — длинный мужской кафтан.
...не был собственно дантистом...— Ироническая характеристика: т. е. не был любителем бить по зубам (от *лат.* dens — зуб).
...есть нечего до трети...— т. е. до следующей выдачи жалования, которое выплачивалось «по третям», каждые четыре месяца.
Косарь — большой тяжелый нож; нередко делался из обломка косы.
Доточник — умелец, искусник.
Кравчий — почетная должность и придворный чин на Руси XV—начала XVII в. Служил царю за столом, в его ведении были стольники.
Ясельничий — придворные должность и чин на Руси в XV—XVII вв. С начала XVII в.— глава Конюшенного приказа.

ЛУКА ЛУКИЧ

(Нравоописательный очерк)

Впервые опубликован в «Финском вестнике», 1845,
т. IV, № 4, отд. III, с. 1—11. За подписью: Д-. (Ф. Дершау)

...съестное депе. — Т. е. депо (от *фр.* depot)— склад, хранилище.
...со всеми столичными промышленниками чужой собственности...— т. е. с ворами.

ПРИКАЗЧИК

(Физиологический очерк)

Опубликован впервые в «Финском вестнике»,
1845, т. V, № 5, отд. III, с. 1—16.

Н. В. Кукольник (1809—1868)— русский писатель.
...создаваемые роли г. Григорьевым?.. Григорьевы — известная театральная фамилия. Речь идет о П. И. Григорьеве (1-м) (1806—1871/1872)— актере Александринского театра, авторе водевилей, или о П. Г. Григорьеве (2-м) (ум. в 1854)— также актере Александринского театра, авторе водевилей.
...фрак Оливье...— см. коммент. к очерку «Партикулярная пара».
...человек великий, спасший нашу дорогую отчизну!..— Речь идет о Козьме Минине (ум. в 1616)— герое освободительной борьбы русского народа, организаторе народного ополчения 1611—1612 гг.
Молчалин — один из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».
...«угождать всем людям без изъятья».— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. IV, явл. 12).
...мотыг... — т. е. мотов.
...перед отъездом Василия Андреевича за границу давали Кина.— Речь идет об известном трагическом актере В. А. Каратыгине (см. коммент. к очерку «Партикулярная пара»), выступавшем в пьесе «Кин, или Гений и беспутство» (пьеса А. Дюма-отца, поставленная во Франции в 1836 г.; с 1837 г. ставилась на русской сцене).
Суровские — приказчики с суровской линии петербургского Гостиного двора, где торговали шелковым, бумажным и легким шерстяным товаром; *апраксинские* — приказчики с Апраксина двора — см. коммент. к очерку «Лотерейный бал».
Распуколка — цветочная почка.
Сак (фр. sac)— здесь: женское пальто свободного покроя.

Канифас — легкая хлопчатобумажная ткань с рисунком.
...с [...] удовольствием смотрящим в стеклышки...— Речь идет о нехитром развлечении, своеобразном «иллюзионе»— см. коммент. к очерку «Сборное воскресенье» на слово «раек».

СВАХА

(Физиологический очерк)

Впервые опубликован в «Финском вестнике», 1846, т. VIII, № 3, отд. III, с. 33—44.

Честить — здесь: оказывать честь, относиться с уважением.
...надворный... — Надворный советник — чиновник 7-го класса в России; обычно занимал должность столоначальника.
...играют роли ворон в павлиньих перьях. — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Ворона» (1825).

ГОСТИНОДВОРЫ

(Физиологические заметки)

Впервые опубликованы в «Финском вестнике», 1846, т. X, № 7, отд. III, с. 1—16.

...нечто вроде описания Гостиного двора (сочинение г. Булгарина)...— Имеются в виду «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (1843) Ф. В. Булгарина.
...в величественную позитуру á la Каратыгин.— Имеется в виду В. А. Каратыгин — см. коммент. к очерку «Партикулярная пара».
...в Полицейской газете...— см. коммент. к очерку «Назидательное слово о Петербургских вершинах».
...к Казанской...— т. е. к Казанскому собору в Петербурге.
...из ума вон, что сегодня четверток...— Христианская православная традиция запрещала венчания накануне пятницы.
...три листика...— карточная игра.
...времен очаковских...— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Сужденья черпают из забытых газет Времен очаковских и покоренья Крыма» (д. II, явл. 5).
...Москва, вишь, виновата.— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 22).
...свежо предание, а верится с трудом...— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 2).
Поль де-Кок (1793—1871)— французский писатель-романист; автор «фривольных» романов.
Притин — место, к которому что-то приурочено, с которым что-то связано; притинное местечко, т. е. укромное.
Гарпагон — герой комедии Ж. Б. Мольера «Скупой» (1668).
...звуки Штрауса...— Имеется в виду И. Штраус-отец — см. коммент. к очерку «Чиновники».
...басню о Стрекозе и Муравье!..— Речь идет о басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (1808).

ЯРОСЛАВЦЫ

(Физиологический очерк)

Опубликован впервые в «Финском вестнике», 1847, т. XIV, № 4, отд. III, с. 1—12.

Савояр — уличный музыкант в западных странах (*фр.* savoyard от названия провинции Savoie).
...в Кронсбере... — т. е. в Кенигсберге.
...даже до последней акакиевки...— Имеется в виду герой знаменитой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) Акакий Акакиевич Башмачкин.
Онамесь (обл.)— то же, что ономнясь — на днях, недавно.
«Гуак, или Непреоборимая верность» — лубочная повесть.
М. Д. Ольхин (1806—1853) — петербургский книгопродавец и издатель.

...сочинение Гоголя: Мстиславлев или сдача города Могилева...— наивная спекуляция книготорговца на имени Гоголя: такого сочинения у писателя нет.
...после своей переписки с друзьями.— Имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (1846).
М. П. Погодин (1800—1875)— писатель, историк, издатель журналов «Московский вестник» и «Москвитянин».
Дж. Мильтон (1608—1674)— английский поэт и политический деятель.
...который парадис написал...— Имеется в виду эпическая поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667) (от англ. Paradise — рай).
П. Ж. Беранже (1780—1857) — французский поэт.
...де сер де шарите... (от фр. sœur de charité — сестра милосердия).— Имеются в виду произведения Беранже, среди которых «Две сестры милосердия».

Есть разные, есть и Ивана Ивановича, и Осипа Ивановича, и Николая Алексеевича, есть и Михайла Юрьевича, есть и Сергея Федоровича...— Имеются в виду: И. И. Панаев (1812—1862)— русский писатель и журналист; О. И. Сенковский (1800—1858)— русский писатель, журналист, востоковед, издатель журнала «Библиотека для чтения» (писал под псевдонимом «Барон Брамбеус»); Н. А. Полевой (1796—1846)— критик, беллетрист, драматург, издатель «Московского телеграфа»; М. Ю. Лермонтов (1814—1841) и, вероятнее всего, С. Ф. Дуров (1816—1869)— поэт, прозаик, примыкавший к «натуральной школе».

Puccies Fabridieg — возможно, безграмотная попытка передать латинскими буквами значение: «Русское производство».
Шапшуги — то же, что шапсуги — см. коммент. к очерку «Кавказец».
...покуда не придет треть...— т. е. не выплатят жалованье за треть — см. коммент. к очерку «Денщик».
...пе или перепе, или лампопо, то есть транспорт [...] *да еще куш мазу...*— карточные термины. Куш мазу — большой куш в придачу.

БОБРОВЫЙ ВОРОТНИК

(Из гостинодворских сцен)

Опубликован впервые в «Финском вестнике»,
1847, т. XXIII, № 11, отд. VI, с. 1—11.

Шематон (*фр.* chematone) — бездельник; несносный человек.
Чуйка — шуба с косым воротником (бархатным или меховым).
Стилиснуть (*жарг.*)— украсть.
...ненасытный мамон...— Мамон, Мамона — у некоторых древних народов бог богатства. В переносном смысле — алчность, стяжательство; слово употреблялось также в тех случаях, когда речь шла об удовлетворении грубых чувственных потребностей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК «ВЧЕРА И СЕГОДНЯ», СОСТАВЛЕННЫЙ В. А. СОЛЛОГУБОМ. 1846

ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗНОСЧИКИ

Бергамоты — род груши (дерево и плод).
Бирзуп (*нем.* Biersuppe) — суп из пива, воды и крахмала с пряностями.
Г. Доницетти (1797—1848)— итальянский композитор.
...доктора Дулькамары!— Дулькамара — персонаж оперы Г. Доницетти «Любовный напиток» (1832).
...китайским напитком.— Т. е. чаем.
...у Излера...— Излер — известный владелец увеселительного сада и ресторана.
Бриош (фр. brioche) — сдобная булочка.
Баток де руа (*фр.* baton de roi) — хлебное изделие, «королевский хлеб».
Капелькухен (*нем.* Kapel — рыба мойва и Kuchen — пирог) — пирог с рыбой.
Шод безе (искаж. *фр.* chou — пирожное и baiser — поцелуй) — сладкое пирожное с кремом.
Меринг (*фр.* merinque) — воздушное пирожное.
...оренбургский муфтий... – Муфтий — важное духовное лицо у мусульман.
...дело любавный...— т. е. дело добровольное.
А. Ф. Смирдин — см. коммент. к очерку «Почтенный человек».

Леонид — герой романа «Жизнь, как она есть» (1842) русского беллетриста и критика Л. В. Бранта.
Сочинения дворянина Кукареку... — Имеются в виду произведения П. А. Машкова, беллетриста 1830—1840-х гг., выступавшего под псевдонимом «Кукареку».
...Юрий Милославский. — Речь идет об очень популярном в свое время романе М. Н. Загоскина (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).
...Путешествие по России в двадцати губерниях... — Имеется в виду сочинение сенатора, харьковского вице-губернатора М. П. Жданова «Путевые записки по России в двадцати губерниях» (1843).
...«Les mystères de Paris» — Речь идет о романе «Парижские тайны» французского писателя Э. Сю (1804—1857).
...и покупает книги с пуда. — Т. е., по сути, покупает на вес.
Лотова жена — персонаж библейской мифологии. Жена Лота была превращена в соляной столб за то, что она при бегстве из Содома оглянулась, несмотря на запрет бога.
...нарисованы в робронах... — Роброн (*фр.* robe-ronde) — старинное женское платье с кринолином.
...в [...] Коле... — т. е. на Кольском полуострове.
Кяхта — в прошлом веке пункт русской торговли с Китаем.
Ж.-Р. Ламе-Флери (1797—1878) — французский писатель, автор сочинений по греческой истории для детей.

«ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ» И. Т. КОКОРЕВА В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО ИЗДАНИЮ: КОКОРЕВ И. Т. СОЧИНЕНИЯ. М.-Л., 1959

СТАРЬЕВЩИК

Впервые опубликован в «Ведомостях московской городской полиции», 1848, № 47 (март).

...призывный крик муэдзина... — Муэдзин — служитель мечети, сзывающий с минарета мусульман на молитву.
...уголок [...] называется Балканом... — Балкан — район Москвы, где были расположены Мещанские улицы.
..нежить свой мамон... — см. коммент. к очерку «Бобровый воротник».
...середа и пятница со двора нейдут... — т. е. едят очень скудно, постятся; среда и пятница — дни, в которые православный обычай предписывал довольствоваться только постной пищей.
...пища [...] была антониевская... — Выражение связано с Антонием Фивским — христианским аскетом (III—IV вв.), питавшимся в пустыне скудной пищей.
Холодник — здесь: женское верхнее платье из легкой ткани.

ЧАЙ В МОСКВЕ

Опубликовано впервые в журнале «Москвитянин», 1848, ч. II, № 4, в отделе «Внутренние известия».

...«от финских хладных скал до пламенной Колхиды...» — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831),
Городская часть — так назывался торговый центр Москвы.
Нестор (1056—1114) — монах-летописец Киево-Печерского монастыря; считается составителем первой редакции «Повести временных лет».
Т. Мэтью (1790—1856) — католический священник, проповедник трезвости. С 1833 г. занимался устройством обществ трезвости, с этой целью в 1845 г. посетил Северную Америку, а в 1852 г. совершил путешествие в Калькутту.

СВАДЬБА В МОСКВЕ

Впервые опубликовано в «Ведомостях московской городской полиции», 1848, № 108, 109, 111 (май), в отделе «Фельетон полицейской газеты».

...по френологии... — Френология — ложная теория о связи между формой черепа и умственными способностями и моральными качествами человека.

...самого Каломероса...— Каломерос — главное действующее лицо романа А. Ф. Вельтмана «Генерал Каломерос» (1840) (Каломерос — это калькированный перевод имени Бонапарт с итальянского на греческий язык).
Г. К. Кошихин (Котошихин) (ок. 1630—1667) — подьячий посольского приказа, бежавший за границу; автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича»; приводимая И. Т. Кокоревым по изданию 1840 г. цитата не точна.
...на [...] *эрмитажных вечерах...*— Эрмитаж (*фр.* ermitage — в буквальном смысле «уединенное место») был основан Екатериной II как место для отдыха, развлечений. В эрмитажном павильоне находились библиотека, собрание картин, статуй, бронзы, мебели, что послужило основанием музея, здание для которого было построено в 1849 г.
...пришлю берлин...— Берлин — старинная четырехместная карета.
Гретна-Грин — местечко в Шотландии, на границе с Англией, где совершались браки в обход английских брачных законов, без согласия родителей или опекунов.

ЯРОСЛАВЦЫ В МОСКВЕ

Опубликовано впервые в журнале «Москвитянин»,
1849, ч. I, № 2, в отделе «Смесь».

...корчевец...— Корчева — уездный город в Тверской губернии.
...звуков музыкальной машины...— Имеется в виду механизированный орган (оркестрион), обычно находившийся в московских трактирах.
...достоин кисти Теньера...— Д. Теньер (Тенирс) (1610—1690) — фламандский художник, изображавший картины городского и крестьянского быта.
Бубнов, Морозов, Печкин — владельцы московских трактиров.
...трубку Жукова...— Имеется в виду табак фабрики купца В. Г. Жукова.
...«Пчелку»...— т. е. «Северную пчелу»— см. коммент. к очерку «Чиновники».

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Опубликовано впервые в журнале «Москвитянин»,
1849, ч. II, № 5—6, в отделе «Московская летопись»,
под названием «Сборное воскресенье в Москве».

Сборное воскресенье — воскресенье первой недели великого поста.
...levrette, — левретка — порода мелких комнатных собак.
...Скотинин? — Имеется в виду герой комедии Д. И. Фонвизина (1744—1792) «Недоросль» (1782), признававшийся в особой любви к свиньям.
...«жизнь — глупая шутка!»— Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840).
Раёк — вид представления на ярмарках и т. п.; ящик с двумя отверстиями, снабженными увеличительными стеклами для демонстрации зрителям различных картинок. Показ сопровождался пояснениями раешника.
«Пора, пора! Рога трубят [...] *Борзые прыгают на сворах...»*— Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин» (1825).
...сцена Ноздрева со щенком...— Имеется в виду эпизод из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. IV).
Гилдянский (гилянский) *петух* — бойцовая порода петухов, выведенная в Персии.
...на Бабьем городке...— Бабий город — район, находившийся на правом берегу Москвы-реки, около Крымского моста.
Притча о вороне в павлиньих перьях...— Имеется в виду басня И. А. Крылова «Ворона» (1825) — см. коммент. к очерку «Сваха».

ИЗВОЗЧИКИ-ЛИХАЧИ И ВАНЬКИ

Впервые опубликовано в журнале «Москвитянин»,
1849, ч. IV, № 22, в отделе «Смесь».

...дорос до казенной меры...— Казенная мера — мера роста, установленная для приема в солдаты (не менее 160 см).
...соединяется, по правилу Горация, приятное с полезным.—В «Послании к Пизонам» (ст. 343) Гораций говорит о поэте: «Всякого одобрения достоин тот, кто соединил приятное с полезным».

Биржа — здесь: стоянка извозчиков, находившаяся на больших перекрестках и на площадях.
«Дымом дымится дорога...»—Цитата из знаменитого лирического отступления («Птица-тройка») в XI главе I тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
...как следует быть полушубку [...] *романовский ли он...*— Романовский полушубок — из овчины овец романовской породы, выведенной в начале XIX в. в Ярославской губернии.
...К Макарью торговать...— Речь идет о популярной в России Макарьевской ярмарке — на левом берегу Волги (ныне пос. Макарьево Лисковского района Горьковской области).
...с дистанциею огромного размера...— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5).
...на Трубе...— т. е. на Трубной площади — см. коммент. к очерку «Женщины».
Городские линейки — открытые многоместные дрожки; этот вид общественного транспорта появился в Москве в 1847 г.

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫВЕСКИ

Опубликовано впервые в журнале «Москвитянин»,
1850, ч. I, № 2 и 3, в отделе «Смесь».

...Пофилософствуй — ум вскружится! — Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 1).
...как тень в Гамлете...— Гамлету — главному герою одноименной трагедии В. Шекспира — является Тень его убитого отца.
...лечебник Енгалычева...— П. Н. Енгалычев (1769—1829) — писатель; перевел с французского языка в 1799 г. старинный лечебник. Автор «Простонародного лечебника» (3-е изд., 1808).
...знаменитого Яра...— Яр — популярный ресторан в Москве.
Б. Боско (1793—1863) — знаменитый итальянский фокусник; воевал в рядах наполеоновской армии в 1812 г. в России, был ранен на реке Березине, находился в плену в г. Тобольске. В 1814 г. вернулся в Париж. В 40-х гг. гастролировал в России.
Бандо (*фр.* bandeau) — повязка в женском наряде.
Торсада (*фр.* torsade) — витой шнурок.
...громкой Фоминой недели...— Фомина неделя — первая неделя после пасхальной, время свадеб и увеселений. К этому времени обычно приурочивалась распродажа вещей по дешевым ценам.
...С толком, с чувством, с расстановкой.— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 1).
...«Магазин под знаком паровоза».— Магазин с такой вывеской находился на Большой Лубянке (ныне — улица Дзержинского).
Срединное царство — название Китая.
...«нам без немцев нет спасенья...»— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. I, явл. 7.).
...с полуночи...— т. е. с запада.
«Русские изделия»— так назывался магазин на Кузнецком Мосту, открытый в 1843 г. и торговавший исключительно отечественными товарами.

САМОВАР

Опубликовано впервые в журнале «Москвитянин»,
1850, № 4, в отделе «Смесь», под названием
«Похождения самовара (Посвящается всем любителям чаю)».

Нейзильбер (нем. Neusilber) — мельхиор.
...повезли тебя к Макарью...— см. коммент. к очерку «Извозчики-лихачи и ваньки».
«Властителям и судьям»— стихотворение (1780) Г. Р. Державина, отражающее гражданственные настроения поэта и прозвучавшее как предостережение «сильным мира сего».
А. П. Сумароков (1717—1777)— русский писатель, один из видных представителей классицизма, автор трагедий, комедий, басен, лирических песен.
Сем-ко — дай-ка.

«Город храмов и палат [...] коренной России град...»— Цитата из стихотворения «Москва» (1841) Ф. Н. Глинки (1786—1880), поэта, писателя, участника Отечественной войны 1812 г., декабриста.
Ф. Г. Клопшток (1724—1803) — немецкий поэт эпохи Просвещения.
...под именем ходебщиков и афеней...— Ходебщики и офени — коробейники, торговцы вразнос.
...«Похождения несчастного Никанора»...— Имеется в виду «Несчастный Никанор, или Приключения жизни российского дворянина»— повесть неизвестного писателя XVIII в.
...автор «Метели»!— Речь идет о В. А. Соллогубе (1813—1882), писателе-беллетристе.
...в лисьей кирейке...— Кирейка — верхний кафтан, тулуп, крытый сукном.
...«Чернеца» Козлова.— Поэма «Чернец» (1825) поэта и переводчика И. И. Козлова (1779—1840) имела большой успех.
«Черная шаль»— популярный романс на стихи А. С. Пушкина; музыка А. Н. Верстовского (1799—1862).
...за синенькую...— см. коммент. к очерку «Водовоз».
...в Марьину рощу торговать самоваром...— т. е. торговать чаем; Марьина роща — в прошлом место воскресных гуляний москвичей.

КУХАРКА

Впервые опубликовано в «Ведомостях московской городской полиции», 1852, № 249, 252, 255 (ноябрь), в отделе «Фельетон» с подзаголовком «Очерк».

Эпиграф взят из эпопеи В. К. Тредьяковского (1703—1769) «Телемахида».
...платок прохоровский...— Прохоровы — русские капиталисты, основавшие в 1799 г. в Москве текстильную фабрику.
...налеплена какая-нибудь «греческая героиня Бобелина»...— ироническая ассоциация: см. «Мертвые души» Н. В. Гоголя (т. I, гл. V).
...воды нет, а в лавочку идти не хочется.— Воду москвичи брали из колодцев, прудов и из Москвы-реки. Питьевая вода продавалась также в мелочных лавках, куда ее завозили водовозы.
...купавинских фабрикантов...— Купавино — село Богородского уезда Московской губернии, где находились крупные фабрики Юсуповых, Бабкиных и др.
Коты — женская обувь, род полусапожек.
Мириктриса Кирбитьевна — персонаж сказочных повестей XVIII в.
...угодил под красную шапку...— т. е. был отдан в солдаты.
...одного даровитого художника...— Имеется в виду П. А. Федотов (1815—1852) — русский живописец и рисовальщик, родоначальник критического реализма в русском изобразительном искусстве.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие *(В. И. Кулешов)* 5

«НАШИ, СПИСАННЫЕ С НАТУРЫ РУССКИМИ», АЛЬМАНАХ А. П. БАШУЦКОГО 19

Водовоз 21
Барышня 37
Гробовой мастер 42
Няня 61
Знахарь 70
Уральский казак 87
М. Ю. Лермонтов. Кавказец 100

«ОЧЕРКИ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ» П. ВИСТЕНГОФА 103

Купцы 105
Чиновники 110
Женщины 114
Цыганы 118
Извозчики 120
Разносчики 123
Мальчики 124
Наемные люди, кучера, лакеи 124

АЛЬМАНАХ «ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА», ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. А. НЕКРАСОВА 129

Петербургский дворник 131
Петербургские шарманщики 140
Петербургская сторона 159
Петербургские углы 179
Лотерейный бал 196

СБОРНИК РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕРШИНЫ, ОПИСАННЫЕ Я. БУТКОВЫМ» 219

Назидательное слово о Петербургских вершинах 221
Порядочный человек 223
Ленточка 240
Почтенный человек 247
Битка 256
Сто рублей 262
Первое число 275
Хорошее место 301
Партикулярная пара 315

КОМИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬМАНАХ «ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ», СОСТАВЛЕННЫЙ Н. А. НЕКРАСОВЫМ 339

Водевилист 341
Непризнанный поэт 345

ИЗ ЖУРНАЛА «ФИНСКИЙ ВЕСТНИК», 1845—1847 гг. 349

Денщик 351

Лука Лукич 358
Приказчик 363
Сваха 371
Гостинодворы 377
Ярославцы 384
Бобровый воротник 393

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК «ВЧЕРА И СЕГОДНЯ», СОСТАВЛЕННЫЙ В. А. СОЛЛОГУБОМ 403

Петербургские разносчики 405

«ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ» И. Т. КОКОРЕВА 437

Старьевщик 439
Чай в Москве 444
Свадьба в Москве 448
Ярославцы в Москве 460
Сборное воскресенье 466
Извозчики-лихачи и ваньки 474
Публикации и вывески 480
Самовар 492
Кухарка 510

Комментарии 528

РУССКИЙ ОЧЕРК

40—50-е годы XIX века

Зав. редакцией М. Д. Потапова
Редактор М. И. Шлаин
Художественный редактор В. К. Бесингалиев
Технический редактор К. С. Чистякова
Корректор И. А. Мушникова

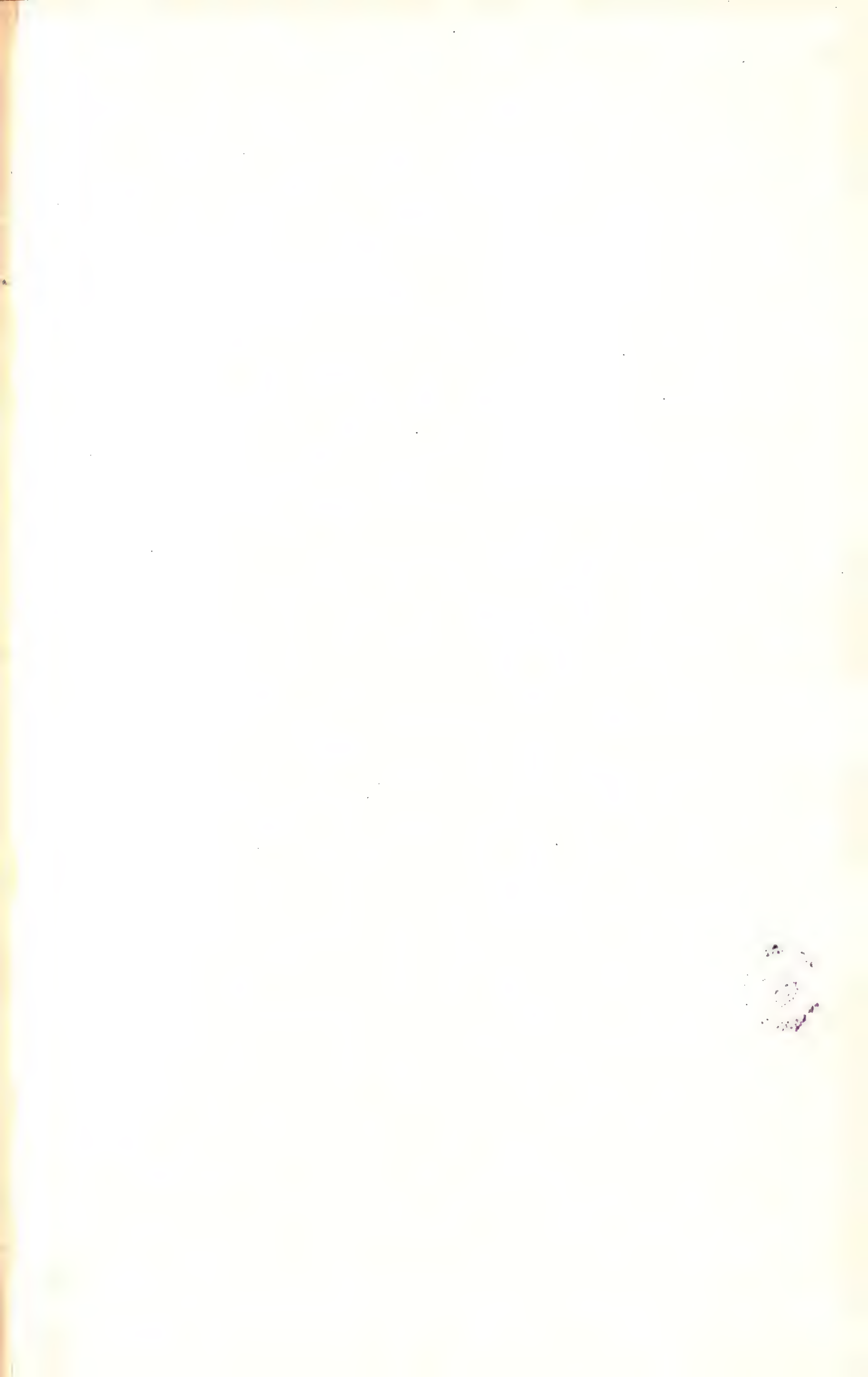
ИБ № 2406

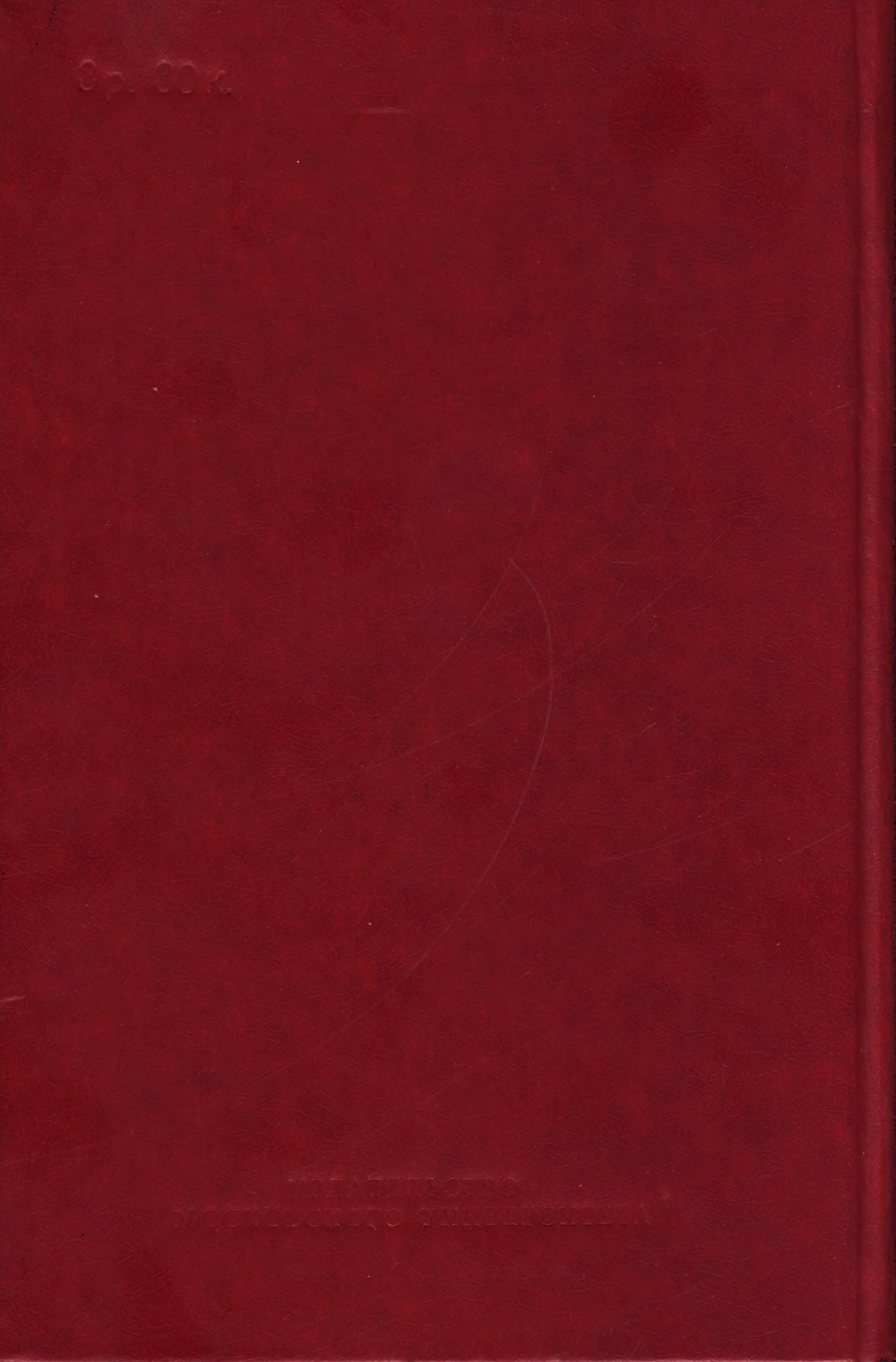
Сдано в набор 16.08.85. Подписано к печати 29.07.86. Л 67363. Формат 60×90 1/16. Бумага книж.-жур. Гарнитура литературная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 34,0. Уч.-изд. л. 38,73. Тираж 64 400 экз. Заказ № 51512. Цена 3 р. 30 к. Изд. № 2800.

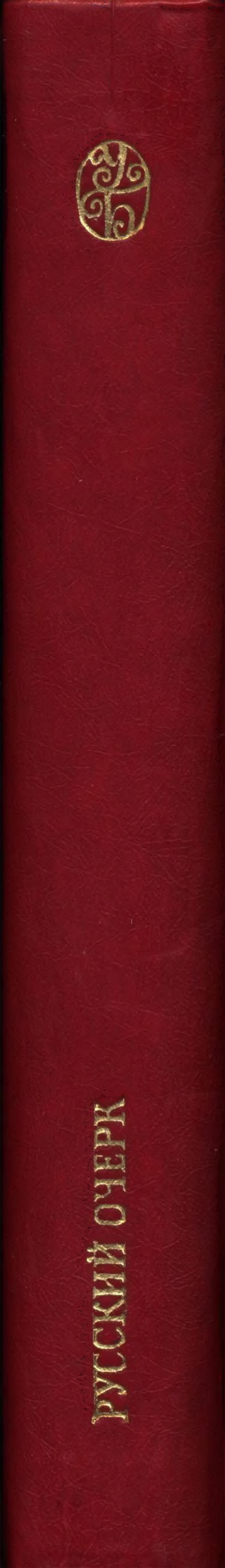
Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета 103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.

Полиграфкомбинат Государственного комитета Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 277004, Кишинев, ул. Берзарина, 35.






3 р. 80 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА


РУССКИЙ ОЧЕРК